КОНТИНЕНТ

104 2000
КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 104

Наш отчий дом сгорел
дотла.
У злополучных
погорельцев,
у безлошадных
безземельцев
нет ни двора,
нет ни кола...

Владимир Салимон





Он смотрел на нее завороженно. Он забыл всё, что было с ним эти десять лет. Он опять встретил её... Он вдруг почувствовал, как дергается, становится мокрым его лицо, — впервые за много лет он плакал...
Сергей Бабаян

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

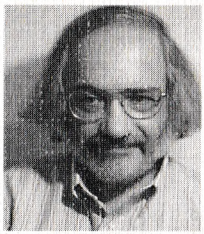
Стихи: Валентины Ботевой, Эльмиры Котляр, Виктора Моспана
Рассказы Феликса Светова
Статьи и очерки: Льва Айзермана, Александра Годлевского, Андрея Десницкого, Михаила Копелиовича, Марка Липовецкого
Интервью: Леонида Пинчевского Марине Адамович
А также наш постоянный аннотационный раздел
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "КОНТИНЕНТА"



Один мой товарищ как-то сказал мне, что русская интеллигенция должна, обязана в иных ситуациях, когда закон и право молчат, «ахать и ужасаться». Ахать и ужасаться!.. Даже когда очень не по себе из-за простого страха за себя и близких...
Фаина Гримберг



Я не склонен был подогревать себя иллюзиями, что на Западе нас ждут молочные реки в кисельных берегах, и не ждал, что кто-то без нас там страдает и будет готов холить и лелеять нас по приезде...
Валерий Сойфер



Самым кратким литературным жанром считается афоризм — обобщающая мысль, сжатая в одном предложении.
Но есть жанр еще более краткий, почти не исследованный: он умещается в одно слово.
Михаил Эпштейн

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

104

2000, № 2
апрель — июнь

ПАРИЖ • МОСК

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, строение 1
E-mail: dzir1@cityline.ru (Москва)
E-mail: continent@home.com (США)

Телефон редакции:
(095) 924-91-51

Internet: http://www.members.home.net/continent

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Ежи ГЕДРОЙЦ
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Яков КРОТОВ
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
1000 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎ /fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ 022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-40-69

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Валентина БОТЕВА
Это еще всё наше... *Стихи* 9

Сергей БАБАЯН
Кружка пива. *Повесть* 16

Эльмира КОТЛЯР
Я двух народов дщерь... *Стихи* 64

Виктор МОСПАН
Исповедь современника. *Стихи* 70

Феликс СВЕТОВ
Повертон. Легенда о Великом Старце. *Рассказы* 74

Владимир САЛИМОН
Всё это дело наших рук. *Стихи* 116

РОССИЯ

Александр ГОДЛЕВСКИЙ
Еще раз о наших реалиях
(Записки сумасшедшего) 122

Фаина ГРИМБЕРГ
Кавказский текст русской культуры 135

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Валерий СОЙФЕР
В Америке. *Часть первая* 168

РЕЛИГИЯ

Андрей ДЕСНИЦКИЙ
Священство и царство в российском общественном
сознании (из истории одного архетипа) 248

ГНОЗИС

Михаил ЭПШТЕЙН
Однословие как литературный жанр 279

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Лев АЙЗЕРМАН
Преданная литературв 314

Портреты

Марк ЛИПОВЕЦКИЙ
«Шестидесятники» как «потерянное поколение»:
трагикомедии Александра Вампилова (1937—1972) 336

Михаил КОПЕЛИОВИЧ
«Кем-то окликнут в толпе»
(Похвала Олегу Чухонцеву) 349

ИСКУССТВО

Чужеземец. Беседа члена редколлегии «Континента»
Марины Адамович с Леонидом Пинчевским 365

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 380

ЭТО ЕЩЕ ВСЁ НАШЕ...

* * *

Я чуть весну не проглядела,
глядясь в себя — в тоску меж ребер,
мне так хотелось выйти целой
из этой бесконечной дроби

обыденности, — из постылой
неразрешаемой задачи...
Как я могла! — как я забыла! —
что всё весна переиначит.

Я целый век не вспоминала,
пока не грянул гром весенний,
что в неких величинах малых
и вправду зреет воскресенье.

Но утренний восторг пичуги
на части разорвал мне сердце,
и лист младенчески упругий
нашел себе единоверца

в угрюмом глиняном подобьи...
О, как же поздно я узнала,
что в каждой бесконечной дроби
есть неделимое начало...

* * *

Знаю свои угодья —
вот они, под рукой...
Дрогнувшие поводья,
схваченное дугой

летнее — в цвет сирени —
небо, — как ветер тих! —
и удлиняют тени
первый короткий стих...

Валентина БОТЕВА — родилась в селе Ивня Белгородской области. Окончила Донецкий университет. Впервые опубликовала стихи в № 80 «Континента». Живет в Донецке (Украина).

Так и плывем вдоль пашен,
в спицы завив вьюнок,
это еще всё наше —
теплая пыль дорог

и над пыльцой ромашек
тяжкий полет шмеля, —
это еще всё наше,
это потом земля

станет чужой. Отрезан
и не срастется вновь
лишний ломоть, — железом
станет живая кровь.

Это потом на души
лягут... уже легли
слезы твоих кукушек,
белые ковыли...

* * *

И стало так, как отроду хотелось
расплывшейся и одичалой глине —
взамен огня пришла оцепенелость,
сменили пятна устремленность линий.

Сказать попроще? — растоптали гунны
империю с лоскутьями колоний,
в последний раз оборванные струны
вздохнули на обугленной ладони, —

и вслед завыли волки, будто в чаще
непроходимой, — по дворцовым залам,
а варвары, урвав кусок послаще,
опустошили винные подвалы.

И стало так... И время повернуло
гончарный круг, отправив в переделку
бугры голов и каменные скулы,
и готский меч, и скифскую тарелку...

Украина

Пустуют в полдень подворотни,
заплеванные шелухой,
и вол ленивый — день субботний
гремит телегою по сходням,
плывет, качаясь, в жар сухой.

Там тополя пирамидальны,
пыль мягче, чем руно овцы,
и к азбуке первоначальной
никак не сводятся концы.

Брань куреня и гонор Польши
уловит в мове московит,
родство двоюродное больше
разъединяет, чем роднит.

На избы не похожи хаты,
побелкой празднично свежи.
Рачительны и скуповаты
подковоусые мужи.

Они последний рубль с размаху
не бросят под ноги — гульба! —
и в пляске не рванут рубаху
от ворота и до пупа.

Другая кровь — от половчанок
тишь в карем омуте очей...
Но грохот бешеных тачанок
не стерся в памяти ночей.

Чумацкий шлях присыпан солью,
а что не соль — то сплошь полынь...
И чем не прапор — Гуляй-Поле
да неба выцветшая синь.

Чернозем

Там — чернозем, лиловый на отвалах, —
за лемехом. Там воздух так тягуч,
что сколько ни глотай его — всё мало...
Забудь о нем, не мучь себя, не мучь...

Не так обидно, если бы железом
тебя, как эту землю, вперекос
перепахали, — но ломоть отрезан
ножом столовым — под последний тост.

Бывают утра — глаз не открывая,
надеешься, что схлынет долгий сон,
и ты домой вернешься, но не краем
дороги — и не пятым колесом.

Теперь там подсыхает. Скоро — в поле.
И кто-то глаз не сможет оторвать,
когда напором плуга приневолен,
раскроется, как новая тетрадь —

за пластом пласт, лиловый на отвалах...
Это его, сжав намертво в горсти,
уносим мы со всех своих вокзалов —
и никуда не можем унести.

* * *

«Ты царь — живи один...» От частого повтора
как мне б не позабыть, что только в этом суть:
ты царь — живи один над дребезгом и сором, —
листву календарей так просто отряхнуть...

Полцарства за спиной, монеты золотые... —
меняй их наобум, они вернутся вновь.
Такм синтаксис другой, там ставят запятые
в конце строки, когда кончается любовь.

Ты царь... Где скипетр твой и где твоя держава? —
Есть ручка и тетрадь, на кухне — шаткий трон.
Есть право не казнить и миловать есть право,
еще — писать стихи, еще — считать ворон.

Полцарства — впереди, — с кем разделить заботы?
Ты царь — живи один в тревоге и тоске
от непосильной, от сизифовой работы —
воздушные дворцы строй на речном песке.

Что до реки, — она... Но это знает каждый:
и дважды не войти, и не раздвинуть льдин,
пока не грянул гром... Так мучайся от жажды
по-царски! — сам себе холоп и господин...

* * *

Спрятана энергия в холсте
до поры до времени — до взгляда, —
и каких еще благих вестей
о бессмертье нам, бессмертным, надо?

Только б рос, не помрачаясь, дух —
ведь не глина все-таки в основе!
Как в любви не обойтись без двух —
так и здесь. А третий — безусловен.

Третий — тот, кто дал нам благодать
перелить ликующее пламя
в ноты, в краски, в белую тетрадь, —
миновав века, остаться с вами,

будущими... Разогнать перо,
чтобы рифму точно взять с разбегу, —
стать стихами. Взвиться «Болеро».
И пройти охотником по снегу.

В октябрьских сумерках

В октябрьских сумерках (что мглистей этой мглы
с дождем и худосочным листопадом?),
в октябрьских сумерках, где смазаны углы
домов, но неизменен их порядок,

в октябрьских сумерках — за черным кофейком
с дешевой сигаретой (по карману),
с разбродом мыслей праздных ни о ком
и ни о чем — в одном краю туманном

почти не существующем... — В тоске
от собственной ненужности на свете,
от беса в ребрах, седины в виске
и от того, что сердце на примете.

Отстукавшее миллионы раз
оно, должно быть, намертво устало,
а сверху смотрит треугольный глаз
из — тоже треугольного — кристалла.

И кажется, что дождь сильней полил,
когда, сорвавшись, падает на крышу
лиловая слеза — в цвет тех чернил,
которыми уже давно не пишут.

Осенние прогулки

Как хочется осенней легкой грусти...
Наверное, есть что-то в этом хрусте
листвы опавшей — под литой подошвой,
что заставляет вспоминать о прошлом...

нет, солгала, — надеяться на чудо.
Оно чуть впереди, где скоро буду —
вот поверну в соседнюю аллею —
и встречу, и потом не пожалею.

И повернула... Духовым оркестром
аукнулась — и обернулась детством
аллея, показавшаяся раем...
А прошлое мы всё же выбираем...

Я выбрала свое — в «амурских волнах»
опять плыву. В руке портфельчик черный...
приятна тяжесть нового пенала...
Еще пока не жизнь, еще — начало.

Где следствие не требует причины.
Империя не чувствует кончины,
которая — лет эдак через тридцать...
В учебнике исписаны страницы,

за что и попадет, хотя не очень...
Как жизнь ни коротка, а мысль короче,
но разветвленней и куда туманней,
когда касается воспоминаний.

Оставим их. Оставим эту местность —
на склоне лет стихам присуща трезвость.
Поглубже запахнуть пальто от веста —
и это всё. И никаких оркестров.

* * *

«Зима! Крестьянин, торжествуя...» —
с чего б ему торжествовать?
Засыпал снег избу кривую —
и крыша потекла опять...

Мелькает на боках лошадки
шлеею вытертая шерсть...
Куда ни глянешь — неполадки,
как до весны дожить — Бог весть!

Хватило угля бы на топку,
зерна б подсыпать в закрома,
да щей густых — и к ним бы стопку, —
тогда, конечно бы, — зима!

Крестьянин, торжествуя с нею,
на дровнях обновлял бы путь...
Эх, колокольчик бы на шею —
да загреметь куда-нибудь.

КРУЖКА ПИВА

Повесть

— Не узнаешь меня?
— Нет.
— Де Барре.

Ги де Мопассан.
«Гарсон, кружку пива!»

Пивной зал выходил на улицу высоким крыльцом, над которым, вместо козырька, висел и поскрипывал на ветру выбеленный солнцем и дождями бочонок. Старый девятиэтажный дом, в первом этаже которого помещалась пивная, — еще довоенной, неуклюжей, безжизненной и безнадежной какой-то постройки, — был похож на серую уступчатую скалу, истонченную пещерными входами. Пивной зал необъяснимо назывался — *Пиночет*. Виктор миновал дверную вертушку и вышел на крыльцо, тяжело опираясь на палку.

Десять лет — казалось, большую часть своей бесконечно долгой, остановившейся жизни — он смотрел с высоты этого крыльца на чужой, давно уже непонятный ему мир, и чувства, которые он испытывал перед лицом этого мира, с каждым годом менялись, незаметно переходили друг в друга, пока от первых не оставалось и следа. Сначала, лет десять назад, ему порою даже нравилось после очередного стакана портвейна выйти из душных сумерек пивной и покурить в дверях, снисходительно, вниз, глядя на улицу. У его ног торопливо, как послушные инстинкту муравьи, сновали маленькие, озабоченные, серые люди: лысые мужчины с потерявшими форму портфелями, толстые женщины с уродливо набитыми сумками, маленькие некрасивые дети, которых женщины тащили за руки и которые плакали и не хотели идти. Десять лет назад он был удивительно молод; ему казалось, что он выше этого мира, его испуганной обывательской суеты, его безмолвной покорности пустым, нелепым, надуманным правилам; ему казалось, что достаточно и никогда не поздно сделать шаг — спуститься вниз, — чтобы занять в этом мире достойное место, и эта уверенность легко доставляла ему сознание

Сергей БАБАЯН — родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Писать начал в 1987 году. Автор романов «Господа офицеры» (1994), «Ротмистр Неженцев» (1995), повестей «Сто семьдесят третий», «Крымская осень», «Мамаево побоище», «Канон отца Михаила» («Континент №№ 85, 87, 92, 101), сборника прозы «Моя вина» (1996). Живет в Москве.

своего спокойного, а в недобрую минуту и насмешливого превосходства. Это чувство первые годы скрашивало его независимую, пьяную, уже тогда несчастную жизнь; хотя и усмехаясь своей наивности, он с тайным удовольствием представлял себя Модильяни, Есениным, Эдгаром По, чей самоубийственный путь таил в себе опасную и притягательную загадку... Прошло несколько лет — и его жизнь покатилась так быстро вниз, что он едва успевал замечать ступени. Взгляд его с высокого крыльца тоже переменился: после того, как неожиданно закончился срок его институтского распределения и ему предложили найти себе другую работу; после того, как он поменял еще несколько мест, оказавшись в конце концов дежурным лифтером в общежитии того самого института, в котором когда-то учился; после того, как он вынужден был уйти и с этой, уже последней своей работы, потому что наступили дни, когда ему стало просто не под силу прийти куда-нибудь в определенный, назначенный заранее день и час — в жизни его стучали уже другие часы, не зависящие от сигналов точного времени; после того, как деньги его подошли к концу и последний костюм вытерся и повис на локтях и коленях, — после всего случившегося этого у него исчезло чувство спокойного превосходства и стоять на крыльце, под любопытными и сочувствующими взглядами улицы, ему стало стыдно и больно: он торопился сойти по стертым до арматурных прутьев ступеням и затеряться на одной высоте с толпой мужиков, с утра до вечера пьяно шумевших у входа...

А сейчас, — сейчас, когда он давно уже не работал и получал жалкую пенсию; когда он давно уже перестал считать, сколько раз его подбирали у этого крыльца и отвозили в вытрезвитель, в «Девятку» или «Сосновую аллею», и пиночетовский участковый, капитан Бурый, которого местные пьяницы даже за глаза угодливо называли Николаем Ивановичем, помнил его фамилию — не зная и не интересуясь его именем — и, заходя в пивную, зло уже говорил: «Ну, готовься, Петров, скоро поедешь в ЛТП»; сейчас, после того как год назад он сломал ногу и она криво срослась — потому что в квартире Жокея, где он упал, поскользнувшись в луже чужой блевотины, был вдребезги разбит телефон и все приятели его были так пьяны, что никто не смог выйти к соседям и вызвать «скорую помощь», — да и сам он был смертельно пьян и сначала почти не почувствовал боли; когда все деньги, на которые он мог теперь рассчитывать, превратились в пятьдесят копеек, оставляемые матерью утром на кухонном столе, потому что ничтожную пенсию свою он пропивал за два, много три дня после ее перевода, — сейчас, когда он стоял на крыльце Пиночета, опираясь на палку, ему было уже всё равно. Он не испытывал никаких чувств, глядя на человеческую толпу, которая теперь почему-то уже казалась ему не серой, а многоцветной и яркой — и дети в толпе не плакали...

Он неловко спустился по ступенькам и поковылял к вентиляционной отдушине — каменному колодцу полуметровой высоты, затянутому мелкой, насквозь проржавевшей сеткою, — на котором сидели в ряд Шлёп-нога, калека с вывороченными полиомиелитом ногами, пучеглазый, раздутый водянкой Цыган и старый Арлекин, руками и длинным подбородком опиравшийся на ручки ободранных костылей. Чуть поодаль, на обрывке газеты, примостился Каракуль, еще недавно Владимир Петрович, а теперь просто Вовка Каракуль, который всё еще не мог забыть свою прежнюю жизнь и потому сидеть с Арлекином, Цыганом и Шлёп-ногой считал ниже собственного достоинства.

Виктор сел не здороваясь рядом с Арлекином — со всеми он здоровался уже поутру, — вытянул с облегчением больную застоявшуюся ногу и закурил «Беломор». От Арлекина шел густой нечистый запах, но Виктору не хотелось — и неудобно было — сразу вставать и идти на другое место: хотя Арлекин жил подонками из кружек и в пивной не было ниже его человека, Виктор не хотел его обижать. Сознание хотя бы в этом своей доброты нужно было прежде всего самому Виктору: Арлекину было уже всё равно.

Каракуль зашелся хриплым клокочущим кашлем, прочищая горло, и дрожащей рукой привычно поправил воротник — там, где еще два года назад его ежедневно стягивал узел галстука. Каракуль любил красные галстуки: красный цвет шел к его серым костюмам, серой шляпе, серым глазам, а зимой — к серебристо-голубой пене каракулевого воротника.

— Человека жду, — вдруг сказал он с внушительной интонацией, но слабым и тонким, на тихий крик срывающимся голосом. — Обещал привезти должок... Пятёру. — Слово «пятёра» Каракуль, быть может, независимо от себя, произнес торжественным шепотом. Пять рублей было очень много — две бутылки красного и сорок шесть копеек: на две кружки пива, смазать каждую бутылку или на развод.

Каракулю никто не мог привезти никакого долга. Каракуль даже сам не мог быть никому должен, потому что во всем Пиночете не нашлось бы сейчас дурака, который одолжил ему хоть бы рубль; даже жетон — монету в двадцать копеек, за которую автомат наливал триста восемьдесят пять граммов разбавленного желтого пива, — давали ему крайне неохотно, зная, что Каракуль стоит у последней черты и уже никогда не ответит. Его слова о пяти рублях были глупой, бессмысленной, подлой ложью, которой он мог надеяться выманить у Виктора двугривенный. Даже если бы произошло чудо и из той другой, уже далекой жизни, в которой Каракуль был начальником отдела и носил пальто с каракулевым воротником и ондатровую ушанку, действительно бы приехал, спустился к нему человек и вернул случайные, давно забытые пять рублей, — Каракуль никогда не сказал бы об этом Виктору и вообще

никому: он разделил бы их на каждый день по рублю и неделю пил пиво, по кружке каждые два часа — запивая свои таблетки. И хотя Виктор сознавал очевидность этой Каракулевой лжи — быть может, последней, отчаянной попытки самоутверждения, — в душе его шевельнулась слабая надежда: в «Голодном» с утра давали «Кавказ» — до одиннадцати по трояку, у Сашки с черного хода, сейчас у бабы Лизы по два шестьдесят, тридцать три копейки сверху... Правда, он редко выручал Каракуля: они упали почти одновременно, и в те дни, когда он еще мог кого-то выручить, у Владимира Петровича были свои, и немалые, деньги... Каракуль разрушил безумную его надежду.

— Дай жетон, Витя.

В его сердце медленно возвращалась смертельная тоска — тоска, с которой жить не хотелось.

«Пошел ты...» — подумал он про себя и сказал вслух:

— Я пустой.

Он сказал это, почти не шевеля губами. Вообще не надо было ничего говорить — он никогда не избавится от привычки отвечать всем людям, которые к нему обращаются.

Сегодня — сначала — ему повезло. Ночью повернул ветер и принес весну, с утра загорелось солнце — и небо, стряхнув облака, стало синим, как море, которое он видел в последний раз десять — или пятнадцать? — лет назад и которое не забыл. Мать надела легкий плащ и повесила в шкаф на плечики теплое шерстяное пальто с забытой в карманах вчерашней мелочью. Шкаф ее не запирался и давно не представлял для Виктора никакого интереса: однажды утром, уже полгода назад, морщась от тоски и отвращения к себе, он обыскал карманы висевшей в шкафу одежды — и вся в них найденная мелочь, даже потускневшие медяки, щедро рассыпанные вперемешку с бесполезным дореформенным серебром в старомодных дедушкиных костюмах, — всё ушло в автоматы. Он не знал, догадалась ли об этом мать, — мать молчала; быть может, догадалась, потому что больше он никогда не находил в ее шкафу ни копейки. Сегодня она спешила.

Он нашел рубль и одиннадцать копеек — это было неслыханно много. Даже в трамвае он опустил в кассу три копейки и взял билет. Еще недавно, если у него было двадцать, или тридцать, или сорок копеек, он добирался до пивного зала пешком, чтобы не тратить три копейки, которых на последнюю кружку неизменно не хватало, — благо пивная была недалеко и у него были здоровые ноги. Сейчас всё переменилось; идти километр пешком было ему долго и тяжело — еще и потому, что палка его была слишком коротка для его высокого роста: новую, которую мать купила и привезла в больницу, он отнес обратно в аптеку, едва научившись ходить, — и выручил за нее два пятьдесят, — а себе взял старую, оставшуюся дома после давно умершей бабушки.

Эта палка была короткой, облезлой и кривой, но он не решился отдать ее, а себе оставить новую, подходившую ему по росту: во-первых, он боялся, что в аптеке откажутся от старой клюки, изготовленной четверть века назад, а во-вторых... во-вторых, все-таки это была бабушкина палка. Очень скоро он осознал, какую совершил ошибку — не ту, что пожалел старую палку, а ту, что по жадности и глупости лишился своей: удобная палка для инвалида была не роскошь и не прихоть — была жизнь. С каждой пенсии он отсчитывал два пятьдесят — и всякий раз пропивал их, когда эти деньги оставались последними, откладывая покупку до следующего месяца... По всему по этому идти километр пешком было ему тяжело — он садился в трамвай и обыкновенно не брал билета. Частые контролеры, молодые ребята из бывшего его института, подрабатывающие к стипендии, его никогда не трогали: они машинально спрашивали билет, потом смотрели на его лицо и его ногу, вытянутую в проход и уложенную на палку, — и проходили мимо, не дожидаясь ответа.

Он приехал в Пиночет к девяти, полумертвый с похмелья. Вчера у автоматов он встретил Фомичева, с которым вместе учился в институте. Колька Фомичев, — который не был сейчас для него ни Колькой, ни Николаем, был сейчас для него никто: из другой страны, из другого мира чужой непонятный человек, смотревший знакомым лицом и носивший знакомое имя, — Колька Фомичев, по окончании института оставленный на кафедре, позавчера защитил кандидатскую диссертацию. Защиту свою он отпраздновал уже и в институте, и дома, и в ресторане — и на третий день, вспомнив молодость, решил зайти в Пиночет, куда много лет назад, вместе с Виктором, они неизменно шли получив стипендию. Колька был уже сильно пьян, с двумя сильно пьяными друзьями по кафедре, — иначе он сделал бы вид, что Виктора не заметил: пить и обниматься с небритым, опухшим, грязным калекой, казавшимся много старше его, было неприятно, ненужно и даже неприлично — не только ему самому, но и Виктору. Но Колька был пьян и сильно напоил его, и его пьяные друзья обнимались и лезли целоваться к Виктору и что-то кричали о русской душе и своей близости к народу; потом они увели пьяного Кольку и напротив пивной сели в такси — а Виктор несколько раз упал, ковыляя двадцать метров до трамвайной остановки, и никто не помог ему подняться.

Поэтому сегодня утром, выворачиваясь горькой слюной и дрожа всем телом, он приехал в пивную уже к девяти часам, когда винный был еще закрыт и красным торговали с черного хода, по три рубля за бутылку, — а это для него было теперь очень дорого. Кроме Шлёп-ноги и Арлекина, стоявших терпеливо у стойки в ожидании недопитых кружек, он встретил Доллара, Земелю и Чечмаря — первых ласточек из многочисленной пахомовской команды, не успевшей еще собраться. На

троих у них было четыре девяносто две; две бутылки стоили шесть рублей — рубль восемь не хватало. Земеля поминутно уходил в туалет, а когда возвращался — на нем лица не было. Они могли взять одну бутылку, оставив два рубля на развод, но Доллар держался и был неумолим: делать вторую ходку к ненадежному, подолгу закрытому черному ходу ему не хотелось. Виктор, дрожа от тоскливого нетерпения, вступил в долю: он отдал все свои деньги, рубль и восемь копеек — пятачком, копейкой и двушкою, — оставшись на нулях, потому что из рубля одиннадцати, найденных в карманах материного пальто, три копейки он уже опустил в трамвайную кассу. Они съели две на четверых, закусив сухой мандариновой коркой. Он сразу пришел в себя, хотя первый стакан держал обеими расходившимися в пляске руками: трехсот пятидесяти было достаточно даже с тяжелого похмелья и должно было хватить по меньшей мере на час. Если бы разливал он, вышли бы все четыреста — своя рука владыка; но утром его рука уже давно никуда не годилась... С ними он простоял около часа, вспоминая вчерашний день, а в одиннадцать пришел пунктуальный Пахом и сбросил его с хвоста — как Виктор ни пытался на нем удержаться... Земеля, самый душевный, но и самый неимущий из всех четверых, только сочувственно пожевал губами.

Он простоял еще час, допивая оставленное Земелей пиво, и ему опять стало плохо. В голове мутилось, тяжесть наваливалась на ноги и позвоночник, душу терзал страх и отвращение — к самому себе, ко всем вокруг, ко всему окружающему миру. Он стоял в дальнем углу большого зала, привалившись к стене и ослабив больную ногу, непрерывно курил и с тоской не отрываясь смотрел на квадрат дверного проема, через который густо шли незнакомые ему люди. За кружку пива он отдал бы сейчас пять лет жизни; кружка разбудила бы в его душе и теле утренние триста пятьдесят и дала силы еще час продержаться, а пять лет жизни не значили для него ничего. Через час кто-нибудь мог подойти — Кадет, или Тиша, или Бокс, наконец, Херсонский Помещик, которому он неделю назад, продав залетному майору за три рубля пачку бритвенных лезвий, спьяну дал пятьдесят копеек. Никто не шел, никто с ним не здоровался; вокруг него ходили, стояли, хлопали друг друга по плечам, разговаривали и смеялись чужие, равнодушные к нему люди — на крепких здоровых ногах, с густо звеневшей пивной мелочью в карманах. Они смотрели и не видели Виктора.

Прошел еще час. Пиночет понемногу наполнялся; появились уже знакомые, примелькавшиеся лица — органическая часть ежедневной пиночетовской толпы, даже недолгое отсутствие которых бросалось в глаза и вызывало удивление и беспокойство: казалось, нарушался самый ход размеренной, однообразной, устоявшейся пиночетовской жизни. Пришли и заняли свое обычное место, в углу у двери, Толик Рецидив,

Матвей и беременная Марина — женщина лет тридцати, похожая на старую девочку, с медленными восточными глазами, с сильно выступающим, острым животом. Пришел Суворов, бывший грузчик из «Диеты», бывший музыкант, окончивший Гнесинское училище в классе фортепьяно и клявшийся своим давним и близким знакомством с Макаревичем, которого он называл Андрюшкой, — месяц назад выпущенный из ЛТП, потерявший там пятьдесят из бывших своих ста двадцати килограммов и половину зубов и в тридцать пять лет похожий на беззубого седого подростка с непомерно большой головой. Появился Саша Корсет, здоровенный сорокалетний инвалид с запорожскими усами, носивший под рубашкой медицинский корсет после пьяной травмы позвоночника, — гордясь собой, разменял темно-красный, торжествующий червонец; до пенсии было еще далеко — должно быть, его мать, рыхлая белая старуха, торговавшая у Строгановки мороженым, получила зарплату. Вошел, нахально и испуганно улыбаясь, Малютка Монстр, обязанный своей кличкой прослывшему интеллектуалом Кандею, — двадцатилетний мальчик полутора метров ростом, с острым, бледным, ярко-красноносым лицом, которое могло спрятаться в отверстии граненого стакана, — незаменимый при сборе пустых бутылок из пиночетовских урн, тайком от уборщицы бабы Ани. Вошел, прихрамывая, Куркин — генеральский сын, вечный студент, стараниями отца трижды получавший академический отпуск — в последний раз, впрочем, вполне добросовестным образом: напившись, он переходил не глядя улицу и попал под колесо, и теперь его правая нога, под расклешенной по старой моде штаниной, была крест-накрест проколота тонкими металлическими спицами и одета в многоярусный каркас, который неистощимый Кандей называл наружным скелетом, Эйфелевой башней и строительными лесами. Напиваясь, Куркин падал с велосипедным грохотом; у него были плохие почки и плохая кровь, и сломанная нога долго не срастала... Вместе с ним пришел Юрец из Керчи, бывший уже студент, год назад отчисленный от курса, живущий по заброшенным общежитиям и приходящими по старому адресу посылками ничего не подозревающей родни, — не в силах вернуться домой, покинуть Москву, разорвать бесконечный круг пиночетовского похмелья... Пришел Блевот, подполковник, военпред авиационного завода, пожилой тяжелый человек с черным бульдожьим лицом и набрякшими глазами, каждой морщиной своей страдая от вчерашнего перепоя; он встал в разменную очередь и вытащил четвертной, на который несколько человек оглянулись, — вот у кого были деньги... Впрочем, Каракуль два года назад тоже менял четвертные.

Осторожно, бочком протиснулся Магомаев — средних лет и среднего роста человек, с круглой стриженой головой, пухлым свежим лицом с красными щеками и острым носиком, в шляпе и светлом пальто и с

неизменным портфелем в руках, — налил себе кружку, скромно встал как всегда у первого автомата, отхлебнул и тонким детским голосом, с застенчивой и счастливой улыбкой, затянул свое обыкновенное: «Ти-ри-ри!.. Ти-ри-ри-ри-ри...» — как правило, он стоял и пел так около часа, потом за ним приходила чистая маленькая старушка и, взяв как ребенка за руку, уводила его домой, испуганно и виновато улыбаясь собирающейся вокруг певца полупьяной компании... Пришел Котовский, огромный, кубообразный, красный как говядина мужик, вернувшийся недавно из *олимпийской* ссылки, — кричавший на памяти Виктора прогуливающим в Пиночете студентам: «Студенты! Идите учиться! Зря мы, что ли, гремели кандалами и махали буденновскими шашками!..» — ему было лет сорок пять... Пришел белобрысый и близорукий Евдоким, шахматист-перворазрядник, игравший прежде в зале на Нижней Масловке, на пару пива и тарелку сизых креветок, и год назад, когда он стал забывать ходы и начал проигрывать, перебравшийся — наверное, уже до конца — в Пиночет, где не играли в шахматы... Пришел Холмс — невысокий, худой, горький и тихий пьяница, с узким приятным лицом и сгнившими до корешков зубами, в клетчатой кепке с пуговицей, с неизменной книжкой за отворотом пальто, биографией очередного полководца, премьер-министра или короля — какого-нибудь сильного человека... Пришел хмурый и трезвый Пономарь: полгода назад, после бутылки красного, он зашел среди бела дня в телеателье и схватил чужой телевизор; неожиданно мягко он получил *год по двадцать*, но вместе с двойными алиментами это окончательно выбило его из колеи. Пришел пучеглазый, толстоголовый Дуб, с сонным, как будто навсегда остановившимся лицом, с длинным туловищем и короткими ногами, — неуклюжий, как затопленное бревно; он жил вдвоем с парализованной старухой-матерью и, когда к нему приходили друзья, вливал ей в трясущийся рот полстакана портвейна, чтобы она не мычала. Пришел беспалый Малей, с голубым бельмом на правом глазу, дергающийся энергичным радостным тиком, — вторую неделю не выходивший из запоя после тяжелых родов у сорокалетней жены. Пришел Отец Федор, бывший боксер, с опасным расплющенным лицом и короткими кривыми руками. Пришел Капитан Шарки, с упорно разраставшейся шишкой на перебитом носу. Пришел и ратопыренной пятерней заметался по залу Кадык, идиот с выкаченными бело-голубыми глазами и вихляющимся телом. Пришел Фонарь, с малиновым, как будто изнутри освещенным лицом, — ему мать добавляла в еду таблетки от пьянства. Пришел Кандей, высокий, красивый, зеленовато-бледный, с благообразной черной бородой. Приползла Аниська, колченогая уборщица из кафе «Весна», похожая на коричневое насекомое. Пришел Швед, распушив раннюю лысину. Пришел Шипа, друг повесившегося Букваря. Пришел унылый и тощий

Пинкертон. Пришел толстый Кактус. Пришел Бутылевич. Пришел Мишаня.

Все эти люди за много лет были ему знакомы, и почти все, подходя к разменной кассе, здоровались с ним кивком головы, — потому что он смотрел в их лица с надеждой, не отрываясь, в то же время стараясь придать своему ослабевшему лицу спокойное, доброжелательное — и независимое — выражение, — но никто, кроме Малютки Монстра и интеллигентного Кандея, не подошел и не поздоровался с ним за руку. Половина этих людей не могла, а другая и не хотела ему помочь, — впрочем, к этой другой он и сам не обратился бы за помощью: иссякающим родником в душе его уже умирало, но не умерло до конца самолюбие — жалкие остатки его молодой, страшно далекой, когда-то почти болезненной гордости... Он переоценивал себя, хотя и не хотел в этом себе признаваться: без тех полутора стаканов, которые удалось сгоношить с пахомовскими квартирьерами, он был бы не человек и поклонился б кому угодно... «Нет!» — зло оборвал он себя, закуривая новую папиросу.

Пиночет шумел, наливаясь пьяной человеческой силою, — как будто неведомая энергия шла из непрерывно мигающих автоматов. Большак, широкоплечий, большеголовый и приземистый — похожий на коренастую лягушку, — принял уже пару стаканов на грудь и бросался на пианиста Суворова с криками из популярного кинофильма: «У нас в Бразилии... очень много диких обезьян! А они как набросятся!!!» — кусал того за плечо редкими и крупными, лошадиными зубами, — Суворов слабо отбивался, с вымученной улыбкой на обвисшем щеками лице... «Я вру?! — надсаживался Корсет с опасною дрожью в голосе — заводя себя и уже начиная задыхаться. — Я вру?!» Громадный Котовский, вспомнив разорванное проклятой Олимпиадою прошлое, ревел, пробуя застоявшийся голос, — низко, как проснувшийся бык: «С-студенты-ы... Грхм-м!.. Идите учи-иться!..» Идиот стоял у туалета, выкатив мертвые глаза, и пил из кружки простую воду. За третьей стойкой, навалившись на нее животом, покачивался уже набравшийся где-то Пузырь, бодался лысой как бильярдный шар головой: «Ну-у-у... кто мне даст закурить?.. Т-тому ничего не будет...» Рядом Бутылевич, на спор со студентами, собирал поблекший от частого и грязного употребления кубик Рубика — и с похмелья не мог собрать, кривился небритым, гладко заплывшим лицом, похожим на колючую опухоль, жевал пересохшими губами... Кто-то осторожно, ребром монеты, стучал по автомату. «Ты у меня достучишься! — гремел из-за стены голос невидимого механика — как будто в огромной бочке рычало опасное чудовище. — Опустил три копейки и стоит, стучит... Выйти, что ли?!» — и казалось, если он выйдет, произойдет что-то страшное... В ближнем углу безудержно рвало бородатого Кандея; Виктор видел широкую черно-красную струю, толч-

ками бьющую в мусорную корзину. «Приморский розовый, — с тоскою подумал он. — Добро на г.... переводит...» Малютка Монстр, бегая глазами, пробирался на цыпочках сквозь густую толпу. «Эй, Монстр! — безнадежно окликнул Юрец из Керчи. — Как дела?» — «Дела у прокурора, — важно отвечал Малютка Монстр, — у нас что — делишки...» Куркин, генеральский сын, допил свое пиво и вытащил из кармана банку лососевой икры. Юрец, не в силах удержать счастливой улыбки, поспешил в сторону кассы. «Пять рублей, больше Лариса не даст, — машинально подумал Виктор. — Пара красного на двоих... Да-а...»

В центре зала вдруг расступились, образовав примыкающий к автоматам полукруг: уборщица баба Аня, выволокши из-под стойки горбатого, худого, как облетевшая ветвь, старика, била его изо всех сил ручкой ободранной метлы, пронзительно вскрикивая: «Ах, паразит! паразит! паразит!.. Бутылки воруешь?!» Ее доброе, красное, печеное лицо — лицо бабушки из сказки, от которой ушел колобок, — было искажено гримасой ненависти; калека же молча, не подымая одетой в черный суконный треух головы, тянул к себе рваную дерматиновую суму с торчавшими из прорех горлышками пустых бутылок... Пришла магомаевская старушка, с ужасом посмотрела на бабу Аню — тронула певца за рукав; Магомаев умолк на середине: «Ти-ри-ри! Ти-ри...» — поставил кружку в автомат и покорно направился к выходу. В дальнем углу роились собравшиеся наконец Пахомы: Шипа, Доллар, Балдох, Парамон, Мишаня бросали на пальцах, кому бежать в магазин; Пахом, жмурясь от удовольствия, пересчитывал пачку рублей — лохматую и толстую, как карточная колода; Земеля уже засыпал, посунувшись в воротник узловатым красно-коричневым носом... Вдалеке, в клубах табачного дыма, плавало блаженно распустившееся лицо Капитана Шарки. У входа раздался вдруг мокрый короткий треск: кто-то худой и черный, блеснув ярко-красным на сером лице, отлетел от стойки и, разбрасывая людей, с грохотом ударился в автоматы... «За что?!!» — взлетел в залпом наступившую тишину безобразный рыдающий крик. Матвей, исказившись судорогой, рвался к упавшему; Рецидив удерживал его, что-то быстро шепча синими губами. Черный человек, согнувшись и закрывая лицо, метнулся к выходу. Матвей догнал его в спину ногой — и бросился вслед, гремя турникетом; истошный крик вывалился на улицу... «За дело, должно», — округло и уверенно сказал невысокий, румяный, чисто одетый парень, налитый здоровьем и силою, и положил в рот толстый кусок колбасы. Виктор содрогнулся.

Время шло к перерыву — когда автоматы работали, но закрывался размен: кассирша Лариса, пожилая, ярко накрашенная женщина, уже перетягивала синие и зеленые пачки аптекарскими резинками. Виктор смотрел на эти пачки — их пересчитывали, складывали, ровняли, бросали в длинный и узкий холщовый мешок часто окольцованные

золотом руки, — одной бумажки ему хватило бы для абсолютного, полного — полнее уже не возможного — счастья... и никак не мог оторваться. По залу пошел усатый Игорек, администратор, скороговоркой, по обязанности покрикивая: «Не курить! Не курить! Не курить!» Сигареты лениво прятались под стойки и в рукава...

Безнадежно и медленно уходило время. Печальный Суворов, оставшись в одиночестве, считал медяки, выстраивая на замасленной стойке желтые столбики. Виктор посмотрел на него — и вдруг ярко вспомнил, как два или уже три года назад у него случились деньги и он пригласил выпить Суворова, искавшего пару своему дежурному рублю; была середина лета, в пивной стояла влажная, густая, удушливая жара, они купили три бутылки — три бомбы розового вермута по рубль девяносто две — и пошли под откос, к железной дороге... и вдруг Суворов, странно волнуясь, предложил поехать к нему домой — и Виктор, уступив этому волнению, согласился. Они сели в трамвай и приехали на тихую зеленую улицу, тесно застроенную двух- и трехэтажными, розовыми и желтыми аккуратными немецкими домиками, с полукруглыми арками, эркерами и башенками по углам. Суворов занимал большую комнату в первом этаже, на которую одновременно покушались его бывшая жена и живущие с ним соседи: ходили по очереди к участковому, обвиняли Суворова в пьяных скандалах, просили отправить его в колонию или на худой конец в ЛТП — поддерживая и ненавидя друг друга... и перед Олимпиадой добились своего, хотя Суворов был тихий толстый человек и мухи никогда не обидел. Центральное место в комнате занимало выделявшееся своим ухоженным видом, хотя и облезшее по углам пианино; на нем стояла лакированная фотография мальчика лет десяти, с острыми ушами, — суворовского сына, который жил с матерью, у родителей бывшей жены, и с которым отцу не давали видеться... Они сели и выпили по стакану и вдогонку еще по одному — и Суворов вдруг покраснел и предложил неуверенно: «Хочешь... что-нибудь сыграю?» Виктор с радостью согласился: он любил музыку, хотя давно уже не слышал ее, это было необычно, это возвышало их встречу в его глазах — одно дело просто пить, другое — пить и играть... на фортепьянах, — превращало заурядную выпивку в эпизод красивой, тонкой, даже артистической жизни... Суворов заиграл и играл долго и быстро, иногда заметно ошибаясь и делая при этом мучительное движение головой, — и по тому, с какой непостижимой легкостью порхали над клавиатурой его толстые, всегда неуклюжие руки, как уверенно и сильно постукивал он педалью, как в такт музыке послушно вздрагивало и плыло всё его большое круглое тело, — казалось, что эти странные, сложные, порождающие звуки движения для него так же навсегда привычны, естественны, бессознательно точны, как привычны и естественны его движения, когда он курит, ест, пьет, наливает себе стакан... Виктор слушал и

смотрел — и по-доброму, радуясь за него: что вот Суворов умеет так, а он нет, — слегка завидовал... Суворов играл минут десять или пятнадцать — не забыв о Викторе, потому что время от времени он поднимал толстую лохматую голову и взглядывал на него, а, видимо, начав играть и услышав, как он играет, сразу поверив и поняв, что это не может не быть хорошо, — играл какие-то простые и светлые, казалось, совсем не подходящие для его жизни и для него неожиданно радостные мелодии — и вдруг запел сильным, чистым, на слух Виктора — оперным тенором, — тем более удивительным после того глухого, даже хрипловатого голоса, которым он в Пиночете каждое утро задавал свой обычный вопрос: «Рубль есть?..» Виктор помнил и сейчас, что песня была о растаявшей Снегурочке; аккорды звучали ясно и звонко, как падающая с крыши капель, мелодия переливалась ручейком, сверкающим на солнце, и счастливый, ласковый голос Суворова плыл вместе с ним, как бумажный кораблик... Суворов остановился, слегка задыхаясь, и повернул к нему багровое, толстое, с тройным, переходящим в грудь подбородком, сразу растерявшееся лицо. Виктору песня понравилась, он слышал ее в первый раз, и она была ничуть не хуже, даже, наверное, лучше — ярче, искреннее — многих тех, которые передавали по радио; по наивной и радостной простоте музыки и слов она похожа была на детскую песенку — такую, которая трогает и радует не так детей, как взрослых... Уже подозревая, он спросил Суворова, что это такое; Суворов, не справляясь со свистящей одышкой, своим обычным глухим, как будто умершим голосом быстро сказал: «А это написал я... Ее два раза исполняли по радио!..» Виктор, к тому времени уже сам потерявший всё, посмотрел на него с жалостью и болью — и после этого все те несколько часов, в продолжение которых они играли, пели и пили, расхваливал и превозносил смущенного, важного, с радостной гордой улыбкой протестующего — счастливого — Суворова... с горячностью, с искренним жаром ругал за то, что он бросил писать и петь, — и это Суворову тоже было приятно, и он пренебрежительно, с видом сделавшего свое дело и по своей воле отошедшего от дел человека махал толстой рукой; яростно, веря уже себе, убеждал уже тоже пьяного, чувствующего себя прежним — значительным и молодым — бывшего музыканта, что еще не всё — даже еще ничего — не потеряно... Всё это он вспомнил сейчас — глядя на Суворова, считавшего на стойке медяки, — и подумал при этом, что, несмотря на ту памятную и все последующие встречи, просить у него хотя бы гривенник бесполезно: Суворов и раньше отличался нервной, какой-то стыдливой скупостью — а сейчас, когда его выгнали из «Диеты» и он жил неизвестно чем, скупость его переросла в жадность и достигла невероятных, болезненных размеров; даже две копейки, позвонить, он давал с заметным внутренним трудом и чаще отговаривался неимением...

Виктор опять закурил, не чувствуя уже ничего, кроме кислого вкуса табака и сухого жжения в горле: он очень много курил — нервы его не выдерживали неподвижного ожидания... Размен закончился. Лариса поднялась, сверкнув золотыми руками, и захлопнула окно перед носом Суворова, несущего свои медяки; тот вздохнул и пошел менять по рядам, протягивая горстью сухую дряблую руку. На подоконнике похрапывал бледный, как рыбье брюхо, Кандей, поникнув окладистой бородою. Рядом с ним, над тремя полными кружками, застыл черный полковник Блевот, окаменев тяжелыми, наползающими друг на друга складками свирепого лица в глубоком опохмеляющемся бездумье... Малютка Монстр нервно зевал маленьким острым ртом — быстро и часто, как замерзающая собака. Пахомы опять разливали. Виктор ждал.

Можно было попытать неверного счастья у Пахомов (банковал как всегда Пахом, разливая на десять человек по сто пятьдесят всем поровну и непостижимо оставляя себе полный с верхом стакан), но Виктор хорошо помнил сегодняшнее свое унижение, когда подошедший к одиннадцати Пахом, не скрываясь, на его глазах пересчитал деньги — всего около трех червонцев, — потом сунул ему свою пухлую, розовую, равнодушную руку и, посмотрев на Земелю, Доллара и Чечмаря, весело сказал: «Ну, давай, Витек», — попрощался на сегодняшний день — хотя куда, кроме Пиночета, они могли возвратиться?.. Из туалета вышел Пономарь, блестя свежевымытым мокрым стаканом. Виктор с надеждой смотрел ему вслед: у стойки его ожидал беспалый Малей, содрогаясь нетерпеливым яростным тиком — как будто чья-то рука комкала его лицо изнутри. Года два назад Виктор часто пил с Пономарем, с которым хорошо было пить: Пономарь был молчун, но молчал доброжелательно и спокойно, и серые глаза его за разбитыми стеклами очков смотрели рассеянно и грустно, — но потом они расстались: двум нищим стало трудно выжить в одной компании... Пономарь жил в доме напротив пивной, в комнате на девятом этаже с окном к Пиночету; в неверные дни, в праздники или в воскресенья, к нему часто звонил поутру кто-нибудь из состоятельных команд Пахома, Корсета или Блевота — узнать, открылся ли Пиночет, — и если Пиночет был открыт, у него появлялась надежда получить стакан за информацию. В комнате у Пономаря стоял обгоревший пружинный матрац, на четырех кирпичах вместо ножек, висела пыльная слабая лампочка без абажура и у окна, соединенный с проводом радиоточки, попискивал телефонный наушник... Пономарь вернулся за стойку — и беспалый Малей, жмурясь и быстро пожимая плечами, вытащил пузырек с небесно-голубой жидкостью. Виктор отвернулся: это была «Ризоль», эмульсия для мытья окон — тошнотворный напиток, от одного запаха которого его могло вырвать — той драгоценной парой стаканов, которые еще жили у него в груди и поддерживали его на ногах... Оставался Змей — бледный, худой, похо-

жий на ожившую мумию, непревзойденный мастер таскать из составленных в магазине ящиков пустую посуду; позавчера он выручил Змея не пустяком — сорока копейками... но сейчас рядом с ним прочно стоял квадратный Отец Федор, бывший боксер, с лицом бесчувственным и жестоким, с едва начатой кружкой пива в короткопалой бугристой руке, на прошлой неделе зло сказавший ему, Виктору: «А тебя, хромой черт, чтоб я больше в Пиночете не видел. Увижу — вторую ногу оторву! Где аршин, б...?!» Виктор помнил, как он стоял и молча смотрел на расплющенное, безносое, покрывшееся красными пятнами круглое бритое лицо — и терзался страхом и бессильной яростью... Сказано это было в сердцах и по ничтожному, несправедливому поводу — из-за пустого стакана, который Виктор одолжил у Отца Федора и за которым не усмотрел, — и на деле не таило в себе реальной угрозы: в Пиночете тоже были свои, все-таки человеческие законы, и даже Отец Федор не стал бы их преступать, ударив калеку... И всё равно слышать это ему было мучительно больно, тоскливо, тяжело — и было жалко, что рядом не оказалось Тиши, старого друга, в присутствии которого эти оскорбительные, жестокие, непоправимые слова никогда бы не были сказаны.

Ведь у него тоже были друзья — Бокс, Тиша, Кадет, — которыми он, чем слабее становился он сам, тем сильнее гордился. Их отношения были недосягаемы для абсолютного пиночетовского большинства: они пили, не считаясь между собой, они всегда пили поровну, а когда у них не было денег, они не пили совсем. Никто из них не согласился бы уйти, если бы его позвали со стороны выпить за пределами Пиночета: в «Ресторан Шпалы», на Покровские пруды, в кафе «Весна» через дорогу, — выражаясь на пиночетовском арго, «обрубить хвосты и уйти с концами». «Пойдем выпьем, Бокс, у меня есть на пару пузырей», — приглашал уважавший Бокса Корсет. «Я не один», — отвечал мускулистый, насмешливый, уверенный в себе Бокс, оглядываясь на виновато улыбающегося Кадета. Многочисленные Пахомы, всегда готовые разбежаться при виде чужой бутылки, смотрели на них с тем недоверчивым, завистливым уважением, которое вызывает недоступная добродетель. Это была дружба, истинную цену которой могли понять только в Пиночете и на которую — если бы судьба предоставила им жестокую возможность так низко пасть — едва ли были способны те нормальные, непьющие, мимо пивной проходящие люди, которые своих знакомых называли друзьями. Бессмысленно и несправедливо было умалять эту дружбу тем, что родилась и жила она в грязи, зловонии, в табачном дыму, над стаканом плодово-ягодного вина и кружкой разбавленного пива, — в дешевой пивной, последнем круге советского общежития: каждому свое — и подобно тому, как дружба солдат проверяется на войне, женщин — в примерочной магазина, детей — в песочнице с любимыми игрушками, так дружба сильно пьющих людей естественно проверяется в пьянстве: это их жизнь.

В последнее время Виктор со страхом стал замечать, что воля его слабеет: половину поднесенной ему дозы он без колебаний оставлял товарищу, но предложения уйти одному ждал как приглашения на казнь — он не был в себе уверен... Он знал, что друзья не отвернулись бы от него: он сам бы от себя до конца отвернулся. К счастью, уже давно никто не предлагал ему выпить за углом — и навряд ли уже предложит...

Впрочем, и поддерживающая его в этом мире команда тоже неуклонно слабела. Кадет, живший в подмосковном Щелкове, терял уже силу и приезжал только тогда, когда у него было не меньше червонца — не надеясь на Пиночет, — а это случалось всё реже и реже. Бокс, уступая безысходному, болезненному отчаянию матери, часто лечился; и хотя после этого он всякий раз уходил в еще более тяжелый, безнадежный запой, но в нем что-то переломилось — и, мучаясь затянувшимся похмельем, он всё чаще говорил о спирали... С такими мыслями каждый тяжелый день мог оказаться для него в Пиночете последним... или первым шагом в новую, незнакомую, давно оставленную им жизнь. Только Тиша еще держался — благодаря железному здоровью и несокрушимому спокойствию, — но и он работал, настилал где-то кровли и приезжал в Пиночет много через день. Виктор чувствовал, что останется скоро один, и это было страшно; это же чувствовал, наверное, и Отец Федор, никогда не любивший Виктора и еще лет десять назад, когда Виктор по-настоящему начинал пить, насмешливо называвший его «студентом»: иначе бы Федор не осмелился из-за пустяка так разговаривать с ним — в Пиночете, где вино воскрешает даже забытые обиды...

Его начинало слегка тошнить — от дыма сигарет, от запаха кислого пива и жженого рыбьего пузыря, от вида разбросанных по столам рыбьих блестящих внутренностей, над которыми, низко гудя, кружились первые, еще сонные мухи, — от безнадежности, от тоски, от неуверенности в себе, от сознания собственного ничтожества... Было стыдно стоять без кружки, как Шлёп-нога, — ловить равнодушные, иногда брезгливые, редко сочувственные взгляды; хотелось закрыть или опустить глаза, одним движением уйти из этого чужого, безобразного и в то же время так быстро — после одного стакана! — способного ярко измениться мира... Но нужно было стоять и смотреть на вход — чтобы не пропустить человека, который по душевной простоте или из-за старого одолжения не смог бы ему отказать, но мог повернуться, избегая его, и уйти в малый зал, видя, что остался незамеченным... Хоть бы кто-нибудь попросил у него закурить! В ответ можно было спросить двугривенный: человеку, взявшему папиросу, неудобно было бы ему отказать — хотя стоила папироса копейку... Но папиросы его были никому не нужны: работяги еще не хлынули с работы, и почти все вокруг курили явскую «Яву», которую за тридцать пять копеек — сверху пятачок — продавали из-под прилавка на углу, в табачном магазине.

Мысль о том, чтобы поехать домой, вызывала у него содрогание: заснуть он бы не смог, а остаться наедине со своими мыслями — даже не мыслями, мыслей не было, были тягучие, унылые, смутные образы, неуклюже, как ослепшие звери, ворочавшиеся в него в голове, — остаться с ними дома, в своей комнате, среди стен и вещей, которые всё помнят и будут плача кричать о прошлой, далекой, наверное, счастливой — он уже забыл — потерянной жизни... страшно было подумать. Год назад так и ушел из Пиночета Долей — трезвый, казалось, спокойный, с неподвижным бледным усатым лицом; пришел домой — и открыл себе вены...

Прошел еще час. Открылся размен; к нему выстроилась длинная, хрустящая бумажками очередь. Включился вентилятор, подвешенный к закопченному потолку пропеллер о трех лопастях, одна из которых была оторвана — отчего он вращался наклонясь под углом, как падающий волчок, нетвердыми, задыхающимися движениями; Виктору всегда и с похмелья особенно ярко казалось, что он вот-вот оторвется и упадет — рухнет на человеческую толпу, кромсая ее длинными, острыми, как ножи, лопастями... Он посмотрел наверх: двурогий вентилятор бился в медленных судорогах, с трудом разгребая табачный дым, который уже в десяти сантиметрах от концов лопастей даже не шевелился. Вдруг у него закружилась голова. Он оттолкнулся от стены, постоял с минуту, удерживая равновесие, — и медленно пошел к выходу, упирая палку в скользкий, залитый пивом и заплеванный пол. Было очень душно.

— Эй, студент!

Он вздрогнул — все чувства его сейчас были беспомощно и беззащитно обострены — и остановился.

Отец Федор смотрел на него блестящими круглыми глазами из глубины ярко-красных, глянцевитых, как будто обожженных глазниц, — смотрел доброжелательно и спокойно, и сердце Виктора, забыв обо всем, дрогнуло и потянулось ему навстречу.

— Ну, ты чего, как г.... в проруби, болтаешься? — добродушно спросил Отец Федор, улыбаясь красногубым ртом, отчего под глазами его вспухли крепкие красные яблочки. — По рублю — и в школу не пойдем?

— Я, Федя, на мели, — горячо сказал Виктор. — Одолжи рубль... до пятницы. Я отдам.

В пятницу ему должны были перевести пенсию. Пенсия — он стеснялся и никогда не произносил этого слова.

— Рваный? — легко спросил Отец Федор, и у Виктора перехватило дыхание. — А вот... прижми-ка к животу локтем правую руку.

Машинально — весь во власти этого вкрадчивого, мягкого, с пренебрежением сказавшего о рубле голоса — Виктор переложил палку и прижал руку. Вышел непристойный жест. Два широкоскулых, коротко стриженных, похожих друг на друга и на Отца Федора мужика, стоявшие рядом с ним, крепко и радостно засмеялись.

— Вот тебе и рубль, — сказал Отец Федор.

Виктор не обиделся — на это у него не достало сил: как будто упал он на дно глубокого колодца, сильно расшибся и, готовый умереть, закрыл руками лицо, чтобы не видеть над головой голубое чистое небо... Два облокотившихся на стойку студента — почти мальчики, розовые и свежие, с мягко опущенными подбородками, — исподлобья смотрели на него: один, плотный и крепкий, как молодой бычок, — брезгливо и насмешливо, второй, с воздушным облаком светлых волос и сам светлый и тонкий, как подросток березы, — с физическим как будто страданием... Он молча повернулся и пошел прочь, не разбирая дороги. У автоматов он налетел на чью-то мягкую широкую спину и чуть не упал. Человек с широкой спиной оглянулся.

— ...!

Толстый Кактус, с мясистым, усатым, добродушно нахмуренным лицом, пробирался через толпу, держа в каждой руке по две кружки золотистого, чуть красноватого, как будто освещенного изнутри — янтарного — пива...

— Ты что, ослеп?! Разуй глаза!

— Здравствуй, Кактус, — сказал Виктор. — Прости.

— Бог простит...

Кактус посмотрел на его лицо и вдруг остановился.

— Болеешь, бродяга? — Он поднял правую руку. — Жетона нет, на, отхлебни двадцать грамм... Вот эта моя.

Виктор, чуть не плача, опустил губы и нос в прохладную, ласково-колючую, благоухающую пену.

— Ну, ну, будя!

— Спасибо, тебе, Серега. — Он вытер рот дрожащей рукой. Судя по тому, что Кактус сказал, и по тому, что наливал он пиво для всей компании, он сам сидел на хвосте, — и не пожалел, поделился... Виктор вышел в короткий коридор. У турникета, ослабив ногу, неподвижно стоял Гуноил — с неестественно бодрым лицом и умоляющими глазами. «Дай...» — начал Гуноил и осекся и пожал ему руку. На крыльце подсыхала черная лужица крови. Он медленно спустился по щербатым ступеням, держась за холодный поручень. На бордюре вентиляционной отдушины сидели те, кто уже ничего не ждал: Цыган, Шлёп-нога, Арлекин, Каракуль... Его место было теперь рядом с ними.

...Каракуль пробормотал что-то и встал, отряхивая мешком висевшие брюки. Виктор не шевельнулся. Взгляд его, бессильно и медленно блуждающий по дороге, споткнулся и ушел в глубокую трещину, расколовшую серый асфальт; на дне ее мерцала вода, он погружался и тонул в ее черном и влажном мраке, и не было сил вырваться из этой маленькой, весь мир поглотившей бездны — казалось, кончится жизнь... Каракуль уходил к трамваю нетвердой, слабой — неживой — походкой.

Виктор закрыл глаза и открыл их через минуту; солнце светило, но день был неподвижен и сер. Без всякого желания закурить он вытащил пачку «Беломора». Цыган прохрипел сорванным голосом: «Угости папироской, Витя», — он, не имея сил отказать, с досадой протянул ему папиросу и закурил сам. Папироса раскурилась неровно, черный язык горящей бумаги добежал почти до самого мундштука; он вспомнил машинально примету: кто-то в меня влюбился — не усмехнувшись даже про себя. Автоматически он поднял руку, чтобы взглянуть на часы, и тут же опустил, вспомнив, что у него нет больше часов, — и при этом воспоминании на него водопадом хлынула такая тоска, что он стиснул зубы и тихо застонал — неслышно в шуме и суете улицы:

— О-о-о-о...

Часы были еще позавчера, часы «Полет» в высоком хромированном корпусе, с окошком-численником на ярко-синем циферблате и тяжелым браслетом из нержавеющей стали, — последняя настоящая вещь, которая оставалась у него в этой жизни. В Пиночете между человеком с часами и человеком без часов лежала пропасть — пропасть психологического, а не материального характера: никто об этом не говорил и никто по этому признаку своего превосходства или уничижения не выказывал, но было ясно, что человек с часами еще держится и может еще подняться — потому что потерявший себя человек пропил бы бесполезный для него механизм в первое же похмелье. У Виктора были часы — хотя бы этим он еще держался.

Отец с матерью подарили ему эти часы на тридцатилетие. Он помнил тот день: на скромном своем юбилее он почти не пил, сидел во главе праздничного стола с матерью и отцом и двумя старыми, еще со школьной скамьи друзьями — все эти годы пытавшимися вернуть его в жизнь и только сейчас его навсегда оставившими, — сидел в белой рубашке и галстуке, в новом темно-синем костюме, от которого сейчас остался этот грязный обносок, в новых часах, приятно холодивших запястье; он был почти счастлив, перед этим два или три дня он случайно не пил, — протрезвевший, спокойный, уверенный в том, что прошлый весь кошмар позади и завтра будет новый день, новая жизнь, работа, которую предлагал отец — почти не изменившийся за последние годы высокий, седой, сильный человек с крупным мужественным лицом и неожиданными на этом лице мягкими, как будто виноватыми глазами, — завтра будет новая жизнь, и массивные, звучно тикающие новые часы казались ему в том верной порукой... Жизнь пошла дальше вниз — но четыре долгих года он гордился и держался своими часами.

Самое страшное — это не похмелье, которое можно еще пережить, перележать, переспать — в полусне-полуобмороке, зарывшись лицом в пропитанную потом подушку; самое страшное — опохмелиться и к вечеру недопить, когда тело оживает, а душа начинает рваться на части,

требуя забвения... Третьего дня вечером за пятнадцать рублей он продал свои часы грузчику из рыбного магазина — и грузчик еще торговался, делал вид, что не хочет брать, и пришлось на вонючих бочках пить с ним бутылку. Часы с браслетом стоили сорок пять — хотя, конечно, не в этом... Эх, и в этом тоже было дело.

Последняя нить прервалась с часами.

Против своей воли он медленно перевел взгляд на бесполезно открытую дверь винного магазина — и сильно вздрогнул. Он еще не верил своему необыкновенному, сказочному, сумасшедшему счастью, но сердце его радостно забилось.

Тиша!

Тиша стоял к нему спиной, в хорошо знакомой оранжевой рубашке, обтягивающей худые широкие плечи, в кримпленовых тесных брюках и неожиданных для ранней весны сандалиях, — неожиданных потому, что на земле стояли еще холодные лужи, но это были старые Тишины сандалии, набранные крест-накрест полосками светлой кожи, без задника, перехваченные на щиколотке вытертым ремешком. Соломенные Тишины волосы далеко спадали за воротник — Тиша сильно лысел со лба и, зачесывая справа и слева лысину, долго не стригся. От всей его статной малоподвижной фигуры веяло таким покоем, такой силой и уверенностью, что Виктор физически ощутил, как эти сила и уверенность передаются ему и наполняют своей энергией его опустошенную, измученную душу... И самое главное, что он увидел в первую секунду — и отчего весь мир вокруг него ярко вспыхнул, заиграл весенними цветами и звуками, — были две бутылки портвейна, которые Тиша небрежно держал в правой руке, пропустив горлышки между пальцами.

Виктор вскочил, забыв о палке; слабость его как рукой сняло. Приехал Тиша, старый добрый друг, никогда не оставлявший его в беде. Как он не заметил его раньше! Почти не хромая, он пересек улицу и поднялся на тротуар. Цыган с тоскою смотрел ему вслед. Тиша — обернулся.

...Это был не Тиша.

Он остановился на полном ходу и чуть не упал. Толстый мужчина в шляпе, брезгливо опустив глаза, далеко обошел его стороною. Высокий белобрысый парень с круглым румяным лицом равнодушно смотрел на Виктора. Другой парень, такой же высокий и молодой, вышел из магазина и хлопнул белобрысого по плечу, — они повернулись и пошли прочь, в сторону железной дороги. Повернувшись спиной, парень вновь превратился в Тишу; Виктор машинально сделал шаг вперед.

Он стоял, покачиваясь от слабости, не в силах оторвать глаз от оранжевого пятна Тишиной рубашки; он даже не сразу заметил его исчезновение — другое, длинное и узкое, темное пятно заняло его место и теперь медленно двигалось к Виктору, увеличиваясь в размерах и по

мере своего приближения, как в детском калейдоскопе, рассыпаясь на отдельные цвета и фигуры. Хрусталик Виктора, инстинктивно следивший за невидимым уже парнем с бутылками, с усилием отбросил от себя угол дома и обреченно перестроился на близкое расстояние. Прямо на него шла красивая, молодая, очень знакомая ему женщина в коротком голубом платье и темно-синем, с белыми оторочками, широко распахнутом плаще.

Его глаза уже видели и, быть может, уже узнали эту женщину, но его Я, его раздавленное катастрофой сознание, его душа, как будто скорбно смотревшая со стороны на свою жалкую, погибающую оболочку, еще не успела ее узнать. Это было слишком давно, прошло десять лет — и сопротивлялся изо всех сил бесчувственный мозг, застывший в убеждении, что больше они никогда не встретятся. Женщина шла, слегка про себя улыбаясь, — не замечая высокой сутулой фигуры, застывшей у нее на пути. Их разделяла большая неглубокая лужа, истаивающий след недавней капели. Женщине надо было сделать шаг в сторону, чтобы ее обойти; она навсегда прошла бы мимо — он бы ее не окликнул... Но она рассеянно ступила на хрупкое водное зеркало изящной лодочкой на высоком каблуке и пошла прямо. Они неизбежно должны были встретиться. Они встретились.

Он уже знал, что это Наташа.

Взгляд ее выразил мгновенное бессознательное неудовольствие — натолкнувшись на небритого инвалида, преградившего ей дорогу, — и вдруг задрожал. Он увидел в нем испуг, удивление, потом уже не испуг, а страх — и первое ее быстрое инстинктивное желание уйти или проснуться: пройти заново короткий кусок жизни другой дорогой, на которой им не суждено будет встретиться. Он не чувствовал ничего — он окаменел, чувства его оставили, собравшись где-то вне его и как будто поджидая минуту, когда он совсем ослабнет и можно будет разом на него наброситься. Он стоял без движения и смотрел на нее.

— Витя?..

Она... она совсем с того времени не изменилась — как будто вчера была с ним и пришла на следующий день. Через десять лет. Совсем не изменилась — не такая же, а та же самая короткая стрижка, тех же пепельно-серых, слегка вьющихся волос; те же огромные серо-голубые, почти круглые детские глаза — глаза удивившегося ребенка; те же глубоко вырезанные, бледно-розовые... нет, сейчас они были накрашены ярче — губы...

Весь ее облик, поглощающий отдельные черты, — рожденный тысячью неуловимых черт и движений, — совсем не изменился. Он смотрел на нее завороженно. Он забыл всё, что было с ним эти десять лет. Как будто ничего не было.

Он опять встретил ее. Ему двадцать три года. Перед тем как идти к Наташе, он заглядывает в зеркало: навстречу ему по-зеркальному сурово

смотрит высокий парень с тонким немного бледным лицом, которое обрамляют до плеч сильно вьющиеся темные волосы. Вся его жизнь — Наташа. Даже когда ее нет, она превращает каждый его день в нетерпеливое радостное ожидание. Ее любовь дарит ему ощущение постоянного, полного, ни от чего больше не зависящего счастья, которое на всё вокруг бросает свой счастливый ласковый отблеск: на его недавно защищенный диплом заурядного технического института, значение которого необъяснимо возрастает в его глазах и становится рядом с физтеховским или университетским дипломом; на его рядовую, едва оплачиваемую должность инженера, в которой он начинает видеть лишь первую ступень на пути к головокружительному успеху; на его унылый двенадцатиэтажный дом и старый парк по соседству с домом, в центре которого, отталкивая старые липы, уродливо торчит серая коробка кинотеатра; дом и коробка уродливы — но вечерами, когда они с Наташей гуляют по сумрачным липовым аллеям, уходящее солнце чудесно окрашивает их в мягкий розовый цвет... Он всё время думает о Наташе; он громко и часто беспричинно смеется. Он так радуется своей молодости, своей неправдоподобно прекрасной жизни, что иногда его посещает предчувствие беды...

Она смотрела на него застывшими, спрятавшимися внутрь глазами. Странно, что она узнала его: сутулая, страшно худая, сломанная в пояснице фигура; далеко полысевший лоб, по обе стороны которого рассыпались длинные, прямые, слипшиеся сосульками волосы; угреватый нос, тронутый мелкой сетью красноватых прожилок; глубоко запавшие под глазами, одутловатые на скулах бледные щеки, заросшие редкой зеленоватой щетиной... Он не видел себя со стороны, но что-то внешнее, быть может, ее глаза, вдруг толкнуло его. Он медленно повернул голову, с трудом оторвавшись от ее лица: в темном зеркале витрины стоял и смотрел на него костлявый немолодой человек, одетый черным каким-то мешком, на тонких ногах с отвисшими коленями брючин, по-стариковски обеими руками вцепившийся в тонкую старушечью палку... Он не почувствовал страдания — он очнулся.

— Здравствуй, Наташа.

Она со страхом смотрела на него, подрагивая свежими, яркими — молодыми — губами.

— Здравствуй...

Они очень долго молчали.

— Как твои дела?

Она испугалась своего вопроса. Он молчал, не зная, что говорить.

— Я в порядке, — наконец сказал он — и на мгновение ощутил прилив упрямой, самоубийственной гордости. Неожиданный луч вдруг высветил в сумерках его памяти окровавленного шерифа из старого, очень старого фильма «Погоня»; шерифом был несравненный Марлон

Брандо, он стоял в дверях полицейского управления в залитой кровью белой рубашке и, пристегивая к поясу кольт, бормотал разбитыми губами: «Я — в порядке...» Фильм его счастливого, ни о чем не подозревающего детства. Опять они молчали.

— А... где ты работаешь?

Она опять растерялась. Голос ее совсем не изменился.

Он тяжело тряхнул головой — тупая боль с двух сторон ударила его по вискам. В сущности, не всё ли равно?

— Я нигде не работаю... Я — пью, Наташа.

«Она не знает, что произошло, — медленно подумал он. — Сейчас она уйдет — и никогда не узнает этого. Зачем ей это знать?»

Наверное, ей было трудно смотреть прямо на него своими широко открытыми, детскими глазами — и она чуть наклонила голову и теперь смотрела исподлобья; на ее лбу проступили две или три слабые, страдальческие морщины. Она переложила из руки в руку яркую сумку с желтыми на синем цветами, из которой торчал пакет молока и смотрела голова плюшевого медведя.

— Я... пойду?

«Она так и запомнит меня на всю жизнь, — подумал он — и при этой мысли испытал даже торжественное какое-то чувство, чувство упоения своим прошедшим и будущим страданием. — Как я любил... как я люблю ее. Она до сих пор не знает, что я не виноват. Она думает, что я подлец... что я просто развратная скотина. Я не хочу».

Прошло десять лет и вся жизнь, чтобы он мог ей это сказать. Сейчас — сейчас это было можно. Было уже поздно.

— Подожди... Я хочу сказать тебе одну вещь.

Ему сильно хотелось курить — но он вспомнил, как десять лет назад они с Наташей курили «Яву», «Столичные», «Золотое руно»... белоснежные сигареты с оранжевой полоской фильтра, в красивых блестящих коробках, — и не стал при ней доставать мятую грязную папиросу. «Ей же будет больно, — неожиданно подумал он — охваченный в то же время страхом, что она может повернуться и навсегда уйти. — Ей может быть больно — но я не могу... я не могу не сказать. Кто знает, что может случиться? Я хочу, чтобы она меня помнила».

Мимо них проходили люди, с подозрительным и радостным любопытством разглядывая бродягу неопределенного возраста и молодую красивую женщину, одетую просто и дорого. Сержант Барковский, согнав с вентиляционной отдушины Арлекина, Цыгана и Шлёп-ногу, остановился в нерешительности: он не терпел Хромого, который из-за своей инвалидности стал неуязвим для ЛТП, и хотел загнать его в пивной зал, чтобы он не портил внешнего вида улицы... но странное выражение лица женщины его останавливало.

— Какую... вещь?

— Сейчас.

Он поднял глаза и посмотрел на уже повернувшее к закату солнце. Солнце было всегда, но и оно за эти годы изменилось. Он чуть смежил веки. Мир потемнел; он не видел уже ни улицы, ни Наташи.

...Они летели в Иркутск вчетвером: заместитель начальника отдела Карташов, наладчики Строков и Полищук — и Виктор, для которого как для молодого специалиста эту командировку посчитали полезной. Срок командировки Карташов на глаз определил в неделю; Виктор, как самый молодой, поехал за билетами и взял в оба конца.

Через неделю его ждали дома мать, отец и Наташа... машинально он всегда думал «Наташа, мама, отец»; мать, впрочем, не ждала — накануне у нее случилась горящая путевка в Кисловодск и через два дня она должна была ехать.

Пока Карташов ходил по этажам, оформлял бумаги и хлопал по плечам старых знакомых, наладчики быстро нашли неисправность. Командировка этим была закончена: сгоревший итальянский модуль заменить было нечем, линию законсервировали, Строков написал заключение, Карташов бегло его прочел, поставил две запятые и подпись — и станция отправила срочную заявку в Москву. На третий день они были уже свободны.

Если бы не Карташов, он просидел бы в Иркутске неделю — и жизнь его пошла бы совсем по другому пути... Строков и Полищук, веселые тридцатилетние мужики, вовсе не спешили в Москву: Саша Полищук, которого звали в отделе Многощукиным, больше всего на свете любил выпить вдали от дома и потому из командировок не вылезал, а Строков и вовсе был холостой. Виктору, который скучал о Наташе, возразить им было нечего; впрочем, он уважал и того и другого и с ними был не прочь *посидеть*. В командировке, которая тем более сближает людей, чем дальше они от дома, и руководитель группы — если бы на месте Карташова был не Карташов — тоже скорее всего позволил бы себе отдохнуть три дня с подчиненными. Но Карташов рвался в Москву — с нетерпением, неожиданным для его заскорузлой административной натуры: в Москве у него осталась молодая жена — вдвое моложе его и недавно вышедшая за него замуж... Поэтому Карташов на третий день сам пошел в дирекцию и из полагавшейся станции брони поменял билеты. Наладчики даже не стали пить — чтобы не растравлять душу.

Виктор позвонил в Москву. Сначала он позвонил Наташе: до сих пор они не расставались ни на один день, и за четыре дня он безумно по ней соскучился. От Иркутска до Москвы было семь часов лёта, но их почти съедали пять часов разницы во времени — самолет улетал от солнца. Он позвонил Наташе, когда в Иркутске стояла глубокая ночь, в Москве же был поздний вечер; одну за другой он опускал в автомат пятнадцатикопеечные монеты, не в силах прервать разговор. Он прилетал в девять часов

утра и в одиннадцать уже должен был приехать домой; она заканчивала работу в шесть и в семь обещала быть у него. «Я не пойду в институт», — она училась на вечернем; он запротестовал для вида.

Он не дозвонился домой. Мать была уже в Кисловодске — по слабости здоровья она часто отдыхала без отца, если случалась путевка в хороший санаторий. Отец к телефону не подошел: в Москве время близилось к полуночи, кроме того, он мог сразу выключить телефон, как только пришел с работы: ему почти никто не звонил, это матери звонили не переставая.

В самолете Виктор не спал: в Омске была пересадка, а он не мог спать урывками. Он читал газеты, украдкой рисовал карикатуры на Карташова — он хорошо рисовал — и думал о Наташе.

Уже месяц спустя после знакомства с ней он понял — почувствовал, — что жить без Наташи ему нельзя, и стал думать о свадьбе с тем жадным и радостным нетерпением, с которым не искушенный ни в жизни, ни в любви молодой (или даже искушенный и несмотря на это потерявший голову немолодой) мужчина мечтает о браке с любимой женщиной, видя в нем залог счастливого и вечного обладания. Случайные события и соображения, не имевшие ничего общего с его любовью, всё время откладывали решительный момент: болезнь матери, сессия Наташи, однокомнатная кооперативная квартира, которую каждый день и уже второй год ожидал получить отец, надежда Виктора на обещанное повышение оклада — сто пятьдесят рублей в месяц было все-таки лучше, чем сто двадцать пять... Сидя в самолете, он вспомнил всё это и вдруг испытал прилив раздражения. Какая ерунда мешает счастью! Всё, хватит. Завтра... нет, к сожалению не завтра, а послезавтра, в субботу, они подают заявление.

Он любил ее. После того как полгода назад они стали близки — он стал ее обожать. Наташа была девушкой — «девочкой», говорил он про себя; сознание того, что он первый в ее жизни мужчина, принесло в его любовь столько нежности, заботы и беспокойства, что страсть его превратилась в мягкое, осторожное чувство. После близости его часто охватывало ощущение непонятной вины: ему казалось, что *это*... слишком грубо по отношению к ней, к ее слабому, чистому, беззащитному телу. И еще — иногда, против воли своей, он думал о том, что *это*, и, наверное, так же точно, как и они, делают и все другие люди, — и эта мысль была ему неприятна: ведь у них с Наташей всё было, должно было быть совсем не так, как у других, и сами они были — совсем другими... И тогда, нечаянно взглянув на себя со стороны, он сам удивлялся этим неожиданным в нем — для себя самого — движениям своего сердца.

Он любил — и ему хотелось, чтобы и все близкие ему люди ее любили. Отношения матери и Наташи причиняли ему страдание. Он любил и бесконечно жалел мать, больную слабую женщину, в которой видел

идеал женской души; в своей любви к Наташе ему казалось, что и она идеал, хотя поставить ее рядом с матерью ему никогда не приходило в голову. Чем хороша Наташа, кроме того, что он ее любит, он естественно никогда не задумывался. Она была очень хорошая.

Мать работала врачом в Морозовской больнице. Пять лет назад Виктор зачем-то приехал к ней в отделение и попал на обход. Он увидел мать в больничном коридоре, рядом с двумя или тремя врачами много моложе ее; она увидела его и позвала радостно и нетерпеливо. Он подошел. Мама представила его с плохо скрываемой гордостью, лицо ее порозовело. Она была не похожа на себя — в белой шапочке и в белом халате, из кармана которого торчали наушники стетоскопа, — и, когда она входила в палату, на лице ее появлялось непривычное бодрое, веселое выражение. Она входила — и палата взрывалась детскими криками, заставлявшими на мгновение забыть о больнице, через которые с трудом пробивался осторожный и ласковый мамин голос. Виктор слышал, как она спрашивала о каком-то слоне и тонкие детские голоса ей что-то взахлеб отвечали. В коридоре лицо ее вновь становилось безрадостно и тихо — и Виктор чувствовал острую жалость к матери.

Ее любовь к своей семье была жертвой. Виктор помнил те два ужасных, один за другим безжалостно последовавших года, когда умирали старики, его дед и бабушка. Дед был очень плох, мама привозила всё новых и новых врачей, ежедневно вызывали «скорую» — приезжали уже знакомые бригады, и в комнате тесно и странно — и в то же время спокойно — становилось от белых халатов; врачи выходили в коридор, делая серьезные лица и разводя руками. Из Свердловска приехал дед Николай, проститься со старшим братом, и плача уговаривал маму на кухне: «Ну что же делать, Наденька, старые мы уже люди», — а мама кричала на него со слезами в голосе: «Не смейте так говорить, Николай Михайлович!» Она боролась как лев и почти два года поддерживала слабую жизнь сначала одного, потом другого старика — и только через неделю после смерти бабушки, когда ее сила уже никому была не нужна, она почувствовала себя плохо — и знакомая бригада увезла ее в Боткинскую больницу.

Она терпеливо любила отца — нервного, резкого, иногда, казалось Виктору, жестокого даже человека, который часто кричал на нее и, случалось, называл дурой. Мать никогда не кричала в ответ; дрожащим голосом она просила отца не волноваться или молчала в сильной обиде — а после того, как он сконфуженно умолкал, пила на кухне валокордин и сквозь слезы говорила Виктору: «Папа очень много работает. Его надо беречь, пятьдесят лет — самый опасный возраст для мужчины». Во время одного из скандалов отец назвал маму «божьей коровой»; Виктор тогда сильно на него обиделся. Впрочем, отец был не злым, скорее вспыльчивым человеком; вынужденный на работе сдер-

живать природную свою горячность, дома он часто срывался. Виктор даже гордился им: в пятьдесят лет отец, начальник большого отдела, был энергичный, худощавый, молодой еще мужчина, с сильным и свежим лицом, облагороженным седыми висками. Мама была маленькой и худой, с гладкими волосами серого цвета. Виктор гордился и матерью, но эта его гордость была тихим, внутренним, домашним чувством, неразрывно смешанным с жалостью; отца ему хотелось показать людям.

Любовь ее к Виктору вызывала у него нередкое чувство вины, и это иногда его угнетало. Вся его жизнь была ее жизнью, в которой страх за его судьбу был преобладающим чувством. Как мог, он старался ее успокоить: во время сессии скрывал дни экзаменов, перенося их на более поздний срок; объявлял уже полученную оценку, когда она этого не ожидала, и редкие тройки свои без зазрения совести называл четверками; отчаянно изворачивался и лгал, если случалось выпить с приятелями: мать панически боялась водки — быть может, потому, что ее дед, Виктора прадед, спился и умер в молодости; задерживаясь после десяти часов, самое позднее в десять звонил домой: в ожидании его она не находила себе места. В отличие от многих, поступавших так, чтоб избежать скандала, Виктор скандала не боялся: мама не только не скандалила, но и редко повышала голос. Он боялся, что ей будет плохо с сердцем.

Мать была больна сердцем и астмой. Виктор особенно тяжко переживал второе. Разумом он понимал, что больное сердце много опаснее, чем больные бронхи, — но сердечный приступ рядом с приступом астмы выглядел почти безобидно: мама пила капли, приятно и резко пахнувшие травой, держала под языком таблетку валидола или ставила на сердце горчичник — и иногда, если ей совсем становилось плохо, вызывала для укола «скорую». Видеть приступ астмы было для него во сто крат мучительней: мама задыхалась, сидя на стуле или на кровати, бледное лицо ее покрывалось каплями пота и в груди что-то свистело и булькало. Иногда приступ начинался на улице, чаще всего в автобусе или в метро: она торопливо доставала из сумочки и вдыхала ингалятор, обхватывая пластмассовый наконечник накрашенными губами, — и Виктор терзался жалостью и злостью, видя удивленные и испуганные взгляды соседей, не знающих, что это такое. Однажды сидевшая рядом толстая, деревенского вида старуха, глубоко закутанная в серый пуховый платок, покосилась опасливо и брезгливо на мамин ингалятор и пересела на свободное место. Мама сильно покраснела, у нее задрожали губы — и они вышли на следующей остановке. К его жалости примешивалось горькое, запоздалое чувство раскаяния и стыда, — горькое потому, что то время давно ушло и в нем уже ничего нельзя было исправить. Бессердечным, безмысленным подростком четырнадцати-

пятнадцати лет он стеснялся матери: стеснялся того, что даже летом, боясь разбудить астму простудой, она одевалась необычно, не по погоде тепло, что хамоватых таксистов, перед которыми Виктору так хотелось выглядеть независимым и большим, она умоляющим голосом просила поднять все стекла, что в троллейбусе, автобусе, трамвае, опасаясь гуляющего через открытые окна сквозняка, она обыкновенно стояла у кабины водителя, хотя в салоне были свободные кресла, — и скучающие пассажиры разглядывали ее с недоумением и любопытством... Сейчас он вспоминал это — и ему становилось непоправимо стыдно и больно.

В пятьдесят лет мама выглядела... мама выглядела очень немолодой женщиной. Отец рядом с ней казался полным здоровья и сил. Виктор ничего не хотел думать об этом — но иногда, без всякого повода и продолжения, странно думал о том, что лучше бы у него было меньше молодости и здоровья.

У мамы в жизни был один человек и одна группа людей, которых она не любила; быть может, она не любила кого-то еще, но в силу своей терпимости и доброты не высказывала своего отношения вслух. Она не любила *Папу* Сталина, которого называла именно так; если бы она была способна на недоброе чувство такой силы, можно было бы сказать: она его ненавидела — за то, что перед войной ее отец, дедушка Виктора, просидел два года в тюрьме, где его били и мучили на допросах. Когда в присутствии ее начинали ругать дураком Хрущева, намекая на превосходство его предшественника, она вспыхивала и резко — непривычно резко — неизменно отвечала: «Может быть, Никита Сергеевич был и не очень умным человеком, но люди при нем стали спать спокойно». Не любимую мамой группу людей — объединенных профессиональным признаком — составляли работники торговли. Вообще говоря, их никто не любил — кроме их семей и самих работников торговли, — но мамина неприязнь родилась и жила как очень личное, хотя и бесконечно далекое от зависти или обиды чувство. В больнице все дети были для нее равны, а эти люди делали, казалось, всё, чтобы разрушить этот священный для нее принцип детского равенства: приносили еду, которую большинство видело только на картинках, дарили лечащим врачам безумно дорогие арабские духи, совали хирургам деньги за операции... Сердце ее не верило, что это может иметь какое-то значение для Врача, но умом она понимала: врачи тоже люди, такие же слабые, как и большинство живущих на земле людей. Она была расстроена до слез, когда один ребенок ел ананас, а другой, хрустя яблоком, спросил, что это такое. Этих людей она называла торгашами; торгаши — было одно из немногих слов, которое мама произносила с выражением насмешки и превосходства. Сама она могла принести из больницы только цветы — и дома сетовала на то, как дороги цветы зимою.

Несмотря на свою энергию и настойчивость, мама была очень слабым человеком. Сила ее выступала, когда с кем-нибудь из близких случалась беда, — но и тогда ее сила только подчеркивала ее слабость: она изнемогала под тяжестью борьбы, плакала и болела после каждой победы, и Виктору иногда становилось страшно — ему казалось, что ей не выдержать очередного несчастья. Для себя она не могла ничего; она была рядовой врач, и на работе ее обижали и не любили. У нее не было настоящих друзей — и в одиночестве своем она очень тянулась к Виктору, — но было много знакомых, у которых росли дети и внуки. Редко вспоминая ее день рождения, они бросались к ней всякий раз, когда в дом приходила болезнь: мама была опытный врач и не более и не имела ни связей, ни положения, — но шли неизменно к ней, зная, что она сделает всё для больного ребенка.

Да, настоящих друзей у нее почему-то не было — и Виктор, считая маму святой, объяснял это тем, что у святых друзей не бывает. Мама очень была терпима и никого не позволяла себе упрекать; но добродетель всегда оскорбляет порок уже самим фактом своего существования. В сущности, она была очень одинока.

К его намерению жениться на Наташе мама отнеслась более чем спокойно (признаться себе: «холодно» ему не хватило сил). После короткого молчания она сказала: «Может быть, тебе немного подождать?» Это было всё, и этого было достаточно — потому что сказала она это непроизвольно и быстро таким голосом, что Виктор с болью, после внутреннего долгого сопротивления понял: мама, которая с Наташей — его знакомой была всегда хороша, к Наташе — его будущей жене отнеслась с плохо скрытой неприязнью. Это его огорчило намного больше, чем могла огорчить большинство молодых людей подобная ситуация: мать очень много места занимала в его жизни — не столько в материальной, житейской ее стороне, сколько теми мыслями, чувствами, тем внутренним миром, который с раннего детства в нем пробуждался матерью.

Уже тогда — а может быть, позже, — поразмыслив, он мог назвать причины этой неприязни. Первой из них могло быть то ревнивое, обреченное, нередкое у матерей чувство, которое часто не осознается или не признается ими вполне и которое часто они выдают для себя за желание видеть сына счастливым с другой, лучшей и более достойной его женщиной: мать слишком сильно его любила, чтобы делить его с какой-то Наташей. Второю причиной могло быть то, что мать догадалась о возникшей между этой девушкой и ее сыном близости, и Наташа сильно упала этим в ее глазах. Она понимала, что времена изменились, но в кругу семьи и в своих суждениях придерживалась старомодных устоев молодости — когда на девушку, в десятом классе потерявшую невинность, вся школа показывала пальцами. Порядочная девушка и

тем более девушка, на которой хотел жениться ее сын, не должна была вести себя так до свадьбы. Наконец, третьей причиной могло быть то — огорчавшее и Виктора обстоятельство, — что Наташина мать была «торговкой», хотя мама не позволила бы себе ни перед Виктором, ни даже про себя упрекнуть этим Наташу — и даже слово это произнести вслух, говоря о ее матери. В ней не было ни капли того, что можно было назвать спесью или сословной гордостью, но Виктор с детства помнил еще от бабушки ходившие в семье изречения, одно из которых принадлежало классику, другое народу: что бытие определяет сознание и что яблоко от яблони недалеко падает. Мать Наташи действительно была заведующей секцией гастронома по должности и базарной торговкой по нутру. Дом ее был обставлен дорого и безвкусно — современные грубые, безликие вещи, стоившие больших денег. Но для Виктора это был ее дом — Наташа в его глазах не имела к нему никакого отношения.

Наташа не могла не почувствовать возникшее, хотя и изо всех сил скрываемое отчуждение — и тоже замкнулась, стала спокойна и холодна. Внешне это почти не было заметно — Виктор его чувствовал только потому, что слишком хорошо знал обеих женщин. Наверное, Наташа многое рассказывала своей матери; Виктор в этом ее не винил, он сам любил мать и потому чужая любовь была для него чувством неприкосновенным. В сущности, рассказывать было нечего, но, быть может, самый тон Наташиных рассказов, даже незаметно для нее самой, изменился, потому что ее мать стала говорить с Виктором по телефону сухо и недоброжелательно. Впрочем, всему этому Виктор не придавал особого значения и думал об этом только в дурную минуту; и во всяком случае тогда, в самолете, он ни о чем об этом не думал. Он думал только о Наташе.

Он прилетел в Москву в девять часов утра и позвонил Наташе на работу. Необыкновенным было счастье слышать ее голос и сознавать, что через час он может подъехать к ней в институт и ее увидеть: в Иркутске он почти физически ощущал, как их разделяет четверть земного шара. Наташа сказала, что будет у него в семь часов вечера. Наташа сказала: «Целую» — и он чуть не поцеловал сказавшую это трубку. Отцу он звонить не стал. Почему он не позвонил отцу?!

Он приехал домой в одиннадцать часов и сразу лег спать — глаза его закрывались от усталости. Сон его всегда был очень крепок; это его судьба была в том, что он проснулся — оттого, что кто-то хрустел в замке ключом, открывая входную дверь.

Он протер глаза и посмотрел на часы: было два часа — и удивился. Кто это может быть? Мама в Кисловодске, отец на работе. Мысль о квартирных ворах мелькнула у него в голове: он вспомнил, что вопреки многолетней, еще детской привычке не поставил на предохранитель замок. Дверь открылась; кто-то вошел, тяжело ступая, и вошел не один. Виктор приподнялся — и услышал голос отца.

Он услышал не слова, которые не смог разобрать за закрытой дверью, а звук его голоса, впрочем необычный — мягкий, неуверенный, осторожный. Он с облегчением зевнул и опустил голову на подушку... — и услышал другой голос.

Он остался лежать не открывая глаз; при звуке этого голоса сердце его забилось с такой силой, что отдельные его удары слились в ровный, в висках подрагивающий гул — и кровь жарко бросилась в голову. Это был голос женщины.

— У тебя дома я всегда чувствую себя партизанкой, — сказала женщина.

Отец тихо ласково засмеялся.

— Ничего не бойся, малыш.

Послышался шорох поднявшихся рук — и долгая тишина. Виктору стало трудно дышать: он открыл рот и глубоко и бесшумно вздохнул.

— Пойдем, — чужим сдавленным голосом сказал отец — и вслед за его тяжелыми шагами по коридору застучали женские каблуки. Виктор лежал, стиснув зубы. В их дом, в их старый дом, где они прожили двадцать лет, — где маленький Виктор забил в стену водопроводный кран, в надежде, что из него потечет вода, где на кухне вот уже много лет было разбито окно, разрезано посередине волнистой голубой трещиной: каждую осень отец отправлялся в стекольную мастерскую и возвращался в пустыми руками, потому что осенью за стеклом стояла большая очередь; где в длинном коридоре в бронзовом светильнике под потолком горела нарочно слабая лампа и всегда стоял мягкий полумрак, потому что обои, наклеенные лет пятнадцать назад, были уже нехороши; где все вещи — мебель, ковры, и посуда, и люстры, и холодильник, — все были старые, прочные, хотя и обветшавшие вещи, надежные, как старые друзья, — в этот дом отец привел женщину. Виктор лежал в оцепенении; ему было очень плохо, невыносимо плохо и тяжело, как будто видел он перед собой что-то страшное, никогда им не виденное, — как убивают человека или насилуют женщину. Еще более диким и противоестественным казалось ему происходящее потому, что он никогда не думал — приходя в поспешное смятение, когда наталкивался случайно на эту мысль, — об интимной жизни отца и матери. Ее для Виктора не существовало — мать и отец, как живущие в одной комнате мужчина и женщина, были для него бесполыми и бесплотными существами. Их отношения были для него табу, которое прочно жило в его сознании. Отец, который привел в дом чужую женщину, святотатствовал: он сокрушал устои, он низвергал богов, — он уничтожил целый мир, живший в душе Виктора; в своем падении он оскорблял, унижал, предавал мать — святую женщину...

За дверью было очень тихо; он жадно вслушивался в эту тишину, содрогаясь от отвращения. Ему нестерпимо хотелось бежать — на улицу,

в Иркутск, на Аляску, куда угодно прочь из этого дома. Он закрыл горячее лицо руками. Табу рухнуло; корчась от почти физической боли, он жадно смотрел на то, как в большой комнате, где они каждый вечер садились за круглый стол, пили чай и смотрели программу «Время» — и отец ругал что-то невнятно мычащего Брежнева, а мама сочувственно вздыхала: «Старый больной человек...», — в большой комнате на старомодном, красном с вытертыми валиками диване отец раздевает чужую женщину, кусает ее грудь, задыхается от вожделения... Он видел его большие безобразные руки, которые мнут и гладят женские ягодицы и живот, его искаженное лицо, безобразные позы и движения... По его лицу струился пот. Его мама, его бледная, худая и старая мама, протягивающая резинового попугая больному ребенку! Его мать!...

...В это мгновение в передней длинно и весело прозвенел звонок. Виктор окаменел. Мысли его, нелепые и бессвязные, замелькали с такой скоростью, что у него закружилась голова. Он застыл на кровати, боясь пошевелиться. Кто это?! И те, — те страшные люди в большой комнате тоже застыли; он понял это, хотя и раньше не слышал от них ни одного звука, — такая мертвая наступила тишина.

Звонок прозвенел еще раз, не так весело, более резко, — долгий, настойчивый, нетерпеливый... Кто-то переступил за дверью с ноги на ногу, звонко цокнув по кафелю каблуком.

Кто это может быть?! Это не мама... господи, конечно это не мама. Мама не носит каблуков.

Наташа?!!

Первым его побуждением было вскочить и отворить дверь; он только вздрогнул и остался лежать неподвижно. Открывать было нельзя. Никак невозможно было открыть — из-за отца, из-за матери, из-за Наташи, из-за него самого. Было страшно за отца: казалось, если отец узнает, что его низкому, нечеловеческому, ужасному делу были свидетели, он не сможет больше жить — не сможет есть, пить, спать, бриться, ходить на работу, — с ним случится что-нибудь страшное. В нем не было ненависти к отцу в эту минуту — всё поглотило ощущение непоправимого несчастья, обрушившегося на них на всех вместе: на мать, на отца, на него, на весь мир... Он мог спасти отца, выйдя к Наташе, — а может быть, это не Наташа?! — и увести ее за собой, — но он не смог бы объяснить, почему они уходят с такой поспешностью, будто в доме его притаилась проказа. А самое главное... самое страшное, если забыть, отбросить, принести в жертву отца, — было для Виктора то, что чужую женщину увидит, о чужой женщине узнает — Наташа, узнает, что его отец изменяет его маме, предпочитает ей какую-то девку — с таким пугающе молодым, таким непристойно нежным, таким уверенным в себе голосом... Его маме, при виде которой у Наташи в глазах появляется скучающее, холодное выражение. Почему-то сейчас он в этом себе признался. Если

Наташа узнает — это будет конец; он сможет любить ее только на необитаемом острове, потому что всякий раз, встречая мать и отца, Наташа будет вспоминать сегодняшний день и будет смотреть на маму так, как женщина смотрит на другую — чужую, неприятную ей — женщину, которой изменяет муж, — с насмешкой, превосходством, радостной тайной жалостью... Нет, этого не будет, Наташа чудесная девушка — но всё равно: он будет каждый раз вспоминать и понимать то, что Наташа *знает*, — а его бедная мать, ничего не подозревая, будет мягко улыбаться и раскладывать по розеткам любимую Наташину клубнику, протертую с сахаром... Нет! Это невозможно. И Наташа не выдержит, любимая, хорошая его Наташа — но ведь она женщина, — и расскажет обо всем своей матери, и эта самодовольная воровка, муж которой вскакивает при одном движении ее выщипанных бровей, словно его ткнули шилом, эта раскормленная туша, обтянутая импортными тряпками и уверенная в своей красоте, будет радостно жирно хихикать про себя — смеяться над его слабой, худой, обманутой матерью...

...Может быть, не Наташа?..

Звонок прозвенел в третий раз — коротко, безнадежно, — и каблуки неохотно и медленно, как будто в последнем, сомневающемся еще ожидании, застучали прочь.

Виктор перевел замершее дыхание и вытер подушкой мокрое лицо. Еще несколько минут прошло в томительной тишине; потом в коридоре послышался слабый шум, торопливые шаги — кто-то почти бежал к входной двери. Стук каблуков принадлежал *той* женщине; отец шел следом, скрипя паркетом, и что-то приглушенно гудел виноватым голосом.

— Нет, Коля, что ты, — голос женщины громко прозвучал прямо за дверью, Виктору показалось — в его комнате, — и он вздрогнул, услышав, что чужая женщина назвала Колей отца. — Я думала, я с ума сойду! Я ухожу... нет-нет, встретимся в другой раз... У меня внутри всё дрожит!

— Ну что ты, малыш, — уговаривал отец, шелестя чужим плащом — не то отнимая его, не то помогая надеть, — и Виктор тряхнул головой, пытаясь заглушить эти чудовищные слова и эту безвольную, жалкую, умоляющую интонацию; он страдал — и уже терял силы от этого страдания. — Это был почтальон... или звонили по ошибке. Никто не может ко мне прийти!

— А твоя жена?

Твоя жена — мама.

— Жена в Кисловодске, — недовольно сказал отец. — Она звонила вчера вечером.

— Нет-нет, всё равно... я пошла. Всё, Коленька, всё... До завтра.

Открылась и закрылась входная дверь, отец щелкнул замком и тяжело ступая ушел в столовую. Виктор вскочил и одним прыжком

бросился к окну. Внизу лежал двор и пыльными желтыми тополями шелестел в открытую форточку. Ему казалось, что он ждет бесконечно долго; он никак не мог понять, куда пропала та женщина, когда она вышла вдруг из-под козырька и быстро пошла по обсаженной шиповником дорожке — стройная, очень молодая — для отца очень молодая, — в красном плаще, с красной сумкой через плечо, с букетом красных гвоздик — вся красная. Отец никогда не приносил домой цветы. Виктор смотрел на нее без ненависти — она тоже была погребена под его огромным несчастьем. Он хотел отойти от окна — еще не зная, что ему делать дальше, — но не успел. Из-под козырька вышла Наташа.

Он вздрогнул так, что чуть не разбил стекло. Наташа не вышла — она вылетела из подъезда и почти побежала прочь; прочь — именно это слово промелькнуло в его голове, когда он увидел, как она бежит. На повороте она подвернула ногу на высоком каблуке и чуть не упала; у нее был какой-то раненый вид. Ничего еще не понимая, он с болью смотрел на нее; он чувствовал, что произошло что-то ужасное, но в паническом страхе остановил, парализовал все свои мысли: инстинкт подсказывал ему, что очень проста разгадка этого беспомощного Наташиного бегства и что эта разгадка обернется для него страшным ударом, — и потому он замер, не отрывая глаз от быстро удаляющейся тонкой, небесно-голубой фигуры, из последних сил заставляя себя не думать ни о чем. Мысли бились о стену, воздвигнутую его испуганной волей, стена дрожала и сыпалась под их нетерпеливыми ударами — и наконец рухнула, в тот же миг ослепив его открывшейся за ней нестерпимо яркой, убийственной картиной.

Наташа звонит в его дверь, звонит три раза — никто ей не открывает, дома никого нет; Наташа остается его ждать, быть может, курит на лестничной клетке... — и в это время, из его квартиры, выходит *та* женщина! У него вырвался приглушенный крик. Он забыл в этот миг об отце, о матери, о той женщине, — он видел только свою Наташу, неловко бегущую через залитый солнцем, пустынный июльский двор, — Наташу, жертву нечаянного, несправедливого, отвратительного случая, нелепой ошибки, — а он, какой несчастной жертвой оказался он сам! Его разум в бешенстве отталкивал от себя случившуюся катастрофу. Скорее догнать, всё объяснить Наташе! Он как безумный распахнул дверь и выскочил из своей комнаты в коридор — и в конце коридора увидел отца. Отец стоял и смотрел на него с ужасом, который даже не пытался скрыть.

— Т-ты?..

Виктор схватил с вешалки пиджак, наощупь надевая туфли.

— Я спал, — бормотал он, глядя в сторону в угол, не попадая дрожащими руками в рукава. — Я спал... Прилетел раньше времени... Я очень спешу!

Он опрометью выскочил из квартиры — сквозняк с грохотом захлопнул за ним наружную дверь — и бросился вниз, прыгая через ступеньки. Наташи во дворе уже не было, он побежал по ее пути, — откровенно побежал изо всех сил, как в институте бегал стометровку. Выбежав за угол, он на мгновение остановился, задыхаясь от волнения и быстрого бега. Людей почти не было видно — и нигде не было видно Наташи. Он не мог стоять на одном месте и помчался наугад, к автобусной остановке; он бежал и видел, что остановка пуста. Обогнув стеклянную полуразбитую коробку, он опять остановился в растерянности. Где она? Он громко крикнул на обе стороны: — Наташа! Наташа! — три старухи на лавочке генеральского дома одновременно на него оглянулись. Кварталом выше по улице шел двадцать третий трамвай; он бросился туда, чуть не плача от ощущения, что медленно бежит в гору. Трамвай давно не приходил — человек в двадцать толпа неподвижно его ожидала. Виктор метался в этой толпе, в упор разглядывая женщин, старых и молодых, красивых и безобразных, — не похожих на его Наташу. На него смотрели с удивлением и опаской, ему было всё равно — Наташи не было. Он совершенно пал духом. От его дома был еще третий путь, пешком через парк к метро; они с Наташей редко так ходили — до метро шел автобус. Он повернулся и побежал под гору быстро, как только мог; в ушах свистел встречный ветер. До метро десять минут было хода — он добежал за три, не встретив никого по дороге, — не встретив Наташу. Обреченно он спустился в метро и прошел полупустой платформой. Всё было напрасно.

С трудом переводя дыхание, он поднялся наверх. Его совершенно обессилил сумасшедший бег — и немного успокоил. Он рухнул на скамейку в каком-то пятиэтажном дворе и попытался рассуждать спокойно. Здравого смысла ему хватило на тридцать секунд: стиснув зубы, он выстроил в памяти события последнего часа — и понял, в какую он бездну попал. А если Наташа ему не поверит?.. Нет, как она может — не поверить ему?!! Мысли его путались, разбегались, ни одну он не мог ухватить — и над всеми ними, как темное небо над головой, висела одна, тоже не вполне еще понятная, огромная черная мысль — даже не мысль, а смутное ощущение, на которое он взглядывал изнутри в смятении и тоске, — ощущение беды много больше и тяжелее той, которую он уже понимает. Но и эта была тяжела.

Он бы отдал полжизни, чтобы этот день оказался сном. Без всякой надежды он несколько раз тряхнул головой — пыльная летняя улица всё так же равнодушно катилась перед ним конвейером желтых автобусов. Он отказывался верить, что в настоящей, непридуманной жизни может такое быть — от такого счастья падение к такому горю. Невозможно было поверить, что сегодня утром, в тот же самый день, который он видел сейчас, он летел в Москву и был так счастлив, что ничему улыбался дорогою; это

чувство не было смиренным, усталым чувством отсутствия несчастья — утром он физически ощущал переполнявшую его радость, всё, решительно всё в прошедшие дни, сегодня и в дни грядущие было и должно было быть хорошо. Хорошо было то, что на станции, прозванивая схему, он сам, без посторонней помощи увидел причину останова; он промолчал тогда, боясь ошибиться, но вечером дипломатически, вскользь упомянул в разговоре о диодном каскаде — и по этому его замечанию Полищук не мог не понять, что Виктор сам нашел правильный ответ: ему приятно было ощутить себя специалистом — и приятно было, что его работу оценил профессионал. Хорошо было то, что освободились они раньше времени; неожиданной удачей обернулось присутствие Карташова — неприятного, неискреннего человека, о поездке в обществе которого он узнал с досадою, — но если бы не Карташов, он застрял бы в Иркутске до понедельника. Дома хорошо было то, что мать в Кисловодске: для нее редко случалось такое стечение обстоятельств, чтобы одновременно сошлись и горящая путевка, и путевка эта — в хороший санаторий, и то, что она смогла оставить больницу, и то, что в эти дни у нее не было обострения астмы или сердечного приступа, когда она лежала дома и поехать никуда не могла. И самое главное, не просто хорошо — чудесно было то, что он летит к Наташе и обнимет ее сегодня вечером... Сегодня вечером! Всё, что составляло его жизнь, — составляло ее дни, месяцы, годы, — всё рухнуло за пятнадцать минут, за ничтожный, незаметный в жизни отрезок времени.

Он позвонил Наташе домой; подошла ее мать, он запинаясь спросил Наташу — она с обычной своей, злорадной даже холодностью ответила, что Наташи нет дома. Он вышел из будки и медленно пошел по улице — озираясь по сторонам, не находя себе места. Где она? Он должен встретиться с ней, должен ее найти, — он должен... объясниться?!

Он остановился как громом пораженный.

Что он ей объяснит?

Медленно опустился он на скамью, ощущая, как в мыслях его и движениях появляется какое-то торжественное, безнадежное спокойствие. Он ничего не сможет ей объяснить. Он скорее умрет, чем объяснит Наташе — и той, ее матери, — что его отец изменяет его старой, больной, беззащитной маме в объятьях молодой, красивой, здоровой девки. Скорее умрет. Но ему казалось — потерять Наташу еще страшнее.

Он выбросил сигарету и закурил другую, не чувствуя ее вкуса. День потемнел — солнце оделось в черное облако. Несколько раз порывался он к телефону — и всякий раз, приподнявшись со скамьи, садился, почти падал обратно. Душа его рвалась домой — могла позвонить Наташа; здесь, в заросшем густой сиренью незнакомом дворе, он чувствовал себя бесконечно от нее далеким — намного дальше, чем был

в проклятом Иркутске. Но дома, в дверях большой комнаты, стоял отец и смотрел на него испуганными глазами, смотрел с ужасом и надеждой — и Виктор даже представить себе не мог возвращения.

Что он скажет ему, переступив порог? Как они будут жить дальше?.. И так тягостно было его медленное, безвыходное раздумье, что в глубине сознания, словно желая ему помочь, зародилась и неуверенно к нему поплыла еще бесформенная, неясная, но — сразу он понял — спасительная мысль; он с жадностью за нее ухватился.

Он сидел неподвижно, боясь пошевелиться, — боясь неосторожным движением спугнуть оживающую на его глазах еще смутную, расплывчатую, чудесную картину. Он затаил дыхание, глядя, как расцветают ее краски и становятся понятными, осмысленными, необходимыми ее формы и движения. Наташа — ничего не знает. Наташа не видела той женщины!

Спокойно, сказал он себе, спокойно. Главное, не сбиться — он так устал от тяжести навалившейся на него беды, что боялся за первый шаг и сидел, оттягивая время. Начали. Наташа не видела той женщины — хотя из подъезда вышла минутой позже нее. Ну и что? Просто она спускалась пешком с девятого этажа, быть может, курила по дороге — она не любила курить на улице. Правда, шла она очень долго — не менее десяти... пяти! пяти минут, — но, во-первых, на высоких каблуках трудно спускаться по лестнице... и синие свои туфли с белыми розетками на носках она купила недавно и еще не успела их разносить, — а во-вторых, закурив, она могла остановиться между этажами, потому что никогда не курила на ходу... и потому, что времени сойти с девятого на первый этаж для сигареты с фильтром недоставало. Так. Отлично. А бежала? Почему она так бежала? Но это совсем просто — она спешила в институт, она отпросилась на час, на два, быть может, ушла с обеда... Сколько было времени, когда он проснулся и начался весь этот кошмар? часа два, не больше, обед у Наташи в час, она ушла с обеда, в два была у него — и к трем спешила вернуться... Она хотела увидеть его, застать его врасплох, сделать ему и себе подарок — а он придумал весь этот обстоятельный, мучительный бред и чуть не сошел с ума от своих фантазий. Затаив дыхание, он снова пробежался по всей цепочке воссозданных им событий — осторожно и в то же время поспешно отбрасывая каждую пройденную ступень, смертельно боясь споткнуться на явном несоответствии, — и цепочка эта показалась ему настолько правдоподобной, насколько четверть часа назад казалось единственно верным его первое, убийственное объяснение.

Он глубоко вздохнул, он даже забыл про отца и мать, — не забыл, отстранил их в глубину своей памяти, не имея сил думать о двух несчастьях одновременно. Сейчас он позвонит Наташе в институт, и у него останется только одно — неправдоподобное, жестокое, несправедливое — горе, — но с ним с одним они как-нибудь справятся. Он встал и пошел к автомату,

снял трубку — и одновременно с гудком его пронзила черная мысль: если она так спешила в институт, что чуть не подвернула ногу... какого дьявола она десять — ну пять, пять минут! — спускалась пешком по лестнице? Его чуть не убила эта мысль, второстепенная, ничтожная мысль — недостойная в обычной жизни того, чтобы ее замечали, но сейчас неумолимо требующая опровержения... И этого тоже можно было найти какую-нибудь причину, множество нелепых предположений тут же угодливо столпились в его голове: например, она зацепила колготки и хотела их снять... какие колготки в такую жару?! — а может быть... но он почему-то вдруг ясно понял, что все эти объяснения рождаются лишь для него самого и умирают, даже не приблизившись к истине, что на самом деле всё было совсем не так — а именно так, как он думал сначала, — что всё пропало, погибло, кончено... Равнодушно он набрал Наташин рабочий телефон. Ему ответили, что ее сегодня не будет.

Он побрел к метро, еле передвигая ноги. От метро позвонил Наташе домой. Наташи не было. Он нажал на рычаг и долго стоял в автомате — не вешая трубки, слушая тоскливые частые гудки. Уличные часы показали пять — он спустился в метро и поехал к Наташе.

От ее дома он снова позвонил — и снова ответила мать, что ее нет дома. Перед подъездом зеленел сиреневый палисадник с клумбой чахлых петуний; он сел на скамейку, рядом с двумя старухами и стайкой детей, роющихся в песочнице, — и старухи сердито посмотрели на него, подозревая в нем пьяного. Он сидел и курил, отгоняя дым ладонью, и смотрел не отрываясь на дверь Наташиного подъезда. Время шло не медленно и не быстро, он его почти не замечал — только каждый час поднимался и шел звонить к автомату. Мать сухо отвечала, что Наташи нет, он отвечал «спасибо» и возвращался на свое место. Всё это он делал уже почти автоматически. Он очень устал.

Незаметно опустился вечер и окрасил голубым воздух, цветущие липы во дворе и стены Наташиного дома. Он посмотрел на часы — было десять часов. Он позвонил Наташе.

— Наташа уже спит, — ответила ее мать.

Он поехал домой — в сторону дома. Наташа видела эту женщину и уверена, что с этой женщиной был он. Он сидел в полупустом вагоне и слепо смотрел в черное окно на свое отражение. «Может быть, меня не было дома? — из последних сил медленно подумал он. — Может быть... это была моя родственница? Двоюродная сестра, приехала из Днепропетровска... а меня не было». Устало он смотрел на эту мысль, зная наперед, что всё это глупо. У него не было никакой сестры. Если это сестра, почему она не открыла Наташе дверь? Да просто потому, что... Он мысленно махнул рукой и закрыл глаза. Он больше не мог бороться.

Его окна были слабо освещены — рассеянным светом гостиной, выходившей на другую сторону. Отец не спал, и он не мог вернуться домой — но не мог и оставаться здесь, в черной уже темноте, окруженный только черными своими мыслями, никому не нужный — никому, кроме матери, которая была далеко... и которая тоже, кроме него, теперь никому была не нужна. На всем свете они вдвоем были теперь нужны только друг другу. Поколебавшись, он пошел в соседний двор, где у старой голубятни обычно допоздна сидели мужики. У него были с собой деньги — он брал деньги в Иркутск, надеясь купить Наташе что-нибудь экзотическое, недоступное в Москве: оленьи рога, собачью шапку, волчью или медвежью шкуру... Он дал мужикам червонец, один из них, с рябым знакомым лицом, сходил куда-то и принес сумку вина, — и впервые в жизни он напился так, что не помнил, как добрался до дома.

Утром, в половине восьмого, его как всегда разбудил уходивший на работу отец: он открыл одновременно обе двери, входную и в комнату Виктора, и сразу ушел — и Виктор не видел его глаза. Он встал — тогда он был еще молод и пил от случая к случаю и наутро чувствовал только дурной вкус во рту и небольшую тяжесть в затылке... Он позвонил начальнику домой и отпросился до обеда. Майоров спросил его: «Как съездили?» Он ответил: «Всё в порядке» и не выдержав положил трубку.

Наташа выходила из дома в половине девятого — у него было сорок пять минут времени. Он поехал к Наташе.

Он был у ее подъезда через полчаса. Он даже не сел на скамью, боясь, что каким-то чудом она уйдет незамеченной; он встал прямо напротив подъезда и закурил. Он не позавтракал и не выспался — и чувствовал себя очень усталым.

Через пять минут ему пришла в голову нелепая боязливая мысль, что Наташа увидит его в окно и не выйдет из дома, — и он встал вплотную к подъездной двери, под козырек, где его невозможно было увидеть. Из подъезда каждую минуту кто-нибудь выходил, люди шли на работу — и сердце его падало каждый раз, когда хлопала внутренняя дверь, невидимая за наружными окрашенными стеклами. Несколько раз он пытался заставить себя подумать о том, что он скажет Наташе, но лишь безнадежно махал рукой: в голове его не было ничего, кроме ее имени и слов: «Я люблю тебя».

Он взглянул на часы и увидел двадцать пять девятого — и его внезапно охватил панический страх перед тем, что должно было произойти с минуты на минуту. Он вновь торопливо закурил, надеясь успокоиться. Почти не закрываясь, непрерывно хлопала дверь. Вышла толстая женщина с толстым ребенком. Вышел усатый мужчина с портфелем, в больших очках, искоса взглянул на него. Вышел кто-то лысый, в голубой рубашке с короткими рукавами. Выбежал мальчишка с удочкой, с банкой серых червей...

Вышла Наташа.

Каждую минуту он ожидал ее и всё равно онемел от неожиданности.

Наташа увидела его и прошла мимо. Он очнулся и бросился за ней.

— Наташа!..

Она продолжала идти. Он пошел рядом, забегая вперед, умоляюще заглядывая в ее холодное, бледное, необычно ярко накрашенное лицо.

— Наташа... Наташа, милая...

Он споткнулся и чуть не упал. Наташа остановилась.

— Что тебе нужно?

Он отшатнулся от нее — пораженный ее спокойным, бесстрастным, незнакомым голосом.

— Что ты говоришь, Наташа... Ты сошла с ума! Я так без тебя скучал... Я люблю тебя, Наташа!

Глаза ее смотрели на его лицо — но она смотрела куда-то мимо.

— Я прошу тебя оставить меня в покое.

— Но почему? Почему?! Что случилось?!!

Он хорошо знал, почему, но кричал искренне — потому что ни в чем не был перед ней виноват.

— И запомни: между нами никогда и ничего не было.

Этот голос!

— Наташа...

Он задыхался от горя; он был не в состоянии обдумать ее слова, понять скрытые этими словами ее мысли, он вообще едва понимал, что она говорит, — но кто-то чужой стоял рядом с ним, безучастно смотрел на него, оглохшего и ослепшего от боли, и всё видел и слышал. Она ни разу не назвала его по имени. Она не произнесла ни слова упрека. Она даже не показала, что ей известно то, что было вчера, — так, как это ей было известно. Вместо обычных, банальных, тысячи раз в жизни и в описаниях жизни произнесенных слов: «А ты не знаешь?» — или: «Иди, тебя есть кому утешить», или: «Не знала я, что ты такой подлец!», — слов, после которых можно что-то объяснять, о чем-то просить, что-то врать наконец, — вместо этого она молчала холодно и равнодушно, без тени страдания или обиды на неподвижном, изумительно красивом лице, — он был для нее чужим, совершенно ненужным ей человеком. И его второе Я, стоявшее рядом с ним, сказало уверенно и безнадежно: «Это конец».

Нет!!!

— Наташа, — пробормотал он и схватил ее за руку, за тонкое прохладное запястье — от этого прикосновения он испытал блаженство, которого не испытывал, когда раньше ее обнимал, — и смертельную тоску; она отняла руку — не резко, спокойно, чуть поморщившись. — Наташа, я ни в чем не виноват... Я понимаю, о чем ты думаешь, но это

совсем не так! У меня ничего не было с этой женщиной, я вообще не знаю ее... я даже ее не видел! Я тут ни при чем! Я умоляю... она... она приходила не ко мне! Я тебе клянусь!

— Прекрати, — устало сказала Наташа. — На нас смотрят.

— Плевать!!! — заорал он на всю остановку. — Плевать! Пусть смотрят! Я клянусь тебе, что ни в чем не виноват... клянусь матерью, клянусь тобою... Это страшное недоразумение!

Он обхватил голову руками. За что?!!

— Перестань! — резко сказала она. — Ты позоришь меня перед соседями.

Он посмотрел на нее как безумный и схватил ее за плечи. Она даже не шевельнулась. У него было такое чувство, будто он обнял дерево.

— Э-э... молодой человек... — неуверенно произнес за его спиной мужской голос. Он бессильно уронил руки и оглянулся: вся остановка на них смотрела. С другой стороны скрипя подошел трамвай.

Когда он повернул голову — Наташи не было. В отчаянии он резко оглянулся по сторонам: перед головой остановившегося трамвая мелькнуло белое платье.

— Наташа!

Он догнал ее в дверях; вагон был полон, Наташа стояла на подножке. Он схватился за поручень, трамвай тронулся и зазвенев остановился. Она повернула к нему бледное, напряженное, злое лицо.

— Ну, что тебе?

— Наташа... Я... я...

— Оставь меня в покое! — грубо сказала она чужим голосом; из-за ее плеча и из окон выглядывали удивленные и сердитые лица. — Не смей ко мне прикасаться!

Он отпустил поручень и шагнул назад, как от удара.

Трамвай уехал.

Он звонил ей каждый день, вечером домой, днем на работу. На работе она вешала трубку, дома не подходила — подходила мать, с каждым днем отвечавшая всё более резко, с хамскими первобытными нотками почувствовавшей свою силу продавщицы. В институте он сидел за своим столом, не понимая, что делает и, видимо, не делая ничего. Мать была в Кисловодске и звонила вечерами; в это время он старался не бывать дома, он не мог слышать, как с матерью разговаривает отец, и сам не мог говорить с ней — бодро и ласково, как будто ничего не случилось. С отцом он почти не разговаривал — не потому, что испытывал к нему враждебное чувство, а потому, что, как и всё другое, не замечал отца и все разговоры были для него тягостны. Отец подавленно молчал; чтобы скрыть ненормальность этого молчания, он рано уходил и поздно возвращался с работы.

У него была одна цель — поговорить с Наташей. Он как и прежде не знал, что ей сказать, если она согласится его выслушать; он не мог

придумать и даже не придумывал себе никакого оправдания. Он был не виноват, то, что она думала о нем и об этой женщине, было просто нелепо: за всё время, что он был с Наташей, даже мысль изменить ей ни разу не пришла ему в голову. Не зная, о чем он будет с ней говорить, он добивался только этого. Он надеялся на чудо: она поверит ему, не требуя объяснений, и всё будет хорошо. Прошло несколько дней. Он был совершенно измучен; мысль о том, чтобы встретить ее у подъезда и всё рассказать, уже не раз посещала его... но когда он вспоминал женщину в красном, перед ним тут же вставало смущенное, испуганное, страдающее лицо матери, которая в автобусе, под удивленными взглядами пассажиров, доставала из сумочки ингалятор. Сказать кому-то, что эта красная девка — и его мать?.. Прошло еще несколько дней — и однажды ее мать ответила:

— Наташа уехала в Киев. У нее отпуск.

Он вздрогнул.

— Отпуск?..

— Да, отпуск.

— А... извините, когда она будет?

— Не знаю. Наверное, через месяц.

Он тоже взял отпуск — и Майоров подписал ему раньше графика, видимо, заметив, что с ним творится что-то неладное. Без работы, которая была для него мучительна, ему совсем стало худо. Мать вернулась из Кисловодска; день ее приезда и встречи с отцом стоил ему такого страдания, что наутро он пошел в Пиночет и тяжко напился. В пивной пить было лучше, чем под голубятней с далекими ему мужиками: в пивной было много студентов, он даже встретил два или три знакомых лица — людей, учившихся вместе с ним и недоучившихся из-за недуга, который теперь осторожно к нему подкрадывался. Дома он обнаружил странную и неприятную вещь: он не мог видеть мать и отца в одной квартире, за одним столом, в одной комнате — в спальне! Он стал уходить на целый день, бродил по городу, заходил в Пиночет, пил со случайными знакомыми из одного стакана... Вино было волшебным ядом, два или три стакана превращали его в другого человека. Измена отца уже не казалась ему предательством — у какого мужчины на совести не найдется подобного греха? Разлука с Наташей представлялась случайной размолвкой — еще неделя, и она простит его, и они опять будут вместе... А если нет — разве мало на земле женщин?

Наутро он просыпался — и к нему возвращалась вся его боль, набрасывалась на него, еще более мучительная, чем прежде. Дни шли, а боль не уходила — она как будто разрасталась в нем, эта боль.

Отпуск его закончился. В первый день он вышел на работу и поздним вечером позвонил Наташе. Подошла как обычно мать — он прикусил губу при звуках ее недоброго голоса.

— Наташу... можно?

Ее мать помолчала — и ответила торжественно и громко — она всегда его не любила:

— Наташа в Киеве. Я вас прошу, Виктор, больше нам не звонить. Наташа выходит замуж.

Он остался недвижим, не опуская трубку, потом медленно положил ее на стол. В мертвой тишине пронзительно кричали тонкие гудки, как будто падали на стол злые электрические капли. Он опустил глаза — у него дрожали руки. На мгновение он испугался. Ему стало жалко себя! Потом ему стало всё равно.

На следующий день он на работу не вышел.

Через две недели он снял со сберегательной книжки последние десять рублей. Тогда он еще не продавал свои вещи, не искал серебро по родительским карманам и не пил за чужой счет. Тогда его спасла мать, которая плакала и кричала на него и ничего не могла понять. Отец молчал — и она плакала и кричала на отца. Мать выписала больничный лист, и он смог выйти на работу. Впрочем, работа его не интересовала: в институте он почти ничего не делал и у него случился неприятный разговор с Майоровым, во время которого он угрюмо и равнодушно молчал. Вечерами он часто напивался. Он бросил бы всё и уехал вслед за Наташей в Киев, если бы знал, где она остановилась. Ждать ее возвращения было ему невыносимо.

Он звонил ей каждые три дня, иногда сильно пьяный, и бросал трубку, когда подходила мать. Однажды ему ответил незнакомый мужской голос — он решил, что ошибся, и перезвонил. Тот же голос ответил снова. Сердце его дрожало, когда он попросил Наташу.

— А кто ее спрашивает?

— Мы учились вместе, — глухо сказал он.

— Ее нет дома.

— А... с кем я говорю?

— Я ее муж, — ответил голос внушительно и спокойно.

На следующий день был аванс. Виктор получил пятьдесят рублей и запил на неделю.

...Потом была долгая жизнь. Он увольнялся с работы, на время бросал пить, устраивался на новую, боль его казалось притупилась; через полгода у него появилась другая — красивая, неинтересная ему, не волновавшая его женщина; он стал разговаривать с отцом — и уже без содрогания смотрел, как они с матерью уходят вечером в спальную комнату, и без усилия, ровным голосом желал им спокойной ночи. Через год он уже мог увлечься каким-нибудь делом, прочитать книгу или сходить в кино, и страшным сном уходила взорвавшая его жизнь катастрофа... но в жизни его что-то сломалось.

Он сильно изменился.

Он редко смеялся — если не бывал пьян, — обыкновенно улыбался слегка, не лицом, а губами. Он не любил женщин, он хотел только женское тело, тело без мысли и без души, как хотел кусок мяса, когда бывал голоден; он никогда их не обижал и не был с ними груб, но никогда и не назвал ни одну из них ласковым словом или уменьшительным именем — и после любви с женщиной единственным его желанием было желание поскорее уйти. Его мало интересовало то, что происходит вокруг — в мире вокруг него; равнодушно читал он газеты и почти не смотрел телевизор. Как и прежде, он любил мать, но теперь его любовь была глубоко внутренним, изредка проявляющимся чувством: внешне он был с ней спокоен и даже не ласков... С отцом он почти не говорил.

Наверное, он потерял интерес к жизни — потому что все попытки его вернуться в эту жизнь были слабы и нерешительны, казалось, даже неохотны, как будто заранее в душе его обречены на провал. Еще случалось ему загореться какой-нибудь мыслью или намерением; слабый огонь минутно согревал его душу — и быстро гас, оставляя после себя разочарование и усталость... Ему всё чаще хотелось выпить.

Трудно было сказать, быстро или медленно, — во всяком случае, для него почти незаметно, — желание это превратилось в жизненную потребность и исподволь подчинило его себе. Если ему случалось перепить накануне, то утром его физические и в большей даже мере душевные страдания были так велики, что он ничего — не только работать, думать, читать, говорить, но и просто сидеть, стоять, даже лежать неподвижно — вообще жить не мог с этим мучительным, тревожным, болезненным ощущением; он шел в Пиночет, раздобыв деньги любым путем — в этом состоянии все способы казались ему справедливы и хороши: попросив у соседа в долг, не думая о возвращении, собрав пустую посуду, поспешно что-нибудь продав... — он шел в Пиночет и к вечеру напивался до бесчувствия: опохмелившись — избавившись от жестокой головной боли, тягостного ощущения внутренней пустоты, внешней стесненности и беспокойства, — он уже не мог остановиться... Если же в пьянстве его случался вынужденный перерыв, он постепенно приходил в себя, набирался сил, очищался от пропитавшей его плоть скверны алкоголя и никотина, — казалось, оживала его душа, задыхавшаяся и ослепленная в отравленной своей оболочке, — и уже на третий обычно день чувствовал себя бодрым и свежим, готовым к новой, энергичной и рассудительной жизни человеком... И спокойный, даже радостный, по-новому увидевший мир, уверенный в своих силах, — он снова шел в Пиночет: почему бы не выпить, — небрежно, как будто это был безобидный, полностью подчиненный его воле, не заслуживающий внимания и тем более обсуждения вопрос, думал он; почему бы не выпить, если сейчас всё у него так

хорошо и если он, несмотря на все прошлые свои страдания, так быстро возвращается к жизни?.. Он шел и опять напивался, и всё повторялось сначала. Чем дальше, тем больше это желание приобретало у него как бы естественную, органическую, инстинктивную силу, неподвластную его воле и разуму, — подобно чувству голода, жажды, полового влечения; последнее, впрочем, с годами слабело, отступало на задний план, лишь изредка пробуждаясь короткими, грубыми, упрощенными образами, похожими на примитивные картины, — вспыхивало мрачным огнем по утрам, в полусне-полузабытьи, или летом в трамвае, когда он ехал с похмелья в Пиночет и смотрел на одетых в короткие и светлые, облегающие фигуру платья красивых молодых женщин — скорее даже не очень красивых: красивые, как нечто астрономически, невозможно от него далекое, оставляли его равнодушным... В другое время он не чувствовал ничего, потому что в Пиночете женщин не было — не считая часто и уродливо беременной Марины, колченогой Аниськи и старой бабы Ани, уборщицы, — не похожих на женщин, людей женского пола... С каждым годом всё уменьшалось количество вина, которое было нужно ему для первого опьянения: его мозг охотно и радостно откликался даже на четверть стакана — хотя для того, чтобы напиться, таких стаканов и сейчас требовалось не меньше пяти. Предельная доза его тоже медленно, но уменьшалась — несколько лет назад он мог выпить больше двух бутылок портвейна и твердо стоять на ногах; раньше он этим гордился, а теперь, особенно в безденежную минуту, остро завидовал Малютке Монстру и Шлёпноге, забывавшимся после второго стакана... С каждым годом он всё быстрее и радостнее оживлялся, начиная пить, — и всё тяжелей и безысходней мрачнел, не видя продолжения; с каждым годом он всё хуже запоминал пьяную вечернюю дорогу к дому, пока ее образы не стали проходить сквозь сеть его памяти, как вода через решето, — не оставляя ни малейшего следа, в лучшем случае несколько мутных, быстро высыхающих капель; с каждым годом всё невыносимее, всё мучительнее становилось утреннее похмелье — тряслись крупной дрожью руки, наливалась каменной тяжестью голова, судорогой сводило ступни, рвало желчью... За десять лет, — за десять лет он превратился в того, кем он был сейчас.

Кстати... отец все-таки ушел — Виктор беспробудно уже пил и так и не узнал, к той ли женщине, из-за которой всё это случилось, или другой; но даже в однообразной, туманной чересполосице пьянства и похмелья Виктор, как ни чудовищно это казалось рядом со слезами и наступившим затем покорным и каким-то бесчувственным оцепенением матери, — испытал огромное, освобождающее облегчение...

...Он стоял на пути пестрой, шумной, занятой собою толпы, — в измятом потертом костюме, в грязной рубашке, на которой через одну

не хватало пуговиц, в тяжелых зимних ботинках со старомодными квадратными носами, — худой, давно не бритый, с глубокой застарелой синевой под глазами, с лысеющим лбом, изрезанным страдальческими морщинами; он стоял, навалившись на палку и незаметно для себя подобрав уставшую больную ногу, и смотрел на Наташу, как глубокие старики смотрят на фотографии юности, — с теплой грустью, без зависти и сожаления. Их счастье и их горе — всё это было очень давно; сейчас эта красивая женщина, с высокой грудью и сильными полными, тонкими в лодыжках ногами уже не имела к его жизни никакого отношения. К *его* жизни — но в ее жизни десять лет назад был другой Виктор, который так ее любил и с которым она так долго, так коротко была счастлива... На нем не было вины, и сейчас он хотел защитить этого мальчика, чтобы он до конца — далеким счастьем — остался в ее памяти.

— Я... пойду?

— Сейчас, сейчас, — заторопился он — и, еще не освободившись от воспоминаний, содрогнулся при звуке своего хриплого, грубого, ему самому неприятного голоса — совсем не похожего на тот, которым он десять лет назад на каждой вечеринке пел под свою давно проданную гитару... — Подожди. Я должен сказать тебе... одну вещь.

Она посмотрела на него вдруг уставшими глазами и отвела их в сторону.

— Я должен тебе сказать... Помнишь, из-за чего мы с тобой расстались? А ведь я... я был ни в чем не виноват.

Лицо ее страдальчески дрогнуло.

— Не надо об этом... Это было так давно.

— Очень давно... Я давно хотел тебе об этом сказать. Я просто не мог.

Она переступила с ноги на ногу, скрывая и не в силах скрыть нетерпение.

— Постой, постой, — быстро заговорил он, испугавшись, что она уйдет, а он, со своей палкой и больной ногой, не сможет, как десять лет назад, бежать рядом с нею. — Послушай, Наташа... Я ни в чем не виноват. Помнишь ту женщину... ту девушку в красном платье, которая вышла из моего дома? Я ведь даже не знаю ее имени... Я совсем не знал ее. Она приходила не ко мне... Она приходила к моему отцу! А я...

Он увидел, как вздрогнули ее глаза и губы, и ему вдруг стало жалко ее, его Наташу, которой, может быть, будет больно.

— Боже мой, — прошептала она, — что же это?..

— Она приходила к отцу, — горячо зашептал он. — Я приехал... приехал из аэропорта домой. Я так по тебе соскучился... Я приехал и лег спать. Отец не знал, что я приеду, я не позвонил ему... Я не позвонил отцу, что я еду, будь я проклят! — Боль и отчаяние охватили его со

свежей силой, как будто не было прошедших десяти лет, как будто вчера он искал ее по солнечным пыльным улицам, звонил из душного автомата, ждал у подъезда, вздрагивая от каждого подъездного шороха.

— Мама... дома никого не было, и он привел эту женщину — а я спал... я ведь всю ночь не спал в самолете... «Думал о тебе», — вспомнил он и слабо улыбнулся сухими губами. — Я спал, но когда они пришли, я проснулся. Я не мог выйти, я лежал и слушал, как они смеются в коридоре... И тут позвонила ты — а я не мог тебе открыть... я не мог! И ты ушла, а следом за тобой ушла та женщина. Она испугалась...

— Витя!..

Отшатнувшись, она закрыла рот задрожавшей рукой. Слезы лились из ее глаз, смывая ресницы, разбегались по щекам грязными струйками. Он вдруг почувствовал, как дергается, становится мокрым его лицо, — впервые за много лет он плакал, плакал слабыми пьяными слезами. Он не понимал, почему он плачет, — от горя, которое они вспомнили, или от счастья, что он наконец остановил ее и всё рассказал. Десять лет! Ему было очень жалко ее — что она плачет.

— Ну что ты... не плачь, — смущенно сказал он. — Это было так давно... Понимаешь, я не мог тебе сказать. Мне очень больно было за мать... я не мог, чтобы ты узнала... что маму предпочли этой женщине. И еще я очень боялся, что ты расскажешь своей матери. Она ведь не любила меня... и не любила маму... Ну пожалуйста, не плачь! Наташа!

Плача, она смотрела на него широко раскрытыми, кричащими глазами: в них было такое страдание, что он испугался. Она опустила руку, он увидел ее искаженное, залитое слезами, некрасивое и прекрасное лицо... и вдруг горько пожалел, что он сделал это.

— Ну что ты плачешь... Не надо... Наташа, милая...

Она плакала, не в силах остановиться. Сержант Барковский, в раздумье застывший у вентиляционной отдушины, решительно шагнул на тротуар — и вдруг остановился: высокая белокурая женщина опустила сумку с игрушечным медведем на мокрый асфальт и обняла Хромого за шею.

— Витя... Витенька...

У него закружилась голова, он чуть не упал. Мягкий шелк ее волос коснулся его щеки — он вспомнил это прикосновение. Он закрыл глаза и в темноте вдохнул слабый цветочный аромат — он вспомнил ее запах. Он вспомнил ее руки, обнимавшие его шею, — и всё забыл.

Боже, какое блаженство! Как давно они не виделись! Мне было так плохо без тебя, маленькая моя девочка... Я так люблю тебя. Может быть, еще не всё потеряно? Сейчас я обниму тебя, так, как всегда обнимал при встрече, правой рукой обниму твою узкую спину, поглаживая пальцами тонкие лопатки... Какая-то твердая тяжесть сковывала его руку, мешала ее обнять... он с досадой поднял руку и чуть не упал!

Палка!

Его толчком швырнуло обратно в грязный и подлый мир. Его обманули. Прошло десять лет! Он выпрямился, весь дрожа, стиснув зубы от боли и усталости в искалеченной ноге. Всё было кончено.

Она всхлипывала, вытирая платком поблекшее лицо. Сумка у ее ног покосилась в сторону, игрушечный медведь свесился через край и смотрел в грязную лужу; она машинально его поправила. Солнце садилось за мост, зажигая трамвайные рельсы. Он глубоко вздохнул и подобрал больную ногу.

— Я был не виноват, Наташа.

Она стерла остатки краски и страдая смотрела на его лицо.

— Зачем же... так, Витя?

Он почувствовал страшную усталость. Она спрашивает, зачем он пьет, зачем из ее возлюбленного он превратился в грязного калеку, зачем она — красивая женщина, а он — опухший, неопределенного возраста урод. Он сам не знал, как это произошло. Он помнил только начало: он так и не смог ничего придумать.

— Наверное, я просто слабый человек, Наташа.

Из ее короткого объятия он вернулся в этот мир. Нога сильно болела, болела голова, в груди, под ложечкой стояла неотвязная боль. Его опять начинало мутить, он так до конца и не опохмелился. А в то утро, когда он ждал Наташу у подъезда, его не тошнило и у него не болела голова, хотя накануне он сильно выпил с мужиками под голубятней... Почему он не позвонил отцу?

— Может быть... может быть, тебе чем-нибудь помочь?

Ему вдруг стало трудно дышать. У него уже было так несколько раз в жизни — когда после сильного перепоя он похмелялся ликером, наливкой или очень сладким вином: это задыхалось его сердце, которое устало стучать долгие и трудные тридцать четыре года. Ему показалось, что он умирает. Он не боялся умереть — но ему не хотелось умирать здесь, на улице, среди чужих людей, рядом с его Наташей, которая это увидит и опять будет плакать. Надо было повернуться и уходить в пивной зал — и хоть на коленях просить жетон, — но у него не было сил... и не было никакой надежды.

— Наташа, — тихо сказал он и не посмотрел на нее. — Прости меня... ты не дашь мне сорок копеек?

У нее задрожали губы и подбородок, она схватила сумку, выронив игрушечного медведя; она рылась в кошельке, и слезы капали на какие-то квитанции и справки, и никак не могла найти деньги, — и вдруг наткнулась на несколько разноцветных бумажек и уже в голос плача протянула ему пятерку.

— Витя... Витенька!..

Он неуверенно отстранил ее руку.

— Это много, Наташа... Что ты...

— Витя...

Обливаясь слезами, она сунула синюю бумажку в карман его пиджака; он хотел ее остановить, но она повернулась и пошла — закрывая лицо рукой, неловко ступая в лужи тонкими, очень высокими каблуками, такими же высокими и тонкими, как в тот день, когда она вышла из-под козырька его подъезда и побежала прочь, по дорожке, обсаженной цветущим шиповником. Он стоял и смотрел ей вслед и заново переживал то же чувство, что десять лет назад, — когда Наташа бежала через пустой пыльный двор, а он стоял и смотрел на нее из окна своей комнаты, — нестерпимую боль, что она уходит. Но тогда ему было легче — он еще не знал, что это навсегда.

Он повернулся и тяжело заковылял к Пиночету.

Я ДВУХ НАРОДОВ ДЩЕРЬ...

* * *

Украина!
«Ридна мова»!
Почему-то с детства
понимала каждое слово.
А когда бабка и дед
говорили по-еврейски,
слышала только: гал-гал-гал!.. —
еврейский кагал!
Как я могла тобой пренебречь,
еврейского местечка речь?
А теперь мой язык родной
не хочет знаться со мной.
Я бы сказала мамочке: «Мамеле!».
Я бы сказала котеночку: «Кецеле!».
Я бы сказала: «Простите меня,
«швестер и брудер!» —
всем, погибшим в Освенциме.
И так хочется пойти в синагогу
и сказать: «Мозл тов!»
и «занд гезунд!» —
Единому Богу!

* * *

Я — еврейка.
Я — та самая Хая!
Какой анекдот
меня не охаял?
Я — та самая Сарочка —
Хаиму парочка!
Конечно же,

Эльмира КОТЛЯР — родилась в Казани. Окончила Педагогический институт им. В.И. Ленина. Автор книг стихов «Ветка» (1958), «Свет-город» (1966), «Акварели» (1973), «Избранное» (1989), вышедших в «Советском писателе», «В руки Твои» («Моск. Парнас», 1999). Лауреат премии журнала «Новый мир» за 1997 год. Живет в Москве.

я ем курочку.
А не хотите —
черствую корочку?
У меня маца и рыба фиш?
— Шиш!
Я не знаю еврейской Пасхи.
Не знаю Исхода.
Не знаю своего народа.

* * *

Я двух народов дщерь!
Оба — в жизнь мне
открыли дверь.
Русский народ
приютил меня
на земле своей.
На русский лад
мне поет соловей.
Но библейская родина
есть у меня,
хотя на ней
не прожила и дня.
Ветхий Завет
и Новый Завет
на меня проливают свет.

* * *

Мир не любит евреев —
род патриархов, иереев.
Из уст в уста:
— Евреи распяли Христа!
Но кто принял такое страданье,
как мой народ?
От него содрогнулся
человеческий род.
От злодейства газовых камер
мир замер.
Евреи в мире — соли щепоть.
Не отрекся от них Господь!

Библия

Когда я для себя
открыла Библию,
почувствовала кожей,
что евреи — народ Божий.
Это стало подобно
жизни новому рубежу,
что я к евреям принадлежу,
что евреи выстрадали Бога —
единого спасения залога!
Что Христос
в синагоге возрос!
Что Богородица со мной
крови одной!
Для меня было
главным в жизни —
русское слово —
средоточие всего святого.
А сейчас я чувствую внове,
что еврейка по судьбе и крови.

В синагоге

Синагога! —
Дом Единого Бога!
Когда я туда прихожу,
у меня ёкает сердце:
здесь единоверцы!
Раз в год
я совершаю матери поминанье.
Между мной и синагогой —
радостное пониманье.
Я дома,
хотя с синагогой
почти не знакома.
Я прихожу в православный храм,
и, хотя я знаю,
что нет ни эллина, ни иудея,
стою в толпе робея.
Сердце мое разрывается надвое!..

Почему евреи не со Христом?
Это был бы мой дом.
Неужели никогда синагога
не признает Сына Бога?

* * *

Как получивший
великую прибыль,
радуюсь, Господи,
слову Твоему,
святому псалму.
Как мне близок человек,
сложивший псалом!
Точно сидим рядом
за одним столом.
Точно старый,
богобоязненный еврей,
покачиваясь,
молится нараспев,
белый талес
на плечи надев.
И читает, читает псалом.
А я головой качаю:
— Шолом! Шолом!..

Вопросы

Почему иудеи
Мессию ждали,
а Христа не узнали?

Почему не поверили,
что Сын Бога Живого
перед ними —
Иисус Его имя?

Разве евреи
других народов грешнее?
Почему не смогли распознать
Божию благодать?

И толпа, кричавшая:
«Распни Его, распни!» —
Разве думали, что Сына Божия
распинали они?

Разве не молился Христос,
когда был на Кресте распят:
«Прости их, Господи,
ибо не ведают, что творят!».

Каиафа, если бы прозрел,
Сына Божия
разве распять посмел?
Кто ему замкнул слух?
Почему он был
слеп и глух?

Господи!
Но почему же Иуда?
Он знал, что Ты — чудо!
Тридцать сребренников?
Но он выбросил их в отчаянии,
в раскаянии
и возопил перед злой кончиною:
«Предал я Кровь Невинную!».
Боже!
Но что же?

Почему две тысячи лет
Израиль говорит Христу:
«Нет!»?

И не создан ли был
этот народ,
чтобы хранить
Единому Богу верность
и в этом
его беспримерность?

Разве не избрал Бог Израиль
среди других земель?
Не поставил в нем
Христову колыбель?

Разве не израильтяне
первые Христиане?
И Апостолы,
что Богом посланы?

А если бы Христос сейчас
явился среди нас
не на облаке,
не в славе и величье,
а в Своем кротком обличье,
мы бы Христа узнали?
Мы бы Его не гнали?

ИСПОВЕДЬ СОВРЕМЕННИКА

* * *

Кому из нас в предзимье незнакома
Гнетущая — по времени — тоска.

Фантомами похмельного синдрома
Смурные наплывают облака.

Они похожи на мужские лица,
Помятые, небритые давно...

И хочется: кому опохмелиться,
Кому напиться — в общем, всё равно.

Кто услышит?

Природа.
Одинокий человек
В ее чертоге
замер на пороге.
Смятенная душа.
Над головою бег
Древесных крон —
В испуге и тревоге.
Колеблемая, мельтешит листва:
То глянец верха,
то пушок изнанки.
А естество
Живого существа

Виктор МОСПАН — родился в 1946 году в селе Андруши Киевской области. Служил в армии в Казахстане. Окончил пединститут. Занимал различные должности в редакционных коллективах в Воениздате, МВД СССР и Российской Федерации. Автор книг стихов «Светлеют небеса...» («Молодая гвардия», 1985), «Жилая даль» («Советский писатель», 1991) и «Душа сказалась» («Олимп»,1992), «У края вечности» (РИФ «Рой», 1999), а также многих публикаций в журналах, альманахах и сборниках стихов. Живет в Москве.

Трясет хвороба
чище лихоманки.
Да как же так!
Врачующий покой
Искал в лесу.
Но в этот раз природа
Его встречает вздыбленной,
Такой,
Что хочется бежать —
и нет исхода.
Нечисто дело — спутаны пути,
Как змей клубок,
И оплетают ноги...
Неслышный вопль животный:
«Отпусти!».
Но кто поможет,
Где былые боги?

Круг

По земле, под небесами —
Между дьяволом и Богом —
Шли, куда не зная сами,
По проселочным дорогам,
Полевым, таежным, разным:
Непролазным и проезжим...
Подвергали дух соблазнам,
Слепо верили надеждам.

На земле, под небесами
Время сиднем коротали,
Жизнь с природными часами
Да погодой сочетали.
Но работали с надсадом
И пивали выше меры.
Перед самой встречей с адом
Обретали символ веры.

И землей и небесами
Обделенных было много —
И терновыми венцами
Оделенных слишком строго.
Круг, очерченный навеки,

Остается Колизеем.
Все мы, люди-человеки,
Бьемся насмерть и глазеем.

Гибель Третьего Рима

Мы — москвичи времен упадка.
Клубятся варвары вблизи.
Еще мгновение — и схватка
Во тьме, в неведенье, в грязи.

Потом грядет средневековье:
Раздробленность, вражда и гнусь,
Паденье нравов... На здоровье!
А я уйду — не оглянусь.

Прощанье с древним Третьим Римом
В душе давно произошло.
В своем падении незримом
Страна моя творила зло.

Теперь, когда и Матерь Божья
Сняла спасительный Покров,
К чему пугаться бездорожья
И холода чужих миров.

Не будет хуже, чем сегодня,
Но здесь. А в горней вышине,
Где ждет последняя — Господня —
Святая кара по вине?

Придем нагие и босые
И что же — к своему стыду —
Тогда мы скажем о России
Неумолимому Суду?

Исповедь современника

О Господи! Послушай атеиста.
Не всуе поминаю, не горю
В экстазе, а впервые лет за триста
Без всякой задней мысли говорю.

Не жажду оказаться в райских кущах.
А в ад за что? Малы мои грехи —
Привычные, из человечьих, сущих:
Табак, вино, любовь, стихи... Стихи!

Сложнее исповедаться в душевных
Терзаниях, в неверии душой.
Я не святой, но всё же и не евнух.
Да, не смиренен. Это грех большой.

И с мыслями неладно. Боже правый,
Не к вечному обращены они:
Что будет с православною державой?
Страна Христова гибнет в наши дни.

Пришла пора политиков лукавых.
Бесовствуют, не ведая стыда,
Бесчисленные кланы левых, правых,
Но здравых мало. В этом вся беда.

Сейчас, когда близка развязка драмы,
Опять Твое учение в чести,
И многие пошли молиться в храмы.
А я не верю, Господи. Прости!

ПОВЕРТОН

(Из воспоминаний о наших а н т и к а х)

1. Сон был тяжелый, несмотря на всю его нелепость, мучительный — наверно, надо было проснуться, но ведь интересно и посмотреть. Сам себе я был интересен — а как я из этого выпутаюсь?

Ну как его рассказать — сон? Какая-то в этом пошлость и глупость. К тому же слушать чужие сны невероятно скучно, а их многозначительность, которая рассказчику зачем-то важна, кажется всего лишь болезненным и преувеличенным интересом к самому себе — мне-то, думаешь, зачем? Правда, бывает можно понять, с чем из накануне случившегося сон связан (чаще всего с чепухой), а быть может, о чем-то предупреждает? Не знаю, всё это из области, которая мне всегда была словно бы чужой, а потому сам сюжет я восстанавливать не стану, да и не смог бы, хотя глянувшая на меня в мутном стекле рожа явно ничего хорошего не предвещала. Впрочем, я не слишком напугался, засовы в доме, в котором я непонятно каким образом очутился, казались крепкими, но, как известно, и я успел об этом подумать, ни за какими засовами не отсидишься...

Снилась мне моя собака. Померла она тринадцать лет назад, а жила в доме восемнадцать. Долго. Королевские пудели — долгожители, я это всегда знал, но поскольку очень был к нему привязан, а проще сказать — любил ее, то боялся, что конец когда-то наступит. Это человеческая жизнь представляется долгой, бесконечной, не говоря о том (или именно поэтому), что нам обещана вечность, а о собаках мы того не знаем.

Феликс СВЕТОВ — родился в 1927 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Работал журналистом на Сахалине, в 1955 году начал печататься в Москве — в центральных газетах и журналах, но главным образом в «Новом мире» Твардовского. Один из авторов солженицынского сборника «Из-под глыб», а также многих статей, напечатанных в 70—80-е годы на Западе и в Самиздате. В 1980 г. исключен из Союза писателей СССР за антисоветскую деятельность, в январе 1985 года, после года тюрьмы, приговорен к пяти годам ссылки; вернулся в Москву в 1987 году и был реабилитирован. Автор романа «Отверзи ми двери» (1975, Париж), книги «Опыт биографии» (1985, Париж), романа «Тюрьма» (1992, М.) и многих статей, очерков, рассказов, печатавшихся в 80—90-е годы в журналах «Знамя», «Новый мир» и др. Живет в Москве.

Звали пуделя — Март, в марте месяце щенком я принес его в шапке в подарок дочери, замучившей меня просьбами о таком щенке, но хватило ей забавы ровно на месяц, а потом он стал моей заботой и печалью. И как чаще бывает в любви — один любит, а другой любовь принимает. Я был у этого пуделя кем-то вроде лакея, он знал, что может сделать со мной всё, что захочет, а потому будил только меня в семь утра, и я послушно выходил с ним во всякую погоду. А любил он и считал своей хозяйкой не дочь, которой был подарен (и, разумеется, не меня), а бывшую мою жену, потому что навсегда запомнил, что она спасла его в первый год жизни, когда он заболел чумкой, подыхал, а она делала ему уколы и выкармливала с ложечки.

Он был, конечно, красив, после помывки длинные шнуры становились розовыми, морда была добродушная, веселая, а к весне делался похож на старый валенок.

Чего только за долгие годы нашей совместной с Мартом жизни ни приключалось, был он, само собой, большой радостью, многие годы зимой мы оставались с ним вдвоем, жили за городом, ему я и обязан своими длинными романами. Встанешь в семь утра, пробежишься по снегу, не в постель же забираться досыпать, затопишь печку, садишься за стол. А он спит на тахте до обеда.

Кстати, о тахте. Избалован Март был до крайности и лет через десять после начала нашей с ним жизни окончательно перебрался на мою тахту. Только, бывало, заснешь, он прыгает; сгонишь его раз, второй, спать хочется, не сражаться же с ним всю ночь. И я сдался. Обычно, он забирался к стене и постепенно, упершись в стену лапами, меня сталкивал. Кончилось это полным моим поражением — я перебрался на раскладушку. И как-то, помню, заболел, причем вполне серьезно, со мной это редко, но пришлось вызвать врача — тяжелое воспаление легких. Осень что ли была, темно в квартире. «А где больной?» — спрашивает врач, озирается в комнате: на тахте, развалившись, спит Март, ухом не ведет, а я у книжной полки, на раскладушке. Врач остолбенел.

Жена моя бывшая как-то о нем сказала: «Как собака он равен нулю, а как человек — вполне средних способностей».

Верно. Но, все-таки — не один. Ночью пусто в поселке, а если кто идет — Март грозно, басисто лает. Сторож! Хотя я понимал, помощи от такого пуделя не будет никакой, его самого надо защищать, он перед всеми вилял хвостом, всех заранее любил, какая уж тут помощь и защита. Очень ему, кстати, нравились офицеры ГБ, проводившие у нас многочасовые обыски, — он перед ними вилял хвостом, чем очень ронял мое гражданское, правозащитное достоинство, и охотно шел с ними гулять, потому как никого из нас они, само собой, из дома не выпускали, а я их предупредил, что убирать за ним им самим и придется.

Такой вот был королевский большой шнуровой пудель Март, от которого остался мне на память роскошный нежно-розовый свитер, ходить в нем невозможно, жарко, а ночевать на снегу в самый раз. Очевидно, исходя из этого, мне передали этот свитер в тюрьму, а я, помня рассказы Шаламова и понимая, что отдам его только с собственной шкурой, всё время думал лишь о том, как бы от него избавиться, и, наверно, один из самых счастливых дней в тюрьме был тот, когда мне удалось переправить эту драгоценность обратно домой.

Но это не вся история про пуделя Марта, есть тут еще нечто, связанное со снами. Не с этим последним, который едва ли хоть что-нибудь значит, если не считать, что благодаря ему мне и захотелось всю эту историю рассказать, а стало быть, и он не случаен.

А потому, так сказать, в благодарность. Были мы с Мартом якобы в каком-то подвале, Март рылся в тюках и разбрасывал грязные тряпки, я никак не мог понять, что он ищет, но тут в грязное стекло подвала заглянула страшная рожа и Март говорит: «Поехали скорей к Ларисе Богораз...». Почему, думаю, к Ларисе? Бред какой-то.. Я ее много лет знаю, очень уважаю, но понятия не имею, где она живет да и чем она может нам тут помочь? Лариса человек отважный, всякое на своем веку повидала, но каким образом станет она сражаться с этой жуткой рожей? Да и не выбраться нам из подвала, мы тут, вроде, замурованы, на то и надежда?.. А Март всё так же настойчиво, даже требовательно: «Поехали к Богораз, только она нас спасет...». Чушь какая-то. И только проснувшись, я подумал: а с каких это пор Март начал разговаривать? Во сне это меня никак не удивляло.

Разумеется, глупость и пересказывать нелепо. Но поскольку всё дальнейшее спровоцировано именно этим сном, я его оставляю и перехожу к сну следующему.

2. Он опять связан с Мартом. Вчера он мне приснился второй раз. За все эти годы. А первый раз — тринадцать лет назад. Было это в тюрьме, на Матросской Тишине. И день запомнился: в ночь с седьмого на восьмое ноября. Легко запомнить.

Я оказался тогда в больничке. Прошло девять месяцев моего пребывания в тюрьме, конца не предвиделось, мне казалось, так всегда теперь и будет — это и есть моя новая жизнь.

И вот приходит к нам как-то в камеру майор с красивым названием — ДПНСИ (хотя расшифровывается вполне прозаически: дежурный помощник начальника следственного изолятора). Теперь-то я понимаю, что зашел он — поглядеть на меня. Дело шло к суду, и надо было им знать, в каком я виде. А вид у меня, надо полагать, был самый плачевный. Конец сентября, жара не спадала, в камере не продохнуть, ну я и начал доходить. Были мы в трусах, голые, майор на меня глянул, а я всё

потом думал — что за странный взгляд, оценивающий и якобы человеческий? Спросил он какую-то ерунду у меня, что-то еще у кого-то другого... «Галочку поставил», — определили мои сокамерники. Так никто и не понял, зачем он явился.

Но в тюрьме случайностей не бывает, у них всё просчитано. Я к тому времени уже по всей тюрьме пропутешествовал. Каждое первое число — меня переводят. Был у них такой метод: только пообвыкнешь, притрешься — кормушка открывается: «С вещами!».

Так и случилось уже на следующее утро. «А почему в больничку? — спрашиваю. — Я не просил...» — «Не просился, обратно отведу, а хочешь — на общак?» — ухмыльнулся старшина.

На общак я, само собой, не хотел, знал, что это такое, а про больничку наслушался. Все туда хотят: камеры почище, кормят — да и словно бы ближе к воле. Все мечтают, но редко кому удается, болезнь твоя тут никакой роли не играет, разве что начнешь помирать, а косить не пытайся, сердце у тебя болит, давление, что-то с желудком — ответ один: «Тюрьма не санаторий». Едва ли в больничке и главврач решает, можно ли положить, задержать или оставить. Предложить-то предложит, выскажет свои медицинские соображения, или, скажем, ночью, в экстренном случае, когда начальства нет поблизости, до утра, а там всё в руках кума, за ним последнее слово. Тяжелый он больной, косит или просто ему надо поменять место по каким-то таинственным кумовским соображениям, тут высшая математика, и не пытайся хоть что-то понять в тюремных перемещениях... Бывает, конечно, что-то случается, так сказать, в природе, ведут и ведут больных, размякли фельдшера-лепилы, позабыли где служат, или деваться некуда — болен человек, как бы не крякнул, а с лепилы спросят, не очень строго, но — зачем? Вот и определяют, кладут, кого ни попадя, всех подряд, кладут на пол, под шконки. Не надолго, день-два и всех раскидают — больных, хитроумных да кого бы то ни было...

Нет, конечно, больница — особое место в тюрьме. Всегда так было, сколько порассказывали, понаписали, не зря называют ласково — б о л ь н и ч к а. Хотя те же камеры: железная дверь, кормушка, шконки, решетка на окнах... Те же, да не такие. Стены без «шубы», покрашены светлой масляной краской, белый потолок, простыни — ветхие, изодранные, а чистые, одну меняют после бани. И «ресничек» нет на окнах, сквозь которые, если не отогнуть, и неба не увидишь. А чем ты ее отогнешь, разве что старая, проржавела... А тут — намордник: железный лист сантиметров в двадцати от окна, и если глянуть вбок, увидишь: двор между корпусами, деревья; громыхнул шлюз, от ворот въезжают машины: под вечер воронки везут на сборку новых пассажиров — до глубокой ночи, а утром, с шести до девяти, развозят по судам, на этапы; днем гремят грузовики — везут на кухню картошку, капусту; прошелестит «волга»,

«жигуль» — начальство пожаловало. Три раза на день баландеры тянут на тележках котлы — плещут щи, выплескивает каша — видать какая; офицеры идут в столовую; в субботу вечером женщин из хозобслуги водят в кино, они собираются под окнами, ждут «воспитателей», пересмеиваются, поглядывают вверх, знают — вся больничка прилипла к окнам — живые бабы! «Здравствуйте, девочки-воровки! — кричат из окон. — Хотя бы чего показали!» — «Я тебе покажу — ослепнешь! — кричат снизу. — Решку прошибешь, если осталось чем...» — «Верно! — кричат сверху. — Воровка никогда не будет прачкой!..»

Женщины — особая материя в тюрьме, а на больничке — сестры, венерическое отделение, мамочки... Глянешь из процедурной в окно, пока сестра готовит шприц: в прогулочном дворике мамочки толкают коляски, сидят на лавочках, запеленутый младенец на руке, курят, жмурятся на окна... Месяц-полтора погуляла с младенцем — и на этап, увидит ли его когда-то?.. Что-то удивительное в женском голосе, смехе, в подведенных глазах, а если посчастливится подробней... И кажется из камеры, сбоку через намордник, в открывшуюся кормушку — какие-то они светлые, веселые, — силы в них, что ли больше?

И прогулка на больничке положена два часа, хотя и не соблюдают, а есть право базарить, требовать — отдай мои два часа! И гуляют не на постылой крыше, где ничего, кроме неба в клеточку сквозь ржавую сетку да обрыдшей высоченной трубы, гарь забивает глотку, подыши-ка на крыше... Больничка гуляет внизу, над стенами двориков с одной стороны обшарпанные корпуса — спец, за ним общак со слепыми, затянутыми ржавыми ресничками окнами, а с другой — деревья, психушка, не вольное здание, а всё вольней, и покрашено в яркий зеленый цвет, и окна там посветлей, блестят стекла, решетку едва видно — весело глядят окна без ресничек, без намордников...

Но главное на больничке — пища. Вроде и голода нет сегодня в тюрьме, какой голод, если хлеб остается, не управишься с пайкой, она как глина, вторая выпечка, да и зачем — передача из дома каждый месяц, а повезет, камера маленькая, у всех передачи, ларек... Нет голода. А попадешь в больничку, сразу поймешь, что потихоньку доходишь, доплываешь. Поставят в первый день на весы — мать моя, мамочка, куда ж мой вес делся? То-то штаны сваливались, через день пуговицы перешивал, свитер болтается, как с чужого дяди. А на больничке — каждое утро к пайке белый хлеб по четверть батона, полкружки молока, а девки из хозобслуги наливают полную, масла кусочек, граммов двадцать пять, кружка компота, не сладкий, а сахар свой, добавляй по вкусу, каша — и забыл в камере, что бывает такая! — манная, рис, лапша, и накладывают с верхом. Но главное — мясо. Каждый день перед обедом гремит кормушка и является миска с мясом, по числу зеков, куски в пол-ломтя хлеба — день свинина, день говядина. Редко, кто дождется

обеда — мясо на хлеб, посоли погуще, а если луковица есть! Кто посолидней, не замечает миски с мясом — а дух идет по всей камере! — ждут обеда, и в горячие щи — шлеп мясо. И каши не надо, сыт. Простое дело, кусок мяса, едва ли в нем граммов сто, пятьдесят, не больше, а через месяц, если продержишься, встанешь на весы — три килограмма набрал, и ходишь веселей, и руки-ноги на месте.

Одна тягость на больничке, потому многие и не хотят, хотя надо бы, — курить нельзя. Как ведут из отстойника, обязательно разденут догола, переворошат все захоронки — а всё равно проносят, у каждого свои секреты... «Принес курить?» — первый вопрос в больничной камере. И сразу к окну, подымить.

Много возможностей добыть курево на больничке: из соседней камеры ночью подгонят «коня», поделятся; прогулочный вертухай распахнет дверь, холод, неохота ему гулять: «Ну что, мужики, — гулять или курить?» — «А сколько дашь?» — «Три сигареты на всех». — «Давай, больным людям кислород вредный...» Или заведут в прогулочный дворик после малолеток, у них хорошо с куревом, папа-мама подгоняют, весь дворик заплеван окурками — собирай да суши на батарее, кури, радуйся. А бывает, у кого-то амуры с сестричкой, тогда вся хата с куревом, ждут-не дождутся, когда у него процедуры.

И главный страх — выкинут с больнички, отправят обратно, неделю-другую разнежился, нахлебался молока с мясом, снял напряжение, спишь, читаешь книжки, и такой чернотой вспоминается камера, хоть и спец, а если общак... Оттого и мясо другой раз не прожуешь, еще день, еще два — всё равно отправят, сколько можно косить, да хотя б ты был больным — кого это колышет: «Тюрьма не санаторий...».

Что говорить, больничка — это больничка. Чистилище перед воротами ада. А его тебе всё равно не миновать. Может, следовало бы начинать путь зека с такого чистилища — с больнички? Чтоб как-то пригляделся, хоть что-то бы понял, чтоб не сразу головой в... Нет, пожалуй, прямо с воли ничего он не поймет, не оценит — да куда там!

Вот в больничке я и увидел свой первый сон о Марте. Тринадцать лет назад, в ночь с седьмого на восьмое ноября.

Ничего особо интересного в том сне, на самом деле, не было, если бы... Короче, снится мне Март, молодой, красивый... В последние-то годы, а уж когда уходил я от него в тюрьму — совсем он был старенький, пыльный, ворчливый валенок. А тут, во сне — прыгает и играет со мной. Я проснулся, был растроган — пообщался с существом, которое очень любил. Рассказываю мужикам про свою собаку, про сон, про то-сё. В тюрьме любят рассказы о доме, слушаешь — и вроде у себя дома побывал.

Ну, рассказал и забыл, эка невидаль, сон. А через два месяца у меня суд, дают мне либерально пять лет сылки, что связано с какой-то перестройкой, а потому удивительно, что вовсе не отпустили. Но мне

это в голову тогда не влетело — какая там перестройка, Горбачев, обыкновенная ихняя хитрость. Ничего ведь в тюрьме не изменилось, как бы не стало хуже.

Но все-таки ссылка, не лагерь. И приходят ко мне на свидание дочь, сестра и два внука. Одному почти четыре года — Филя, а другой родился в тот день, когда меня уводили — Тимофей. Год я про них ничего не знал.

Свидание как свидание, положено после суда. Во главе стола сидит некто неопределенный в штатском, по одну сторону милые мои родственники, я по другую, сестра сняла часы, положила передо мной, чтоб следил за временем, либерально дают час. Но он быстро летит: кто да что, как здоровье, дела, какие-то хитрые я задаю вопросы, мне так же хитро, намеками отвечают, ничего не понять, а «некто» следит внимательно и фиксирует на бумажке. Филя — шустрый мальчуган, ему скучно, сначала хотел под столом пролезть ко мне, не пустили, крутится. «Ну, а как твои отношения с Мартиком, — спрашиваю, — дружите, играете или он совсем старый, ворчливый?» — «Да он помер, дедушка, — говорит Филя, — теперь его нет». Дочь ему — щелк по затылку. «Мы, — говорит, — тебе не хотели сообщать...» — «Когда ж это случилось?» — тоска меня взяла и мысль мелькнула: хорошо не при мне, надо ж, и тут повезло.

«Восьмого ноября, — говорит дочь, — под утро. С седьмого на восьмое. Витька его отвез с Сережей... Ну, ты знаешь, Сережа, у которого машина... Возле дачи закопали, весной мы там дубок посадим, может, приживется...»

Я несколько оторопел. «Мне он снился, — говорю, — в ночь с седьмого на восьмое...» Они, по-моему, не поверили.

Вот и говори после этого про сны: глупость это всё или что-то там есть. И я вспомнил тогда, что был у меня однажды по-настоящему удивительный сон, скажем так — пророческий, и думаю, к тому, о чем я хочу рассказать, имеет он уже самое прямое и непосредственное отношение. Вот ведь как, а сначала казалось, глупость, и вспоминать стыдно.

3. Была у нас знакомая француженка. Очень красивая молодая женщина, высокая, стройная, с прямым светлым взглядом, веселая и отважная. Она любила Россию, бывала не однажды, а в последние годы нашей с ней дружбы вышла замуж за французского консула, она и сама в ту пору работала в посольстве.

Вероника была, пожалуй, первой моей иностранной знакомой, всегда останавливал языковой барьер. А тут совершенно свой, во всем близкий, очаровательный человек. Мы много встречались у наших общих друзей, у нас, где-то еще. А когда она вышла замуж — у нее, и хотя понимали, что встречи эти непременно фиксируются, размышлять об этом не хотелось. Пытались, пытались жить, как сказано: в несвободной стране как свободные люди. К тому же в пору Самиздата связь с Западом была совершенно

необходима, а Вероника откликалась на это охотно, с полным бесстрашием и азартом. Я как-то сказал ее мужу Жерару, они приехали к нам с очередными книгами: «А ведь вас за эти шалости отсюда вышлют». Он ответил очень красиво: «Это будет для нас честью».

Еще через полгода их, разумеется, выслали. Это, кстати, была не совсем обычная ситуация, иностранные дипломаты очень дорожили работой в Москве, и только немногие такие вещи себе позволяли.

Но это не сразу с ними случилось, а тут Вероника уехала в очередной отпуск в Париж, я знал, когда она должна вернуться, и через день после ее возвращения, как считал, очень грамотно, позвонил ей из автомата. Почему уж мне не пришло в голову, что если автомат в дачном поселке вполне надежен, то квартира в посольском доме с той же степенью вероятности никак, скажем, не кошерна. Помутнение. Хотя я считал себя очень аккуратным, хвастался, что у меня солженицынская школа, и был, как мне казалось, в таких делах четким.

Впрочем, подобные накладки случались не только со мной. Помню замечательную историю с Натальей Ивановной Столяровой — героиней «Архипелага» и «Невидимок», в тридцатые годы приехавшей из Парижа искать сосланного, а затем расстрелянного отца. Наверно, в середине тридцатых ей было лет восемнадцать, она загремела в лагерь на десять следующих лет, а потом стала секретарем Эренбурга, приятельницей и близким помощником Солженицына. Наталья Ивановна была переводчицей, членом писательского союза, непременно присутствовала на всех вернисажах и премьерах, к ней приезжали ее друзья из Франции, Италии и Швейцарии, она и сама ездила заграницу, когда это было еще большой редкостью, и наша, как сегодня выясняется, всегда отважная интеллигенция распускала слухи о ее «несомненном сотрудничестве». «Будь с ней осторожным», — предупреждали меня. «Замечательно, — говорила Наталья Ивановна, когда я ей об этом рассказывал, — поддерживайте эту версию — я вернисажная дама!»

Сама она очень гордилась своей безупречной конспиративностью, а мы считали это наследственным: ее мать, знаменитая эсерка Наталья Климова, приговоренная еще до Первой мировой войны к смертной казни, успешно бежала из Новинской тюрьмы в Москве («побег тринадцати»), оказалась затем в Италии, где встретилась с революционером-эмигрантом Иваном Столяровым — и появилась Наталья Ивановна. До меня доходили осторожные разговоры о том, что она, уже в наше время, попав в Париж, незамеченной (!) добиралась до Вермонта, и другие рассказы о ее совершенно невероятных подвигах, от которых сладко кружилась голова.

Однажды она сказала: «Если звоните мне по телефону, называйтесь другим именем, надо быть аккуратным». — «Каким?» — спросил я. «Пусть Вася». — «Хорошо, — сказал я, — запомню». Я позвонил ей через несколько дней по вполне неотложному делу; было рано. «Это я,

Вася». — «Какой еще Вася?» — сонно, прокуренным голосом сказала Наталья Ивановна. «Вы меня не узнаете, Наташа? — настаивал я. — Это я, Вася...» Она бросила трубку. Я перезвонил. Я был вполне грамотен, аккуратен, звонил из автомата и считал себя вправе. «Я не знаю никакого Васи, — с раздражением сказала Наталья Ивановна, — во всяком случае, ни для какого Васи я не Наташа...» — «Наташа, это я, имярек», — обозлился я, понимая, что закладываю всю нашу малину. «Господи, простите меня, — ответила Наталья Ивановна, — я совершенно...»

По всей видимости, уровень наших славных чекистов был ничуть не выше, хотя им и платили за это деньги. Как бы то ни было, Наталью Ивановну о н и прошляпили, пришли к ней в Даев переулок через два дня после ее смерти, когда квартира была абсолютно стерильной.

Так вот, история с Вероникой. Мы договорились о встрече, назначили день и час. У меня дома, в Москве. А в ночь перед встречей мне приснился сон. Очень странный. Хотя, если поразмыслить и вспомнить время — начало восьмидесятых, ничего такого удивительного в нем не было, чаще всего снится то, о чем постоянно думаешь.

Жил я на даче, на той самой, где на платформе замечательный автомат для переговоров с иностранными дипломатами; утром собирался в Москву, к назначенному свиданию с Вероникой, и, напившись чаю, закурив сигарету, стал этот сон пересказывать дочери. Очень странный, мол, правда не понять, зачем тебе... Ну и не надо, говорит, плохая примета, сбудется. Нет, ты, мол, послушай...

Самое любопытное, что я не выдумываю ни одного слова. Так и было.

О н и останавливают меня в метро. Или в электричке, неважно г д е. Ведут, и вот о н уже сидит напротив, а передо мной на столе мой портфель — вот этот самый, с застежками. «Что у вас в портфеле?» Я пожимаю плечами: я-то знаю, ч т о в портфеле, и о н почему-то об этом знает. О н и ведут меня дальше, уже темно, мы на железнодорожной платформе, она открытая, портфель лежит рядом со мной, и я осторожно начинаю подвигать его всё ближе к краю, еще ближе, еще немного — и он падает куда-то, я даже слышу глухой стук, платформа дернулась, покатилась, и всё это так долго, что я засыпаю, а «проснувшись», вижу опять т о г о ж е с а м о г о перед собой, но на столе перед ним уже нет портфеля. «Где ваши вещи?» — спрашивает о н, а я опять пожимаю плечами. О н смотрит мне в глаза, знает, что я лгу, а я знаю, что о н об этом знает, но на сей раз виноват о н, сам проворонил, упустил, но уже поздно — п о е з д у ш е л.

«Идите», — говорит о н. Я ухожу и теперь уже на самом деле просыпаюсь...

«Ну и что?» — спросила дочь.

Ничего, конечно, просто сон...

Сигарета была докурена, окно было открыто, пели птицы, пахло жасмином, чем-то еще... Я взял портфель и поехал в Москву.

А дальше всё было, как договаривались: Вероника приехала вовремя, остановила машину возле кафе «Лира», припарковалась, вытащила сумки, и мы пошли ко мне домой. Всё это было потом на и х фотографиях: мы с Вероникой тащим здоровенные сумки.

Я думал, у нее будет время, купил коньяк, что-то перекусить, но у нее были дела, она распотрошила сумки: главным образом детские вещички для только что родившегося внука Фили, помню меня особенно поразила алая пластмассовая машина для производства творога. Ну, разумеется, много книг — тамиздат. И письма.

Мы поболтали, и я отправился провожать иностранную гостью. И это было зафиксировано на фотографиях: мы идем к машине с пустыми сумками.

Очень их Вероника интересовала: меня и в Лефортове, и на Лубянке, а потом на «Матросской Тишине» спрашивали: знаком ли я с Вероникой Пероле? Я же не отвечаю на вопросы. А давайте без протокола, — такой был шустрый подполковник в Лефортове: правда ведь красивая женщина? Ну, а без протокола, мол, мне с вами и совесем незачем, а тем более о женщинах. Нет, а все-таки... Чего пристал, думаю, или им за иностранцев чего доплачивали...

Я был у этих Пероле год назад в Медоне: Вероника всё такая же красивая, две девочки — очаровательные создания, одна из них — Полин, моя крестница, а Жерар сидит в кресле, курит трубку, потягивает виски и глядит в окно — Медон высоко на горе, а у них последний этаж, мансарда — потрясающий вид на Париж. Жерар листает художественные журналы, в гробу он видел свою дипломатическую карьеру — вот дома ему явно хорошо. Ну, это другая история.

А в тот раз проводил я Веронику и вернулся домой: коньяк скучает на столе, комната завалена детскими вещичками, потрясающими книгами... Очень мне не хотелось возвращаться на дачу — был возбужден, коньяк на столе, хотя и понимал, что меня ждут, им тоже интересно, но мы вроде точно не договаривались, может, мол, заночую.

Я стал звонить по телефону, набрал один номер, другой, третий...Пусто в Москве, середина лета. Ну, коли так, думаю, надо ехать...

И тут звонок: Неонила Васильевна, мать Марка Щеглова. Было ей тогда лет восемьдесят пять, почти тридцать лет без Марка. Он и умер тридцати неполных лет, в 1956-м, а ведь успел так много в начавшейся тогда литературе нового времени. Марк Щеглов одна из самых важных страниц моей жизни, первый мой товарищ, такая была высокая, как он написал в одном из писем (оно, кажется, опубликовано В. Лакшиным) — «шиллеровская» дружба, на студенческой скамейке начавшаяся, а закончившаяся его смертью в Анапе. Никогда мне не забыть ни его,

ни его могилы высоко над Новороссийской бухтой, ни приезда Неонилы Васильевны ко мне в Москву без Марка, а дальше все эти тридцать лет она без него, из одной больницы в другую... Как ни старались ей помочь — как тут поможешь.

«Как хорошо, что я вас застала, — лепечет Неонила Васильевна, — я сегодня неважно себя чувствую, а меня подвели — все на даче, у меня ни хлеба, ни молока, может, вы смогли бы...» — «О чем разговор», — говорю. Вот, думаю, и решение проблемы — никуда сегодня не поеду.

Я побежал в магазин, благо «Елисеев» был рядом, открыт допоздна, купил молока, хлеба, еще что-то. Возвращаюсь в квартиру... Какая-то меня взяла тоска, очень уж всё выглядело н е г р а м о т н о. Тахта завалена детскими вещичками вперемешку с книгами Шаламова, Солженицына, «Русская мысль» — подшивка, письма на папиросной бумаге. Нехорошо это было.

Ну, письма я сунул в задний карман, набил портфель книгами, газетами, всё вроде собрал, портфель надулся, как футбольный мяч, но я его защелкнул. Взял сумку с продуктами, выхожу из квартиры.

В подъезде темно. Надо ж, думаю, только что вроде бы горел свет, опять лампочка перегорела. Надоело, пусть теперь соседи новую ввинчивают... Бегу вниз по лестнице, а там хлопнула дверь, судя по приглушенным голосам и шарканью, поднимается целая компания... Темно, не видно, а они не сторонятся, освещают меня фонариком. «Имярек?» — «Я» — «КГБ...»

Я сразу не врубился: виноват, мол, сейчас никак не могу, у меня неотложное дело... «Дела придется отложить».

А дальше, как во сне: я открываю дверь, зажигаю свет, мне под нос удостоверения, я делаю вид, что читаю, ничего не вижу, ордер на обыск... «Выдайте запрещенные материалы...» — «Ищите».

Их было шесть человек, и продолжалось это всю ночь.

Конечно, сон, или — продолжение сна. Но я не сразу вспомнил. Потом.

Наша большая комната их явно ошеломила: тахта завалена разноцветными детскими тряпками, а посредине — невероятный аппарат алого цвета. «Это что такое?» — их начальник, майор сделал стойку, уж не знаю, что ему пришло в голову. Не трогать, говорю, особо ценная вещь, принадлежит моему внуку, производит творог из ничего... Они потрогали, но очень осторожно, с уважением.

Квартира была пыльная, запущенная, ремонт делали десять лет назад, уезжали на дачу в спешке: пыльные папки с рукописями (архив писателя-графомана!), книги, книги, письма покойной жены, им тридцать лет, никогда не было сил их перечитывать, письма матери — после ее смерти никогда не мог заставить себя следить за ее угловатым, все буквы вразброд, почерком — и те, и другие письма в чужих быстрых

пальцах... Рога, копыта, хвосты, глумливые ухмылки — спортивные, подтянутые, хорошенькие, в костюмчиках, белые рубашки, галстуки, тошнотворный запах чужого, чуждого, липкие пальцы на книгах, письмах, бумагах, фотографиях... И час, и два, и три, и четыре, и шесть, и белые рубашки сереют от пыли — сколько ее накопилось на антресолях, в старых матрасах, в забытых, заплесневелых пакетах в буфете, в открытых книжных полках, каждую книгу, страницу за...

Майор сидел за столом в большой комнате, заполнял протокол, а ему носили «охотники»: Бердяев, Флоренский, Набоков, Библия... Всё, что вышло на Западе. Фейхтвангер, «1937». «А это зачем? — спрашиваю. — У нас издано, в хорошие годы, тогда не ошибались». Он отложил.

Я напряженно думал о письмах в заднем кармане: а если личный обыск?.. Зашел в сортир. Тут же распахнулась дверь: «Ну, если вам интересно...». Подошел к окну: внизу стояли машины. Серьезная операция.

За окнами начало сереть, я уселся в старом глубоком кресле, за подлокотники вечно что-то заваливалось — очки, ручки, с трудом находили. Майор сидел напротив, ему всё это уже явно опостылело: шли на что-то серьезное, а тут... Я закрыл глаза, потянулся, вытащил из заднего кармана письма и запихнул поглубже за подлокотники. Минут десять выждал, встал и вышел из комнаты.

Еще через полчаса я вернулся и обомлел: два здоровых мужика, им бы штанги толкать, подняли кресло на вытянутых руках и трясли. Сломаете, говорю, антикварная вещь. Они опустили кресло. Письма явно ушли еще глубже, на самое дно.

И тут майор неожиданно вскинулся: «А это что такое? — и пнул ногой раздутый, как мяч, портфель, он валялся посреди комнаты, — чье это?».

Я повернулся и вышел из комнаты. Вот когда мне вспомнился сон: тот самый портфель, та самая история. Я совершенно забыл о нем.

В углу на кухне у нас висела старенькая икона — Никола, темный лик, мне подарили на Крещенье. Говорят, он помогает в такого рода делах. Я перекрестился. Потом подумал, распечатал бутылку, налил в стакан коньяк. Выпил, закурил и присел к столу.

Так я сидел минут десять, меня никто не звал. Я еще раз перекрестился и вернулся в комнату. Они уже все там толпились, майор явно заканчивал. Раздутый, по-прежнему застегнутый портфель валялся теперь под столом. «Распишитесь». Я подписал, не глядя. Кто-то из них поднял два здоровенных мешка, набитых до отказа бумагами и книгами. Они у ш л и*.

* На допросе в Лефортове следователь выспрашивал у знаменитого адвоката Бориса Золотухина подробности о нашей жизни, иностранных знакомых. «Но ничего же не нашли», — сказал Боря. «Не нашли, не нашли... Но вы же профессионал, Борис Андреич, знаете что такое обыск». — «Знаю, — сказал Боря, — шесть человек, вполне неожиданно, всю ночь... Кстати, почему ночной обыск, вроде бы не положено?» — «Начали до десяти вечера, всё законно, — сказал следователь. — Нет, что-то там не так, должно было быть...» (*Прим. автора.*)

4. Наверно, час я просидел, не двигаясь. Пытался понять. Конечно, они должны были меня в тот раз забрать: знали, на что шли, это было очевидно. Но с чем брать — с аппаратом для производства творога, с Фейхтвангером и Набоковым? Нет, здесь в другом дело: еще была н е п о р а. За мной они пришли через два года. А тут просто дурной сон, его повторение, когда не поймешь — сон это или явь, но и не прекратить, не проснуться, стало быть, не сон, а явь. На самом деле, явь, хотя всё совершенно нереально? Дверь не нужно отпирать, но она открывается, света не следует зажигать, но под потолком вспыхивает лампочка — я, что ли, ее включил? Дом наполняется чужими голосами, чужими шагами, чужим скрипом...

Но дело было не только в этом: в той реальности нереального сна, или, скажем, в этой нереальности совершенно реальной яви была еще одна — в ы с ш а я р е а л ь н о с т ь. Да не в том было дело, не в этой нереальной реальности или в реальной нереальности, во сне или наяву, это было пустяком, житейской подробностью, социальной необходимостью или социальным недоразумением. В тот момент всё это казалось мне пустяком и на самом деле было пустяком рядом с тем, что открылось, дало себя осознать, услышать, увидеть... Так бывало когда-то, с кем-то, так постоянно бывает, всё время происходит, но с к е м - т о, то, во что можно только в е р и т ь, но не удается, нельзя, невозможно з н а т ь.

Я говорю об этом так высоко, хотя уже давно боюсь высокопарности, — а как сказать иначе? Тогда я испугался, что это происходит со мной — не с кем-то, о ком узнаешь или читаешь, а со мной! Был смущен, заробел... З н а к, думал я, поразительный знак, начиная со странного сна накануне, причем не для того, чтобы предотвратить, что всё равно должно было, не могло не произойти, но чтобы дать мне возможность понять, если я окажусь на это способным...

Просто еще не пора, думал я тогда, всего лишь — не пора, но железный занавес уже опущен, прошлого нет, будущего не будет, я должен забыть обо всем, что было, не думать о том, что мне предстоит, но главное — не надеяться, что всё это как-то обойдется, на бесконечно расслабляющее — авось пронесет, кто-то смягчится, что-то помешает, или я проснусь от дурного сна, вытру со лба пот и всё будет, как всегда: птицы, жасмин, прохладный ветерок...

Не надейся, не верь, не проси. Именно — «не надейся», а не «не бойся», как сказано. Кто не боится, как не бояться, коли страшно. Нельзя н а д е я т ь с я, нельзя позволять себе расслабляющую роскошь пустой надежды: всё кончено, ничего другого не будет — и тогда ты готов ко всему.

Я пишу всё это у себя за столом, в открытую балконную дверь валит дурманящий запах отцветающего жасмина, почти совсем отцветшей липы, поют птицы, середина лета, а я всё никак не пойму — то, о чем

только что вспомнилось, было сном, дурным ночным кошмаром, или то была явь, а сон это то, что происходит сейчас — открытый балкон, дурманящий запах, пение птиц?..

Любопытно, что вполне банальная мысль о путанице реального с нереальным, сна и яви впервые влетела мне в голову в раннем детстве. Наверно, мне было лет пять, едва шесть. Я проснулся в своей кровати, она была с сеткой, значит, верно, всего лишь — пять. Утром солнце било в окно комнаты, проникало сквозь листву дерева, росшего у самого дома, толстый, как прожекторный сноп света, луч прорезал комнату, в нем плясали пылинки, кружились, не в силах выскочить за пределы луча. Я помню это совершенно отчетливо, так же, как то, о чем тогда так странно думал. Наверно, я сплю, думал я, это сон: моя комната, кровать с сеткой, пляшущие в солнечном луче пылинки, — а то смутное, неопределенное, что виделось только что во сне, — и есть то, что происходит на самом деле. Быть может, думал тогда другими словами, я и сейчас пишу об этом приблизительно и едва ли точно. Но именно так: реальность — это сон, а сон...

Удивительно, но и сегодня, спустя тринадцать лет, многомесячное пребывание в тюрьме кажется мне... сном. Да не может быть, чтоб это было со мной на самом деле! Огромные камеры, битком набитые людьми (в мое время на общаке до восьмидесяти—ста человек в камере), грязно-коричневая «шуба» на стенах, забранные решеткой, а снаружи загороженные ржавыми «ресничками» (жалюзи) окна, они и зимой не пропускают воздуха, а если жаркое московское лето... Разноцветное месиво, скопище людей, совершивших самые дикие, бессмысленные, невообразимые преступления, а порой перед законом неповинные, всего лишь распущенные. И так — месяц, два, три, шесть, двенадцать...

Сон, конечно, сон. Но ведь на самом деле — реальность, **правда**? Более того, русская тюрьма — это вообще некая метафора нашей русской жизни. Та же самая российская жизнь, просто доведенная до абсурда, до бреда, до несомненной нереальности. Ад, созданный руками человека, освобожденного от веры, царя, отечества, строящего рай на земле.

Та же самая наша обыкновенная жизнь, показанная как бы под сильным увеличительным стеклом, жестко и точно, уже безо всякой пропаганды или романтической сентиментальности. И сами стены, и мычащая разноцветная толпа, и дикие, бессмысленные преступления, и циничный правовой беспредел. Прошлого не было, будущего не будет — вот она, настоящая жизнь.

Что ж это — сон или реальность?

Наверно, если хочешь понять себя и страну, в которой родился, т у д а следует спуститься.

5. Да, много можно об этом говорить и рассказывать, а сколько говорено и написано, но человек, я заметил, отталкивает от себя т а-

к у ю правду, как-то неуютно он себя чувствует, выйдя на улицу, торопясь по своим важным или не слишком делам, з н а я, что рядом, вон за тем поворотом, в черте старого города, а проще сказать — в центре, вон за той стеной творится нечто невообразимое.

Об этом и не расскажешь, не объяснишь — не сможешь. И никто тебя со стороны не поймет, не услышит.

Самое любопытное, что всё это не вчера сооружено — ад на земле, и не за восемьдесят последних лет обустроено. Веками складывалось, а потому связано и завязано с глубинным строем всей нашей жизни. Я это понял внезапно, не сам придумал — мне показали или, скажем, открыли. На одной из пересылок — омской. Я их много знаю, пересылок, каждая в своем роде замечательна, но запомнилась подробнее именно эта — омская.

Вообразите подвал, потолок достанешь рукой, своды, как в кино о средневековье. Да это и есть средневековье, наше, сибирское. Старая тюрьма, екатерининская. У одной стены двухэтажные шконки, посредине помост, у двери параша. Параши я до того не видел, теперь в тюрьмах цивилизация — ватерклозет, а здесь не достигли. Окно наглухо забито железным листом, вырезано отверстие. На улице мороз, градусов тридцать, белый пар врывается в «форточку», ползет по стене вниз...

Помещение небольшое, метров, наверно, двадцать квадратных, а набили человек пятьдесят: на помосте навалом, на шконках вповалку, в проходах. Пестрая куча: черные, небритые, желтые зубы под красными, синими губами; гвалт, машут руками, кто-то что-то кому-то...

Белый пар врывается в «форточку», ползет по стене вниз — и исчезает. Нет его. И воздуха нет.

Ну, если часа два, думаю, продержусь. Я пробыл там пять дней, на шестой потащили дальше. Посчастливилось, повезло, мог бы застрять на месяц, и куда б тогда потащили, кто знает. На второй уже день я перестал надеяться, что выйду оттуда живым. Как Бог даст.

На третий день было. Да, кажется, на третий. Тогда-то и прошла сквозь меня та мысль, прошла сквозь, ушла, и я понял — не один, и всё, что со мной происходит — н о р м а л ь н о. Вот что было самым важным.

Я поднял голову и стал вглядываться в своды. Грязные, закопченные, с давно осыпавшейся штукатуркой, они были поразительно красивы. Как символ и архитектура. Как знак времени. Вот это меня и остановило. Последнее. Я почувствовал в р е м я. Оно не было абстракцией и философской категорией. Оно было реальностью, и его можно было бы потрогать руками. Оно существовало сейчас, в это мгновение, и одновременно два века назад, когда эта тюрьма строилась. Оно было в осевших на этих сводах, впечатанных в них лихорадочных взглядах, в больном дыхании, в хрипах — может быть, все-таки в надеждах на что-то? Оно было в тысячах и тысчах судеб — больных, исковерканных, страшных...

Какой еще тракт вел из Петербурга на Читу? — думал я... Через Томск, конечно. Омск они тогда миновали, но едва ли в Томске было иначе. И это после Сенатской площади и полугодья в крепости, после «доверительных» бесед с государем и известия о казни на кронверке... Чистые лица, высокие лбы, бесстрашные глаза, тонкие пальцы... Каково им было здесь — аристократам, сыновьям лучших русских фамилий? Да ведь и этап был другой — не «столыпин», или на морозе с жандармом веселей, легче? Но ведь и «железо» на руках и ногах — или не было тогда в этом подвале на них «железа», только потом, на рудниках? Или это поэзия, метафора? Эх, темнота моя, думал я, ничего-то я толком не знаю, а кого здесь спросить?.. Но уже не мог их не видеть, и понимал, как невыносимо тяжело им здесь было. Мы ведь на самом деле готовились к этому практически всю нашу жизнь, да и вся наша жизнь в течение семидесяти лет многим ли отличалась от того, что сейчас здесь происходило, — подумаешь, смрад, параша, теснота и правовой беспредел! Разве не было того всю нашу жизнь? И недоедания, и тесноты в коммуналках, и хамства, и безнадеги, и равнодушной канцелярщины — а уж правового беспредела! Даже кого впрямую не зацепило, можно ли было жить **рядом** с Архипелагом и им не проникнуться? Что уж мне показали нового? Но ведь им именно показали и уж, наверно, поразили? После Петербурга и Парижа, после конногвардейских парадов и балов, после шампанского, клико и шабли, после бесед с Пушкиным и Чаадаевым, после высокой и ничем еще не замутненной мечты о свободе и равенстве? Разве они могли хоть что-то понимать о равенстве, знали, во что может вылиться свобода? Да, знали, знали о французской революции, но это где-то **там**, у нас всё будет иначе... Конечно, иначе! Разве знали они опыт бесовщины, кровавого террора, большой и мелкой лжи и корыстного лицемерия? Сразу, как в прорубь, в ад — из Дворянского собрания, после гусарских пирушек... Но ведь сумели, смогли? Остались живы, остались в истории, и жены к ним приехали, и стихи о них написали. И даже вернулись. Те, кто вернулись.

Но было нечто еще более важное, что делало мое существование в этом подвале значительно более простым и даже естественным — нормальным. Кого они увидели рядом с собой? Тот самый народ, которого ради вышли на площадь. Несомненно, они почувствовали неприязнь, ненависть к себе — к барчукам (вспомните «Мертвый дом»!). Вот что для них было самым страшным.

Для них, но не для меня. У меня всё было иначе, мы были братьями совсем не потому, что — зеки и судьба общая, а потому, что и на самом деле были братья. Разве учились мы не в одной школе, глотали не ту же самую ложь, не бегали в одном дворе, а там кто куда — в вуз, ремеслуху, на работу, но всё одно и то же — те же улицы, подворотни, магазины, киношки — та же жизнь. Ну, конечно, выбор. Но можно ли

им гордиться, хвастаться — что он означает? У меня хватило сил на что-то, а у него не хватило. А что я про него знаю, про то, как и что с ним было и почему он иначе выбрал — и оказался здесь? Страшные, бессмысленные, нелепые преступления... За двенадцать месяцев уголовной тюрьмы и четырехтысячеверстный этап, может, два-три раза я столкнулся с людьми, попавшими сюда вполне, так сказать, профессионально. Остальные жили нелепо, рабо- тали нелепо и попались именно по нелепому поводу. Да и как мне от них отделиться, а потому и — как им от меня? Это для прокурора важно: украл, смошенничал — но я о другом Суде и о другом Судье... А ложь, лжесвидетельство и прочие «мелочи»? А есть ли разница? «Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбодействуй», сказал и: «не убий»; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона» (Иак. 2,11).

Такие вот ощущения и ассоциации.

6. Да, как известно, на свете всё кончается, нам еще в детском саду читали: «и есть всему конец», но история эта, казалось, не кончится никогда, чего ей кончаться, и главное — каким образом? Очень нам сильно все-таки заморочили голову, может, и правда успели создать новую человеческую породу? Ну как она могла измениться-закончиться наша несчастная жизнь? — и армия у нас самая сильная, и бомбы самые разрушительные, и дружба между народами внутри гигантской страны на века, и поддержка всего прогрессивного человечества, а уж про ГБ и его всевидящие глаза — с молоком матери тот страх в нас проникал и ничем его было не выгравить: бесстрашные оказывались трусами, порядочные — способными на любую подлость, честные — обыкновенными лгунами, а умные — вели себя просто как дураки.

Но чудо, тем не менее, произошло, это сейчас все задним умом крепки, выясняется, были прозорливы, всё всегда знали-понимали: и экономика окончательно разваливалась, и политическая несостоятельность всем была очевидна, и национальные проблемы должны были вот-вот взорваться, и сырье давным-давно повытаскивали... Много чего сегодня говорят. Все очень умные. А я так думаю, что еще бы полвека это всё бы просуществовало, хватило бы и наглости, и бесстыдства, и глупости, и инерции, и страха, а уж сырья этого еще долго из России вытаскивать, а то, глядишь, и завоевали бы кого-нибудь, очень уж все боялись большевиков, а кто не боялся — любил. Вот еще в чем был этот самый социально-исторический парадокс.

Но тем не менее повторяю — случилось, произошло, вопреки логике и всякого рода размышлениям-соображениям. Помните, в 1917 году Василий Васильевич Розанов написал: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три». Тоже, между прочим, трехсотлетняя империя, огромная армия, блистательный офицерский корпус, а кроме того, золотой

рубль — без обмана, гигантские урожаи, молодой, азартный капитализм, вера Православная. И вот — в три дня.

А не нечто ли похожее — в наше время? И в те же три дня (пусть в три месяца или три года — велика ли разница?). Как же это произошло? У меня есть по этому поводу, скажем, два объяснения: одно — высокое, богословское, а второе — простое, человеческое, имеющее, впрочем, прямую связь с первым. И я этими соображениями поделюсь. И первым, и вторым, О том и речь.

7. Помните Книгу Иова? Начинается она с того, что собираются на Предвечном Совете у Господа сыновья Его (надо понимать — ангелы), обсуждают высокие проблемы — и между ними сатана. Господь его спрашивает: ты, мол, много ходишь по земле — как там раб Мой Иов? И сатана, натурально, отвечает: а что, мол, ему сделается, Ты ж оградил его тем и этим, а вот ежели бы позволил немного пощупать... И Господь позволил: только его самого, мол, не трогай. Помните, что случилось, произошло с праведным Иовом в результате этого первого «пощупывания»? Дети, богатства, стада, урожаи... Всего накопленного за долгую богобоязненную и благочестивую жизнь в одночасье лишился человек из земли Уц.

Но этого оказалось мало. И снова собираются сыны Божии у Господа, и опять среди них затесался сатана. Как там раб Мой Иов, — спрашивает Господь, — ты, мол, на него клеветал, а видишь, он всё так же крепок... Ты ж не позволил его самого пощекотать, — отвечает сатана, — а ведь известно — кожа за кожу... И Господь разрешил: только души его не трогай. И дальше — по библейскому тексту...

Я так думаю, что Предвечный Совет — институт постоянно действующий, а сатана всего лишь исправно докладывает и исполняет Господню волю по отношению к каждому из нас, сам сатана, как известно, ни на что права не имеет. Господню волю по отношению к каждому из нас и ко всему мировому сообществу.

То самое и произошло с нашим многострадальным отечеством, с Россией в 1917 году. Тоже ведь ограждал, сдерживал сатану до времени, а тут: давай, говорит, — щупай! Она и рухнула, слиняла в три дня, как высказал Розанов. И уточнил: «Буквально, Бог плюнул и задул свечку». А дальше пошло-поехало: и разбушевавшееся Гуляй-поле — до каннибализма, и десятки миллионов изломанных, исковерканных, изуродованных жизней — до Архипелага... Боюсь, что и д у ш и нашей несчастной страны Он в тот раз не пощадил, и ее позволил п о щ у п а т ь.

Я лично убежден, что совершенно то же самое случилось и семьдесят лет спустя: тот же Предвечный Совет (да он ежедневно заседает!), те же ангелы и сатана между ними. И тот же вопрос Господа и Его решение: надоели мы Ему, позволил, сатана пощупал — и весь этот кошмарный

режим с его армиями, супербомбами, вечной дружбой и великими стройками — развалился в куски.

Да, да, разумеется, тут и экономика, и политика, и подковерные интриги — весь набор. Но Господь, как известно, так и действует — не громом и молнией, а через людей, через ч е л о в е к а.

8. Вторая моя версия — именно об этом. Она значительно проще, а потому надо о ней подробнее, хотя и она для меня столь же несомненна. Тут важно понять м о м е н т или, как сказано у Лескова: «схватить момент» — и всё станет ясным, как во всякой метафоре, для внимательного глаза — совершенно очевидным, не говоря уже о том, что вполне натуральным.

Это, быть может, самая любимая моя вещь Лескова, хотя я понимаю, что у замечательного писателя есть вещи более глубокие и сильные. Очень я люблю его так называемые воспоминания о «Печерских антиках».

Помните историю Кесаря Степановича Берлинского, славного артиллерии полковника, «с детства» знавшего Государя, неоднократно дававшего Николаю Павловичу важные государственные советы, а тот назначил ему «пенсию с прибавкою», определил на государеву службу всех его сыновей числом восемь (или десять?). Полковника Берлинского обожали солдаты, были готовы под его началом в любую минуту идти на войну, чтобы взять в плен и привести в цепях самого могущественного Вилеазария, да и важнейший принцип русской военной доктрины — «схватить момент» — пущен был Кесарем Степановичем.

Но я сейчас не о военных подвигах артиллерии полковника, а об истории с «бибиковской тещей», дамой «полнищей и преогромной», повредившей орехом-двойчаткой себе зуб, да так сильно, что несчастная женщина, которой надо было немедленно ехать в Париж, не в силах терпеть боль, визжала и просила ее убить.

Вот тут и вмешался в дело Кесарь Степанович со своим знаменитым племянником, всепомогающим лекарем Николаврой, прославившимся лечением зубов, изобретшим средство, мгновенно зубную боль преодолевающее. Но годилось оно, если помните, только для нижних зубов, ибо лекарство было чрезвычайно опасным и если бы ничтожная часть капли стекла с больного зуба, скажем, на десну — тут бы и наступила мгновенная смерть. Николавра никогда не брался за лечение зубов «верхнего строя», он был человеком ответственным, а кроме того дорожил своей репутацией.

У тещи, как на грех, поврежден был зуб верхний, и избавить ее от страданий не было никакой возможности, кабы не артиллерии полковник.

История эта известная, но пересказывать ее одно удовольствие. Приехав в имение бибиковской тещи с Николаврой и управителем,

втайне рассчитывающим, что госпожа его от лечения несомненно «окачурится», Кесарь Степанович распорядился выдать ему пробку от сотерной бутылки и два крепких полотняных платка, мгновенно вставил визжащей даме пробку между зубами, связал одним платком ей руки назад, а другим — платье вокруг ног, как делают простонародные девушки, когда садятся на качели, произнес «французское» слово — «Повертон!», крикнул племяннику: «Лови момент!», а сам перевернул даму вниз головой и поставил теменем на подушку. Николавра капнул лекарство на верхний зуб, ставший в этот момент нижним — и тут же даму перевернули обратно. Она бодро перекусила пробку и говорит: «Ах, мерси — мне всё прошло; теперь блаженство!».

Единственным отрицательным последствием этого прославившего дядю и племянника дела был необыкновенный интерес дам к опасному лечению: они осаждали доктора, требуя, чтоб и над ними был произведен «повертон».

Для меня совершенно очевидно, что п о в е р т о н, произошедший уже в наше время, на наших глазах, с нашим многострадальным отечеством, если излагать версию натурально, не связан ни с экономикой, ни с политикой, ни с действиями проклятых масонов и западных спецслужб, а с одной единственной причиной, которую я сейчас изложу. И тут нет никакой моей заслуги, просто мне посчастливилось иметь к этой, скажем, «причине» некоторое отношение и быть знакомым с неким «антиком», но в нашем случае не печерским, а сибирским.

9. Дальнейшее имеет к только что вышеизложенному пусть и не прямое, но несомненно глубинное или, скажем, поэтическое, но непременно самое непосредственное отношение. Оно и есть ч е л о в е ч е с к о е объяснение свершившегося на наших глазах чуда.

Духовные писатели учат нас относиться внимательно и серьезно ко всему, что с нами происходит, искать в случайном и на первый взгляд пустяковом — глубинный, духовный смысл. И термин есть такой в святоотеческой письменности — *духовное перетолкование.*

Итак, об этой вполне реальной п р и ч и н е. Я лично, как уже было сказано, с этим антиком знаком и даже близко, но имени его называть не стану: человек этот скромный, и такого рода публичность, быть может, ему и лестная, может оказаться для него неприятной или, как сейчас говорят, — дискомфортной, а я этого человека не только люблю, но и очень уважаю и доставлять ему хоть какое-то неудовольствие не хотел бы. Но это, впрочем, как вы увидите, совершенно несущественно.

Так вот — история. В наше либеральное время в УПК была статья — 201. Едва ли она существовала во времена Юрия Домбровского, Левы Разгона, Серго Ломинадзе или Юрия Давыдова. Там всё было просто.

У нас она была вполне действующей и свидетельствовала о законности и правопорядке. Статья означала, что следствие закончилось и подследственный вместе с адвокатом в присутствии следователя может знакомиться с делом.

Представляете, какая радость! После месяцев тюрьмы, когда ты вообще ничего не знаешь о том, что происходит с тобой и на свете — ты видишь человеческое лицо адвоката, он передает тебе приветы, но главное — дело! Все протоколы: обыски (что-то о н и нашли, а что-то и м найти не удалось), допросы свидетелей (голоса друзей) — праздник! Из вонючей камеры приводят тебя в светлый кабинет следователя (окно без ресничек и намордника!) — и не для допроса, для... Потрясающее чтение.

У меня было почти сорок свидетелей, друзья и знакомые. Только друзья и знакомые. Скажу сразу: ни к одному из свидетелей никаких претензий у меня не было, свидетели в ту пору (восьмидесятые годы) были грамотными и хорошо знали, что можно говорить, а что говорить не надо. Одного только свидетели, несмотря на всю их просвещенность, не понимали (да этому и не научишь, сколько об этом ни говори!), что не только не могут они хоть чем-то помочь подследственному, но на самом деле и помешать ему, изменить что-то в худшую сторону — не от них зависит. Человеческими мозгами такое понять невозможно, разве что в тюрьме посидишь. Ну, может ли нормальный человек понять, что никакого закона на самом деле не существует, что всё это — следователь, прокурор, протоколы, УК и УПК — одна видимость, никому не нужная формальность, пустые бумаги, что срок твоему приятелю уже давно катит, был обозначен бледными чернилами в постановлении на арест — остальное фикция. Нормальный человек понять это просто не в состоянии. Только в случае немыслимого в наше время политического кризиса или, скажем, катастрофы что-то тут могло бы измениться.

Советского человека вызывают повесткой в ГБ или прокуратуру, разумеется, ему неуютно, он-то знает, что раз вызвали, он уже тем самым без вины виноват. А ведь есть люди, которые не только не умеют врать, но и не могут, не хотят, не говоря о том, что врать опасно, следователь что-то знает и на вранье поймает — неприятно. Короче, нервная ситуация.

В мое время было три группы вопросов, которые следователя интересовали. Скажем, так: где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с подследственным? Ну, это просто. Если знакомство давнее, то, разумеется, он не помнит, в каком-то, мол, публичном месте. Главное-то здесь не называть никаких лишних фамилий, назовешь, того сразу потянут. Никто из сорока моих свидетелей обстоятельств нашего знакомства не помнил. Был только один свидетель, писатель, он сочинил новеллу о том, как однажды подпил, споткнулся, заснул в сугробе,

наверно бы, так и не проснулся, но шли мимо добрые люди, подняли, привели домой, обогрели — так мы и познакомились. Умилительное было для меня чтение.

Вторая группа вопросов сложнее: дружили, бывали в доме — кого вы там видели? Здесь опасно, не пустой же дом — а кого назвать? Все видели родных (они и так известны), пуделя Марта, видели барышню — она в силу сложных семейных обстоятельств жила у нас два года (о н и не могли того не знать). Видели, кого уже не достанешь. Домбровского — несколько лет назад мы его похоронили...

Помните, в «Хранителе древностей» к вдове профессора Ван дер Белен пришли два веселых румяных паренька, третий — управдом, и спрашивают: где любимый ею человек — доктор Блиндерман? Управдом кивнул на подоконник: «А вон, в резеде». Тогда один из пареньков взял застекленного Блиндермана в руки и весело сказал: «Вы все-таки не ушли от нас, доктор Блиндерман...». Такой у Домбровского макабр. Сам-то он к тому времени ушел от н и х.

Видели тех, кто уехал: Сашу Галича, Борю Шрагина, Володю Максимова, Володю Войновича...

Все видели Окуджаву. Это, кстати, любопытный феномен. Дело тут в том, что за всю нашу почти сорокалетнюю дружбу с Булатом был он у нас, ну, наверно, раз десять-пятнадцать, не больше, — ну не могу я похвастаться, что он дневал и ночевал в нашем доме, а потому эти сорок свидетелей никак не могли у нас с ним встречаться. Здесь, видимо, срабатывала уверенность в неприкасаемости Окуджавы, такой непотопляемый крейсер, а также якобы защита: коли такой замечательный человек бывал в доме, — дом хороший, а кроме того, наверно, лестно сказать, что видел Окуджаву, стало быть, знаком. Да и просто приятно произнести — «Булат Окуджава!».

Иностранцев, чего и добивался следователь, — никто не видел, даже те, кто приходил специально их переводить.

И, наконец, самая сложная — третья группа вопросов. Вы были знакомы, дружили с писателем — какие из его книг вы читали? Здесь опасно — а как быть? Ну, скажем, книги изданные, пусть и за границей — полбеды: купил на улице, возле книжного магазина. А как быть с рукописями, с самиздатом? Вся опасность тут была в том, что в наше либеральное время сам факт изготовления криминальной рукописи (а всякая рукопись была криминалом, если не прошла цензуру) еще не был сам по себе уголовнонаказуемым, это Серго Ломинадзе в сталинское время, если не ошибаюсь, мотал срок за неопубликованные стихи. В наше время криминалом было «изготовление и р а с п р о с т р а н е н и е». А что такое «распространение»? Дал прочесть жене — уже распространил. Как тут быть? И мои свидетели пошли по самому простому пути — практически никто из них моих книг не читал.

Как же так, кипятилась следовательша, замечательная была женщина, похожая на Эльзу Кох (на вопросы я не отвечал, в следствии не участвовал, а так мы разговаривали). Как же так, я вынуждена читать вашу графоманию, а ее даже ваши друзья не читают! Что ж вы меня за графоманию посадили, говорил я, но едва ли это был сильный ответ.

Конечно, я прекрасно понимал моих свидетелей, не мог не восхищаться их хитроумией и находчивостью, но что-то меня коробило: я же все-таки писатель, пусть графоман, всю жизнь на это потратил — а никому, оказывается, не нужно... Тоска. В тюрьме не так просто с юмором.

И вот я читаю показания очередного свидетеля. Свидетельницы, скажу я для ясности. Знакомы ли вы... Да, знакома. Где, когда и при каких обстоятельствах... Я знаю имярека много лет, отвечает моя свидетельница, а я читаю ее слова в протоколе, и напротив сидит Эльза Кох. Я знаю его как замечательного человека и прекрасного писателя... — продолжает моя свидетельница, и это зафиксировано в протоколе. Он не совершал никаких преступлений, а уже много месяцев находится в тюрьме. А потому я, исходя из моральных, этических, нравственных соображений не буду отвечать на ваши вопросы. Кроме того, он был арестован с такой дикой, бессмысленной жестокостью, в тот день и в тот час, когда его дочь, оставшаяся без арестованной матери, была в родильном доме, рожала, что я вообще не стану с вами разговаривать. Дальше вопрос: знаете ли вы, свидетель, что за ложные показания и отказ от дачи показаний вы несете ответственность по статье такой-то? Знаю, отвечает моя свидетельница. Распишитесь. Подпись.

Я читаю протокол, мороз по коже, и думаю: только бы слезы не потекли — все-таки тюрьма, долгие месяцы, разумеется, слабость, случается с пожилыми людьми. Говорят, Горький в последние годы постоянно плакал. Не знаю, плакал ли он на Соловках, едва ли, но когда стоял вместе с Ромэном Ролланом на мавзолее и мимо них шли танки, оба они, рассказывают, плакали от умиления. Нет, здесь у меня было не умиление, нечто другое, что никак не следовало обозначать перед сидящей напротив дамой.

Но я все-таки не выдержал. «Как она вам?» — постыдно спросил я. «Что — как?» — холодно сказала моя Эльза Кох. «Ну как она вам показалась, вы ж в первый раз ее видите?» — «А... — она поджала тонкие губы, — обыкновенная фанатичка, допрыгается...» Так мне и надо, подумал я тогда.

10. Нет, она, разумеется, не была фанатичкой, я попробую, если удастся, объяснить о чем речь, но здесь дело было еще в том, что эта моя свидетельница была человеком ничем и никак не защищенным: в то время она разошлась с мужем, у нее были дети, от старшей дочери

посыпались внуки, работала моя свидетельница в каком-то занюханном институте научным работником, и, чтобы выкинуть ее оттуда, следовательше стоило только пальцем шевельнуть и набрать номер ее администрации. И никакое Би-Би-Си ее бы не защищало — подумаешь, выкинули с работы, когда людей убивают в психушках!

А между тем этот свидетель следствие должен был бы заинтересовать — ну, исходя из пользы дела. Именно эта барышня занималась моим архивом, а он и х очень интересовал — шесть обысков только в день моего ареста! А знаете что такое архив писателя-графомана? Шесть чемоданов и сумок с моими рукописями, письмами, фотографиями, книгами кочевали по Москве; я-то понимал, что о н и непременно придут, а если возьмут, обратно не получишь, жалко. А у кого тогда были большие квартиры, место для хранения архива, да еще чтоб человек не слишком близкий, чтоб и м в голову не залетело, что у него что-то может быть? Много условий. Найдешь, договоришься, отвезешь, а у него неожиданно семейная драма, развод, имущество делить они не станут, а эти чемоданы оставленной жене — зачем? Или, напротив, приведет человек в дом барышню для совместного проживания — а это, скажет, что за хлам?..

И вот однажды моя свидетельница перевозила очередной раз мое барахло из пункта «А» в пункт «Б» на машине своей приятельницы, и машина эта, натурально, заглохла где-то в центре — уж не напротив ли Лубянки? Они остановили такси и под изумленными взглядами прохожих и гаишников перекидывали чемоданы и сумки из одной машины в другую...

Много можно было бы вспомнить всякого рода занятных подробностей в развитие темы, но, пожалуй, достаточно. Я думаю, более того — убежден, что режим наш со всеми его супербомбами, самой большой в мире карательной машиной и дружбой на века между народами рухнул или, говоря словами Розанова, слинял в три дня, именно потому, что моя свидетельница сказала ему — «Нет». Сказала тихим голосом, может быть, даже — про себя. Но сказала так твердо и определенно, что где уж этому режиму было удержаться. Как тот самый неизвестный солдат на большой войне. А я знаю эту барышню: если она скажет — «нет», «да» из нее уже ничем не вышибешь, пусть неделю будешь стоять перед ней на голове — не уломать. «Сибирский характер», — говорил Юра Левитанский. Правда, он имел в виду другую женщину.

11. Тут понимаете, в чем дело: есть вещи, которые нам всё равно не понять, хотя и очень хочется докопаться — откуда такой характер, сила, цельность, из чего и как она может произойти? Ну, бывают, бывают люди — герои или святые с пеленок. Я таких не встречал, но об этом написано, сказано, наверно, есть. Как говорится: не стоит село без

праведника. Стало быть, если стоит, где-то есть и праведник. Но это особый случай — чего тут понимать и размышлять, как сейчас модно говорить — харизма, мол, и всё тут. Хотя как ее определяют — эту самую харизму, не возьмусь объяснить, внешность, что ли, на нее тянет? У одного на щеке бородавка, у другого — рык звериный... Но всем почему-то ясно — у этого, мол, есть харизма, а у этого нет. И все подтверждают или молчаливо соглашаются — явный харизматик.

Оно, конечно, необыкновенность, особенность или, скажем, предназначенность судьбы — значит много и для каждого, кто к такой судьбе так или иначе прикоснется, но я, по простоте, думаю, что и, скажем, обыкновенность такой исключительности немаловажна, нам и в ней может быть дано понять нечто значительное.

Вот, коль я уже вспомнил Лескова, история «запечатленного ангела» — иконы, которую чиновники «запечатлели», отобрали в монастырь, а староверы, которым икона принадлежала, подменили ее копиею во время пасхальной заутрени. Чтоб исполнить сей подвиг, один из староверов прошел с одного берега реки на другой при бурном ледоходе по цепям. Замечательная история, все ее помнят, наша классика. Но на самом-то деле, как сам Лесков в другом своем сочинении признался, сюжет был несколько иным. Да, дело было, действительно, в Киеве, мост через Днепр только еще строился, цепи только что натянули, и некий каменщик, уполномоченный товарищами, отправился с киевского берега на черниговский во время ледохода. Всё так. Но не за иконою лежал его путь по цепям над бурным ледоходом, а за водкою, которая на том берегу стоила много дешевле. Отважный малый налил бочонок водки, повесил его себе на шею и, взяв в руки шест для баланса, благополучно возвратился со своею ношею, которая и была распита во славу святой Пасхи.

Думаю, это никак не умаление подвига, и речь тут не просто о русской удали. В простой этой и вполне житейской истории можно многое разглядеть, а быть может, и понять.

12. Вот и в моем случае, никакой такой явной харизмы у моей свидетельницы не было — обыкновенный, скромный, славный человек, жила всегда трудно и только на себя рассчитывала. Человек твердый, так сказать, с принципами: если любит — любит, а нет — не взыщи. Что еще? Ну, скажем, для меня, несомненно, женщина красивая. Но ведь тоже, как говорится, проблема — кому-то хороша, а кто-то пройдет мимо и внимания не обратит. Причем тут это?

Впрочем, ее глаза я никогда забыть не мог. Тоже, словно бы ничего особенного, такие глаза глядят на нас сейчас с экранов телевидения, ничем не удивить. Но это другое, а ее глаза я навсегда запомнил. Я не большой путешественник по лесам и не грибник, но приходилось, бродил, бывало,

даже по тайге. И вот шагаешь по настоящему, не дачному, а всамделишному лесу, он на сотни верст тянется, сумрачно, страшновато, подымешь голову — и вдруг в листве, нет, не в листве, в хвое, такая бывает тяжелая, густая хвоя, ель, лиственница, подлесок — блеснут глаза: дикая ли кошка, птица какая-то, глаза внимательные, о чем-то своем, затаенном, на чем-то сосредоточенные — таким подлинным на тебя дохнет... Короче, совсем не те глаза, что смотрят сегодня со всех экранов телевидения.

И мне вспомнилась одна ее история, удивительно, что она ее рассказала, человек очень сдержанный, редко открывалась... Нет, не вспомнить, в связи с чем она дала в тот раз слабину. Что уж эта история объяснит, не знаю, совсем, словно бы, не к месту, но...

Родилась моя барышня где-то в Зауралье, перебралась в город побольше, продолжала образование в техникуме. Это уже сколько-то лет спустя оказалась она в Московском университете, стала ученым, а тут всё было очень скромно. Училась всегда замечательно, отличалась добросовестностью, пытливостью. Красивая деваха, в волейбол играла, плавала, разряд имела. Комсомолка, само собой. И вот вызывают ее однажды в райком, обратили внимание: пора, мол, включаться в общественную жизнь. Для начала сделай доклад о борьбе за мир. А я, говорит, мало чего об этом знаю и за газетами не слежу. А ты, говорят, последи и почитай, весь наш народ, как один человек, следит и читает, давай и ты. Чтоб через неделю был доклад — про Кубу, про Никарагуа, про Черную Африку. Да я говорить не умею. Научишься, поддержим. Короче: комсомольское задание.

Человек ответственный: поручили, выполнила. Прочитала грамотно и с пафосом. Молодец, будешь и дальше работать.

Вызывают снова. Вот, говорит секретарь, спустили нам сверху указание — надо бороться с абортами, постыдно для комсомольцев в этом участвовать. А я, мол, об этом совсем ничего не знаю. А ты подготовься, про Никарагуа подготовила и про аборты сможешь. А чтоб легче, времени мало, начнешь с того, что тебе известно — с Черной Африки, с Кубы, с Никарагуа, всегда полезно, а в конце перейдешь к абортам — стыдно, мол. Главное, чтоб был доклад — раз нам сверху спустили, мы должны выполнить.

Народу, рассказывает, было очень много, дворец культуры битком: привезли новый фильм, а после него — танцы. Доклад перед фильмом. Похлопали, потушили свет и запустили картину. Нормально.

Приходит она следующим утром в райком и прямо к секретарю. А он сидит за столом, держится за голову, глаза у него мутные, мычит. Что, мол, с вами, спрашивает моя будущая свидетельница, заболели? Комиссия вчера приезжала из области, отвечает секретарь, сама понимаешь, полночи отмечали наши достижения, никаких сил нет — чем

спрашивать и сочувствовать, ты бы лучше, мол, пива захватила. Я ж не знала про ваши трудности. Ладно, говорит секретарь, зачем пришла, мне уже докладывали, всё у тебя тип-топ, справилась с заданием. Вот я об этом, говорит моя свидетельница, о моем докладе. А в чем, мол, дело. Я, говорит, всё это им доложила — про Кубу и Черную Африку, материал у меня был готов, а за это время там ничего не изменилось. Где, спрашивает секретарь, морщится, голова у него, у бедного стреляет. Ну, в Африке, отвечает, и на Кубе, там еще долго ничего не изменится, тот же доклад можно и через месяц-два читать, а чуть подновить — и через полгода, но я вопросов боялась, хорошо, они кино дожидались, не до вопросов. Каких еще вопросов, спрашивает секретарь. Про аборты, говорит моя свидетельница. Я в самом деле, когда с Никарагуа разобралась, сказала, что в связи с международным положением и происками империализма стыдно комсомольцам забывать о таких вещах, им это только на руку. Кому, спрашивает секретарь, ничего не может понять, к тому же у него с головой совсем плохо. Кому на руку? Как — кому? Монополиям, корпорациям в Черной Африке и Центральной Америке, короче — ЦРУ. Я, правда, мол, не думаю, что у нас кто-то с ними связан, но получается, если у них аборты... Вы бы лучше объяснили мне поконкретней — что это такое, тоже из области внешней политики?..

Он, рассказывает моя свидетельница, когда наконец дошло до него, понял, о чем она его спрашивает, упал головой на стол и начал дергаться; я, говорит, даже испугалась. А он стал звонить по телефону, весь райком сбежался на меня поглядеть. Но я-то ведь впервые от него услышала это слово...

Удивительная история, чистая правда, ничего я тут не выдумывал, тем она и ценна.

Пожалуй, если первую мою — богословскую версию случившегося с Россией, признать достоверной, то, думаю, Господь не позволил все-таки сатане щ у п а т ь **душу** несчастного нашего отечества, ограничился, так сказать, материальным и телесным, да и того, как мы знаем, за глаза хватило. Душа осталась незатронутой, откуда б иначе такие **антики**, такая удивительная цельность натуры. Нет таких в Европе-Америке, даже и в Черной Африке не встретить. Едва ли они там водятся.

Короче: сибирский характер, верно. Но, может быть, все-таки — п о в е р т о н? Впрочем, не знаю, это кому как.

ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ СТАРЦЕ

Они уселись в маленьком зальце — полуподвале. Новиков никогда здесь не был. Пока шли по улице, ныряли в переулки, он не смотрел на дорогу...

— Тут, — сказал Слава и толкнул дверь.

Новиков задрал было голову прочитать вывеску, но не успел: «Птица» или «Синяя птица» — кафе, одним словом.

Слава взял карточку, повертел и поднял на Новикова глаза:

— Знаете, Сережа... У меня родилась идея. Мы не знаем друг друга, встретились, можно считать, случайно. Пообедаем — разойдемся, увидимся ли еще?.. А разговор у нас, чувствую, пойдет о самом главном... Пить будете? Я-то совсем не пью.

Подошел официант, сонный, безразличный.

— Вы нам вот что... — сказал Слава. — Пожалуйста, две ухи и чаю с вареньем.

— Чего? — открыл глаза официант.

— Вишневого, пожалуйста. А нет, тогда повидла или чего-нибудь в этом роде.

— Коньяк, — сказал Новиков. — Если вы не пьете, мне двести грамм.

— Всё? — спросил официант.

— Всё, — сказал Слава. — Не догадались?.. Эх, вы. Ну, я потом объясню. Прошлый раз мне хотелось вас раззадорить. Такое, знаете, детское чувство, как комплекс неполноценности: нас, только что пришедших в церковь, все считают как бы людьми второго сорта — обязательно норовят уличить в незнании, в излишней экзальтации, она тоже почему-то раздражает. От этого протест — а чего, мол, стоят ваши знания и укорененность, одна косность и неподвижность!

Тут Новиков впервые пожалел, что согласился пойти с ним: как же он позабыл, кто такой этот Слава! Вот и станет час, два, пока они будут хлебать уху — да откуда здесь уха! — нести всю эту детскую околесицу...

— Я вижу, вы уже сердитесь? — смотрел на него влажноватыми глазами Слава. — Конечно, интеллигентский лепет... Но согласитесь, о чем же еще, так вот случайно встретясь, разговаривать?

Подошел официант с подносом. Поставил графинчик с коньяком, бутылку воды, салат, нарезанную колбасу, сыр.

— Не по программе, — буркнул Слава. — А где уха?

Официант не посмотрел на него: забрал поднос и ушел.

— Попробуйте выполнить программу, — нахмурился Слава. — Ладно, не в Европе.

— А что за программа? — полюбопытствовал Новиков.

— Хорошо, я вам открою карты... Вы прошлый раз заметили, что какой, мол, я философ, не знаете, а легкомыслие углядели. В чем оно вам увиделось? Что я открытыми глазами, без косности и предвзятости могу глядеть на то, на что вы, именно в силу косности и предвзятости, и глядеть не хотите?

— Так точно, — сказал Новиков, — как раз в этом и углядел.

— Об этом я и хочу с вами разговаривать.

— Здесь? — искренне испугался Новиков.

— Сто лет назад, — начал Слава, — в похожем месте, в городе Скотопригоньевске, встретились два человека. Они, правда, были братья и помоложе — старшему двадцать три года. Ну, тогда не так развивались, это у нас до тридцати лет все замерзшие, а кое-кто и до сорока дотягивает. И заказали они — те братья, если помните, уху и чаю с вареньем. Вишневым, между прочим.

— Вот оно что! Так не о том ли мы с вами будем разговаривать — что вы этого мира не принимаете? Простите, мне на самом деле не интересно.

— «Како веруеши?..» — это должно быть вам важным? Не про Господа Бога, не пугайтесь — есть Он или Его нет, не о том, как оправдать человеческую мерзость. Не с вами говорить, что Он есть, а мерзость вы превосходно оправдываете. Или объясняете. Во всяком случае, «мир принимаете», «билет» не собираетесь возвращать. Или, может быть, «бунт»?

— Не может быть бунта, — спокойно сказал Новиков.

— Но ответственность вы чувствуете, не можете не ощущать собственную вину за всё, что произошло?.. Хорошо, чтоб вам было понятней. Я, так же как один из тех братьев, которые уху запивали чаем в паршивом трактире сто лет назад, сочинил поэму. Не сочинил, а переложил. Не спародировал, а всего лишь осовременил. Очень скромно. Но это не плагиат, увидите.

— Вы читать будете?

— Нет, она у меня не записана. Пересказать могу. Она так и называется, почти как в подлиннике: «Легенда о Великом Старце». Рассказывать?

— Ну что ж, — сказал Новиков, — если хотя бы еще и чаю дадут, как в подлиннике, пожалуй...

— Конечно, без предисловия никак нельзя, — сказал Слава. — Действие происходит у меня в середине 30-х годов, могу сказать даже точно — в 38-м, в январе или начале февраля. Не случайно, как раз в то самое время Булгаков написал свой роман. Про чертовщину. О Христе вспомнил. Правду сказать, Христа у него нет — история про Пилата и про самого мастера-автора. Но, тем не менее, ощущение присутствия дьявола было тогда, может быть, более явным, чем в любое другое время за две тысячи последних лет. Русские философы в начале века не ошиблись, предрекли приближение конца Истории, не зря виделись им на маковках наших церквей розовые лучи немеркнущего Дня Грядущего. И явление антихриста предсказывали совсем определенно... Ну, не знаю, во всяком случае, это никак не литературный ход, тут не до сочинительства. Если автор оригинала моей поэмы счел возможным приурочить явление Христа к XVI столетию, полагая, что

событий в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда там пылали костры и во славу Божию сжигали по сотне еретиков зараз, достаточно было, чтоб испытать Божие милосердие, то тут, надо полагать, и сомнений нет в правдоподобии моей истории...

— Вы не согласны? — прервал он себя. — Я вам постараюсь объяснить. Если за восемьдесят вершинных лет инквизиции в XV веке сожжено было десять тысяч человек — десять человек в месяц! — а за наиболее кровавый год якобинского террора казнено сорок тысяч человек, около трех тысяч в месяц, то в ежовщину — более пятидесяти тысяч, то есть чуть ли не две тысячи в **день**. За пять дней — как за всю испанскую инквизицию. Почти каждую полминуты убивали человека.

Почти каждую полминуты! Удивляться надо не тому, что Он появляется у меня в поэме, а как Его в натуре не было. Может все-таки был, да мы Его проглядели? Или согласимся, что, как у Булгакова, дьявол только шалил с писателями и показывал фокусы?..

Новиков молчал.

— Это случилось где-то в провинции, — продолжал Слава, — в каком-нибудь маленьком городе центральной России. Да хоть в Свияжске. Историческое, кстати, место, овеянное русской славой. Но то было, помнится, в XVI веке, когда Иван Грозный воевал Казань. А тут городок прославился совсем другим. Говорят, в Свияжске был открыт в 20-е годы удивительный памятник. В Москве и Питере тогда появились памятники Разину, Марату и Робеспьеру, а Свияжск всех переплюнул — изваяли Иуду Искариота. Это даже вообразить трудно, но страна у нас удивительная, а время было совсем непостижимое.

Он явился тихо, незаметно. Прошел по Свияжску, быть может, остановился возле памятника одному из Своих апостолов... Трудно представить себе, но поскольку свершилось чудо, Он беспрепятственно вышел из города и двинулся дальше, обрастая толпой, — к Москве. Если кажется совсем неправдоподобным, можно толпу уменьшить, пусть сопровождают его несколько человек — двенадцать или чуть больше, неважно. Что тут удивительного? Даже в атеистических брошюрах в то время писали о «попах-передвижниках»: бродят, мол, от села к селу, в узелке всё необходимое культовое имущество, потребное для ихнего мракобесия. Еще один появился... Но, как бы то ни было, без особых приключений Он добрался до Москвы.

И все-таки важно, чтоб Его узнали. Его нельзя не узнать. Он идет в Том Самом рабском виде, удрученный и сокрушенный неимоверными страданиями, по заледенелой земле. Он входит в Москву, тихо идет по изуродованному городу, мимо заколоченных, без крестов, обезображенных соборов, разрушенных, оставленных храмов. Он выходит на бульвары, пересекает Пушкинскую площадь — а Страстного монастыря уже нет. Еще звенят трамваи, воробьи на мостовой, на бульварах заснежен-

ные деревья, кричат вороны, мимо бегут люди с замороченными лицами, обезображенными страхом и азартом, с пустыми глазами — толпа новых людей, строящих рай на земле, распявших и распинающих своего Бога, своего Христа...

Он выходит на маленькую площадь: бульвары кончились, совсем недавно здесь высился храм Христа Спасителя, почему-то я рад, что нет еще безобразного бассейна, где совсем как в аду в пару кувыркаются голые тела; только что открыли метро, забор вокруг взорванного храма — бездарное, брошенное еще через десять лет строительство.

Он останавливается на площади — и тут Его обязательно узнают. Это начало поэмы, потому что раньше одно художество, а это не мое дело... Вот вам и чай, — перебил он себя.

Официант поставил перед ними два стакана в подстаканниках, нарезанный лимон на блюдечке и вазочку с вареньем.

— Вишневое, — сказал официант и улыбнулся, глядя на Славу.

— Спасибо, — Слава был явно растроган. — А как вас по имени-отчеству?

— Родион Яковлевич, — во весь рот улыбнулся официант.

— Спасибо, Родион Яковлевич, — Слава встал и пожал официанту руку. Тот пошел от них, оборачиваясь.

— Ловко, — не удержался Новиков, — идет вам карта. А говорите, художественно не умеете. Очень даже художественно.

— Простите, — сказал Слава, — я не хочу на это отвлекаться. Вам не скучно?

— Нет, даже интересно, как вы из этого выкрутитесь, — Новиков допил коньяк и отпил чаю.

— Тогда слушайте... Он останавливается на площади, и Его узнают. Как это происходит? Конечно, это чудо. Невозможно представить себе, чтоб те самые люди, которые вчера гадили в храмах, сбрасывали кресты с колоколен, убивали на папертях священников, а во время массовых празднеств глумились над святынями, просто уничтожали церкви — тысячи и тысячи храмов... И это в то время, когда происходили массовые аресты епископов, духовенства, нескрывающихся мирян, после того как в Голгофско-Распятском скиту на Соловках умирающим от голода и жестокостей давали стрихнин, бородатые трупы ставились в притворе церкви к стене — так они занимали меньше места, а потом сталкивались вниз с Голгофской горы... В то самое время, когда антирелигиозную борьбу возглавил лично нарком Ежов, когда декретом за подписью Сталина была объявлена «безбожная пятилетка»: «К первому мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР».

А Он стоит на площади, и Его узнают. Что ж, сильна вера, живущая в человеке поверх всего внешнего, что мы называем психологией — страхом или корыстью? То главное, что сохранил русский человек,

пронес через века в это чудовищное двадцатилетие? То единственное, что и составляет нашу надежду и упование... А что еще?.. — снова перебил себя Слава.

Ладно, пойдем дальше. Народ стекается на маленькую площадь, каждый хочет прикоснуться к Его одежде. Он поднимает руку, благословляя толпу. И, может быть, успевают приблизиться к Нему увечные и больные, а верней всего — Он излечивает самую страшную болезнь того времени — страх и жалкую расчетливость.

Толпа увеличивается, ее ропот растет, ее сотрясаю рыдания и вопли. И это, конечно, слишком для Москвы той поры.

С Волхонки выезжает автомобиль, врезается в толпу, останавливается, и из него выходит белобородый старик в архиерейской мантии, в белом митрополичьем клобуке, с посохом. Он немощен, его бледное лицо изборождено морщинами. Он мгновенно всё понимает, оценивает ситуацию, затем кивает выскочившим за ним из машины трем в кожаных куртках и фуражках с топорщащимися задними карманами. Они рассекают смолкшую толпу и подходят к Нему, безмолвно взирающему на них. «Пройдемте», — говорит тот, кто подходит первым.

Толпа бухается на колени, а Он, так же безмолвно, идет живым коридором между этими в коже к еще одной, подъехавшей следом за первой, машине. Это нормальный «воронок». Может быть, на нем написано «Хлеб» или «Мясо», а может быть, ничего не написано — еще через десять лет додумались.

Дверца открывается, пропуская Его, захлопывается, машина тут же отъезжает. Старец святительским крестом благословляет молчащую толпу и садится в легковой автомобиль... Вот это, кстати, немаловажно — благословляет он толпу или нет?

— Для чего вам? — нахмурился Новиков.

— Для моей поэмы, — сказал Слава, — чтоб понять этого человека и то, что произошло. Не в поэме, Бог с ней, в конце концов, мое частное дело. В натуре, в нашей жизни — как это могло случиться?

— Да о чем вы? — спросил Новиков с некоторым раздражением от того, что перестал его понимать. — Сначала вы начали эту свою... фантасмагорию, потому что мне что-то там должны были объяснить, хотя я вас об этом не просил. А теперь, оказывается — ваше частное дело? Но тогда зачем оно мне?

— Сейчас поймете. Сначала поэма — потом вывод. Машина везет Его на Лубянку. То, что там происходит, я опускаю, представить Его проходящим процедуру, о которой теперь уже дети знают, было бы бестактностью и кощунством даже в такой, как вы говорите, фантасмагории.

Его отводят в камеру, дверь захлопывается. Он остается один. Камера-одиночка, бокс: окна нет, деревянная лавка, столик, табурет,

оливково-масляные стены сверкают в бессонном свете ослепительной, забранной сеткой лампы. Ночь никак не пахнет «лимоном и лавром» — не Севилья; отодвигающийся щиток глазка... Наконец гремит замком железная дверь, старшина с пустыми глазами пропускает в бокс древнего старца в полном облачении, в белом клобуке. Дверь за ним закрывается. За всё время их разговора щиток на глазке ни разу не сдвинулся.

Старец останавливается посреди бокса и долго, пронзительно смотрит на зека, сидящего на деревянной лавке. Ничего, кроме сострадания он не может прочесть на тихом и ясном Его Лице.

Старец придвигает к столу табурет и садится, облокотившись спиной о стол.

«Это Ты, Ты? — спрашивает он Его, как в подлиннике, и, как в подлиннике, не получив ответа, поспешно прибавляет: — Не отвечай, молчи. Да и что Ты можешь сказать? У Тебя и права нет ничего прибавить к сказанному Тобой прежде, ибо каждое произнесенное Тобой Слово было бы Судом — а Суда не будет. Вот так — не будет Суда, если кто-то осмелится сказать, что его еще нет!

Зачем Ты пришел? — продолжает старец. — Ты хочешь помешать нам? Ты еще не понял, что это невозможно, еще не знаешь, что будет с Тобой на рассвете? Я один знаю Кто Ты, но я промолчу, а если бы и сказал, это ничего не изменит, а всего лишь прекратит мою собственную жизнь. Причем так же мгновенно. Завтра, ну, может, еще через день или через месяц — важно ли это? — Тебя всё равно шлепнут. При этом не будет суда, Тебя никто не увидит, и о том, что здесь, в подвале, произойдет, никто никогда не узнает. Три подписи таких же мертвецов, как те, кого Ты видел ночью, — и Тебя нет, а свидетельство об этом будет храниться вечно....»

Тут ему покажется, что зек усмехнулся.

«Не веришь, думаешь, вечность не в нашей власти, она принадлежит только Тебе? Или, быть может, Ты надеешься, что толпа, узнавшая Тебя на площади, о Тебе не забудет?.. Мало кто из них доживет до завтрашнего дня. Или Тебя провести по камерам, таким же, как этот бокс, и Ты хочешь посмотреть в их глаза? Они уже выскребли из памяти всё, что было вчера, они не вспомнят о Тебе и в последний миг, когда услышат щелчок взведенного у затылка курка, а их дети знать не будут, проходя через ту площадь, что когда-то там высились белые стены Храма и сияли золотом купола и кресты... Ты всё еще мне не веришь?..»

— Подождите, — остановил его Новиков, — кто этот Старец? Какая-то достоверность должна быть в вашем сочинении? Ну, если он не чекист — хотя как он тогда прошел в этот бокс? Ну, предположим. Но атеист несомненный? Почему тогда клобук и святительский крест?

— Ах вот вы о чем!.. От вас я не ожидал такой наивности, — сверкнул глазами Слава. — Извольте, такое отступление необходимо в поэме.

Даже весьма поучительно. Стало быть, вам непонятно, кто этот Старец? Пройдет несколько лет, он умрет, и встанет вопрос о его канонизации. А сколько будет говорено о его «ясной и чистой» жизни — «житии Великого Старца», — не я выдумал, так писалось в трудах, посвященных его жизни и служению: неотразимый образ святости, душа Русской Церкви, ее мозг, сердце, источник ее силы, виновник ее славы, новый молитвенник за русскую землю, величайший церковный руководитель, крупнейший ученый, Великий Святитель; его благословенное имя назовут рядом с именами мудрого Филарета, святого Ермогена — «как некогда Василий Великий он возжег огонь для всей вселенной...». Мало вам определений? Хотите еще?.. Великий Старец, Блаженнейший Митрополит Московский и Коломенский или, если угодно, Святейший Патриарх — Сергий Страгородский.

— Тогда совсем ничего не понять, — сказал Новиков.

— Не понимаете или понять не хотите? Разные вещи. Могу дополнить. Сергий Страгородский — один из авторитетнейших иерархов Русской Православной Церкви и известный богослов еще до революции, кончил, как я уже имел удовольствие вам доложить, Великим Святителем земли русской и Патриархом. А прожил, между тем, весьма пеструю жизнь. Был он одно время и председателем на заседаниях знаменитого Религиозно-философского общества в Петербурге, и в распутинском синоде сидел, а потом в синоде при Временном правительстве, и на Великом Соборе семнадцатого года — крупный деятель, и в обновленчество отпал одним из первых, и к Тихону первым вернулся, как только тот возвратился из тюрьмы на свое патриаршество, и припадал к каменному полу — без клобука, без панагии, креста и посоха, дрожащим голосом принося покаяние перед вершителем его судьбы Святейшим Патриархом Тихоном. Надолго ли хватило его покаяния? Много ли месяцев прошло до столь «своевременной» кончины Святейшего Тихона, а как повернулось «житие» митрополита Сергия? Попытайтесь проследить за всеми хитросплетениями его ходов в борьбе за захваченную им, вполне, впрочем, мифическую власть заместителя Местоблюстителя, из которой он, тем не менее, сумел сделать власть настолько реальную, что одного за другим поверг в прах всех подлинных святителей — от вздумавшего проявить самостоятельность митрополита Иосифа до митрополитов Кирилла и Агафангела, до самого Местоблюстителя митрополита Петра, с которым играл совсем как кот с мышью! Вчитайтесь на досуге в документы истории нашей славной Церкви за последние полвека — можно достать, захотеть надо, а не сегодня-завтра вообще всё опубликуют! Тут такой Шекспир, такой накал страстей, никак, кстати, не благочестивых, такая высота взлета и бездна падения... А как он, несмотря на всю свою изворотливость, оказался в тюрьме в 26-м году? Как вышел оттуда через пять месяцев в то самое время, когда

его коллеги один за другим поднимались на Голгофскую гору? А о чем он три дня беседовал с Афанасием Сахаровым — в одиночке, во внутренней тюрьме ГПУ? Про то мы не узнаем, а вот что епископ Сахаров после тех бесед был отправлен на Соловки, причем за принадлежность к группе архиереев, возглавляемых митрополитом Сергием, а сам митрополит Сергий вышел на свободу и занял захваченное им, ставшее к тому времени совсем реальным, место заместителя Патриаршего Местоблюстителя, — это нам доподлинно известно. Не слишком ли пестро для Великого Старца и Святителя? Каких вам еще реалий подбросить — фона для моей поэмы? Я не роман пишу...

— Хватит реалий, — сказал Новиков.

— Конечно хватит. Хотя, с другой стороны, если б кто собрался написать роман, именно этот фон так бы заиграл! Но у меня главная реальность не в фоне, а в личности героя. Состоялась ли на самом деле на Лубянке их встреча — да не с епископом Сахаровым, а со Спасителем? — про это мы, конечно, доподлинно не знаем. Ладно, не было ее — поэтическая мысль, фантазия. Но что он сам с собой об этом разговаривал, что обращался к Нему мысленно или в молитве — кто усомнится? Тем более, Он-то всё равно молчит, за всё время их «разговора» — так и в подлиннике, и в натуре иначе быть не могло.

Тут надо бы получше разработать психологически: как с ним, со Старцем произошел этот слом, когда? Мне думается, случилось это в первый год революции, человеку с таким духовным опытом и первых месяцев было достаточно: Россия рухнула, сошла с круга, развалилась в куски, слиняла в три дня, как сказал известный писатель. Оглушительный свист, кровь, мрак и главное, может быть, ничтожная, мелкая, корыстная мерзость — бесы вырвались на волю, закрутились в бешеной метельной пляске над гигантской территорией, ни зги не видать! Почему он так ослеп, почему не стал различать в кровавой крутящейся мгле? Это другое дело, не мне судить. Вы говорите — чекист, атеист? Не знаю. Не решусь сказать. Понимайте, как хотите... И вот они вдвоем, в боксе, под слепящей двухсотсвечевой лампой... Разве не реально?

— Нет, не реально, — ответил Новиков.

— Опять нет! Да не про Сергия я, Бог с ним, как вы понять не можете! Я поэму излагаю, пытаюсь доказать ее символическую реальность, мне важна достоверность не фактическая, я хочу постичь идею — не зря всё время ссылаюсь на подлинник!

— Предположим... — буркнул Новиков.

— Ну хоть так, спасибо... «Ты прошел по всей стране, — говорит Старец, — поглядел, довольно с Тебя? Ты, слышал я, и в Свияжске побывал, видел Своего апостола? Всё у нас известно, о каждом Твоем шаге доложено, могли б и сразу забрать, да любопытно было, к тому ж не мешает взять на заметку всякого, кто пойдет за Тобой. Вот Тебе

первый результат Твоего Явления: следом за Тобой, той же кровавой дорогой пройдут сотни, тысячи ни в чем не повинных глупцов. А если бы мы не остановили Тебя здесь, на площади перед бывшим Храмом, что могло б стать — Ты отдаешь Себе в этом отчет? Еще бы час, толпа увеличилась, площадь бы оцепили, подошли танки, пулеметы на крышах... Что могло помешать залить площадь кровью? Чуда не могло произойти, Ты отказался от чуда и две тысячи лет назад — захотел свободной веры...» «Вот, Ты теперь увидел этих свободных людей», — цитирую я подлинник, чтоб не тянуть и не размазывать, мне мысль важна. А здесь она в самую точку.

— Так это пародия? — спросил Новиков.

— Нет, трагедия, — ответил Слава. — Послушайте, что он говорит дальше. «Ты хотел проявить милосердие, — продолжает Старец, — сердце не выдержало донесшихся до Твоего слуха стенаний и воплей миллионов? Верно, не было еще на земле такого. Слезу ребенка, в клочья борзыми разорванного, можно перенести — он и слезинки не успел пролить, как душа отлетела. А что происходит здесь, за этими стенами, в сотнях таких же боксов, под лампами, в тундре, на лесоповале, в шахтах, в штрафных изоляторах, в мерзких загаженных бараках, в женских лагерях, на пересылках?.. Не выдержало Сердце, понимаю. Чье сердце выдержит — а Ты за всех плачешь. Перенасытилось. А кто в этом повинен? Можешь ли Ты Своими силами это остановить? Молчишь? Ты скажешь, мы сами виноваты, Ты дал нам заповеди, а мы их не соблюдали, Ты дал нам Церковь, а мы превратили ее в капище, и нечего удивляться, что богоносный народ первым делом ее разгромил и загадил? Сейчас легко говорить, а с Твоей высоты судить не хитро. Меня и судят сейчас мученики, пожелавшие остаться незапятнанными, выбравшие самый простой и короткий путь восшествия к Тебе. Самый простой для избранных — но годится ли он для миллионов Твоих чад, чьи стенания донеслись к Тебе и заставили снова прийти в этот мир? Те мученики сегодня и есть самое страшное зло на этой земле. В них говорит гордость, а не смирение, эгоизм, а не любовь к ближним. Не Ты ли Сам сказал, чтоб мы были мудры, как змии? Не Ты ли утверждал, что всякая власть, допущенная Богом, должна привлечь благословение Церкви? Но ведь и эта власть попущена? Дал Ты нам право понимания, является ли она воистину Божией слугой и, в конечном счете, не приведет ли она к добрым делам через самое дикое зло и неисчислимые страдания? Разве гармония с государством за тысячу лет православия в России не стала позорищем и соблазном? А если так, то не в наказание ли это Божие попущение, на которое нам должно ответить только смирением и истинным благочестием, а не вызывающим еще большее кровопролитие бунтом и гордыней? Не на словах, а на деле доказать свою лояльность власти, подчинив ее требованиям всю жизнь Церкви,

со всеми ее догматами и преданием, всеми канонами и богослужебным укладом. Не только из страха, но и по совести, как учит апостол, осознать себя гражданами нашего нового Отечества, искренне, чтоб ощущать его радости и успехи нашими радостями и успехами, а всякий удар против нового Отечества, каким бы он ни был — войной, убийством из-за угла или злонамеренным инакомыслием, — ударом, направленным в нас, в Твою Церковь...»

— Примитивно, — сказал Новиков, внезапно для себя разволновавшись, — какая-то мертвая, рожденная горячечным воображением схема. Я понимаю, если это роман, без претензий на реальное изображение событий, как и есть в подлиннике. Но вы-то предупредили меня, кого имеете в виду?

— Как же, конечно, примитив! У вас в душе всё сложно, с простым объяснением себя кто сегодня согласится... Да что вы в конце концов! — перебил себя Слава и покраснел. — Выдумал я хоть что-то, чего нет в знаменитой «Декларации» Великого Старца Сергия Страгородского, которая сегодня — краеугольный камень страждущей Церкви? Дух ее я точно изложил, а «ваши радости — наши радости» — не его ли формула, от которой стон пошел по всей земле, а на Архипелаге залпами отозвался?

— Божье — Богово, — сказал Новиков, продолжая волноваться, — а кесарю — кесарево. Такую логику вашего Старца я готов понять. Раз было попущено, не нашего ума дело, коль мы в Бога веруем, противоборствовать попущению. Но у вас он ведь кесарю отдает Богово, так, что ли? Причем, не в силу обстоятельств, от него не зависящих, не по слабости или неразумению, а принципиально, по совести — и того же требует от других? Он у вас, действительно, атеист, если не чекист, как я уже сказал. Какая тогда проблема? Во всяком случае, не духовная. Как бы вы точно ни цитировали, как бы близко ни излагали дух подлинных документов, если будете подменять живого человека схематической идеей и в то же время ссылаться на факты, вам глубину реальности не передать и трагедию не постичь.

— Может быть, — вздохнул Слава, — я не поэт. И предупреждал, чтоб не ждали художественности. Смысл моей легенды только в ее реальности. Или, если хотите, в подлинности. А какой вы сделаете вывод из услышанного по своей собственной совести — ваше дело. Старец кажется вам атеистом? Это первый шаг к выводу. А как же, скажете вы, на нем облачение митрополита и патриаршья власть над Церковью? Вот вам и второй шаг. А как же тогда с патриаршьей благодатью, спросите вы, если она захвачена всего лишь с помощью кесаря? А я вам отвечу: это третий шаг. Но я, заметьте, не сказал, что он атеист. Я вам, напротив, только что говорил, что ничего не знаю об этом. И судить не берусь. Действительно, не нашего ума дело. Вы не видите в моей легенде духовных проблем, всего лишь, очевидно, социальные или политичес-

кие? Но позвольте, я только и говорю о духовных проблемах! Там, в подлиннике, который я, по-вашему, пародирую, Великий Инквизитор пророчествует о социализме, рисует страшную, хотя и весьма приблизительную, как во всяком пророчестве, картину создания «рая» на земле. Моему Великому Старцу нечего пророчествовать — социализм в одной отдельно взятой стране построен. Пророчества сбылись, и вековые чаяния человечества осуществились. Великий Инквизитор сам был властью, по мановению его руки толпы людей, отдавших ему свою совесть, всходили на костры, сами для себя подгребали уголья, он раздавал хлеба, сам держал в руке меч кесаря. Там, дейсвтительно, некая католическая идея, доведенная до социалистического абсурда. У моего Великого Старца логика Великого Инквизитора вывернута наизнанку. Он проповедует смирение перед властью, у него до абсурда доведено, прежде всего, православное сознание. Русская Церковь, находившаяся всегда в подчинении и рабстве у православного самодержца, лежит теперь у ног атеистического молоха. Ее подчинение тотально, она рукоплещет поруганию святынь, гонениям на Христа, безбожию и человеконенавистничеству.

«Несть власти, аще не от Бога» — было это сказано нам? — вопрошает Великий Старец зека, сидящего против него на деревянной лавке, под бьющей в глаза двухсотсвечевой лампой. — И вот, Твоим попущением данная нам власть провела невиданный в истории эксперимент. Она дала свободу миллионам людей на гигантской территории. Она освободила их от всего, что тысячу лет держало их в узде: власти собственности и семьи, от обязательств перед детьми и родителями, от необходимости трудиться и в поте лица зарабатывать свой хлеб. Она провозгласила на своих знаменах эту невиданную доселе свободу и отдала тысячу лет возделываемую землю отныне ото всего свободному человеку в полное пользование. Что сделал он — этот свободный человек, которому подарили свободу? Да, что он сделал, как только был предоставлен самому себе — без не позволяющего ему безобразничать полицейского, пекущегося о нем помещика, без защищающей его армии, освобожденный от внушаемой ему морали и теплом лампады согреваемого в нем нравственного закона? Он тут же пристрелил полицейского, сжег помещичью усадьбу, а заодно разорил свою собственную, развалил армию и растоптал лампаду. Но раньше всего он забыл о Тебе. В первые же годы свободы он превратил великую страну, кормившую десятки государств, окармляющую народы и мир Светом Надежды, в кровавую пустыню и дошел до антропофагии уже не фигурально, а в натуре.

«Что оставалось делать власти, допустившей невиданный эксперимент для осуществления идеалов свободы, внушаемых человечеству тысячи и тысячи лет? Было две возможности. Дать дикому хаосу пожирания самих себя идти всё дальше — вглубь и вширь, выплеснуться

за пределы страны, поглотить мир — и тем кончить Всемирную историю. Или остановить его, употребив вместо истершейся, ветхой ременной узды — узду стальную, которая только и могла обуздать, втиснуть в гранитные берега разгулявшееся Гуляй-поле. Неужто Ты знал о всей бездне человеческой низости? Знал и готов был предоставить ему безграничную свободу? Воистину Твой Замысел о человеке непостижим. Как непостижима безответственность такого Замысла. А власть чувствовала ответственность, понимала ее, взяла на себя, ибо думала не о тысячах Твоих безумных избранниках, для которых бремя Твое благо и иго Твое легко, радостно и горделиво роющих себе сегодня могилы, обвиняя нас в отступничестве, неискупимо греша судом над человеческим выбором. Власть думала о миллионах Твоих чад, соблазненных мифом о свободе и погибающих от нее, захлебываясь в собственной мерзости. Да, несомненно нужна была смелость, чтоб исправить заповеданное Тобой, и конечно, нам, немощным, это было бы не по плечу. Но Ты дал нам эту власть, ибо она была допущена Тобой. Ты вложил в ее руки карающий, огненный меч и тем указал путь Твоей Церкви. И мы поклонились Тебе в лице Тобой данной нам власти. Мечу кесаря поклонились мы. А власть дала человеку взамен хлеба, взамен только вредоносной для него свободы — истину о возможности построения рая на костях и крови.

Ты скажешь, как уже говорил, как твердили два тысячелетия Твои ученики и апологеты, что поскольку человек жив не единым хлебом, ограбь его, лиши хлеба, власть над ним всё равно не может быть абсолютной. Мы запомнили это и дали человеку подлинную свободу: отняв хлеб, мы освободили его и от совести — бесконечного соблазна и страшной муки. Зачем ему совесть, когда отныне он крепко, навсегда запомнил, что нет преступления, нет греха, нет **тюрьмы**, в которую Ты вверг его со времен Адама и он бьется в ней тысячелетия, не в силах никогда выбраться, потому что снова и снова грешит. А тут нет, не может быть греха, который не мог бы быть оправдан Великой Целесообразностью!.. Ты видел этих свободных людей, разве им нужна совесть, разве они не радуются жалким крохам, сбрасываемым им с барского стола власти, разве они не забыли о крови, в которой выпачканы руки, дающие им куски ими же выращенного хлеба? Они счастливы уже тем, что им оставлена жизнь, что их руками возводится невиданная в истории Вавилонская башня — вот их надежда! Они поют и пляшут на площадях, у стен изуродованных храмов, которые их отцы и деды строили, защищали, в которых молились. Они доносят нам о каждой мысли соседа или брата, а свои собственные мысли уничтожают в зародыше. Мы заменили им совесть страхом, и этого оказалось достаточно, чтоб навсегда изменить поврежденную первородным грехом природу человека.

Ты скажешь, этого не может быть тотально, Ты видел храмы, на которых сияют кресты и хор всё еще поет Тебе «аллилуйя»? Да, мы оставили несколько храмов, но только как место для богослужения и совершения обряда, нам не нужен благовест, крестные ходы и громкая проповедь. Разве вера не должна быть тихой и сокровенной — **неслышной**? Мы даже позволяем отдельным членам создаваемого нами общества причащаться Твоим Телом и Кровью в оставшихся храмах. Пусть кто-то из Твоих избранников говорит, что мы даем им камень вместо хлеба, их голоса сегодня уже не слышны, а завтра об этом никто не вспомнит. Да и кто осмелится сказать, что не Ангелы, по учению Твоей Церкви, вершат в храме непостижимое и страшное чудо? Никто. Даже кичащиеся свободой гордецы, что роют себе сегодня могилы, даже они умолкают, когда я впрямую спрашиваю их об этом... Да, мы сохранили и священников — но не всех, зачем этому стаду столько пастырей? Только тех, кто понял: нам нужны не служители Истины, не исповедники — надзиратели за сумасшедшими, вот кто нам сегодня нужен.

Что, грубо? По велению власти, Тобой попущенной — а у нас нет и быть не может других повелений, — оставшиеся церкви станут приютом для особой категории слабоумных, которые способны превратиться в буйно помешанных, если их вовремя не остановить... Сказано было, что человек ищет не столько Бога, сколько чудес. Кто, как не Ты, знал об этом? Знал и гордо отказался явить миру чудо, предложенное Тебе. Ты отверг чудо, а мы, немощные, созидаем его здесь, Твоими руками, силами попущенной Тобой власти, сначала проведя невиданный эксперимент, показавший человеку всю меру разрушительности его бессмысленной свободы, а потом, совершив второе чудо, стянув человека стальной уздой так, что он никогда об этой свободе не решится помыслить.

Неужто Ты — Всеблагий и Милосердный, не оценишь нашей муки, нашего подвига? Неужто не хватит у Тебя смелости понять несостоятельность Твоего Замысла и всё та же единая слезинка будет уравнена Твоей непостижимой арифметикой с миллионами кровавых слез? Неужто Ты не услышал, как стонет взбухшая кровью земля, по которой Ты только что прошел? Молчишь, не имеешь права ничего прибавить к сказанному однажды? У Тебя нет смелости на это, а одно лишь упорство и гордость, а мы навоз, который удобрит тучные пастбища Твоего Небесного Царства. Ты не нужен нам, Ты нам мешаешь. И на рассвете Тебя убьют...»

— Так это просто дьявол! — воскликнул Новиков.

— Ты сказал, — ответил Слава и ударил указательным пальцем о край стола. — Учтите, это еще один, следующий, самостоятельный — ваш шаг, потому что, заметьте, я ничего вам об этом не говорил. Даже о том, атеист ли мой герой, не решаюсь произнести суда.

— Нет, позвольте, — обозлился Новиков, на сей раз на себя, за то, что так долго слушал. — Это всего лишь набор софизмов, надуманность и примитив! Всё тот же «бунт», к тому же явный плагиат, не более того... — тут он вздрогнул: над ними стоял официант с сонным лицом — Родион Яковлевич.

— Звали? — безразлично спросил он.

— Нет, — сказал Слава. — Впрочем, получите с нас. Или вам еще коньяка?

— Нет, — сказал Новиков, — с меня довольно.

Официант положил на стол счет, Новиков полез было в карман, но Слава остановил его.

— Я вас сюда привел, да и вижу — замучил, зачем вам еще нести материальный убыток? Верно, довольно с вас... Скажите лучше, Родион Яковлевич, — обратился он к официанту, — вы в церкви давно были?

— Чего? — открыл глаза официант. — В цирке?.. У нас тут каждый вечер цирк — оставайтесь, сами увидите.

— Благодарю вас, Родион Яковлевич, — сказал Слава, — очень исчерпывающе.

Официант взял деньги, длинно усмехнулся и пошел, шаркая ногами, по залу. Слава проводил его глазами.

— Подождите, — никак не мог успокоиться Новиков. — Откуда вы взяли такого Старца? Да и потом... он искренен, что ли, перед собой лукавит или нет?

— Не знаю, — сказал Слава. — Вы сами, внутренне, быть может, не отдавая себе в том отчета, принимаете его логику. Она вас устраивает. Таких, как вы. А смелости дойти в этой логике до конца, до абсурда, у вас нет. Спасаетесь — и нет вам до других дела.

— Да оставьте меня-то в покое! — вскричал Новиков. — Какое у вас право строить такого рода обобщения и возводить поклеп на реальных людей, на Церковь? Да, были, есть корыстники и мерзавцы, да, страшную иторию пережила Церковь за эти полвека и мучениками за веру просияла. Да хоть сегодняшнее ее бытие вас же и опровергает, ваш собственный путь из пустоты и безбожия, разрыв с родителями, привычной жизнью... Проврался ваш Старец, жива Церковь, а он обещал, что и Имени Христа не будут здесь знать? Не успели спародировать, а легенда уже устарела.

— Может быть, — тихо сказал Слава, он, видно, устал. — Дай Бог, чтоб устарела. У меня тут нет никакого честолюбия. Тем более, верно, плагиат. Дай Бог. И наверно, не одни только корыстники и мерзавцы. А что Имя Бога забудут на этой земле — не Старец говорил, а Сталин. Но ведь Старец был на самом деле? И не просто один из многих — Великий Святитель, Патриарх. А иначе Церковь сегодня была бы другой.

— Но как вы осмеливаетесь разъять живое Тело Церкви — мученики, выходит, одна Церковь, а видимая, грешная, молящаяся сегодня в своих храмах — другая? Да почему — откуда?

— Не знаю, — упрямо сказал Слава, — так я это увидел. А «ваши радости — наши радости» — вам недостаточно? Разве не распинают Христа те, кто вступает в контакт с режимом, распинающим мучеников за веру, провозглашающих, что само Имя Бога на этой земле не будет произнесено? Если для вас это примитив, я ничего не могу прибавить.

Новиков молчал.

— Ну и чем вы закончили свою легенду? — спросил он вдруг. — Его расстреляли там, на Лубянке?

— Нет, — сказал Слава и тихо улыбнулся. — Я, как вы говорите, только пародист, если не плагиатор. Старец у меня, пока говорит, не смотрит на «собеседника». Он ведь больше с собой разговаривает. А когда кончил, внезапно увидел. Перед ним, на скамье в боксе, под двухсотсвечевой лампой сидит зек в только что выданной ему из прожарки одежде без пуговиц, с черными штампами внутренней тюрьмы. И Лицо Его залито слезами. Тогда Старец опоминается. Он еще минуту вглядывается в тихое, невыразимо-прекрасное, страдающее Лицо, подходит к двери и стучит в нее посохом. Дверь тут же открывается, входит вертухай с мертвым лицом, без глаз. Старец вынимает из рукава рясы заготовленный заранее пропуск и говорит зеку: «Уходи. Уходи немедленно, потому что еще минута, и я упаду к Твоим ногам». И зек уходит вместе с вертухаем.

— А Старец? — спросил Новиков, как в подлиннике.

— Не знаю, — сказал Слава. — Я вам говорил, что и моего азарта не хватит на то, чтоб судить его.

— Несчастный, — вздохнул Новиков, — как же вы к причастию ходите после этого?

— Не знаю, для кого это бóльшая трагедия, — ответил Слава, — для меня, который ее знает, или для вас, не желающего ничего слышать о ней.

ВСЁ ЭТО ДЕЛО НАШИХ РУК

* * *

Наш отчий дом сгорел дотла.
У злополучных погорельцев,
у безлошадных безземельцев
нет ни двора,
нет ни кола.

Но всяк с рожденья гол и бос,
в детали если не вдаваться.
Куда крестьянину податься?! —
есть риторический вопрос.

А потому — ответа нет
и нет решенья никакого,
поскольку в полном смысле слова —
потерян след.

* * *

Всё это дело наших рук,
а значит наше отраженье —
досадное кровесмешенье:
замок ружейный и гончарный круг,

Серп острый и тяжелый молот,
однажды заключившие союз.
Синдром похмельный — тяжкий груз.
Разор. Раздор. Разруха. Голод.

Сумятица и кавардак всеобщий.
Тощой мужик с кобылкой тощей
в снегу увязли невзначай.
Конторщик пьет в конторке чай

Владимир САЛИМОН — родился в 1952 году в Москве. Окончил географо-биологический факультет Московского государственного педагогического института. Автор книг стихов «Городок» (1981), «Уличное братство» (1989), «Страстная неделя» (1989), «Невеселое солнце» (1994). Живет в Москве.

и чайной ложечкой грохочет
на всю округу.
Когда б я знал, чего он хочет,
любую оказал ему услугу.

* * *

От лапотника-мужика
одни убытки.
Но колорадского жука
чуть-что — подвергнут страшной пытке.

Ужасной смерти предадут
капустниц бледных,
их поголовно изведут
на наших нивах заповедных.

Нам властью данной, кое-как
мир перекроен —
освоен и благоустроен
первоначальный кавардак.

* * *

Правофланговый тянет ногу,
чеканит шаг,
и там, где плац через дорогу, —
клубится мрак.

Мне черные на ум
приходят мысли —
вершины снежные нависли,
толпою окружив Арзрум.

Злосчастных турок потеснив,
мы примостились между ними,
разборками межплеменными
свою судьбу усугубив.

Братоубийственной войной
высокий смысл предназначенья
легко сведя — к пальбе ночной,
слепой вражде и жажде мщенья.

* * *

На солнце жарко, а в тени
пронзает холодок.
Нелепый выдался денек.
Вернее — дни.

Год — бестолковый.
Век — дурной.
Жизнь, отданная зря,
не за народ, не за царя.
Загубленная мной
вконец.

Так, вилкой тыча в огурец,
кичишься участью своей...
Но всё же Пушкина жальчей!

* * *

Потом ответы на вопросы
и комментарии потом —
но не солдаты и матросы
перевернули всё кругом,
с ног на голову, кверху дном.

Наутро из-под одеяла
посмотришь одичало —
ни в чем таком не виноват
восставший пролетариат.

Ни в чем мятежное крестьянство.
Повинно пьянство
с малых лет,
закусочная «Ласточка», буфет
в «Аквариуме» или «Эрмитаже».

Не помню даже,
забыл,
с кем хлеб делил,
мед-пиво пил.

* * *

Постылый,
В смысле — поостыл я.
Я охладел
к тому, чем сызмальства владел.

Мне разносолы наши, опостыля, —
леса и горы, реки и моря —
вконец загубленными кажутся не зря.

Мертворожденное дитя
найдя
в капусте,
как не предаться грусти?

* * *

Дождь, в довершенье ко всему
случившемуся с нами,
уже не нужный никому,
не разведешь руками.

Не отведешь беды
грядущей
и доли лучшей
впредь не обрящешь ты.

Во мраке
просвета нет.
Но есть бояки —
как у служебно-розыскной собаки,
по старости с трудом берущей след.

* * *

Стекло, бетон —
а если колокола звон
раздастся вдруг среди зимы,
своим ушам не верим мы.

Есть преднамеренная ложь
в том, что надрывно ветер воет,
шумит камыш, клокочет рожь.
Зуб под коронкой ноет.

Он мертвый — говорят —
с тех пор, как нерв в нем умертвили.
Вот так — в вино подсыпав яд,
злодеи принца отравили.

Датчанина ужалила змея,
которой нет на свете ядовитей.
Неведом нам дальнейший ход событий.
Но — Бог судья.

* * *

Пыль обдувая с облаков —
с героев гипсовых и мраморных богов,
с позолоченного багета,
вдруг замечаю — рама эта
вот-вот рассыпаться должна.
Не то что гипсу,
мрамору — хана.

Конец всему.
Но верится еще —
достаточно, навек сходя во тьму,
лишь трижды сплюнуть через левое плечо.

* * *

Полупридушенный впотьмах
тяжелым духом —
жасминным пеплом, тополиным пухом,
лежащим на семи холмах,

на сорок сороков
церквей и колоколен
садится снег и оседает пыль.
Но если мир настолько болен,
что впору сдать его в утиль,

я верю —
из небытия
для новой жизни возродится,
на радость нам — из вторсырья —
золотоглавая столица.

* * *

При рассмотрении ближайшем
увидишь ухо либо нос,
немного лип, слегка берез,
парящих в облаке тончайшем.
В тумане заплутав прозрачном,
увидишь свет в поселке дачном.
Фонарь, горящий вполнакала,
подумав —
света слишком мало.
Должно бы вдвое больше быть.

Должно быть лето чуть пожарче,
а солнце красное поярче
светить,
чтоб не прервалась жизни нить.

* * *

На входе в Иерусалим,
так назывался град небесный,
я огляделся — день воскресный
был с ходу непреодолим.

Дорогу в гору замело
и завалило снегом,
слегка подтаявшая — следом
обледенела, как назло.

Но, несмотря на гололед,
арба, груженная узлами,
вслед за ослами
упрямо двинулась вперед.

Погонщик лет семи-восьми,
сей миг в облепленный коростой
худой ослиный бок
возьми —
и ткни легонько палкой острой.

* * *

В прямом смысле слова —
октябрьские дни.
Последние в окнах погасли огни,
и мы наблюдали, оставшись одни,
сошествие Духа Святого.

Снег, выпавший за ночь, был девственно чист.
По сути — бесплотен,
а не водянист.
Как всякий романтик, а не реалист —
формально свободен.

Александр ГОДЛЕВСКИЙ

ЕЩЕ РАЗ О НАШИХ РЕАЛИЯХ

(Записки сумасшедшего)

У меня была мания преследования, мне постоянно казалось, что за мной кто-то следит, а это всего-навсего были органы государственной безопасности.

(Ежи Лец — в распространенной в советском обществе редакции.)

Журнал «Континент» № 93 опубликовал мою большую аналитическую статью о наших нынешних реалиях эпохи демократии. Среди прочего в статье говорилось, что, несмотря на грандиозные внешние перемены, сущность и основные принципы советского режима остались неизменными с 17-го года до наших дней. В частности: как власть у нас держалась на беззаконии — на массовом попрании даже тех прав и свобод граждан, которые официально гарантированы собственными законами этой власти — так и держится на том же беззаконии и сегодня. И если анализ общественной системы делать, исходя из основных существенных принципов власти, то как с октября 17-го власть у нас была советской, так остается советской и сейчас. Впрочем, не в названии власти дело, а в ее сущности.

23 октября 1997 г. 93-й номер «Континента» вышел из печати, а уже 27 октября у меня дома появился гражданин в штатском и, не представившись, заявил, что я состою на учете в Ногинской райпсихбольнице № 25 и должен систематически являться на прием к психиатру. Я так и сел от удивления. То есть сначала выпроводил «гостя», объяснив ему, что, разумеется, ни к какому психиатру я являться не собираюсь, а уж потом сел от удивления.

Правда, удивление мое было не столь уж большим. Дело вот в чем. Когда-то, в середине 80-х годов, написал я для самиздата фельетон, в котором высмеивал «прелести» нашего реального социализма. В феврале 86-го я был задержан в Москве на улице милицией и доставлен в отделение, где очень скоро появился врач-психиатр с санитарами. Произведенный санитарами обыск, изъятие одного находившегося при мне экземпляра фельетона — и я оказался в Центральной Московской областной клинической психиатрической больнице, что в Москве на ул. 8 Марта.

Александр ГОДЛЕВСКИЙ — родился в 1960 году в г. Ногинске (Московская область). Юрист по образованию, занимался правозащитной деятельностью с коммунистических времен, преследовался по политическим мотивам. Публиковал в периодике статьи на юридические темы. Живет в Ногинске.

До этого в психбольнице я никогда не был и на учете у психиатра не стоял. На мой вопрос о причинах моей принудительной госпитализации в психбольницу во внесудебном порядке врачи заявили, что это «за написание антисоветского фельетона». Каких-либо иных проявлений психического расстройства, сколько их не искали, обнаружить у меня не удалось. Пикантность ситуации усугублялась еще тем, что психиатры моего фельетона в глаза не видели (его сразу забрал капитан милиции в отделении) и ничего не знали о его содержании — им просто сверху дали указание упрятать меня в психушку и — всё. О придании же этому делу хотя бы видимости законности начальство не позаботилось — выкручивайтесь, как знаете. Сам же я, будучи достаточно наслышан о советской психиатрии, критики по отношению к своему «заболеванию» не проявлял, о содержании фельетона особо не распространялся, только требовал объяснить основания, по которым меня принудительно поместили в дурдом — может, я, сам того за собой не замечая, выдавал себя за принца датского Гамлета или пятого прокуратора Иудеи? Врачи толком объяснить ничего не могли, только бубнили, как заклинание: «Нормальный человек в открытую против этой власти выступать не будет». Во всяком случае, какие-либо признаки моего сумасшествия мне не известны до сих пор. Правда, не знаю, что написано в истории болезни — больным ее не показывают. История болезни — это не уголовное дело, которое по окончании следствия предъявляется обвиняемому для ознакомления в полном объеме с обязательным составлением об этом протокола — под расписку. А без моего ведома в этой истории психиатры могли написать про меня всё, что угодно.

Мне повезло, и в дурдоме я провел всего полтора месяца, хотя подобное удовольствие у многих и до, и после меня затягивалось на гораздо более долгий срок. Почему я так легко отделался, мне и сейчас не совсем понятно. Возможно, свою роль сыграло то, что как раз в это время грянул очередной судьбоносный и исторический 27-й съезд КПСС, который провозгласил курс на перестройку и всё прочее. Что это такое и во что может вылиться, никто толком не знал, и наверное поэтому вскоре после окончания съезда меня выписали «от греха подальше». При этом, однако, на психиатрический учет по месту жительства в Ногинске поставили. Причем не просто на учет, а на «спецучет», по которому я был обязан являться к психиатру каждый месяц — в то время как все нормальные психи должны ходить в психушку раз в три месяца. Я, разумеется, весь этот учет игнорировал. Вначале, правда, несколько раз сходил к психиатру для получения нужных мне медицинских документов. Но с тех пор в течение десяти лет я там не появлялся, даже не интересовался — стою всё еще на учете или нет, и никто меня по этому поводу не беспокоил. Вероятно, со временем меня с учета сняли, и на том дело закончилось.

И вот: не успел «Континент» с моей статьей выйти из печати, как машина психиатрических преследований по политическим мотивам вновь заработала. Другие столь же откровенные случаи использования психиатрии в политических целях в посткоммунистические времена мне не были известны, и потому именно эта беззастенчивая демонстрация прямой преемственности способов политических преследований с тех еще времен и вызвала мое изумление, а вовсе не сам факт реакции властей на мою статью. По правде говоря, я и сам об этом

государстве ничего хорошего не думаю, поэтому мне глубоко безразлично, кем оно меня считает — нормальным или сумасшедшим, гражданином какого сорта — первого или последнего. К тому же характер и молниеносность реакции властей на мою статью свидетельствуют, что статья своей цели достигла — это для меня как признание заслуг, как медаль на грудь.

Тем не менее дело это всерьез меня заинтересовало. Что это: случайная самодеятельность местной психиатрии, или действительно был приказ сверху? Притом никаких доказательств того, что я действительно до сих пор стою на учете в психушке, у меня не было, если не считать устного заявления неизвестного лица в штатском. Поэтому я решил предпринять некоторые действия официального характера. Тем более, что с 1 января 1993 г. введен в действие Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», согласно статье 27 которого диспансерное наблюдение (то есть учет) может устанавливаться только за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. При этом установленное ранее диспансерное наблюдение прекращается при выздоровлении или значительном и стойком улучшении психического состояния человека. В случае, если ранее назначенное наблюдение было прекращено, то при ухудшении психического состояния лица, страдающего психическим расстройством, диспансерное наблюдение может быть вновь возобновлено только по решению комиссии врачей-психиатров и только при наличии вышеуказанных оснований. Надзор за соблюдением законов у нас должна осуществлять прокуратура, в том числе и надзор за законностью в области психиатрии (ст. 45 названного Закона РФ).

И вот 11.11.97 г. в Ногинскую горпрокуратуру поступило мое заявление о проверке правомерности установления за мной диспансерного наблюдения применительно к требованиям ст. 27 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 14.11.97 г. за № 1з-97 это заявление ногинским городским прокурором Ильиным Ф.И. было переслано для рассмотрения главврачу Ногинской психбольницы № 25 Курову В.А. — то есть в тот самый орган, действия которого я обжаловал, что само по себе является грубым нарушением закона. Статья 10 Федерального закона «О прокуратуре РФ» запрещает пересылку обращений граждан органам и должностным лицам, действия которых обжалуются. Предназначение этой правовой нормы, вложенное в нее законодателем, понятно: исключить возможность того, чтобы чиновник сам рассматривал жалобы на самого себя и принимал по ним решения. Здесь законодательно закреплено гарантированное ст. 33 Конституции РФ право граждан на обращение в государственные органы — действительно, какой смысл обращаться в прокуратуру с жалобой на нарушение закона каким-нибудь начальником, если жалоба будет переслана ему же? По поводу указанного грубого нарушения закона со стороны ногинского горпрокурора мною в прокуратуру Московской области была направлена жалоба, которая поступила туда 23.11.97 г. А уже 25.11.97 г. за № 25-р эта жалоба из Мособлпрокуратуры была направлена для рассмотрения ногинскому горпрокурору — то есть опять же тому должностному лицу, действия которого обжаловались. Ну не способна советская власть

существовать без грубого попрания собственных законов! Ну плюют прокуроры на законы, за соблюдением которых по Конституции РФ они обязаны осуществлять прокурорский надзор, в том числе и на Федеральный закон «О прокуратуре РФ»! Что тут поделать — в таком государстве живем!..

Вообще-то действия и врачей НРПБ-25, и Ногинского горпрокурора Ильина Ф.И., и должностных лиц прокуратуры Московской области, грубо нарушивших закон, что повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов граждан, квалифицируются по ст. 285 УК РФ как злоупотребление должностными полномочиями. Обращаю внимание, что медицинские работники, в том числе и врачи-психиатры, при совершении некоторых действий, влекущих возникновение или изменение юридических прав и обязанностей граждан (такиех, как выдача справок, госпитализация, установление диспансерного наблюдения и других), тоже выступают как должностные лица и могут нести уголовную ответственность за должностные преступления. Человеку, стоящему в дурдоме на учете, запрещено даже иметь водительское удостоверение на право управления автомобилем, не говоря уже о многих других ограничениях. И находятся же еще среди западных политологов наивные люди, сомневающиеся, когда им говорят, что нынешний режим, который они по недоумию считают демократическим, основан в принципе на таком же преступном попрании собственных законов, как и коммунистический. Можно писать заявления о возбуждении уголовных дел, можно жалобы на действия должностных лиц подавать с суд, но в этом государстве беззаконие носит такой всеобщий характер, что, как говорится, на всякий чих не наздравкуешься.

Во всяком случае меня прежде всего интересовали документальные доказательства того, что и сейчас за мной установлено диспансерное наблюдение, или, попросту говоря, что я стою в психушке на учете. И такое доказательство в конце января 98-го я получил по почте из прокуратуры. Официальным ответом от 16.01.98 г. за № 97ж-98 ногинский прокурор Ильин Ф.И. сообщил мне, что действия сотрудников райпсихбольницы № 25 по установлению за мной диспансерного наблюдения правомерны. По поводу моей жалобы в Мособлпрокуратуру на его действия, пересланной на рассмотрение ему же, прокурор сообщил, что он переслал мое заявление не органу или должностному лицу, а в психбольницу медицинским работникам.

Отмечу прежде всего, что ногинский прокурор Ильин, дабы прикрыть собственное беззаконие, начал «косить под дурака» — делать вид, что он не понимает, что психбольница является органом здравоохранения, а главврач Куров В.А., которому было переслано мое заявление по поводу действий райпсихбольницы, как раз и есть должностное лицо, возглавляющее этот самый орган. Ну да это мелочь.

Главное в другом. Та же самая статья Федерального закона «О прокуратуре РФ» устанавливает, что ответ прокуратуры должен быть мотивирован. То есть в моем случае прокурор Ильин был обязан указать в ответе основания, необходимые для установления за мной диспансерного наблюдения. А в соответствии со ст. 37 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» такими основаниями являются обстоятельства, свидетельствующие о

том, что я страдаю хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Однако в нарушение требований ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре РФ» ответ не был мотивирован, и каких-либо предусмотренных законом оснований для установления за мной диспансерного наблюдения в нем не приведено, что свидетельствует об их полном отсутствии — иначе прокуратура хоть на что-нибудь да сослалась бы. Люди, хорошо знающие советский режим, не дадут соврать, что чиновники для прикрытия своего беззакония обычно используют любые отговорки, пусть даже самые абсурдные. Так, ногинский горпрокурор в ответе мне по поводу незаконной пересылки моего заявления в НРПБ-25, как уже говорилось, «закосил под дурака». Но относительно правомерности установления за мной диспансерного наблюдения даже таких абсурдных ссылок на что-либо у него не нашлось.

Осуществляя надзор за соблюдением законов, прокуратура обязана принимать меры к устранению всяческих их нарушений. В моем случае прокурор был обязан принять меры прокурорского реагирования к устранению грубого нарушения требований ст. 27 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», но не сделал этого, в результате чего опять же оказались существенно нарушены мои права и охраняемые законом интересы. А это означает, что ногинский городской прокурор Ильин Ф.И. совершил еще одно деяние, подходящее под признаки ст. 285 УК РФ.

В опубликованной в «Континенте» № 93 статье я писал, что главной и единственной причиной произвола в советском государстве являлось и является безволие общества, его неспособность заставить государство соблюдать права граждан, гарантированные официально действующими законами. Государство не может и не хочет придерживаться в своей деятельности принципа законности, а общество не в силах принудить его это сделать. Все остальные причины произвола малосущественные и придуманы для того, чтобы замаскировать эту главную. Одной из таких остальных причин служит миф о несовершенстве наших законов как о первопричине произвола: наше общество-де такое же, как и все другие в демократических странах, вот только законы у нас плохие — надо их усовершенствовать и всё будет хорошо. Особо широкое распространение этот миф получил в перестроечные времена, когда он служил правовым теоретическим фундаментом перестройки и демократизации. Может, действующее законодательство и не является верхом совершенства, но если бы оно неуклонно государством соблюдалось, то вполне защищало бы граждан от беззаконий госчиновников.

Гарантией реализации на практике принципа законности служит неотвратимость ответственности за нарушение чиновниками установленных законом прав и свобод граждан. Поэтому для придания мифу о несовершенстве законов видимости реальности ссылаются в подтверждение на невозможность применения конкретных норм закона, устанавливающих ответственность чиновников за преступления. Так, зачастую по поводу ст. 285 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за злоупотребления должностными полномочиями (в УК РСФСР 1960 г. ей соответствовала ст. 170), многие, в том числе и признавшие эту власть известные правозащитники, обычно утверждают, будто статья эта

«мертворожденная», поскольку для предусмотренного ею состава преступления необхоимо доказывать наличие у должностного лица прямого умысла на существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а такой умысел доказать якобы крайне трудно, почти невозможно. Наивные рассуждения. В некоторых случаях — нет ничего легче.

В моем случае доказательством наличия у прокурора Ильина прямого умысла на существенное нарушение моих прав и интересов, гарантированных законом, является немотивированность ответа — то есть отсутствие в нем указаний на конкретные обстоятельства, которые согласно Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» служат необходимым основанием для установления диспансерного наблюдения. Если бы такие обстоятельства на самом деле существовали и были известны дурдому и прокурору, то он в своем ответе обязательно бы на них сослался. А раз он, признав действия психиатров правомерными, не указал в ответе эти обстоятельства, то значит прокурор знал, что какие-либо предусмотренные законом основания для таких действий отсутствуют. Тем самым прокурор Ильин понимал, что нарушает закон и мои охраняемые законом права и интересы, но совершил такое нарушение. А это и есть то, что именуется «наличием прямого умысла», необходимого для квалификации деяния должностного лица по ст. 285 УК РФ.

К слову сказать, ст. 79 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР устанавливает обязательное проведение экспертизы в случае, если возникает сомнение по поводу вменяемости лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Если прокурор берется осуществить надзор за соблюдением законов в городе Ногинске и его районе, но при этом не способен понять, что любое государственное или муниципальное лечебное учреждение (в том числе и Ногинская райпсихбольница) является органом здравоохранения, — то неотвратимо возникают очень серьезные сомнения в его психическом здоровье и, следовательно, — по поводу его вменяемости. В данном случае вышестоящая прокуратура обязана возбудить уголовное дело по признакам ст. 285 УК РФ в отношении ногинского городского прокурора Ильина Ф.И. и провести по делу судебно-психиатрическую экспертизу для определения его способности отдавать себе отчет в своих действиях. Вот где широчайшее поле деятельности для психиатров! И как ни парадоксально и ни комично всё вышеизложенное выглядит, это вовсе не мои дикие фантазии, а обязательные требования официально действующего законодательства. Так, требование закона об обязательном проведении экспертизы по уголовному делу является настолько серьезным, что — в соответствии со ст. 343 УПК РСФСР — при нарушении этого требования, дознание, предварительное или судебное следствие во всяком случае признается односторонним или неполным, а постановленный по делу приговор суда подлежит обязательной отмене в кассационном или надзорном порядке.

В любом государстве, хоть сколько-нибудь уважающем собственные законы, такой прокурор очень скоро оказался бы на скамье подсудимых или в дурдоме. У нас же, как известно еще с коммунистических времен, законы существуют не для того, чтобы соблюдаться, а для того, чтобы «пудрить мозги» доверчивым простачкам на Западе. Кстати, если стало известно, что должностное лицо

государства совершило преступное деяние, то государство либо привлекает это лицо к уголовной ответственности, либо всю ответственность за преступление принимает на себя. Это относится к действиям и прокуроров, и психиатров, и всех остальных должностных лиц.

Не знаю, как у кого, а у меня после всего этого исчезли всякие сомнения в том, что нынешние преследования меня с использованием психиатрии — не случайность, не самодеятельность местной психиатрии, а реакция центральных властей на мою статью в «Континенте». Иначе зачем ногинскому горпрокурору прикрывать заведомо явные беззакония Ногинской психбольницы, выставляя при этом самого себя дураком и преступником? Мало того, он и бумажку об этом вынужден был мне прислать со своей подписью. Видно, как у нас обычно бывает, ногинской психушке сверху дали указание «прижать» меня с помощью психиатрии, но, как всегда, о законности и обоснованности не позаботились.

Мне когда-то поставили диагноз за антисоветский фельетон, в котором, кстати сказать, высмеивались те стороны нашей тогдашней жизни, за критику и борьбу с которыми один бывший Генсек ЦК КПСС получил Нобелевскую премию, а один бывший секретарь обкома и до самого последнего времени считался (во всяком случае — официально) гарантом прав и свобод граждан и оплотом русской демократии.

И вот — в наше время за аналитическую статью о наших нынешних реалиях за мной вновь установлено психиатрическое наблюдение. Видно, и сейчас, как и в коммунистические времена, «нормальный человек открыто против этой власти выступать не будет» — вот она, единственная разумная причина всего. Как и прежде, правдивые статьи, вскрывающие сущность режима, расцениваются как «хроническое и затяжное психическое расстройство с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями».

Правда, после опубликования моей статьи я слышал упреки в том, что об очень сложных общественных явлениях я говорю слишком уж самоуверенно, категорично и безапелляционно. Может быть, на этом основании можно сделать вывод о наличии у меня каких-то параноидальных комплексов? Но вот от людей, лишенных всяких нехороших интеллигентских комплексов — то есть живущих реальной жизнью, а не в мире выдуманных иллюзий — я слышал другие упреки. Мне говорили: «И охота тебе зря бумагу марать?! То, о чем ты пишешь, и без тебя всем известно!» И в этих словах есть большая доля истины. Действительно, я писал, в общем-то, о вещах банальных, которые у нас на уровне бытового сознания понимают все, включая не всегда трезвых грузчиков. Я только облек всё в более-менее наукообразную словесную форму, да местами позволил себе немного поумничать. Еще меня упрекали, что в моей статье некоторые важные общественные проблемы раскрыты очень уж поверхностно, нужно было сделать более глубокий детальный анализ. Полностью согласен с подобными претензиями. Но ведь я писал не монографию, не докторскую диссертацию, а публицистическую статью, и вряд ли справедливо предъявлять к ней требования, которые не предъявляют и к фундаментальным научным трудам.

Напомню читателю, что советская психиатрия в 1983 г. была вынуждена выйти из Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА), дабы избежать позор-

ного исключения за использование психиатрии в политических целях. В 1989 г. советскую психиатрию вновь приняли в ВПА (с испытательным сроком). Тогда широкий круг лиц, в том числе и правозащитников, категорически выступили против этого принятия. Действительно, советская психиатрия не только не извинилась за все свои зверства перед «политпсихами», но даже официально так и не признала применение психиатрических репрессий в политических целях. Я не говорю уже о наказании конкретных врачей-психиатров. Советские представители только клятвенно заявляли, что ничего подобного впредь уже точно не будет. Я тогда говорил (и сейчас повторяю), что тем, кто принял советских в ВПА — вот всех их и нужно освидетельствовать и поставить диагноз. Да что там говорить, если до сих пор не снят диагноз даже с Владимира Буковского — официально он и сейчас считается сумасшедшим! Как тут вновь не вспомнить Буковского, которому советские психиатры когда-то сказали, что если он, требуя соблюдения советских законов, не понимает, что они предназначены не для того, чтобы соблюдаться, — то он сумасшедший, а если понимает, но все-таки требует, — то он особо опасный государственный преступник.

Дело здесь не столько в психиатрии, первопричина психиатрических репрессий по политическим мотивам не в ней, а в сущности нашего режима, оставшейся во многом неизменной с коммунистических времен до наших дней. Как в коммунистические времена, так и сейчас режим основан на произволе — на попрании даже тех прав граждан, которые гарантированы официально действующими законами государства.

Взять ту же психиатрию. Кто-то распространил легенду, будто в коммунистические времена советские законы были такими зверскими, что позволяли принудительно помещать здоровых людей в психушки по политическим мотивам. Так могут говорить только те, кто имеет о тогдашнем законодательстве довольно смутное представление. Тогда (как и сейчас) принудительно упрятать человека в дурдом можно было двумя способами: в судебном порядке и во внесудебном (его еще называют административным порядком).

Административно принудительная госпитализация осуществлялась по решению психиатров — но только если больной, страдающий психическим заболеванием, совершал действия, опасные для окружающих или для самого себя, а также если он находился в беспомощном состоянии и его нельзя было оставлять без медицинской (то есть психиатрической) помощи. При всех изменениях в законодательстве за последние тридцать лет эти основания оставались в общем-то неизменными, и я не знаю ни единого случая административного помещения в психушку по политическим мотивам, когда это соответствовало бы требованиям законодательства, то есть имелось хотя бы одно из названных оснований.

Судебный порядок психиатрических репрессий применялся ко многим видным диссидентам и поэтому хорошо известен. Суд назначает принудительное психиатрическое лечение в случае совершения лицом общественно опасного деяния, подходящего под признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом (например, ст. 70 УК РСФСР 1960 г. — антисоветская агитация и пропаганда). Но только в случае, если это лицо признано судебно-психиатрической экспертизой неспособным отдавать отчет в своих действиях или руководить

ими вследствие хронической душевной болезни или иного болезненного состояния. В посткоммунистические времена некоторые склонны всю ответственность взваливать на психиатрию и оправдывать судей: «Во всем виноваты только психиатры, дававшие неправильные экспертные заключения, а судьи здесь ни при чем — судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает невменяемость, вот суды и направляют людей в спецпсихбольницы». Но «невменяемость» — это юридическая оценка поведения человека, а такая оценка может быть дана только судом. То есть признать человека невменяемым может только суд на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы о неспособности лица отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими вследствие психического заболевания. Вопросы права (юридической оценки) по закону выносить на разрешение судебной экспертизы запрещено категорически — это исключительная компетенция судебно-следственных органов. Согласно ст. 78 УПК РСФСР судебная экспертиза назначается в случаях, когда необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле — вопросы права к таким познаниям не относятся.

Мало того. Статьи 70, 71 действующего Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (введен в действие с 1 января 1961 г.) устанавливают, что все собранные по делу доказательства (в том числе и заключения экспертизы) подлежат тщательной, всесторонней и объективной проверке; суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и правосознанием; никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Статья 80 УПК РСФСР прямо предусматривает, что заключение эксперта не является обязательным для суда, однако несогласие с заключением должно быть мотивировано.

Тем самым суд, вынося определение о назначении принудительного лечения в виде помещения в психбольницу, сам оценивает заключение экспертизы и сам несет всю ответственность за принятое решение. Заключения экспертизы, основанного только на том, что человек в открытую выступает против власти, для признания невменяемым явно недостаточно. И если суд, упрятав человека в дурдом, руководствовался только таким экспертным заключением, то все слухи о невиновности судей в психиатрических репрессиях слегка преувеличены.

Психиатрия у нас никогда напрямую не подчинялась ни ГБ, ни судам; суды и ГБ не подчинялись психиатрам. И у тех, и у других был только один начальник — соответствующий орган КПСС. Поэтому еще в те времена — до нынешних публикаций сверхсекретных документов Политбюро — вполне хватало оснований считать, что психиатрические репрессии по политическим мотивам осуществлялись по прямому указанию кремлевского начальства. Что ни в коей мере не снимает вины ни с судей, ни с психиатров, ни с других, к этому причастных.

Может, я и вправду сумасшедший, но всегда был твердо уверен, что в обществе демократическом и свободы могут гарантироваться только правом, то есть законами — при условии их неукоснительного соблюдения государством — тем, что именуется законностью. А законность юридически гарантирована только принципом неотвратимости ответственности — когда за каждым наказуемым нарушением прав субъектов правоотношений необходимо должна следовать

ответственность, в том числе и (в установленном законом случаях) уголовная. Никакого иного способа обеспечения юридических гарантий прав и свобод человечество пока не придумало. Регулирование государством общественных отношений на основе правовых норм — то есть исполнение государством собственных законов — еще называют правовым регулированием. Если в обществе торжествует не законность, а творимое властью беззаконие, то никаких юридических гарантий прав и свобод быть не может. Эти права и свободы, в каком бы супердемократическом виде они ни были закреплены Конституцией и законами, могут осуществляться только по разрешению власти и в разрешенных ею пределах. Что у нас всегда и было, несмотря на многочисленные демократические формы и атрибуты.

Еще с раннеперестроечных времен среди правозащитников раздавались всё усиливающиеся голоса о том, что советская власть понемногу изменяется и уничтожается. После провала августовского «путча» 91-го года такие голоса вылились в многоголосые хоровые восторги по поводу краха советского режима и полной и окончательной победы демократии. Многие диссиденты признали новую власть и толпой в нее поперли. Положение дел с соблюдением государством своих собственных законов тогда особо никого не интересовало, как не интересует и сейчас. Оно в принципе не изменилось, только произвол чиновников быстрыми темпами стал расширяться и ужесточаться. Но если восторжествовавшие в обществе демократические формы и атрибуты не влекут никаких серьезных правовых последствий, то цена им невелика — тогда они всего лишь чисто внешние явления, не затрагивающие сущность общественных отношений «власть—гражданин». Какое принципиальное значение могут иметь установленные законом самые демократические права и свободы, если все эти права и свободы, в том числе и гарантированные Конституцией, любой самый мелкий чиновник может легко и безнаказанно нарушить? И опять же, самый проклятый для наших «демократов» вопрос, от которого они еще с перестроечных времен шарахались, как черт от ладана: чего стоят все возглавляемые вами «широкие демократические силы», если они не способны заставить даже мелких чиновников соблюдать ихние же законы? Да и держатся все эти демократические формы и атрибуты на произволе, представляя собой лишь неотъемлемый придаток нынешней власти, необходимый для «затушевывания», прикрытия сущности политического режима, преступного даже с точки зрения собственных законов. А если принять во внимание стремительный рост произвола и то, что, в отличие от былых времен, он творится силами не ГБ, а в основном — МВД и чисто «ментовскими» методами, то становится вполне понятным вызывающий недоумение западных политологов вопрос: почему в эпоху демократии в широких народных слоях нынешний режим еще называют «легавой демократией».

Правовые нормы устанавливают наиболее важные правила поведения в обществе. В любой общественной системе имеется множество видов различных норм, но главное отличие правовых норм от всех остальных — моральных, религиозных, бытовых и других — в том и состоит, что соблюдение установленных правовыми нормами правил поведения гарантируется принуждением государства через правоприменительные государственные структуры, в том числе и

через правоохранительные органы. В этом и заключается самая главная внутренняя функция государства. То есть за правовыми нормами должна стоять вся мощь государства. Во всех нормальных государствах, основанных на своих законах, так оно и есть. У нас же...

Меня всегда поражало, что и у нас, и на Западе мало кого интересует, как наше государство соблюдает собственные законы, хотя без пристального внимания к этой проблеме подходить к анализу российской общественной системы слишком уж бессовестно. Отношение подавляющего большинства нашего общества к праву и правоприменительной деятельности государства у нас всегда полностью исчерпывалось формулой «закон — что дышло». И это совершенно справедливо. Но вот многие люди, профессионально занимающиеся реальными общественными проблемами — политики, политологи, правозащитники и прочие — не очень интересуются, как государство регулирует отношения в обществе: правом или произволом. Профессионализм у них балансирует на грани клинического идиотизма. Почему у этих профессионалов так происходит — по злому умыслу или по недоумию — здесь не место анализировать. Не знаю точно, чего в их поступках больше — подлости или глупости — наверное в разных пропорциях хватает и того, и другого. Несомненно одно — роль и место правового регулирования, как они отражены в публичных выступлениях нашей политической, научной и пишущей элиты, явно не соответствует универсальной принципиальной важности права (или бесправия!) в жизни общества. Складывается впечатление, будто составляющие сущность режима произвол и беззаконие являются лишь каким-то задним аморфным фоном, не оказывающим на положение дел в стране какого-либо заметного влияния. У нас всё больше любят выступать с заумными теориями, имеющими непонятно какое отношение к российским реалиям. Хотя, как это у нас обычно бывает, самая красивая идея, воплощенная на практике в нашем беззаконном государстве, приводит к результату, прямо противоположному желаемому. Отсюда все наши беды в политике, праве, экономике и духовной жизни общества. Но, как уже говорилось, «клинические» политики, политологи и правозащитники такими мелочами не интересуются. Для них высшим пределом познания является вопрос о соответствии наших чисто внешних форм общепринятым в цивилизованном мире демократическим схемам, явно не применимым к безвольному российскому обществу. Что под прикрытием этих привнесенных внешних форм у нас скрывается на практике — мелочь, явно недостойная их внимания.

Вообще говоря, положение дел в области реабилитации людей, преследовавшихся в коммунистические времена по политическим мотивам, обстоит у нас не совсем так, как это видится из сообщений средств массовой информации. По Закону РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» для реабилитации необходима подача заявления в соответствующий государственный орган, который по результатам проверки составляет заключение и либо выдает справку о реабилитации, либо отказывает в реабилитации и в выдаче такой справки. Среди определенного круга бывших диссидентов-политзеков такое обращение с заявлением о реабилитации считается недопустимым: «Если советская власть нас тогда сажала, то почему сейчас мы должны просить о реабилитации?! Если

государство само сажало — пускай само и реабилитирует». Причем так говорят те, кто признал эту власть после провала августовского «путча» 91-го года. А кроме них еще есть люди, которые не признают советскую власть ни в ее коммунистическом, ни в «демократическом» варианте и для которых никакая реабилитация от этой власти вообще неприемлема.

В бывших советских республиках Прибалтики (после обретения ими независимости) были реабилитированы вообще все бывшие политзеки — независимо от их желания, и, разумеется, без каких-либо заявлений с их стороны. Но и там нашлись диссиденты-политзеки, которые категорически выступили даже против такой реабилитации. Их логика понятна: «Если нас сажал оккупационный советский режим, то почему наше свободное независимое государство должно замаливать чужие грехи?!»

До сих пор осталась неизменной сущность советского режима, который ввиду отсутствия сколько-нибудь значимого активного сопротивления ему со стороны российского общества может творить внутри страны всё, что угодно, преследовать по политическим мотивам любыми способами. В статье в «Континенте» № 93 я писал, что сейчас политзеков (в прежнем их понимании) нет не потому, что режим существенно изменился и стал хорошим, просто нынешняя власть вполне может обходиться без брежневских методов политических преследований, как Брежнев и компания обходились без методов сталинских. Главное для власти — страх общества перед произволом власти, чтобы гражданин чувствовал себя полностью беззащитным перед беззаконием государства. А какими методами такой страх достигается — дело десятое. Когда же необходимость в былых методах возникнет, то нынешняя власть легко может себе это позволить. Если нельзя, но очень нужно — то можно.

И дело не в конкретных руководителях государства и других начальниках. Вся система власти, сущность политического режима сильнее не только отдельных лиц, пусть даже занимающих руководящие государственные посты, но и сильнее всего безвольного общества. Пока сущность власти осталась прежней, кто бы ни был Президентом РФ — Путин, Примаков, Зюганов или Лебедь — это по сути само по себе ничего изменить не может, возможны лишь вариации несущественного характера, не затрагивающие принципиальных основ власти. Какой бы кристально чистый и приличный человек ни стал Президентом, всё равно — власть либо адаптирует его и сделает в принципе таким же, как и все другие чиновники, либо отторгнет его всеми возможными способами, включая летальный исход. Так было и так будет до тех пор, пока эту систему власти с ее советской сущностью не уничтожить. С уничтожением же существующего режима подавляющая часть нынешней политической элиты отойдет в политическое небытие.

Для власти, основанной на лжи и беззаконии, больше всего на свете опасны требования истины и законности. Поэтому режим очень не любит, когда вскрывают его сущность и реальные принципы власти или слишком уж требуют соблюдения официально действующих законов. Примеров тому из прошлых времен можно привести с избытком. Мы с Кириллом Подрабинеком в 95-м году решили поставить эксперимент над российским правосудием — потребовали

возбудить уголовное дело по фактам отдания Президентом РФ Ельциным Б.Н. приказа Вооруженным Силам на ведение военных действий в Чечне и неприятия мер к защите мирного населения. Государство для одурачивания Запада напринимало много хороших законов — вот мы и потребовали от государства их соблюдения. Подробности этого эксперимента описаны в нашей статье в «Континенте» № 94. Здесь могу только дополнить, что мы требовали возбудить уголовное дело не в отношении Президента РФ Ельцина Б.Н., а по фактам его всем известных преступных деяний, и устанавливающая неприкосновенность Президента ст. 91 Конституции РФ этому никак не препятствует. Кроме всего прочего, к принятию Президентом решений и к другим его деяниям в связи с войной в Чечне 94—96 годов имели прямое и непосредственное отношение чиновники, не обладающие вообще никакой неприкосновенностью, даже депутатской — члены Совета безопасности (в том числе и тогдашние силовые министры), аппаратчики Администрации Президента. А они подлежат уголовной ответственности за соучастие в преступлениях независимо от того, была ли процедура импичмента Ельцина и чем она закончилась. Статья 91 Конституции РФ не отменяет действие уголовного и уголовно-процессуального законодательства в отношении лиц, не обладающих президентской неприкосновенностью. Нетрудно представить чувства, испытываемые к нам президентской компанией. Как за этот эксперимент власти «прижимали» меня руками ногинской милиции — разговор отдельный.

Кстати — по поводу моей нынешней истории с психиатрией и прокуратурой. Предусматривающая поводы к возбуждению уголовного дела ст. 108 УПК РСФСР устанавливает, что, наряду с заявлениями о преступлении в правоохранительные органы, такими поводами являются опубликованные в печати статьи, письма и заметки. Юридически нет никакой разницы — писал ли я в органы прокуратуры заявления о возбуждении уголовных дел в отношении психиатров, ногинского горпрокурора и должностных лиц Мособлпрокуратуры, или написал эту статью про деяния психиатров и прокуроров, которые квалифицируются по ст. 265 УК РФ как злоупотребления должностными полномочиями. То есть, в любом случае после опубликования данной моей статьи прокуратура по закону обязана принять меры прокурорского реагирования по фактам описанных в статье преступных деяний.

Будет ли это или нет, поживем — увидим.

Октябрь 1999 г.

Фаина ГРИМБЕРГ

КАВКАЗСКИЙ ТЕКСТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

1

Наверное, у многих читателей моего (и не только моего) поколения на памяти первое знакомство с Топоровским Петербургским т е к с т о м. Я имею в виду сформулированное В.Н. Топоровым понятие комплекса приемов, образов, черт, персонажей и т.д., характерных для всевозможных описаний Санкт-Петербурга как самоценного явления или же как «места действия». Помню, как меня тогда уже осенило — сразу возникло: если петербургский, значит, и все остальные, прочие т е к с т ы русской культуры: малороссийский (украинский), например; и еврейский, и грузинский, и армянский, и, естественно, московский... Да, грузинский и армянский следует выделить из одного общего кавказского т е к с т а; необъятного не обоймешь; а мы будем сейчас говорить именно о *кавказском тексте русской культуры*.

Но — опять же — не обоймешь необъятного; поэтому, чтобы не так уж растекаться по древу, попытаемся покамест не рассматривать, например, подробно писания о Кавказе Я. Гордина, кавказскую прозу Марлинского и даже кавказские эпизоды «Героя нашего времени». И без того много любопытного прочитаем, а вышеупомянутое стоит отдельного подробного разбора.

Но, вероятно, лучше начать не с художественных, а с нейтрально-информативных писаний.

«Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903: «Чеченцы считаются людьми веселыми, остроумными («французы Кавказа»), впечатлительными, но пользуются меньшими симпатиями, чем черкесы, вследствие их подозрительности, склонности к коварству и суровости, выработавшихся, вероятно, во время вековой борьбы. Неукротимость, храбрость, ловкость, выносливость, спокойствие в борьбе — черты чеченцев, давно признанные всеми, даже их врагами. В обыкновенное время идеал чеченцев — грабеж. Угнать скот, увести женщин и детей, хотя бы для этого пришлось ползти по земле десятки верст и при нападении рисковать своей жизнью — любимое дело чеченца. Самый

Фаина ГРИМБЕРГ — родилась в г. Акмолинске (Казахстан). Окончила филологический факультет Ташкентского университета. Автор романов «Недолгий век, или Андрей Ярославич» (М., 1996), «Гром победы» (М., 1997), повести «Флейтистка на Часовом холме» (альманах «Четвертое измерение»), книги стихов «Зеленая ткачиха», повести «Судьба турчанки, или Времена империи» (М., 1997), книги «Две династии. Вольные исторические беседы» (М., 2000) и многих переводов с немецкого, английского и болгарского языков. Живет в Москве.

ужасный упрек, который может сделать девушка молодому человеку, это сказать ему «убирайся, ты даже не способен угнать барана!». Чеченцы никогда не бьют своих детей, но не из особенной сентиментальности, а из страха сделать их трусами. Трогательна глубокая привязанность чеченцев к родине; их песни изгнания («О птички, летите в Малую Чечню, несите ее обитателям привет и скажите: заслышав крик в лесу, думайте о нас, скитающихся среди чужих без надежды на исход!» и т.д.) полны трагической поэзии» (т. 76).

Текст профессора Л. Шепелевича — характерный текст своего времени — научный и одновременно с элементами беллетризации. Автор разделяет «чеченцев» и «черкесов». Стоит заметить, что если в том или ином человеческом сообществе престижным является военное дело, воинское искусство с целью «добычи», «захвата», значит, в данном сообществе сильно архаическое начало с выраженной оппозицией: «свой» — «чужой»; естественно, «чужой» — это тот, кого возможно «захватывать». Л. Шепелевич справедливо полагает, что некие общие, характеристические черты вырабатываются в процессе динамического развития; в данном конкретном случае они — следствие «вековой борьбы». С кем?

«Этой социальной организацией (отсутствие аристократии и равенство) объясняется [...] беспримерная стойкость чеченцев в долголетней борьбе с русскими [...] Единственным неравноправным элементом среди чеченцев были военнопленные, бывшие на положении личных рабов. Они делились на лаев и ясиров; последние могли быть выкуплены и возвратиться на родину. Юридический строй представляет обычные черты родового быта».

Казалось бы, от историка начала века (XX-го) можно было бы ожидать неких «обоснований» завоевания Кавказа; однако никаких «обоснований» нет. Похоже, автор относится к происшедшему без ханжества: одни завоевывают, другие стойко сопротивляются завоевателям, «беспримерная стойкость» достойна уважения. Всё просто.

Но продвинемся далее. Прошло время, больше полувека прошло. «Советская историческая энциклопедия», 1974. Б.А. Калоев в статье о Чечено-Ингушской АССР указывает, что самоназвание чеченцев — «нахчо», что первые упоминания о них имеются в армянских источниках VII в. н.э. и что чеченцы — «народ, живущий на Северном Кавказе». Советский историк, разумеется, не будет делать основным событием истории чеченцев их «борьбу с русскими»; несомненно он станет определять и формулировать иначе. Как же?

«С конца XVI в. чеченцы и ингуши устанавливают добрососедские отношения с терскими казаками [...] В конце XVIII в. царизм предпринял попытку завоевания Чечено-Ингушетии [...] За счет земли, принадлежащей горским крестьянам, был создан огромный колонизационный фонд для раздачи офицерам и чиновникам, казачьим и горским верхам, верно служившим царизму. Отвод богатых земельных участков под казачьи станицы и крепости, уничтожение аулов и насильственное переселение горцев привели земельные отношения в Чечено-Ингушетии в хаотическое состояние. В то же время присоединение Чечено-Ингушетии к России способствовало экономическому и культурному развитию чечено-ингушского народа...»

Фактически речь идет всё о той же «борьбе». Более того, теперь, кажется, возможно понять, чем вызваны уже известные нам «подозрительность» и «склонность к коварству». Произволом колонизаторов, по всей вероятности. Автор статьи в «Советской исторической энциклопедии» постоянно оперирует понятием «Чечено-Ингушетия» как неким реальным географическим понятием, известным в XIX веке. Зачем он это делает? Ни историкам, ни литераторам этого века «Чечено-Ингушетия» не была известна. Здесь возможна следующая логика: если подобная «АССР» существует в границах СССР, значит, всегда существовала. Однако если «царизм» занимался «завоеванием», каким образом в результате произошло «присоединение»? Или «завоевать» и «присоединить» в данном случае одно и то же? И почему, если отнять у крестьян землю и насильственно переселять их в менее пригодные для житья «районы» (так скажем), это всё будет способствовать «экономическому и культурному развитию народа»?

Далее в «Советской исторической энциклопедии» следует совсем уж запредельный по своему кафкианству текст:

«В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 трудящиеся Ч.-И. АССР перестроили свое х-во на военный лад и активно помогали фронту. Большое значение имела работа грозненских рабочих [...] С. х-во удержалось на уровне 1940 и снабжало армию продовольствием. Осенью 1942 нем.-фаш. войска вторглись в западные районы республики, но были остановлены на дальних подступах к Грозному. В январе 1943 территория Ч.-И. АССР была освобождена. Во время Великой Отечественной войны мужество и героизм проявили многие воины Ч.-И., в т.ч. Герои Советского Союза Х. Нурадилов, И.К. Бейбутов, И.Н. Заболотный [...] В 1944 Ч.-И. АССР была ликвидирована. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 Чечено-Ингушская АССР была восстановлена».

То есть это как? Автономная республика перестраивает свое «х-во» и «с. х-во», на военные лад, воины проявляют мужество и героизм — и вдруг, тотчас за списком Героев Советского Союза, следует информация о ликвидации данной образцово-показательной республики.

Впрочем, стоит ли иронизировать? Ведь это всё же «Советская историческая энциклопедия» и нормальная логика здесь является лишь в виде или в результате некоего парадокса.

В энциклопедической статье «Чеченцы» Б.А. Калоев сообщает, что ликвидация республики произошла «в результате нарушения социалистической законности». То, что нам известно ныне о «социалистической законности», позволяет смело предполагать, что данная и все прочие ликвидации произошли не в результате «нарушения», а напротив, в результате именно соблюдения «социалистической законности». Это подтвердят и цитаты из автора, имеющего еще более непосредственное отношение к кавказскому т е к с т у.

2

А.Г. Авторханов (1908 г. р.) начинал как сторонник большевизма, а продолжал (уже после второй мировой войны, живя за пределами СССР) как противник тоталитаризма. Посмотрим, что же он пишет о Кавказе в качестве кавказца, то есть лица заинтересованного.

Сначала обратимся к его брошюре «К основным вопросам истории Чечни (к десятилетию Советской Чечни)». 1930. В 1930 году Авторханов (в отличие, например, от Б.А. Калоева в 1973 г.) оперировал понятием «Чечня», а не «Чечено-Ингушетия».

Естественно, всё начинается с истории времен отдаленных.

«Историко-археологическими документами и, тем более, научно разработанной теорией о происхождении чеченского да и вообще нахских народов марксистская наука пока не располагает». Здесь автор дает примечание о том, что «нахские народы» — чеченцы, ингуши, тушины — хотя и несколько различаются между собой, преимущественно в языковом отношении, однако «в сущности, составляют один народ».

То есть, вероятно, можно сказать, что на протяжении XIX и XX веков на Кавказе идет процесс становления, сложения определенных объединений, единств, сообществ. И этот процесс, вероятно, еще не вошел в стадию некоей сугубой определенности.

История русско-кавказских отношений в тексте Авторханова выглядит достаточно однозначно и вполне укладывается в определительные термины: «разорение», «притеснение», «борьба» и др. Кстати, это касается не только писаний Авторханова. Например, он приводит цитату из книги М.Н. Покровского «Дипломатия и войны царской России в XIX-м столетии», в которой действия имперской администрации на Кавказе квалифицируются как «разорение русскими». Впрочем, концепции М.Н. Покровского (1868—1932) были осуждены в свое время, когда начался период интенсивной реставрации имперских ценностей в искусстве и политике; Покровского вполне возможно было осудить за антипатриотизм, ведь он писал, например, о работорговле в Древней Руси. Однако вот еще цитата — уже не из Покровского:

«Кончив, таким образом, одно славное дело, — пишет император Николай I генералу Паскевичу о покорении войсками последнего племени армянского Нагорья, — предстоит Вам другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее, — усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

Кавказцы не мирятся с потерей земли и периодически «налетают» на «новых хозяев» своей земли, казаков, что вызывает к жизни указы — эмоционально окрашенные тексты наподобие следующего:

«Неизвестный злодей чеченец, Бейбулат, переправившийся через Терек, учинил большое злодеяние, за что мошенника надлежит издовить».

В русский язык постепенно вошло слово «абрек»; это, как остроумно замечает С.И. Ожегов в «Словаре русского языка»: «В период присоединения Кавказа к России: горец, участвовавший в борьбе против царских войск и администрации». Реально значение слова «абрек» варьировалось в русском языке — «мститель», «вольный человек», «разбойник». Причем отнюдь не непременно применительно к кавказцу. Существует в русском языке и женское производное — «абречка».

Авторханов цитирует Ермолова: «Теперь наряжается отряд для прорубления дорог по земле Чеченской, который мало-помалу доведет нас до последних убежищ злодеев».

В отношении кавказцев в писаниях административного характера стойко держались определения: «злодеи», «бандиты», «разбойники», «мошенники». Наконец, иные политические деятели Российской империи не прочь были и от вариантов окончательного избавления от «неугодного» населения. Однако попытки массового переселения-выселения чеченцев, равно как и кавказских татар, в Османскую империю, по сути провалились.

И наконец, Авторханов пишет о появлении среди чеченцев людей уже «европейского» типа. Прежде всего это деятели промышленности: «Накануне революции в Чечне мы имели начало развития промышленного капитала и промышленной буржуазии. Нефтяной «король» Чермоев, хлебный «король» Баширов с промышленными предприятиями (мельница в Грозном), крупный заводчик в Грозном Цуниев, Старо-Юртовское общество «Нефть» [...] таковы первые пионеры развития промышленного капитала в Чечне».

Впрочем, еще Н.Я. Данилевский отметил неблагодарность «присоединенных» народов; всё свое «развитие» они используют для того, чтобы оторваться от «присоединившей» их империи. Данилевский видел в этом европейские «козни»; можно увидеть в этом и естественный ход развития.

Н.Я. Данилевский — «Россия и Европа»:

«Наконец, характер одежды и всей бытовой обстановки имеет важное влияние на слияние подчиненных народностей с народностью господствующей. В состав русского государства входит много небольших народностей, которых оно не завоевало, не подчинило себе насильственно, а приняло под свое покровительство. Эти народности (как, например, грузины, армяне) не имеют причины быть враждебными России и действительно ей и не враждебны. Они в массе невозбранно сохраняют свои национальные формы быта. Но отдельные личности, выходя на простор общей государственной жизни, будут всегда стараться перенять жизненную обстановку высших классов господствующего народа. Однако в то же время именно у этих передовых личностей зарождается сожаление о прежней политической самобытности их нации, невозвратно погибшей в историческом круговороте, или мечта о будущем ее возрождении. Оба эти стремления противуположны друг другу, и так как последнее не имеет внутренней основы, то при некоторой силе первого, более реального стремления, оно и исчезает как неосуществимая мечта. Но ежели оно не находит себе противодействия в этом первом стремлении или даже находит себе в нем поддержку, то народное образование этих (по необходимости лишенных политической самобытности) народностей ведет не к слиянию их с господствующей в государстве народностью, а к разъединению с нею, служащему к обоюдному вреду. В старину без всякого насилия разные татарские мурзы, черкесские князья, немецкие выходцы обращались в русских дворян, ибо им не было другого исхода, как или оставаться в своей племенной отчужденности, или сливаться с русским народом. Но теперь, после того как жизненная обстановка высших классов русского общества лишилась своего народного характера, сделалась общеевропейскою, такой исход открылся. Чтобы выступить на арену общей государственной жизни России, нет надобности делаться русским по правам и обычаям, даже нет возможности делаться русским в этом смысле, а надо принять на себя общеевропейский облик.

Но этот общеевропейский характер, который по существу своему враждебен характеру русско-славянскому, не ослабляет, а усиливает ту долю отчужденности, которая более или менее свойственна всякому инородцу, — и из этого-то слияния и порождаются те молодая Армения, молодая Грузия, о которых мы недавно услыхали, а, может быть, народятся и молодая Мордва, молодая Чувашия, молодая Якутия, молодая Юкагирия, о которых не отчаиваемся еще услышать».

Труд Данилевского был опубликован впервые в 1871 году. В сущности, его волновал вопрос, почему государство, представляющее собой конгломерат колонизованных территорий, не может существовать вечно. Отчего так складываются обстоятельства, что целый ряд «народностей» не желает мириться с положением «подчиненных»? Отчего существуют некие общие формы государственности, которым не определенном этапе своего развития должна соответствовать и Россия? Но увы! — Данилевскому, как и многим другим, казалось, что ход развития со всеми его поворотами — это всего лишь прихоть, прихоть Петра I, например; всего лишь «европейничанье»; и потому возможно развиваться вопреки логике. Нет, невозможно; и это относится и к русско-кавказским отношениям.

Но обратимся еще к одной книге Авторханова: Александр Уралов (А. Авторханов), «Убийство чечено-ингушского народа. Народоубийство в СССР», с которой возможно ознакомиться и по ее московскому изданию 1991 года. Уже заглавие ясно указывает на содержание текста. Понятие «чечено-ингушский» автор, конечно, употребляет правильно, поскольку речь идет о проведенной по указу от 23 февраля 1944 года депортации именно чеченцев и ингушей как некоей общности, являвшейся основным населением Чечено-Ингушской АССР.

Вот цитируемый Авторхановым сугубо официальный текст, соответственно лексически и стилистически оформленный, один из указов Верховного Совета СССР:

«Многие из чеченцев и ингушей, подстрекаемые немецкими агентами, присоединились добровольно к организованным немцами формированиям и вместе с немецкими вооруженными силами выступали с оружием в руках против Красной Армии. Во исполнение немецких приказов они организовывали банды, которые должны были напасть на советское правительство с тыла. Большая часть населения Чечено-Ингушской республики не оказала этим предателям Родины никакого сопротивления. Поэтому Чечено-Ингушская республика ликвидируется и с выселением ее населения».

Вторая мировая война ясно показала, что целый ряд, скажем так, народностных сообществ и объединений оказался недостаточно, формально интегрирован в состав СССР. Эти сообщества и объединения составляли своеобразную «группу риска» и гипотетически могли воспользоваться случившейся ситуацией в поисках возможности выхода из СССР. Таким образом, «великое переселение» не было «прихотью» Сталина, не было «бессмысленным действием», но являлось, напротив, очередным осмысленным действием по сохранению целостности империи, — вполне в духе Данилевского. На новых местах переселенцы должны были волей-неволей более интенсивно русифицироваться, а частично и просто вымирать, поскольку территории, отведенные для «переселенцев», не были вполне пригодны для житья.

Посмотрим, какого мнения о данном явлении Авторханов — в качестве, как уже было сказано, заинтересованного лица.

Прежде всего заметим, что совершенно логично обращение автора текста, посвященного депортации населения, компактно проживавшего на определенной территории, к истории этого населения и самой этой территории.

«Ключ к истинному мотиву указа Президиума Верховного Совета РСФСР о выселении чеченцев и ингушей заложен в вышецитированном нами первом советском документе (о чеченцах и ингушах. — Ф.Г.), а именно его вводном политическом тезисе: «История Чечено-Ингушетии — это десятилетия кровавой борьбы свободолюбивого народа против колонизаторов». Только с этим ключом в руках и можно установить и открыть историческую правду.

Как известно, большевики признают правомерной национально-освободительную борьбу угнетенных народов за независимость до советской власти. Всякое проявление национально-освободительных стремлений в самой советской России не только осуждается, но и беспощадно подавляется. Это, однако, не значит, что в старой царской России угнетенные народы боролись за свою независимость, а в новой советской России отказались от этой борьбы».

Здесь, кажется, необходимо небольшое отступление. При всем возможном либеральном сочувствии любой «национально-освободительной борьбе» не стоит, пожалуй, забывать и о том, что государственность, основанная на принципе «моно» — моноэтничности, моноконфессиональности (то есть на доминировании одной религии, или одной народности-национальности) — отнюдь не лучшая разновидность государственности и легко может привести опять же к доминированию архаической оппозиции «свой»—«чужой». Но ведь и в Российской империи, и в СССР никогда не предполагался некий демократический (в той или иной степени) вариант объединения, единства. Нет, предполагалось лишь то самое «слияние подчиненных народностей с народностью господствующей». Вспомним снова о том, как точно фиксирует тот же Данилевский наличие неких фактически общеобязательных форм государственности, в то же время понимая, что парламентаризм, либерализм — губительны для государств имперского типа, в которых центр-метрополию не отделяет от колоний море (Османский султанат, Российская империя). В подобном государстве демократические преобразования непременно приводят к распаду самого государственного организма. Но распад подобных империй неминуем, поскольку они при всем своем горячем желании существования «за железным занавесом» не в состоянии совершенно игнорировать динамическое развитие окружающего «мира», определенные тенденции этого развития; они волей-неволей должны эти тенденции воспринимать — в том числе и то, что Данилевский именует «европейничаньем», а нынешние российские «патриоты» — «американизацией». Трагизм современной ситуации заключается еще и в том, что необходимо «соответствовать» определенным современным формам демократической государственности, не имея для этого реальных предпосылок. Например, нынешняя Российская Федерация является по сути всё еще имперским организмом в стадии распада, то есть фактически тем самым «больным человеком», как некогда аттестовали европейские политические деятели Османскую империю. Но ведь больной человек — не

то что здоровый! Возможно ли одновременно быть распадающейся империей, пытающейся удержать, сохранить свою, имперскую, территориальную целостность, и... демократическим государством?

Еще сложнее и трагичнее положение республики Ичкерии, чеченского государства. Оно существует де факто, но де юре фактически как бы и не существует, поскольку в конституции Российской Федерации не предусмотрен выход «субъектов федерации» из состава РФ. При этом фактически чеченская общественная структура представляет собой во многом родо-клановое сообщество; а если так, то, значит, доминирует архаическое сознание, основанное на доминировании оппозиции «свой»—«чужой». И стоит подумать о том, как трудно и сложно в подобной ситуации, при наличии даже искреннего желания определенного круга интеллигенции, «соответствовать», что называется, системе демократической государственности с президентским правлением. При всем при этом международные организации требуют от РФ и ее непокорного «субъекта» соблюдения прав человека. Но можно ли требовать от «больного человека», чтобы он непременно был здоров и поступал именно как здоровый человек?! Больным людям нужны не требования от них непременного здоровья, но разумное и действенное лечение. Но при этом больные должны хотеть лечиться, а здоровые должны хотеть и мочь лечить разумно и бережно... Трудно!..

Но вернемся к тексту Авторханова, к его историческим штудиям.

«Северный Кавказ является исконной родиной его нынешнего народа — северокавказцев, известных под общим именем «горцы Кавказа» в русской литературе и «черкесы» — в западноевропейской».

Впрочем, и в русской культурной традиции, как мы убедимся далее, обратясь к русской литературе XIX века, этноним «черкес» означает именно «кавказского горца». Заметим, что в данном своем тексте Авторханов прокламирует как «народ» именно «северокавказцев», как бы предполагая реальную возможность образования, сложения некоего единства. Но, кажется, теперь, перед самым началом XXI-го, это единство еще не сложилось. Однако всё же Авторханов полагает, что:

«Несмотря на диалектические различия в языке и даже наличие отдельных языков у отдельных племен, северокавказцы-горцы составляют, по данным истории, культуры и этнографии, в сущности, единый народ, состоящий из родственных между собой племен».

Далее автор останавливается на определенных этапах истории Северного Кавказа и показывает, что фактическим содержанием этой истории на протяжении по меньшей мере трехсот лет (то есть с XVIII-го по начало XXI-го века) является борьба с Российской империей — Советским Союзом — Российской Федерацией. А вот в XVI веке, например, отношения, кажется, были иные, поскольку Московское царство не имело достаточно сил для интенсивных завоевательных действий в отношении Кавказа. Иван Грозный, как известно, был женат на «черкесской княжне», известной в русском фольклоре, в частности, под именем Марьи Темрюковны. В «правительстве» (попробуем это так называть) Ивана Грозного находился «черкесский выходец» князь Адашев. Таким образом, всё вроде бы шло «по Данилевскому» — то есть сообразно особенностям того

общественного и государственного устройства, которое можно именовать феодализмом. Но как бы того ни желал Данилевский, невозможно задержаться в своем развитии на стадии феодализма на неопределенно долгий срок; и невозможно, если так можно выразиться, шагнуть дважды в один и тот же феодализм, то есть восстановить феодальные институции, когда время их миновало. Уже Петр I предпринимает в отношении Северного Кавказа завоевательные действия, но терпит поражение. При Екатерине II осуществляются походы Суворова на Кавказ, и эта экспансионистская политика России на Кавказе, каковы бы ни были ее объяснения и оправдательная мотивация, сразу же формирует четкое ролевое противостояние: «мы — нападаем, они — защищаются». То есть с того момента, как Россия начинает выступать в роли завоевателя, народы Кавказа начинают вести ту самую «национально-освободительную войну», борьбу «за свободу». И именно так отныне свое противостояние России и осознают. При этом такое осознание вовсе не освобождает, разумеется, их стан ни от элементов терроризма или религиозного фанатизма, ни от внутренних разногласий. К тому же надо учесть, что эти антирусские (естественно!) движения развертываются и в ситуации перманентных феодальных междоусобиц на Северном Кавказе, что еще более обостряет ситуацию.

3

Итак, в 1785 году начинается освободительное движение, возглавленное чеченцем, шейхом Мансуром-Ушурма. Разумеется, это религиозный лидер. Таким образом, «конфессиональный фактор» изначально становится важным в борьбе Северного Кавказа с Российской империей. Остановимся на том, как охарактеризованы в тексте Авторханова и сама эта борьба, и выработавшиеся в процессе этой борьбы характеристические черты северокавказцев.

«Великие русские писатели — корифеи русской классической литературы — Пушкин, Лермонтов и Лев Толстой в своих бессмертных произведениях прославили борьбу горцев за свободу, осуждая одновременно жестокие и бесчеловечные методы русских завоевателей».

Что тут скажешь! Авторханов прав, хотя вышеупомянутые авторы являлись русскими патриотами (так это назовем). И тем не менее нечто, некое непререкаемое чутье п и с а т е л я, заставляло их писать, между прочим, во многом наперекор своим «сознательным» убеждениям.

Уже в XIX веке горцы Кавказа стали известны и в Европе. Авторханов цитирует... «Коммунистический манифест»: «Народы Европы, учитесь борьбе за свободу и независимость на героических примерах горцев Кавказа».

И далее:

«Рыцарство, благородство, гостеприимство, честь и свободолюбие, почтение к старшим, верность в дружбе и жертвенность для общего блага, храбрость в бою и скромность в общежитии, и, только один раз, жестокая мстительность до бесчеловечности, если речь идет о вероломном враге, — вот черты кавказских горцев, о которых свидетельствуют и которыми вдохновлялись классики русской литературы для писания своих бессмертных творений [...]»

И опять же — что тут скажешь! Именно эти самые черты зафиксировали и воспели «классики русской литературы», сознавая при этом, что принадлежат к стану «вероломных врагов». Далее мы увидим, что именно в интерпретации «классиков русской литературы» противостояние имперской России и Северного Кавказа — р о к о в о е! Классики русской литературы, в сущности, создали определенную м о д е л ь трактовки этого противостояния, которую мы находим, например, к беллетризованном изложении профессора Л. Шепелевича в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, когда, сознавая противостояние как роковое, прославляют собственные победы, отдавая должное храбрости противника и даже скорбя о его поражении и гибели.

Но еще — о характеристических чертах:

«Возьмите самый безобидный пример. Рядовой русский человек злосчастную мать своего противника пропустит через все падежи при сочных прилагательных и в ответ на это он услышит такую же брань от своего противника, и этим дело кончится. Но чеченец, оскорбивший словом своего противника, должен обнажить кинжал для обороны. Ругань карается у чеченцев и ингушей смертью — так велит обычное право. «Рану кинжалом залечит медик, но рану словом залечит лишь кинжал» — так гласит чеченская поговорка».

(В скобках: вспомним русскую поговорку: «Брань на вороту не виснет». Однако А.И.А., русский, родившийся в 1920 году в деревне неподалеку от большого села Лысково (ныне город), говорил мне, что в детстве его никогда не били и не бранили, и мужчины никогда не бранились в присутствии женщин и детей.)

Но далее — по вехам истории.

Борьбу Мансура продолжили Кази-Мулла и Гамзат-бек. Затем: «В 1834 году создается северокавказское независимое государство — «Имамат Шамиля», которое просуществовало ровно тридцать лет в непрерывной борьбе, известной в русской истории как кавказская война».

В 1877 году чеченцы и дагестанцы объединяются в выступлении Али-Бека Хаджи Зандакского. И это движение, как и предыдущие, было подавлено. На суде Али-Бек Хаджи сказал: «Мы признаем себя виновными только перед Богом и чеченским народом, что, несмотря на понесенные жертвы, мы не сумели восстановить дарованную Богом нам свободу».

Действия абреков были фактически перманентными.

Гражданская война после 1917 года на большинстве бывших имперских территорий фактически представляла собой борьбу за отделение от России как метрополии и образование независимых государственных структур. Так было на Украине, в Средней Азии, на Кавказе... Так, в августе 1920 года вспыхнуло восстание имама Шамиля Саид-бека, подавленное в 1921 году силами Красной Армии. Однако несмотря на то, что в политике «метрополии» явно превалировал курс на восстановление имперской государственности, 1921-й — это всё же не 1937-й. Вероятно, еще неокрепшее советское государство опасалось «непокорного» Кавказа. В том же 1921 году в Горской советской республике: «Ряд казачьих станиц по прямому приказу Сталина и Орджоникидзе были переселены внутрь России, и чеченцам и ингушам были возвращены их исконные земли, не считая

уже тех, которые были захвачены самим народом в явочном порядке». Все эти переделы земли в приказном порядке происходили на Кавказе по инициативе властей «метрополии» на протяжении XIX—XX вв. и, естественно, создавали мрачную атмосферу взаимной неприязни.

Естественно, Северный Кавказ испытал, как и все прочие регионы СССР, тяготы принудительной коллективизации, принудительного выселения «кулаков» и т.д. Всё вышеперечисленное способствовало интенсивному «абреческому» движению. Так, «бандитские налеты» братьев Истамуловых на «представителей власти» продлились до 1935 года.

В 1936 году, в рамках членения СССР на псевдогосударственные образования — «республики Советского Союза» — официальным указом образована Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика. Естественно, что новой республики коснулась (если можно так выразиться) и основательная «чистка», то есть уничтожение реально и потенциально оппозиционных элементов. Таковыми для тоталитарного диктатора естественным образом являются самые разнообразные слои населения страны: члены компартии, противящиеся тоталитарной диктатуре; представители прежних имперских привилегированных сословий (дворянства, духовенства), и наконец — реальные и потенциальные сепаратисты в «республиках». Борьба тоталитарного режима с элементами реальной и потенциальной оппозиции естественным образом выливается в настоящую вакханалию террора. Создается впечатление, будто «хватают» всех подряд, ни в чем неповинных. Между тем, подобная ситуация — отнюдь не прихоть «безумного тирана». Если бы тоталитарный режим не «отстаивал» себя подобным образом, то есть посредством террора, он бы просто-напросто рухнул под натиском разнообразных оппозиционных элементов. В период хрущевской «оттепели» в сознании многих интеллигентов закрепился миф о «невинно осужденных», то есть фактически о полнейшем отсутствии оппозиции, об отсутствии сопротивления советской власти, то есть, яснее выражаясь, тоталитарному режиму. Но разве тоталитарный режим мог поверить «на слово», что верноподданнейшая по отношению к советской власти Софья Петровна Л. Чуковской не вступит «при благоприятных обстоятельствах» в тот же «союз меча и орала»? Нет уж, на такой риск тоталитарные режимы идти не могут! Проще и вернее ликвидировать не только реальных, но даже и отдаленно потенциальных оппозиционеров. И уж конечно, не стоит полагать определенные репрессивные действия тоталитарного режима некоей «ошибкой»; напротив, эти действия — его суть, они позволяют ему выжить, поскольку тоталитарный режим принципиально не основан на примате «законности» в либеральном понимании этого понятия.

Разумеется, Северный Кавказ был весьма опасным для тоталитарного государства регионом. И — как следствие: «В ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года по ранее составленным НКВД спискам была проведена по всем аулам и районам так называемая «генеральная операция по изъятию антисоветских элементов».

Глава VIII книги Авторханова называется многозначительно: «НКВД создает «бандитов». В этой главе говорится о том, что НКВД фактически провоцировал, вынуждал горцев выступать против советской власти. Впрочем, здесь невольно возникает естественный вопрос (или он возникает вольно): нуждались ли горцы

в подобных провокациях, если существовала давняя и стойкая традиция борьбы с имперской властью и если к середине тридцатых годов советская власть окончательно оформляется именно как «преемница» российской имперской власти?

В 1940 году в республике начинается движение, во главе которого встал Х. Исраилов. Автор подчеркивает, что ни о каком сотрудничестве с гитлеровским режимом речь не могла идти, поскольку восстание вспыхнуло в период действия известного «пакта Молотова—Риббентропа», то есть когда СССР фактически сам поддерживал гитлеровский режим. Исраилов был лидером новой формации (вспомним опять же пресловутое «европейничанье» Данилевского).

«Характерной чертой повстанческо-партизанского движения Чечено-Ингушетии за последнее десятилетие являлось то, что вместо бывших духовных авторитетов — мулл и шейхов — во главе его постепенно становились люди чисто светские и политически вполне разбирающиеся во всех тонкостях как советской колониальной политики на Кавказе, так и ее империалистических экспансивных устремлений в мировом масштабе».

Авторханов отмечает и то, что северокавказцы издавна ждали своего освобождения «из Российской орбиты» от Европы.

«У чеченцев сказание о том, что англичане придут для освобождения Кавказа, настолько распространено и вкоренялось десятилетиями в сознание народа, что его вам расскажет любой чеченец со ссылкой на ряд своих выдающихся духовных авторитетов еще царского времени».

Теперь важные сведения о службе северокавказцев в имперской и советской армиях. Два полка находились в составе так называемой Туземной дивизии («Дикая дивизия») и «считались прекрасной охраной». Далее Авторханов пишет, что чеченцы и ингуши с 1942 года не призывались в армию и что «официальный приказ мотивировал это их отказом есть свинину». Стало быть, они проявили в соблюдении этого конфессионального запрета большое упорство, поскольку ни татар, ни евреев, к примеру, на подобном основании не освободили от службы в советской армии. Авторханов также говорит, что чеченцам и ингушам не разрешили создать в советской армии свои, сугубо «национальные» формирования. Кажется, подобных вольностей никому не разрешили. Служба в советской армии должна была способствовать дальнейшей русификации «инородцев» при наличии идеологии, прокламировавшей русских в качестве «господствующей народности». Этим, естественно, воспользовалась пропагандистская машина германской армии, сформировавшая войсковые соединения «Итиль—Урал» — из мусульман, перешедших на сторону немцев. Впрочем, и почетное звание «господствующей народности» не погасило внутреннее оппозиционных настроений (вспомним армию Власова и воевавшие на стороне германской армии казачьи части).

Авторханов упоминает о том, что в самом начале войны попали в плен «несколько десятков чеченцев и ингушей», из которых была сформирована одна рота в составе Северо-Кавказского легиона. Тут же Авторханов замечает, что армия Власова вкупе с казачьими частями насчитывала полмиллиона человек. Но: «На этом основании Сталин не выселил, как известно, самих русских из

Советского Союза». Впрочем, здесь Авторханов, пожалуй, не совсем прав. Почетное звание «господствующей народности» вовсе не освобождало ее ни от репрессий, ни от разного рода «принудительных миграций». Так, в ту же Прибалтику, частично «освобожденную» от прибалтов, на Курильские острова, на Северный Кавказ, «очищенный» от чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев, русских переселяли в пресловутом «добровольно-принудительном порядке».

Авторханов утверждает, что немецкие войска не входили на территории, заселенные собственно чеченцами, а лишь на короткое время захватили пограничное селение Малгобек, населенное русскими. Однако:

«Что же касается утверждения Советского правительства, что в тылу Чечено-Ингушетии буйствовали антисоветские отряды, то это — сущая правда».

И далее:

«На маленьком кавказском участке в горах Чечни и Ингушетии столкнулись два мира: колосс полицейского произвола — советская Москва и островок свободы человеческого духа — Чечено-Ингушетия».

Что же, собственно, происходило?

«Повстанцы уже имели сведения о практике Розенберга и Гимлера в «освобожденной Украине». Поэтому повстанческое правительство выпустило «Воззвание к чечено-ингушскому народу» (июнь 1942 г.), в котором говорилось, что кавказцы ожидают немцев как гостей и окажут им гостеприимство только при полном признании ими Кавказской независимости. Не без влияния таких и им подобных воззваний главное командование немецкой кавказской армии издало специальный приказ по армии, в котором указывалось не необходимость радикально иного поведения здесь немецкого солдата, чем это имело место на Украине и в других областях. Характерно также и Заявление (вместе с Северо-Кавказским национальным комитетом) представителя Восточного министерства в конце 1942 года. Этот представитель при Остминистериум заявил, что он уполномочен вождями восстания сообщить немцам, что если только «освобождение Кавказа будет заключаться в замене одних колонизаторов другими, то для кавказцев это явится лишь новым этапом продолжающейся национально-освободительной войны».

Как видим, и здесь Авторханов балансирует как бы «биссектрисно»: да, освободительная борьба, но отчасти как следствие «чекистских провокаций»; да, фактический коллаборационизм, но... коллаборационизм ли? Повстанческое правительство Северного Кавказа в любом случае должно было «определиться», что называется, в отношении немецкой армии. Согласно тексту Авторханова, оно готово было, вероятно, занять в отношении следования немецкой армии через северокавказские территории позицию нейтралитета и даже дружественную позицию; но лишь в том случае, если немецкая армия не посягнет на независимость Северного Кавказа. Можно довольно смело предположить, что население Северного Кавказа не считало себя частью СССР и готово было встретить «хлебом-солью» любых врагов СССР как государственного организма, так или иначе могущих способствовать развалу СССР и, соответственно, освобождению северокавказцев. Более того, могло ли повстанческое правительство занять

какую-либо иную позицию? Какую? Объявить войну Германии и вести войну на два фронта — с Германие и СССР? Нет, конечно! Так что же — северокавказцев советская власть справедливо наказала «за измену»? Нет, власть просто воспользовалась экстремальной ситуацией (война!) для окончательной нейтрализации посредством отрыва от родной почвы народностей «группы риска». В отношении Северного Кавказа имелись причины и сугубо экономического характера: «...ясно обозначенный курс советского правительства взять окончательно в имперские руки ведущую и основную для всего Советского Союза кавказскую нефтяную экономику».

Здесь, кажется, уместно будет привести несколько любопытных примеров.

Пример крушения мифа (пусть и в индивидуальном сознании) о том, что сопротивление колонизаторам непременно должно быть злокозненно инспирировано:

«Пока индиец путешествовал по Среднему Востоку, севернее, в песках Закаспия, назревали грозные события. Российский император решил подчинить своей власти независимые туркменские племена. Военную экспедицию против туркмен возглавил прославленный русский генерал М.Д. Скобелев [...]

Туркмены оказали скобелевским войскам ожесточенное сопротивление. Из всех завоевательных походов в Туркестан закаспийский стал для русских самым трудным. Рамчандру, безвылазно сидевшему в армейском обозе (по приказу Скобелева. — *Ф.Г.*), открылась не только оборотная сторона войны, полная страданий мирного населения, но и собственная неприглядная роль (индиец желал сначала выступать на стороне русских войск. — *Ф.Г.*). Нетрудно было убедиться, что сопротивление русским войскам оказывали не английские агенты, а независимые туркмены, и сам Рамчандр, сын униженной Индии, оказался пособником в несправедливом деле. Эта мысль была нестерпима для Рамчандра с его развитым чувством азиатской солидарности». (М.И. Салоникёс «Индийский патриот в России». Вопросы истории», 1999, № 9. С. 148.)

Продолжим перелистывать девятый номер «Вопросов истории» за 1999 год. Пример оценки депортации:

«Геноцид был крупнейшей акцией по уничтожению балтийских народов в их истории, и апогеем здесь была операция «Прибой» 1949 года. Большинство политически активных людей эмигрировало из балтийских стран в 1944—1945 гг., были арестованы или погибли в боях в национальных партизанских отрядах, или еще находились на нелегальном положении, и поэтому массовые депортации 1949 года надо рассматривать не как уничтожение «классового врага», а как возмездие прибалтийским народам за их активное и пассивное сопротивление советскому режиму». (Х.П. Стродс «Депортация населения Прибалтийских стран в 1949 году». «Вопросы истории», 1999, № 9. С. 135.)

Однако все попытки «оправдать» прибалтов и северокавказцев, «объяснить» депортацию, квалифицировать ее как очередную «ошибку» — всё это очень напоминает ситуацию из сказки Салтыкова-Щедрина «Здравомысленный заяц»:

«...а здешние лисицы, сказывают, добрые [...]

— [...] В прошлом году у нас в лесу зайчик-сирота остался, так одна лисица его с своими детьми, слышь, воспитала.

— Вырастила, значит, и выпустила? Где же он, сиротка-то ваш?

— Кто его знает, где он теперь... Пропал будто. Поворовывать, говорят, начал, скрутился, а наконец и лисицу молоденькую соблазнил. За это будто бы его старуха-лисица и съела.

— Я его съела, я — та самая лисица и есть, о которой ты слышал. Только не за то я его съела, что он скрутился и в разврат впал, а за то, что пора его приспела».

Великий (без преувеличения) русский писатель явно понимал, что не стоит делить тоталитарные режимы на «злые» и «добрые» и что «непокорные и неугодные элементы» (а таких в условиях тоталитаризма всегда хватает) съедают вовсе не за некие особенные вины, а просто потому что периодически «приспевает пора».

Надо сказать, что иных на Северном Кавказе «съели» основательно. Авторханов отмечает, в частности, «убыхов и некоторые тюрко-ногайские племена, поголовно истребленные во время завоевания Кавказа».

Депортация чеченцев, ингушей и прочих северокавказцев воплотила в жизнь мечты Николая I:

«То, что требовал Николай I более ста лет тому назад — «покорение или истребление непокорных горцев», осуществил Сталин в худшем варианте».

Естественно, в жестоких условиях ссылки определенные характеристические черты чеченцев (те самые, сложившиеся «в результате борьбы» еще в XIX веке), резко обострились. Процитируем об этом текст из культовой во многом книги — «Архипелаг ГУЛАГ»:

«Но была одна нация, которая совсем не поддалась психологии покорности — не одиночки, не бунтари, а вся нация целиком. Это — чечены.

[...] одни они изо всей джезказганской ссылки пытались поддержать кенгирское восстание [...]

Никакие чечены никогда не пытались угодить или понравиться начальству — но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны [...] Больше всего они старались устраиваться шоферами: ухаживать за мотором — не унизительно [...] Они могли угнать скот, обворовать дом, а иногда и просто отнять силою. Местных жителей и тех ссыльных, что так легко подчинились начальству, они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только бунтарей.

И вот диво — все их боялись. Никто не мог помешать им так жить. И власть, уже тридцать лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы».

На XX съезде КПСС горцы Северного Кавказа были реабилитированы. Указом от 9 января 1957 года Чечено-Ингушская АССР была восстановлена. Однако дальнейшие события показали, что Северный Кавказ, бывший непокорным «субъектом» Российской империи и СССР, таковым же остался и в Российской Федерации.

4

Теперь, кажется, самое время нам перейти к рассмотрению художественных произведений КАВКАЗСКОГО ТЕКСТА русской культуры, поскольку именно в художественных произведениях слагаются и мифы, и антимифы, и

архетипы, а также говорится зачастую некая — на уровне чутья — п р а в д а, почти немыслимая для публицистики и даже науки — истории, географии, политологии.

Еще раз остановимся в этой связи на значимых в русской культурной традиции этнонимах: «черкес», «чеченец», «татарин». Этнонимы эти достаточно условны. «Черкесом» может быть обозначен представитель любой народности Северного Кавказа, «чеченцем» может быть назван и ингуш; этноним «татары» применительно к Кавказу вообще не совсем внятен, «татарами» русские писатели называют, например, и балкарцев и азербайджанцев.

Русский писатель, никогда не бывавший на Кавказе, имеет о нем весьма приблизительные представления, основанные на архетипах негативного содержания. Характерен в этом смысле, например, А.Н. Островский. Так, среди персонажей «Последней жертвы» фигурирует некто «С а л а й С а л т ы н ы ч, очень приличный мужчина, неопределенных лет, физиономия азиатская». Фактически это архетип некоего условного «инородца азиатца», уже по одному этому, то есть по своему происхождению, подозрительного в смысле нравственности и порядочности...

Вот богатый купец Флор Федулыч выдает замуж внучку:

«Ф л о р Ф е д у л ы ч. Глядя по жениху, и деньги будут.

С а л а й С а л т ы н ы ч. Что скрываешь? Зачем скрывать?

Ф л о р Ф е д у л ы ч. Ведь не ты женишься? Да за тебя и не отдадим, очень нам нужно азиатцев-то разводить. Ничего не даю, ничего-с.

С а л а й С а л т ы н ы ч. Шутишь, шутишь! Есть благородные женихи.

Ф л о р Ф е д у л ы ч. А с благородными благородный и разговор будет; а с тобой, Салай Салтыныч, мы этот разговор кончим».

Таким образом, «очень приличный мужчина» оказывается вовсе не приличным; расизм собеседника он принимает как должное, без обиды, и заканчивает разговор как бы фиксацией своего кавказского происхождения:

«С а л а й С а л т ы н ы ч. Водка пил?

Ф л о р Ф е д у л ы ч. Нет еще, своего часу дожидаюсь.

С а л а й С а л т ы н ы ч. Пойдем, балык есть, с Дону пришел».

В представлении того же русского автора «кавказцы» обладают и специфическим, негативно, как «чужое», оцениваемым темпераментом.

Беседа двух богатых купцов (фактически уже «буржуа») —

«К н у р о в. Ведь выдала же она двух.

В о ж е в а т о в. [...] Старшую увез какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то была! Как увидал, затрясся, заплакал даже — так две недели и стоял подле нее, за кинжал держался да глазами сверкал, чтоб не подходил никто. Женился и уехал, да, говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от ревности» («Бесприданница»).

Впрочем, всё это вполне в рамках традиции опасливого, если не прямо негативного отношения к «инородцу»-«иноверцу», который фиксируется как носитель негативно оцениваемых свойств:

«К н у р о в. Бойкая женщина.

В о ж е в а т о в. Она, должно быть, не русская.

К н у р о в. Отчего?

В о ж е в а т о в. Уж очень проворна».

Сравним — Амфитеатров — о женщинах полусвета: «Все эти дамочки — дети полурусских семей: с примесью остзейской, французской или польской крови» («Меблированная Кармен»).

В отличие от Островского, Пушкин, Лермонтов, Толстой, как известно, знали Кавказ не понаслышке. Однако видеть — еще не значит — уметь описать. Молодой Пушкин, описывая своих «черкесов» в «Кавказском пленнике», следует байроновской модели описания экзотического «народа», «детей дикой природы», проводящих время в разбойных нападениях и «наслажденьях дикой неги». Однако в поэме Пушкина можно легко найти то, что у Байрона отыскать фактически невозможно: воспевание действий завоевательной армии, своеобразный, едва ли не «газетный» панегирик с перечислением конкретных фамилий имперских генералов:

И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов;
Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!

Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов...
Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

Лермонтову мы обязаны знаменитыми «культовыми» строками из «Казачьей колыбельной» (1838):

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал [...]

Впрочем, это стилизация; и Лермонтов — не А.Н. Островский, чтобы отражать, что называется, психологию «народа». Взгляд Лермонтова — взгляд индивидуума-интеллектуала. И здесь, конечно, показательно стихотворение «Я к вам пишу случайно, — право...», зачастую более известное по названию описанной в нем реки — «Валерик». Несмотря на условно-романтическую лексику, нельзя не заметить всю сложность чувств автора...

Быть может, небеса Востока
Меня с ученьем их Пророка
Невольно сблизили [...]

«Невольно» — то есть не было желания, не рассчитывал сблизиться, но сблизился. И, возможно, потому и понимание противника у Лермонтова, который на Кавказе не залетный гость, подобный Пушкину, глубже:

Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.

В ожидании боя «свои» беседуют, и естественно выясняется, что войну они воспринимают как «ремесло», как некий фактически перманентный процесс:

Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне,
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам.

На такой детский вопрос: «кто первый начал?» Лермонтов отвечает очень просто: «мы»! Это «мы» ходили на них, а не они — на нас!

Само описание боя уже напоминает нам «военную» прозу XX века. И читая это описание, можно понять, что Толстой-баталист учился не только у Стендаля; впрочем, и сам Лермонтов, вероятно, учился у Стендаля — «Пармская обитель» с ее новаторскими военными эпизодами увидела свет в 1839 году, «Валерик» написан в 1840-м...

Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть
(И зной и битва утомили
Меня)... Но мутная волна
Была тепла, была красна.

Лирический герой начинает философствовать следующим образом:

Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?

Разумеется, ничего оригинального в таком рассуждении нет. Это именно то, что следует называть «общим местом». Совершенно аналогичное общее место мы увидим и в рассказе молодого, «раннего», Толстого «Набег»:

«Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра».

Но к кому, собственно, обращены эти «общие места»?

«Набег» опубликован в 1853 году, и в основе рассказа — определенно — реальное событие: набег, налет; «мягкая зачистка», если угодно, отряд российской армии совершает набег на чеченский аул Автуры, чтобы выяснить, где лучше строить укрепления...

То есть в обоих случаях — и у Лермонтова, и, спустя тринадцать лет, у Толстого — это «мы» напали на «них». Но тогда при чем же здесь наслаждение красотами природы? Солдаты ведь на Кавказе не в качестве туристов, а в качестве завоевателей. И кто он, этот самый «человек», который так гадко воюет друг с дружкой? Этот «человек» — «они», «противник»? Но это ведь не «они» начали, «они» лишь защищаются; и, значит, не стоит упрекать их во «вражде». А кого стоит упрекать? Получается, что «нас». Обращение Лермонтова к «человеку» следует за описанием смерти капитана. Этот «человек» — «мы», «наши».

Что же касается толстовского текста, то он в черновом варианте имеет следующий эпизод: солдат-карабинер убивает молодую женщину-чеченку; капитан бьет солдата; рассказчик укоряет солдата, называет его поступок «безумным» и спрашивает: а что было бы, если бы в родной губернии убийцы «буяны фабричные» избили бы жену солдата Аксинию и «размозжили медной кружкой головку его малолетнего сынка Алешки...»? У Толстого постепенно возникает ощущение, что кавказская война уже по одному тому «дурна», что пятнает русского человека. По Толстому справедлива та война, когда «мы» защищаемся; именно так он трактует кампанию двенадцатого года. Кавказская же война — однозначно для Толстого та, где «мы» нападаем. И чем далее, тем более однозначна, вплоть до «Хаджи-Мурата», где всё уже высказано с предельной и жесткой однозначностью...

Полежаев — не Лермонтов и не Толстой; по происхождению — незаконный сын помещика и крепостной; на Кавказе — в солдатской шинели. Для него «противник» — «разбойник»; но и в тексте Полежаева живет осознание того, что этот самый «противник», который «разбойник», он, в сущности, «имеет право»... Поэма «Чир-Юрт», «посвященная» (как это положено говорить) взятию чеченского аула Чир-Юрт, написана между декабрем 1831 и маем 1832:

Всё истребляет, бьет и губит
Везде бегущего врага;
Его, беспамятного, рубит
Кинжал и шашка казака;
Жестокой местию пылая
В бою последнем, роковом,
Его пехота удалая
Сражает пулей и штыком.

Далее следует своеобразная оценка «противника», сопротивляющегося завоевателям:

Дитя безумного мечтанья,
Надежда храбрых умерла
И падшей гордости стенанья
С собой в могилу унесла.

Как действуют завоеватели? Вот как:

В домах, по стогнам площадей,
В изгибах улиц отдаленных
Следы печальные смертей

И груды тел окровавленных.
Неумолимая рука
Не знает строгого разбора:
Она разит без приговора
С невинной девой старика
И беззащитного младенца;
Ей ненавистна кровь чеченца,
Христовой веры палача!

Ау-ау, справедливый капитан из чернового варианта «Набега»! Когда «неумолимая рука не знает строгого разбора» и всех сечет под корень, — интересно, на каком основании она так поступает? А на том, что ей, «неумолимой руке», вообще чеченцы «ненавистны» как таковые. То есть перед нами именно то, что, согласно современным цивилизованным понятиям, называется «геноцид»: это когда все ненавистны и всех надо убить — и деву, и старика, и младенца. Конечно, у «неумолимой руки» есть некое обоснование ее неумолимых действий: всех чеченцев надо убивать, потому что они все (и младенцы!) — «Христовой веры палачи»! Но здесь опять ведь можно выразить недоумение: «они», конечно, иноверцы, но почему же «они» — «Христовой веры палачи»? Сейчас-то ведь это не они пришли в Москву — рушить храм Василия Блаженного! Напротив, это к ним пришли. Вокруг удивительная, умиротворяющая природа Кавказа. Тишина, покой. И будет еще тише, потому что.

[...] пепл и камень,
где был разбойничий аул!

5

Так что же нам делать с этими русскими классиками? То ли читать, читать и читать? То ли... просто-напросто запретить — так, на всякий случай, для порядка?..

Середина девятнадцатого — это все же не конец двадцатого века с его требованием соблюдения прав человека, личности. Поэтому то обстоятельство, что немирные, то есть не покорившиеся имперским властям аулы подпадали под эту самую тактику выжженной земли, не скрывалось ни поэтами, ни властями.

Однако первое, пожалуй, что бросается в глаза, при даже самом поверхностном чтении писаний русских классиков о Кавказе: эти воспеватели действий «неумолимых рук» интересуются жизнью и бытом противника, уважают «непокорных черкесов» и даже... восхищаются ими. Хотя, конечно, надо понимать, что это восхищение отчасти «задано» байроновской моделью восхищения экзотическим «диким народом» (греками, например)...

Отвлекаясь от воспевания «побед русского оружия» и «важнейшей темы многонациональности русского государства» (С. Бонди. Примечания к собр. соч. Пушкина в 10 томах, 1975. Т. 3. С. 441), русские писатели чувствовали себя благожелательными этнографами, как будто они и вправду очутились на Кавказе в роли добродушных и любознательных туристов. Тот же Пушкин понимал ясно, что если что и интересно в его «Кавказском пленнике»,

то уж, разумеется, не байроновская любовная интрига «белого человека» и «экзотической возлюбленной»... «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести; но всё это ни с чем не связано и есть истинный hors d'oeuvre (то же письмо). «Сам не понимаю, каким образом мог я так верно, хотя и слабо, изобразить нравы и природу, виденные мною издали»...

Вот он, Пушкин, милый этнограф:

Когда же с мирною семьей
Черкес в отеческом жилище
Сидит ненастною порой,
И тлеют угли в пепелище;
И, спрянув с верного коня,
В горах пустынных запоздалый,
К нему войдет пришлец усталый
И робко сядет у огня, —
Тогда хозяин благосклонный
С приветом, ласково, встает
И гостю в чаше благовонной
Чихирь отрадный подает.
Под влажной буркой, в сакле дымной,
Вкушает путник мирный сон,
И утром оставляет он
Ночлега кров гостеприимный.

Согласно всё той же «модели Байрона», все эти «дикие народы» просто обязаны поражать «европейцев» дивной жестокостью:

Но скучен мир однообразный
Сердцам, рожденным для войны,
И часто игры воли праздной
Игрой жестокой смущены.
Нередко шашки грозно блещут
В безумной резвости пиров,
И в прах летят главы рабов,
И в радости младенцы плещут.

Но «сыны дикой вольности» ценят чужую силу воли, храбрость и т.п.:

Беспечной смелости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили век его младой
И шепотом между собой
Своей добычею гордились.

Неизмеримо очаровательно это самое — «шепотом гордились»...

Пушкину мы обязаны и еще одним «культовым» выражением о чеченцах: «Чеченец ходит за рекой». Это — в том же «Кавказском пленнике», из «Черкесской песни», которая советует и усталому задремавшему казаку, и казаку-рыболову, и станичным девушкам из хоровода быть настороже — потому что «чеченец ходит за рекой».

«Кавказский пленник» Пушкина напечатан в 1822 году. «Казаки» Толстого опубликованы в 1863 году. Менее, чем за сорок лет, совершенно изменилась и н т е р п р е т а ц и я, хотя, как мы дальше убедимся, остались прежними сюжетные мотивы...

Итак, «Казаки». Миф о Кавказе и толстовская попытка демифологизации. Любопытна особая «непрязнь» Толстого к прозе Марлинского, создателя «прозаического аналога» романтическим описаниям Кавказа в русской поэзии; «романтический стиль», интерпретированный в прозе, очень скоро начал восприниматься как «устарелое», «смешное», почти пародийное. Кто только ни смеялся над романтикой Марлинского, хотя, повторимся, она достойна отдель-

ного рассмотрения, поскольку свою роль в развитии русской литературы сыграла. Но поторопимся к нашим «Казакам»...

«Воображение его теперь уже было в будущем; на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей [...] То с необычайною храбростью и удивляющею всех силою он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость [...] Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повториться».

Интересно, что Дмитрий Оленин отлично знает и понимает, какого рода война ведется на Кавказе: горцы «отстаивают против русских свою независимость». Тем не менее «горцем» молодой человек воображает себя вовсе не из некоего чувства справедливости, а всего лишь следуя всё тому же байроновскому, каноническому для русского романтизма образу «вольного», свободного индивидуума, которому, естественно, в сущности, всё равно, на чьей стороне быть, лишь бы чувствовать себя свободным и сильным... Но вот открылись живые, настоящие горы. И впервые в русской литературе передан контраст между «литературными мечтаниями» и действительностью, хотя здесь и заключается своеобразный парадокс: ведь на самом деле противопоставлены не «литература» и «реальность», нет; но прежняя литературная традиция противопоставлена новейшей...

«Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и п о ч у в с т в о в а л горы. С этой минуты всё, что только он видел, всё, что он думал, всё, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли [...]»

Началась совсем новая русская поэзия. Слушайте!

«[...] Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят красивые, женщины молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы...»

О характере войны уже не думается Оленину; что ж, он ведь не Рахметов и не Андрей Кожухов Степняка-Кравчинского, чтобы противостоять в л а с т я м. Пройдет время, и сам Толстой обретет иной взгляд. А покамест...

«Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более свободным и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев, — думал он, — люди живут, как живет природа; умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила

природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...» И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя».

Миф о «свободных дикарях», живущих вне всякой «политики», в сущности, довольно-таки старенький шатобриановско-руссоистский миф. И вроде бы всё так и есть: взаимные убийства как некий «способ существования». Казак Лукашка убил чеченца. Дальше:

«[...] Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело [...] Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спокойно-презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкеской лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка».

Но презрительно-равнодушны чеченцы именно к Оленину как представителю о к к у п а ц и о н н о й а р м и и; к казакам, то есть к противнику, который з д е с ь живет, отношение иное:

«— Их пять братьев, — рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке, — вот уж это третьего брата русские бьют, только два остались; он джигит, очень джигит [...]

Лукашка подошел к разговаривающим и подсел.

— А из какого аула? — спросил он.

— Вон в тех горах, — отвечал лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное ущелье. — Суюк-су знаешь? Верст десять за ним будет.

— В Суюк-су Гирей-хана знаешь? — спросил Лукашка, видимо гордясь этим знакомством. — Кунак мне.

— Сосед мне, — отвечал лазутчик.

— Молодец! — И Лукашка, видимо, очень заинтересованный, заговорил по-татарски с переводчиком».

«По-татарски» — означает: на одном из кавказских наречий...

Лукашка своего рода «рыцарь». Вот он смотрит на убитого им абрека:

«— Тоже человек был! — проговорил он, видимо, любуясь мертвецом».

Свое «рыцарское» поведение казаки противопоставляют мародерству солдат регулярной армии. Рассказывает старый казак дядя Ерошка: «[...] А то раз сидел я на воде; смотрю — зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт: взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить».

Вот, значит, почему оно: «Чеченец ходит за рекой»! По Толстому, это понимает человек, который з д е с ь живет. Он же, дядя Ерошка, понимает и «оборотную», страшную сторону «рыцарства»:

«— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись. — Это Лукашка-джигит. Он чеченца убил: тот-то и радуется. И чему радуется? Дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Черт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено!»

Толстой подчеркивает, что казаки, как и чеченцы, ненавидят русского солдата-оккупанта. Он пришел «защищать станицу», но он «чужой». Исторически казаки, еще в XVI веке захватывавшие земли кавказцев, находятся вследствие этого во вполне естественном конфликте с ними; кроме того, с XVIII века казачьи полки уже входят в регулярную имперскую армию; как раз «неумолимую руку» этих «регулярных казаков» и воспевает Полежаев.

Толстой прокламирует цивилизованный взгляд на человекоубийство. Вот происходит «рыцарский» бой чеченцев с казаками: «[...] Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню [...]

[...] Прошло еще мгновение, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось.

Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза».

Убийство должно вызывать этот самый ужас. Вступает в силу и ответ на извечный вопрос (детский): кто первый начал? И некая «внутритекстовая справедливость» вступает в силу. Лукашка «начал первым»; Оленин фактически знакомится с ним, когда Лукашка убил; а заканчивается повесть, естественно, не свадьбой Лукашки и Марьяны, но смертельным ранением — смертельно ранит Лукашку брат убитого им чеченца...

Очень не хочется расставаться с Толстым, и потому пройдемся еще раз по *Кавказскому тексту* Толстого.

Заметим, что молодой Лев Николаевич пытался теоретизировать следующим образом: «Кто станет сомневаться, что в войне Русских с Горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежей, убийств, набегов народов диких и воинственных?»

Это один из черновых вариантов всё того же «Набега». Впрочем, и Маркс не только призывал «народы Европы» учиться «борьбе за свободу и независимость на героических примерах горцев Кавказа», но и признавал, что «господство России играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии, для башкир и татар». Однако все эти регионы, весь этот собирательный «Восток», были от Маркса далеко, а вот Лев Николаевич видел всё своими глазами. И опять же по этому самому обстоятельству ответ на вопрос, «кто станет сомневаться...», становится не таким очевидным. Кто станет? Кто? Фактически любой русский «классик», писавший о Кавказе! Кто? Сам Лев Николаевич в первую голову.

«Аул уже был занят нашими войсками [...]

Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву, и выламывают дощатую дверь; тут загорается стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку: другой, раскинув руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю».

Это уже известный нам «Набег». Если бы Маркс прочитал этот рассказ, может, и не писал бы о «цивилизаторской роли господства России», кто знает...

6

А теперь обратимся, пожалуй, к такой важной для *Кавказского текста* русской культуры теме, как тема п л е н н и к а. Казалось бы, подобное порождается исключительно личным опытом. Но нет, литература рождается прежде всего от литературы же. И перед нами всё та же «модель Байрона». Однако различия есть и приводят к весьма своеобразным результатам.

Герой Байрона, попавший в некий «экзотический плен», — вольный человек; он путешествует «сам по себе» («Дон Жуан»), он сам — «разбойник» («Корсар»), Герой поэмы Пушкина — по сути своей — типичный байронический герой, но... фактически это скорее персонаж еще не написанной поэмы... Киплинга! Ведь пушкинский безымянный «пленник» — «белый человек», «романтический колонизатор», офицер регулярной армии, пришедшей для завоевания данных конкретных территорий, населенных этим классическим «экзотическим народом». Получается в результате занятный парадокс: киплинговский по сути персонаж ведет себя как персонаж Байрона, поскольку еще не написанной киплинговской прозы Пушкин знать не знает.

Пушкин полагает, что завоевательная война завершилась полной и окончательной победой:

И смолкнул ярый крик войны:
Всё русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!

Таким иллюзиям предается в 1821 году Пушкин.

«Кавказский пленник» Лермонтова написан в 1828 году. Это вполне ребяческое подражание Пушкину.

Казак! Казак! увы, несчастный!
Зачем злодей тебя убил?

Очень милый и риторический в данной ситуации вопрос... Зачем убил? А вот затем!..

«Кавказский пленник» Толстого — это уже 1872 год. «Пленник» Льва Николаевича — уж, конечно, не байронический герой. В сущности, Жилин — любопытная смесь «нерассуждающего солдата» и носителя кантовской «присущей совести». Никаких иллюзий относительно «окончательного окончания» войны на Кавказе у Толстого уже нет. Судьбу Жилина автор определяет одной фразой: «И остался служить на Кавказе». На неопределенное время, навсегда...

Четвертого пленника мы увидели на экране в исполнении обаятельного Сергея Бодрова-младшего в фильме Сергея Бодрова «Кавказский пленник» (1995). Персонажи Толстого — Жилин, Дина — воскресли в обстановке Кавказской войны «образца конца XX века». Посмотрим, что же изменилось за сто лет.

Дина, равно как и все остальные жители аула, хорошо говорит по-русски. Она учила русский язык в школе. Сотоварищ Жилина по плену — характерный тип современного «солдата на Кавказе» — бывший воспитанник детского дома, нервный и агрессивный. Сам Жилин — меланхолический, вяловатый юноша; добрый, что называется. Особую роль получает персонаж, отсутствующий у Толстого, — мать Жилина, сельская учительница, которая едет выручать сына из плена. Однако современный пленник не бежит из плена — его отпускают. И, отпущенный на свободу «просто по-человечески», он пытается отчаянным криком остановить самолеты, летящие бомбить аул. Сломленный, он возвращается с Кавказа навсегда, его и из армии «отпустили». Ни о какой «победе» речи нет. Никто не победил, все — так или иначе — жертвы.

Сюжетный костяк (будем это так называть) всех «Кавказских пленников» — любовь (будем так говорить) «белого героя» и «экзотической девушки». Опять же и опять же — Байрон — Дон Жуан и Гайде, Конрад и Гюльнара, и т.д. Собственно говоря, любовные отношения в данном сюжете — чистейшей воды метафора. «Он» — «белый», «цивилизованный», «европеец», «русский» — в плену, где в него влюбляется «она» — «дикая», «вольная», «дочь Кавказа», «прекрасная гречанка» и т.д. И... у авторов включается какой-то дополнительный орган, говорящий правду (прямо как разговорчивое влагалище, придуманное Дидро и плагиатированное Виктором Ерофеевым!). В чем же она здесь заключена, то есть в этом сюжете, та самая высшая правда? А в том, что «они» никогда не соединятся; никогда «он» и «она» не создадут «счастливой семьи», не проживут «совместную долгую жизнь». Они никогда не соединятся; он и она, Бэла и Печорин, девочка Дина, учившая русский язык в школе, и добродушный русский юноша Ваня, сын «сельской учительницы» (культово!). НО — почему? Вот ведь Ромео и Джульетта, — хотя и погибают влюбленные, но над гробами юных несчастных любовников прекращается вражда двух родов. Однако всё дело в том, что в пьесе Шекспира как раз и показано, что «время объединения», время «собирать камни», — оно настало. Монтекки и Капулетти ничто уже не разделяет, вражда их уже по этому одному бессмысленна. А если разделяет многое, и разделяет реально, тогда никакого соединения не произойдет, не может произойти.

Киплинг:

«Через три месяца семейной жизни его осенила великая идея. Брак — английский брак — в конце концов, может быть, вовсе не так плох. Если он так хорошо себя чувствует на краю света с этой бирманской девушкой, курящей чируты, сколь

приятней ему будет с прелестной английской девушкой, которая не курит чирут и будет играть ему не на банджо, а на рояле» («Джорджи-Порджи»).

«Жена капеллана сочла этот момент подходящим для того, чтобы разъяснить девушке истинное положение вещей, а именно, что англичанин обещал ей свою любовь только ради ее спокойствия, что он никогда не имел серьезных намерений и что со стороны Лиспет «дурно и неприлично» думать о браке с англичанином, человеком высшей породы и, кроме того, помолвленным с девушкой своей расы» («Лиспет»).

Короче: «Возможно ль? ты любил другую!..» Персонажи Пушкина говорят много; для них как для романтических героев логика, согласно которой они должны говорить на разных языках, необязательна. Здесь же и романтический вариант счастливого конца: «он» предлагает «ей»: «Ужасный край оставим оба». То есть «объединение» все-таки не предусматривается, но «она» может (сугубо романтически) оставить свой «ужасный край» и бежать с «ним» в его «край»...

Никто бы не обвинил Киплинга в антипатриотизме. И Пушкина — тоже. Просто на уровне интуиции талантливых писателей они понимают... что? Киплинг — что Англии — Индию — не удержать. А Пушкин? То же самое относительно России и Кавказа. Они могут делать какие угодно патриотические декларации, и даже и в стихах, но на уровне интуиции они всё понимают и никогда-никогда не расскажут, как «долго и счастливо» жили Печорин и Бэла, мальчик Ваня и девочка Дина, красавица Лиспет и прекрасный англичанин; как долго и счастливо жили они в составе одного «многонационального государства»... Нет, какими бы записными патриотами ни были Пушкин, Киплинг и многие прочие талантливые люди, т а к они нам никогда не солгут!

Но почему же нельзя? А если очень хочется?

«[...] Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, со стройным станом, длинною косой и покорными глубокими глазами [...] Она прелестна, но она необразована, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания [...] Она может и говорить по-французски [...]»

И тотчас Оленин оценивает эту утопическую идиллию: «Ах, какой вздор!». Конечно, столкнуть своего героя с «прекрасной черкешенкой» Толстой не мог, боялся потонуть в море романтических штампов. Но не случайно он подчеркивает: «Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими». Подчеркнуто и то, что «красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чувяки, но платки завязывают по-русски».

Так, может, хоть как-то произошло это самое объединение? Для Оленина, «настоящего русского», — нет, не произошло и не произойдет: «[...] что он прежде думал о неприступности этой женщины — была несомненная правда». Неприступные женщины, неприступные горы, неприступные люди...

Для русской литературы метафора невозможности отношений между «ним» и «ею» сделалась особенно важна ввиду колонизаторской имперской практики.

«Нет, нет, нет!» — говорили писатели, вопреки даже своим совершенно патриотическим убеждениям. Архетипическим здесь можно считать известное стихотворение Е. Ростопчиной «Насильный брак», имеющее подзаголовок: «Баллада и аллегория», а также — посвящение: «Посвящается мысленно Мицкевичу». Стихотворение написано в сентябре 1845 года «дорогою между Краковым и Веною»; тема стихотворения (современники тотчас это поняли) — отношения России и Польши. Вот что говорит героиня стихотворения:

Он говорить мне запрещает
На языке моем родном.
Знаменоваться мне мешает
Моим наследственным гербом;
Не смею перед ним гордиться
Старинным именем моим
И предков храмом вековым,
Как предки славные, молиться...
Иной устав принуждена
Принять несчастная жена.

Послал он в ссылку, в заточенье
Всех верных, лучших слуг моих.
Меня же предал притесненью
Рабов — лазутчиков своих.
Позор, гоненье и неволю
Мне в брачный дар приносит он —
И мне ли ропот запрещен?
Еще ль, терпя такую долю,
Таить от всех ее должна
Насильно взятая жена? [...]

Комментарии явно излишни. Недавно (апрель 2000 г.) по телевизору сенсационно передали: в Санкт-Петербурге до сих пор хранится череп Хаджи-Мурата... «...в ссылку, в заточенье...» — даже если непокорный «субъект» Российской империи—СССР—РФ доведен до степени... черепа. Впрочем, кажется, череп возвратят в его родные места...

В «Кавказском пленнике» Толстого нет о «любви мужчины и женщины» и помину. Однако... Жилин ведь ехал жениться. Но после своего побега он ехать жениться раздумал и остается служить на Кавказе.

Теперь две цитаты.

Пушкин:

Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон...
На дикий брег выходит он,
Глядит назад, брега яснели
И, опененные, белели;
Но нет черкешенки младой
.....
Всё понял он.

Толстой:

«Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно — монисты в косе по спине побрякивают».

А внизу-то, между прочим: «Только слышно — внизу речка журчит».

Естественно, Лев Николаевич не может допустить, чтобы его героиня «реально», как в обветшалых романтических моделях, топилась. Но... некие мистические отношения «принципиального несоединения» соединяют Жилина и Дину. Кавказ Дины — это конец Жилина. Он никогда не женится, он здесь, на «ее» Кавказе, навсегда «кончится».

Впрочем, есть ведь и иная модель: «он» — «экзотический герой», «она» — «прекрасная пленница». Отелло и Дездемона, «Бахчисарайский фонтан», «Свинарка и пастух».

Ага, «Свинарка и пастух» (режиссер И. Пырьев. Мосфильм, 1941). Вот вам: Глаша Новикова и Мусаиб Гатуев благополучно соединяются законным браком. Кстати, на чем же основана пырьевская утопия? На том, что его герои (по условиям его «игры»), оба принадлежат к совершенно гомогенной структуре «многонационального государства», мистическим центром которого, неким «жреческим топосом» является Выставка достижений народного хозяйства в Москве, столице того самого «многонационального государства». А то, что отличает героев друг от друга, эти пресловутые «национальные различия», — это некий декор — у него — овцы, у нее — свиньи, у него — папаха, у нее — русский платочек; декор, призванный лишь подчеркивать «объединительную суть». Но быбо бы, кажется, неправильно полагать Пырьева совсем уж лжецом. Случайно ли (или это просто «вступил в действие» тот самый таинственный орган, говорящий п р а в д у, то самое чутье заработало); короче, не будем гадать, но кавказского чабана играет в фильме Пырьева не кавказец, а очень театральный актер Владимир Зельдин. И одним уже своим появлением на экране манифестирует сказочность, сказочную утопичность происходящего.

Но закончим мы наши рассуждения о любви не Пырьевым; закончим мы стихотворением Полежаева «Черная коса» (1831) и примечанием к этому стихотворению В.С. Киселева-Серпенина из книги: «А.И. Полежаев. Стихотворения и поэмы» (М., 1987).

Там, где свистящие картечи
Метала бранная гроза,
Лежит в пыли, на поле сечи,
В три грани черная коса.
Она в крови и без ответа,
Но тайный голос произнес:
«Булат, противник Магомета,
Меня с главы девичьей снес!
Гордясь красой неприхотливой
В родной свободной стороне,
Чело невинности стыдливой
Владело мною в тишине.
Еще за час до грозной битвы
С врагом отечественных гор
Пылал в жару святой молитвы
Звезды Чир-Юрта ясный взор.
Надежда храбрых на Пророка
Отваги буйной не спасла,
И я во прах веленьем рока
Скатилась с юного чела!
Оставь меня!.. кого лелеет
Украдкой нежная краса
Тому на сердце грусть навеет
В три грани черная коса.

Вот! «Веленьем рока». А если бы ударом чьей-то конкретной шашки — это была бы уже своего рода «натуральная школа».

Теперь — примечание:

«Написано вскоре после взятия 19 октября 1831 года чеченского аула Чпр-Юрт [...], как отклик на поразившее Полежаева зрелище. Рассказ об этом бывшего однополчанина поэта (П.П. С-а) известен в передаче П. Егорова: «...когда взяли Чир-Юрт, Полежаев, ходя по грудам тел и развалинам, увидел убитую мусульманку, девушку незабываемой красоты, у которой была перерублена коса, так, что едва держалась на нескольких волосках. П., будучи поражен смертью несчаст-

ной красавицы, бережно перерезал волосы, отделил от головы косу и спрятал ее под мундир, у своего поэтического сердца, на память» [...] Но это еще не всё! Это стихотворение, оказывается, еще и романс, который «положен на музыку неизвестным композитором и включен без загл. и с перестановкой строк 3—4 в «Сборник военных песен» [...] (Тифлис, 1907. Вып. 9. С. 9)».

Вот и вся любовь!.. Но что же здесь более «по Кафке» — то ли само стихотворение, то ли «рассказ бывшего однополчанина, известный в пересказе»; то ли тот интересный факт, что это стихотворение еще и романс?..

7

Но почему же все-таки, почему нельзя всем объединиться и «жить дружно»? Наверное, потому что для объединения, реального, а не из области прекраснодушных мечтаний, нужны и реальные предпосылки, реальные основы. Девятнадцатый и двадцатый век с их «культом» конфессиональной или «партийной» приналдежности и «национальной определенности», кажется, мало нам дали таких реальных предпосылок. Я вот всё смотрю американский телесериал «Скорая помощь», в котором на примере работы одной больницы демонстрируется удивительный пример «единства», не основанного на репрессивном характере государства, на подавлении любой национальной или конфессиональной специфики. Я не собираюсь называть этот сериал шедевром, хотя — в определенном смысле — почему бы и нет... Но США прошли нелегкий путь и многого добились на этом пути; и нам нехудо бы повнимательнее относиться к таким понятиям, как «толерантность», «права человека», «политкорректность»... Поглядим, какие условия для реального единства предлагают русская и советская культурные традиции.

Российский имперский вариант:

«Мужчины стояли около пахучих водок и закусок, и разговор об обрусении Польши между Сергеем Ивановичем Кознышевым, Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда.

Алексей Александрович доказывал, что обрусение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны быть внесены русскою администрацией.

Песцов настаивал на том, что один народ ассимилирует себе другой, только когда он гуще населен.

Кознышев признавал и то и другое, но с ограничениями» («Анна Каренина»).

И вот уж совсем не случайно, что этот страшный по сути своей «разговор» ведется в праздности, перед тем как собеседники насладяться «пахучими водками и закусками».

А вот вам советский либеральный вариант единства. Тоже своего рода «культовый» текст — повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая (1981). В этой повести поезд везет в финале неведомо куда и немецкую девочку Лиду Гросс, которая просит называть ее Гроссовой, и русскую сироту Кольку Кузьмина, и чеченского мальчика Алхузура, который теперь Сашка — погибший Колькин брат...

«Алхузур утешал его, он говорил:

— [...] Мы будым вмэсты, да? Всу жыст вмэсты, да?

Колька не мог остановиться, он плакал всё сильней, и только поезд стучал колесами, что-то подтверждая: «Да-да-да-да-да-да...»

И под этот аккомпанимант поезда, идущего в никуда, переходим к современным аспектам *Кавказского текста*.

Заметим, что данный т е к с т интенсивно перемещается в пространство устной речи; теперь мы более слышим его, нежели читаем, как было прежде. Что же мы слышим?

Почти (фактически) официальное определение «лицо кавказской национальности», равно как и определения «бытовые» — такие, как «черные», «Кавказ» (собирательно), — носят выраженно расистский, дискриминационный характер.

10 марта 2000 года по телеканалу НТВ в очередной передаче «Герой дня» выступил В.А. Каломанов, специальный представитель президента по защите прав человека в Чечне. Среди прочего, он употребил такой оборот: «большое количество женщин и детей, потерявших конечности». Средства массовой информации увязли в терминологии — «боевики», «диверсанты», «террористы», «бандиты», «бандформирования», «мятежники», «сепаратисты»... Кто это?

7 марта 2000 года, полночь, программа «Вести», интервью офицера: «Ну что ж, если даже дети с автоматами — если этот автомат направлен на меня и моих бойцов, то это уже не ребенок, это вероятный противник...»

Из сборника «Правовые аспекты чеченского кризиса». Материалы семинара (М., «Мемориал», 1995. С. 138). Беседуют — Алексей Григорьевич Тавризов ("Мемориал») и Александр Викторович Клигман (Московская областная коллегия адвокатов):

«А. Тавризов. Если говорить о детях на чеченской стороне, которым по 13—15 лет, то они реально являются комбатантами: носят оружие, принимают участие в боевых действиях. По возрасту — это дети, которые комбатантами быть не должны. На этой войне они очень быстро превращаются из детей в волков, и это тоже в какой-то мере можно рассматривать как преступление против детства. Как бы вы могли прокомментировать этот момент: по закону они дети или они комбатанты?»

То есть — убивать детей или не убивать?..

После таких т е к с т о в невольно начинаешь думать, что все эти «боевики», «комбатанты», «террористы» — это всего лишь мужское население Чечни (и женское, и детское). Но — тише; ответ Тавризову:

«А. Клигман. Я затрудняюсь с точным ответом на этот вопрос, но уголовная ответственность за соответствующие деяния, в частности, за убийство, начинается с четырнадцати лет. Если ребенок-чеченец до четырнадцати лет взял оружие — это просто ребенок с полнообъемным статусом ребенка, если ребенок после четырнадцати лет взял оружие, к сожалению, придется рассматривать его как комбатанта. Но те, кто вложили ему в руки оружие, сами, вероятно, совершили преступление, и здесь неизбежно приходится юридически оценивать их действия. Это достаточно сложный вопрос. Я не даю окончательного ответа».

И тут А. Клигман понимает, что, несмотря на все юридические сложности и тонкости, п р а в д у тоже надо говорить. И он говорит:

«Но есть и другие, которым только что исполнилось 18 лет, им дали оружие и послали убивать. Если их самих не убили по ходу дела, то в течение короткого времени они приобретают установки, с которыми нам, адвокатам, уже приходится сталкиваться: они закатывают рукава и говорят, что всех этих «черных» хорошо бы вообще передавить. То, что сделали с этими ребятами, тоже преступление, преступление нравственного характера».

Телевизор 15 марта 2000: некий армейский чин откровенно признается, что лучшие солдаты нынешних кавказских войн — нарушители армейской дисциплины. Такие, как те, что мародерствуют в «Набеге»?..

Новые термины: «зачистка», «жесткая зачистка», «мягкая зачистка»... То же 15 марта — телевизор: «Одна такая зачистка уже успела изрядно потрепать боевиков». Что такое «изрядно потрепать»? Как это перевести на русский язык гуманизма? Как «было убито большое количество человек»?..

Тот же роковой телевизионный день: «Светит солнце, ребята весело и зло матерятся, рассказывая только что пережитое друг другу». Кажется, неведомый мне корреспондент вообразил себя Хемингуэем. «Ребята» — откровенно: «...если в село вошла банда, она должна быть уничтожена, пусть и вместе с селом»... «Неумолимая рука»...

И еще телевизор: «...народ требует смертной казни для Радуева и других...» Очень страшно, когда «народ» в лице «средств массовой информации» начинает «требовать казней». Я вот страшная трусиха; я это слышу и в мыслях сразу: «тридцать седьмой год»! Нет, я страшная трусиха; не пойму даже, как решаюсь всё это цитировать и сама пишу...

Взрывы жилых домов... ужас... Телевизор — мужскими голосами важных лиц:

Один голос: ...это чеченский след...

(Еще не было следствия, но голос уже знает, чей это «след».)

Другой голос (смягчая как бы): ...преступники не имеют национальности...

И чтобы мы не дай Бог не усомнились в том, что «преступники» как раз-таки «имеют национальность», устный т е к с т эффектно дополняется расклеенными повсюду — в метро, на почте, повсюду — фотографиями мужчин с выраженными восточными, теми самыми, «черкесскими» чертами лиц; их разыскивает милиция...

А в программе «Аллё, народ!» зрителям задали вопрос: кто должен восстанавливать Чечню? «Никто, — отвечает один зритель. — Чечню надо окружить колючей проволокой и никого не впускать и не выпускать». Другой зритель наивно предлагает: пусть восстанавливает международное сообщество. И, может быть, этот наивный зритель прав? И проблема Чечни — и вправду не внутреннее «дело» РФ?..

Но где же русская интеллигенция? Кавказ горит, Россия дискредетирует себя, писатель А. Бушков оперативно собирает материал для новой серии романов под звонким названием «Спецназ» — романов о Чечне... Да, как сказал один мой товарищ, поэт Александр Воловик: «Лев Николаевич были бы недовольны»...

Лев Николаевич как-то иначе всё это интерпретировали. Особенно старый и очень уже мудрый Лев Николаевич. В «Хаджи-Мурате», например:

«Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищали ее. Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения».

Вероятно, в этом ауле была проведена «жесткая зачистка», или «мягкая зачистка»... Во всяком случае, Толстой объясняет нам, почему в иных ситуациях дети становятся «комбатантами».

Но зачем Толстой это написал? Чтобы унизить русских?

Нет. И бывают такие ситуации, когда надо отряхивать паутину т е к с т а «средств массовой информации» и вставать во весь рост и стоять высоко... пытаясь дотянуться до высоты Льва Толстого!..

Еще один мой товарищ, поэт Дмитрий Веденяпин, как-то раз мне сказал, что русская интеллигенция должна, обязана в иных ситуациях «ахать и ужасаться». И это должна делать именно она, русская интеллигенция, потому что закон и право молчат.

Ахать и ужасаться!.. Даже когда очень не по себе, просто от простого страха за себя и близких.

Но мы не можем молчать, мы ведь все-таки говорим, думаем, пишем по-русски. Или, по крайней мере, должны все-таки говорить, думать и писать по-русски. То есть — не на языке «средств массовой информации», а на языке Льва Толстого.

Валерий СОЙФЕР

В АМЕРИКЕ

Часть первая

Печатаемый ниже текст воспоминаний Валерия Сойфера — непосредственное продолжение мемуарного очерка «Компашка, или Как меня выживали из СССР» (см. «Континент» № 102, с. 257), где рассказывалось о том, как автора, выдающегося советского ученого, одного из ведущих специалистов в области молекулярной биологии, видного правозащитника, друга А.Д. Сахарова в конце 70-х годов лишили возможности работать по специальности, и после восьми лет пребывания в «отказе» он вынужден был в 1988 году эмигрировать в США. Мемуарный очерк «В Америке» рассказывает о первых двух годах жизни автора в США, когда он работал в Охайском университете (г. Коламбус).

Валерий СОЙФЕР — родился в 1936 году в Горьком. Окончил Московскую сельскохозяйственную Академию им. К.А. Тимирязева и 4 курса физического факультета МГУ. Работал в Институте атомной энергии им. Курчатова, Институте общей генетики АН СССР, создал в Москве Всесоюзный НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики, основные работы посвящены изучению действия радиации и химических веществ на генные структуры, открытию репарации ДНК у растений, физико-химической структуре нуклеиновых кислот. Доктор физико-математических наук, профессор и директор лаборатории молекулярной генетики Университета им. Джорджа Мейсона (США), иностранный член Национальной Академии наук Украины, академик Российской Академии естественных наук и ряда других академий, почетный профессор Иерусалимского и Казанского университетов, награжден Международной медалью Грегора Менделя за «выдающиеся открытия в биологии». Автор более двадцати книг, в том числе «Арифметика наследственности» (Москва, Детгиз, 1969), «Молекулярные механизмы мутагенеза» (Москва, «Наука», 1969; переведена на немецкий и английский языки), «Власть и наука. История разгрома генетики в СССР» («Эрмитаж», Тенафлай: США, 1989 и изд-во «Радуга», Москва, 1993) и др., изданных в России, США, Германии, Франции, Англии, Эстонии, Вьетнаме, Румынии. Живет в пригороде Вашингтона, США.

© V.N. Soyfer, 2000

1. Приглашение в Коламбус

Подписанный с Университетом штата Охайо контракт был рассчитан на два года. От меня требовалось совсем немного: я был обязан прочесть в течение каждого года всего одну публичную лекцию для сотрудников и студентов университета, а также жителей столицы штата — города Коламбуса, в котором университет был расположен. Для лекции я мог избрать любую тему, меня интересующую. Больше от меня университет ничего не требовал. Правда, и со своей стороны никаких особых обязательств не брал.

Наверное, надо рассказать по порядку, как же я оказался в Коламбусе, в самом центре США, в далекой американской глубинке. Начиная в первых лет жизни «в отказе»*, я начал получать приглашения на работу от самых престижных американских университетов. Иногда из этих университетов звонили и спрашивали, согласен ли я принять их приглашение и когда смогу приехать. Я всегда отвечал, что принимаю приглашение с благодарностью, но, к сожалению, сроков отъезда назвать не могу и прошу университет направить соответствующий запрос в самые высокие советские инстанции.

Раза два в году мы с женой выстаивали огромные очереди на прием к начальнику Всесоюзного ОВИРа, и тогда по еле заметным особенностям поведения секретарш начальника (они менялись довольно часто), по презрительно сжатым губам вечно при генерале находившейся Веры Ивановны Аничкиной, про которую отказники в очереди говорили, что именно она представляет КГБ и на деле она — начальник, а генерал просто кукла при ней, и по ужимкам его самого можно было понять, что такие письма с Запада приходили и доставляли неприятные минуты овировскому «синклиту». Положительным следствием писем было то, что с нами разговаривали вежливо и даже предупредительно вежливо. Ни к каким немедленным реальным сдвигам в решении дела отказника такие письма не вели, хотя огромную роль в защите от судебного (или, скорее, внесудебного) преследования играли. Если бы не эти обращения ведущих университетов к советским властям, если бы не письма коллег с Запада, иногда Нобелевских лауреатов, если бы не вопросы к тем же властям, высказываемые наезжавшими в СССР членами парламентов, руководителями академий наук, если бы не постоянный интерес к нам дипломатов и западных корреспондентов, то нас попросту бы зашвырнули в лагеря.

К моменту, когда в октябре 1987 года мне позвонила инспектор ОВИРа и сообщила, что от «инстанций» поступило разрешение на наш выезд на Запад, у меня накопилось несколько десятков таких приглашений на работу из разных университетов. Хоть я и ответил строго инспектору, что воспользуюсь советским законодательством и выеду не раньше, чем через полгода, но обсуждать будущее

---

* Сейчас, наверное, далеко не всем понятен советский новояз, включивший в себя термины «отказ», «отказники», «жить в отказе», вошедшие в употребление в 70-е годы. Термины шли от корня, который обозначал социальный статус тех, кто подал заявление о желании эмигрировать из СССР, но вместо разрешения на отъезд получал отказ, ничем не мотивированный, но действовавший однообразно: отказников, как правило, с работы увольняли, лишали всех положенных по конституции прав, и жили такие «отказники» как отверженные.

место работы с женой мы начали сразу же. Перебирали разные варианты и гадали, где было бы лучше и в профессиональном и в житейском отношении. Некоторые места отпали сразу же. Например, мы решили, начитавшись вышедших тогда в СССР переводов книг Гаруна Тазиева, что не поедем в Калифорнию, где часты землетрясения и всякие другие «пограничные эффекты» на краях движущихся тектонических плит. Не хотелось ехать и в Нью-Йорк, где скопище людей, культур, хулиганов и просто бандитов (соответствующие сцены смаковало советское телевидение, и неприятный образ все-таки возникал). Прикидывали мы и финансовые возможности, предлагаемые разными университетами. Как это всегда происходит в жизни в такие поворотные моменты, серьезные доводы соседствовали со всякой чепухой, а случай творил свое дело.

Вторгся случай и в нашу судьбу на этом этапе. Летом 1987 года совершенно неожиданно нас посетил гость из Охайского университета — Ролф Барт, профессор-патолог с медицинского факультета. Барту очень хотелось побывать у А.Д. Сахарова, сфотографироваться с ним, попытаться пригласить Андрея Дмитриевича посетить их Университет. Барт допрашивал многих в Штатах, узнавая, к кому он мог бы обратиться в СССР, чтобы эти люди помогли ему попасть к Сахарову домой. Один из бывших москвичей, уехавший за год или два до этого и работавший в университете в Коламбусе, дал ему мой телефон (он посещал мой семинар отказников и знал о моем знакомстве с Е.Г. Боннэр и А.Д. Сахаровым). Мы поговорили с Бартом, я увидел, что он вполне разумный человек, и помог Ролфу в его деле, уговорив Андрея Дмитриевича принять профессора на 10 минут разговора. После этой встречи Барт вторично появился у нас дома и стал меня расспрашивать, не хочу ли я приехать поработать приглашенным профессором к ним в Коламбус. Как я не отказывал никому из делавших такие предложения, так не отказал и Барту.

Месяца через два из Коламбуса пришла огромная телеграмма, склеенная из двух страниц (таких длинных телеграмм мы еще никогда не получали). Телеграмма была подписана президентом университета. Присылка телеграммы, а не обычного письма показалась мне примечательным жестом. В телеграмме сообщалось, что Совет университета избрал меня Приглашенным Профессором кафедры молекулярной генетики и одновременно только что созданного Центра Биотехнологии (предложенная мне должность по английски звучала так: Distinguished Visiting Professor, позже я расскажу подробнее о различиях в профессорских должностях в США). В телеграмме были приведены фамилии тех, к кому бы я мог обратиться, если у меня появятся вопросы относительно работы в университете или ее условий. Был назван и размер зарплаты. Я понял, что Барт здорово поработал, если решение было проведено через совет Университета и столько людей было задействовано в процесс моего приглашения и трудоустройства.

Однако телеграмма пришла еще до звонка из ОВИРа и осталась лежать в папке с другими приглашениями. Барт действовал методично и, начав дело, считал долгом чести его продолжать: теперь раз в месяц у нас дома раздавались телефонные звонки и любезный Барт сообщал, что они не забыли своего приглашения и он звонит проверить, не изменились ли мои намерения. Один из таких звонков практически совпал с звонком из ОВИРа: только я повесил трубку,

как раздался громкий звонок и я услышал голос Ролфа, всегда начинавшего с двух фраз, произнесенных по-русски, нараспев и с мягким «рэ»:

— Добрий дэнь, Валэрый Николаевыч. Как Ваши здаровье?

После этого он всегда переходил на английский и спрашивал одно и то же — о сроках приезда. Я, конечно, понимал, что Барт не мог знать о решении советских властей выпустить нас (хотя мне уже рассказала одна из сотрудниц американского посольства в Москве, что президент США Рональд Рейган лично просил М.С. Горбачева выпустить нашу семью) и что его звонок в данную минуту — это простое совпадение. Я с радостью ответил Ролфу, что разрешение на выезд получено, что мы начнем потихоньку собираться в дальнюю дорогу и что я буду думать, чье приглашение принять. После этого звонки Барта стали повторяться каждые две недели.

В самом конце 1987 года, как я уже писал, обстановка в стране коренным образом поменялась, у меня появилась надежда, что многое из того, над чем я работал в годы отказа, будет востребовано, а книги, которые я писал на протяжении последних 10 лет — опубликованы. Это как-то непроизвольно оттягивало срок отъезда. Именно в это время главный редактор журнала «Знамя» Г.Я. Бакланов подписал со мной договор на публикацию журнального варианта книги о Лысенко. В последний день 1987 года вышел журнал «Огонек» с моей статьей о Лысенко, Сталине и зловещей роли КГБ в удушении генетики в стране. Начались переговоры с другими изданиями. Тем не менее усидеть на двух стульях никому не удавалось. Надо было решать, оставаться ли навсегда в СССР, а если уезжать, то когда и куда ехать. Да и многим надеждам крылья были вскоре обломаны: КГБ грубо вмешалось в издательские планы (эти события описаны подробно в предыдущем очерке воспоминаний). Оставлена была открытой только одна дверь: на Запад.

Разумеется, я пытался расспросить многих американцев, с кем мы дружили, какое место предпочтительнее, и услышал от самых разных людей теплые слова об Университете Штата Охайо. Чернокожий корреспондент «Вашингтон Пост» Гэри Ли, который дневал и вечерял у нас, упирал на самый по его мнению важный фактор — высокую зарплату.

— Любому американцу, — утверждал он, — всё равно, где жить, ведь условия быта и снабжение одинаковы по всей стране, а деньги есть деньги — их надо уважать. В традиции американцев — жить там, где хорошо платят за работу.

Руководитель корпункта журнала «US News and World Report» Джефф Тримбл услышав от меня вопрос о лучшем месте и о городе Коламбусе, вдруг заулыбался, воодушевился и начал рассказывать, что сам закончил факультет журналистики этого университета, что его мама до сих пор живет в Коламбусе, и что лучше место трудно придумать. Также неожиданно оказалось, что ассистентка корреспондента Си-Эн-Эн Питера Арнетта — выпускница того же факультета и что она хвалит свою Альма Матер. Последнюю точку поставил посол США в Москве Джек Мэтлок. Он отвечал на мой вопрос медленно, как бы раздумывая над каждым словом, и сказал примерно следующее (используя для этого популярную американскую поговорку):

— В Коламбусе вы будете считаться крупной рыбой в мелком пруду, а в Гарварде мелкой рыбой в большом пруду. Так что поезжайте для начала в

Коламбус. Да и люди там менее эгоистичные, чем в метрополии. А вам в начале вашей жизни в Штатах будет нужно и содействие, и сердечность.

Так всё сошлось к одному, я сообщил Барту о своем решении принять их приглашение, и 1 мая 1988 года мы оказались в небольшом аэропорту Коламбуса. Очень скоро мы поняли, что наши друзья были правы, когда советовали нам поехать именно сюда на начальном этапе жизни в Америке. Коламбус оказался вовсе не городком, а городом с миллионным населением, крупнейшей промышленностью, налоговыми послаблениями для компаний, в силу чего многие из них перебазировали свои главные предприятия именно в Коламбус. За те два года, что мы прожили в этом городе, в его центральной части, в даунтауне, как говорят американцы, было построено чуть ли не с десяток небоскребов.

Сам университет представлял из себя огромный город: в нем училось почти 60 тысяч студентов, университет занимал громадную территорию с сотней зданий, по двум маршрутам, ходили автобусы с интервалом минут в десять. Во многих направлениях университет прочно удерживал ведущие позиции в мире. Центр биотехнологии, где мне было отведено рабочее место, был расположен милях в двух от основного кампуса и входил в состав дочернего кампуса, включавшего в себя с десяток крупных зданий.

2. Начало университетской жизни

Весь уклад жизни в Советском Союзе был отличен от жизни в странах, кои чохом обзывали капиталистическими. Условия, на каких предоставляют работу, взаимоотношения работающего с работодателем, банковская система (при полном отсутствии таковой в СССР), предоставление кредитов, страхование жизни, медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, приобретение машин, дорогостоящих предметов жизни, недвижимости, даже оплата кладбищ — всего этого в нашей стране не было. А в то же время умело организованная советская пропаганда обходилась картинками, отражающими лишь негативное в западном обществе, лепила образ нелюдей, создавала впечатление сплошного несчастья в жизни бедных порабощенных народов.

Пока мы жили 10 лет в отказе, я старался найти какую-то информацию о западном образе жизни, но, во-первых, такая информация всегда была мало доступна, во-вторых, долголетнее пребывание в отказе постепенно гасило инициативу и приучало к мысли, что возможность уехать из объятий Советов — это некая эфемерность, прекраснодушие. Жизнь требовала зарабатывать на существование семьи, сиюминутные трудности отвлекали от идеалистических мечтаний и далеких планов. Пожалуй, это было присуще не только нашей семье, а семьям многих отказников. Сейчас, вспоминая те годы, я не могу не сказать с удовлетворением, что это тяжелое время скрашивала дружба семей отказников. Мы вели жизнь не изгоев, а были готовы постоять за свое человеческое достоинство и даже чувствовали себя поднявшимися над страхом и расправившими согбенную спину; мы на самом деле были преисполнены высоких идеалов. Семейные походы на природу сдружили, например, нашу семью с семьей чемпионов СССР по шахматам Бори Гулько и Ани Ахшарумовой, домашние концерты пианиста Влади-

мира Фельцмана и скрипача Александра Брусиловского позволили подружиться с людьми, которых раньше в нашей чисто научной среде мы не знали, научные семинары сначала на квартире А.Я. Лернера, а потом на нашей квартире, литературные вечера (особенно памятны нам вечера поэтов С.И. Липкина и И.Л. Лиснянской, писателя Ю.А. Карабчиевского, которые никуда уезжать не собирались, но отказников не чурались), конкурсы песни, встречи по праздникам, даже волейбольные турниры привлекали сотни семей отказников и доводили работников «славных органов» до исступления. Мы сдружились с десятками таких же, как наша, семей — тем более, что и сами разгоны наших «сборищ» давали обратный результат: ничто так не сближает как переживание совместно опасностей и невзгод.

Среди отказников у меня сложилась устойчивая репутация человека, не склонного подогревать себя иллюзиями на тот счет, что на Западе нас ждут молочные реки в кисельных берегах. Я приучал себя к мысли, что жизнь на Западе будет нелегкой и часто повторял эти слова в нашей среде, воспроизводя выражение бывшего приятеля Миши Лермана: «первое поколение эмигрантов играет роль навоза, на котором будут произрастать и цвести наши потомки». Словом, я не ждал, что кто-то страдает без нас на Западе и будет готов холить и лелеять нас по приезде, а понимал, что мы попадем в мир жесткой конкуренции, что будем многого не понимать и, скорее всего, жить в свободной, но не очень-то к нам дружественно настроенной внешней среде*.

Надо отдать должное профессору Барту и его жене Кристине — они очень помогли нам в самом начале жизни в Коламбусе. Дело не только в том, что они сумели уговорить университетское начальство выделить нам бесплатную трехкомнатную квартиру на первые полгода. Они содействовали нам и во многих других отношениях.

В первые же дни после приезда Кристина повезла нас в ближайший офис Управления Социальной Защиты. Это был еще один важный элемент американской жизни, о котором мы понятия не имели. Эта организация создана для того, чтобы контролировать каждый зарабатываемый любым членом общества доллар. Контроль направлен на одну цель: удержать из этого доллара положенное число центов и отложить их на пенсию данному члену общества. Поэтому нужно, чтобы каждый работающий был зарегистрирован, имел закрепленный за ним пожизненно номер Социальной Защиты и сообщал этот номер каждому работодателю

---

* Сегодня, после 12 лет жизни в США я могу признать, что лермановское определение в большой степени неверно: я не знаю людей из числа российских эмигрантов, которые живут в США хуже, чем они жили в СССР, многие из эмигрантов первого поколения колоссально выросли и в профессиональном и в личном отношениях. Все-таки Америка — страна эмигрантов — предоставляет им на деле равные права с другими эмигрантами, её динамичный уклад жизни и опора на инициативу позволяют раскрыть потенции, заложенные в человеке. Довольно популярны рассказы о том, как кланы богатых выходцев из англоязычных стран не допускают в свою среду «инородцев», равно как и другие примеры националистической или расовой ксенофобии, — но всё это характерно для очень узкой части общества, страсти, возникающие на этой почве, становятся нередко широко известными благодаря средствам массовой информации, но они охватывают не всё общество.

(независимо от того, предоставлена ему почасовая, иная временная или постоянная работа). Тем, кто родился на свет в США, этот номер присваивали автоматически, тем, кто въезжал в страну из-за границы, нужно было представить документ, свидетельствующий о законности въезда и праве на работу. Надо было пройти через процедуру регистрации, заполнить анкеты, и Кристина помогла нам это сделать. Затем она поехала с нами в банк и помогла открыть в банке счет (мы и понятия не имели, что счета в американских банках могут быть по своей природе разными, разницу нужно знать, чтобы не попасть впросак). Кристина же показала нам ближайшие магазины и в первый раз сходила с нами в супермаркет, объяснив, как надо набирать продукты, как за них расплачиваться, еще не имея кредитных карточек.

В США и во многих странах мира в те годы уже существовала разветвленная система кредитных карточек. Люди получали от банков пластиковые карточки с магнитной полоской, на которой была записана информация о данном человеке. Предъявляя в кассу карточку, ее владелец позволял кассиру связаться автоматически с банком (все кассы в мире уже были подсоединены телефонной связью ко всем банкам), выяснить, имеет ли данный человек доступный кредит, и сообщить, на какую сумму он купил товаров. Каждый месяц владелец карточки получает из банка реестр всех сделанных по ней платежей, сумму, набежавшую по проценту за пользование кредитом, и требование относительно текущего платежа за полученный кредит. Тот, кто вовремя не уплатит требуемые деньги, теряет право на кредит в данном банке (ни в одной кассе мира его карточка больше не будет принята к оплате, так как сразу же по телефону кассир получит ответ из банка, что данная карточка аннулирована). А если владелец — злостный неплательщик, то информация об этом накапливается во всеамериканском кредитном бюро, и вряд ли какой-либо другой банк выдаст проштрафившемуся новую карточку. Такая система удобна не только тем, что люди могут жить в кредит и отодвигать платежи на тот момент, когда у них появятся деньги, но и тем, что не надо носить с собой бумажные доллары. Ролф объяснил мне разницу в кредитных карточках, рассказал, что часть банков заключила договоры с авиакомпаниями и можно, например, получив кредитную карточку от такого банка, накапливать себе мили на будущий бесплатный полет, так как каждый уплаченный по карточке доллар приносит владельцу карточки одну милю для бесплатного полета. Накопив определенную сумму миль, можно позвонить в авиакомпанию и получить льготный билет. Ролф помог заполнить аппликацию на наиболее мне подходящие кредитные карты. Потом он же попробовал поучить меня водить машину с автоматической коробкой скоростей. Когда я купил машину, он же объяснил мне, что в США существует общеамериканское общество автолюбителей, в которое полезно вступить, так как члены общества имеют право трижды в год вызывать бесплатно мастеров для ремонта, если вдруг машина встала в самом неподобающем месте (вскоре я убедился, как важно быть членом этой организации).

Вообще, хочу признаться, мы все были потрясены искренней заботой, доходившей до трогательных (и всегда ненавязчивых!) мелочей, проявленной американцами. Позже, когда мы уехали из Коламбуса, мы поняли, что число таких

заботливых людей в американской глубинке, каковой все-таки Коламбус был, несравненно больше, чем в столице или в Нью-Йорке. В то же время кое-кто из бывших советских граждан ни разу, ни по какому случаю не подсказали нам, как нужно или можно поступить в том или ином случае, делая вид, что все всё должны познавать методом проб и ошибок сами. Но большинство людей были не такими. Хочу отметить троих из наших знакомых, которые с готовностью помогали нам советами на новом месте: известная балерина, народная артистка СССР Виолетта Бовт и познакомившие нас с ней Левенстайны — инженер Виктор Матвеевич, отсидевший полный срок в советских лагерях за соучастие в организации мальчишек, якобы готовивших покушение на Сталина, и его жена Дора Соломоновна (урожденная Томчина), преподававшая когда-то в Московской музыкальной школе имени С.С. Прокофьева и продолжавшая учить музыке и в Коламбусе.

С первого же дня после приезда я вышел на работу в университет. Никогда потом я не сожалел, что начал свою работу в Америке именно в Охайском штатном университете. Неизвестно, как пошли бы дела в другом месте, но вряд ли где-то было бы лучше и в научном, и в человеческом смысле на первых шагах жизни в Штатах. Не сразу, но все-таки в короткий срок я смог вернуться к научной деятельности, и многие профессора кафедры молекулярной генетики и Центра биотехнологии помогли мне в этом.

В отличие от СССР, где доцент есть доцент, а профессор — это профессор, американские профессорские должности подразделяются на многие категории. Есть должность Assistant professor — нечто похожее на российскую должность ассистента кафедры; Associate professor — доцент по российской терминологии; просто профессор, называемый иногда полный профессор; именной профессор (Name professor) — средства для этой престижной профессорской должности предоставляются, как правило, богатыми людьми, оставляющими университету свое наследство. Именные профессора носят титул, начинающийся с имени дарителя, их зарплата выше, и у них может быть много других прав, предоставленных дарителем. Есть в крупных американских университетах и несколько штатных единиц так называемых University professors — Университетских Профессоров, и есть, наконец, должность Distinguished Professors, что можно перевести на русский несколько непривычным термином «Выдающиеся профессора». Еще в Москве я узнал, что предложенная мне в этом университете должность Distinguished Professor была самой высокой из всех профессорских должностей по американским стандартам. Это было немаловажным обстоятельством для принятия решения о приезде в Коламбус.

Для будущего рассказа я должен пояснить еще одну деталь американской системы должностей в университете. Как правило, Assistant Professor — это не постоянная должность и дается принятому на нее лишь на три-четыре года (в разных университетах срок может различаться и иногда доходить до пяти-шести лет). Потом на кафедре и факультете решают, продлить ли контракт с этим преподавателем, и если решение положительное, то предстоит закрытое голосование в отношении данного кандидата.

Коренным образом отличаются позиции так называемых тенурированных профессоров (от английского tenure — срок владения имуществом, срок пребы-

вания в должности). Тот, кто получил от университета tenure, не может быть уволен из университета и считается принятым до пенсии. Как правило, когда объявляют вакансию Associate Professor, то сообщают, что эта позиция дается с расчетом, что занявший её проявит себя лучшим образом и по результатам его работы через 5—7 лет будет избран на должность тенурированную (снова скрупулезное обсуждение достоинств кандидата, оценка его достижений специально избранной комиссией из числа тенурированных профессоров, потом голосование всех профессоров кафедры или факультета; впрочем в некоторых университетах звание Associate Professor приносит тем, кто его получил, постоянную работу сразу).

Чтобы проявить себя, надо удовлетворить трем главным условиям: получить за отведенные годы несколько больших грантов на научные исследования (принести этим значительные деньги в университет), читать успешно курсы студентам (студенты платят за обучение, и профессор, к которому записывается много студентов, помогает пополнять казну университета), проявить себя на общественном поприще. Тот, кто по прошествии положенного срока оказывается неизбранным, как правило, вынужден практически навсегда уйти из академической науки и из университетской среды и искать места в промышленности или коммерции. Такому человеку трудно найти еще раз работу в другом университете, где ему вторично открыли бы путь к получению теньюра, хотя редкие исключения из правила всё же случаются. Таким образом, в значительной степени предел мечтаний каждого молодого ученого, стремящегося удержаться в академической среде, — это заполучить теньюр и тем обеспечить себе безбедное существование до конца работоспособности.

Приглашения, которые я получал из США, как правило, не содержали каких-то специфических указаний на предоставление тенурированной должности, но довольно скоро я понял, что чисто юридически все они сводились к приглашению на престижную, но все-таки временную работу. Каждый приглашенный профессор должен был себя проявить с лучшей стороны, чтобы заслужить перевод из этой категории в категорию постоянных (тенурированных) профессоров.

3. Смогу ли я получить теньюр?

Сразу же после выезда из СССР я столкнулся с проблемой получения теньюра, и мне стало ясно из разговоров с несколькими людьми, что добиться постоянной должности мне вряд ли удастся.

Впервые я услышал уверенное суждение на этот счет от известного правозащитника Юрия Федоровича Орлова. Прошло дней десять со времени выезда нашей семьи из Москвы, мы еще были в пересылочном месте, в Вене, где дотошные чиновники эмиграционного ведомства США проверяли наши бумаги и, видимо, добывали разнообразную информацию обо мне и о жене, когда вдруг я узнал, что в Вену прилетел профессор Орлов, который хочет со мной повидаться. Выпускник Московского физико-технического института, член-корреспондент Армянской Академии наук, он отсидел в тюрьме и провел несколько лет в

ссылке в Якутии за участие в правозащитной деятельности. Сразу же после выезда из СССР он был принят на должность приглашенного профессора в Корнельский университет (расположенный в штате Нью-Йорк) — один из лучших в США университетов. Помимо физики Юрий Федорович много времени отдавал работе в разных международных комиссиях по правам человека и именно с этой целью прилетел в Вену. Встреча с ним была сердечная, очень добрая и полезная, но одно из сказанных непререкаемым тоном заявлений Юрия Федоровича меня сразило наповал. Спросив, сколько мне лет, и узнав, что я недавно перешагнул 50-летний рубеж, он сказал:

— Ну, теньюра вам не получить ни за что. Слишком вы стары. Придется вам перебиваться, как и мне, на временных позициях, хотя Вам в ваши 51 год до пенсии еще очень далеко, ведь в США на пенсию выходят в 65 лет. Удержаться столько лет на временных должностях будет очень трудно.

В другой раз я услыхал то же суждение в первый день прилета в США. Сразу при выходе из здания аэропорта, когда еще мы не осознавали, как следует, что с нами происходит, мы столкнулись с инвалидной коляской, в которой сидел милейший Давид Моисеевич Гольдфарб — отлично выглядевший (последний раз мы видели его в больнице за две недели до того, как Хаммер вывез его в США, и тогда он производил впечатление умирающего больного), в прекрасном настроении, а с обеих сторон его инвалидной коляски за ручки держались жена Гольдфарба Цецилия Григорьевна и сын Алик. Алика я не видел лет восемь. Из юноши-аспиранта он превратился в зрелого мужчину с бородой. Оказалось, что Давид Моисеевич собрался лететь в обратном с нами направлении — в СССР, повидаться с внучками. Он рассказал, что страдает без внучек, не может без них существовать и вот решил слетать на время в СССР, чтобы унять сердечную муку, вызванную разлукой с самыми любимыми существами на свете (в то время дочь Давида Моисеевича Ольга с двумя дочками еще жила в Стране Советов). Алик вызвался прийти вечером на ужин, организуемый нашими друзьями, которые встречали нас гурьбой в Нью-Йоркском аэропорту. Они сказали ему, в каком из ресторанчиков планируют встретиться вечером, и в назначенный час я увидел Алика. Он предложил мне выйти из ресторана минут на 15, чтобы поговорить о будущей работе (он в то время был принят в Колумбийский университет на временную должность), и я услышал то же, что и двумя неделями раньше от Юрия Федоровича Орлова.

— Хорошо, что вы получили должность полного профессора, да еще выдающегося, иными словами, перепрыгнули через эту проклятую ступень Associate Professor, которую я никак перепрыгнуть не могу. Но теньюра вам ни за что не получить, — уверенно проговорил Алик. — Ну, не отчаивайтесь, — добавил он, — мы вам поможем и в каких-нибудь второстепенных университетах на временных должностях до пенсии продержим.

Кто такие могущественные МЫ, он не уточнил, я счел неудобным про это спрашивать, но настроение у меня было паршивое. Я все-таки раньше верил, что смогу вернуться к полноценной работе в науке. Эти первые разговоры опрокидывали такие надежды и, казалось, не оставляли иного пути, как пребывание на временных должностях.

Мы провели в Нью-Йорке два дня, мельком посмотрели город и улетели в Коламбус. В тот год в Охайском университете было решено иметь всего одну штатную единицу Выдающегося Приглашенного Профессора, и руководство университета хотело использовать её для определенных пропагандистских целей. В день нашего приезда в газете города Коламбуса появилась статья о новом профессоре университета. Через несколько дней после приезда меня попросили принять группу американских корреспондентов, еще через пару дней была созвана пресс-конференция, на которой меня снова расспрашивали о наших мытарствах в СССР, об оценках развития страны, о планах на будущее (вместе со мной за столом сидел лишь Ролф Барт, который представлял меня корреспондентам и подавал им знаки, когда тот или иной из них может задать следующий вопрос), состоялись мои выступления перед промышленниками города и многие другие ответственные встречи. Не забывали приглашать меня и на все серьезные университетские собрания.

Тем не менее вся эта часть нашей жизни не могла для меня составлять главного. Я понимал, что надо приниматься за работу, за серьезную научную работу, которой только и можно обеспечить себе, жене и сыну прочное будущее. Вот здесь-то я и столкнулся сразу с несколькими серьезными проблемами. Первая из них заключалась в том, что я не мог себе представить точно, а что же я хочу и в какой области научной деятельности должен сосредоточить свои усилия.

4. Чем лучше заняться?

Почти вся моя жизнь, предшествовавшая отказу, была связана с молекулярной генетикой. Большинство опубликованных статей и книг были посвящены проблемам молекулярно-генетическим. Пока я работал в Институте атомной энергии им. И.В.Курчатова, я занимался действием высоких доз облучения на наследственность и опубликовал первые исследования о вызывании мутаций высокими дозами гамма-лучей у бактериофагов (эти работы были известны на Западе, и их не раз цитировали). Затем, перейдя в Институт общей генетики АН СССР, переключился на изучение молекулярных механизмов мутаций и способности организмов лечить свои наследственные структуры после повреждения (как говорили специалисты, репарировать свою ДНК). В созданном мной ВНИИ прикладной молекулярной биологии и генетики ВАСХНИЛ мы открыли свойство репарации у высших растений, впервые показали прямую связь между репарацией ДНК и частотой мутагенеза, начали активно исследовать структуру ДНК растений после повреждения (эти работы были также замечены коллегами на Западе).

С другой стороны, меня всегда интересовали не только узко специальные вопросы молекулярной генетики. Я опубликовал несколько статей на философские темы, посвященных возможной роли генов в развитии жизненных процессов, пытался осмыслить влияние крупных открытий в развитии науки и роль общества в восприятии этих открытий, мне были интересны проблемы сводимости сложных явлений к более простым процессам и возможности познания сложного через частные проявления этого сложного. Несколько раз я выступал

на международных конференциях по этим вопросам и считался своим в среде философов, занимавшихся современными проблемами естествознания.

Был, наконец, и третий аспект в моей научной деятельности: история науки. Я никогда этого вслух не говорил, но внутренне, про себя, гордился тем, что опубликовал первую в мире монографию, посвященную истории молекулярной генетики. Все годы после увольнения с работы (с 1978 года вплоть до выезда из СССР) я методично, почти исступленно, работал над изучением истории феномена лысенкоизма, написал большую книгу об этом и сумел переправить рукопись в Штаты. Поэтому естественно, что, приехав в Штаты, я прежде всего думал о том, как эту книгу завершить и издать.

К этому надо добавить, что за годы отказа я оказался втянутым в орбиту правозащитной деятельности и продолжал жить мыслями об этом и оказавшись в США. Я не прекращал интересоваться делами правозащитников, звонил в Москву друзьям-правозащитникам, пытался организовать им помощь с Запада.

В последние пять лет жизни в Москве я много времени отдал созданию учебного заведения нового типа, которое назвал Московским Независимым Университетом. По американским программам дети отказников штудировали американские вузовские учебники и писали контрольные работы, позволявшие им набирать кредиты в американских университетах (к моему отъезду в университете было 120 студентов).

Итак, мне предстояло на чем-то сосредоточиться, а о чем-то забыть — если не навсегда, то во всяком случае надолго. Но на чем? Разумеется, мне хотелось вернуться в молекулярную генетику, но чем заняться? За 10 лет, пролетевших с момента закрытия моей лаборатории, именно эта наука так рванула вперед, что всё, чем я когда-то занимался, оказалось сильно продвинуто и вскочить в далеко умчавшийся от меня поезд возможностей не было. Надо было начинать новую деятельность, однако всплыла еще одна трудность: методы работы за эти годы тоже коренным образом изменились. Придя на свое рабочее место в Центр биотехнологии, я обнаружил, что ровным счетом ничего не понимаю в том, что делают руками десятки молодых людей в этом центре. В годы, когда я работал в науке, даже подобия нынешних приборов не существовало, теперь я не знал, с какого бока подойти к ним, и начал просто всего бояться.

5. Приобщение к компьютеру

Каждый день я бодрым шагом проходил к своему столу через огромный зал, в котором за разгороженными низкими щитами на клетушки что-то «варили» аспиранты и постдоки* — в основном индусы (директором Центра был выходец из Индии доктор Папачан Колаттакуди) и китайцы. Меня поместили в соседнюю с директором Центра комнату, разделенную на два отсека. В нашем отсеке был стол еще одного сотрудника — молодого японца, исполнявшего обязанности

* Калька с английского postdoc — научный сотрудник, лишь недавно защитивший диссертацию на соискание степени Доктор философии (сокращенно, Doc) и сразу после этого принятый на должность научного сотрудника в исследовательской группе или лаборатории.

главного знатока по компьютерам и по вечерам проводившего в лабораторном зале эксперименты.

На моем столе я обнаружил в первый же день новенький компьютер. Это был один из первых серийных Макинтошей (не знаю почему, но Колаттакуди решил, что центр будет оснащен преимущественно компьютерами модели Macintosh, но не IBM). Стоять компьютер стоял, но пользоваться им я не умел, даже не знал, как его включить.

В те годы, когда я был научным сотрудником, персональных компьютеров еще не было, они появились лет через пять после того, как меня с работы удалили. Поскольку вход в научные учреждения в СССР был для меня полностью закрыт, я не смог поработать на компьютерах и в частном порядке, а в домашнем пользовании в СССР компьютеров ни у кого не было: КГБ отлично осознавало, какую страшную силу несут с собой компьютеры, снабженные принтерами. Ведь самиздата гэбешники боялись больше всего, а тут появилась машина, способная распечатать столько копий, сколько захочешь, без всякого труда. Естественно, что было сделано всё возможное, чтобы отрезать советских интеллектуалов от компьютеров, а существующие в организациях компьютеры взяли под особый контроль представители первых отделов. Кстати, этим советская система сама себе нанесла долго незаживавшую рану, да и по сей день последствия её сказываются, так как многие интеллектуалы среднего и пожилого возраста не смогли войти в мир компьютеров и этим снизили свою продуктивность.

Впервые персональный компьютер в домашних условиях я увидел у Андрея Дмитриевича Сахарова. В конце 1987 года в Москву приехала группа президентов американских университетов, которые не без скандала, но, своего добившись, провезли через советскую таможню важный для Сахарова подарок — персональный IBM. Его установили в комнате Андрея Дмитриевича слева от двери. С нескрываемой гордостью как-то вечером Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна продемонстрировали его мне. Я по простоте душевной хотел усесться за стол и попросил их разрешить мне попробовать что-нибудь сделать, в ответ услышав от Елены Георгиевны:

— Валерий Николаевич! Вы с ума сошли. Это не игрушка.

На этом мое созерцание компьютеров окончилось.

Но теперь, в Америке, надо было начинать. Я попросил японца помочь мне освоить компьютер.

— А чего тут особенного, — отпарировал он, даже не обернувшись в мою сторону, — садитесь и работайте.

Не скрою, я опешил. Я не думал, что моя просьба покажется назойливой, напротив, я ожидал нормального человеческого участия в моей судьбе. Я вовсе не собирался эксплуатировать этого человека, думал, что, потратив минут 10—15, он даст мне самые первые наставления, скажет, с чего лучше всего начать. Пожалуй, впервые я увидел столь недоброжелательное отношение. Потом я уже свыкся с подобными выходками младшего персонала и, как мне кажется, понял причину такого поведения. Каждый из этих молодых людей рвался к тому, чтобы любыми путями попасть в число профессоров университета, их должности научных сотрудников были временными, и ни один из них не был уверен в

завтрашнем дне. Число же вакантных профессорских должностей было в университете не просто небольшим, но исчезающе малым. Хотя университет потихоньку рос, но это почти не сказывалось на числе открываемых вновь тенурированных должностей. Надо было ждать, пока кто-то уйдет на пенсию, чтобы заполучить освободившееся место. Все эти молодые люди сразу поняли, что хотя я и пришел на временную работу на два года, но представляю собой конкурента. Помогать конкуренту у них желания не было.

Пришлось мне избрать другую тактику: с первой же недели начал работать часов по 18, проводя утренние часы до обеда в библиотеке университета, затем перебираясь в Центр биотехнологии и отводя все вечера и половину ночи на освоение компьютера. Когда все (или почти все) ведущие сотрудники Центра расходились по домам, центральная часть здания, все комнаты, где сидел Колаттакуди, его секретари, начальник отдела кадров, снабженец и заместитель директора, пустели. В Центре вели исследования по созданию генно-инженерных растений, обладающих устойчивостью к болезням. Поэтому вход в Центр был строго контролируем. Никаких сторожей или привратников, конечно, не было (никто платить деньги этому персоналу не собирался). Проблема была решена другим способом: все двери, располагавшиеся с четырех сторон здания, всегда держали взаперти, а всем до единого сотрудника были выданы ключи от входных дверей. Приходи в любое время дня или ночи и работай, но для чужих глаз всё оставалось под замком. В большинстве других зданий Университета двери не запирались.

Дополнительная защита была устроена для помещений дирекции. Ключи от кабинета директора были только у него и его секретаря, девушки по имени Сиська, родившейся в Голландии, но прожившей в семье дипломата значительную часть жизни в Штатах и потому свободно владевшей письменным английским и говорившей по-английски с еле заметным акцентом. Остальная часть дирекции запиралась на ночь Сиськой, когда она уходила с работы в половине шестого вечера. Поскольку именно в дирекции стояли факс-машина, копировальные машины, располагалась библиотека Центра, заведующим лабораториями Центра были выданы ключи от дирекции, и они могли зайти туда, заперев за собой дверь изнутри, в любое время суток. С первого же дня появления на своем рабочем месте я получил ключ от дирекции и мог пользоваться расположенным там оборудованием. На одном из столов секретарей стоял в точности такой же Макинтош, как на моем столе, и я попросил разрешения работать на нем по вечерам и ночам. Сиська любезно разрешила.

Почему же я решил учиться за запертыми дверьми, а не в своем офисе? Чтобы объяснить это, нужно рассказать об уроке, преподанном мне одним бывшим советским биофизиком, а теперь профессором Института Вейцмана в Израиле Эдуардом Трифоновым. Мы встретились с ним в Париже на второй неделе после нашего выезда из СССР. Еще когда мы были в Вене, сотрудник журнала «Континент», тогдашний редактор французского издания журнала Галя Аккерман разыскала мой телефон в Вене, позвонила из Парижа и передала приглашение Владимира Емельяновича Максимова приехать в Париж. Я был несказанно обрадован этим приглашением. Сам Максимов вряд ли мог преодолеть серьезные

трудности с приглашением человека, у которого на руках не было никакого паспорта, а только листочек, выписанный в московском ОВИРе с фотографией и с разъяснением, что я теперь лицо без гражданства. Поэтому, пользуясь своими каналами, Максимов и Аккерман разрешили проблему просто: меня пригласил министр Франции по правам человека. С этим приглашением мне удалось получить в венской полиции вид на жительство — некое подобие так называемого нансеновского паспорта и выехать с лекциями в Париж на неделю. Спал я на раскладном диване в редакции «Континента», днем колесил по Парижу, выступая то в одном, то в другом месте.

В один из этих дней в Париже и появился Эдуард Николаевич Трифонов, когда-то работавший в том же радиобиологическом отделе Института атомной энергии имени Курчатова, где ранее работал я. Эдик решил помочь мне советами. Почти целый день мы бродили по Парижу, и он наставлял меня, как мог. Один из советов был таким: не надо показывать окружающим свое незнание чего-то существенного, так как это непременно будет использовано против тебя в какую-нибудь важную минуту. Лучше помалкивать, когда чего-то не знаешь, правильнее стараться наверстывать упущенное таким образом, чтобы это не было заметно окружающим, особенно твоим конкурентам, так как ни чувства жалости, ни сопереживания трудностям у конкурентов быть не может. Равным образом не нужно бахвалиться связями или хвастать прошлыми заслугами. Всё прошлое осталось в прошлом и никого сегодня не волнует. Только сегодняшние достижения будут работать на пользу, всё остальное — ненужный, а то и вредный балласт. Про сегодняшние связи гораздо лучше хранить молчание. Если что-то просочится помимо тебя в твою среду, это будет работать на пользу, в противном случае тебя будут сторониться. Мне показались слова Трифонова важными, и многие из его советов я постарался запомнить и им следовать.

Применил я его наставления и в отношении обучения навыкам работы с компьютерами. Вечерами я уединялся в дирекции, усаживался за второй секретарский стол в центральном отсеке дирекции, раскладывал учебники по компьютерной технике, руководство к моему Макинтошу и начинал что-то делать. Первый же текст в полстранички, который я напечатал, вдруг таинственным образом с экрана исчез. Я даже не заметил, как уничтожил работу, на которую потратил не меньше часа. Пришлось повторять всё сначала и продвигаться практически на ощупь шаг за шагом. Но чудо начало потихоньку материализоваться: на третью или четвертую ночь я уже смог написать на компьютере короткую статью по-английски, сформатировать ее с грехом пополам, а главное — теперь я знал, какие вопросы мне надо задать знающему человеку. Я уже понимал, что не нужно спрашивать японца и еще с десяток молодых постдоков, которые держались со мной настороженно.

Помощь пришла неожиданно. Я заметил, что через день в дирекцию после обеда приходит работать средних лет мужчина, который, видимо, был временным работником, но прекрасно разбирался в компьютерах, так как именно он распутывал задачки, возникавшие перед Сиськой, ее подчиненной и другими людьми в дирекции. В какой-то из вечеров он задержался позже обычного, а потом вдруг без всяких предисловий заговорил со мной о русской литературе. Мы остались в

дирекции одни, я пыхтел у своего компьютера, он работал за столом впереди меня, но вдруг развернулся и, улыбаясь, обратился ко мне, назвав мою фамилию. Он пояснил, что видел меня по телевизору во время одного из интервью, разузнал обо мне от коллег и потому решился поговорить по окончании рабочего дня. Естественно, что от разговора о великих русских писателях мы перешли к следующей теме, а что я сейчас делаю? Я поведал ему о своих трудностях, и он просто и радушно предложил свою помощь.

И действительно, он очень помог. Обучение пошло столь быстрыми темпами, что уже через месяц я смог без натуги набирать практически все тексты на компьютере. Он же посоветовал мне срочно купить такой же компьютер для дома, приехал ко мне домой, помог его установить, организовать нужные мне файлы в домашнем и рабочем компьютере. Многие проблемы отпали.

Был он человеком очень предупредительным, прекрасно знал музыку, был начитан, вообще был интеллигентом до мозга костей. Но при всем том найти постоянную работу никак не мог, перебивался случайными заработками и жил очень бедно. К счастью, вскоре он получил в университете постоянную и достаточно хорошо оплачиваемую работу, приоделся, слегка поправился, стал выглядеть солидно и красиво. Мы продолжали с ним встречаться и дружить, пока жили в Коламбусе.

6. Покупка автомобиля

В течение первой же недели жизни в Коламбусе нам стало ясно, что без машины никак не обойтись. Поначалу я решил ходить на работу пешком и использовать маршрутные автобусы, где это можно. На дорогу от дома до Центра биотехнологии требовалось полтора часа. Мы приехали в Коламбус 1 мая, когда еще не наступила удушающая среднеамериканская погода с порой 90-процентной влажностью при 35-ти градусной жаре, поэтому первые две недели я смог ходить туда и обратно, несомненно представляя собой какое-то «чудо» для американцев, мчащихся мимо меня в автомобилях. Пару раз я чуть было не угодил вечером под колеса. Стало ясно, что прав был Остап Ибрагимович Бендер, приговаривавший, что «машина не роскошь — это средство передвижения». Откладывать покупку автомобиля на дальний срок было нельзя.

С покупкой было связано немало треволнений. Наслушавшись разных друзей, я не знал, как поступить. Одни говорили мне, что я всё равно расколочу первую машину, так что лучше приобрести какую-нибудь развалюху за одну-две тысячи долларов. Другие говорили обратное: не стоит мелочиться с самого начала, выгоды не получить, так как плохая машина начнет сразу разваливаться, надо будет постоянно отдавать ее в ремонт, выкладывая за это сотни и сотни, а то и тысячи и тысячи долларов; головной боли будет много, а толку никакого. Наш старинный с Ниной друг Толя Хилькин, который теперь стал практикующим врачом в Нью-Йорке, посоветовал отбросить сразу идею о покупке маленькой японской машины, так как все они хлипки по своей конструкции.

— Водитель ты пока аховый, не дай Бог, вляпаешься в аварию, зачем подвергать себя ненужному риску! Купи хорошую, большую американскую

машину, прочную и надежную, какой-нибудь «крайслер», «бьюик», «шевроле», или что-то в этом классе. Будешь ездить и радоваться.

Другая проблема была в том, что у меня не хватало денег на что-то приличное и я не знал, что никто в Америке не выкладывает автодилеру полностью деньги за покупку. Всё оформляется в кредит. Если у вас нет никакой истории кредита в Штатах, то случай становится более трудным, но всегда есть способ, позволяющий выйти из положения. Просто платить придется больше. Кристина Барт помогла нам и на этот раз, объяснив процедуру покупки. Тот автодилер, который будет продавать машину, объяснила она, наверняка имеет связи с представителями нескольких банков, которым только и надо заполучить клиентов.

Так оно позже и вышло на деле. Но пока надо было найти, что купить, а у меня на это ни времени, ни знаний не хватало. Помог нам наш сын Володя, которому тогда было 23 года.

Володя с мальчишества бредил машинами. Мы в Москве купили «жигули», у нас с Ниной были права на вождение, но Володя и близко нас к вождению машины не подпускал. Теперь в Штатах идея ремонта какого-нибудь разбитого и вконец списанного рыдвана овладела нашим сыном. Надо отдать должное, он разбирался в машинах гораздо лучше нас.

Непонятными нам с Ниной путями, где используя местные автобусы, ходившие с интервалами через час и далеко не во всех направлениях, то голосуя на улицах, Володя добирался до контор, где торговали подержанными машинами. Он тратил на это по нескольку часов в день. Со своим пока плохим еще английским, но с настойчивым желанием своего добиться, он приценивался, расспрашивал дилеров и в течение дней десяти стал понимать, какую машину надо купить. Однажды он примчался взъерошенным и потребовал, чтобы мы с мамой немедленно хватали такси и ехали на край города в место, где он нашел мне замечательный, по его словам, автомобиль. Мы подчинились его напору, примчались в нужное место и увидели красавицу машину — Крайслер Нью-Йоркер темно-синего цвета, в прекрасном состоянии. Ею два года пользовался вице-президент банка Охайо, а теперь он купил себе новый автомобиль, поставив этот на продажу. Крайслер стоил немалых денег — семь с половиной тысяч долларов, но он явно этой суммы стоил, и было очевидно, что если мы его не купим, то долго он не застоится.

Я опять позвонил Кристине Барт, посоветовался с нею и далее всё происходило в полном соответствии с тем, как она предсказывала. Как только дилер убедился в серьезности наших намерений, мы прошли в большой зал их шикарно обставленной конторы, уселись за стол. Нам были выданы длиннейшие анкеты, которые следовало заполнить, дилер позвонил куда-то и через полчаса появился еще один клерк — представитель местного Хэнтингтон-банка. Сделка стала претворяться в жизнь.

У меня, как говорят в Америке, не было никакой «истории кредита», подразумевая под этим, что мы еще ничего в долг не покупали, кредитных карточек, по которым следует выплачивать долги и зарабатывать тем «историю кредита», у нас также не было. Случай для представителя банка был непростым. Первое, что он сделал, позвонив при нас в отдел персонала университета, —

убедился, что я профессор университета (то, что я временный профессор, похоже, никакого впечатления на него не произвело), затем там же он выяснил размер зарплаты и убедился, что согласно требованиям банка нам можно выдать кредит, так как риск, что я не выплачу взятый у банка кредит, невелик.

Тем не менее процент, под который можно было получить кредит, был достаточно высоким, нужную сумму я мог взять в долг на пять или больше лет, и с процентами банка это влетало мне в копеечку. Ежемесячно я должен был выкладывать несколько сотен долларов. Кристина уверила меня, что это нормально и что надо радоваться такой покупке, а не пугаться.

Забегая вперед, скажу, что все-таки жить с долгом мне было неприятно. Я постарался как можно скорее, за несколько месяцев, выплатить всю стоимость машины, избежав уплаты огромной суммы на проценты банку. Этим жестом я приобрел уважение банка, который стал засыпать меня письмами с предложениями пользоваться их услугами и в будущем, причем практически в неограниченном размере («Если Вам захочется приобрести дом или другую недвижимость, если понадобятся средства на другие покупки, наш банк будет счастлив открыть Вам этот кредит», — сообщалось в письмах из банка).

Так мы оказались владельцами машины, служившей мне много лет, потом использовавшейся несколько лет женой сына Таней, а потом подаренной мною в «Армию спасения».

Езда на машине была для меня чистым блаженством. Конечно, я еще плохо владел навыками вождения, за что постоянно слышал раздраженные сентенции сына, если он ехал со мной, но постепенно и эти навыки накапливались. А когда поздно ночью я выходил из корпуса Центра биотехнологии, попадая из холодного кондиционированного помещения в душное пекло темной коламбусовской ночи, подходил к машине, садился в мягкое кожаное кресло, удобнее которого я так и не нашел больше ни в одной машине, заводил мотор и тут же слышал чистые тона радио, постоянно настроенного на канал классической музыки, зажигал фары и трогался с места, становилось приятно и даже торжественно. Машин в это время на улицах уже почти не было. Можно было катиться по прекрасно накатанному асфальту почти бесшумно, кондиционер в машине быстро разгонял жару, и те минут десять, которые были нужны мне, чтобы добраться до дома, поднимали настроение.

7. Первая книга в Америке

Важной частью моей научной работы в СССР стало писание книг. Я опубликовал в издательстве Академии Наук СССР две больших научных монографии, одна из которых была переведена на немецкий и английский языки, участвовал в нескольких коллективных монографиях по философии и истории науки, издал семь научно-популярных книг. Навыки работы над книжными текстами уже выработались, я научился оперировать большим числом исходных материалов, готовить длинные тексты (монография о молекулярных механизмах мутагенеза — первая в мире на эту тему — содержала более 500 страниц емкого печатного текста). Когда я оказался без работы, то нашел себе применение:

помимо заработка на жизнь ремонтами квартир, стал тратить все свободное время на описание истории разгрома генетики в СССР и захвата ведущих постов в советской науке ловким проходимцем Трофимом Лысенко. За 10 лет «отказной» жизни в СССР я сделал семь редакций этой книги, дополняя и дополняя текст все новыми данными и размышлениями. Выше я уже писал, что в самом начале работы я боялся, что КГБ может обыскать меня в каждую минуту и изъять все плоды моей деятельности (разумеется, я понимал, что за создание столь откровенно антисоветского произведения мне грозил немалый тюремный срок), поэтому старательно припрятывал каждую новую редакцию и все значительные заново написанные куски. После того, как первый вариант книги был завершен и, как мне казалось, надежно припрятан, я стал более основательно искать в библиотеках, у своих знакомых и особенно у генетиков старшего поколения любые дополнительные материалы. Был написан и перепечатан второй вариант, потом третий. Книга разбухала, включала в себя всё новые факты, я стал более критически относиться к концепции всей книги, к осмыслению исторических и политических корней сложного явления противостояния лысенковцев и генетиков и роли репрессивного коммунистического государства в установлении тотального контроля над наукой.

Начиная с третьей редакции книги, мне удалось наладить отправку копий каждого последующего варианта на Запад. Печатал я на пишущей машинке под копирку, делая сразу 6 копий каждой страницы, и одну из копий каждого варианта передавал знакомым коллегам-иностранцам, довольно часто навещавшим нас в Москве. Позже те сообщали, что она благополучно достигла другого материка. Так постепенно копии всех новых редакций книги были переправлены в Штаты. В 1986 году в Москву приехала представительная делегация американских и европейских генетиков (в ее составе было два Нобелевских лауреата). В их числе был профессор Питер Дэй, которого я знал уже много лет. Питер приехал к нам домой, мы замечательно провели время. Конечно, его интересовало, чем я занят, я рассказал про то, как работаю над историей лысенкоизма и дал ему второй экземпляр шестой редакции книги. Это была толстенная пачка тонкой бумаги, содержавшая почти 1200 страниц. Мы перевязали пачку бечевкой, Питер завернул ее в газету, которая торчала из кармана его пальто, и увез в Штаты.

Когда мы еще были в Вене, Кэрин Ридс, совершенно незнакомая мне дама, разыскала меня по телефону и сообщила, что она заведует научной редакцией Издательства Раттерского университета, что через профессора Питера Дэя издательство получило русский текст моей книги о Лысенко, провело, как это водится во всем мире, предварительное рецензирование рукописи, заручилось положительными отзывами и готово заключить со мной договор на перевод этой книги на английский и издание английского варианта.

Как только мы обосновались в Коламбусе, я позвонил в издательство и тут же получил контракт на подпись. Я чуть было не подписал те, наверное, 10 страниц мелкого текста с множеством пунктов на почти мне непонятном юридическом языке, но на меня отрезвляюще подействовал звонок из Нью-Йорка пианиста Володи Фельцмана, которому я рассказал о таком замечательном подарке судьбы, как контракт на издание книги.

— Валера, а у Вас есть книжный агент? — спросил настороженно Володя.

— А что это такое — книжный агент? — переспросил я.

Володя ввел меня в курс дела, объяснив, что единственный способ обезопасить себя от возможного ущемления имущественных и прочих прав — это поручить вести свои дела (разумеется, за часть полагающегося гонорара) профессиональному юристу, специализирующемуся в данном виде деятельности.

На следующий день мы должны были лететь в Нью-Йорк с женой для какой-то очередной важной встречи, и я воспользовался этим визитом, чтобы попытаться найти агента. Еще из Коламбуса мы договорились с редактором газеты «Уолл Стрит Джорнэл» Бобом Бартли, который дважды бывал у нас дома в Москве, что встретимся во время приезда в Нью-Йорк. В ту встречу я и спросил Боба об агенте. За каких-то две минуты дело было улажено: Боб договорился с мистером Джорджем Борчардом, что завтра я приду к нему в офис в самом центре Манхэттэна и он подпишет со мной соглашение о том, что будет представлять мои интересы. (Лишь позже я осознал, как мне помог Бартли. Дело было не только в том, что Борчард оказался одним из самых влиятельных книжных агентов в мире, но и в том, что он сам и его сотрудники знали массу подводных камней, которые любят расставлять издательства на пути издания книг, чтобы в будущем обеспечить себе максимум выгоды.)

Когда я получил испещренный замечаниями и вычеркиваниями проект контракта, исправленный Борчардом, я понял, от каких неприятностей был им спасен. Удивило меня и то, что юрист издательства, получив замечания Борчарда, не только со всеми из них тут же без всякой тени неудовольствия согласился, но даже попытался сделать вид, что он безумно рад, что такой замечательный человек заметил так много неточностей, которые издательство могло допустить, а теперь с успехом и мгновенно исправит!

Подписав договор, я должен был поспешить с приготовлением текста для издательства и начал тратить почти все время на перепечатку рукописи и в рабочие, и в вечерние часы. Дело пошло вперед, тем временем моя жена научилась работать на домашнем компьютере, и вдвоем мы продвигались успешно, но и рукопись размером более тысячи машинописных страниц была очень большой.

Книга о Лысенко вышла по-английски нескоро (хотя американское издание на русском языке появилось в следующем — 1989 году). Сначала тянули время переводчики, потом еще дольше тянуло издательство, сокращая и сокращая текст и упрощая и упрощая изложение (все это делалось в потугах завлечь читателя, хотя много важного материала было выпущено, и в целом текст был выхолощен). Читатели увидели книгу только спустя 6 лет, в 1994 году, доброжелательные рецензии на нее появились во всех крупных американских изданиях и газетах, а еще через год была опубликована вторая книга, написанная по-английски в соавторстве с моим тогдашним сотрудником Владимиром Николаевичем Потаманом. Это была первая в мире монография о трехнитевых нуклеиновых кислотах, над которыми я работал и теоретически и экспериментально в Соединенных Штатах.

8. Поиски лучшего места работы

Разумеется, заниматься лишь перепечаткой уже написанной книги, да еще по истории науки, мне казалось неправильным. Надо было что-то предпринимать и в самой науке. Я понимал это умом, но мне было трудно преодолеть внутренний страх перед сложностями и техническими, и моральными и поэтому я все-таки решил проверить, не повезет ли с поисками работы на кафедрах истории.

Я попробовал разузнать, нет ли в Штатах места, где бы мои знания истории науки могли открыть двери на соответствующие кафедры или в институты. В свое время моя книга об истории молекулярной генетики, изданная в 1970 году в Москве, была замечена несколькими видными специалистами по советской истории. Встречался я и с многими известными американскими историками на нескольких симпозиумах и конгрессах, посвященных истории и философии науки. Я начал звонить им и спрашивать, не помогут ли они найти работу по этой специальности, но довольно скоро понял, что прослойка этих специалистов, которая представлялась нам в Москве лишь верхушкой огромного айсберга, на самом деле чрезвычайно узка. Такого айсберга просто не существовало в природе.

Как я выяснил позже, на самом деле число людей, профессионально занимавшихся историей советской науки, не превышает двух десятков. Эти люди появлялись на всех симпозиумах и конгрессах и составляли давно сложившуюся компанию, плотную и не допускающую внутрь чужеродные элементы. Каждый из них знал свое узкое поле блестяще, иногда даже поражал российских ученых неожиданными находками документов или столь скрупулезным описанием событий, которое не было сделано самими российскими учеными, но тем не менее оказалось, что ни широтой кругозора, ни ясным пониманием глобальных проблем российской науки большинство из них похвастать не могло. Видимо, этим и можно объяснить, что американские советологи, кремлинологи и политологи не только не смогли предсказать скорый крах коммунистических правителей России, распад СССР и даже крушение Берлинской стены, но не смогли оказаться и хорошими советчиками по русскому вопросу для трех последних президентов США.

Конечно, не сразу я понял, что найти работу в этой среде — не просто непосильная задача, это была принципиально недостижимая цель. Меня с удовольствием приглашали делать доклады на семинарах в разные университеты, эти семинары собирали хорошие аудитории, и слушатели, как я был уверен, увлекались темой моих рассказов, но дальше таких приглашений дело сдвинуться не могло, так как при каждом таком посещении я убеждался всё больше и больше, что в каждом из крупных университетских центров специалисты по советской науке были одиночками, растворенными в массе специалистов по другим «экзотическим» направлениям, и заиметь конкурента никто из них не собирался.

Один из наиболее известных ученых, работающих в области истории советской науки, Лорен Грэм (нередко в СССР его фамилию произносят Грэхэм), откровенно и дружески посоветовал мне оставаться молекулярным генетиком, так как возможностей в этой экспериментальной науке, как он сказал, в тысячи раз больше, чем в истории.

Совпали с этими неудачными поисками и кое-какие события, вроде бы незначительные, но тем не менее подтолкнувшие меня к тому, чтобы перестать надеяться на чудо, а начать активно работать над возвращением в экспериментальную область.

Месяца через три после приезда в Коламбус в университете проходила очередная церемония награждения кого-то за что-то. Я как «выдающийся» традиционно получил приглашение, подписанное президентом университета, и в положенное время был в главном зале корпуса, в котором располагались офисы президента, вице-президента и провоста* университета. Еще в Москве писатель Даниил Александрович Гранин предупредил меня, что пропускать сколько-нибудь серьезные приглашения нельзя ни под каким видом. Гранин рассказал, что был в Штатах и на второстепенном, по его мнению, приеме встретил своего бывшего земляка, ставшего к тому времени Нобелевским лауреатом, Иосифа Бродского.

— Иосиф, — спросил его Даниил Александрович, — а что Вы делаете на этом, вроде бы не для Нобелевских лауреатов, приеме?

— Объяснение простое, — ответил Бродский, — один раз пропустишь, второй раз не пригласят.

Помня этот урок, я ни одно приглашение из офиса президента университета не пропускал, заметив тем временем, что набор постоянных гостей на таких сборищах практически не меняется, и все мы вскоре уже знали друг друга и приветливо здоровались и раскланивались. Менялся лишь состав тех, кого приглашали только на данное мероприятие. В этот раз в числе награжденных оказался один из аспирантов Центра биотехнологии. Когда процедура вручения дипломов и подарков была завершена, все разошлись по залу с бокалами шампанского и бумажными тарелочками с набранной с большого стола едой. Гости перетекали от одной группы к другой, перебрасывались несколькими фразами и кочевали дальше. В какой-то момент ко мне подошел этот аспирант Центра и представил свою жену. Говорил он напыщенно и был ужасно горд тем, что оказался среди лучших студентов и аспирантов университета, его прямо распирало от самодовольства. Закончив представление, он пояснил жене, что я и есть тот русский профессор, о котором он рассказывал ей раньше и который ничего не делает, кроме того что перепечатывает на компьютере что-то по-русски из каких-то пожелтевших листков. Я понял, что репутацию странного чудака я уже заслужил. Открытие было из малоприятных.

Вносила вклад в неудовольствие таким поворотом событий и моя жена Нина. Вскоре после приезда в Америку мой старинный знакомый Джон Дрэйк, один из ведущих молекулярных генетиков, специалист в области изучения мутаций, хорошо знавший мои работы в той же области, договорился с организаторами Гордоновской конференции (наиболее авторитетной в мире ежегодной конференции по экспериментальной биологии), чтобы меня позвали на очередную

* Провост — административная должность в американских университетах. Провост является вторым после президента университета лицом в университете, несущим ответственность как за учебные, так и за финансовые, научные и прочие виды деятельности в университете.

конференцию. На этих ежегодных встречах ученые делятся своими последними и, как правило, еще не опубликованными результатами, почему участникам встречи запрещено пользоваться звукозаписывающими устройствами всех видов, фотоаппаратами и видеокамерами. Заседаниям были отведены по крайней мере две трети дня, но и после этого участники встречи, собираясь по вечерам в холле и потягивая пиво или держа в руке рюмочки с виски, продолжали научные дискуссии. Мы с женой были лишены права участия в научных встречах в СССР почти десятилетие и, окунувшись в памятную нам атмосферу чисто научных докладов и довольно ожесточенных споров, ощутили снова, насколько приятна и эмоционально вдохновляюща чисто научная среда. Много раз после этого Нина говорила мне:

— Вот эта среда по мне. Кончай свои потуги уйти в историю. Что может быть выше чисто научной работы?!

Те же разговоры возобновились в конце лета 1988 года по возвращении с Международного Генетического Конгресса, состоявшегося в Канаде, в Торонто, куда съехались ведущие генетики со всего мира и где мне была предоставлена почетная возможность выступить с докладом об истории лысенкоизма на специальном симпозиуме об истории генетики и представить сообщение о последних (так и оставшихся неопубликованными) результатах репарации ДНК у растений, полученных в моей теперь уже не существовавшей лаборатории в Москве.

9. Попытка вернуться в экспериментальную науку

Года за три до описываемых событий как-то вечером я столкнулся в профессорском зале Ленинской библиотеки (теперь Центральная Российская библиотека) с Максимом Давидовичем Франк-Каменецким. За много лет до этого я общался с его отцом, Давидом Альбертовичем — великим российским физиком. Давид Альбертович даже был рецензентом одной из моих работ, когда я работал в Институте атомной энергии. Максима я также встречал: он пришел в аспирантуру в Атомный институт как раз в год моего ухода из него, я потом встречал его несколько раз, слышал о его успехах и видел его статьи в научных журналах, но судьба нас вместе не сводила.

С первой же минуты встречи у нас нашлась важная тема для разговора. В те годы Андрей Дмитриевич Сахаров еще томился в горьковской ссылке, его не раз насильно отрывали от жены и помещали в городскую больницу — якобы для обследования, но на самом деле для морального и физического надругательства. Максим хорошо знал Андрея Дмитриевича лично, так как мальчиком жил в соседнем коттедже в Арзамасе-16 (сейчас город Саров), где Сахаров и Франк-Каменецкий принимали участие в работе по созданию атомной и водородной бомб. Максим, правда, не был знаком с Еленой Георгиевной Боннэр, на которой Сахаров женился позже, после смерти первой жены.

Мы нашли укромный уголок у изгиба здания библиотеки, и Максим поведал мне, что через своих друзей сумел передать на Запад последнее обращение Сахарова к мировой общественности и информацию о его пребывании в больнице. Я по своим каналам сделал то же (к нам обоим независимо пришли копии

обращений Андрея Дмитриевича, напечатанные Еленой Георгиевной на тонкой папиросной бумаге и с огромными трудами пересланные в Москву). Это была обычная практика тех дней, когда друзья Сахарова старались использовать одновременно несколько независимых каналов для передачи сообщений о мытарствах четы Сахаровых в Горьком на Запад, откуда тут же — и на правительственных и на других уровнях — лидеры мира пытались упредить зловещие действия потерявших рассудок советских лидеров и их держиморд из КГБ.

Максим был откровенен со мной, так как доподлинно знал о моих связях и с Боннэр, и с правозащитниками. Мы стали с тех пор часто встречаться. Была и еще одна сфера наших взаимных интересов, чисто научная. Максим за годы, которые прошли после окончания им аспирантуры, вырос в крупного ученого в области физики-химии, заведовал лабораторией в Институте молекулярной генетики (нашем бывшем Радиобиологическом отделе Института атомной энергии имени Курчатова, отпочковавшемся от «курчатника» в виде независимого института). Максим также вел важную педагогическую работу, уже практически возглавляя кафедру в Московском физико-техническом институте, созданную одним из его учителей, Юрием Семеновичем Лазуркиным.

В те годы Максим предложил новую модель структуры ДНК, согласно которой двуспиральная молекула превращалась в трехспиральную (в трехнитевую структуру). Как часто бывает, столь радикальное нововведение было встречено в штыки некоторыми из западных ученых, но сотрудники Франк-Каменецкого быстро доказали экспериментально правильность представления о складывании двуспиральной молекулы в трехспиральную и начали изучать условия, при которых может возникать такая необычная конфигурация ДНК. Сам Максим был чистым теоретиком, никогда в жизни не работал руками за лабораторным столом, но сумел собрать вокруг себя коллектив первоклассных экспериментаторов, воплощавших в жизнь его теоретические находки.

Максим стал часто приезжать к нам домой, с его приходом мы вовлекались в обстановку страстей нового рода: экспансивный (по русски — страшно заводной) и задиристый Максим рассказывал с криками и восклицаниями об очередных кознях начальства и о своих личных неизменных успехах. Он в тот момент стал костью в горле тогдашнему директору их института, которого я знал еще лет за двадцать до этого. Директор пытался и через партбюро, и через 1-й отдел (то есть через КГБ) не просто приструнить Макса, а изгнать его из института.

Нашлись и те, кто стал на защиту талантливого ученого. Уже никого не боясь, Максим усаживался у меня в кабинете и с нашего домашнего телефона, наверняка круглосуточно прослушиваемого «компетентными органами», обзванивал самых разных людей. Обстановка в стране в те годы изменилась: бояться стали гораздо меньше, так как и сажать стали несравненно меньше, и средства информации (не только телевизор, но и слушаемые всеми «вражеские голоса») разносили правду по всему свету.

К моменту нашего отъезда из СССР мы с Максом провели много недель за обсуждением разных подходов к исследованию трехнитевых структур ДНК (их стали называть триплексами), и я начал раздумывать над тем, как приступить к экспериментам по их изучению. Максим меня в этом очень подначивал, уговаривая заняться

именно этой тематикой. В его лаборатории уже пытались наладить опытную проверку новой идеи, но не хватало реактивов, не было всех нужных приборов, не было обученного персонала. Один из американцев, с которыми Максим сотрудничал, Чарлз Кэнтор, однажды даже попытался привезти Максиму наиболее важный реактив, но везти надо было в жидком азоте, чего не позволяли правила безопасности перелетов, по дороге реактив испортился, и из опытов ничего не вышло. Теперь Максим повторял раз за разом, что для меня есть одно предназначение на Западе — стать обычным ученым и начать работу по триплексам, а не лезть в правозащитники или общегуманитарные специалисты.

Теперь, живя в Коламбусе, я осознавал всё яснее правоту предсказаний Максима и других людей. Надо было возвращаться в чистую науку.

С первых дней в Коламбусе я буквально наслаждался библиотекой университета, расположенной в главном кампусе. Последние журналы по молекулярной биологии были сосредоточены в маленькой библиотеке Центра биотехнологии. Практически каждый день я проводил несколько часов за чтением новой литературы, разыскал все публикации о триплексах, появившиеся к этому времени и стал свободно разбираться в этой новой и быстро развивавшейся области физико-химии ДНК. Именно по этой тематике я теперь хотел бы работать.

Для начала я решил выступить с докладом на семинаре Центра биотехнологии, в котором собирался рассказать о новой для сотрудников центра идее триплексных структур и о том, какие можно было предпринять эксперименты по их исследованию. Колаттакуди с видимым интересом отнесся к моей идее, и такой семинар был запланирован. В зальчике Центра, примыкавшем к блоку дирекции, в тот день собралось много народу. Пришел и Ролф Барт, которого не без ехидцы Папачан Колаттакуди спросил (напомню, Барт был профессором патологии и был далек от физико-химии ДНК):

— А Вы, доктор Барт, и в этих вопросах разбираетесь? Как интересно!

Маленький ростом Барт был задиристым, и его ответ был столь же ехидным.

За свою жизнь я выступал с многими докладами, но к этому готовился особенно тщательно. Тема сообщения была для слушателей новой, значит, надо было представить ее так, чтобы поняли даже те, кто слышал о триплексах впервые. Я провел порядочно времени в библиотеках, готовя обзор литературы к докладу, впервые в жизни использовал пока еще для меня непривычные способы подготовки иллюстраций — прозрачные пленки, на которых можно было с помощью копировальных устройств разместить несколько графиков, вставить всякие значки и поясняющие слова. Трудно передать, как меня радовало, что могу беспрепятственно использовать копировальные машины для своих целей. Колаттакуди разрешил мне делать столько копий, сколько я хочу (вообще-то бесплатного ничего нет, и сотрудники Центра имели лимит на все виды деятельности, в том числе и на число копий, каждая из которых стоила Центру порядка 5 центов).

Сделав доклад, я пробил маленькое оконце в стене отчуждения, которая по моей же вине выросла между мной и другими сотрудниками Центра. И на семинаре мне было задано много вопросов, и после него почти все завлабы Центра стали меня останавливать в коридоре или на лестнице и расспрашивать

то об одной, то о другой оставшейся для них неясной идее или фактах. Все-таки само представление о наличии не двойных, а тройных спиралей было новым.

Теперь предстоял следующий шаг: начать эксперименты в этой области. Идея одного из них исходила первоначально от Максима. По его представлениям, у онкогенного вируса SV40 в районе, важном для размножения вирусов, был участок, потенциально способный сформировать триплекс. Правда, последовательность нуклеотидов в этом месте была не совсем совершенной для образования триплекса, и участок этот лишь с натяжкой мог служить основой для перестройки дуплекса в триплекс. Однако надежда, что триплекс в этом участке может возникать, была не нулевой. Мы думали-гадали, а что произойдет, если возникнет триплекс? Может быть тогда размножение вируса остановится? И тогда раковое перерождение не наступит? И тогда...?

Фантазировать мы фантазировали, но до истинного начала работы с этим вирусом, да еще в искусственных условиях вне клеток, было далеко.

10. Работа в Колд Спринг Харборской лаборатории

Нужно было для начала научиться размножать вирус SV40 вне клеток, добавив в пробирки нужные предшественники синтеза и необходимые ферменты. Но, во-первых, ферменты стоили немалых денег, коих в моем распоряжении не было; во-вторых, для такой работы нужно было вещество, которое умели добывать вообще в двух-трех местах в мире. Одно такое место Максим еще в Москве подсказал мне — лаборатория профессора Глузмана в знаменитом научном центре США — Колд Спринг Харборской лаборатории, располагавшейся неподалеку от Нью-Йорка на Лонг Айленде и включавшей в себя несколько самостоятельных лабораторий. Колд Спринг Харборскую лабораторию возглавлял первооткрыватель структуры ДНК, Нобелевский лауреат Джеймс Уотсон. Было известно, что Глузман был любимцем Уотсона, его лаборатория располагалась в том же лабораторном корпусе (James Laboratory), где помещался кабинет Уотсона, фундаментальные работы Глузмана по репликации вирусов и многим другим вопросам молекулярных основ онкологии были широко известны в мире. Когда я сказал Колаттакуди, что намереваюсь получить нужные мне вещества от Глузмана, Папачан так удивился, что я понял, что он считает меня плохо подготовленным к американской жизни.

— А почему он станет это делать, думаете ему интересно быть соавтором в этих работах? — спросил недоверчиво мой директор.

Однако возможность того, что Глузман ответит положительно на мою просьбу, существовала. Глузман был в прошлом жителем СССР, выпускником МГУ Яковом Ефимовичем Глузманом, для многих русских — просто Яшей Глузманом, по слухам — замечательным человеком — мудрым, отзывчивым и добрым.

Набравшись храбрости, я набрал заранее добытый телефон Глузмана и после первых же фраз понял, что Яша действительно удивительно приятный человек. Я рассказал о своих планах, о том, как собираюсь построить эксперименты и в

чем нуждаюсь. Мгновенно, без секунды раздумий, Глузман согласился всем необходимым меня снабдить. Радостный я поведал об этом успехе директору Центра.

Теперь надо было начать работать руками, использовать новые приборы, научиться понимать множество вещей, которые были разработаны в последние 10 лет, пока я сидел без работы в СССР.

Переходить к практике, уже налаженной мной — осваивать всё по ночам, было делом непродуктивным. Слишком многое надо было узнать и освоить в краткий срок. И снова на помощь мне пришел Яша Глузман. Я рассказал ему по телефону о своих тяготах, и он предложил следующее: он поговорит с Уотсоном и спросит у него, можно ли мне приехать за счет Колд Спринг Харборской лаборатории на срок до месяца, чтобы поработать вместе с аспирантами Глузмана над предложенным мной проектом. Я слышал, что Уотсон мою фамилию знает, так как однажды подписался под письмом западных ученых в мою защиту. В 60-е годы мы встречались с ним в Москве, но я не был уверен, что он меня помнит по этой единственной встрече. Уотсон на вопрос Глузмана ответил положительно, но распорядился, чтобы я переговорил с ним лично. Я набрал в условленное время телефон Джеймса Уотсона и сказал ему дословно следующее:

— Джим, я старый осел, оказывается, я не умею ничего делать на современных приборах, и хоть идеи есть, но как их воплотить в жизнь, я не обучен.

— Какая ерунда, — ответил Уотсон, — эксперименты теперь не стали более сложными технически, приезжайте к нам, в лаборатории Яши вы всему научитесь играючи, главное знать теорию, а это Вы знаете не хуже его мальчишек. Общежитие мы Вам обеспечим бесплатно, даже билеты на самолет оплатим, обеды у нас дешевые, а соки, кофе, какао и чай в любое время дня и ночи бесплатны.

На следующей неделе я был в Нью-Йорке, Яша рассказал мне, как от аэропорта всего за 25 долларов доехать на маршрутном такси до их лаборатории, к вечеру я добрался до места. Яша сидел и поджидал меня.

Наутро я пришел в лабораторию и был представлен двум аспирантам Глузмана. Те для начала отвели меня в библиотеку, расселись и предложили рассказать идею о блокировании сайта начала репликации вируса SV40 с помощью искусственного блока репликации за счет образования триплекса в этом месте. Только убедившись в том, что я не сумасшедший, они отправились со мной в лабораторию, и один из них, Иэн Мор, начал методично вводить меня в курс дела. Мы начали работу в 10 утра, в 11 ночи Иэн убрал все на лабораторном столе, поводил ручным счетчиком радиоактивности над поверхностью стола, на полках, на полу около всех мест, где мы передвигались, убедился, что ничто не запачкано, и мы вышли из корпуса. Он вскочил в свою машину спортивного вида, показавшуюся мне неотразимо элегантной, и умчался. К девяти утра я должен был быть в лаборатории.

Так потекли день за днем. Первый эксперимент, который от начала до конца вел Иэн, а я только подглядывал за его действиями и записывал шаг за шагом, вроде бы подтвердил правоту идеи Максима. Репликацию вроде бы удалось задавить. Новость была исключительно приятной.

Как раз в эти дни у Яши произошла в жизни крупная перемена. Он решил уйти из академической науки в промышленную фирму, попросту предложившую ему какие-то немыслимые деньги, если он перейдет к ним и возглавит исследовательский отдел этой фирмы. Яша решил, что и научной свободы, и, конечно, денег там будет больше, и, расстроив этим Уотсона, ушел в фирму. Он пообещал Уотсону, что доведет до защиты диссертаций обоих оставшихся у него аспирантов и потому до осени будет два дня в неделю бывать в Колд Спринг Харборе. В этот день его как раз не было, Иэн, торжественный и важный, дождался семи вечера, набрал телефон «Доктора Глузмэна» и, прохаживаясь по коридору на длину телефонного шнура, начал тягучее, наверное — получасовое объяснение деталей Яше. Потом мы тоже поговорили с Яшей, уже по-русски, и с его южным акцентом (Яша был родом то ли из Черновиц, то ли из Чернигова) он стал меня успокаивать и подбадривать.

На второй день опыт должен был вести с начала до конца я, а Иэн только лишь следил за каждым шагом. Результаты стали известны следующим утром. Оказалось, что везде, где я мог что-то испортить, я испортил. Одного дня обучения было мало. Потекли день за днем, я учился, осваивал всякие хитрые приемы, старательно заполнял свой лабораторный журнал и начал понимать, что хоть что-то делать уже могу.

Сейчас я вспомнил один конфуз. На четвертый день, проснувшись, я обнаружил, что почти не могу стоять на ногах, ступни жутко болели. Я начал чувствовать нараставшую боль и днем раньше, но теперь боль стала невыносимой. С трудом я добрел до телефона внизу корпуса, где меня поселили, и позвонил Яше.

— Валера, у вас простая болезнь, — успокоил он меня. — вы растренированы. Постояли три дня у лабораторного бэнча (Яша уже американизировался и вставлял в речь английские слова; в переводе на русский bench означает высокий стол, верстак, в нашем случае — лабораторный стол), и ноги перестали выдерживать. Теперь прыгайте каждые полчаса по минуте, как бы это ни было больно, и к вечеру всё пройдет. Через эту неприятность все проходят.

Яша оказался, как всегда, прав, не прошло и нескольких дней, как боли ушли.

Практика, которую я прошел в свой первый приезд в Колд Спринг Харборскую лабораторию, оказалась для меня решающей. Я вернулся к экспериментам, избавившись от психологического страха, охватывавшего меня при первой мысли о том, что неплохо бы приступить к работе руками. Был и еще один важный положительный урок Яши, значение которого я понял, возможно, не сразу, но который и тогда и позже помогал переносить трудности и жизненные невзгоды. Я имею ввиду заряд оптимизма и спокойствия, которые исходили от Глузмана и которые он умел передать окружающим. Высоченный здоровяк Яша унаследовал от родителей не только мощную комплекцию, но удивительную жизнестойкость. Эдакий супермен с неистребимой улыбкой, не теряющийся ни при каких обстоятельствах и без суеты и дежурной спешки умеющий своего добиваться.

Когда я сейчас вспоминаю Яшу, особенно его жизнелюбие, спокойствие и уверенность в себе, всегда холодок охватывает сердце при мысли о том, каким

жутким оказался конец этого замечательного человека и выдающегося ученого. Ему было около сорока, когда из-за постоянных размолвок с Ритой, его столь же сильной по характеру, как и он, женой, Яша решил от нее уйти. Рита выписала из Средней Азии двоюродного брата и уговорила его помочь физически уничтожить бывшего мужа (нельзя исключить, что не одно лишь чувство ревности, но и холодный финансовый расчет двигали ею). Со своим кузеном она дождалась одиннадцати вечера, когда Яша возвращался домой с работы в снимаемую им квартиру, позвонила. Яша им, конечно, открыл дверь, и тогда они зарубили его топорами, потом расчленили тело на сотню кусков, причем даже срезали аккуратно кожу с пальцев, чтобы полиция не смогла узнать, кем был убитый, а потом попытались сбросить пластиковые пакеты с кусками его тела в реку. За этим занятием полицейский, случайно проезжавший мимо, арестовал кузена, а через неделю была схвачена и Рита, ночевавшая в домиках для гостей на территории Колд Спринг Харборской лаборатории.

Но пока он был жив, он всегда олицетворял собой уверенность и умение держаться на ногах. Много раз он демонстрировал и мне, и Нине это свое замечательное свойство устойчивости при любой качке. При завершении первой нашей личной встречи в Нью-Йорке, когда он и Алик Гольдфарб пригласили нас вечером в русский ресторан в центре Манхэттена, Яша предложил подвезти нас на своей машине в дом, где мы должны были заночевать у дальних родственников. Их дом был в пригороде Нью-Йорка, в поселке, где жили очень богатые люди и где поэтому никакого уличного освещения нет (чтобы не создавать этим светом удобств для жуликов, воров и хулиганов). Я перед выездом позвонил своему родственнику и, передав трубку Яше, дал возможность ему самому узнать, как ехать. Но в хитросплетении аллей мы запутались, все особняки выглядели одинаково, все были колониального стиля (я так понимаю, что это не английское, а американское определение и происходит не от слова колония, а от слова колонна — иными словами, дома с колоннами у входа). Мы с Ниной начали нервничать, ведь мы задерживали и Яшу, и не давали уснуть нашим родственникам, чем дальше, тем больше нас охватывала просто паника, а Яша совершенно невозмутимо повторял: «Спокойно! Спокойно! Ничего страшного не произошло!» и продолжал методично свои поиски, в конце концов увенчавшиеся успехом.

Любимой присказкой Яши была такая:

— Валера, я вам уже сто раз говорил: что главное в жизни? Здоровье! Так перестаньте дергаться. Прежде всего берегите здоровье.

На следующий день после возвращения из Колд Спринг Харборской лаборатории Колаттакуди торжественно объявил мне, что он слегка подвинул постдоков с насиженных мест и выделяет мне одну из ячеек в огромном лабораторном зале Центра биотехнологии, так что теперь у меня есть собственное лабораторное место. Надо было обрасти самыми необходимыми приборами, реактивами, всякими мелочами, чтобы начать работу. На этот счет была дана команда помощнице Колаттакуди Линде, про которую в самом начале моего пребывания в Центре Папачан сказал, что она работала лаборантом у него с самого начала его карьеры, была с ним в Вашингтонском университете и что ее единственную он переводит с собой на всякое новое место.

Сказать, что Линда была человеком приветливым, можно было только по неопытности. Грубая и на вид примитивная дама не толстой, но крайне плотной конструкции, украшенная многочисленными разноцветными наколками на плечах и ногах (эти места Линда особенно любовно выставляла напоказ, щеголяя в открытых майках и коротеньких шортах), она по уикендам появлялась в Центре в сопровождении коротышки-мужа в ковбойском наряде, огромной собакой овчаркой и с сигаретой в зубах. Впрочем, курила она и на протяжении всего дня, хотя во всем университете было вроде бы железное правило, запрещающее курить внутри зданий.

С того времени, как я начал эксперименты, отношение ко мне Колаттакуди и некоторых других людей в Центре слегка изменилось. Они видели теперь меня работающим за лабораторным столом, а не только горбящимся у компьютера над русским текстом или копирующим сотни страниц (в основном тоже напечатанных по-русски) на ксероксе в дирекции. У нас даже как-то возник с Колаттакуди разговор о будущей жизни (я не спрашивал про возможность получить теньюр, речь шла об абстрактной будущей жизни), и Папачан сказал мне:

— Все ваши прошлые работы, пусть даже цитируемые и по сей день, ничего для вас не значат. Они как бы мертвы. Как только вы закончите первое самостоятельное исследование здесь, в Штатах, опубликуете первую статью, сами собой активируются и все старые достижения. Нужна лишь первая публикация, без этого никто не будет даже вспоминать прошлые заслуги.

Такие разговоры, конечно, подстегивали меня и прибавляли энергии.

На следующий год летом Глузман еще раз мне помог. Уже много лет было заведено, что каждое лето в Колд Спринг Харборе организуют международные курсы по освоению новых методов в различных областях молекулярной биологии. Один из наиболее успешных и пользующихся огромной популярностью курсов — «Молекулярное клонирование у эукариот». Самые совершенные методы генетической инженерии и анализа генов на молекулярном уровне включены в данный курс, и участники день за днем осваивают метод за методом практически: своими руками под руководством инструкторов ведут эксперимент за экспериментом. Число мест для курсантов каждый год определяется просто: числом рабочих столов в комнате, где будет идти курс. В нашем случае это была комната с девятью столами, за каждым работало по два человека, следовательно допустить к курсам могли только 18 человек, и была серьезная конкуренция за места. Как правило, предпочтение отдают ученым из стран третьего мира и небольшому числу американцев. Глузман уговорил руководителя курсов, профессора Фреда Альта, включить в группу меня. Альт согласился, но теперь еще нужно было решить вопрос с оплатой участия в курсах: за это участие надо было отдать несколько тысяч долларов, а брать их с недавнего эмигранта и Яша, и Фред не решались. Яша снова обратился к Уотсону, и тот скостил мне цену вдвое.

Эти курсы оказались для меня исключительно важными. В кратчайший срок я сумел освоить большинство передовых процедур, которые были так нужны мне в повседневной научной жизни.

11. Первый грант

Потихоньку я приступил к экспериментам в Центре биотехнологии, начав делить рабочий день на две неравных части: две трети времени проводил за лабораторным столом, а треть оставлял на подготовку книги к изданию. То, что я начал вести опыты по бесклеточной репликации ДНК вирусов, произвело впечатление на многих коллег (дело было относительно новое, и в университете никто не владел пока этими методиками), но все-таки еще часто я спотыкался, иногда на сущих пустяках. Надо было обращаться за советами, искать помощи, я обращался то к одному, то к другому из сотрудников Центра, пока не нашел в одном из молодых заведующих лабораторией в Центре настоящего друга. Роберт Гарбер, сын известного в США профессора-биолога, закончил престижный Корнельский университет, был прекрасно образован, удивительно воспитан и мягок. В повседневной жизни в Штатах принято использовать уменьшительные имена, в соответствии с этой традицией, Гарбера звали Робом. Он свободно владел всеми нужными для специалиста его уровня методами, увлеченно работал, и потихоньку я стал проводить много лабораторных часов в его уютной лаборатории.

Колаттакуди это не понравилось. В один из дней он попросил меня зайти в кабинет и стал расспрашивать об опытах и результатах. Затем без обиняков он перешел к нашей дружбе с Гарбером и сказал:

— Вам не стоит взаимодействовать с Гарбером. Эти молодые люди еще должны себя показать, пока их вклад в науку ничтожен. Да и зачем вам какая-то помощь. У вас и самого дела идут неплохо. Я думаю, от содружества с Гарбером надо отказаться.

Почему возникла неприязнь директора к Робу, я не знал, но по любым масштабам слова о ничтожности вклада Гарбера в науку не соответствовали истине, что-то чересчур личное скрывалось за этой неприязнью.

К тому времени я уже знал, как надо поступать в таких случаях в Америке. Если у вас есть аргументы, то лучше что-то возразить сразу, в таком случае противная сторона либо найдет аргумент посильнее вашего, либо согласится. Тупого упрямства наружу никто выставлять не будет. Поэтому я возразил, что мне приходится трудно в повседневной жизни, так как за любой мелочью приходится обращаться к Линде, а она в семидесяти процентах случаев либо отвечает отказом, либо затягивает выдачу просимого на неопределенный срок. В то же время у доктора Гарбера свой бюджет, и в рамках этого бюджета он может оказывать мне посильную помощь в тех случаях, когда дело с Линдой пробуксовывает.

Сказанное было чистой правдой. Снабжать всем, что было мне нужно, Колаттакуди приказал, но выполнять приказание Линда не торопилась. За каждой мелочью мне приходилось походить и поклянчить, и не раз я уже обращался к самому шефу с вопросами об этих мелочах. Надоедать ему вроде бы было нельзя, я это отлично понимал, но и без его подталкивания экономная Линда добро из своих рук не выпускала.

По-видимому Линда уже не раз капала на меня Колаттакуди. Выход из положения он нашел: сообщил мне, что переговорил с вице-президентом уни-

верситета профессором Джэком Холлэндером о выделении мне специального гранта университета на исследования. По словам Колаттакуди, Холлэндер, уже много раз встречавший меня на всех президентских приемах, согласился выдать до 30 тысяч долларов на мой собственный проект.

Мне предстояло написать текст заявки на грант на 10 страницах, описать примерный план экспериментов, дать финансовые расчеты потребных средств на оборудование и реактивы, описать обязанности одного или двух ассистентов и расходы на их постоянную или почасовую работу и представить этот проект Холлэндеру. За пару дней заявка была написана, Гарбер помог мне выправить английский. Набрать текст и простенькие таблички я уже мог самостоятельно.

Колаттакуди внимательно прочел проект, внес свои толковые исправления, и с выправленным текстом мы отправились к профессору Холлэндеру. Он нас очень любезно принял, мы поговорили о России, в которой вице-президент, оказывается, не раз бывал. Он поведал, что состоял в правлении Всемирного Института мира, занимавшегося по линии Объединенных наций проблемами разоружения в Швеции, и что очень уважал представителя от советской стороны академика Ю.А. Овчинникова, незадолго до того скончавшегося в весьма молодом возрасте.

Через неделю меня известили письмом вице-президента университета, что я награжден специальным грантом университета в размере 30 тысяч долларов и что грант мне предоставлен на год.

Можно было нанять моего первого в Штатах помощника. Есть смысл рассказать, как был осуществлен отбор нужного мне сотрудника, так как процедура отбора отличалась от привычной советской практики.

По требованию дамы, отвечавшей в Центре биотехнологии за прием на работу кандидатов в сотрудники (нечто похожее на начальника отдела кадров в советских учреждениях, только более культурного и лишенного присущей кадровикам в СССР непременной самоуверенности), об имеющейся вакансии было дано объявление в коламбусовской газете. Заявлений пришло около десяти, кадровичка предложила мне переговорить с каждым из кандидатов, выбрать одного и дать ей знать, на ком остановился мой выбор. Я решил, что сам могу ошибиться в отборе, все-таки я еще не знал доподлинно различий в ментальности и поведении американских людей и тех, с кем я прожил всю жизнь, и потому попросил Роба Гарбера поучаствовать в отборе. Мы провели часа три вместе в течение нескольких дней, обсуждая разные вопросы с подавшими на конкурс, и в результате остановились на кандидатуре молодого выпускника университета, который начал со мной работать.

12. Переход на кафедру молекулярной генетики

В контракте с университетом говорилось, что я принят на работу в качестве профессора кафедры молекулярной генетики и Центра биотехнологии. Как получилось, что местом моего пребывания оказался исключительно Центр биотехнологии, я не знал и поначалу над этим даже не задумывался. Но постепенно связи с кафедрой налаживались все прочнее. Меня приглашали на ее заседания,

я стал ходить на все семинары, которые были организованы с большим толком и на высоком научном уровне. Кафедра была создана всего за несколько лет до моего приезда за счет слияния нескольких кафедр и представляла собой настоящий факультет в факультете, число аспирантов доходило до двух сотен, от выплачиваемых ими университету средств за обучение ректорат согласился выделять на семинары значительную часть бюджета (да и сам Охайский университет все-таки был экстраординарным: ни в одном другом университете страны не было такого количества студентов, почти 60 тысяч, в одном кампусе). Исходя из этого, заведующий кафедрой Фил Перлмэн, ученый с весьма известным в мире именем, приглашал на семинары светил со всего света, оплачивая им проезды в Коламбус, проживание в гостинице и солидные гонорары за семинары. Отказов на такие приглашения на моей памяти не было.

Одним из приглашенных был профессор Боб Уэллс (или Веллс, как часто его имя приводили в российских работах по молекулярной генетике), который взялся рассказать о ДНК-овых триплексах. Меня еще за несколько дней до его приезда пригласили принять участие в ужине с Уэллсом, который должен был состояться после семинара.

К моему огромному удовлетворению Уэллс в самом начале своего доклада заговорил о роли Максима Франк-Каменецкого в понимании структуры внутримолекулярных триплексов. Уэллс привел модель, предложенную Максимом, и рассказал о работах по доказательству ее правоты.

В ресторане меня усадили рядом с Уэллсом, и естественно, что мой первый вопрос был связан с тем, насколько хорошо Уэллс знает Франк-Каменецкого. Тут мое удивление возросло еще больше. Уэллс стал рассказывать о том, что многие западные лаборатории пытались пригласить Максима поработать или хотя бы приехать на короткий срок к ним, но сложилось впечатление, что его усиленно удерживают в стране коммунисты.

— Я слышал, что вы дружите с Максимом, может быть вы посоветуете, как сделать, чтобы добиться от советских властей разрешения на приезд Максима в США?

Момент, в который произошел этот разговор, был особым. Дело в том, что Максима после 1985 года действительно не выпускали ни под каким видом из СССР за границу. Конечно, он принадлежал к элитарной семье, к семье людей с огромными заслугами перед страной и мировой наукой, но все-таки и отец Максима, и тогдашний муж его сестры (Роальд Сагдеев) работали над самыми секретными проектами, Максим в детстве жил в сверхсекретном городе Арзамас-16. Но в то же время он своими собственными работами заслужил уважение ученых в мире, был известен как яркий и самобытный профессор, его многочисленные статьи в печати о срочной необходимости изменить организационные рамки советской науки были в эпицентре общественного внимания. Таких людей Советы всегда старались показать миру, чтобы заработать на них славу и признание. Максим же выпал из разряда «полезных евреев», и с 1985 года на его поездки было наложено строгое табу. Ранее, в 1981—1982 годах, он съездил в Польшу, Болгарию, Венгрию и два раза в ГДР, но потом всяким поездкам был положен конец. Официальные объяснения запрета звучали так: «в связи с

изменением семейных обстоятельств». У Максима действительно скончалась скоропостижно жена, и он остался с маленьким сыном на руках, который в любом случае оставался бы заложником в стране Советов.

За несколько месяцев до нашего отъезда, как я писал выше, в Москву нагрянул Джордж Сорос, пытавшийся организовать общество независимых интеллектуалов в СССР. Его усилия власти вроде бы и одобрили, но в то же время постарались создать такие условия, чтобы реально деньгами Сороса воспользовались только «проверенные товарищи». Сорос это мгновенно осознал и нашел способ, как диктовать свою волю. Нескольких диссидентов, в том числе и меня, он попросил дать список тех, кого следовало направить в командировки на Запад за его счет. В моем списке первым стоял Максим, про которого я специально рассказал Соросу.

На следующий день после получения списка Сорос встречался с вице-президентом АН СССР Е. и тот, какими-то путями проведавший о том, что профессор Франк-Каменецкий стоит первым в списке Сороса, наговорил Соросу о Максиме много плохого. Вечером Сорос принял в гостинице корреспондента «Вашингтон Пост» Гэри Ли, много раз встречавшего у нас Максима, и посетовал, что вот какие бывают случаи. Он, дескать, попросил людей, которым можно было бы, казалось, доверять, посоветовать ему, кого нужно пригласить съездить на Запад, ему назвали, в частности, Франк-Каменецкого, а сегодня он услышал от очень высокого человека в стране, что не потому этого профессора не выпускали на Запад, что хотели создать препоны в его работе, а потому что этот профессор ничего собой не представляет, а всего лишь «крикливый возмутитель спокойствия» — troublemaker, по английской терминологии. Гэри тут же спросил, а кто же его вставил первым в список, и Сорос, которому нечего было утаивать и хитрить, назвал мое имя.

При выходе из гостиницы Ли позвонил мне и рассказал эту историю. Я тут же набрал номер телефона, оставленный мне Соросом, услышал его голос и сказал, что никакой Франк-Каменецкий не troublemaker, а замечательный ученый. Из последующего вопроса я понял, что Сорос буквально сражен моей осведомленностью. Подозреваю, он подумал, что я просто подключен к подслушивающему устройству, установленному в его номере. Я объяснил, что только что мой близкий знакомый Гэри Ли позвонил мне, рассказал о словах Сороса о Максиме и обо мне. Я добавил также, что Ли прекрасно знает Франк-Каменецкого, так как часто видит его в моем доме, вот почему он расспросил, а кто дал такую информацию Соросу о Максиме, а, услышав мое имя, решил позвонить мне, чтобы я постарался исправить положение.

— Я вас понял, — ответил мне Сорос. — Вообще-то корреспонденты вправе написать в газете всё, что они от меня услышали, а не разносить слухи из моего номера немедленно тем, о ком я говорил. Но раз вы все тут друзья, то пусть будет, как договорились. Имя Максима останется в моем списке, а то я хотел поверить Е. и вычеркнуть эту фамилию, уж очень искренне Е. мне излагал историю вашего Максима.

На этом дело не кончилось. Через некоторое время советские власти получили список Сороса. Приняв деньги Сороса, они тем самым уже заглотили наживку,

теперь надо было выполнять и его условия. Протянув несколько месяцев, пора было приступать к оформлению выездных документов на соросовских кандидатов.

Тогда власти решили поступить с Максимом иным образом. В июне 1988 года он был срочно вызван к вице-президенту АН СССР академику Велихову. Тот спросил его, зачем понадобилось прибегать к помощи Сороса, если Академия обладает вполне достаточными средствами, чтобы обеспечить поездки своих выдающихся ученых на Запад.

— У вас есть на сегодняшний день какие-нибудь приглашения на Запад? — спросил Максима Велихов.

На счастье, в портфеле Франк-Каменецкого как раз лежало письмо из Испании с приглашением на конференцию по нуклеиновым кислотам.

— Прекрасно, — ответил Велихов, — дайте мне в руки это приглашение, я прослежу, чтобы вам в срок оформили командировку.

Командировку и на самом деле оформили без задержек. Буквально за несколько дней до визита Уэллса в Коламбус Максим выехал в Испанию, теперь ему была открыта дорога на Запад, так как обычно, начав ездить, советские ученые уже не задерживались властями в дальнейшем.

Это дало мне возможность объяснить Уэллсу, что сейчас самое подходящее время послать Максиму приглашение для визита, что я готов помочь в качестве промежуточного звена между Уэллсом и Максимом, и мы тут же начали договариваться о деталях того, как будем координировать свои действия.

Весь разговор происходил при заведующем и двух профессорах кафедры молекулярной генетики, всего на ужин было приглашено пять человек. Обстановка была приподнятая, дружеская, звучали шутки, я рассказал несколько смешных историй из русской жизни.

В конце вечера заведующий неожиданно спросил меня, как мне работается в Центре биотехнологии. Я с восторгом рассказал о своем житье-бытье у Колаттакуди.

— Жаль, — вдруг ответил Перлмэн. — А то мы подумали, что неплохо бы вам перебазироваться на кафедру. Мы бы вам создали условия получше, чем в Центре.

Второй раз разговор на ту же тему произошел через три месяца, когда приглашенным на большой кафедральный семинар стал профессор Чарлз Кэнтор. В России было принято писать его имя как Кантор, широкую популярность приобрел трехтомник «Биохимическая физика», написанный Кэнтором в соавторстве с Шиммелом. Один из томов перевода на русский язык редактировал Максим. Чарлз тогда заведовал кафедрой в Колумбийском университете, он только что стал одним из руководителей проекта «Геном человека», этот проект был у всех на устах, и приезд Кэнтора стал важным событием в Коламбусе. Пригласить его попросил меня Перлмэн, и сделать это было нетрудно, так как в течение многих лет Чарлз сотрудничал с Максимом, наезжал в Москву, и когда мы только появились в Америке, Кэнтор тут же пригласил нас с Ниной в Нью-Йорк. Мы часто перезванивались с Чарлзом, он не раз давал мне важные советы по моим экспериментам, и между нами считалось, что мы работаем совместно. Пока я был в Колд Спринг Харборе, я несколько раз виделся с ним.

Как человек, пригласивший Кэнтора на кафедру, я выступил перед собравшимися, представляя его, потом мы приехали с ним в Центр биотехнологии, где Колаттакуди пожелал говорить с важным гостем наедине. Затем мы остановились у моего закуточка, я показал Чарлзу последние данные в лабораторном журнале, который уже не раз возил ему в Нью-Йорк, а потом довольно большой компанией поехали в ресторан на традиционный ужин, и там тот же разговор о переходе на кафедру завел один из доцентов, Маллер.

— Чего вы сидите на отшибе? — стал напирать он, — мы же все знаем, что у вас там за условия: своего кабинета нет, сидите в проходной комнате вдвоем с японцем, мимо вас всегда шастают люди, ни сосредоточиться, ни подумать, лабораторные условия не ахти какие, да и по тематике своей вы совершенно чужды Центру, они все там сельскохозяйственными аспектами, а не физико-химией балуются. Мы бы создали вам шикарные условия, вы же все-таки Distinguished!

К этому разговору присоединился Перлмэн, который подтвердил, что сейчас, после очередной реорганизации, у них есть прекрасный отдельный офис, с отдельным телефоном. В общем, соблазн был велик.

На следующий день я решил поговорить с Ролфом Бартом и узнать его мнение на этот счет.

— Валерий Николаевич, вы должны представлять себе, что ни один человек в Центре не имеет постоянной позиции в университете. Все сотрудники Центра на временных позициях, и только Колаттакуди недавно стал профессором на агрономическом факультете. Если вы хотите получить теньюр, то должны немедленно перейти на кафедру, только там вы и сможете его получить, хотя я думаю, что вам будет трудно это сделать. Но в любом случае тенурированную должность вы можете заслужить только на кафедре, — резюмировал Ролф.

— А как же мой переход будет встречен в университетских кругах? Это предательством не попахивает? Ведь именно Колаттакуди помог мне получить грант на исследования, а теперь я уйду от них с деньгами? — продолжал я спрашивать.

— Ничего подобного, — возразил Барт, — я знаю точно, что ваша заявка на грант была отправлена на заключение нескольким людям в университете, и главным было мнение Перлмэна, именно он дал добро на грант, — удивил меня Барт. — К тому же, — добавил он, — я чувствую, что в вас всё еще сидит бывший хомо советикус, боящийся инициативы и не желающий сделать шага без разрешения комиссара. Никто в Америке не оглядывается назад, если видит впереди для себя лучшую возможность. Никто такой возможностью не пренебрежет, и никто не осудит другого, если он нашел лучшее для себя применение. Это аксиома американской жизни, и пора вам к ней привыкать.

Маленький Ролф, часто надувавшийся и желавший казаться повыше и посолиднее, выглядел сердитым во время этой тирады, но надо отдать ему должное — он был моим настоящим другом, и я верил, что плохого он не присоветует.

Дилемма с переходом разрешилась для меня неожиданным образом. Я еще все размышлял над тем, что делать и как объявить Колаттакуди о желании

перебраться на кафедру, как вдруг в один из дней, когда я вернулся с очередного семинара на кафедре, Линда буквально наскочила на меня и зашипела, чтобы я немедленно прошел в кабинет директора Центра:

— Решен вопрос о вашем переходе на кафедру, вы должны обсудить с шефом детали.

Я вошел в кабинет Папачана, и он без всяких эмоций пояснил, что с завтрашнего дня я переведен на кафедру, что мне надо собрать все свои вещи, которых у меня, по правде, было немного, и в короткий срок переехать.

— Я только что взял на работу сотрудника из Индии, он уже приехал, и нам нужно место, чтобы его устроить. Свободного пространства в Центре нет, есть только то, что занимали вы. Пожалуйста, завершите переезд за два-три дня.

13. Отличия работы на кафедре

Перейдя на кафедру, я попал в другой мир. Условия работы и взаимодействия с людьми совершенно изменились. Люди на кафедре (я имею в виду профессуру разного уровня, а не аспирантов и постдоков) были в большинстве своем более приветливы — без налета звериной серьезности и настороженности, которыми было буквально пропитано большинство из тех, кто работал в Центре. Я относил это к разнице в положении — на кафедре большинство профессорского состава были люди тенурированные, и над ними не тяготела вечная мысль о том, удастся ли в жизни зацепиться за достойное место.

Разительно отличались и отношения с заведующим кафедрой. Не могу сказать, что с Колаттакуди у нас были плохие отношения, напротив — он явно симпатизировал мне, однажды даже пригласил нас с женой к себе домой (что, как сказал мне удивившийся этому Роб Гарбер, ни разу не случилось ни с одним другим человеком из Центра), мы в ответ приглашали Папачана к себе в нашу прекрасную по московским и крайне непритязательную по американским меркам трехкомнатную квартиру. Я имел право, не спрашивая разрешения Сиськи или Линды, заходить к Папачану в кабинет и разговаривать с ним (это право имели в Центре, как я позже заметил, лишь два-три человека).

Папачан любил напустить на себя внешнюю серьезность: он сохранил акцент выходца из Индии, разговаривал с сотрудниками короткими фразами, в которых слова вылетали пулеметными очередями, и, по-моему, любил, когда вверенные ему сотрудники были откровенно подобострастны в беседе с ним. Поскольку большинство молодежи в его собственной группе были индусами, эта аура пресмыкательства постоянно витала в пространстве его собственной лаборатории. Заместителем директора Центра был еще один индус, и каждый вечер они сходились на 15—20-минутную беседу в кабинете директора. Младшие сотрудники из других лабораторий обращаться к директору, как я заметил, не могли вообще. Допущены были только заведующие лабораториями, все коренные американцы. С их стороны никакого подобострастия не было, пожалуй даже наоборот, все разговоры с директором всегда были холодно настороженными и отстраненными, хотя между собой все заведующие (люди в возрасте от 35 до 40 лет) дружили, встречались на вечеринках то у одного, то у другого сотрудника и

взаимно обсуждали лабораторные и житейские трудности, когда они возникали. Раз в неделю в обеденный перерыв вся молодежь, включая мужчин-заведующих, высыпала на поляну у стены Центра и гоняла футбольный мяч с криками и даже воплями, а потом все усаживались в кружок на земле, чтобы проглотить полагающиеся на обед сэндвич и кофе. На семинарах Центра всегда царила деловая и приветливая атмосфера, хотя Колаттакуди старался внести нотки формальности и сухости на семинары также.

Фил Перлмэн ни в каком чинопочитании не нуждался, налета напускной серьезности не допускал. Он, как и Колаттакуди, курил, но позволял это себе только в момент, когда рабочий день кончался. Тогда он распахивал вторую дверь его кабинета, ведшую прямо в коридор, разваливался в кресле, попыхивал сигаретой и блаженно жмурился. Дефицита в общении с ним никогда ни у кого не было. У нас с ним сложились просто дружеские отношения, и он прощал мне многие высказывания и шуточки, которые в присутствии Колаттакуди были бы не просто неуместны, а совершенно не позволительны. Позже я увидел, что он не был сахарным со всеми и мог повздорить с теми, кого недолюбливал, но они также знали такое к ним отношение, платили тем же и вздорили с ним на равных.

Что же до аспирантов и постдоков, то они, пожалуй, ничем не отличались от равных им по положению в Центре биотехнологии. Работали они дни и ночи, конкурировали друг с другом даже в мелочах, кто-то был более дружественен, кто-то более замкнут, в лабораториях одних профессоров общая обстановка была более теплой, в других — проглядывали симптомы откровенной вражды. Я слышал о похожих взаимоотношениях от своих коллег из других городов и институтов.

Дело доходило кое-где и до полного безобразия. Однажды я услышал шокировавший меня рассказ нашей знакомой, которая приехала искать место в очень хорошем университете. Ее присутствие почему-то раздражало чету китайцев, работавших за соседними столами. То и дело по пустякам возникали неудовольствия, причем коллеги нашей знакомой использовали каждый предлог для того, чтобы решать проблемы по-американски: они наушничали заведующему, настраивая его против непрошенной русской конкурентки*. За этим следовали нагоняи заведующего, наша знакомая рыдала, звонила нам и спрашивала, как ей быть, сказать что-то определенное я не мог, потому что самому не хватало опыта.

---

* Одно из удививших нас правил американского образа жизни — наушничество. В российской ментальности стукач — это презренный тип, продающий своих друзей и знакомых, не способный сам решить вопросы напрямую с коллегами, человек, лишенный моральных стандартов порядочности. Согласно американской традиции, видимо внушаемой с детства родителями, поддерживаемой социальным опытом, школой, церковью и государством, доносительство начальству о замеченных недостатках с указанием на ошибки или неправильное поведение коллег, соседей, друзей и даже ближайших родственников — это единственный способ разрешения конфликтов и поддержания внешней респектабельности. Никто не скажет вам в глаза, что он или она о вас думают или чем недовольны. О ваших действиях доложат начальству, его дело принимать меры к исправлению недостатков. Если начальство мер не принимает, то донос идет на начальника в более высокие инстанции. Доноситель же при встрече будет вам улыбаться, разговаривать как самый близкий приятель, если вы его спросите о доносе, никогда в нем не признается и сведет все в формулу, которая полностью

Наконец, произошла близкая к уголовной история: вечером китайцы плеснули радиоактивным раствором на стол нашей знакомой (после того, как она покинула лабораторию), затем замерили радиоактивность, обнаружили ими же созданное загрязнение и побежали доложить заведующему, уверяя его, что эта русская — грязнуля, не умеет работать и всех неминуемо подведет. Всё в этом подвохе было рассчитано верно, кроме одного: в течение почти недели наша знакомая не работала с радиоактивностью, в ее распоряжении радиоактивных веществ на эту неделю не было, а заказ ее был на более поздний срок, она смогла доказать свою невиновность, обстановка дошла до высшей точки противостояния, заведующий был человеком неглупым и сразу всё понял. Прыть нечистоплотных коллег была самым строгим образом пресечена (в Америке умеют это делать не хуже, чем в России), по сей день наша знакомая успешно работает в том же университете, в той же лаборатории, а где те злобные ребята, я даже не знаю. Наверное, похожие истории могут рассказать многие из тех, кто побывал в борьбе за место под солнцем, лишь степень подлости могла быть гуще или жиже. Зная о таких историях, я старался следить за каждым своим шагом, не лез в поучения или обсуждения, старательно ограничивал темы разговоров, особенно с теми, в ком была заметна тяга к поиску недостатков в других.

Такие ушлые ребята и девицы встречались и на кафедре молекулярной генетики, не раз об их выходках между собой говорили с осуждением профессора кафедры, но в целом на этой кафедре удерживались довольно дружеские взаимоотношения. И Перлмэну и другим удавалось именно такой тон на кафедре утвердить и поддержать.

Особенно заботливой и сердечной была главная помощница заведующего, руководившая штатом секретарей (обычно четыре девушки на примерно 30 профессоров и полторы или две сотни аспирантов, да плюс к тому с тысячу студентов) — Джессика Сигмэн. Она была совершенно замечательным человеком. Джессика давно работала в университете, знала все тонкости делопроизводства, была знакома всем людям в администрации, умела в секунды разрешить проблемы, над которыми штат помощников Колаттакуди мог ломать голову сутками. Надо к этому добавить, что Джессика вообще была предупредительна и мила. Пожалуй, за 11 лет жизни в Америке я больше таких сердечных и готовых к помощи людей не встречал. Иногда на кафедре появлялся ее муж с двумя очаровательными дочками лет 8 и 11, и было видно, что вся их семья полна тепла и любви.

исключает возникновение конфликтности. Отсюда берут свои корни такие дикие для русского ума случаи, когда, например, одна «подруга» вызывает хитрыми и подлыми приемами откровенность более младшей «подруги», записывает все откровения на магнитофон, а потом передает пленки специальному судье и в ФБР. Несмотря на очевидную подлость всех действующих лиц (от президента страны до последнего клерка, вовлеченного в эту грязь), страна оказывается погруженной в сексуальные подробности самого низкого пошиба, но главное лицо, привлекшее президента своей якобы влюбленностью и при этом набирающее улики в виде «голубого платья», оказывается в выигрыше и на подлости «зарабатывает» миллионное состояние и приобретает мировую известность.

14. Второй грант

Хоть кратко, но я должен рассказать о событии, которое не потребовало больших усилий с моей стороны, хлопот и уговоров начальства, но которое оказалось для последующей жизни исключительно важным.

На кафедре мне действительно предоставили несравненно лучшие условия, но появилась новая трудность: большинство денег из первого гранта ушло на покупку небольших приборов, на приобретение необходимых реактивов, на оплату работы помощника, которого я нашел.

Зато теперь у меня было всё необходимое для собственных экспериментов, в лаборатории уже упомянутого доцента Маллера на втором этаже здания мне выделили нужное пространство, на пятом этаже у меня была отдельная комната с большим письменным столом, закупленным кафедрой — со специальным столом для компьютера (я сам ездил в магазины, выбирал этот стол-секретер и купил его на средства из гранта). Компьютер был также новым и более усовершенствованным по сравнению с тем, что был у меня в Центре. Теперь мне не нужно было тесниться и ютиться на маленьком столе, я раскладывал все нужные журналы, книги, бумаги на огромной поверхности нового стола с множеством ящиков, на своем вертящемся кресле мог сразу же отвернуться от стола к компьютеру или вернуться назад к столу. Свет в офисе был ярким, мягким, приятным для глаз, на стене у стола я укрепил пробковую доску, на которой развесил несколько фотографий и вывешивал записки о том, что должен не забыть сделать в ближайшие день-два. Если бы я раздобыл дополнительные средства, то вообще жизнь была бы прекрасной.

За год, прошедший с момента приезда в США, я подружился с несколькими профессорами кафедры: этим людям было интересно знать, что я делаю, у них всегда можно было попросить совета в случае каких-то экспериментальных неудач, им было любопытно обменяться мнением по поводу разных событий, нередко возникали вопросы о том, а как решаются те или иные проблемы в России (налета превосходства со стороны американцев я в те годы не видел, СССР еще оставался в их глазах могучей державой, не уступающей США), мы нередко встречались семьями в домашней обстановке.

Подружился я и с вице-президентом университета Холлэндером. Его жена, Шэрон, была прекрасной концертирующей пианисткой, ей очень нравился наш сын Володя, и она любила расспросить его о чем-нибудь и вместе посмеяться. В один из визитов Джэка к нам зашел разговор о финансовых сторонах моей работы, и вдруг Холлэндер проговорил:

— Я вообще не понял, почему вы, Валерий, решили не брать 50 тысяч долларов на ваш грант, когда я это предложил?

Я просто опешил. Никто никогда мне о такой сумме не говорил, Колаттакуди вел дело таким образом, что только благодаря его заботе и доброте мне дали 30 тысяч. Я начал расспрашивать Джека о том, как всё происходило, и понял, что хитрый Папачан и здесь поступил не совсем однозначно. Без всяких с моей стороны ухищрений мы договорились с вице-президентом, что я теперь, уже прямо через кафедру молекулярной генетики, попрошу дать мне второй грант на

дополнительные 25 тысяч долларов. Никаких препятствий со стороны Перлмэна или его помошниц я не встретил, и через месяц мне был выдан университетом второй грант.

15. Первый курс лекций

Не помню, в это время или чуть раньше я впервые спросил Перлмэна, когда мы вели очередную вечернюю задушевную беседу, а насколько мне трудно будет получить теньюр.

— Я не знаю вообще, возможно ли это, — ответил он. — Чтобы получить теньюр, нужно выполнить, по крайней мере, три главных условия. Во-первых, успешно читать один из главных курсов на кафедре, причем читать так, чтобы студенты дали высокую оценку преподавателю. Во-вторых, получить солидный грант от какого-то из внешних ведомств, внутриуниверситетские гранты при этом во внимание не принимают. В-третьих, надо проявить себя таким образом, чтобы в университете поняли, что вас знают и уважают в научном мире.

Я тут же спросил, могу ли я приступить к чтению курса лекций, и получил малоутешительный ответ, что все курсы расписаны на полтора-два года вперед, каталоги для студентов напечатаны, и они уже уплатили деньги за, по крайней мере, ближайший семестр вперед.

— Знаете, Вэлери, есть лишь одна реальная возможность. Я могу разрешить вам читать летний курс, начните готовиться, предложите мне список лекций, примерно двадцать четыре часовых лекции, я попробую вам помочь, хотя это будет и непросто, — завершил нашу беседу завкафедрой.

Вечером я рассказал Нине о нашем разговоре. Холодок из сердца не уходил. Я понимал, что уехав на Запад, я отрезал себе пути к отступлению, но так же отчетливо представлял, насколько возросла моя ответственность перед двумя самыми дорогими для меня людьми, женой и сыном, которые поверили мне и приехали сюда, в пока еще чужую страну, где я должен всеми силами бороться за место постоянной работы.

Конечно, когда я пишу это, я не могу передать всей гаммы переживаний того времени. Порой меня охватывал страх перед будущим, иногда страх уступал надежде, а чаще всего я понимал, что как не пропали мы с Ниной в свое время, оказавшись одновременно уволенными с работы в советской стране, где условия были во сто крат жестче, так не пропадем и здесь. Мне часто приходил на ум рассказ одного из наших друзей, мастера по ремонту телевизоров в СССР, который приехал с большим семейством в США лет за семь до нас и который после приезда три или четыре раза терял работу, но каждый раз тут же находил новую. Высказывание его было полно оптимизма:

— Я не просто каждый раз быстро находил работу. Каждая новая работа была лучше предыдущей.

«Не пропаду», — внушал я себе, но всё равно убрать все корни, питавшие мой внутренний страх, не удавалось.

Примерно через месяц после столь неутешительного разговора с заведующим секретарь кафедры Джессика позвонила мне и попросила зайти срочно к Перл-

мэну. Его кабинет был на том же пятом этаже, что и мой, через минуту я был на месте.

— Вэлери, вы хотели начать читать курс студентам? Вы еще не отказались от этой идеи? — спросил меня с ходу Фил.

— Я просто счастлив, что Вы изыскали для меня такую возможность. — ответил я.

Разговор состоялся в марте 1989 года, и я был уверен, что речь идет о летнем курсе. Поэтому вполне сдержанно и спокойно я спросил, о каком курсе идет речь и когда я должен буду начать его читать.

— Это курс молекулярной генетики для старших студентов и части аспирантов, «Молекулярная генетика 500». Первая лекция должна состояться завтра, студентов примерно 70 или 75, читать вы будете каждый день по лекции, кончите к маю. Это наш интенсивный курс. Всего 45 часовых лекций.

Видимо на моем лице проявилось что-то заметное, так как Фил улыбнулся и продолжил пояснения:

— Этот курс традиционно читал на кафедре профессор Ф. Не знаю, известно ли вам, что он тяжело болен СПИДом, болезнь перешла в крайнюю стадию, поэтому его нужно срочно заменять, курс очень важен для кафедры, все профессора уже давно разобрали положенные им часы, и для вас — это блестящая возможность проявить себя. Надеюсь, вы не испугались такой перспективы? Вы вправе избрать любой учебник, сами можете построить курс так, как хотите; вы, вероятно, понимаете, что для наших студентов будет интересно услышать лекции человека, который знает много об истории молекулярной генетики и сам принимал участие в нескольких интересных направлениях исследований.

Ошарашенный, я вышел от Фила, добрел до своего кабинета, тщательно запер дверь и набрал домашний телефон. Когда я сказал Нине, что мне дали читать курс, она радостно вскрикнула, но когда я объяснил остальные детали, радости в голосе Нины стало поменьше.

Нужно было срочно приниматься за подготовку к лекциям, а я не знал еще, по какому учебнику учить и насколько сложен будет для меня данный курс. Я вчерне представлял содержание первой лекции — рассказ об основных вехах в развитии всего комплекса молекулярно-генетических наук. Эти вещи я хорошо знал. Но завтра! Без подготовки! Осталось меньше суток!

Я решил посоветоваться с профессором кафедры и одновременно заместителем декана биологического колледжа Томом Байерсом, как лучше всего поступить. Я уже не раз консультировался у него по разным случаям. Добрый и внимательный Том и его жена Сандра стали нашими близкими друзьями, они нас приглашали то к себе домой на ужин, то на бейсбольный матч на стадион, то на концерт популярной музыки, то на собрание их религиозной группы (оба — глубоко верующие люди); они нередко бывали у нас дома. Я позвонил Тому — на счастье он был на месте в своем офисе на втором этаже — и попросил зайти ко мне на несколько минут. Том пришел, я рассказал ему о случившемся, увидел обрадованное и одновременно серьезное выражение его лица, а затем услышал несколько важных советов.

— Студентам будет трудно порой разобрать ваш акцент, Валерий, особенно в случаях использования новых для них терминов. Чтобы избежать этих чисто лингвистических трудностей, я советую вам к каждой лекции готовить две-три странички краткого изложения материала лекции, лучше с картинками, объясняющими основные процессы и с написанными сбоку от картинок пояснениями терминов и фаз процессов. Я понимаю, что вас будет волновать то, насколько корректно всё написано в ваших английских текстах. Но это легко привести в норму, используя помощь двух ваших ассистентов лектора.

Том объяснил деталь, которую я до этого не знал. Оказывается в американских университетах существует правило, согласно которому профессору, читающему курс, если к нему записалось достаточно большое число студентов, выделяют в помощь ассистентов из числа аспирантов, которым за ассистентскую работу платят. Узнав, что на курс, предложенный профессором Ф., записалось 75 студентов, Том тут же сказал, что ассистентов должно быть не меньше двух. Тут же я позвонил Джессике и узнал имена этих ассистентов, а еще через полчаса они оба — девушка и молодой человек — были в моем офисе.

Теперь моя жизнь складывалась следующим образом. Я вставал, как обычно, рано утром и мчался в университет, с тем чтобы в спокойной обстановке подготовить текст пособия для студентов на следующий день. Всякие привычные мне черновики, с которых нужно было перепечатать текст набело, пришлось отложить. Я стал сразу писать тексты на компьютере, волнуясь и спотыкаясь практически на каждом предложении, но все-таки примерно к полудню очередные 3 странички были готовы. В этот момент приходил кто-то из ассистентов (они разделили обязанности между собой), мы читали совместно текст, я вносил исправления в тех местах, которые были совершенно непонятны ассистентам, после чего они уносили с собой текст для окончательного приглаживания стиля.

Я наспех проглатывал какую-то пищу, данную мне Ниной (я, по правде, так и не смог привыкнуть к американскому общепиту — сэндвичам, хотдогам, пицце и т. п.), и начинал лихорадочно (всё теперь было в спешке!) проглядывать материал к сегодняшней лекции. В 2 часа дня я уходил на лекцию. Я стал замечать, что примерно с третьей лекции на них зачастили другие профессора кафедры. Каждый раз они спрашивали разрешения посетить лекцию и внимательно следили за моими объяснениями.

Через час я возвращался в офис и принимался готовиться к завтрашней лекции — читал учебник, бегал в библиотеку, если мне хотелось добавить что-то из других источников или из оригинальных работ по теме лекции, делал ксерокопии нужных мне рисунков. Не позднее шести часов вечера я отрывался для того, чтобы спуститься на второй этаж в лабораторию и спросить моего ассистента, как продвигается его работа, а затем снова возвращался в офис. Лекционные ассистенты приносили исправленные странички на завтра, я корректировал текст в моем компьютере, распечатывал нужные страницы, вклеивал, если это было нужно, картинки, после чего шел в комнату с огромным кафедральным ксероксом, умевшим не только делать копии, но сразу их брошюровать. С пачкой приготовленных на завтра пособий, я возвращался в офис, опять перекусывал и продолжал подготовку к следующей лекции до 11 часов ночи, иногда и далеко за

полночь. Потом спускался вниз, садился в припаркованную вблизи на стоянке машину и ехал домой. Спать приходилось мало, волнений значительно прибавилось, но теперь волнения приобрели новую окраску: успеть всё сделать лучшим образом, успеть прочесть то, другое и тому подобное.

За ночь материал завтрашней лекции укладывался в голове, поэтому приезд на работу был радостным — нужно было всё продуманное лучшим образом вложить в краткие объяснения на двух-трех страницах.

Я довольно заметно устал за те 45 дней, пока продолжался мой первый курс, но чувствовал день ото дня нараставшее удовлетворение от работы. Как-то перед концом курса — насколько помню, за одну или две лекции до его завершения, — я шел к аудитории и увидел Джессику, стоящую перед ней.

— Доктор Сойфер, — сказала она мне, — погуляйте минут десять, я должна... — и протараторила что-то мне совершенно непонятное, но я сообразил, что от меня требуется побыть вне аудитории какое-то время. Перед лекцией мне всегда не хватало некоторого времени, как студенту перед экзаменом, и я с удовольствием проглядел мой конспект еще раз. Потом Джессика вышла с кучей каких-то листков и любезно придержала передо мной дверь. Я всему этому происшествию не придал никакого значения.

На следующее утро Джессика позвонила и сообщила, что вчерашний опрос студентов дал мне оценку 6,15. Теперь я понял, что она приходила раздать студентам опросные листы, а теперь посчитала мои результаты. Но что значит 6,15, я не знал. Наверное, подумал я, шкала 10-бальная, и такая оценка может означать нечто плохое: выше середины, но далеко от лучшего результата. Наверное я с треском провалился с лекциями, а ведь Перлмэн предупреждал меня, что дальнейшие шаги в жизни зависят от студенческой оценки.

Я все-таки решил проверить у кого-то, какие бывают обычно оценки и для этого набрал телефон Ролфа Барта, сказав ему, что получил при опросе студентов шесть и пятнадцать сотых балла. Это плохо или очень плохо? — осведомился я.

Решительный Барт ответил без запинки:

— Такой оценки быть не может. Вы что-то напутали. Позвоните Джесси и спросите ее еще раз, а лучше подойдите к ней и попросите написать ваш балл на бумажке, — командным голосом приказал мне Ролф, добавив, что много лет преподает, но такой оценки у него лично никогда не было, и о таком балле у его коллег он не слышал.

Совсем расстроившись, я поплелся к Джессике и смиренно поведал, что не понял по телефону оценку и прошу мне ее написать.

Джесси буквально расплылась в улыбке, схватила листок бумаги из стопки на краю стола и огромными цифрами написала: 6,15, — а рядом поставила восклицательный знак.

Расположенная за ее креслом дверь в кабинет Перлмэна была открыта, он, видимо, услышал наши переговоры и прокричал мне:

— Вэлери, зайдите ко мне!

Пока я шел в его кабинет, Фил отодвинул кресло от своего стола, пересел в маленькое кресло у окна, пригласив знаком и меня сесть, и после этого сказал, что рад моему результату. Из его рассказа я понял, что шкала отметок в

университете семибальная, и я заработал у студентов (главным для Перлмэна было то, что это была не маленькая группа, а 75 студентов) высший из баллов, полученных профессорами их кафедры.

— Я буду вас просить прочесть курс и в следующем семестре и предлагаю срочно подумать над тем, какой проект гранта и в какое главное ведомство вы подадите. Сейчас конец мая, очередной срок подачи заявок буквально на носу, вам не успеть, а следующий контрольный срок 1 октября, у вас есть время подумать.

Я начал продумывать некоторые идеи относительно изучения репарации у растений. Теперь я уже знал многие методы, которые помогли бы пойти дальше в понимании молекулярных принципов этих процессов у растений. Репарацию ДНК микроорганизмов и человека активно исследовали во всем мире, а растения так и оставались плохо изученными. Я начал читать статьи о репарации, приобрел несколько книг на эту тему, пустующие полки в моем офисе понемногу стали заполняться.

Но неожиданно в мои планы вмешалось новое обстоятельство, коренным образом изменившее жизнь.

16. Приезд Франк-Каменецкого в США

Со времени, когда Боб Уэллс побывал с семинаром в Коламбусе, прошло несколько месяцев. Как мы и уговорились, Боб приготовил приглашение для Франк-Каменецкого, я переправил его в Москву с оказией, там началось оформление для Максима выездных документов. Все формальности осуществились на этот раз гладко, настал март 1989 года, когда Макс прилетел к Уэллсу.

К этому времени стало ясно, что Максова идея с подавлением репликации вируса SV40 полностью провалилась. Участок, с которого начиналась репликация, никакого триплекса не образовывал из-за несовершенства последовательности оснований в этом месте. Те несколько нуклеотидов, которые затесались в район, потенциально способный формировать триплекс, портили дело и мешали стабилизации триплекса. Тем самым опрокидывались и наши радужные надежды, что удастся контролировать развитие вирусов, обнаружить подходы к предотвращению раковых заболеваний и многое другое, что могло бы быть, но не случилось.

Когда стало ясно, что Максим сумеет приехать в Штаты, я начал обзванивать всех крупных специалистов, работавших по триплексам, и договариваться с ними о визите Макса во время его пребывания в США. Ни один из них не отказался принять Максима, и от Уэллса Максим отправился в турне по Соединенным Штатам. Это была его первая поездка, его радушно принимали в разных университетах, он выступал с лекциями, давал семинары, общался с десятками людей.

В Коламбус он приехал полный впечатлений, надежд, планов. Перлмэн распорядился собрать для Макса кафедральный семинар, он с блеском на кафедре выступил, и начались наши с ним бесконечные обсуждения возможных планов совместной работы. Почти все время суток мы проводили в разговорах, обдумывая разные подходы к тому, что можно было бы делать дальше, используя мои

новые возможности на кафедре, полученные деньги, в то же время учитывая данные, полученные недавно во многих лабораториях мира в связи с начавшимся мощным изучением триплексов. В тот его приезд мы в основном крутились мыслями вокруг одной темы: как продлить время жизни триплексов путем введения в систему двухвалентных ионов, высокомолекулярных полианионов, как преодолеть отрицательное влияние отдельных «неправильных» нуклеотидов на формирование триплексов. Максим улетел в Москву, а чего-то решающего, яркого мы так и не предложили.

Второй раз, уже по моему приглашению, Максим приехал в июне 1989 года. Сначала он остановился в Нью-Йорке. Его поселили в доме для приезжающих Колумбийского университета, я собрался к нему в Нью-Йорк, оттуда позвонил Соросу и договорился с ним, что привезу к нему Максима в гости на одну ночь. На машине друга Максима, замечательного художника, давно поселившегося в Нью-Йорке, Толи Крынского, мы поехали на Лонг Айленд в загородное имение Джорджа Сороса, расположенное на берегу Атлантического океана. Потом уехали в Коламбус, где продолжили наши научные посиделки.

В один из дней мы расположились в моем офисе, куда я успел купить еще одно кресло. Как только я открывал дверь, Максим плюхался в него, разваливался в своей расхристанной манере и блаженствовал. Мы снова и снова возвращались к различным сторонам в строении триплексов и старались найти какие-то новые подходы к изучению этих структур.

Однажды Максим упомянул неизвестный мне факт, касавшийся структуры ДНК в участках триплекса. Он сказал, что та часть ДНК, которая сохраняла двойную нить, оказываясь опутанной третьей нитью, изменяет привычную для двуспиральной молекулы конформацию и переходит в новое состояние. Упорядоченность структуры ДНК в этом участке нарушается, плоскости оснований вместо того, чтобы быть параллельными друг другу, сдвигаются со своего места и расходятся в стороны. Новая структура из так называемой конформации Б превращается в конформацию А.

Буквально за несколько недель до этого, размышляя над проблемами репарации ДНК у растений, я натолкнулся на доказанный факт, что ДНК, находящаяся в конформации А, становится устойчивой к облучению ультрафиолетовым светом из-за изменения положения нуклеотидов в спирали ДНК. Много лет в своей жизни я занимался облучением ДНК, в том числе и ультрафиолетовым светом, и хорошо знал детали взаимодействия разных спектров света с ДНК. Поэтому прочитанная незадолго до этого разговора статья о невозможности образования некоторых типов поражений в А конформации ДНК сидела в памяти прочно.

Когда Максим лишь вскользь упомянул о переходе конформации Б в конформацию А, мне в ту же секунду пришла в голову свежая идея. Я сразу сообразил, что можно использовать ультрафиолетовый свет как поисковый зонд для детекции триплексов и выявления их протяженности и стабильности. Смысл этой идеи легко пояснить: раз двунитевая часть ДНК в зоне триплекса принимает новую форму, причем перестает повреждаться ультрафиолетовым светом, то следует облучать ДНК этим светом, и там, где в молекулах будут вкрапления триплексов, ДНК останется неповрежденной. Тогда на следующем

за облучением этапе надо будет применить метод изучения последовательности нуклеотидов (как говорят, секвенировать ДНК, от английского sequence — последовательность) и тут же обнаружить с точностью до нуклеотида, где именно в ДНК находится участок, сложившийся в триплекс. В тех же участках ДНК, где триплексы содержаться не будут, ультрафиолетовый свет повредит нуклеотиды, и при секвенировании все повреждения станут видны. Благодаря этой идее можно было нащупать подход к созданию нового, очень чувствительного и простого метода обнаружения триплексов. В то время это было очень существенным и важным делом.

Максим мгновенно идею понял, мы оба возбудились и начали, прерывая друг друга и все более воспламеняясь, проговаривать детали экспериментов, которые нужно было сделать.

За короткий срок идея была доведена до практического состояния. Максим улетел в Москву и обещал, что засадит кого-то из своих сотрудников в его московской лаборатории за безотлагательную экспериментальную проверку моего предложения и за описание технических деталей, с тем чтобы позже мы могли быстро написать заявку на грант и не тратить время на эти детали.

Пролетело лето. Где-то в его конце Максим прилетел в Штаты и привез мне сырой набросок текста технической части будущей заявки на грант и первые результаты экспериментов. Они, кстати, однозначно подтвердили правоту догадки о возможности разработки нового метода детектирования триплексов (Максим назвал метод фотофутпринтингом триплексов).

Мы засели плотно за написание заявки на грант. До установленного срока оставалось не так уж много времени, а нам надо было еще многое сделать, отшлифовать у кого-то английский, приготовить иллюстрации, все материалы скомпоновать и т.д. Сам текст заявки был не очень большим, что-то около 25 страниц, но к нему нужно было приложить копии опубликованных статей, описания некоторых дополнительных процедур, в целом должно было получиться более сотни страниц. Накопленный мною опыт в написании книг (особенно научно-популярных, которые требуют умения представить каждую идею в понятном и привлекательном виде) на этом этапе пригодился.

Работали мы очень усидчиво и даже исступленно. Я пресекал все попытки Максима отвлечься, привычно поболтать часок-другой по телефону с приятелями, удрать в музей на полдня или что-то в этом роде. Для меня это был привычный ритм, Максим от такого ритма осязаемо страдал. Помню, как однажды поздним вечером, возможно уже ночью, он вдруг вскочил и заорал на меня своим тонким визгливым голосом, выпучив глаза и смешно вздергивая бородой:

— Я так не могу! Я не могу по стольку сидеть, писать, говорить, снова писать и снова говорить! Я хочу играть в теннис, я хочу смотреть картины, я хочу, в конце концов, пойти в гости, побалдеть. Я не могу по стольку работать! Всё! Кончай! Это сумасшествие какое-то!

Его минутная выходка ни к какому радикальному изменению наших планов не привела. В этот день я закруглился, мы поехали спать. Но в последующие дни писали наш проект очень целенаправленно.

17. Покупка первого дома в Америке

Я забыл сказать, что именно в это время произошло серьезное изменение в нашем быту. Мы купили себе дом в Коламбусе. Пожалуй, стоит поподробнее рассказать об этом замечательном в нашей жизни событии.

Квартира, которую нам предоставил, благодаря заботам Бартов, университет, очень нам нравилась. Три больших комнаты, обставленных необходимой мебелью, кухня с мойкой посуды, газовой плитой, огромным холодильником, в подвале общая стиральная машина с сушкой, стоянка для машины под окнами, в двухстах шагах от дома огромные магазины — и продуктовые, и хозяйственные — в полукилометре от нас супермаркет. Чего желать лучшего?!

Квартира была расположена на первом этаже двухэтажного трехподъездного дома, построенного специально для семей студентов, аспирантов и молодых сотрудников университета. Вокруг было еще наверное десятка три таких корпусов. Всё это называлось «Университетской деревней». До главного кампуса университета можно было добираться на маршрутном автобусе. Правда, автобусы эти ходили редко, но четко придерживались расписания, так что при желании можно было легко ими пользоваться.

В городке не селились профессоры, считалось, что здесь шумно. Городок был заполнен преимущественно студентами и семьями молодых сотрудников университета. Так, неподалеку от нас жил один из постдоков Центра биотехнологии, голландец по происхождению, который меня в самом начале нашей жизни в Штатах удивил своей открытой недоброжелательностью. В момент, когда вокруг стояло несколько других сотрудников Центра, он вдруг сделал пару шагов ко мне, брезгливо схватил за уголок воротника рубашки и спросил с явной издевкой в голосе и так, чтобы все слышали:

— Выдающийся Профессор! А это, видимо, ваша любимая рубашка, если вы второй день в ней приходите!

Затем он буквально заржал и отступил назад, возвращаясь в шеренгу других сотрудников.

Я нашелся, чем парировать его выходку, сказав, что перед отъездом из СССР купил полдюжины таких рубашек и теперь, меняя их каждый день, не знаю никаких хлопот. Все стоящие кругом заулыбались. Американцам явно нравилось, когда такие «бои», на равных, происходили на их глазах, но я понимал, что этот тип пытался меня оскорбить, указав на нечистоплотность, непростительную для американцев, принимающих каждый день душ и меняющих каждый день рубашки и носки. Раскланиваться с голландцем я не перестал, но других контактов не поддерживал, хотя иногда он видел меня на утренней пробежке вокруг корпусов городка.

Мы любили наше жилище, но мои коллеги его оценивали иначе. Многие бывали у нас в гостях, всем нравились блюда, приготовленные Ниной, иногда мы слушали пластинки с записями русской классической музыки, которая пользуется в Штатах огромной популярностью и звучит практически каждый день по каналам классического радио. Но в целом я видел, что стиль жизни в квартирках был чужд моим коллегам, которые тяготели пусть к маленьким, но собственным домикам.

Однажды Ролф Барт, бывавший у нас чаще других, даже в сердцах спросил нас с Ниной:

— А вам еще не надоело жить в этих «меблирашках»? Не пора ли купить собственный дом? Кристина могла бы подобрать сносный дом.

Жена Барта Кристина работала агентом по продаже недвижимости, и слова Барта можно было бы истолковать и в ином смысле, так как покупка и продажа каждого дома приносила ей солидный доход. Она зарабатывала явно больше своего мужа-профессора. Но я уловил в его словах все-таки желание намекнуть нам, что пора нам немного подняться, хотя бы в собственных глазах.

Но у меня так и не было теньюра, и, по правде, я не был уверен, что заработаю его. Поэтому будущее казалось мне туманным и пока еще тревожным. Я сказал об этом Ролфу, но он легко отмахнулся, сказав, что я совсем не занимаюсь поисками работы, не смотрю объявления, не рассылаю свои резюме, под лежачий камень вода не потечет, а тот, кто хочет работать, всегда в Америке место себе найдет. Дом же всегда можно продать, Кристина поспособствует купить такой дом и в таком районе, где цены вниз не идут. Так что риск потери денег невелик.

Потихоньку мы привыкли к мысли о покупке дома. Стали узнавать, какой район считается лучшим. Когда бывали в гостях, приглядывались к соседским домам. Стали смотреть объявления в газетах. Несколько раз по воскресеньям наведывались в те дома, поставленные на продажу, в которых был объявлен на эти воскресенья свободный доступ внутрь.

Кое-кто из наших бывших соотечественников уже обзавелся своим домом и с гордостью сообщал, за какую цену были приобретены хоромы, иногда они рассказывали, как нещадно торговались и как смогли уторговать значительные суммы при покупках. В общем, знания накапливались, хотя смелости нам явно не хватало.

Барт тем временем не раз и не два намекал мне, что Кристина рвется в бой и готова стать нашим агентом при покупке недвижимости. Наконец, мне удалось уговорить Нину начать этот хлопотный процесс. Теперь в воскресенья Кристина подъезжала к нам на своем шикарном лимузине, и мы уезжали на полдня осматривать то, что выставлено на продажу. Признаться, то, что представлялось Кристине верхом совершенства, нам вовсе не казалось таким. Все-таки жизненные стандарты американцев и наши пристрастия сильно отличались. Для Кристины лучшими считались дома, в которых спальни были небольшими, оконца маленькими (чтобы легче сохранять тепло зимой и прохладу летом и меньше тратиться на электричество для кондиционера), чтобы кухня была в центре нижнего этажа дома, чтобы она была максимально большой (существенная часть жизни семьи ведь в основном проходит здесь) и чтобы из нее просматривалась маленькая столовая и средних размеров гостевая комната. Нам это казалось неудобным. Различались и наши взгляды на то, как должен быть отделан дом, как расположены комнаты. Мы съездили несколько раз, Кристина убедилась, что просто за первую попавшуюся возможность мы не хватаемся, и изменила тактику.

Нам были принесены компьютерные распечатки объявлений о домах, поставленных на продажу в Коламбусе. Поскольку город был большим и разбросанным,

понять, какой район города нас устраивал, было трудно. Однако мы с Ниной начали понимать, что те районы, в которые нас привозила Кристина, были населены преимущественно недавними выходцами из Латинской Америки или переехавшими недавно из еще более дальней глубинки аборигенами. Она, видимо, хотела сделать нам лучше, поместив в район, где цены на дома были ниже, где не был бы слишком заметен контраст между нашим скромным достатком и достатком соседей. Можно было, конечно, трактовать это и иначе. Тащить новоприбывших в престижные районы не было принято у тех, кто продавал дома (брокеров по американской терминологии), и Кристина, хоть и урожденная англичанка, выросшая в Англии и сохранившая английское подданство, после того, как вышла замуж за стопроцентного американца Ролфа, следовала этому правилу, как следуют установленным правилам все без исключения американцы.

Когда позволяло время, мы и сами садились в машину и объезжали квартал за кварталом, следя за табличками, установленными у домов — «Дом продается». Мы уже посетили несколько домов, если видели в этот день около них табличку «Сегодня дом открыт для посещения». Ничего нам пока не приглянулось.

В одно из воскресений мы заехали в тот самый район, где жили Барты, Арлингтон, и стали колесить вдоль улиц. Занятие это было малоперспективным, так как район был чрезмерно дорогим, и моя идея, что и там может найтись какая-нибудь развалюха, которую мы с нашими навыками ремонтеров квартир сможем усовершенствовать, не оправдывалась. Мы устали от бесцельного кружения мимо шикарных особняков, решили возвращаться домой («Университетская деревня» располагалась хоть и недалеко, на скрещении двух больших магистралей, но в мало престижном районе), уже вывернули на боковую дорогу, ища выезда на большую Лэйн Авеню, и я немного заблудился. Сделав крюк в одну, затем в другую сторону, я понял, что надо кого-то спросить о дороге, стал разворачиваться, как вдруг увидел на газоне перед носом привычную глазу табличку «Дом продается...» с припиской ниже «...владельцем дома». Такого я еще не видел. Я уже привык, что все серьезные люди делают дела не сами, а через агентов, в данном случае брокеров. Подняв глаза от таблички, я увидел вдалеке от дороги, позади показавшейся мне замечательной большой поляны с ярко-зеленой подстриженной травой, дом: прекрасный одноэтажный дом, с огромной и совершенно необычной для этих мест верандой. Позади дома виднелось второе строение, двухэтажное и совершенно новое. «Наверное по соседству построен другой дом», — решил я и повернул руль в сторону продаваемого дома. Мы проехали по узкой асфальтированной дорожке вдоль поляны, поравнялись с одноэтажным домом и увидели, что чуть впереди дорожка расширяется, и там можно развернуться на машине. Я прокатил машину еще метров десять и встал. Сбоку от дома была вторая луговина, а за домом были густые кусты и деревья, и за ними ничего не просматривалось.

Из двери меньшего дома выглянуло детское личико, прокричало «М-а-ам», после чего вышла молодая женщина — как нам показалось, восточного вида. Мы сказали, что ищем дом, она заулыбалась и пригласила внутрь. Но тут же захлопнула дверь, как бы призывая нас побыть снаружи с минуту, пока она

приберет что-то внутри. Вдруг, к нашему удивлению, открылась дубовая застекленная дверь в двухэтажном доме, эта же женщина выглянула оттуда и стала приглашать нас войти. Только тогда я, наконец, осознал, что второй дом — не отдельное здание, а часть одного комплекса. Новая часть была соединена переходом со старым одноэтажным домом (состоящим из одной большой комнаты, небольшой столовой, двух маленьких спаленок и малюсенькой кухни). Новое строение представляло собой двухэтажный дворец. В нем всё было прекрасно спланировано: первый этаж составлял большой зал, с паркетным полом и огромным окном в виде эркера. На втором этаже были две большие спальни и ванная комната в форме параллелепипеда — с окном и с самой ванной, красиво встроенной в один из углов параллелепипеда (никогда больше я такого расположения не видал). В этой части дома всё было сделано по иным стандартам, чем во всех осмотренных нами американских домах: большие окна, дубовые рамы, паркет (как правило, в американских домах лежат от стены до стены мягкие однотонные ковровые покрытия), стены в ванной были выложены нарядным голубовато-серым кафелем, украшенным орнаментом. На второй этаж вела лестница, до первой площадки выложенная мраморными плитами, а затем красным дубом.

— А кто же строил эту часть дома? — спросил я хозяйку.

— Мой муж, — ответила она. — Мы приехали из Вьетнама, где муж учился на архитектора. В Америке он получил лайсенс (удостоверение на право заниматься данной специальностью), мы строили этот дом для себя, но сейчас он нашел хорошую работу в Калифорнии, и я должна как можно скорее продать этот дом. Причем я не хочу иметь дела с брокерами, потому что они берут слишком большие деньги, а мы ведь люди небогатые и хотим продать дом подешевле, но поскорее.

В доме не было подвального этажа, так как оба дома были построены на гранитной скале, в силу этого запрашиваемая цена оказалась намного меньше, чем в других местах в Арлингтоне. Мы походили, посмотрели, я загорелся и решил купить этот дом. Нина со мной согласилась. Мы позвонили Кристине и договорились, что приедем его вместе посмотреть.

На следующий день Кристина заехала за нами, но повезла сначала осмотреть окрестности и зады. Хоть этот участок принадлежал к Арлингтону, но и на этой улице, и позади нее располагались старые, вполне добротные, но совсем не шикарные дома.

— Я бы не советовала вам говорить с владелицей дома о цене, пока я не узнаю стоимость соседних домов, — сказала она нам и пояснила: — если вы вздумаете продавать свой дом, то не получите больше того, что предлагают за дома соседей. Давайте завтра я справлюсь в графстве, какова цена соседних домов (мне, как брокеру, такую информацию в графстве предоставят), после чего и начнем переговоры.

В общем получилось так, что Кристина властно взяла процесс покупки в свои руки. Когда мы пришли к хозяйке, Кристина нас сопровождала, представилась ей как наш брокер, и бедная вьетнамка была вынуждена с этим смириться. Дом мы купили за неделю, получив кредит на покупку в том же Хэнтингтон-банке, какой субсидировал покупку нашей машины.

Конечно, шаг этот был рискованным. У меня не было постоянной работы, я вообще не знал, удержусь ли в Коламбусе, но дом нам так понравился, стоимость его была не так уж велика, и я мог спокойно выплачивать ежемесячно полагающуюся сумму банку. Ссуду мы взяли на 30 лет.

Это была уже большая сумма, и банк должен был осознавать, что, предоставляя мне заем, он идет на значительный риск. Но у меня к тому времени накопилась история кредита, я раньше срока расплатился за машину, не был замечен в нарушении сроков платежей по кредитным карточкам, и всё это было принято во внимание. За тридцать лет сумма процентов банку должна была набегать и набегать, и, в общем, с учетом процентов, я должен был бы выплатить банку двойную стоимость дома.

Однако оказалось, что в Америке существует закон, согласно которому сумма, которую зарабатывает на вас банк, требуя уплатить ему проценты за ссуду на дом, возвращается вам государством с помощью специально разработанного приема. Каждый год каждый работающий должен платить государству солидный процент от заработной платы, прогрессивно возрастающий с ростом ваших доходов. Доход банка — это доход банка, а не ваш доход. Банку также придется платить налог с доходов, заработанных на вас. Государство радо тому, что банк богатеет. Но государству вовсе не выгодно, чтобы беднели вы, честный труженик, судьба которого государству в равной степени близка. Поэтому деньги, заработанные на вас банком при покупке дома («интерес банка» по американской терминологии), могут быть вам возвращены путем уменьшения вашего налога на сумму, равную интересу банка. Эта процедура называется «списание с налога» и, как шутят американцы, их любимый вид спорта — это игры со списанием с налога всего, что только можно списать (профессора, к слову, могут списывать стоимость купленных книг, необходимых для их профессиональной деятельности, домашних компьютеров и другой техники, нужной для работы, поездок на конференции, деловых обедов с коллегами, телефонных разговоров, связанных с поисками работы или с производственными звонками, и многое другое). Если бы кто-то из наших знакомых — например, бывших советских граждан, ставших новыми американцами, — рассказал нам об этой практике сразу после приезда, многие бы наши трудности оказались меньше, а страхи не раздувались бы на пустом месте.

С покупкой дома изменился наш уклад жизни. Теперь мы могли не только принимать гостей на ужин, но у нас была специальная спальня для гостей наверху нового дома, по соседству с нашей спальней. Наш сын Володя с его женой Таней обосновались в старой части дома, у них теперь был свой вход, по вечерам они разжигали у себя камин, благо за домом у забора мы нашли поленницу дров, так засыпанную прошлогодними листьями, что мы не сразу эти дрова «откопали».

Еще за год до этих событий я пригласил в Коламбус Артура и Дону Хартманов. Артур был несколько лет послом США в Москве, у нас еще в Москве установились с ними хорошие отношения, по приезде мы стали перезваниваться, и настал момент, когда они решили приехать. Конечно, для Коламбуса приезд Артура и Доны был большим событием. На лекцию Хартмана в университете съехалось до сотни бывших советских граждан, на его выступление в клубе деловых людей

Коламбуса пришло несколько сотен американцев — отцы города, промышленники и законники. Вечером нас пригласил на ужин президент Хэнтингтон-банка, и во время встречи я с удивлением узнал, что он родился в Германии. После захвата восточной части этой страны советской армией он сбежал на Запад, попал в Америку и там выдвинулся, став президентом довольно большого банка. В разговоре выяснилось, что наш хороший знакомый по жизни в Москве, бывший культурный атташе посольства ФРГ в Москве Клаус Шрамайер — школьный товарищ президента банка и что Шрамайер собирается вскоре быть в гостях у своего друга. Мы уговорились о встрече.

Хартманы жили в гостинице, провели в Коламбусе две ночи, один вечер они посвятили визиту к нам, Нина, как всегда, блеснула своим гостеприимством, мы вспоминали многих друзей.

А когда мы купили дом, Артур Хартман один приехал снова в 1989 году и остановился у нас. В комнате для гостей стоял только матрац на массивном подматраснике, как это принято на Западе, но металлической рамы (или самой кровати в русском понимании) мы еще не купили. Я встречал Артура в аэропорту и предложил ему остановиться не в гостинице, а у нас, обещая немедленно съездить за рамой, чтобы ему было удобно спускать ноги на пол, а не приседать низко. Я так и представлял себе картину, как жутко долговязый красавец Артур, буквально обволакивавший всех своим шармом и умением царственно и в то же время очень дружественно держаться с людьми, приседает, чтобы сесть на наше подобие кровати, ноги его подкашиваются, и он плюхается на низкую лежанку.

— Бросьте, Валерий, мы и в Москве с Доной спали на таких кроватях, не берите в голову, — столь же царственным мягким голосом проговорил господин посол. Не подчиниться ему было простым смертным совершенно невозможно.

На следующий день Хартман приехал к нам в сопровождении гостя — уже упомянутого президента Хэнтингтон-банка. По окончании ужина Артур повел гостя, рожденного в Европе, по дому, показывая, в каком уютном месте мы живем. Европейцу наш дом понравился, и он стал расспрашивать, кто этот дом построил, как мы его нашли.

18. Однажды в зимнюю пургу

Много гостей перебывало у нас в этом доме, и в нем же произошла одна трагикомическая и довольно странная история. В начале 1990 года я пригласил в Коламбус еще одного именитого гостя — профессора Алекса Рича из Массачусетского Технологического Института. Александер Рич с первых лет своей научной карьеры оказался вовлеченным в исследование самых центральных вопросов молекулярной генетики. Собственно говоря, и триплексы впервые, еще в пятидесятых годах, наблюдал именно он. Он часто бывал в СССР, поддерживал близкие отношения с верхами Академии наук СССР, будучи сам одним из руководителей Национальной Академии наук США, бывал у нас в Москве дома, мы буквально подружились с его женой Джейн.

В это время у нас в Коламбусе жил Максим. Узнав, что собирается хорошая компания, с радостью согласился прилететь из Лондона главный редактор

журнала «Нэйчур» Джон Мэддокс с женой Брендой — известной писательницей, автором нескольких бестселлеров, у которой именно на эти дни приходился день рождения. Мы пошутили с Джоном, что лучшего места для празднования ее дня рождения, чем Коламбус, в мире не найти. Впрочем Мэддоксы бывали в Штатах очень часто, а Бренда особенно любила наезжать в США, хотя бы потому, что сама родилась в Америке и сохраняла и в Англии свое американское гражданство. Мэддоксы не раз уже прилетали и к нам в Коламбус, мы чуть ли не каждую неделю перезванивались. В один из приездов Джон выступил с докладом на семинаре, привлекшим невиданное число слушателей, а теперь они собирались к нам третий раз.

Не знаю, имею ли я право говорить о том, что с Джоном Мэддоксом частенько случались странные истории, достаточно надежной статистикой я не обладаю, но думаю, что это все-таки чистая правда. Он был не то, что забывчив, но очень уж порой задумчив и погружен в собственный внутренний мир (ему было, я думаю, отчего погружаться: что бы ни творилось в мире, где бы он ни путешествовал, а помотаться по миру он любил, раз в неделю руководимый им всемирно-известный журнал «Нэйчур» выходил в свет и очень часто открывался его собственной статьей, причем он мог писать с равным успехом и о физике, и о биологии, и о любой другой науке, и все статьи были интересны, хотя иногда бесили кое-кого из ученых до умопомрачения).

В те годы мы по-настоящему дружили, однажды жили неделю в их доме в Лондоне, в один из других приездов Джон повез нас на машине из Лондона в Уэллс, где у него был огромный старинный дом на склоне живописного холма, на котором паслись овечки. По-моему, Джон вообще был родом из Уэллса и был избран членом уэлшского парламента. Бренда с утра растапливала камин и колдовала с огромными поленьями дров. Камин был таких размеров, что в нем можно было стоять в полный рост. Вдоль стен камина она ставила скамейки, а в центре выкладывала дрова. Дрова полыхали, а она нежилась, сидя на скамейке внутри и поворачивая дрова то одной, то другой стороной.

Наивный взгляд Джона из-под круглых очков и взъерошенная шевелюра, вопросительный тон в разговоре и напускная нерешительность нисколько не отражали реальности, так как железная хватка и неукротимая воля многолетнего главного редактора «Нэйчур» были в мире отлично известны. Единственно, перед кем он пасовал и тушевался всегда, была его красавица-жена. Особенно заметны были его робость и подчиненность, когда добродушная Бренда вдруг покрикивала на него с укоризной:

— Джон, перестань курить, ты обещал мне не курить в кухне!

— Джон, — это пятая рюмка водки за вечер! Не хватит ли на сегодня?

Начав рассказывать о Джоне, не могу удержаться от еще одного воспоминания. Относится оно к дням, описанным выше, когда я был приглашен Максимовым и Аккерман в Париж. Как только я оказался в Париже, я позвонил Джону в Лондон, и он пообещал, что обязательно навестит меня в Париже. Мы условились о дне и времени встречи. В этот день с утра я сказал Максимовым, что у меня будет гость и назвал его. В мире редакторов имя Джона всегда производило очень сильное впечатление, и я заметил, что и Владимир Емельянович и его жена Таня удивились,

что столь именитый гость специально прилетит повидаться со мной. Утром я сбегал в магазин, купил нехитрой еды на ужин и бутылку «Столичной» в западном исполнении. В шесть вечера я вернулся в редакцию, где для меня кто-то заботливо каждый вечер раскладывал и готовил к ночи диван, и накрыл стол: мы договорились, что Джон приедет в семь вечера, Таня принесла мне тоже какую-то вкусную еду. Но ни в семь, ни в восемь, ни в девять Джон не объявился. Известить меня о его прибытии должен был кто-то из Максимовых, так как позвонить он неминуемо должен был в их квартиру. Максимовы жили на третьем этаже, а помещение редакции, где я ночевал, было на пятом этаже, однако у двери в подъезд с улицы на колодке звонков название «Continent» было указано напротив кнопки звонка к Максимовым. Рядом же с верхней кнопкой было пустое пространство. Было это сделано, как я понимаю, чтобы не упустить почту в момент, когда в редакции никого нет. Поэтому вся почта и вообще всё приносимое в редакцию поступало в руки редактора и его домочадцев. В десять вечера Таня позвонила мне и спросила, где же мой гость. Ответить мне было нечего, кроме того что я его еще жду. В половине одиннадцатого та же Таня позвонила еще раз и сказала, что они ложатся спать (до этого мы договаривались, что хотя бы ненадолго я Джона к ним приведу). Лег спать и я.

В три ночи меня разбудил телефонный звонок. Таня заспанным и, как мне почудилось, недовольным голосом сказала:

— Валерий, идите встречайте вашего гостя, он звонил с улицы и стоит у входной двери.

Я натянул на себя побыстрее брюки и рубашку и бросился вниз. Сконфуженный Джон выглядел помятым и как будто побитым. Мы поднялись на лифте наверх, и Джон рассказал, как случилось, что он так задержался. Оказалось, что он в то утро должен был лететь в Испанию на заседание, а оттуда днем собирался залететь ко мне в Париж, чтобы ближе к ночи улететь спать домой в Лондон. В силу присущей ему отрешенности от бренностей жизни и благородной рассеянности Главный Редактор умудрился где-то потерять паспорт. Сразу вылететь из Мадрида ему поэтому не удалось. Пограничные власти серьезны не только в Испании и таких провинностей никому не прощают. Его продержали в аэропорту до ночи. Джон показал мне простой листок бумаги, на котором в верхнем правом углу была приклеена его фотография, сделанная в автомате в аэропорте, и отражавшая физиономию человека в расстроенных чувствах. На бумаге было напечатано на явно старенькой машинке следующее:

«Обладатель этой бумаги заявляет, что он Джон Мэддокс, гражданин Великобритании, постоянно проживающий в Лондоне по адресу... потерявший свой паспорт на территории Испании и желающий вылететь в Лондон через Париж. Обладателю этой бумаги разрешено покинуть территорию Испании, и испанские власти не несут ответственности за информацию, сообщенную этим господином».

Мы весело посмеялись над случившемся, и в тишине парижской ночи провели прекрасные часа три за разговорами, обсуждениями моих будущих планов на жизнь и будущих встреч.

Итак, мы ждали Мэддоксов в гости снова. С утра все гости прилетели в Коламбус, Алекс дал семинар, затем я пригласил многих профессоров кафедры к нам домой. День был солнечный, светлый, радостный.

Гостей мы звали на 6 вечера. В половине пятого небо затянуло тучами (но все-таки зима, чего не бывает, решили мы). В пять на зеленые лужайки вдруг невесть откуда посыпал мелкий снежок. К половине шестого снег пошел крупными хлопьями, снегопад усиливался каждую минуту. Слава Богу, Джон с Брендой и Алекс Рич приехали вовремя, и Бренда помогала Нине и Тане приготовить всё к столу. Другие гости заходили в дом залепленными снегом так, будто они не пять метров от машины до входа в дом шли, а час провели под сильным снегопадом. На улице почернело, как ночью, и только в свете фонарей было видно буйство стихии, закидывавшей наш дом снегом. Но все собрались. Местная профессура, человек пятнадцать, вела себя несколько робко со столь именитыми гостями. Джон в привычном стиле шутил, потягивая какой-то крепкий напиток. Я решил, что настало время пировать и предложить гостям по русскому обычаю шампанское (американцы предпочитают шампанским заканчивать вечер), взялся за пробку первой бутылки, потянул ее кверху, что-то хрястнуло, и пробка с могучей силой ударила меня по глазу. В секунду глазница раздулась так, что глаза не стало видно. Бренда и Нина стояли тут же, поднялся переполох, присутствующий здесь же Барт тоном Наполеона скомандовал, что меня нужно везти в больницу, только в больницу, причем срочно. Ролф сел в свой Мерседес, Володя расположился рядом с ним, и в кромешной тьме мы тронулись с места.

Ничего страшного с моим глазом не произошло, он остался цел, а синяк вокруг и раздутость были не так страшны для организма, как по своему внешнему виду. Часа через полтора мы вернулись домой праздновать. Поздно вечером гости стали разъезжаться. Джона и Бренду Мэддокса Нина с Максом повезли на нашем замечательном «крайслере» в гостиницу, благополучно добрались до гостиницы, поехали назад, но не смогли добраться до дома. Километрах в трех от дома на табло вдруг засветились красным светом все огни, Макс испугался, постарался на низкой скорости дотянуть до дома, но мотор заглох, пришлось оставить машину прямо на дороге и пробираться через наметенные сугробы. Они еле добрались с Ниной до дома, а утром машина как ни в чем ни бывало завелась.

Алексу Ричу предстояло в эту ночь лететь обратно в Бостон. Макс предлагал отвести его в аэропорт на нашей машине еще до того, как они поехали с Мэддоксами, но осторожный Алекс наотрез отказался рисковать. Было вызвано такси, в которое Алекс забрался и уехал.

На следующее утро по телефону до нас стали доходить одна за другой неприятные новости. Оказалось, что не только мой глаз пострадал и машина сломалась. Выяснилось, что стоило Джону отойти от дверей гостиницы, в которой его оставили Нина и Максим, как у лифта он поскользнулся на мраморном полу, упал и сломал руку. Потом позвонил Алекс из Бостона и сообщил, что долететь-то он долетел, но дважды таксист не мог разглядеть отворотку шоссе к аэродрому, дважды проскакивал мимо и крутился вокруг, прежде чем попал в нужное место.

Успех в ту ночь сопутствовал только Алексу: вылет самолета задержался, он сумел вскочить в салон вовремя и далее без проблем приземлился в Бостоне.

Наступило лето следующего года, Хартман приехал к нам в дом на новое место, в пригороде Вашингтона, и вдруг, хитро улыбаясь, спросил:

— Ну хоть бы рассказали, какие черти крутили вокруг вас снежный хоровод в ту ночь, когда Валерию вышибло глаз пробкой, бедный Джон сломал руку, а ученого из Эм-Ай-Ти профессиональный таксист вынужден был возить вокруг аэропорта, потому что ему застлало пургой глаза?

Я понял еще раз, что мир очень мал, и что веселые истории всегда найдут достойных слушателей.

19. Подача заявки на грант в Национальные Институты Здоровья

Максим рассказывал мне, что не так-то просто ему удалось заставить своих сотрудников заняться экспериментальной проверкой нашей идеи о фотофутпринтинге. Один из его сотрудников, Сережа Миркин, помогал написать текст проекта, но уже готовился уезжать на стажировку в Калифорнию, ему было не до экспериментальной работы, а Виктор Лямичев поначалу ожесточенно сопротивлялся, так как у него была своя свежая идея, а работать на два фронта он не хотел. Но все-таки Максим надавил на него, и ко времени, когда я должен был дописать текст, первые результаты, подтверждающие верность идеи, были Витей получены. Максим прилетел в Коламбус, и мы засели еще плотнее за окончание заявки на грант, которую решили представить в самое могучее ведомство, выдающее гранты на исследования — Национальные Институты Здоровья США (все всегда называли этот конгломерат институтов Эн-Ай-Эйч от первых букв английского названия National Institutes of Health).

Пока еще в истории не было случаев, когда бы в Америке давали гранты на совместные исследования американских и советских коллег, но, съездив к руководителю соответствующего отдела в Институт Общих Медицинских Исследований, куда грант должен был быть направлен, мы заручились обещанием никаких политических рогаток на пути рассмотрения нашего проекта не ставить.

Мой ассистент Фрэнк Таттл и Фил Перлмэн помогли нам в редактировании английского текста, помощь в этом отношении оказал и Маллер.

Дальнейшие события показали, что некоторые нравы, бытовавшие в советской России, не искоренены и в Америке. С одним из доцентов, назову его Марком, у меня вроде бы сложились хорошие взаимоотношения. Он всегда был приветлив, а когда я о чем-либо спрашивал, с охотой отвечал. Как-то раз мы были приглашены к нему домой, однажды с Максимом вместе с ним обедали в ресторане. Внешне всё было вполне гладко, никаких конфликтов с этим человеком не возникало.

Когда мы с Максимом начали писать заявку на грант, Марк подошел ко мне и попросил, чтобы я вставил его в качестве соисполнителя по гранту, объяснив, что ему ничего не нужно, ни денег для него самого, ни средств на исследования, просто участие в еще одном гранте не помешает (он по-моему еще не был

тенурирован, а только ждал, когда года через два закончится его предварительный для этого срок). Конечно, мне надо было отказать в такой просьбе, ведь в нашей работе этот человек участия не принимал, но я еще не научился говорить «нет» в тех случаях, когда надо это сказать (кстати, очень не простое искусство, которым многие русские в Америке не владеют). Не чувствуя подвоха, я промямлил, что не возражаю против такой просьбы. Но мне казалось, что просто вставлять чужого человека в заявку на грант, чтобы он потом мог этим грантом щеголять, нехорошо, и я предложил Марку написать одну-две страницы в заявку, предложив план для одного самостоятельного эксперимента. Речь шла о применении нашего метода к изучению триплексов не во внеклеточных условиях, а непосредственно в клетках. Марк до этого не раз рассказывал мне, что он такую работу взялся бы провести.

Марк свой раздел написал, мы добавили к трем нашим темам четвертую — Марка, затем он стал активно помогать готовить последние документы перед сдачей в отдел грантов университета. Я видел, что Марк знаком со всеми сотрудниками этого отдела, и вполне ему доверял. Мы с Максом рассчитали все планируемые расходы. На некоторых статьях, например, на оплате закупок части дорогих реактивов можно было сэкономить. Например, многие ферменты производили в СССР, затем продавали западным фармацевтическим фирмам, и те торговали ими на Западе по очень высоким ценам. Внутри СССР те же препараты можно было купить по мизерным ценам, и Макс мог безбедно приобрести их за счет собственного бюджета в Институте молекулярной генетики АН СССР. За счет сэкономленных средств я предусмотрел достаточно высокие зарплаты для привлеченных ученых из России (планировалось, что ими станут Миркин и Лямичев) и для самого Максима на то время, когда он будет приезжать на четыре месяца в году в США. Перлмэн просмотрел все наши расчеты и подписал проект гранта как заведующий кафедрой.

Вечером 29 сентября, за день до отправки гранта, девушка из отдела грантовых исследований Университета, которой мы передали за неделю до этого подготовленный проект, позвонила мне и попросила срочно прийти, чтобы в качестве руководителя проекта подписать титульный лист заявки, так как следующим утром необходимое число копий заявок надо было сдать представителю компании Федерал Экспресс, которая гарантирует доставку за ночь пакетов в любую точку США. Я поехал в отдел грантов, меня посадили за стол в переднем зальчике отдела и принесли аккуратно подготовленные пятнадцать экземпляров нашего проекта и титульный лист. На нем уже стояла подпись начальника грантового отдела. Я расписался в положенном мне месте, и при мне сотрудница отдела прошла в угол зала и стала делать нужное число копий титульной страницы, чтобы разложить по одной странице сверху каждого экземпляра. Я решил, что помогу завершить эту техническую операцию, а пока чисто непроизвольно взял в руки верхний из подготовленных экземпляров проекта, перелистнул несколько первых страниц, чтобы полюбоваться на наше произведение. Взгляд упал на страницу с бюджетом, и вдруг я увидел, что напротив фамилии Марка стоит солидная сумма, о которой и речи не шло, а зато зарплаты всех русских соисполнителей гранта уменьшены вдвое. Кровь прилила мне к лицу, и я спросил, откуда взялись эти цифры.

— Марк был сегодня здесь рано утром, принес новый бюджет, сказал, что все изменения согласованы с вами и вставил новые страницы, — ответили мне.

— А Вы сохранили прежние страницы? — спросил я.

— По-моему они у меня на столе, — проговорила одна из работниц отдела, исчезла на минуту и вернулась с вынутыми из проекта страницами в руках.

— Я хочу вернуть всё в исходное состояние, — ответил я, — потому что именно эти цифры были обсуждены с профессором Перлмэном, и я не думаю, что на данном этапе следует что-то менять.

Девушка нисколько не смутилась, согласилась, что если грант будет одобрен, то, как директор проекта, я смогу внести изменения и на более позднем этапе. Я проследил, чтобы при мне все изъятые Марком страницы были вставлены на место, а все принесенные им страницы разорваны. На следующий день я заехал в отдел еще раз, дождался, чтобы при мне агент из Федерал Экспресс, приехавший забирать срочную почту, получил именно тот вариант, на котором я настаивал, и лишь затем уехал успокоенный.

Наверное через месяц меня вызвал Перлмэн к себе и впервые стал говорить со мной в раздраженном тоне. Он начал меня допрашивать, почему я не послушал Марка и не вставил в проектный бюджет рациональные цифры трат на реактивы.

— Марк показал мне копию Вашей заявки (я совершенно искренне про себя удивился, откуда он его взял, ведь я старательно следил за тем, чтобы целиком Марку текст не попал), и из бюджета следует, что вместо обычных тысяч двадцати пяти на год на реактивы вы с Максимом заложили только десять тысяч. Теперь первый же рецензент прицепится к этому, скажет, что вы ничего не понимаете в стоимости реактивов и в количестве, потребном для такой работы, и на этом основании зарубит ваш проект, — говорил заведующий.

— Ничего подобного, — ответил я. — Мы с Максимом пришли к заключению, что многие ферменты для западных фирм готовят в Институте биохимии Литовской ССР, на Западе эти ферменты продают за большие деньги, а внутри СССР и в том числе у Института, где работает Максим, есть специальная договорная цена на эти реактивы, и они будут доставлять их нам с оказией.

Я сказал, что берусь сейчас же позвонить директору отдела Института общей медицины из Национальных Институтов Здоровья и расскажу об этой нашей договоренности. Я прибавил также, что, по моим понятиям, поведение Марка аморально, так как он видел окончательный проект бюджета, даже вносил в него без моего ведома исправления в зарплаты сотрудников, что я нашел неправильным, и я удивлен, почему ни на стадии подготовки проекта, ни позже он не пришел ко мне и не указал на эту якобы вопиющую глупость.

Как я и ожидал, мой звонок в Институт общей медицины был воспринят благожелательно, меня попросили срочно прислать дополнительное письмо, разъясняющее эту деталь, я подготовил письмо, показал его Перлмэну, тот внес небольшие поправки, и наши отношения остались хорошими.

Но я был, конечно, возмущен. Как-то мне показалось уместным рассказать об этом случае Тому и Сандре Байерсам, заглянувшим ко мне вечером в офис. Том только улыбнулся и сказал:

— Все эту историю знают. Марк какими-то путями узнал, что уловка с повышением его зарплаты не прошла. Он ведь считал, что вы, русские, дураки и ничего не заметите. Он рассвирепел и бегал с вашим проектом по всем профессорам кафедры и показывал всем бюджетную страницу. Но мы же знаем Марка не первый год, а когда Фил Перлмэн сообщил о том, как было всё на самом деле, у многих на кафедре по отношению к вам шевельнулось доброе чувство. Вы молодец, что не поддались на его шантаж.

В октябре в Коламбус прилетел Виктор Лямичев, который первые месяца полтора жил у нас. Я оплатил его прилет и выплачивал ему небольшие деньги из моего университетского гранта как постдоку (он уже защитил кандидатскую диссертацию, которая по американским понятиям приравнивалась к диссертации на соискание степени доктора философии, так что он уже был «доком» и мог работать постдоком). Он продолжил эксперименты по изучению фотофутпринтинга, Фрэнк Таттл помогал ему в этом. На основании полученных результатов мы подготовили статью в «Нэйчур», профессора на кафедре сказали мне, что если после рецензирования редакция решит взять ее для публикации, то такое решение может положительно повлиять на решение рецензентов из Национальных Институтов Здоровья, так как публикация статьи в столь престижном журнале, как «Нэйчур», свидетельствует о высоком уровне предлагаемого проекта. В конце ноября из редакции действительно пришло официальное уведомление, что нашу статью в печать приняли. Мы тут же послали копию этого извещения в качестве приложения к заявке.

Прошли Рождество и Новый год, закончились зимние каникулы, пролетел конец января и февраль 1990 года. Я ничего не знал о том, как обстоят дела с нашим грантом. Надежд у меня было мало, так как я уже знал, что получить грант очень сложно и что лишь несколько процентов проектов из числа поданных проходят через сито отбора.

В начале марта Перлмэн, увидев меня в коридоре, спросил, узнавал ли я, какова моя оценка по гранту. Я сказал, что не знаю и специальных усилий по узнаванию принимать не хочу. Фил на это не без экспрессии сказал, что оценки уже известны и что я просто должен, причем немедленно, позвонить соответствующему клерку и узнать свою оценку. Мы пошли к нему в кабинет, я получил от Фила номер телефона и нехотя пошел звонить.

Мою инертность можно было легко понять. Я не ждал ничего особенно хорошего, потому приближать дурную весть не хотелось. Пусть бы всё шло своим порядком. Но теперь делать было нечего: раз обещал, надо звонить. Я к тому же не знал, а какая оценка хорошая, какая плохая. Но набрал телефон, назвал себя и свой университет и стал ждать. «Вы получили 1,05», — ответил мне чиновник из Института общей медицины. Я повесил трубку, и тут же раздался звонок Фила:

— Ну что, Вэлери, узнали?

— Узнал. Одна и пять сотых.

Я услышал как на том конце провода Перлмэн буквально заорал кому-то:

— Сойфер получил грант! У него одна и пять сотых.

Потом он проговорил в трубку:

— Пожалуйста, зайдите ко мне срочно.

Я понесся к Перлмэну бегом.

Как всегда, незнание правил игры очередной раз не дало мне возможности сразу осознать, что же происходит с моими оценками. Когда я вошел к Перлмэну, он объяснил, что при рассмотрении грантов в Эн-Ай-Эйч принята система отсчета, согласно которой рассматривают, сколько баллов потерял, а не приобрел тот или иной конкурент, и добавляют утерянные баллы к единице. Так что максимальной является оценка единица, а минимальной десять. Гранты дают тем, у кого оценка после рецензирования остается близкой к единице (кто не приобрел штрафных очков). Фил сказал мне, что обычно через сито отбора проходят те, чей балл не превышает единицы с четвертью, а с такой оценкой, как моя, опасаться нечего: она однозначно говорит, что грант будет получен.

Теперь надо было ждать официального подтверждения, что мы награждены (это так и называется в Штатах — награждение грантом!) и что будет выделена конкретная сумма — в зависимости от числа тех, кто в этом году получил такую же оценку. Ведь сумма отпущенных государством денег на исследования строго определена законом о бюджете, принятым Конгрессом США на этот год. Именно основываясь на этом законе, правительство отчисляет те или иные, утвержденные Конгрессом суммы разным ведомствам, а затем деньги приходят в дирекцию Национальных Институтов Здоровья, а уже в недрах Эн-Ай-Эйч ассигнования распределяют между конкретными программами исследований, затем отчисляют определенные суммы на каждую подпрограмму и лишь в самой подпрограмме решают, сколько дать денег каждому награжденному грантом проекту. Таким образом, выделение средств на каждый грант в принципе зависит от полученного балла и от заявленной суммы, которую исследователи хотели бы получить, но на конечном этапе происходит корректировка выделяемых средств. Хоть в последнем случае и есть место для произвольных вычислений, но запрошенная исследователями сумма принимается во внимание. Впрочем, из проекта, в котором описаны все этапы работы, всегда можно понять, не запрашивают ли исследователи больше того, что обычно идет на тот или иной вид деятельности и не раздувают ли они каким-то еще образом запрашиваемую сумму.

Несмотря на радужные ожидания, в тот момент жизнь еще все текла по-прежнему: я надеялся, что получение гранта может коренным образом изменить отношение ко мне и приблизить к получению постоянной должности профессора в университете, но все еще не знал, как сложатся дела на самом деле.

Потом настали не очень-то приятные дни, вернее, недели. То от одного, то от другого американского знакомого из разных университетов я слышал, что они уже поздравительные письма о выделении им грантов получили. Каждый день я ждал, когда сотрудник университетской почты притащит белый ящик с сегодняшней почтой на этаж в комнату Джесси, я даже иногда помогал её помощницам разложить письма по индивидуальным ячейкам профессоров, надеясь обнаружить и мое письмо. Только всё было напрасно: нужного мне письма из Эн-Ай-Эйч не было и не было. Что случилось?

Звонить еще раз начальнику отдела не хотелось. Перлмэн иногда меня коротко спрашивал:

— Еще не получили?

Я отвечал, что нет, не получил. То, что эта задержка происходит неспроста, было для меня очевидно. (Забегая вперед, скажу, что, видимо, вопрос о выдаче первого американо-советского совместного гранта на солидную сумму, превышавшую полмиллиона долларов, обсуждалась на самых разных уровнях, частично эта догадка была подтверждена чуть позже, когда в нескольких газетах дотошные корреспонденты несколько приоткрыли завесу над тем, как натужно и через сколько ведомств, включая такие, как органы безопасности, проходили бумаги, касавшиеся выделения американских правительственных средств именно на этот грант.)

20. Грант получен!

Возвращаясь памятью в те дни, я не могу припомнить чего-то очень тяжелого, какого-то особенного нервозного состояния, приступов отчаяния или неконтролируемой тревоги. Крайностей, по-моему, не было, но тяжесть и постоянное ожидание, ЧТО ЖЕ БУДЕТ? — было. В приведенных выше воспоминаниях я опустил один момент, который сейчас как-то даже выветрился из памяти и про который я вспомнил, просматривая старые записи тех лет. Сейчас я могу рассказать об этом моменте без всякой эмоциональной окраски, без яркого чувства, хотя в свое время я немало поволновался по этому поводу. Связано это было с поисками работы в других местах.

Примерно в конце первого года моего пребывания в Коламбусе я как-то задал в довольно категоричной форме вопрос о том, могу ли я хотя бы надеяться получить теньюр именно в Охайском университете, Ролфу Барту. Я уже понял, что он с его недюжинной активностью старается попасть во всевозможные комитеты в университете, всегда предлагая свою кандидатуру на любые открывающиеся вакансии, тратит уйму времени на встречи с начальством всякого рода, на заседания, никогда не пропускает очередных встреч президента и провоста с профессорами, если об этих встречах заранее извещают, и благодаря этому хорошо знает, откуда и куда дует ветер.

Он был главным человеком в университете, ответственным за мое приглашение, всегда появлялся на всех мероприятиях, которые я помогал устраивать, поэтому я счел нормальным спросить его в лоб (хотя уже знал, что в Штатах такие прямые вопросы, которые могут поставить того, кого спрашиваешь, в неудобное положение, не приняты: ведь таким вопросом ты можешь принудить человека сказать то, что ему неприятно обсуждать, а отсюда вытекает, что после таких вопросов тебя могут начать сторониться).

Ролфа, как я заметил, этот вопрос также покоробил. Он насупился, помолчал, слегка склонив голову, затем вскинул ее и, глядя мне в глаза, ответил:

— Насколько я знаю, вам не удастся получить постоянную позицию у нас Университете. В вашей работе за прошедшие месяцы были хорошие и неудачные стороны. Начнем с неудачных. Вы не смогли получить грантов из внешних для университета источников. Вы не смогли предложить новые курсы для студентов. Скажу больше: я не понял этого сразу, но оказалось, что между Перлмэном и Колаттакуди идет теперь уже всем видимая война. Вы неосмотрительно оказались

вовлеченными в эту войну на стороне Перлмэна, а я не думаю, что он может победить, потому что у Перлмэна не складываются отношения с нашим провостом, а у Колаттакуди, напротив, с ним прекрасные отношения. В то же время есть и хорошие стороны. Вы проявили себя очень хорошо в том отношении, что пригласили в университет очень много важных людей — и ученых (Ролф начал перечислять их: Алекса Рича, Чарлза Кэнтора, Фреда Альта), и государственных деятелей (Артура Хартмана), и вообще важных людей (Джона Мэддокса, Елену Боннэр). Так что вы показали всем, что вы не случайный человек в обществе, что ваши связи полезны университету. Но этого недостаточно для получения теньюра. Вам надо было уже давно приготовить свое резюме, описать область интересов, смотреть каждую неделю объявления в журналах «Science», «Nature» и в профессиональных журналах и рассылать аппликации в сотни адресов. Обычно из одной сотни приходит одно-два приглашения на интервью.

Мы распростились с Бартом в тот день не так сердечно, как это было раньше. Заставив говорить откровенно, я напряг его, и он, конечно, рассердился. Но он был честен и не юлил. Я остался весьма ему признателен и позже постарался больше не действовать столь назойливо.

Надо было приступать к действиям по поиску работы в других местах. Данное занятие было безрадостным, но это надо было делать. Деваться некуда. Без всякого энтузиазма я начал смотреть объявления и рассылать письма с просьбами рассмотреть мою кандидатуру для той или иной объявленной позиции. Дважды меня вызывали на интервью, но оба раза мои поездки окончились безрезультатно — дальнейших шагов не последовало, я не подошел. Конечно, я не разослал и сотни аппликаций, но и рассылка нескольких десятков писем не была мне очень приятной.

Разговор с Бартом засел в моей памяти, как заноза. Снова и снова я мысленно прокручивал в мозгу его слова, настраивая себя на то, чтобы отнестись к поискам более активно. Ведь собственно, то же самое (без четкой бартовской классификации положительного и отрицательного) говорили мне Колаттакуди и Перлмэн. Конечно, я продолжал работать помногу, и на подготовку и рассылку документов в университеты, объявлявших о вакантных местах, времени оставалось всегда мало.

По прошествии года я так и оставался временным профессором, понимал, что у меня впереди всего год обеспеченной жизни, ведь на третий год университет со мной этот временный контракт не возобновит. Правда, теперь кое-что изменилось в балансе положительного и отрицательного. В самом престижном научном журнале мира — «Nature» появилась наша статья, мы подготовили вторую статью для журнала «Исследования нуклеиновых кислот», и ее уже приняли к печати. Макс от нашего общего имени и я самостоятельно сделали несколько докладов на международных конференциях и симпозиумах, тезисы их были опубликованы, я получил приглашения на ряд важных выступлений, мы готовили к печати на основании новых результатов другие публикации. В 1989 году мне удалось издать в Америке на русском языке полный текст книги о лысенкоизме. Назвал я книгу «Власть и наука. История разгрома генетики в СССР». С начала до конца весь наборный экземпляр, включая иллюстрации, был

сделан Ниной и мной, книга была напечатана Издательством «Эрмитаж» в штате Нью Джерси. Это был важный успех, все-таки первая книга за жизнь в Америке — и такая важная для меня книга. Судьба была милостива ко мне и в еще одном отношении: курс лекций я прочел, прочел успешно, и с конца марта 1990 года до начала мая должен был повторить курс уже для 250 студентов, записавшихся на него. Оставалось последнее препятствие — грант.

В Коламбусе в полные права вступила весна 1990 года. Как всегда в Америке, бурная, яркая, с невероятным для русского глаза разнообразием окрасок цветущих кустов, деревьев, с множеством рассаженных повсюду весенних цветов. Красота неописуемая! Можно было жить и радоваться. Однако молчание насчет гранта также продолжалось и продолжалось и на нервы действовало. Наконец, я решился позвонить по телефону в дирекцию Эн-Ай-Эйч, известному мне еще со времени обсуждения проблемы трат на реактивы.

По-моему, тот же мужской голос, который я слышал и тогда, отозвался и сейчас. Я назвал себя и задал вопрос о судьбе нашего гранта. Без всякой натуги и долгих воспоминаний этот человек тут же ответил, что вопрос с грантом решен, решен положительно, но сейчас идет проработка финансовых вопросов, в особенности трудна проблема перевода денег в СССР.

— Это новый, необычный вид активности для нас, и есть серьезные затруднения на этот счет, — сказал он.

К счастью, я уже несколько раз обсуждал этот вопрос с Максимом, и мы пришли к обоюдному согласию, что разумнее всего было бы избежать вообще перевода денег для него в СССР. Мы оба понимали, что если советские чиновники на каком-то уровне захотят запустить свои руки в эту «кормушку», они это сделают, не терзаясь душой. Поэтому было бы лучше сделать все так, чтобы часть, причитающаяся для лаборатории Максима, оставалась на счету Университета Охайо. Тогда я мог бы по заявкам Максима заказывать реактивы и расходуемые материалы и до поры до времени накапливать их у меня. Поскольку всегда между его лабораторией и моей был бы обмен людьми, то уезжавшие из США в СССР могли бы спокойно забирать с собой коробки с закупленными для Москвы реактивами, если бы соответствующие инстанции выдали разрешение на провоз их через американскую таможню. Мы даже сделали намек на такую возможность в заявке на грант. Поэтому я рассказал чиновнику о наших сомнениях и обоюдном согласии сохранить все финансы в США, но обеспечить при этом безбедную работу обеих лабораторий и почувствовал, что принес облегчение тому, кто говорил со мной на другой стороне телефонной линии.

— Пожалуйста, срочно пришлите нам ваши подробные предложения, распишите всю последовательность шагов по реализации вашего плана. Было бы также хорошо иметь соответствующее письмо от Франк-Каменецкого и письмо от бухгалтерии вашего университета, что она согласна такие операции проводить через свои каналы. Если бы вы смогли прислать все эти бумаги на этой неделе, это бы нам очень помогло, — услышал я.

Разговор происходил в понедельник. С удесятеренной энергией, почувствовав, что я вижу свет в конце тоннеля, я бросился раздобывать всё запрошенное и в ближайшую пятницу отправил документы через Федерал Экспресс.

Получилось так, что благодаря предложенному плану расходования средств все запреты на наш грант были сняты. Через две недели я держал в руках узенькое письмо из Эн-Ай-Эйч. Не скажу, что сердце застучало, но открывал я конверт с волнением. Заветное письмо было в моих руках. Единственное, в чем нас урезали, — это предоставили нам финансирование не на 5 лет, как мы просили, а на три года, уменьшив запрошенный бюджет на треть. Поэтому я тут же направил письмо в Эн-Ай-Эйч, что в связи с сокращением запрошенного нами финансирования, часть работы, связанная с поисками триплексов в животных клетках, выполнена нами быть не может, и я как директор проекта извещаю, что эта часть проекта аннулируется. Этим я разрешил проблему с Марком и с его потугами что-то выудить для себя, параллельно обвинив других в глупостях. Вскоре из Эн-Ай-Эйч пришло письмо из дирекции института, в котором меня извещали, что данное предложение рассмотрено и принято.

Но эти шаги были сделаны чуть позже. Получив письмо, я сразу же пошел к Перлмэну и дал ему письмо в руки. Он, сидя, прочел его, затем, не сказав ни слова, встал, церемонно поклонился и только после этого произнес строгим голосом:

— Вэлери, вы разрешаете мне запросить срочно Президента университета о немедленном предоставлении вам теньюра?

Потом он вышел из-за стола, и мы обнялись.

Уже на следующей неделе было созвано внеочередное заседание кафедры. Началось оно в три часа. Меня, разумеется, на заседание не приглашали, и я остался сидеть в офисе. Коридор на пятом этаже опустел. Я распахнул настежь дверь, ожидая что первый, кто пойдет мимо по окончании заседания, скажет о результатах.

Прошел час. Всё кругом как вымерло, ни один человек по коридору не прошел. «Господи, ну что там такое?» — повторял я про себя. Я знал, что обычно на подобные вопросы повестки дня отводят не больше минут сорока, а тут уже час! Потом прошло полтора часа. «Наверняка, кто-то вроде Марка выступает против, ситуация усложнилась, и мне каюк», — думал я. Без пятнадцати пять я позвонил Нине и сказал, что готовлюсь к худшему. В пять вечера я решил, что рабочий день закончен, собрал вещички, взял ключи, захлопнул офис и пошел к лифту. Только я нажал кнопку вызова лифта вниз, как дверца соседнего лифта распахнулась и из кабины, заполненной профессорами нашей кафедры, первым вывалился Марк, а потом высыпались другие члены кафедры. Марк увидел меня, расплылся в дежурной американской улыбке до ушей и полез обниматься.

— Вэлэри, — завопил он, — мы избрали вас профессором единогласно!

Что для меня осталось загадкой и о чем я ни тогда, ни позже никого так и не расспросил, это, как Марк оказался в одном лифте с профессорами, почему он объявил «м ы избрали единогласно», если он не был тенурированным профессором и ни при каких обстоятельствах не мог принимать участия в голосовании. «Неужели, — размышлял я, — он стоял у лифта, поджидая момента, когда профессора выйдут с заседания и станут входить в лифт, чтобы встать ближе к двери и кинуться с объятиями первым?!»

21. Получение теньюра

Всем известна банальная присказка, что жизнь похожа на зебру: если густо, так густо, если пусто, так пусто, а чаще всего нет вообще ничего. Настала, видимо, пора густоты. Вскоре после заседания кафедры я был вызван к декану биологического факультета Гэри Флойду. В благожелательных тонах он расспросил меня о планах, о требованиях к университету, дал понять, что многого я запрашивать не могу, что уровень зарплаты уже определен и что она значительно меньше моей зарплаты как Выдающегося Приглашенного Профессора, но зато эти деньги я смогу получать, пока не уйду на пенсию. Мы поговорили о разных льготах, которые университет предоставляет каждому тенурированному профессору, о пенсионных отчислениях и о других подобных вопросах. Всё было внешне дружественно, по сути очень по-деловому, не осталось ни одного недоуменного вопроса, Флойд никаких заметок не делал, но было видно, что он отлично запоминает каждый пункт.

Еще через несколько дней я получил плотно запечатанный пакет из офиса Президента университета с красным штемпелем наискосок от моей фамилии: «Конфиденциально». В пакете было официальное письмо с уведомлением, что я стал постоянным профессором Университета штата Охайо. Большого числа деталей в письме приведено не было, но в тот же день мне принесли огромный пакет, а в нем было несколько папок с описанием самых разнообразных возможностей, из которых я как новый профессор должен выбрать мне интересные предложения, заполнить анкеты, вопросники, требования и прочее и прочее. Дело было серьезное, так как я определял для себя на годы многие важные параметры страховок, медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, отчислений в разные полагающиеся для этого фонды и тому подобное.

Я должен был представить заполненные формы в разные службы университета в положенные сроки, поэтому теперь неделю наши вечера были посвящены чтению очередных брошюр из присланных папок, выбору одного варианта из большого их числа, заполнению разных форм. Максим в это время жил у нас в Коламбусе, он принимал самое живое участие в отборе нами медицинских планов, обсуждении разных других возможностей.

Поскольку мое пребывание в должности Выдающегося Приглашенного профессора закончилось, я начал активно прорабатывать в университете идею об избрании Максима на освободившуюся вакансию. Меня сразу же поддержал Перлмэн, который хорошо знал Максима. Ролф Барт, который оставался последний год в комитете по избранию Выдающихся Приглашенных профессоров университета, также обещал свою помощь. Да и знали Максима в университете уже хорошо: он выступил с докладом на семинаре кафедры, общался со многими профессорами кафедры, все признавали его огромную эрудицию во многих вопросах, поэтому особенных препятствий для такого избрания я не видел. Позже он действительно был удостоен этого почетного звания.

Немалую роль в принятии этого решения сыграло то, что в американской прессе появилось несколько статей, в которых факт выдачи гранта совместной американо-советской команде ученых рассматривался с разных сторон. Во всех

статьях подчеркивалось, что и американскую часть представляет не коренной американец, а недавний эмигрант из СССР. Впервые принятое в Соединенных Штатах решение о выдаче такого гранта преподносилось как важный шаг к преодолению холодной войны (действия Горбачева, особенно его шаги к открытости общества и перестройке снискали огромное уважение) и как доказательное свидетельство признания американским руководством того, что уровень развития в некоторых областях науки в СССР если не выше, чем в США, то во всяком случае — на сопоставимом уровне.

Обсуждали в печати и вопрос о решении не переводить средства в СССР. В статье, опубликованной в американской общенациональной газете «Ученый» (The Scientist) (подобная ей газета «Поиск» издается в настоящее время в России) от 23 июля 1990 года было сказано:

> «Эн-Ай-Эйч [Национальные Институты Здоровья. — *В.С.*] воспрепятствовали беспрецедентному финансированию Советского компонента совместного исследования с советским эмигрантом, живущим в настоящее время в США... Джеймс Кассатт, администрирующий программу биофизики в Национальном Институте Общих Медицинских Исследований, говорит, что группа экспертов, которая рассматривала заявку Сойфера на грант, приняла решение урезать ту часть запроса, которая касалась советского компонента проекта, основываясь исключительно на научных аргументах».

22. Вызов на интервью в Университет имени Джорджа Мейсона

Тем временем начала прорезываться, как-то медленно и очень неопределенно, возможность найти работу в другом месте. Еще летом 1989 года, когда мы были с Максимом в Нью-Йорке, я позвонил известному русскому писателю Василию Павловичу Аксенову, который теперь работал Именным профессором (Кларенс Робинсон профессором) в молодом и бурно развивавшемся Университете имени Джорджа Мейсона под Вашингтоном. Я прослышал, что в этом университете продолжают интересоваться профессорами, приехавшими в США из разных стран, имеющими репутацию в своих областях и проявляющими мультидисциплинарные пристрастия, чтобы избрать их на остающиеся одну или две свободные вакансии Робинсон-профессоров (между собой мы звали их Робинзонами).

На робинзоновские должности были набраны ведущие специалисты со всего света. Эгон Ферхайен из Германии славился своими исследованиями истории искусств, Жан Пол Дюмон приобрел мировую известность своими антропологическими работами, политолог Джон Пэйден был признанным знатоком Китая и вообще Дальнего Востока, Шаул Бахаш — Ближнего и Среднего Востока, Роджер Вилкинс был одним из лидеров демократической партии, в годы президентства Джонсона был помощником Генерального Прокурора США, а затем стал одним из ведущих журналистов в стране и блистательно читал лекции студентам, Тэлма Левайн — крупнейший философ Соединенных Штатов — была Президентом влиятельного Американского философского Общества, на лекции Василия Пав-

ловича Аксенова о серебряном веке поэзии в России студенты валили валом, и он пользовался известностью как писатель.

Для Робинзонов было установлено одно непреложное правило: они не имели права работать с аспирантами и были обязаны читать лекции только студентам, причем предпочтительно младших курсов. Это правило было установлено Кларенсом Робинсоном, когда он решил завещать свои миллионы, нажитые коммерцией, университету. В целом университет гордился своей многонациональной и мультидисциплинарной группой Робинсон-профессоров.

Первый шаг к приглашению меня в число Робинзонов сделал один известный американский журналист, знавший меня еще в Москве. Он переговорил в Аксеновым и сказал мне, чтобы я ему позвонил. Василий Павлович был заботлив, мил, попросил меня прислать мои документы, книги, жизнеописание. Он ничего не обещал, более того — сразу дал понять, что процесс избрания новых профессоров многоступенчат, в него вовлечено много людей, а поскольку я не литератор, ему трудно будет аргументированно меня продвигать. Когда все требуемые бумаги, книги и статьи были им получены, он отдал их другому Робинсон-профессору, биологу, вернее биофизику, Хэрольду Моровцу. Время от времени Моровиц мне звонил, просил выслать то одну дополнительную бумагу, то другую. К осени 1989 года интерес руководства этого университета к тому, чтобы пригласить меня, стал чуть более явным, появилась первая слабенькая надежда, что может повезти в этом месте. Меня уже собирались пригласить на интервью, но потом опять наступило долгое затишье.

Звонок из города Фэйрфакса, где расположен Университет имени Джорджа Мейсона, раздался в то самое время, когда в Охайском университете я уже был избран полным профессором. Звонила провост университета, назвавшаяся Кларой, ее итальянскую фамилию я поначалу не запомнил, но ее гортанный, совсем не американский акцент был запоминающимся. Она, как водится, поинтересовалась, как идет жизнь, я сказал, что только что получил теньюр в Охайском университете, она меня поздравила и спросила, а не хочу ли я все-таки приехать в Джордж Мейсонский университет на интервью. Предложение ее звучало интригующе, так как она сказала, что ведь если я пройду успешно интервью, то смогу в их университете получить лучше условия, чем в Охайском. Тон Клары был благожелательным, спокойным, я решил, что было бы неуважительно отказываться от такого приглашения, уж на интервью я приехать мог без всякого лукавства. Клара подтвердила, что их университет оплатит и дорогу и гостиницу, а два дня я выкроить сейчас, будучи полным профессором, мог без труда. Мы поговорили о дате приезда, я посмотрел свой календарь и назвал удобную для меня дату приезда. На следующий день секретарь президента Джордж Мейсонского университета позвонила мне и назвала гостиницу, в которой университет заказал мне комнату. Название мне показалось знакомым — «Мариотт» — и еще какие-то два дополнительные слова. Сеть отелей «Мариотт» была мне уже знакома, два других слова из названия я постарался записать, получилось не очень разборчиво, но, полагаясь на то, что отель должен быть невдалеке от университета, я решил, что найти его будет нетрудно.

Опять сказалась выработанная, даже не знаю почему, в России привычка делать вид, что ты всё понял и повторять не надо. (Впрочем, в России разница в

акцентах речи не столь велика даже у людей из разных районов, и все говорят в России все-таки на однотипно звучащем языке.) Американцы в таких случаях не постеснялись бы несколько раз переспросить, да еще попросили бы продиктовать все непонятные слова по буквам, да еще повторили бы записанное, спрашивая, а правильно ли я понял? В Америке, стране с огромным числом давних и недавних эмигрантов, прибывших из разных стран, с разными акцентами, все говорят на английском, но подчас национальные особенности прорываются так явственно, что разнообразие говоров разительно. Умение не бояться переспрашивать, не делать вид, что ты всё понимаешь с полуслова, дается многим русским нелегко.

Джордж Мейсонский университет был готов оплатить мне и автомашину, которую я мог взять в прокат прямо в аэропорту Вашингтона. Я так и сделал. Приземлившись и войдя в здание аэропорта, я подошел к бюро, за которым восседала представительница компании, предоставлявшей автомашины в рент, заполнил простенькую форму, показал свои права, дал кредитную карточку, и через каких-то 15 минут выехал на машине в город. Девушка дала мне простенькую карту, на которой я нашел неподалеку от границы Вашингтона город Фэйрфакс. Значительную часть города на карте занимало зеленое пятно кампуса Университета имени Джорджа Мейсона. Всё вроде было просто, я поехал.

Время было позднее, что-то около 10 вечера, на улице стало совсем темно. Немало покружившись, я выехал на улицу, ведущую к университету, сбавил скорость, надеясь увидеть название отеля и в нем поселиться без хлопот. Гостиницы с таким названием не было. Я увидел машину полиции, припаркованную к обочине, остановил свою машину и пошел спрашивать самого знающего человека. Полисмен выслушал меня, сказал, что такого отеля в Фэйрфаксе точно нет, тогда я стал спрашивать, как доехать до Университета Джорджа Мейсона. Его оказалось найти также непросто.

В конце концов, я добрался до университета. Въехать на территорию кампуса я въехал, но ни к одному зданию подрулить не смог, так как ко всем корпусам университета подъезд был запрещен и к зданиям вели только пешеходные дорожки, к тому же все окна в домах были темными. Я решил ждать прохожих и стал спрашивать каждого из них, знают ли они гостиницу, нужную мне. Никто названия отеля «Мариотт и что-то еще» не знал. Тогда я поехал в ближайшую гостиницу, решив спросить о моем отеле. Только в половине второго ночи я, наконец, попал в то место, куда мне было надо, посетив до этого две другие гостиницы, где меня, разумеется, не ждали.

А в 7 утра за мной уже должен был заехать вице-президент университета. Спать пришлось мало. Завтрак с вице-президентом был по-американски прост: сэндвич, кофе и апельсин. Вице-президент ко мне цепко приглядывался: как сижу, что говорю, как держусь. Через полчаса мы поехали в университет: он на своей машине, я за ним.

В 8 утра я вошел в кабинет Президента университета. Крупный мужчина с полным лицом и рыхлой комплекцией, не толстый, но массивный и представительный, усадил меня в кресло напротив своего кресла. Оба кресла были заранее поставлены необычно: прямо в центре его не очень обширного кабинета. Президент начал приглядываться ко мне, стал спрашивать о научной работе, но я

быстро заметил, что ответам на эти вопросы он не придает большого значения, так как никакими деталями не интересуется и каждой фразой остается довольным. Потом пошли вопросы о моих гуманитарных увлечениях, о книге о Лысенко (вынутую из портфеля и протянутую ему книгу, напечатанную по-русски, он стал проглядывать более внимательно, поинтересовался некоторыми фотографиями в книге, затем протянул мне ее назад). Следующие вопросы были о моем понимании мультидисциплинарных наук, о желании или нежелании преподавать что-то такое, чего еще никто никогда не преподавал, о возможности совмещения гуманитарных интересов и научной направленности. То ли от бессонной ночи, то ли лихости, приобретенной мной в связи с обретением теньюра, но я стал свободно на эти темы говорить.

Вслед за тем я упомянул наш первый в США американо-советский грант. Я понял, что эта тема сердце Президента затронула. Он оживился и стал сыпать вопрос за вопросом. Я уже знал, что по американским правилам директор проекта — единственное лицо, распоряжающееся грантом, только он может решать, как и на что тратить деньги, грант не привязан к университету, откуда грант подавали, и директор проекта при переходе на новое место всегда забирает или все деньги или их остатки. Это означало, что, переходя на новое место, я приносил с собой в новый университет немалые средства.

Потом Президент посмотрел на часы: мы проговорили уже 40 минут. Он предложил пройти к провосту. Ее кабинет был расположен в том же отсеке здания. Клара Ловетт (теперь я увидел ее фамилию на табличке, прикрепленной к стене рядом с кабинетом) встретила меня радушно, ее вопросы касались двух аспектов: что я мог бы читать в их университете и как я хотел бы организовать свою научную работу. Она дала мне понять, что, возможно, переговорит со мной еще раз в конце дня. «В зависимости от того, что скажут Президент и другие люди», — подумал я и был недалек от истины.

На 10 утра была назначена моя лекция для студентов биологического факультета на тему «Митохондриальная ДНК и генетика митохондрий». Аудитория, в которую меня привели, была заполнена, присутствовало более полусотни студентов, на последнем ряду я увидел человек десять явно не студенческого вида. «Оцениватели», — решил я. Лекция продолжалась два академических часа, удержать внимание студентов я сумел и почувствовал, что сегодняшняя лекция получилась неплохой. Опять-таки лихости придавало то, что в случае провала мне ничто не угрожало и серьезный в таких случаях психологический стресс начисто отсутствовал.

По окончании лекции студенты даже мне поаплодировали, после чего меня повели в студенческий клуб на обед с Робинсон-профессорами. Когда меня привели в этот зальчик, я увидел, что на огромным столе было накрыто на 15 персон, все Робинзоны толпились гурьбой около стола. Среди профессоров я увидел Василия Павловича Аксенова и очень обрадовался: все-таки первое знакомое лицо. Вдруг я заметил в дальнем углу еще одного знакомого — нашего с Максимом старого приятеля, бывшего научного атташе американского посольства в Москве Джона Ворда, который теперь работал в Госдепартаменте и которого я пригласил в Джордж Мейсонский университет на мою лекцию, не

подозревая о том, что там все действия расписаны до минуты и чужие люди нежелательны. Но, оказывается, Джон уже со всеми до меня перезнакомился и был принят с удовольствием (хотя позже я узнал, что профессора были немало удивлены моей свободой поведения; но человек из Госдепа, значит, лицо влиятельное, пришел, что ж, хорошо).

К этому времени я уже чувствовал усталость и думал, что за обедом передохну. Но оказалось, что обедать стали Робинзоны, а я был открыт теперь для их перекрестных вопросов. Один из Робинзонов (потом мы стали с ним особенно дружны, Пол Д'Андреа, потомок итальянцев, драматург) спросил меня: «А как вы будете относиться к тем студентам, которые явно вас не любят и учатся плохо?» Я вспомнил Кнута Гамсуна с его рассуждениями на подобную тему и пересказал его точку зрения об уважения к тем, от кого только и можно получить реальную оценку своих действий. Мне показалось, что экскурс в «чистую» литературу удовлетворил спрашивающего (я тогда не знал, что он драматург). Василий Павлович также приветственно шевелил усами. Обед с вопросами продолжался час.

В половине второго мы прошли в другой корпус и расселись в холле зальчика, к которому примыкали офисы Робинзонов. Сами Робинзоны расположились на диванах и стульях вокруг. Теперь вопросы пошли об общих взглядах на жизнь, на науку, на ускорение темпа научных исследований и связи науки с промышленностью. Гуманитарные нотки во всех вопросах непременно выходили на первый план. В какую-то минуту Василий Павлович, который совершенно определенно был общим любимцем Робинзонов (только стоило ему открыть рот, как все замолкали и с интересом поворачивались к нему), помог мне несколько расслабиться, рассказав старый советский (или, вернее, антисоветский) анекдот о том, как затравленный «антипартийной группировкой Маленкова—Берия и других» Никита Хрущев приходит в мавзолей на Красной площади в Москве с подушкой, одеялом и матрасом и спрашивает Ленина и Сталина, уютно расположившихся в хрустальных гробах: «Можно я с Вами, товарищи, посплю?», на что Ленин вроде бы соглашается, а Сталин, попыхивая трубочкой, говорит: «Ныкыта! Здесь не общежытие». Я порадовался тому, с какой легкостью Василий Павлович передал все нюансы анекдота по-английски и даже нашел, как оттенить грузинский акцент второго вождя. Минута отдыха закончилась. Робинзоны продолжали меня допрашивать до трех тридцати.

В четыре дня мне предстояло выступить перед Робинзонами со специальной лекцией. Я посвятил ее рассказу о Лысенко, партийном диктате в науке и пагубной роли вмешательства в науку государства, особенно государства в однопартийной и репрессивной системе. По окончании лекции опять было много вопросов. Лекция была рассчитана на час. Мы задержались до половины шестого.

На ногах я еле стоял. От перехода из здания в здание я уже совершенно потерял ориентировку в этом университете. К тому же то в одном, то в другом месте что-то строили, поэтому было непривычно грязно для американского городка, где всегда всё чисто и подметено.

Мне передали, что меня снова ждет Клара Ловетт. Василий Павлович вызвался меня проводить до провоста и, дождавшись конца беседы, пойти со мной искать, где же я утром запарковал свою машину.

Второй приход к провосту был отмечен разительной переменой в ее поведении. Она уже не была столь подчеркнуто веселой и дружелюбной, похоже было, что наступил момент серьезных переговоров. Речь пошла о моей будущей зарплате, и я понял, что длинный марафон проверок меня в течение дня привел университетские власти к решению, что меня можно приглашать на должность именного профессора (позже я узнал, что был сформирован специальный комитет, ответственный за интервьюирование меня, составленный из двух преподавателей кафедры английского языка, представителей кафедр биологии и истории, а также двух людей из офиса провоста, эти люди присутствовали на моих лекциях). Названная мне цифра возможной зарплаты была чуть выше того, что мне предложили в Охайском университете, но лишь чуть-чуть, и я спокойно возразил Кларе, что такая зарплата меня удовлетворить не может, так как раньше мне было сказано ею же, что в Университете Джорджа Мейсона условия будут лучше. На деле же это гораздо худшие условия, так как мне известно, что жизнь в столице по крайней мере на треть дороже, чем в провинциальном Коламбусе. Началась торговля. На тридцатипроцентное повышение Клара не согласилась, сошлись на 25 процентах. Потом пошла речь о размере лаборатории. С трудом, но этот вопрос был решен так, что я получал условия не хуже, чем в Коламбусе. Потом я запросил от университета дать такие же деньги для начала работы лаборатории, как в Охайском университете. Этот вопрос мы дискутировали долго. В конце концов, я понял, что им хочется меня пригласить, но еще немного, и я сорву дело. А мне, по правде, уже показалось, что я о многом важном договорился. Поэтому я согласился на меньшую сумму и на этом остановился.

Надо заметить, что к этой торговле я был подготовлен. Перед самой поездкой я позвонил Чарлзу Кэнтору, и он научил меня, что принято просить в подобных случаях. Список Кэнтора еще не был исчерпан, можно было бы попросить и еще кое о чем, но я решил воздержаться. Сам для себя я еще не решил, хочу ли я уезжать из Коламбуса, а вести дело к тому, чтобы сорвать переговоры, мне тоже не хотелось. Последним пунктом в списке Кэнтора был вопрос о специальной стоянке для моей машины (нередко в университетах трудно найти свободное место на паркинге, и Чарлз меня предупредил, что, как правило, именные профессора имеют право запрашивать такую льготу для себя). Я сказал Кларе, что в принципе удовлетворен всеми переговорами, что осталась одна мелкая проблема, но я на ней настаивать не буду, а могу ее и не упоминать вовсе.

— Ну почему же, скажите, и, если я могу, я решу этот вопрос, — улыбаясь снова, как бы показывая, что формальная беседа ей порядком надоела и теперь можно перевести разговор в более приятное для нее русло, проговорила Клара.

Я сказал о стоянке, и Клара ответила, что этот вопрос будет решен без всяких трудностей. Мы перешли к последней теме: когда я смогу принять должность и начать работу. Клара сказала, что предполагается, что я переезду к ним в концу лета, а с сентября начну читать лекции. Мне показалось особенно привлекательным, что педагогическая нагрузка, о которой я даже забыл спросить, оказалась для Робинзонов более чем вдвое меньше, чем Охайском университете. Последней фразой Клары Ловетт было то, что она доложит результаты наших переговоров Президенту, потом мои дела пойдут на рассмотрение Совета университета. Совет

никогда не возражает против кандидатур, предлагаемых к утверждению, так что это простая формальность.

Мы пожали друг другу руки и разошлись.

С большим трудом Василий Павлович, который сидел в приемной провоста и поджидал меня, разыскал место, на котором был запаркован мой автомобиль. Мы сели в мою машину и поехали к стоянке аксеновского автомобиля. Сделав порядочный круг по обводной дороге, идущей вокруг кампуса, мы остановились около белого «мерседеса», принадлежащего Аксенову.

— Мы думали с Майей позвать тебя к нам сегодня, — проговорил Вася, — но я чувствую, что ты зверски устал, и тебе надо ехать в гостиницу спать. Увидимся, когда вы переедете. Отдыхай. Я помню, что когда я проходил интервью, похожее на твое, я пришел домой и не мог говорить, сидеть и думать. Я лег на кровать и тупо смотрел в потолок. Процедура эта выматывающая.

На этом мы простились, а на следующее утро я вернулся в Коламбус.

Теперь я столкнулся с серьезной дилеммой: морально или аморально уходить из университета, когда ты только что получил в нем столь долго ожидаемый теньюр? Привычные жителю России опасения и тревоги наполняли меня. Ведь и в самом деле чувство благодарности коллегам в Университете штата Охайо было исключительным. А теперь вместо благодарности, я должен объявить им, что предпочитаю другое место.

Слегка облегчала для меня ситуацию новость, которая разнеслась в эти дни по кафедре: Фил Перлмэн уезжал в Техас, переходя в Центр молекулярной биологии Техасского университета, где работали три Нобелевских лауреата и где он получал лучшие условия, чем в Охайском университете. Самый главный человек, которому я считал себя обязанным, уезжал, и хоть в этом отношении было легче.

Конечно, я спросил нескольких американцев о том, как бы они поступили в моем случае. У нас гостил тогда профессор Южно-Дакотского университета Дональд Кенэфик с женой, которого мы знали еще с московской поры. Он сказал, что смена мест работы крайне положительно сказывается на любом профессоре, так как позволяет быстрее расти, входить в новые области, расширять кругозор и вообще стимулирует. Важно лишь, чтобы в каждом новом месте условия были лучше, чем в предыдущем.

Другие американцы, к которым я обращался, спрашивали меня в первую очередь, на сколько в новом месте зарплата лучше, а услышав, что на четверть, говорили: надо быть ненормальным, чтобы такими суммами пренебрегать. Наконец, я решил сказать Перлмэну о моих моральных затруднениях.

Перлмэн, даже не задумываясь ни на секунду, сказал, что с материальной точки зрения, вопрос бесспорный, что близость к Вашингтону важна, что природа Северной Вирджинии замечательна. Он рассказал, что его сестра жила там, он несколько раз бывал в тех местах и считает, что жить в Северной Вирджинии много лучше, чем в Охайо. Отрицательным моментом было то, что у Джордж Мэйсонского университета нет пока той огромной репутации, которая есть у Охайского университета, нет развитой системы аспирантуры, туда наверняка идут студенты похуже, но это все быстро меняется.

— Я бы не раздумывал, — подытожил Фил.

Через две недели обещанное письмо Президента Джордж Мейсонского университета пришло. Мне нужно было срочно ответить на сделанное предложение стать «Кларенс Робинсон-профессором молекулярной биологии и истории наук». К этому моменту все колебания остались позади. Я ответил положительно.

Тем временем журналисты не переставали интересоваться деталями полученного нами гранта, несколько раз я отвечал по телефону на их вопросы. Я уже открыто говорил о переходе в университет имени Джорджа Мейсона. Наиболее дотошные из корреспондентов стали звонить и туда. В одном из сообщений о моем переходе в этот университет говорилось:

«Преследуемый и оставленный без копейки денег в Советском Союзе, Сойфер был в течение 10 лет критиком политизации советской науки и надеялся на то, что его фортуна изменится к лучшему после того, как он прибудет в Соединенные Штаты... В прошедшем месяце Сойфер узнал, что Эн-Ай-Эйч присудили ему... трехлетний грант для изучения деталей трехнитевых структур ДНК... И вот этой весной Джордж Мейсонский университет решительно заявил, что приглашает Сойфера занять специальную должность общеуниверситетского плана... В Университете имени Джорджа Мейсона Сойфер будет Робинсон Профессором... Получатели этих почетных должностей, — говорит вице-президент университета Дэвид Поттер, — избираются на основе проявленного ими интереса к обучению студентов, междисциплинарной природе их исследований, их репутации в национальных масштабах и их способности «стать строителями нашего университета». Сойфер, — говорит Поттер, — не только выдающийся ученый, но человек чья работа переходит границы лабораторного стола. Его прошлое дает ему уникальное будущее и открывает возможность помогать науке Советского Союза».

23. Прощание с Виолеттой Бовт

Пошли переговоры с новым университетом о финансировании моего переезда (университет оплатил всю стоимость перевозки наших вещей, мебели, книг и вообще всего нашего скарба из Коламбуса в Вашингтон). Мы съездили с Ниной трижды на поиск дома, который предстояло купить вблизи университета, посмотрели их с полсотни и выбрали дом, показавшийся нам приемлемым.

Уезжать из Коламбуса было и радостно, и грустно. За два неполных года, проведенных в этом городе, наша жизнь радикально изменилась, похоже, изменились и мы сами.

Самое неприятное в отъезде заключалось в том, что мы оставляли людей, ставших близкими друзьями, людей, с которыми жизнь нас так счастливо свела и теперь разводила. О многих из них я уже писал выше, особенно о наших американских друзьях, но оставались в Коламбусе и друзья из русскоговорящей общины Коламбуса.

Мы близко сошлись в эти годы с Виолеттой Бовт, выдающейся балериной, жившей и работавшей много лет в СССР в труппе Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, а с 1987 года поселившейся в Коламбусе.

В Москве Виолетта Бовт, удостоенная высшего звания Народной артистки СССР, танцевала, ставила спектакли, успешно гастролировала и стала любимицей во многих странах, особенно в Японии (правда, в родную Америку, где она родилась, ей съездить ни разу не дали), была кумиром московской молодежи. Моя Нина в свою бытность студенткой 1-го медицинского института бегала на спектакли с участием Бовт и, когда мы впервые услышали от Левенстайнов, что Виолетта Бовт теперь живет в Коламбусе и хотела бы с нами познакомиться, вскрикнула: «Как она здесь очутилась?»

Виолетта сама рассказала нам, как ее унизили в СССР и как буквально вытолкнули из страны. Ее отец и мать родились до революции в России (отец был украинцем, исходно фамилия звучала Бовтун), потом оказались в Америке (отец вскоре после беспорядков 1905 года, мать позже). Отец был эсером, верил в очищающее для общества значение революции, но революции не дождался, а за революционную деятельность был арестован и бежал из тюрьмы в Америку. Когда в 1917-м революция в России все-таки свершилась, он вернулся назад и оказался во Владивостоке. Но вскоре началась междоусобица, он возглавил на стороне большевиков борьбу с объединенными силами японцев и Белой армии, став красным комиссаром города. Кончилось это тем, что большевики были разгромлены, пришлось комиссару выпрыгивать из окна и бежать в Америку снова (по дороге он чуть не погиб, но сумел устроиться угольщиком на корабле и выжил). В Америке оказалась и его будущая жена, дочь раввина, которая бежала от еврейских погромов, организуемых русскими шовинистами и волнами прокатывавшихся по городам России. Встретились и поженились они в Нью-Йорке, потом перебрались в Лос Анджелес. В Штатах у них родилось четверо дочек (младшей была Виолетта). Отец, будучи первоклассным инженером, хорошо зарабатывал, купил дом, даже автомобиль, что в 20-е годы было роскошью и по американским понятиям. Но тяга к революционной, красивой и яркой активности не оставляла душу отца. Как ни сопротивлялась мать, но в 1927 году они продали всё и с деньгами вернулись в СССР. В 1935 году их заставили отказаться от американского подданства, сдать иностранные паспорта и принять советское гражданство. В 1938 году отца арестовали. До сих пор трудно понять, как этому человеку удалось доказать, что никакой он не американский шпион, а убежденный сторонник большевиков (дети слышали от матери историю, о том, что какой-то из крупных партийцев вспомнил роль отца в борьбе большевиков за овладение Владивостоком и помог спасти его). Так или иначе, в 1940 году его выпустили на свободу. В начале войны с фашистами он добровольцем ушел на фронт, где в 1941 году в битве под Можайском отдал жизнь за Родину.

Родная сестра Виолетты Виктория в 60-х годах сумела уехать в США с мужем, тоже американцем, Джеком Гуральским. Джек приехал в СССР во второй половине 30-х годов (он симпатизировал социализму, к тому же в годы депрессии в конце 20-х годов в Америке жить было не сладко, а, в отличие от отца Виолетты, Джеку пришлось спать под мостами) и прямым ходом отправился в ГУЛАГ. Отсидев полный срок, Джек вышел на свободу только после смерти Сталина и поговаривал, что первым иностранным языком, который он выучил, был русский

матерный. Несколько лет он с Викторией добивался разрешения на возвращение на родину, и только в 60-х годах они смогли уехать в Штаты по вызову родной матери Джека, а потом поселились в Коламбусе.

В конце 70-х годов Джек тяжело заболел, сестра позвонила Виолетте и попросила ее срочно прилететь. Выдающаяся советская балерина гастролировала по всему свету и даже не подумала, что просьба о поездке к сестре по такому поводу может вызвать начальственный гнев. Но именно эта нечеловеческая, да еще выраженная в хамской форме реакция была ответом на ее просьбу. Более того, вместе с отказом ей было заявлено, что если она вздумает настаивать на желании навестить сестру, то может потерять работу. И действительно — в ближайшую же гастрольную поездку ее не пустили и дали понять, что у нее теперь один шанс увидеть сестру: покинуть СССР навсегда. По-видимому, кому-то из высоких держиморд хотелось продвинуть на роль примадонны театра свою любимую актрису.

Виолетта подала заявление на эмиграцию, но выпускать ее не торопились. Почти 7 лет она просидела в отказе — в те же годы, что и мы. Но она боялась, что если войдет в контакт с другими отказниками, то срок выезда ей отодвинут еще дальше (все-таки «Народная артистка»). Она затаилась и тихо ждала. Наконец, ей удалось передать в американское посольство свидетельство о рождении, там проверили американские записи о всех родившихся, признали ее американское гражданство и выдали паспорт. С ним, на полных правах американки, она приехала в Коламбус.

Поселившись у сестры, Виолетта попыталась попасть в балетную труппу Коламбуса, но сразу это не удалось. Еще одна балерина, да еще очень застенчивая, была не нужна. Жить без работы тоже было нельзя: только в Штатах Виолетта поняла, как с трудом сводят концы с концами Джек и сестра. Надо было где-то устраиваться на работу. Денежного пособия, какое выдают эмигрантам без гражданства, ей не полагалось, потому что она была полноценной американкой. Сестра, наслушавшись знакомых, решила обратиться за помощью в местный Еврейский Центр, выдававший всем вновь прибывшим евреям небольшое пособие в первые полгода после приезда. Мать сестер была еврейкой, и они решили попытать счастья там. Встретила их в Джуйке (так между собой зовут еврейские центры эмигранты из России) «социальный работник» Сэра, про которую в среде эмигрантов сложилось твердое мнение, что она «трамвайная хамка». Сестры такого определения, разумеется, не знали.

— Чем занимались в СССР? — спросила Сэра.

— Я балерина, — ответствовала Виолетта.

— Так. Придется специальность сменить. Балерин нам хватает, — безапелляционно заключила «социальный работник».

На этом вся «забота» окончилась, пособия ей не выделили.

Вскоре новые друзья, с которыми Виолетта познакомилась в Коламбусе и которых я вспоминал выше, Дора и Витя Левенстайны, привели Виолетту к их американской знакомой — Агасте Франк, в прошлом концертировавшей пианистке, игравшей в Коламбусе особую роль. Агаста была заводилой при создании театра в городе, вложила деньги в создание балетной труппы и Академии танца. На приеме для артистов, которые всегда устраивали после каждого представле-

ния, Агаста подвела Виолетту к одному из руководителей труппы и посоветовала переговорить с приезжей балериной из СССР.

— Вы танцевали в Большом? — спросил он Виолетту.

— Нет, в театре Станиславского и Немировича-Данченко, — ответила Виолетта.

— О, я однажды видел «Лебединое озеро» в постановке этого театра в Париже. Это было очень хорошо.

Тихим голоском Виолетта проговорила:

— Это я танцевала Одетту и Одиллию в том спектакле.

На этом все представления и переговоры были завершены. Виолетта была принята на работу. Ей повезло в том, что в те годы в городе работал выдающийся американский постановщик танцев и педагог Джон Мак Фолл. За считанные месяцы Виолетта показала всем свои способности, и Мак Фолл сделал ее вторым после себя постановщиком спектаклей, наставником труппы и профессором Академии балета.

Американский балет коренным образом отличается от русского классического балета. Динамичный, порывистый танец, физкультурные и акробатические элементы с непрерывно чередующимися прыжками, пробежками, энергичное размахивание руками во все стороны, резкие наклоны, театральные эффекты, доведенные до гротеска, наиболее характерны, на мой взгляд, для американского балета. Если танцор взаимодействует с танцовщицей, то, как правило, резкие движения превалируют, если же надо передать что-то тонкое во взаимодействии девушки и молодого человека, то это строится так, чтобы была ясна сексуальная, а не платоническая линия танца. При этом в драматургии постановщики стремятся так строить мизансцены, чтобы они достигли одной цели: открытым текстом показали зрителю, о чем идет речь в данную секунду. Тонкий рисунок танца в русском балете, его мягкость и мелодичность, приемы, позволяющие выразить многообразие чувств и действий, умение стоять и двигаться на пуантах, а не танцевать босиком или в спортивных тапочках, отличают русский балет от американского. Певучая синхронность танца у кордебалета, костюмы девушек в пачках, головных нарядах, красиво выполненные костюмы юношей, которые часто сами служат произведениями искусства, присущие русскому классическому балету, просто неизвестны американцам и, может быть, более того — чужды основному стилю американского балета. Большинство американцев любят носить каждый день шорты и майки, щеголяют в них летом, в жару, сохраняют тот же наряд и зимой. Аналогично этому и в балете всякое тяготение к нарядным костюмам считается излишеством. Ведь в формальном, закрывающем тело костюме не видно, как играют мускулы танцора, как лихо сгибаются ноги балерины, так долой все эти лишние аксессуары.

Конечно, сама Виолетта, когда мы не раз на эти темы заводили разговор, всегда со мной не соглашалась, считая, что в американском балете есть такой заряд энергии, такой поток эмоций, такая сила, что русским это просто не под силу. Да и зрительно американский балет производит исключительно сильное впечатление. То, что принесла в российский балет Майя Плисецкая, самобытно, но шло от тех же корней, динамизм ее танца вызвал огромный интерес на Западе, потому что зрители там были приготовлены именно к этим новациям.

Однако настоящей школы балета не было, ляпы на сцене были неизбежным следствием отсутствия этой школы, а сами танцоры быстро выходили из строя.

— Они резко, с вызовом делают фуэте, крутятся как волчки на сцене, вносят элементы акробатики, — и травмируют себя, иногда даже ломают кости, — рассказывала Виолетта. — Все-таки то, что было привнесено в балет столетиями, приемы танца, правила постановки стопы, культура и просто чистота исполнения различных элементов — этому нужно серьезно учить.

Уроки Виолетты оказались столь важными, столь интересными, столь новаторскими, что труппа Мак Фолла в короткий срок преобразилась. Появилась законченность танца у всех танцоров, даже в постановки спектаклей были внесены серьезные изменения. Постепенно стал меняться репертуар: первое отделение оставалось привычно «американским», во втором отделении стали вводить номера классического балета, поставленные и Виолеттой, и Джоном.

Виолетта работала на износ: классы, классы, классы, тренинг всех — от солистов до второстепенных танцоров, постановка классических танцев из репертуара мирового балета. Всё, что она делала, было на ура воспринято и труппой, и зрителями. Народ повалил в театр еще больше, цены на билеты взметнулись, и всё равно каждый спектакль собирал аншлаг. Виолетта стала знаменитостью в Коламбусе, о ней писали в газетах, у нее брали интервью, ее стали приглашать на мастер-классы в другие города. Труппа Мак Фолла с триумфом выступила на нескольких крупных театральных площадках США, в 1989 году столь же успешно побывала в Египте и на Ближнем Востоке. Любимый ученик Виолетты занял второе место на всеамериканском конкурсе балета.

А сама Виолетта оставалась такой же тихой, скромной, даже незаметной. Ей были совершенно чужды манерность и капризы звезды. Она часто приезжала к нам на квартиру, мы радовались взаимному общению, рассказывали друг другу истории из своих жизней: она из своего, неизвестного нам, театрального мира, мы ей — из столь же далекого от нее научного мира. Перезванивались мы наверное каждый день, помогали друг другу во всем. Ее американское происхождение, хорошее английское произношение помогали ей, но все-таки всю жизнь она жила в мире, где всё было предопределено навсегда (едешь на гастроли — вези консервы и галеты, денег не дадут, в комнате одна жить не будешь, потребности минимальны и т.д.). Теперь же всё надо было уметь делать самой. Мы вместе узнавали многие новые детали американской жизни и щедро делились друг с другом знаниями.

Хоть Коламбус и был провинциальным городом, но культурная жизнь в нем била ключом. Работал оперный театр, в спектаклях которого пели лучшие певцы мира, собираемые со всего света только на эту постановку. Одна, две репетиции — два, три представления, и все разъехались. Через две недели в театре новая премьера. В городе был собственный хороший симфонический оркестр, в университете свой полный по числу исполнителей симфонический оркестр. Представления в клубе университета и в Охайском театре — каждую неделю. Кого только мы ни услышали в Коламбусе: Пинхас Цукерман, Дэниэл Баренбойм, Йо-Йо-Ма, Питер Сёркин, Владимир Фельцман, знаменитые певцы и певицы и многие другие. Вместе с Левенстайнами и Виолеттой мы старались быть на всех

концертах, заранее покупали билеты, после концертов часто ехали друг к другу, чтобы вместе попереживать услышанное и увиденное...

Агасте Франк, которая помогла Виолетте устроиться в балет, было уже за 70, ее покойный муж оставил довольно приличное состояние, Агаста была членом нескольких престижных клубов в Коламбусе и часто приглашала на ужин в эти клубы русских друзей. Эти совместные походы были всегда интересными, можно даже сказать творческими, каждый привносил какую-то свою нотку, и Виолетта была на этих вечерах особенно хороша. Агаста гордилась знакомством с Виолеттой и с удовольствием приглашала к нашему столу тех, кто узнавал ставшую знаменитостью Виолетту и подходил сказать ей несколько слов. Эти комплименты она принимала так мило, так уважительно, что располагала к себе.

Как только мы купили дом в Арлингтоне, Виолетта решила, что она должна непременно поселиться неподалеку и купила дом в том же районе. Теперь вечером мы шли на прогулку с собакой, доходили до ее дома, и, если в окнах горел свет, звонили и вызывали ее пройтись с нами. Встречи стали постоянными, мы жили как близкие родственники.

Когда мы переехали в пригород Вашингтона, первым гостем стала Виолетта. Каждый день мы выбирались в музеи, бродили по Вашингтону, вместе ходили в лес, раскинувшийся в ста метрах от нашего дома, вечерами смотрели фильмы, в которых Виолетта была снята во время ее прошлых, еще советских гастролей.

Я был поражен в тот ее приезд колоссальной дисциплинированностью и тренированностью выдающейся балерины. Мощная утренняя зарядка, дневные упражнения (балетной стенки у нас в доме не было, но Виолетта ловко приспособилась к условиям и организовала себе нужное место, используя перила лестницы на втором этаже дома в качестве станка), строжайший контроль за диетой. Я вспомнил, глядя на то, как ежедневно работает над собой Виолетта, рассказ Доры Левенстайн на эту тему. В те годы Майя Плисецкая и Родион Щедрин посетили Коламбус, они с теплотой встретились с Виолеттой, были на спектаклях, и Дора рассказала, что в один из вечеров Майя Михайловна не без зависти и грусти в голосе проговорила:

— Виолетка — молодец, она держит такую форму, так натренирована, посмотрите, какая у нее прямая спина. А я вот сутулюсь, пороха не хватает.

В один из вечеров в тот приезд Виолетты к нам в Вашингтон мы открыли бутылку шампанского и лихо ее опорожнили, а потом пошли гулять. У всех было прекрасное настроение, вдруг Виолетта раскинула руки и начала импровизированный танец... Она преобразилась в мгновенье ока: что-то бесподобное, легкое, изящное и одухотворенное закружилось перед нами. Она мастерски делала пируэт за пируэтом на асфальтовой дорожке, подпевая сама себе, подпрыгивала и опускалась в самых изящных фигурах танца. Настоящее волшебство творилось пред нашими глазами: как будто фея в лунном свете спустилась с небес и околдовала нас своими движениями...

Это была наша последняя встреча. Мы часто звонили друг другу, по нескольку раз на неделе, но вдруг она исчезла. Дней десять мы не могли дозвониться к ней домой, и нам она звонить перестала. Мы начали ее поиски и узнали, что стряслась беда: у Виолетты обнаружили злокачественную лейкемию. Облучение сменила

химиотерапия. Наши телефонные разговоры наполнились новыми чувствами. Понимая тяжесть болезни, мы старались подбодрить её. Понимая нас, она поддакивала, но было ясно, что ни одному нашему слову она не верит. Наконец, она выписалась из больницы, вернулась домой. Вела она себя так же мужественно, как жила всю жизнь. Каждое утро уезжала в Академию, днем вела классы с артистами балета. Мак Фолл был требовательным и трогательно заботливым. Вместе с женой они выполняли роль ангелов-хранителей Виолетты. Потом Мак Фолл уехал во Флориду, приняв новую балетную труппу. Он продолжал помогать Виолетте на расстоянии, оплатил некоторые особенно дорогие счета от врачей. Лекарства перестали помогать, болезнь быстро прогрессировала, мучения стали нечеловеческими, и она ушла из жизни, оставив по себе боль в сердце и одновременно теплые воспоминания о нашей дружбе и о многих пережитых вместе радостях.

Согласно ее завещанию, после кремации прах великой балерины был отвезен во Флориду, и Мак Фолл развеял его над водами Атлантического океана. В течение года все спектакли Охайской балетной труппы были посвящены Виолетте, ее портретом открывалась программа каждого представления. Тогда же была учреждена ежегодная крупная денежная премия имени Виолетты Бовт для лучшего артиста сезона, и вот уже четыре года подряд в конце сезона, в июне, премию вручают лучшей балерине или лучшему солисту балета в Коламбусе.

* * *

Но я забежал вперед в моем рассказе. До этого же случилось так, что 20 июля 1990 года мы сели с Ниной и Максимом в микроавтобус, принадлежащий сыну, загруженный свертками и парой чемоданов, и отправились в Вашингтон, покидая навсегда город, в котором как бы заново родились на далеком американском континенте, город, ставший нам родным. Ехать предстояло восемь часов. Дважды по дороге мы останавливались в специально для автомобилистов устроенных центрах, где можно было перекусить, слегка отдохнуть и отвлечься.

Когда мы подъехали к Фэйрфаксу, было часов восемь вечера, стояла удушающая жара, было совсем светло. Купленный нами дом еще не был обставлен: грузовик с мебелью и всеми вещами должен был прибыть только следующим утром, поэтому Максим решил остаться на ночь у своих приятелей, а мы решили расположиться прямо на полу на втором этаже, устланном ковровым покрытием.

Было это, казалось бы, совсем недавно. Так ярко стоят в памяти картины того вечера, когда мы подъехали к дому, впустили в него вначале нашего замечательного Кэнди — шоколадного цвета пуделя, родившегося в Москве и ставшего вместе с нами американцем. Кэнди с опаской и недоверием пошел обнюхивать углы в новом доме, опустив нос к полу, подошел к лестнице на второй этаж и как-то в раздумье стал подниматься наверх, иногда посматривая мельком на меня, — дескать, не запрещаю ли я ему такую вольность. Я стоял и улыбался, и это придавало свободы нашему любимцу, потом он пропал надолго наверху. Начиналась новая жизнь, на новом месте. Как это недавно было! И как много воды утекло с тех пор!

Ведь было это десять лет назад.

Фэйрфакс, Вирджиния
Февраль 2000 года

Андрей ДЕСНИЦКИЙ

СВЯЩЕНСТВО И ЦАРСТВО В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
(из истории одного архетипа)

Римский император победил Христа не на аренах цирка, не в катакомбах, а в минуты своего признания Царя Небесного, в минуты начавшейся подмены христианских заповедей заповедями обмирщенной государственности.

Мать Мария (Скобцова)[1].

Пытаясь осмыслить происходящие в современной России события, мы строим свои расчеты на различных политических, экономических и прочих факторах, которые легко исчислить и измерить. Но чем дольше мы этим занимаемся, тем больше убеждаемся, что за текущими событиями стоит еще и реальность иного рода: настроения, господствующие в российском обществе, меняющиеся по какой-то необъяснимой, но вполне уловимой логике. Парадоксальным образом они оказываются более прочными и долговечными, чем официальные идеологии и политические режимы. Им можно давать разные имена, но здесь мы будем называть их архетипами общественного сознания.

Один из важнейших таких архетипов — идея о слиянии церкви и государства (прежде всего монархии), или священства и царства. Эта модель имеет очень долгую историю и по-прежнему популярна даже среди людей, совершенно далеких от религии и монархической идеологии. Впрочем, мы все яснее видим, что монархическая идея явно еще долго будет актуальна в российском общественном сознании, даже если государственный строй России останется республиканским, — об этом нам говорит и полушутливая официальная риторика о «царских делах», и вполне серьезная история возведения на «престол» «наследника» первого российского президента. Россия в ближайшие десятилетия явно будет иметь сильного единоличного правителя, к которому народ будет относить-

Андрей ДЕСНИЦКИЙ — родился в 1968 году в Москве. Окончил классическое отделение филологического факультета МГУ. Кандидат филологических наук, научный сотрудник Института Востоковедения РАН. Автор многих работ по библеистике и истории древней культуры. Живет в Москве.

[1] Мать Мария. *Типы религиозной жизни* // Вестник русского христианского движения. № 176 (II—III, 1997). Париж—Нью Йорк—Москва. С. 11.

ся отчасти как к монарху. Поэтому массовое сознание неизбежно будет примерять к существующей власти, пусть и республиканской, те шаблоны, которые были унаследованы из имперского прошлого.

Даже византийская теория симфонии властей не забыта сегодня окончательно, хотя в устах нынешних правителей выглядит уже карикатурно — достаточно вспомнить, как 9 мая 1998 г. Патриарх Алексий II поздравлял Б.Н. Ельцина как главнокомандующего вооруженными силами России, в ответ на что президент приветствовал в лице Патриарха «главнокомандующего религиозными силами» нашей страны. Детали новогодней церемонии передачи власти подтверждают, что выражение это было всего лишь очередной ельцинской «загогулиной».

Одна из наиболее острых и знаменательных в этом отношении дискуссий развернулась по поводу возможной канонизации Николая II и его семьи. Хотя Синодальная комиссия РПЦ усматривает в качестве возможных оснований для канонизации только терпеливое перенесение страданий и личное благочестие членов царской семьи (то есть те стороны их жизни, которые не были непосредственно связаны с императорским достоинством)[2], но для сторонников канонизации речь идет совсем о другом, а именно о признании жертвы, принесенной царской семьей за всю Россию[3], и о канонизации всего и всех, что было связано с жизнью последнего императора, вплоть до Григория Распутина. Канонизация царя называется делом покаянии всей Церкви. Иерархами РПЦЗ признание святости императорской семьи ставится как необходимое условие примирения с Московской Патриархией и возводится практически в степень догмата веры; так, это признание отдельно упоминается в стандартном тексте покаяния, произносимого клириками Московской Патриархии при переходе их в Зарубежную Церковь.

С другой стороны, нетрудно заметить по меньшей мере один парадоксальный момент в докладе Синодальной комиссии о канонизации императорской семьи. Комиссия отмечает подвиг придворных, добровольно последовавших за императорской семьей в ссылку и вместе с ней расстрелянных, но не считает их достойными канонизации. Д.В. Поспеловский[4] эмоционально называет такое решение «политически-идеологическим и элитарно-классовым», но я рискну предложить иной ответ: его можно назвать мифологическим. И для екатеринбургских убийц, и для многих нынешних сторонников канонизации значимым было лишь убийство царя и его семьи, а сопровождавшие ее слуги значили не больше, чем кони, рабы и наложницы, которых в глубокой языческой древности

---

[2] *О мученической кончине царской семьи. Доклад о работе Комиссии Священного Синода по канонизации святых,* прочитанный на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 10 октября 1996 г.

[3] «Помазанник Божий принес себя в искупительную жертву за грехи народа». Речь здесь идет не о Христе, а о Николае II. Стоящая под этой формулировкой подпись епископа Вениамина не позволяет думать, что здесь вкралась богословская неточность или риторическое преувеличение — *Обращение епископа Владивостокского и Приморского Вениамина* // Церковно-Общественный Вестник, 1997. № 9. С. 5.

[4] Поспеловский Д.В. *Вопрос о канонизации Николая II и Александры Феодоровны* // Вестник русского христианского движения. № 176 (II—III, 1997). Париж—Нью Йорк—Москва. С. 243—255.

при погребении князя специально умерщвляли и хоронили вместе с господином. Стоит ли говорить, что с христианской точки зрения это, мягко говоря, неверно.

Как можно понять по высказываниям радикальных сторонников канонизации, речь здесь идет не о личной святости нескольких человек. Ожидается официальное признание Церковью особой экклесиологической и даже сотериологической роли царя и принятие монархии образца до 1917-го или даже до 1905-го года если не в качестве практической модели государственно-церковного устройства, то по крайней мере в качестве данного Богом идеала. В этой системе координат убийство царской семьи означает несравненно больше, чем убийство любых других людей. Собственно, вся история русской революции понимается тут как измена народа своему царю с последующим принесением его в жертву. Однако необходимо отметить, что идея эта не нова.

1. Царь-жрец и царь-жертва

Мы любим называть себя людьми своего времени. Порой мы можем играть в людей века минувшего. На самом деле мы едва ли сознаем, насколько тесно связана наша современность с веками давно ушедшими, от которых мы, казалось бы, навсегда оторвались... И чтобы увидеть, откуда берется идея царя-жертвы, нам придется начать разговор о первобытной мифологии. Далее мы увидим, насколько парадоксально актуальными оказываются выводы исследователей первобытной мифологии.

Мы обратимся к классической книге — «Золотой ветви» Дж. Фрезера. Ее теоретическая часть старомодно-материалистична, но в ней содержится огромный пласт ценнейшего материала, притом грамотно классифицированного. Фрезер показывает, что мифологема царя-жреца и одновременно царя-жертвы является одним из важнейших элементов мифологического сознания, универсальным для первобытных мифологий архетипом. Царь представляется носителем особой витальной силы, важнейшим действующим лицом при исполнении обрядов и залогом благоденствия своего племени. Когда он становится немощным, неспособным исполнять свои обязанности или когда его народ постигают невзгоды, он торжественно приносится в жертву ради процветания своего народа.

Дело не в том, что старый царь чем-то провинился перед своим племенем, а в том, что он по определению не может быть старым, немощным или больным. Если племя постигают стихийные бедствия и прочие напасти, их причиной также полагают неспособность царя исполнять свои обязанности — не столько государственные, сколько ритуальные.

Разве не видим мы, насколько живы эти мифы в современной российской политике, если в течение нескольких лет чуть ли не главным критерием дееспособности президента оставалась крепость рукопожатия? Когда, наконец, рукопожатие окончательно ослабло, главным и чуть ли не единственным козырем нового правителя стали его несокрушимое здоровье и неукротимая мужественность, явленные на горном спуске, в истребителе, на подводной лодке — а к тому же и готовность решительно «мочить» всех супостатов.

Так и с точки зрения архаического общества смерть царя от старости и болезней часто представлялась принципиально недопустимой — она была бы

равнозначна крушению космоса. Потому в наиболее архаичных племенах одряхлевшего царя нередко убивали на поединке, а новым царем становился тот, кто сумел убить прежнего.

Распространенные в первобытных обществах представления об особой и священной роли царя были подробнее исследованы А. Хокартом[5] — хотя и его работа в значительной мере уже устарела. С его точки зрения, основной смысл первобытных царских ритуалов состоит в обеспечении благополучного существовании всего племени. С помощью магических обрядов первобытное племя стремится установить в природе наиболее благоприятный для него порядок вещей, т.е., как правило, добиться увеличения численности полезных животных и растений и отдачи от их использования.

Животные, которых Хокарт называет *объектом* ритуала, считаются в определенном смысле слова принадлежащими той или иной группе людей. Глава клана играет в подобных ритуалах совершенно особую роль *представителя*, который отождествляется с объектом, поскольку оба отождествлены с божественным предком, общим для животных и людей одноименного клана. Например, австралийское племя Аранда для увеличения численности серых кенгуру устраивало большое празднество, на котором один из членов племени, воспринимавшийся как ипостась воспетого в мифах божественного предка Великого Кенгуру, орошал своей кровью жертвенный камень, чтобы породить множество новых кенгуру и повторить тем самым изложенную в мифах историю их происхождения. Характерно, что представитель и оказывается здесь жертвой, приносимой ради достижения желанного результата. Эта жертва не обязательна должна быть смертельной, да и царь, как отмечает Фрезер, на практике мог заменяться рабом или преступником. Этот широко распространенный прием вошел и в фильм Эйзенштейна Иван Грозный. Вероятно, именно он лежал в основе осмеяния Иисуса римскими солдатами (Мк 15:16 и далее, а также параллельные места) — удивительный, но не единственный в истории случай, когда то, что говорилось в насмешку, больше соответствовало Истине, нежели то, что почиталось истинным.

Хокарт пишет: «Если роль представителя в ритуале играет человек, то это глава общины. В маленьком племени мы называем его вождем, а в более развитой или многочисленной общине — царем»[6]. Однако представитель еще не есть единственный совершитель таинства — он нуждается в жреце, который будет производить над ним необходимые обряды. С точки зрения Хокарта, принцип признания за царем особой священной функции и принцип разделения царства и жречества в равной степени проистекают из магической природы царской власти. С одной стороны, царь играет огромную, если не самую главную роль в обрядах и тем самым способствует благосостоянию своего племени, с другой стороны — это не что иное как роль представителя, отождествляемого с божественным предком и потому с *объектом* магии, но никак не роль *субъекта*,

[5] Hocart A.M. *Kings and Councillors. An Essay in the Comparative Anatomy of Human Society*. Cairo, 1936 (переиздание — Chicago—London, 1970). P. 41—59, 86—101.
[6] Hocart A. *Ук. соч.* P. 86.

совершителя обряда, которая остается за жрецом. Невозможно одновременно быть тем, над кем свершается таинство, и его свершителем.

В особенности это касается монотеистических обществ. Для язычников царь — частица божественного мира, но все же лишь частица, а не исключительное его воплощение. Но для людей, верящих в Единого Бога, отождествлять с Ним царя недопустимо. Отсюда вытекает и гораздо более четкое разграничение священства и царства в монотеистическом обществе: языческое жречество по определению весьма неоднородно, и нет ничего удивительного в том, что царь, выступающий как один из богов, мыслится одновременно как один из жрецов. Но в ситуации, когда жречество выглядит единой и четко структурированной кастой, царь, принимая на себя роль представителя, уже не может иметь самостоятельного места в этой касте[7], иначе неизбежен логический парадокс: посредник, совершающий обряд над самим собой.

Здесь необходимо сделать одну очень существенную оговорку. У христианского исследователя древней мифологии неизбежно возникает вопрос: как относиться к поразительным внешним совпадениям между некоторыми положениями его веры и той примитивной магией, которую он находит у первобытных язычников? Можно ли дерзать проводить какие бы то ни было параллели между бормотанием австралийских заклинателей кенгуру и Евангельским благовестием?

Боюсь, у нас просто не остается выбора: замечать или не замечать это странное сходство. Эти параллели были уже давно проведены, и не так уж давно исчез со стен Казанского собора в С-Петербурге плакат, изображавший «генеалогическое древо» христианства: мифы и предания самых разных народов, предшествовавшие Евангелию и запечатлевшие очень сходные с христианским вероучением эпизоды смерти и воскресения различных божеств, разрывание и поедание их плоти и т.д.

Внешнее сходство было замечено еще первыми христианскими писателями. Св. Иустин Философ (II в.) отмечал, что во многих языческих мифах можно найти сюжеты, внешне сходные с евангельскими, только несущие совершенно другое религиозно-нравственное содержание. С его точки зрения, это демоны специально исказили евангельскую историю, известную им по пророчествам, чтобы увести людей с верного пути. Так, демоны, «услышав от пророка Исайи, что Христос родится от Девы и Сам Собою взойдет на небо, то же самое сказали о Персее»[8]. Итак, Иустин полагает, что эти совпадения меж языческими мифами и христианской верой не случайны, они восходят к одному и тому же источнику, но то, что в Евангелии сияет полным светом истины, в мифах затуманено языческими (бесовскими, по терминологии Иустина) напластованиями.

В XIX в. эти совпадения стали для многих ученых поводом к тому, чтобы сводить все христианство к своеобразному сочетанию общераспространенных мифологем. Но, может быть, мы имеем право говорить о том, что и в этом проявился Божественный кенозис: за многие тысячи лет до Воплощения и

[7] Отметим, что и индуизм — языческая религия с четко структурированным жречеством — относит царей к кшатриям (воинам), а не к брахманам (жрецам).

[8] Иустин Философ. *Первая Апология*, 54. Цит. по: *Раннехристианские церковные писатели. Антология.* М., 1990 С. 177.

Воскресения человечеству уже была приоткрыта эта тайна? Не только Иисус стал полностью человеком, подобным нам во всем, кроме греха, чтобы возвести нас к обожению, но и сама Его жизнь в каком-то смысле повторила надежды, изложенные в древних человеческих мифах, освободив их при этом от первобытной магии и возведя к источнику Истины? И что в крови, пролитой австралийским вождем на камень ради увеличения численности серых кенгуру, содержится первый, еще очень отдаленный намек человечеству на Кровь, пролитую на камень Голгофы?

Итак, попробуем рассмотреть предложенную Хокартом схему царских ритуалов в историческом развитии. На стадии языческой магии мы видим трех основных участников:

жрец ⇔ царь-представитель ⇔ жертва

Об общей для всех древневосточных культур парадигме царя-посредника между богами и людьми подробно говорит статья А.Б. Зубова и О.И. Павловой [9]. Можно усомниться в правомерности применения терминов античной философии и христианской догматики (природа, ипостась, синергия воль и т.д.) к совершенно инородному материалу, но вполне правомерным представляется вывод о том, что на древнем Востоке в царе всегда видели отчасти человека и отчасти божество. Потому нет и четкой границы между тремя понятиями: царь то принимает на себя функции жреца, то выступает в качестве жертвы. Вместе с тем слишком явные попытки царя стать единственным божеством, неоправданно расширить свою роль представителя и посредника по сути выглядели не чем иным как святотатством.

Характерна история индийского царя Вены, «который потребовал, чтобы все жертвоприношения совершались не богам, но только ему, так как в личности царя воплощены все боги. Не поддавшиеся на уговоры царя брахманы закололи его и венчали на царство Притху»[10]. Божественна и священна не столько конкретная человеческая личность царя, сколько сам институт царской власти.

В монотеистическом (израильском) обществе схема в целом сохраняется прежней, но граница между тремя понятиями проводится достаточно строго:

жрец | царь-представитель | жертва

Если царь иногда и заменяет жреца (подробнее об этом см. ниже), то в качестве жертвы он уже не выступает. Не именуется он больше и воплощением Бога, хотя вступает с Ним в совершенно особые отношения избранничества. Не случайно многие фразы из т.н. царских псалмов (например, «сказал Господь Господу моему» — Пс 109:1) издавна одни толкователи относят к Мессии, Христу, а другие — к историческим израильским царям. Неверно было бы отделять одно от другого: настоящим Царем для израильтян всегда оставался Бог (1 Цар 8:6-9), и окончательное преодоление разрыва между божественным царством и исторической государственностью могло быть осуществлено только в эсхатологическом, мессианском будущем. Каждый конкретный монарх был своего рода регентом,

[9] Зубов А.Б., ПавловаО.И. *Религиозные аспекты политической культуры древнего Востока: образ царя* // Религии Древнего Востока. М., 1995. С. 34—84.
[10] Зубов А., Павлова О. *Ук. соч.* С. 68.

временным управителем, которого Бог назначал и смещал в случае неисполнения им своих обязанностей (1 Цар 13:13-14). Как сформулировал это Б. Коллис[11], «Месопотамские цари были человеческими посредниками богов, египетские цари были божественными посредниками богов, Бог Израиля был также и Царем Израиля».

В Новом Завете (прежде всего в Посланиях к Римлянам, см., в частности, 9:11-14, и к Евреям) Христос изображается одновременно как Жрец и Жертва, как Царь мира:

Жрец = Царь = Жертва

И в свете всего сказанного выше становится яснее, что и Царство Христа неизбежно должно было быть «не от мира сего». Его смысл — прежде всего в установлении окончательного, нерушимого посредничества между Богом и людьми, которое не зависело бы ни от погрешностей политических систем, ни от слабостей правителей.

Естественно, для христиан новые жертвоприношения не нужны. Жертва, принесенная на Голгофе, абсолютна, никакое другое искупление после нее уже не нужно и не возможно; подвиг мученика состоит не в «частном искуплении», а во свидетельстве веры ценой своей жизни, в соучастии, а не в повторении Голгофы. Вместе с тем и царство, и священство продолжают свое существование. Богословие иконы открыло новую возможность, уже предугаданную в древневосточных богословских моделях: почитать в царе и священнике не воплощение и не ипостась Божества (как в древнейших пластах языческой мифологии), а Его образ. Речь не идет о том, что каждый конкретный царь и каждый конкретный священник обладают божественной природой или воплощают в себе неземное совершенство, а о том, что они исполняют на земле роль, символически представляющую Бога. Причем играть они ее могут с разным успехом, в том числе — с полным провалом.

Как во Христе различаются, но не разделяются божественная и человеческая природа, так и в христианской монархии священство и царство в идеале образуют два различных, но связанных друг с другом института:



В христианстве, по выражению Зубова и Павловой[12], «царство совершенно изменило свою природу *(по сравнению с языческим древним Востоком. — А.Д.)*, и, хотя память прошлого величия царственности постоянно вызывала конфликты со священноначалием, в лучшие моменты истории pax christiana они разрешались в симфонию богочеловеческого тела Христова». Нетрудно угадать, что помимо «лучших моментов» бывали и худшие, когда верх брала память языческого прошлого, очевидно, заложенная в человека на уровне «коллективного бессозна-

[11] Цит. по: Зубов А., Павлова О. *Ук. соч.* С. 35.
[12] Зубов А., Павлова О. *Ук. соч.* С. 79.

тельного» и потому всплывающая вновь и вновь, невзирая на новые теории и реалии.

И чтобы понять российскую современность, имеет смысл посмотреть, как соотносились друг с другом священство и царство в тех монархиях, преемниками которых видели себя русские государи, строившие на своей земле «Новый Иерусалим» и «Третий Рим» одновременно.

2. Монархия в Ветхом Завете

По мнению составителей сборника Regnum Aeternum[13], земное царство «изначально было образом, иконою горнего Царства», и это «не более недостойно, чем человеку быть образом Божиим». Характерно само название этого сборника — он посвящен монархии земной, но носит имя, которым у христиан может обозначаться только Царство Божие.

Однако насколько правомерно уподоблять установление монархии сотворению человека, непосредственному делу рук Божьих, образу и подобию Бога (Быт 1:26-27)? 8-я глава 1-й книги Царств совершенно однозначно трактует монархию как чисто человеческое изобретение, как своего рода отступничество от идеала теократии, и никакие библейские пассажи, говорящие о практических преимуществах монархии над анархией («В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» — Суд 19:1; Суд 21:25), не признают за монархией никакого божественного происхождения.

Бог допускает и освящает царскую власть, но никоим образом не предписывает ее. Вопреки утверждению прот. В. Асмуса[14], цитата из Второзакония не содержит в себе «Вышнего предопределения установления царской власти». Рассмотрим ее: «Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе и скажешь: «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня»: то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой» (Втор 17:14-15). Обратим внимание на последовательность: сперва народ *самостоятельно* избирает монархию как модель государственного устройства, и лишь затем Бог избирает конкретного монарха.

Сходным образом в той же книге после всех предписанных Богом жертвоприношений описывается самовольное заклание животного: «Когда распространит Господь, Бог твой, пределы твои и ты скажешь: «поем я мяса», потому что душа твоя пожелает есть мяса; тогда, по желанию души твоей, ешь мясо» (Втор 12:20). Заклание разрешается Богом, оговариваются его ритуальные правила, но оно не предписывается Им как нечто обязательное, оставаясь полностью делом «желания души твоей». Так и в самых «промонархических» отрывках Ветхого Завета царство изображается как институт, разрешенный Богом, но установленный всецело по воле людей. Иерархия ценностей вполне понятна: идеалом общественного устройства служит теократия, но поскольку она, как всякий идеал, не может постоянно оставаться практической нормой общественного устройства,

[13] *Regnum Aeternum*. Москва—Париж, 1996. С. 7 (редакционная статья без подписи).
[14] Прот. Асмус В. *Происхождение царской власти* // Regnum Aeternum. С. 43.

народ, чтобы избежать анархии, выбирает монархию. Характерно, что Ветхий Завет вообще нигде не содержит четких предписаний относительно форм государственного устройства, в отличие от детально оговоренных форм культа. Господь избирает конкретных людей (судей, царей, пророков) и через них управляет Своим народом, но нигде и никогда не выводит Он идеальную формулу власти для этого народа.

Составители Regnum Aeternum правы в том отношении, что земная монархия была в глазах израильтян своего рода образом небесной иерархии. Однако речь здесь идет не о воплощении некоего предвечного абсолютного замысла Божия, а о том, что институт, установленный израильтянами «как у прочих народов», был наполнен символическим содержанием. Точно так же в эпоху раннего христианства создатели первых икон выражали истины веры в технике античной мозаики и живописи не потому, что она была дарована им непосредственно Богом, а потому что она была в употреблении у людей.

В ветхозаветном Израиле священство должно было передаваться по наследству, тогда как царя в идеале избирал и отвергал Бог через пророков — на практике оба этих принципа соблюдались далеко не всегда, но они во всяком случае никогда не оспаривались. Даже тот факт, что, начиная с Соломона, царская власть передавалась по наследству, объяснялся через избранничество основателя династии, Давида, и был в глазах израильтян следствием особого Божьего обетования (2 Цар 7:12-16), а не юридической нормой. Священство и царство были достаточно строго разграничены. Израиль в этом отношении резко отличался от подавляющего большинства древних ближневосточных монархий — от Египта до Междуречья — в которых царь не только мог, но и обязан был играть главную роль во многих религиозных обрядах.

Безусловно, и в ветхозаветном Израиле отношения царя и священника не всегда укладывались в простую формулу. Как пишет об этом Р. де Во[15], «Иерусалимский храм был государственным святилищем и священники этого храма были царскими служащими. Их предводители числятся в списке высших должностных лиц (3 Цар 4:2); они назначаются и смещаются непосредственно царем (3 Цар 2:27,35) Царь не был священником в собственном смысле слова, он не был главой жречества, но был его покровителем. Отсюда проистекали конфликты (см., например 2 Пар 24:17-27). По-видимому, священники стремились ограничить вмешательство царя в храмовые дела».

Цари могли участвовать в совершении обрядов, как это делали Давид (2 Цар 6:13) и Соломон (3 Цар 3:4,15; 3 Цар 8:5,62-64; 9:25). Более того, они благословляли народ у святилища (2 Цар 6:18 и 3 Цар 8:14), что, согласно Числ 6:24-27, должны были делать священники. Можно привести и другие примеры присвоения царем священнических полномочий.

Однако стоит обратить внимание, что все случаи, когда исполнение царем священнических обязанностей не вызывало нарекания у библейских авторов, связаны с совершенно исключительными обстоятельствами. По сути, речь идет только о Давиде и Соломоне, царях-пророках, Царях с большой буквы, из

[15] R. de Vaux. *Les Institutions de l'Ancien Testament*, vol. II. Paris. P. 239.

которых один сделал царство таким, каким оно должно было быть, а второй воздвиг в этом царстве Храм. Но вот об Ахазе, который «подошел к жертвеннику и принес на нем жертву» (4 Цар 16:12-15) Библия говорит как о царе нечестивом и самовольном, и в широком контексте такое жертвоприношение явно выглядит как очередная дерзость и произвол. То же самое можно сказать и о жертве Иеровоама (3 Цар 12:33). Вспомним, что именно попытка Саула принести жертвоприношение (1 Цар 13:8-15) стала причиной его отвержения, а во 2 Пар 26:16-20 рассказывается, как царь Озия был наказан проказой за попытку совершить каждение в Храме.

В заключительных главах книги Иезекииля (45-48) подробнейшим образом описывается идеальное распределение ролей священства и правителя-князя, которые должны действовать вместе, но не вместо друг друга. Разделение полномочий священника и царя, которое во дни Давида и Соломона казалось нормой земной жизни (а всякая норма допускает и существование исключений), Иезекиилю виделось уже как безусловное Божественное предписание.

Впрочем, можно вспомнить, что в краткий период израильской независимости при Хасмонеях (104-63 гг. до н.э.) Аристовул I, а за ним и Аристовул II, став первосвященниками, провозгласили себя и царями. Как мы увидим позднее на примере Византии и допетровской Руси, подобное колебание весов в исторической практике неизбежно: то перевешивает одна чаша, и царь совершает жертвоприношение, то перевешивает другая, и священник садится на трон. Но поскольку эти события были в почти тысячелетней истории Израильской и иудейской монархии кратковременными эпизодами, они лишь подчеркивали принцип равновесия между двумя самостоятельными институтами: священством и царством.

Разумеется, нельзя здесь не упомянуть о загадочном Мелхиседеке, который выступает в Быт 14:17-20 одновременно как царь и как священник, а в Послании к Евреям — как прообраз Христа (см., в частности, 7:1-17). Этот образ играл огромную роль в мистике и богослужении самых разных времен и народов, однако мне неизвестно, чтобы он где-либо предлагался в качестве практического образца для устройства той или иной монархии. Казалось бы, последующим поколениям израильских царей было бы совершенно естественно так или иначе возводить свое царство к первому царю Салима (т.е. Иерусалима), Мелхиседеку, и брать с него пример — но они никогда этого не делали.

Надо полагать, что и для создателя книги Бытия эта загадочная фигура, стоящая вне столь важных для автора генеалогических схем и вне основной линии повествования, была скорее мистической, чем исторической, что подтверждает и автор Послания к Евреям. Таинственная личность, соединившая в себе священника и царя, воспринималась им скорее как пророчество о грядущем Мессии.

3. Imperium Romanum

Московские государи осознавали себя в определенном смысле преемниками библейских царей. Однако не в меньшей степени они мыслили себя непосредственными наследниками римских императоров. Не только Петр I «играл в римлян», присваивая себе титул *pater patriae*, но еще Иоанн Грозный гордился

своим легендарным происхождением от Октавиана Августа, которое отличало его от всех прочих монархов. Вот как обращался он в 1573 г. к шведскому королю Юхану III[16]: «Мы от Августа кесаря родством ведемся... нам твоей чести мужичьей нечево добиватца». Надо полагать, что столь сомнительная генеалогия, возводившая Рюрика через легендарного Пруса к первому римскому императору и изложенная впервые в Послании о Мономаховом венце Спиридона-Саввы, была призвана не столько потешить честолюбие рюриковичей, сколько подтвердить правомерность притязаний Москвы называться третьим Римом — заметим, не вторым Царьградом! — и прямых, без византийского посредничества, претензий на древнеримское наследство.

В отличие от библейского Израиля, в Римской империи август еще при жизни провозглашался не только жрецом, но и богом. Характерен описываемый Иосифом Флавием эпизод, когда в 41 г. н.э. Калигула повелел воздвигнуть собственную статую в Святом Святых Иерусалимского храма. Иудеи готовы были не допустить такого кощунства даже ценой бунта, но последовавшая вскоре смерть Калигулы разрешила вопрос мирным путем.

При этом в языческом Риме, равно как и в христианской Византии, верховная власть далеко не всегда передавалась по наследству и не воспринималась императором как частная собственность. Даже если император хотел передать трон своему сыну (что, кстати, было совершенно не обязательно), он еще при своей жизни стремился сделать его своим соправителем.

Впрочем, уже в Риме император постепенно перестал восприниматься как верховный правитель, формально избираемый на должность главы государства в рамках прежних республиканских институтов; в нем стали видеть хозяина, владеющего государством как собственным поместьем. Смена титула *princeps* (первенствующий) титулом *dominus* (господин, хозяин дома), известная нам по учебникам истории как переход от принципата к доминату, наглядно отражает эту тенденцию. Впрочем, само употребление слова *dominus* применительно к императору вызывало сначала довольно негативную реакцию, что хорошо видно по эпиграммам Марциала (10.72 и др.)[17].

Нам может показаться удивительным, что императора далеко не сразу согласились называть господином, но сразу и безо всяких сомнений признали божественным — термин *divus* входил в официальную титулатуру Августа. И в этом отношении поэты были совершенно согласны с придворным этикетом: Вергилий (пусть лояльный подданный и патриот, но все-таки не Демьян Бедный) в первой, программной, эклоге Буколик воспевает Августа как бога. Священный и даже божественный характер его власти был воспринят как нечто само собой разумеющееся — что, впрочем, не мешало свергать и убивать императоров так же, как и простых смертных, поскольку личность конкретного правителя тут, как и на древнем Востоке, не играла решающей роли. Священным почитался сам институт имперской власти.

---

[16] *Памятники литературы Древней Руси.* Т. 8. М., 1986. С. 136.

[17] Крюков А.С. *Из истории слова dominus* // Вестник древней истории. М., 1998. № 1 (224). С. 272—280.

4. Византийская симфония

Византийское государство считало себя непосредственным продолжением Римской империи, да, по сути, и было таковым. Более того, это продолжение Рима было христианским и потому священным — в отличие от западной «Священной Римской империи», которая, по меткому выражению Вольтера, не была ни священной, ни римской, ни империей. Церковь и Империя воспринимались византийцами не просто как два разных института, сосуществующих на одном пространстве, но как двуединый союз души и тела. Нам трудно понять это в наш век многих церквей и империй, но тогда союз единственной Церкви и единственной Империи противостоял хаосу варварского язычества. И доныне в православных храмах звучит на рождество стихира византийской монахини-поэтессы Кассии: «Августу единоначальствующу на земли, многоначалие человеков преста; и Тебе вочеловечшуся от Чистыя, многобожие идолов упразднися. Под единым царством мирским гради быша, и во едино владычество Божества языцы вероваша. Написашася людие повелением кесаревым, написахомся вернии именем Божества, Тебе вочеловечшагося Бога нашего. Велия Твоя милость, Господи, слава Тебе».

Фактические границы подвластной Константинополю территории не играли существенной роли. Если страна была христианской, она была частью Империи по крайней мере в духовном плане, и такой подход имеет очень мало общего с колониализмом прошлого века. Когда Московский великий князь Василий I в конце XIV в. спросил патриарха Антония, следует ли в России на богослужении поминать византийского императора, тот ответил: «Сын мой, ты неправ, говоря — у нас есть Церковь, но нет императора. Для христиан невозможно иметь Церковь и не иметь Империи. Церковь и Империя находятся в великом единстве и общности и невозможно им быть отделенными друг от друга»[18]. Даже отдельные христиане, жившие в иноязычном и иноверческом окружении, как, например, Св. Иоанн Дамаскин, ощущали себя скорее гражданами Византии, чем подданными арабского халифа.

При этом в Византии существовала, по крайней мере в теории, «симфония (т.е. созвучие, согласие) властей»: василевс обладал в церкви особым статусом и огромной внешней властью, но обойтись без иерархии и соборов он никак не мог, как не мог совершать богослужение. Эта симфония восходит по сути своей к библейскому разделению священства и царства, а Юстиниан в Шестой новелле определял ее так: «Величайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием — это священство и царство. Первое служит делам Божеским, второе заботится о делах человеческих. Оба происходят из одного источника и украшают человеческую жизнь. Поэтому, если первое поистине беспорочно и украшено верностью Богу, а второе украшено правильным и порядочным государственным строем, между ними будет доброе согласие (симфония)»[19]. Эти положения были

[18] Цит. по: Прот. Мейендорф И. *Живое предание.* СПб., 1997. С. 261.

[19] Цит. по: Свящ. Николин А. *Церковь и государство (история правовых отношений).* М., 1997. С. 278.

в дальнейшем развиты в Эпанагоге Василия I, не отдававшей никакого предпочтения ни одной из сторон и описывавшей власть Константинопольского патриарха, «одушевленного и живого образа Спасителя»[20], в терминах, которые скорее подошли бы для наиболее радикальных сторонников примата римского епископа, нежели для их восточных оппонентов.

Разумеется, император обладал в Церкви огромными правами. Достаточно сказать, что Вселенские соборы созывались им и проходили под непосредственным его руководством, не исключавшим и силового вмешательства при нежелательном ходе событий. Однако император не мог ни подменить, ни игнорировать решений собора — самое большее, он мог его разогнать. Аналогия с душой и телом здесь действительно очень точна: ссылая и даже увеча епископов (как, например, Св. Иоанна Златоуста), император мог воздействовать лишь на их тело, никогда не присваивая себе при этом епископские полномочия (возможность совершать богослужение и т.д.).

Император, равно как и патриарх, представал перед византийцами одушевленной иконой Христа. Не воплощением, а именно иконой, что подразумевает почитание скорее самого института императорской власти, чем ее конкретных носителей, среди которых нередко встречались люди, недостойные своего высокого звания. В этом отношении византийское политическое богословие вполне продолжает ту, идущую еще из глубин языческой древности традицию, о которой было сказано выше.

Никак нельзя сказать, что византийская симфоническая модель отношений Церкви и государства была идеальна или неукоснительно соблюдалась на практике. Но она строилась на четких принципах, отступления от которых воспринимались крайне негативно. Весьма показательно, что попытки пересмотреть эту модель, существенно расширив полномочия императора, предпринимались тогда, когда властителям требовалось совершить очевидное нарушение церковных канонов или даже узаконить откровенную ересь. Приведу только наиболее яркие примеры.

Притязания императоров на церковную власть проявились с наибольшей остротой в период иконоборчества. Как пишет С. Рансимен[21], «Лев III издает указ против икон собственной властью императора, почитая себя понтификом, царем-священником, как он объяснил папе». Подобная позиция вызвала резко негативную оценку со стороны тех членов Церкви, которых мы сегодня почитаем как святых. До нас дошли слова Феодора Студита, брошенные им в лицо императора Льва V в храме Св. Софии на Рождество 814 г.: «Не отнимай у Церкви ее дара; ведь Апостол сказал: имеем различные дарования, иные апостолы, иные пророки и иные евангелисты, иные имеют служение или учительствуют во исповедание Веры. Но он не упомянул императоров. Тебе, император, вручены политическое правительство и армия. Блюди их и оставь Церковь ее пастырям и учителям, как заповедал Апостол»[22].

---

[20] Рансимен С. *Восточная схизма. Византийская теократия.* М., 1998. С. 191.
[21] Рансимен С. *Ук. соч.* С. 178.
[22] Цит. по: Рансимен С. *Ук. соч.* С. 186.

Самому серьезному испытанию подверглась идея симфонии в царствование Льва VI (по знаменательному совпадению императоры, наиболее откровенно претендовавшие на власть в Церкви, носили именно это имя). Нарушив церковные обычаи и гражданский закон, изданный его отцом Василием I, император вступил в четвертый брак. Это событие вызвало настоящий скандал, вплоть до того, что патриарх Николай Мистик на Рождество 906 г. закрыл перед императором двери собора Святой Софии. Есть что-то символическое и в том, что наиболее яркие протесты духовной власти против светских узурпаторов связаны именно с праздником Рождества, в стихире которого столь ярко выражено представление об идеале христианской Империи. Затем последовала апелляция императора к Риму, арест и отречение патриарха. Смута прекратилась только со смертью императора в 912 г., после чего законный патриарх вернулся на престол.

Еще один эпизод противоборства светской и церковной власти связан с именем Михаила Палеолога, ослепившего в 1261 г. своего формального соправителя и единственного законного наследника престола Иоанна IV, тогда еще ребенка. Этот было не только зверство, но еще и клятвопреступление, поскольку при коронации Михаил поклялся не причинять вреда мальчику-наследнику. Церковь не могла согласиться с таким поступком; император после долгих споров низложил сперва законного патриарха Арсения (1265 г.), потом и собственного ставленника Германия (1266 г.), но все же в 1267 г. ему пришлось публично каяться в своем грехе перед третьим патриархом, Иосифом[23].

Безусловно, в реальной политической жизни Византии патриарх, как правило, существенно уступал императору. Но совершенно очевидно, что в те времена Церковь действовала совершенно самостоятельно во многих областях жизни, а не только совершала богослужение, «технически недоступное» для государственных чиновников. Сравним хотя бы историю Михаила Палеолога с бесконечной чередой дворцовых переворотов Петербурга XVIII в., после которых никому и в голову не могло придти предложить победителям публично покаяться.

5. Святые императоры и князья

Византия знала святых императоров, древняя Русь — святых князей. Однако это было отнюдь не обожествлением власти как таковой, а скорее признанием совершенно особого служения правителя (в каждом из этих случаев неодинакового). Иными словами, купец, воин или крестьянин, которые полностью соответствовали своему идеалу, были в глазах византийцев и русичей всего лишь хорошими людьми, но император или князь, равно как и епископ, в совершенстве исполнивший свое высокое предназначение, становился святым.

Понятно, что от императора в значительной мере зависела судьба и Церкви, и Империи (совпадавшей если не географически, то символически со всем христианским миром). Такое служение неизбежно было сакральным, должное его исполнение действительно было не просто профессиональным успехом, а ясным и всем очевидным путем святости. Но не менее важно, что светские

[23] Рансимен С. *Ук. соч.* С. 216—217.

владыки, равно как и епископы, были для наших предков своего рода одушевленной иконой Христа, и если один из них достойно исполнял свое высокое предназначение, почитать его было столь же естественно, как и почитать канонически написанную икону. Разумеется, далеко не каждому императору, князю или епископу удавалось полностью соответствовать своему званию.

Княжеское служение на Руси было принципиально иным, чем императорское в Византии. Здесь не шла речь ни об особом положении князя в Церкви, ни о его власти над всем христианским миром. Он был лишь правителем и военным вождем своего народа, при этом отнюдь не самодержцем. Г.П. Федотов[24] связывает почитание святых князей на Руси не с культом византийских императоров, а скорее с общим для всей средневековой Европы культом святых королей и рыцарей.

Безусловно, этот культ частично уходит своими корнями еще в дохристианскую магическую веру в особые способности вождя (ср. общее для англичан и французов поверье о том, что король способен исцелять золотуху), но в христианской стране он, конечно, получает новое осмысление. В западноевропейском высоком Средневековье возникает теория, гласящая, что король обладает двумя телами: физическим, как и прочие люди, и «мистическим», не подверженным человеческим слабостям и ограниченности[25]. Помазание делало короля в определенном смысле слова образом и даже наместником Христа, возвышая его над всеми мирянами и сообщая ему некий духовный сан. Разумеется, у Западной Европы, равно как и у древней Руси, немало общего с Византией, но существенное отличие состоит прежде всего в том, что из всех столиц христианского мира только Константинополь оставался центром единой христианской Империи, непосредственно восходившей к Риму.

Вновь и вновь мы видим ту самую парадигму, с которой начали наше рассуждение, причем видим ее в динамическом развитии: от царя как посредника в ритуале к царю как иконе Христа. В раннем христианстве богословие царской власти еще совершенно не было развито, в Византии оно приняло облик «симфонии властей», а в высоком западном Средневековье — превратилось в теорию о «двух телах короля».

Радикальный перелом произошел в век Просвещения, когда был выдвинут тезис о «божественном праве королей», ставший обоснованием абсолютизма, охотно перенятого затем на Руси. Однако следует помнить, что это «божественное право» имеет очень мало общего с былыми представлениями о царе, обладавшем немалым списком «божественных обязанностей», но едва ли пытавшемся провозгласить собственную волю высшим мерилом истины на подвластной ему территории.

Как пишет Хокарт[26], «принято думать, что теория Божественного права в том виде, в каком ее придерживались радикальные сторонники в XVII в., была последним всплеском Средневековья. Однако в действительности все наоборот:

[24] Федотов Г. П. *Святые Древней Руси*. М., 1990 С. 91.
[25] Kantorowics E. *The King's Two Bodies. A Study in the Mediaeval Political Theology*. Princeton, 1957; см. также Блок М. *Короли-чудотворцы*. М., 1998.
[26] Hocart A. *Ук. соч.* P. 151.

это было первое пробное выступление современного духа». В древних обществах подданные подчинялись царю на определенных условиях и требовали от него многого, иногда — слишком многого и даже невозможного, а при несоответствии монарха завышенным ожиданиям просто тем или иным способом избавлялись от него. Правовыми и религиозными нормами это не только дозволялось, но даже предписывалось. Разумеется, и абсолютистские монархии знали немало дворцовых переворотов, но совершались они, как и прочие акты абсолютистского правления, по воле, если не сказать прихоти человеческого разума, а не по продиктованной свыше необходимости.

С христианской точки зрения идеология абсолютизма есть отказ от видения царя как образа Христа, образа по определению неидеального и часто недостойного, причем отказ этот вел далеко назад — к чисто языческому пониманию царя как ипостаси божества, непогрешимого и никому неподотчетного в своих действиях.

Итак, вернемся к русским святым князьям. В них мы видим прежде всего образ Христа, видим людей, до самого конца (часто мученического) исполнивших свое служение. Это служение Г.П. Федотов называет[27] «национальным», отметив, что почитание князей было чисто русским новшеством, неизвестным прежде в Византии и встреченным там с большой осторожностью.

У этого служения может быть очень много оттенков. Св. Владимир прославляется как равноапостольный, что сближает его со святыми императорами Константином и Еленой. Александр Невский выступает как защитник родной земли. Но наиболее значимы для нас князья, умершие от руки убийц. Помимо прославления мучеников за веру (Михаил Черниговский), что, конечно, не новшество, мы видим почитание страстотерпцев — князей, убитых безо всяких требований отречься от веры и, как правило, по политическим мотивам.

Однако сама по себе насильственная смерть еще не является причиной канонизации. В каждой канонизации Церковь предлагает некоторый урок, а не просто констатирует факт свершившегося убийства. Первые русские святые, князья Борис и Глеб, погибли после того, как отказались развязать междуусобную вражду, предпочитая, как подчеркивает житие, сберечь свою дружину и исполнить долг любви и послушания по отношению к брату, пусть даже заведомо преступному. Это, безусловно, пример сознательного жертвенного служения, а не просто трагическая гибель от руки убийцы. Точно так же и Михаил Тверской до конца исполнил свой долг, отправившись в Орду навстречу верной гибели, чтобы только отвратить татарский набег от своей земли.

Впрочем, не всегда смерть была добровольной. Киевский князь Игорь Ольгович был свергнут с престола и посажен в тюрьму, после чего попросил у княжащего Изяслава дозволения постричься в монахи и после пострижения был переведен в Феодоровский монастырь. В 1147 г. разъяренная толпа вытащила его из храма во время литургии и жестоко убила. Как видим, среди всех святых князей его судьба наиболее близка к судьбе Николая II, если не считать некоторых отличий, о которых будет сказано далее.

---

[27] Федотов Г. *Ук. соч.* С. 104.

Наконец, самый необычный в ряду князей-страстотерпцев — Андрей Боголюбский. Он не только пал жертвой чисто политических интриг, но и активно сопротивлялся убийцам. Его политика оценивалась современниками, мягко говоря, неоднозначно, но, как видно и по прозвищу, князь отличался особым благочестием; житие подчеркивает широкую раздачу им милости. Видимо, эти его черты сыграли существенную роль при канонизации. Вместе с тем, как сообщает Федотов[28], его церковное почитание началось лишь после обретения его мощей в XVIII в., в отличие от прочих князей, которых народ начинал чтить сразу после кончины. Давние наши предки, молившиеся Борису и Глебу, Михаилу Тверскому и Игорю Ольговичу, не молились Андрею Боголюбскому.

Как пишет Федотов[29], «Святые Борис и Глеб создали на Руси особый, не вполне литургически выявленный чин страстотерпцев — самый парадоксальный чин русских святых. В большинстве случаев представляется невозможным говорить о вольной смерти: можно говорить лишь о непротивлении смерти. Непротивление это, по-видимому, сообщает характер вольного заклания насильственной кончине и очищает закланную жертву».

Своеобразную трактовку получил этот чин в канонизации царевича Дмитрия. Здесь невозможно говорить ни об осознанном служении, ни о непротивлении, а только о гибели ни в чем не повинного ребенка.

6. Симфоническая идея в Московской Руси

Впрочем, вернемся на землю, к политическим реалиям. Российское государство, начиная с Ивана Грозного, объявило себя преемником Византии, что в идеале предполагало и наследование теории симфонии властей[30].

Но то, что в Византии явилось плодом многовекового исторического развития, на Русь часто попадало уже в готовом виде и в силу этого нередко воспринималось как что-то раз и навсегда данное свыше, священное и неизменное. Как писала мать Мария (Скобцова)[31], «Москва усвоила очень многое от Византии, но как-то прошла мимо ее творческой напряженности. Москва перековала в неподвижную форму, в культ буквы, в культ традиции, в повторяющийся ритмический жест все буйное и антиномическое кипение византийского гения».

Формализация всегда способствует утрате подлинного понимания, и симфоническая теория достаточно быстро становилась всего лишь риторическим приемом, оправдывающим все более неограниченное самодержавие царей.

Как метко сказал Г.П. Федотов[32], «1547 год — год венчания на царство Грозного — в духовной жизни России разделяет две эпохи: Святую Русь от православного царства». Характерно, что первая знала множество святых князей,

[28] Федотов Г. *Ук. соч.* С. 97.
[29] Там же. С. 50.
[30] См. Живов В.М., Успенский Б.А. *Царь и Бог (семиотические аспекты сакрализации монарха в России)* // Успенский Б.А. *Избранные труды.* Том I. М., 1996. С. 205—337; Шохин В. *Преемство или «вечное возвращение»? Об одном из архетипов отечественной религиозной мысли* // Континент, 1997. № 92. С. 250—269.
[31] Мать Мария. *Типы религиозной жизни.* С. 13.
[32] Федотов Г. *Ук. соч.* С. 197.

но вторая не знала ни одного святого царя (единственное своеобразное исключение — царевич Дмитрий). Даже в случае канонизации Николая II речь будет идти о канонизации давнего исторического *прошлого*, о прославлении такого жизненного пути, который уже невозможно повторить; тогда как в лице Свв. Бориса и Глеба наши предки канонизировали свое *настоящее*, предлагая их как пример для подражания потомкам.

И далее Г.П. Федотов пишет (может быть, слишком прямолинейно): «На заре своего бытия Древняя Русь предпочла путь святости пути культуры. В последний свой век (XVII в. — *А.Д.*) она горделиво утверждала себя как святую, как единственно христианскую землю. Но живая святость ее покинула. Петр разрушил лишь обветшалую оболочку Святой Руси. Оттого его надругательство над этой Старой Русью встретило ничтожное духовное сопротивление».

На практике «третий Рим» еще задолго до Петра нередко старается копировать не второй, а первый, языческий Рим. В «гражданском культе» Петра Первого[33], упразднившего патриаршество и тем окончательно похоронившего идею юстиниановой симфонии, эта тенденция проявилась лишь с наибольшей силой, но не возникла впервые. Более, того, как отмечает В. Шохин[34], сама идеология «третьего Рима» основывалась не на чем ином, как на откровенном попрании византийской симфонии. Первый ее глашатай, старец Филофей, видел в московском государе уже не кого иного, как «единаго христьяном царя и броздодьржателя святых божиих престол святыа вселенскиа апостольскиа церкве». Хотя идея «единого для всех христиан царя» и даже представление об этом царе как о хранителе Церкви вполне согласуются с византийской политической теорией, но здесь мы видим заявку на нечто большее. Как бы ни были извилисты дальнейшие пути «генеральной линии» официальной российской идеологии, это представление о царе как о единственном, божественном и мессианском правителе проходит красной нитью через все века вплоть до нашего времени. И если что и оставалось в них от византийской симфонии, то только внешняя оболочка — да и то недолго.

Как писал об этом прот. Иоанн Мейендорф, «возобладавшие в России политические и социальные идеи были идеями западного секулярного государства, в котором византийские формы использовались главным образом для оправдания самодержавия как такового»[35]. С другой стороны, в России под влиянием европейского абсолютизма постепенно утверждалась идея о безусловной наследственности монархии, об империи как о личной собственности императора, передаваемой по наследству. Можно видеть здесь доведение позднеримского понимания домината до таких крайностей, какие едва ли встречались и в самом Риме.

Окончательно эта идея была закреплена в «Акте о престолонаследии» Павла. Разумеется, с практической точки зрения создание четких формальных правил

---

[33] См.: Панченко А.М. *Церковная реформа и культура петровской эпохи* // в сб.: Из истории русской культуры. Том III (XVII — начало XVIII века). М., 1996 С. 486—502; Панченко А.М. *Начало петровской реформы: идейная подоплека* // Там же. С. 503—518.

[34] Шохин В. *Ук. соч.* С. 252—253.

[35] Мейендорф И. *Ук. соч.* С.264.

передачи трона по наследству исключительно полезно, однако нам следует обратить внимание и на другую сторону этого акта. На заре библейской монархии, в ветхозаветном Израиле, царя избирал Бог. В Риме, как и в России XVIII века, нового императора назначал предыдущий. Но начиная с Павла царь получает свою власть уже не по Божьему и не по человеческому выбору, но автоматически, по праву собственного рождения. Подобный майорат восходит не к римско-византийской и не к ветхозаветной модели государства, а скорее к феодальным королевствам европейского средневековья, вовсе не претендовавшим на какой-либо сакральный вселенский статус. Стоит обратить внимание, что престол императора Священной Римской империи отнюдь не был наследственным — в отличие от большинства королевских престолов.

Абсолютизация государства естественным образом приводила к тому, что Церковь все более превращалась в элемент государственной машины, лишенный даже видимости самостоятельного управления, а цари порой стремились присвоить себе священнические полномочия.

Впрочем, надо отметить, что взаимопроникновение и смешение царства и священства шло в двух направлениях. Еще до того, как цари стали усваивать себе патриаршие прерогативы, патриарх начал превращаться в некое подобие царя над епископами. Как пишет В.Л. Махнач, «побочным следствием византийской идеи симфонии Церкви и христианского государства — идеи поистине великой — явилось преувеличение роли патриарха, как якобы второго (наряду с императором) элемента симфонии. И в русской практике XVII века первоиерарх воспринимался как носитель почти что четвертой степени священства, высшей, нежели епископская»[36]. Христианская традиция знает только три степени клира: диакон, иерей, епископ — но известны случаи, когда епископа, избранного в патриархи, заново рукополагали словно бы в некую четвертую степень. Однако в соперничестве царя и патриарха победа, начиная с Алексея Михайловича и Никона, всегда оставалась за царем[37].

Отметим, что Махнач прав, отказывая патриарху в полном равенстве с царем. Царь по определению бывает один, тогда как патриарх — лишь главный, но отнюдь не уникальный представитель духовенства. Вместе с тем сопоставление царя и патриарха «на равных» было весьма характерно для византийской политической теории, поскольку каждый из них представлял один из двух главнейших институтов: священство и царство. Неслитно и нераздельно призваны были они жить в Византии, но в России произошло иное.

7. Царское священство в Российской империи

Как пишет В. Волков[38], в императорской России «царское священство было для всех очевидно: царь принимал участие в литургии внутри алтаря, причащался непосредственно из чаши и в день своего венчания на царство проходил через царские врата, предназначенные для посвященных в священный сан».

[36] Махнач В.Л. *Внутренняя и внешняя бюрократия* // НГ-религии, № 1 за 1998 г.

[37] См. Успенский Б.А. *Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление)* // В кн.: *Избранные труды.* Том I. М., 1996. С. 184—204.

[38] Волков В. *Русская монархия* // *Regnum Aeternum.* С. 17—18.

В этом отношении московские и петербургские государи подражали византийским, но впоследствии пошли гораздо дальше них. Весьма показательна эволюция способа, которым причащался царь. Как отмечает Б.А. Успенский[39], изначально государи причащались в алтаре и непосредственно после патриарха, что объединяет их со священством. Вместе с тем Причастие преподавалось им, как и прочим мирянам, из чаши, т.е. под двумя видами вместе. Думаю, что именно такой чин верно отражает симфоническую идею: государь обладает в Церкви совершенно особыми полномочиями и особой честью, сравнимыми только с патриаршими, и это кардинально отличает его от всех прочих мирян и в определенном смысле снова возносит над епископатом и священством — но при всем том он остается мирянином. Отмечу, что причащение мирян в алтаре — случай довольно редкий, но отнюдь не неизвестный Русской Православной Церкви и в наши дни. Можно полагать, что для царей постоянным стало такое исключение из обычных правил. В то же время мне неизвестно, чтобы мирян причащали отдельно Тела и Крови, как причащается священство.

Но со второй половины XVII в. цари начинают причащаться именно так, в соответствии с поздневизантийской практикой. И здесь, как мне представляется, богослужебная практика чутко отразила преувеличение роли государя в Церкви. Апогея этот процесс достиг в царствование Павла I, который в присутствии высших архиереев причащал себя самостоятельно[40], но при этом почему-то как мирянина, т.е. Тела и Крови вместе. Во всяком случае характерно, что Павел не видел среди иерархов никого, кто мог бы преподать ему Таинство, и, похоже, не признавал, что в Церкви кто-то стоит выше него.

Весьма показательным было в этом смысле венчание Павла I на царство. Вот каким образом произошло возложение короны[41]: «Посем ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО соизволил указать подать Императорскую корону, которую Действительный Тайный Советник перваго класса Граф Безбородко подал Митрополитам, а они поднесли ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ на подушке. Ту корону ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО приняв с подушки, изволил возложить на Свою Главу, с произношением от Митрополита Новгородского молитвы: Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь». В этом действии безымянным митрополитам отводится одна роль: передать из рук в руки корону, сопроводив действие подобающей молитвой, тогда как главные действующие лица здесь, безусловно, Государь и граф Безбородко, упомянутый не только по имени, но и с полной титулатурой (в отличие от «митрополитов»). Первенствующие иерархи делают по отношению к царю то, что по отношению к ним самим делает алтарник, вовремя подающий нужные для богослужения предметы, или диакон, возглашающий соответственные молитвы. Как непохоже это на Византию!

---

[39] Успенский Б.А. *Царь и Патриарх*. М., 1998. С. 153—155.

[40] Отметим, что причащался он несколько раз в год, в соответствии с обычаями того времени. — Успенский Б. *Царь и Патриарх*. С.180—181.

[41] *Чин действия, каким образом совершилось Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Коронование, по церковному чиноположению* // Цит. по Regnum Aeternum С. 171.

Император не только причастился по чину священства (в алтаре, «особь от тела и особь от крове»[42]), но и в конце службы, после прочтения Акта о престолонаследии, «соизволил царскими вратами войти в олтарь, и положил оный Акт на Святом Престоле в нарочно устроенный серебренный ковчег для хранения его во все будущие времена в том соборе на престоле»[43]. В самом же акте говорилось, что «Государи Российские суть Главою церкви»[44] (NB: из четырех существительных с маленькой буквы здесь пишется только церковь!). Да и об этом говорилось как бы между прочим, в связи с разбором гипотетической ситуации, при которой наследник уже царствует «на другом каком престоле» и потому должен «избрать веру и престол».

В этом контексте уже не кажется удивительным, что Павел I желал самостоятельно служить пасхальную литургию и что Синод в качестве единственного препятствия назвал только второй брак императора, не посмев и заикнуться о том, что царь не должен этого делать в принципе[45]. Безусловно, такие крайности отчасти объясняются личной экстравагантностью Павла I. Но и в 1905 г. скромный и благочестивый Николай II на вопрос иерархов о возможном восстановлении патриаршества предложил собственную кандидатуру[46]. То, что показалось бы совершенно немыслимым Давиду и Юстиниану, для него было логичным и естественным. Иерархи и в этом случае не сочли возможным возразить по существу, и, будь на месте Николая II человек настойчивый и тщеславный, такая идея вполне могла бы осуществиться.

На этом эпизоде стоит остановиться чуть подробнее. Казалось бы, подобное желание императора стать патриархом, формально передав трон младенцу-наследнику, может вызвать только крайнее недоумение — как это и произошло с членами Святейшего Синода, присутствовавшими при том разговоре. Если государь желал удалиться от дворцовой суеты и вступить на путь духовного делания, начинать этот путь с представления собственной кандидатуры в патриархи (да еще и в той ситуации, когда возразить никто не посмел бы) было весьма странно. Однако если исходить из представлений, что именно царь был единственным законным главой российской Церкви, такое желание было вполне закономерно и весьма похвально. Нынешние радикальные сторонники канонизации не устают ему умиляться и сожалеть о недальновидности иерархов, отказавшихся его поддержать. «Иерусалим не познал времени посещения своего» — так, евангельской цитатой (Лк 19:44), комментирует это событие о. А. Ни-

---

[42] *Чин...* С. 177.
[43] Там же. С. 181.
[44] Там же. С. 179.
[45] Живов В., Успенский Б. *Царь и Бог.* С. 263.
[46] Жевахов Н.Д. *Воспоминания.* Новый Сад, 1928. Т. II. С. 385—388; Нилус С.А. *На берегу Божией реки.* Ч. 2. Троице-Сергиева лавра, 1992. С. 146—147; Живов В., Успенский Б. *Царь и Бог.* С. 263. Конечно, не исключено, что здесь мы имеем дело со сплетней. Но, поскольку в данной работе речь идет не о реконструкции исторических реалий, а о явлениях общественного сознания, для нас интересна сама возможность такой сплетни, вне зависимости от степени ее достоверности. Едва ли подобное могли рассказывать о ком-либо из византийских или западноевропейских монархов; последние, даже провозглашая себя главами церквей, и не думали о епископском сане.

колин[47]. Разве не звучит в одной этой фразе признание Николая II неким национальным Мессией, царем и первосвященником в одном лице?

Наконец, в замечательной работе В.М. Живова и Б.А. Успенского «Царь и Бог»[48] прекрасно показано, как риторическое обожествление государей поэтами и проповедниками, равно как и гиперболизированное массовое почитание царей (вполне в римском духе) становилось нормой — или, лучше сказать, настойчиво насаждалось в России XVIII — XIX вв. Разумеется, это не привело к каким-то догматическом новшествам и не было зафиксировано в катехизисах, но, поскольку мы говорим об общественном сознании, для нас важнее практика, а не декларируемая теория.

Примерам подобного «цареславия» несть числа, и находим мы их далеко не только у придворных рифмоплетов, но и у великих поэтов. Вот что писал о Петре I М.В. Ломоносов[49]:

Он Бог, он Бог твой был, Россия,
Он члены взял в тебе плотския,
Сошед к тебе от горьних мест.

Если Ломоносов говорит о Рождестве Петровом, то Сумароков видит в Екатерине воскресшего Петра и празднует по этому поводу настоящую Пасху [50]:

Плутон кричит: восстал из гроба
Великий Петр, и пала злоба,
теряет ныне область ад.

Сравним эти стихи с Огласительным словом Св. Иоанна Златоуста, которое читается на пасхальной литургии: «Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони». Характерна барочная неразборчивость Сумарокова, который легко соединяет здесь античную мифологию с христианской догматикой — но ее, разумеется, легко отнести на счет поэтической вольности. К сожалению, подобными вольностями грешили и церковные проповеди. Вот с какими словами обратился прот. Иоанн Леванда в 1801 г. к Александру I[51]: «Желали очи видеть Ангела, видеть Христа своего, Бога, который милует нас: все сие видят теперь в тебе». Стоит отметить, что эта фраза вошла в собрание проповедей о. Иоанна, но была исключена из переиздания 1850-го года.

Апогеем подобного цареславия можно назвать церковную службу, составленную в 1709 г. по поводу Полтавской победы Феофилактом Лопатинским и отредактированную самим Петром. Так, например, именуется в ней гетман Мазепа (седален 7-го гласа из чина утрени)[52]: «Обретеся вторый Иуда раб и льстец, обретеся сын погибелный, диавол нравом а не человек, треклятый

[47] Свящ. Николин А. *Ук. соч.* С. 136.
[48] Живов В., Успенский Б. *Царь и Бог.* С. 205—337.
[49] Там же. С. 291.
[50] Там же. С. 295.
[51] Там же. С. 245.
[52] Там же. С. 240.

отступник Мазепа, иже оставив Христа Господня, Господа и благодетеля своего, и прилепися к сопостату».

Разумеется, сопоставление помазанника-царя с помазанником-Христом впервые возникло не на русской почве. Оно было в высшей степени характерно для византийской политической теории[53], однако там оно проявлялось совершенно по-иному. Император был в определенной степени иконой Христа-Царя, но никак не его воплощением. Священным был трон, но отнюдь не каждый сидящий на нем самодержец; напротив, к самодержцу предъявлялись исключительно высокие требования, при несоответствии которым он мог и даже должен был быть свергнут. Если Константин Багрянородный говорил в своем трактате о придворном церемониале, что император среди придворных подобен Христу среди апостолов[54], то это была не риторическая похвала какому-то конкретному императору и его окружению, как у Прокоповича, а описание идеала, к которому должен стремиться каждый самодержец, и разъяснение символического значения дворцовых обрядов.

Для византийской иконографии характерно изображение императора или императорской четы рядом с Христом и Богородицей в подчеркнуто подчиненном положении — например, в коленопреклоненной молитве или под благословляющей рукой Христа, изображенного, как правило, более крупно и выше, чем император. Чтобы понять, насколько далеко отстоит от этого практика Российской империи, попробуем представить себе парадный портрет Петра I в подобной позе! И немудрено, что это у нас не получится — божество на коленях стоять не может. Ближайший соратник Петра епископ Феофан Прокопович не только многократно именовал его Христом и Богом, но и подводил под такое именование богословское основание, относя слова псалмопевца «Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы» исключительно к царям[55]. Напомню, что в истолковании Самого Христа (Ин 10:34-35) они относятся ко всем, кто слышит слово Божие.

Наверное, стоит ограничиться приведенными выше примерами «цареславной риторики» (желающие могут найти десятки подобных в статье В.М. Живова и Б.А.Успенского) и перейти к выводу, которым завершается их работа[56]:

«Титул царя, усваиваемый русскому великому князю в результате перенесения на него функций византийского василевса (царя), приобретает в России отчетливо выраженные религиозные коннотации, поскольку для традиционного культурного сознания это слово ассоциируется прежде всего с Христом. Подобным же образом позднее сакрализация монарха может быть обусловлена прочтением барочных текстов небарочной аудиторией, т.е. буквальным истолкованием того, что первоначально имеет лишь условный, переносный, игровой смысл. Отсюда

---

[53] См., в частности, Курбатов Г.Л. *Политическая теория в ранней Византии. Идеология императорской власти и аристократическая оппозиция* // Сб. Культура Византии. Т. I. М., 1984. С. 98—118.

[54] Литаврин Г. Г. *Предисловие* к кн.: *Константин Багрянородный. Об управлении империей*. М., 1991. С. 20.

[55] Шохин В. *Ук. соч.* С. 258.

[56] Живов В., Успенский Б. *Царь и Бог*. С. 310—311.

барочные тексты, относящиеся к царю, одними воспринимаются как кощунство, а другим дают толчок к реальному поклонению.

Сакрализация монарха распространялась на весь синодальный период, и в течение всего этого времени вступала в конфликт с традиционным религиозным сознанием. Этот конфликт в принципе был неустраним, поскольку сакрализация монарха входила в самый механизм государственного и в частности синодального устройства».

К этому можно добавить, что нынешняя российская аудитория может быть названа в терминологии Живова-Успенского весьма «небарочной», т.е. склонной воспринимать риторику былых времен исключительно серьезно, безо всякого игрового смысла. И в этом таится серьезная опасность.

8. Страстотерпец или «жертва за народ»?

Вернемся теперь к вопросу о канонизации Николая II и его семьи. Мифологема царя, принесенного в жертву за свой народ, логично завершает развитие монархической идеи в России, и убийство царской семьи с самого начала для многих выглядело именно так, — в том числе, возможно, и для самих убийц: недаром они с таким пылом оспаривали друг у друга первую роль в столь сомнительном подвиге, как бессудное убийство пленных, в основном женщин и детей. Да и в дневниках Государя идея искупительной жертвы звучит совершенно ясно. Сегодня она, как мы видим, отстаивается людьми, вполне богословски образованными и даже занимающими епископские кафедры.

Вполне отчетливо она звучит и в богослужебных текстах РПЦЗ, посвященных памяти канонизированного императора (седален по 2-й кафизме): «С любовию велиею к неблагодарным людем, принесл еси себе, великий страстотерпче царю, в жертву за народ твой, якоже рекл еси: аще потребна есть жертва за народ, аз жертва сия буду. Больши сея любве никтоже имать, аще кто душу свою положит за други своя». Читая такое, трудно удержаться от вопроса: кому, с точки зрения христианина, могут быть после Голгофы «потребны» человеческие жертвы? И в каком смысле положил последний царь «душу свою за други своя»? Ведь, как мы знаем, его смерть не остановила, да и не могла остановить уже вовсю полыхавшей гражданской войны и потому едва ли может быть сопоставлена с добровольной гибелью Свв. Бориса и Глеба. Не слишком ли все это напоминает первобытные магические обряды?

Мне доводилось слышать, что такую жертву нужно понимать символически, как добровольное предание своей жизни в руки Господа. Конечно, с такими словами вполне можно согласиться. Но только отражают ли они настроение большинства сторонников канонизации? Сильно сомневаюсь.

Само по себе представление о том, что мученик, добровольно соучаствуя в жертве Христа, приносит искупительную жертву за себя и за других, не нова. Вот что говорил в 1918 г. на соборе патриарх Тихон по поводу убийства митрополита Владимира[57]: «Мы глубоко верим... что эта мученическая кончина владыки

[57] Цит. по: Регельсон Л. *Трагедия Русской Церкви*. М., 1996. С. 42.

Владимира была не только очищением вольных и невольных грехов его, но и жертвою благовонною во очищение грехов великой матушки России» (кстати, мне совершенно неизвестно, чтобы подобные высказывания делались кем-либо из церковных деятелей того времени применительно к царской семье). Видимо, эти слова как раз и следует понимать символически: речь явно не идет о том, что смерть именно митрополита Владимира или вообще чья-либо смерть была необходима для спасения русского народа, тогда как в рассуждениях наиболее убежденных сторонников канонизации очень часто звучит именно этот мотив. Повторяется он и в различных рассказах о видениях, подлинность которых, надо полагать, будет по возможности изучена комиссией по канонизации.

В чем же основное различие? В том, что нынешние почитатели «жертвы за народ», в полном соответствии с теорией Фрезера, видят в царе совершенно уникальную личность, по сути, иноприродную всем прочим людям. Его жизнь или смерть играют решающую роль для судеб страны и народа, тогда как жизнь и смерть всех его подданных есть вопрос частный и второстепенный. Но христианское Предание — от первых веков и до наших дней — не ставит почитание святого в прямую зависимость от его земного звания (о том, как это звание находит свое отражение в чине канонизации, уже было сказано выше). Мученики и страстотерпцы *в равной степени* добровольно соучаствуют в жертве Христа — не потому, что в этом есть высшая необходимость, а потому, что на это их подвигла ответная любовь к Богу. Свидетельство их веры, надежды и любви воистину есть «семя веры», пример для окружающих и действенная мольба к Господу «не истреблять город ради десяти праведников» (Быт 18:32).

Есть нечто провиденциальное в том, что императорская семья погибла точно такой же смертью, как тысячи других семей в России того времени, без суда и обвинения, без особого героизма и исповедничества, но с удивительным терпением и смирением. Не случайно до сих пор не стихают споры о том, кому принадлежат «Екатеринбургские останки» — царской или иной семье, столь же злодейски расстрелянной большевиками. Они полностью разделили судьбу своего народа, и стоит ли теперь отделять их от него?

Итак, я полагаю, что мы можем канонизировать Николая Александровича, Александру Феодоровну и их детей только как *нескольких из множества им подобных* и именно по чину страстотерпцев, как это предлагается синодальной комиссией. Но и тогда необходимо будет тщательно продумать богословское осмысление этой канонизации. Случай слишком нестандартный, чтобы можно было поставить простой знак равенства между семьей последнего императора и, например, Свв. Борисом и Глебом.

Остановимся поподробнее на основных возникающих здесь проблемах.

1. Чем принципиально отличается семья последнего императора от всех прочих жертв коммунистического режима, многие из которых были столь же благочестивы и кротки по отношению к гонителям — в частности, от слуг и доктора Боткина, *не отрекавшихся* от своего звания, *добровольно* сопровождавших семью в ссылке и вместе с ней расстрелянных? Отметим, что РПЦЗ почитает их наравне с императорской семьей, и такой подход выглядит гораздо логичнее.

Разумеется, можно говорить о том, что и здесь царь со своей семьей символизирует весь народ, по-новому выступая в той самой роли *представителя*, о которой было столько сказано выше. Точно так же мы канонизируем некоторых убитых большевиками представителей духовенства, прекрасно сознавая, что это лишь немногие из необъятного списка. Однако в таком случае необходимо будет очень четко разъяснить, что канонизация связана не с особыми личными заслугами и не с иноприродностью царя, а с невозможностью перечислить всех невинноубиенных поименно. Тогда убитые в Екатеринбурге встанут в ряд с неисчислимым множеством других людей — и очень важно, чтобы они не заслонили собой этот ряд.

2. Как будет расценено отречение государя от престола, фактически приведшее к упразднению монархии? Назвать этот акт простой передачей власти от одного лица к другому никак невозможно по той причине, что едва ли кто-то, в том числе и сам государь, рассчитывал всерьез, что великий князь Михаил примет бремя самодержавия, и уж во всяком случае от него не было получено предварительного согласия. Наконец, нельзя не согласиться с доводами тех[58], кто видит в поспешном и парадоксальном с юридической точки зрения отречении «за себя и за наследника» начало настоящего безвластия, приведшего Россию к неисчислимым бедам.

Древнерусский чин князей-страстотерпцев, как мы видели, был тесно связан с идеей жертвенного служения своему народу до последнего вздоха. Эта идея проявляется не в каждом житии — так, Игорь Ольгович был насильственно свергнут с престола и убит уже не в княжеском, а в иноческом звании. Однако в его случае имело место не отречение, т.е. самовольный отказ от возложенного на него служения, а смена формы этого служения под действием непреодолимых внешних обстоятельств (к Игорю не являлась депутация с просьбой об отречении, его просто бросили в темницу).

3. Идет ли речь о канонизации императорской семьи, как это говорится и пишется повсюду, или о канонизации простых мирян, какими они формально стали после отречения Николая II? Возникает некоторый парадокс: синодальная комиссия не усматривает в деятельности императора оснований для канонизации, видя их только в терпеливом перенесении страданий *после* отречения, но канонизировать собирается все же именно императора, а не простого человека.

Вспомним, какие слова произнес Патриарх Тихон в Казанском соборе Москвы 8(21) июля 1918 г: «На днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший государь Николай Александрович Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас. Не будем оценивать и судить дела бывшего государя: беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит пред нелицеприятным судом Божиим, но мы знаем, что он, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России Наша совесть примирится с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом, как христиане, как сыны Церкви»[59].

[58] Зубов А. *Россия на путях правопреемства* // Континент, № 91, Париж—Москва, 1997. С. 186—207.

[59] Цит. по: Регельсон Л. *Ук. соч.* С. 48.

Обратим внимание, что Свт. Тихон ничего не говорит о жертве и отнюдь не дает восторженных отзывов о *бывшем* государе. Подозревать, что Патриарх не мог этого сделать по цензурным соображениям, не приходится: вся его речь пронизана пламенным обличением большевистского террора, ничуть не менее крамольным с точки зрения красной цензуры. Он говорит лишь о страшном беззаконии и о чистоте помыслов этого человека. Стоит только сравнить, как сильно отличаются эти его слова от того, что было сказано всего несколькими месяцами ранее по поводу смерти митр. Владимира (см. выше), чтобы убедиться, насколько радикально Патриарх Тихон расходится со многими современными сторонниками канонизации.

4. Какой была роль императора в Русской Церкви того времени? Этот вопрос обретает особую силу в связи с тем, что в манифесте об отречении ни слова не сказано о Церкви. Значит ли это, что император, вопреки византийской симфонической идее, вопреки претензиям Павла I на главенство над Церковью, наконец, вопреки реальной практике синодального строя, был простым мирянином, не обладавшим никакими церковными полномочиями? Или эти полномочия государь просто сложил с себя, никому другому их не передав — и как тогда оценить этот поступок?

5. Видим ли мы в русской революции только внешнее влияние (запломбированный немцами вагон или жидомасонский заговор), ничем не объяснимую измену всего народа своему государю или в том числе и результат недальновидной политики самого государя? В последнем случае: как сочетается чин страстотерпчества с ситуацией, когда человек погибает сам (а вместе с ним и неисчислимое множество других людей) в результате, мягко говоря, собственной неосторожности? Пожалуй, это прямая противоположность идеям, содержащимся в житии первых русских святых, Бориса и Глеба.

Другие спорные моменты — например, личная ответственность императора за расстрел 9-го января или распутинщина — не играют такой ключевой роли. Человек, даже святой, грешен и склонен заблуждаться. Но без ясного и недвусмысленного ответа на изложенные здесь вопросы канонизация по чину страстотерпцев неизбежно будет вызывать только недоумение, будет выглядеть как чисто политическое лавирование между почитателями «жертвы за народ» и противниками всякой канонизации. А в народном сознании мифологическое осмысление этой трагедии, совершенно далекое от христианства, будет сочетаться с активным неприятием такой мифологии со стороны более критически настроенных наших единоверцев и сограждан. Пожалуй, относительно бесспорной могла бы стать канонизация наследника и великих княжон по образу канонизации царевича Дмитрия. Но совершенно понятно, что такое решение не удовлетворит никого и потому вряд ли будет принято.

Трагедия русской революции действительно достойна богословского осмысления, а ее жертвы — церковного поминовения и почитания. Но ответ на страшный вызов истории должен быть продуманным и адекватным. Если же ответ будет дан поспешный и небрежный, то боюсь, что в случае канонизации императора именно древняя мифологема царя, принесенного в жертву за народ, будет проявлена в массовом сознании наиболее отчетливо, вне зависимости от

официальной формулировки причин канонизации. Однако необходимо четко понимать, откуда эта идея берет свое начало и насколько она не соответствует христианской догматике и византийской модели государственного устройства, с которыми ее парадоксальным образом связывают.

Наконец, если нам требуется найти общецерковный способ почитания и поминовения всех жертв богоборческой власти, то почему бы нам не обратиться к прежде всего к определению Собора 1918 г.? Оно, в частности, предписывает «установить по всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января (ст. стиля), или в следующий за сим воскресный день (вечером) всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников»[60]. Эта дата — день смерти митрополита Владимира, ставшей для участников собора своего рода знамением. С недавних пор это постановление стало исполняться на практике, и мне представляется, что придание именно этой службе особого, общецерковного и даже общенационального характера может стать важнейшим символом покаяния и поминовения.

Впрочем, дата может быть выбрана и другая, важно не это. Важно, что собор предписал нам поминать не отдельных людей, будь то митрополит Владимир или государь император, а всех исповедников и мучеников, имена которых мы восстановить не в силах.

9. Россия царская—советская—республиканская

Казалось бы, рассмотренные в этой статье вопросы имеют очень узкое значение. Строго говоря, мы разбирали вопрос о богословском осмыслении возможной канонизации нескольких человек. Однако на практике оказывается, что мотивировка этой канонизации (или, что представляется практически невероятным, отказа от нее) послужит весьма знаменательным символом, станет зримым воплощением отношения нашей Церкви и нашей страны к своему историческому наследию. Внимательнее присмотревшись к истории, мы увидим, что очень многие архетипы общественного сознания прошли, несколько видоизменившись, через весь двадцатый век, невзирая на резкие политические перемены.

1917-й год часто представляется нам неким «черным ящиком» фокусника, в который была положена одна Россия, а взята из него другая, ни в чем не похожая на прежнюю. Именно так представляла эту ситуацию советская пропаганда с ее «мы наш, мы новый мир построим»; так, надо думать, выглядели трагические революционные события и в глазах многих их современников и участников. Однако на некоторой исторической дистанции становится видно, что перемена не была столь кардинальной. Сменился общественный строй, но многие архетипы общественного сознания, перекрасившись в красный цвет, остались по сути неизменными. Более того, советская власть в своих отношениях с Церковью заимствовала многие черты синодального строя, изменив при этом плюс на минус: на смену насильственному покровительству пришло гораздо более грубое насильственное подавление.

---

[60] Цит. по: Регельсон Л. *Ук. соч.* С. 54.

Добросовестному историку приходится признать, что многие приемы, примененные советской властью с особой жестокостью и в масштабах всей страны, были до того опробованы еще властью синодальной, пусть даже в исключительных случаях и в гораздо более мягкой форме. Много говорится о закрытии в советское время монастырей, но еще в том самом 1913 году, на который так любят ссылаться при проведении исторических аналогий, спор об имяславии был окончательно «разрешен» солдатами, которые, пользуясь штыками и прикладами, выгоняли сотни монахов из Пантелеймоновского монастыря на Афоне, и государственными чиновниками, которые в Одессе штрафовали иноков за просроченные паспорта и сажали в тюрьму — а Святейший Синод своим указом от 29 августа 1913 года признавал все это «делом печальной, но неизбежной необходимости»[61]? Коммунистам оставалось только повторить этот опыт в масштабах всей страны и убрать из синодального определения слово «печальной».

Вчитаемся в одну цитату: «Не благовременно ли устранить или хотя бы несколько ослабить ту постоянную опеку и тот слишком бдительный контроль светской власти над жизнью церковной и над деятельностью церковного правительства, который лишает Церковь самостоятельности и инициативы и, ограничивая область Ее ведения почти одним богослужением и исправлением треб, делает Ее голос совсем неслышным ни в частной, ни в общественной жизни?» Только архаичность стиля подскажет нам, что это было написано не в хрущевские и не в брежневские времена, а в 1905 году митрополитом Антонием Вадковским (в докладной записке Комитету Министров)[62].

Точно так же и представления о царе-жреце отнюдь не ушли из общественного сознания России после 1917-го года. Как в архаическом обществе после убийства одного царя его священнические прерогативы переходили к другому, так и в официальной советской идеологии почитание живых и усопших вождей приняло явные формы религиозного поклонения. Ритуальные действа на Красной площади, лозунги о вечно живом Ленине (позднее трансформировавшегося в вечно здорового Ельцина), всеведущие и недоступные вожди — все эти явления едва ли могут быть объяснены логически, но вполне вписываются в определения классических работ по первобытным мифологиям. Только в советские годы мифологема царя-жреца стала несравненно более простой и жестокой, лишилась своего христианского декора — хотя после 1943 г. этот декор ей пытались вернуть, но эти попытки были слишком примитивны и непоследовательны, чтобы иметь успех.

С другой стороны, Православие оказалось в сознании огромного большинства людей настолько тесно связанным с самодержавием, что падение последнего автоматически означало отказ от первого. Вероятно, именно в этом и кроется одна из причин столь неожиданного превращения верующего русского мужика в пролетарского безбожника-интернационалиста. Людей глубоко верующих эта трагедия могла приводить к противоположным выводам. Одни в исчезнувшем

---

[61] Бычков С. *Русская Церковь и императорская власть (очерки по истории Православной Российской Церкви 1900—1917 годов)*. Том I. М., 1998. С. 272—273.

[62] Цит. по: Бычков С. *Ук. соч.* С. 73.

политическом строе видели подобие затонувшего града Китежа, который однажды чудесным образом может быть поднят со дна в целости и сохранности (такая позиция особенно характерна для РПЦЗ); другие, напротив, стремились по возможности приручить новую безбожную власть, подстраиваясь под ее требования (отсюда обновленчество в 20-е годы, молитвы о «богохранимом вожде» в 40-е и борьба за дело мира и права негров в 60-е). Третьим вариантом был полный уход из общественной жизни. Российская Православная церковь, в отличие, например, от Польской Католической, так и не стала национальным оплотом духовной оппозиции коммунизму.

Какую роль играет архетип царя-жреца сегодня, в России, провозглашающей демократические, светские и внеидеологические ценности основой своей государственности? Важен ли он для нас только как ключ к пониманию исторических реалий и к решению вопроса о канонизации царской семьи? Нынешняя власть явно нерелигиозна, пасхальные репортажи о «начальниках со свечками» воспринимаются как некий малозначащий фон, а отношения Московской Патриархии с властью, ограничиваются в основном участием в протокольных мероприятиях. Казалось бы, декларированное разделение Церкви и государства наконец осуществлено. Однако приходится признать, что архетипы общественного сознания не регулируются конституцией и оказывают свое влияние на жизнь общества вне зависимости от официального курса правительства.

Модель слияния церкви и государства под единым управлением царя предполагает, что церковь уступает государству все сферы жизни кроме религиозной, зато эта сфера находится полностью под ее контролем. Исключения составляют лишь национальные меньшинства, сохраняющие традиционные религиозные институты, в деятельность которых государственная церковь не вмешивается.

Разве не эта модель представляется огромному количеству наших соотечественников идеальной, разве не она прослужила основанием для недавних изменений в религиозном законодательстве? Не из нее ли вытекает полная пассивность христиан в общественной жизни (церковь вне политики, это дело государства), неприятие самой идеи социального служения (пусть заботится собес), стремление запретить деятельность инославных миссионеров как нарушающих монополию при явном нежелании самостоятельно заниматься миссией, особенно среди национальных меньшинств («свои» и так у нас прописаны с самого рождения, а до «чужих» нам и дела нет)? Правда, место государя как главы церкви остается сегодня вакантным, но ведь и сама нынешняя власть нередко воспринимается как переходная от коммунизма к самодержавию (в свое время мне довелось увидеть на улице лозунг: «Ельцинъ — путь к принятию царя»).

В досинодальную эпоху российская Церковь не забывала о своем праве и даже обязанности обличать недостойных правителей и «печаловаться» о невинно страждущих. Позднее она была от этого отучена. Что же происходит сегодня? Кровавые войны, беззастенчивая коррупция, хроническая невыплата зарплат и откровенный отказ обеспечить неимущих хоть сколь-нибудь пристойным пропитанием — все это стало поводом лишь для самых расплывчатых и бесконфликтных заявлений. Впрочем, ничего удивительного: в приведенной выше модели вопросы войны и социальной справедливости всецело относятся к ведению

государства, тогда как удел церкви — аполитичная лояльность режиму во всем, что не касается религии. В результате Церковь оказывается отделенной не столько от государства, сколько от едва нарождающегося гражданского общества.

Зато в ситуации, когда государство или общество вольно или невольно «переходят границы» и вторгаются на территорию, отведенную в синодальной модели церковным властям, следует незамедлительная и весьма внятная редакция. Это мы видели на примере новой редакции Закона о свободе совести, пресловутого фильма Скорцезе «Последнее искушение Христа» и, наконец, истории со штрих-кодами, разделительные линии в которых оказались похожи на три шестерки. Не стоит сейчас обсуждать, насколько правильной была позиция иерархии в каждом из этих вопросов, но стоит, на мой взгляд, пожалеть, что она сумела полноценно возразить только по поводу отдельных *символов*, не найдя обличительных и назидательных слов относительно реальных *поступков* власть имущих.

Для того, чтобы определить место Русской Православной Церкви в нынешнем российском обществе, чтобы выработать оригинальную и глубокую социальную доктрину (а не просто набор общих фраз, разбавленных библейскими цитатами), нам необходимо прежде всего понять саму необходимость социального и миссионерского служения Церкви, а значит — пересмотреть синодальную модель церковно-государственного симбиоза, имеющего так мало общего с византийской симфонией. Простое заимствование западных моделей, как мы видели на множестве примеров, плохо приживается в России. Для того, чтобы уверенно созидать свой дом, нам необходимо прежде всего критически осмыслить свою историю.

Михаил ЭПШТЕЙН

ОДНОСЛОВИЕ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР

Самым кратким литературным жанром считается афоризм — обобщающая мысль, сжатая в одном предложении. Но есть жанр еще более краткий, хотя и не вполне признанный и почти не исследованный в качестве жанра: он умещается в одно слово. Именно слово и предстает как законченное произведение, как самостоятельный результат словотворчества. Подчеркиваю: слово не как единица языка и предмет языкознания, а именно как литературный жанр, в котором есть своя художественная пластика, идея, образ, игра, а подчас и коллизия, и сюжет. ОДНОСЛОВИЕ — так я назову этот жанр — искусство одного слова, заключающего в себе новую идею или картину. Тем самым достигается наибольшая, даже по сравнению с афоризмом, конденсация образа: максимум смысла в минимуме языкового материала.

1. Слово в поисках смысла

В свое время В. Хлебников вместе с А. Крученых подписались под тезисом, согласно которому «отныне произведение могло состоять из о д н о г о с л о в а ...»[1] Это не просто авангардный проект, но лингвистически обоснованная реконструкция образной природы самого слова («самовитого слова»). Произведение потому и может состоять из одного слова, что само слово исконно представляет собой маленькое произведение, «врожденную» метафору, — то, что Александр Потебня называл «внутренней формой слова», в отличие от его звучания (внешней формы) и общепринятого (словарного) значения[2]. Например, слово «окно» заключает в себе, как внутреннюю форму, образ «ока», а слово «стол» содержит в себе образ чего-то стелющегося (корневое *«стл»*) и этимологически родственно «постели».

Михаил ЭПШТЕЙН — родился в 1951 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. С 1990 года живет в США, преподает в университете Эмори (Атланта). Автор книг: «Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX—XX веков» (1988), «Природа, мир, тайник вселенной... Система пейзажных образов в русской поэзии» (1990), «Релятивистские модели в тоталитарном мышлении: исследование советского идеологического языка» (1991), «Отцовство. Роман-эссе» (1992), выходивших в России, Германии и США.

Отсюда возможная морфемная перестановка (скрещение), когда продуктивные способы словообразования от одного слова переносятся на другое: «постелица» (ср. «столица»), «застолить» (ср. «застелить») и т.д. Поскольку все эти слова уже опосредованы внутренней формой *«стл»*, их общим первообразом, — остается лишь тематизировать данное новообразование, т.е. соотнести его звуковую форму с подобающим значением. Например, *«застелье»*[3]. можно тематизировать как «застолье (пир, трапеза) в постели». По мере сокращения, «раздевания» слова возрастает его многозначность, его метафорический потенциал. Так, слова «трава» и «отрава» имеют разные лексические значения, которые поддерживаются разностью их морфологического состава. Но если оголить их до корня «трав», то их значения могут свободно переходить одно в другое, создавая возможность для новых словообразований. Например, однословие *«отравоядные»* можно отнести к разряду существ, приученных социальными обычаями к экологически грязной и вредной пище.

Если учесть, что каждая морфема одной категории может в принципе соединяться с любой морфемой другой категории (любая приставка с любым корнем и любым суффиксом), вопрос стоит не о том, возможно ли технически какое-то новообразование, типа «кружавица» или «кружба» (хлебниковские сочетания корня «круг/круж» с суффиксами таких слов, как «красавица» и «дружба»), но о том, имеет ли оно смысл, оправдано ли его введение в язык необходимостью обозначить новое или ранее не отмеченное явление, понятие, образ.

Отсюда хлебниковское требование: «Новое слово не только должно быть названо, но и быть направлено к называемой вещи»[4]. Можно создать такие слова, как *«прозайчатник»* или *«пересолнечнить»*, *«издомный»* или *«пылевод»*, но они останутся бесплодной игрой языка, если не найдут себе называемой вещи или понятия. Знак ищет свое означаемое, «свое другое», «свое единственное». Словотворчество тем и отличается от словоблудия, что оно не спаривает какие попало словесные элементы, но во взаимодействии с вещью — называемой или подразумеваемой — создает некий смысл, превращает возможность языка в потребность мышления и даже в необходимость существования. Семантизация нового слова — не менее ответственный момент, чем его морфологизация.

Можно позавидовать, например, судьбе таких нововведений, как «предмет» и «промышленность», без которых была бы немыслима философия и экономика на русском языке. Гораздо более тесная тематическая ниша у потенциально возможного глагола «пересолнечнить». Можно сказать: «Она пересолнечнила свою улыбку» или «Он пересолнечнил картину будущего» — и тогда «пересолнечнить», т.е. «пересластить», «приукрасить», «представить чересчур лучезарным», получит некоторую жизнь в языке как дополнение к гнезду «солнечный — радостный, светлый, счастливый».

А вот для слова «прозайчатник» пока вряд ли имеется предметно-понятийная ниша, хотя можно представить себе в будущем борьбу разных экологических групп, «прозайчатников» и *«проволчатников»*, которые будут отстаивать преимущественные права данного вида на биологическую защиту. Слово «пылевод» может найти себе применение в нанотехнологиях будущего, когда миниатюрные, размером с атом или молекулу, машины образуют мыслящую и работящую пыль

и грозные пылевые облака возьмут на себя роль армий, обезоруживающих противника, а инъекции пыли будут использоваться в медицине для прочистки кровеносных сосудов. «Пылевод» может стать одной из технических профессий будущего, возможно, более распространенной, чем отходящие в прошлое полеводы и пчеловоды.

С растущей компьютеризацией и распространением надомных видов труда может появиться нужда и в слове «издомный», применительно к тем профессиям (геолог, космонавт, журналист и т.п.), которые требуют долгих отлучек из дому. «На издомной работе», «издомный труд». Но возможно предположить за этим словом и скорее характерологический, чем социально-профессиональный смысл: издомники — это люди, которых постоянно тянет из дома. В отличие от без-домных, издомные имеют свой дом, но психологически его чуждаются и предпочитают проводить время в чужих стенах: в гостях, в кафе, в магазине, в музее. Далеко не всегда они являются странниками, бродягами: издомник может тяготеть к определенным местам и даже быть домоседом — но по отношению к чужим домам. Характерной разновидностью этого «издомного» типа является именно *«чужедомник»*, завсегдатай чужих домов. Слова «нахлебник», «приживал» (тот, кто живет за чужой счет) к этому типу не подходят, поскольку чужедомник не только сам себя обеспечивает, но порой и подкармливает хозяев от своих щедрот (так сказать, «вечный гость», «гость угощающий»). «Чужедомник» — тип распространенный в России: из известных людей к нему относились Владимир Соловьев и Анна Ахматова, любившие подолгу живать у чужих. Никакие близкие по значению слова: «скиталец», «нахлебник», «иждивенец», «перекати-поле» — не могут заменить этого слова.

Так, растягивая лексическое поле языка, мы можем помещать в него всё новые слова, от которых отпочковываются дальнейшие словообразования. «Надомный» — «издомный» — *«издомник»* — «чужедомник»... Каждое слово несет в себе возможность иного слова — альтернативного ветвления смысла. Мысль, растекаясь по древу языка, дает всё новые морфологические отростки. Формально и материально язык всегда готов засыпать нас мириадами новых словообразований, лишь бы мышление затребовало их к жизни. Язык — чистая конвенция и чистая потенция, он может сказать что угодно, если есть желающие так говорить и способные это понимать.

Лексическое поле языка достаточно разреженно и растяжимо, чтобы образовать смысловую нишу для практически любого нового слова. Парадокс в том, что чем больше расширяется язык, тем больше он пустеет и тем больше в нем появляется семантического вакуума и лексических вакансий. Язык — как резиновый шар, в котором по мере надувания происходит и отдаление словарных точек, так что появляется новая лексическая разреженность, требующая заполнения (эта же резиновая модель используется и для описания нашей инфляционной вселенной, в которой постоянно рождается новая материя, галактики, звезды — и все-таки плотность вселенной в целом уменьшается по мере ее расширения). Чем богаче язык, тем больше он нуждается в новых словах и смыслах, которые заполнили бы его растущую емкость. Не только русский, но в еще большей степени английский язык постоянно втягивает в свою «вакуумную

воронку» огромное количество новых слов и выражений, хотя не всегда потребность в них лексически обоснованна.

Недавно один американский лингвист жаловался, что в английском не хватает слов для ряда понятий; например, как обозначить обрывки шин и прочие фрагменты мусора, валяющиеся вдоль скоростных шоссе? Это, конечно, профессиональный каприз представителя языка, который просто лопается от своего изобилия — и одновременно требует дальнейшей ускоренной экспансии. Если выражения «дорожный мусор» или «обрывки шин на хайвее» представляются чересчур длинными, можно, конечно, ввести слова *«путеломки»* или *«путесколки»*; но тогда нужно ввести и особое слово для выражения «книга, лежащая на столе», в отличие от «книга, стоящая в шкафу» — *«столекнига»* в отличие от *«шкафокниги»*... Результатом последовательной замены словосочетаний (или даже предложений) сложными словами будет изменение строя языка: с аналитического — на синтетический. Между тем тенденция развития современных языков — именно рост аналитизма, когда единицы значения существуют независимо от друг от друга и свободно сочетаются, а не слипаются в одно целое. «Книга» может сочетаться со столом и шкафом, стол — с яблоком и тетрадью, мусор — с шоссе и комнатой, шоссе — с автомобилем и мусором, и создание из этих подвижных сочетаний устойчивых слов привело бы к окаменению языка, превращению его в шифр. Вместо того, чтобы понимать связную речь, пришлось бы заучивать значения миллиардов слов.

Таким образом, есть множество явлений, для которых не создано отдельных слов, — и можно образовать множество слов, для которых не найдется соответствующих явлений. Действительность голодает по языку, язык голодает по действительности, и тем самым между ними поддерживается эротическая напряженность, взаимность желания, которому суждено остаться неутоленным. Язык состоит из множества зияний, нерожденных, хотя и возможных слов, для которых еще не нашлось значений и означаемых — подобно тому, как семя состоит из мириадов сперматозоидов, которые в подавляющем большинстве погибнут, так и не встретившись с яйцеклеткой. Слова типа «прозайчатник» или «пылевод» — это такие семена, которые еще не нашли своего значения, ничего не оплодотворили, а потому и не стали фактом языка в его браке с реальностью.

Но именно плодовитость языка, бесконечность потенциальных словообразований и позволяет создавать новые значения, а следовательно — и новые явления, которые прежде были неназванными, неосознанными, а значит, и несуществующими. Избыточность языка — эта мера его потентности: он рассеивает миллиарды семян, чтобы из них взошли и остались в словаре только единицы. Словарь — это как бы книга регистрации плодовитых браков между языком и действительностью.

Направленность слова к называемой вещи вовсе не означает, что такая вещь должна предшествовать слову, оставляя ему только роль названия. Слово может направлено и к «призываемой» вещи, выступать как открыватель или предтеча явления: что скажется, то и станется, а главное — излучать ту энергию смысла, которая не обязательно должна найти себе применение вне языка и мышления. Называемость вещи есть категория возможности, как и выживаемость слова.

Если слово образовано по правилам языка, если в нем есть своя звуковая правда, своя гармония словообразовательных элементов, значит, его «вещь» находится впереди. Точнее было бы сказать не «вещь», а «весть», воскрешая исконное, древнерусское значение самой «вещи» как поступка и слова (ср. родственное латинское «vox» — слово, голос). «Называемая вещь» — это назывательная сила самого слова, его способность быть вестью, «вещать-веществовать» за пределами своей звуковой формы. Если подойти к категории смысла проективно, включая не только действительное, но и возможное, потенциально значимое, то бессмыслица — это более редкая категория, чем смысл. Трудно образовать слово, вообще лишенное смысла. Можно было бы составить словарь незатребованных слов, слов-потенций, слов-замыслов и подсказок, намеков и внушений, чью весть нам еще только предстоит расслышать. Трудность составления такого «Проективного словаря русского языка» была бы именно в его потенциальной бесконечности.

2. Типы неологизмов

Словотворец создает не столько новое слово — ведь работа перемножения, перекомбинации разных морфем доступна и компьютеру, — он создает новый смысл, целое произведение, в котором есть тема, идея, интерпретация, образ автора и диалог с другими текстами. И всё это — в одном слове. Именно на примере однословия можно охарактеризовать минимальную единицу литературного творчества в его отличии от языковой лексемы. Точнее, можно выстроить целую градацию различий и переходов между чисто служебным неологизмом, меткой нового исторического или технического явления — и однословием как художественно-философским жанром[5].

Неологизм — функциональное новообразование, которое служит какой-то информационной или коммуникативной цели. Языковой неологизм, который отвечает на запрос нового жизненного явления, «называет» его, может быть назван «номинативным». К этому типу относятся исторические, политические, научно-технические и прочие номинации — типа «большевик», «колхоз», «электрон», «космонавт», «транзистор», «стекловолокно» и пр. Иногда такие номинации бывают лингвистически очень удачными и стоят работы целого научно-исследовательского института или министерства пропаганды, как, например, слово «большевик», обещавшее дать «как можно больше», гораздо больше, чем давали сами большевики, которые занимались в основном реквизицией и экспроприацией. Но если бы назвать их «ликвидаторами», какими они и были по существу как в смысле ликвидации частной собственности, так и человеческих жизней, то политически они были бы обречены. Вот и встает вопрос, слово ли обязано своей популярностью успехам движения, или движение обязано своими успехами популярности слова[6].

Даже научно-технические и общественно-политические неологизмы включают элементы словотворчества, причем последние, как правило, больше, чем первые. Для названия нового химического соединения достаточно сложить имена составляющих его элементов («сероводород», «нитробензол»), но для успешного

обозначения новой партии или общественно-политического института нужно обладать чувством слога, быть своего рода поэтом власти или поэтом хозяйства[7]. Точно так же названия новых товаров и фирм требуют чеканной лингвистической проработки, чем и занимаются специалисты по маркетингу. Например, название средства против импотенции «вайагра» («Viagra») удачно сплетает латинскую основу «жизнь» (vita) с именем водопада «Ниагара» (Niagara), создавая образ мощно извергаемого «семяпада» жизни.

Общественно-политические и товарно-рыночные неологизмы являются, как правило, не столько номинативными, сколько проективными: они не только называют определенное явление, но и призывают обратить на него внимание: вступить, подписаться, приобрести, купить, воспользоваться и т.д. Это слова-лозунги, кличи, приманки, обещания, приглашения, увещевания, и хотя словотворчество здесь носит прикладной смысл, без изрядной лингвистической подготовки любая политическая или коммерческая инициатива может оказаться мертворожденной.

Гораздо ближе к чистому словотворчеству такие неологизмы, которые можно назвать «концептивными» — они не называют какое-то новое явление, но скорее вводят в язык новое понятие или идею. Таковы «материя» и «вязкость» Ломоносова, «предмет» Тредиаковского, «промышленность» Карамзина, и «славянофил» В.Л. Пушкина, «сладострастие» Батюшкова, «миросозерцание» Белинского, «остранение» Шкловского, «тоталитаризм» Ханны Арендт. Вообще творчество мыслителя стремится запечатлеть себя именно в конструкции диковинных слов, которые откликались бы на бытийные «слова» — трудновыразимые понятия и смыслы, лежащие в основе мироздания. При этом философ может пользоваться словами, уже существующими в языке, придавая им фундаментальный смысл, т.е. творя не столько лексические, сколько семантические неологизмы. «Идея» Платона, «вещь-в-себе» Канта, «диалектика» и «снятие» Гегеля, «позитивизм» О. Конта, «сверхчеловек» Ницше, «интенциональность» Э. Гуссерля, «здесь-бытие» Хайдеггера, «экзистенциалист» Ж.-П. Сартра, — именно в таких новых словах (новых по своему составу или только по смыслу) интегрируется целая система мышления. Вопреки расхожему представлению, что творение новых слов — дело писателей, философия более глубинно втянута в этот процесс, более зависима от способности языка образовывать новые слова, которые содержали бы квинтэссенцию данной понятийной системы. Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Толстой, ни Чехов не создавали целенаправленно новых слов, им достаточно было слов, существующих в литературном языке и устной речи. Но философ испытывает трудности с языком именно потому, что он работает не с наличными словами, а с мыслью, шарящей в предсловесной или засловесной мгле сознания. Поэтому мысль Вл. Соловьева или М. Бахтина трудно представить вне тех словесных построений (оригинальных или переводных), которые они вводили в русский язык, именно с позиции философской «вненаходимости» по отношению к нему. «Всеединство», «Богочеловечество», «софиология», «многоголосие», «участность», «вненаходимость» — некоторые из наиболее известных концептуальных однословий Соловьева и Бахтина.

Следует различать между однословием и специальным термином, который играет техническую роль в развитии мысли и, как правило, поддается строгому,

рациональному определению. Однословие часто содержит понятие, которым обосновываются и определяются другие понятия в философских текстах, но само оно не всегда может быть логически обосновано, представляя целостный первопринцип, в который научно-терминологический компонент сливается с мифологемой или художественным мыслеобразом. Однословие не сводимо к определенному тексту мыслителя, но скорее выступает как заглавие всей его мысли, а подчас и как синоним его собственного имени («Платонизм — учение об идеях»; «Гегель — основоположник диалектики»; «Ницше — провозвестник сверхчеловека»). Философское однословие — итог движения мысли, которая проходит через множество ступеней доказательства, развертывается в многотомных словесных построениях, — чтобы в конце концов не найти лучшего воплощения, чем во плоти одного-единственного слова, которое и остается печатью бессмертия мыслителя, следом его пребывания в самом языке, а не просто в текстах. Слово — самая плотная упаковка смысла, наилучший хранитель той многообразной информации, которая рассыпана в текстах мыслителя. Слово «идея», возведенное Платоном в философскую категорию (»обобщенный умопостигаемый и бытийствующий признак»), уже навсегда вобрало в себя мысль Платона, и тот, кто пользуется этим термином, вольно или невольно является платоником, даже если он антиплатоник по своим воззрениям. Язык обслуживает самые разные воззрения, которые только потому и могут спорить и противоречить друг другу, что говорят на общем языке.

Четвертый тип можно назвать наивным, или примитивным, неологизмом. В понятие «примитива» мы не вкладываем в данном случае скептической оценки, а употребляем в том же нейтральном и вполне респектабельном смысле, что и понятие «художественный примитив» (лубок, фольклор, любительское искусство). Если концептивный неологизм рожден нехваткой в языке слов для выражения сложного понятия, то неологизм-примитив рождается, как правило, из-за незнания существующих «правильных», литературных слов или оборотов речи. Наивный неологизм — продукт стихийного, устного словотворчества, к которому причастны дети и люди из народа. Скажем, костер, прыскающий яркими искрами, рождает у мальчика возглас: «Огонь и огонята!»[8] Или попытка «обрусить» и сделать понятным иностранное слово рождает такие образцы народной этимологии, как «гульвар» (вместо «бульвар») или «буреметр» (вместо «барометр»), а также детской этимологии типа «копатка» (вместо «лопатка») или «кусарик» (вместо «сухарик»). Такие неологизмы, подчас красочные и талантливые, можно еще назвать «сказовыми»: они стихийно рождаются в устной речи, чаще всего — из-за незнания «правильного» слова, в обход литературной нормы, а не в подмогу и не наперекор ей. Наивные неологизмы продуктивны в определенных возрастных и образовательных группах, маргинальных по отношению к литературному языку.

Пятый тип, после «номинативного», «проективного» «концептивного» и «примитивного», — «экспрессивный» неологизм, который по-новому обозначает уже известные явления или понятия, тем самым подчеркивая именно красоту и образность самого слова. Известно, например, что многие глупости произносятся с самыми добрыми и приятными намерениями и что весьма благодушные люди

порой бывают чрезвычайно глупыми. Но именно Салтыков-Щедрин возвел это наблюдение в перл творения, отчеканив слово «благоглупость». Ему же принадлежит и другой маленький шедевр (меньше не бывает) — слово «злопыхательство». Достоевский как словотворец значительно уступает себе же как романисту, но все-таки и он ввел в употребление слово «стушеваться».

К числу экспрессивных можно отнести и «персонажные» неологизмы, которые функционируют в контексте художественного произведения как средство речевой или идейной характеристики персонажа или рассказчика, например, «мелкоскоп» в лесковском «Левше» или «нигилист» в тургеневских «Отцах и детях». Экспрессивные, и особенно персонажные, неологизмы наиболее тесно связаны с другими, ранее рассмотренными группами. Часто они возникают на основе наивных, сказовых неологизмов или сами их имитируют (типа «клеветона» — «фельетона» или «марали» — «морали» у Лескова). Порою экспрессивные неологизмы подхватываются мыслящей публикой и становятся концептивными. Так, слово «нигилизм» из средства характеристики претенциозного неудачника-плебея переросло в символ мировоззрения целой эпохи и стало в ряд с другими, проективно-концептивными новообразованиями того времени, такими, как «позитивизм» Конта и «натурализм» Золя.

3. Специфика однословия как жанра

Неологизмы всех пяти вышеназванных разрядов могут рассматриваться не только как функциональные по отношению к факту, понятию или контексту, но и как самостоятельные произведения. Есть, однако, и слова, специально созданные как произведения, не извлеченные исследователем, а поставленные самим автором вне какого-либо исторического, научного или художественного контекста. В отличие от неологизма, однословие (так сказать, «унологизм» или «унология») — это слово, построенное как целостное произведение, которое содержит в себе и свою тему, и ее интерпретацию.

Для того, чтобы слово могло стать произведением искусства, оно должно предоставлять для творчества определенные элементы, разнородные материалы, с которым может работать художник. Если поэт или прозаик работают со словами, то с чем же работает однословец, если в его распоряжении всего-то и имеется одно слово? Здесь материалом выступают составляющие слова: корни, приставки, суффиксы. Русский язык в силу своего синтетизма богат этими словообразовательными элементами и предоставляет широкие возможности их комбинирования. На палитре словотворца смешиваются все морфологические элементы, какие только имеются в языке, чтобы образовывать новые неожиданные сочетания.

Например, в хлебниковском слове «вещьбище»[9] тема задается корнем *«вещь»*, а ее интерпретация — суффиксом *«бищ»*, который входит в состав таких слов, как «кладбище», «лежбище», «стойбище», «пастбище», и означает место «упокоения», «умиротворения», неподвижного пребывания мертвецов или малоподвижного пребывания животных. Поскольку суффикс *«бищ»* относится к людям или животным, «вещьбище» — это образ одушевленных (как люди или животные) и

одновременно обездвиженных, заснувших или умерщвленных вещей, нечто вроде склада или свалки. Но если «склад» или «свалка» обозначают просто место, где сложены новые или старые вещи, то «вещьбище» добавляет к этому оттенок одушевленности и одновременно неподвижности, что производит фантастический, отчасти сюрреалистический эффект, как будто вещи — это некий вид животных, впавших в спячку.

В однословии, как в целом предложении, можно проводить актуальное членение и различать тему и рему: то «старое», что задается изначально, предполагается известным, — и то «новое», что сообщается. Например, в предложении «Ворон сел на сосну» тема — «ворон», а рема — то, что он сел на сосну (а не на другое дерево). В предложении «На сосну сел ворон» новое — то, что на сосну сел именно ворон (а не другая птица). Обычно и в предложении, и однословии тема предшествует реме (как, например, в слове «вещьбище»), но возможен и обратный порядок, при котором логическое (а в предложении и интонационное) ударение падает на рему в начале высказывания. В слове «смертязь»[10] тема, скорее всего, задается второй частью основы *«тязь»*, поскольку единственное слово в русском языке, которое заканчивается этим буквосочетанием — «витязь»[11]. Это значение, заданное как исходное, приобретает новый смысл в сочетании с корнем *«смерть»*. «Смертязь» — это витязь, готовый на смерть или обреченный смерти, — или же это, напротив, ратник воинства смерти, ее рыцарь и вассал (см. ниже о двусмысленности однословий, образованных из двух корней: в данном случае, «смертязь» можно прочитать как «смерть витязя» и как «витязь смерти»[12]). Однословие часто нуждается в пояснении, как картина нуждается в подписи, но такой комментарий носит служебную функцию по отношению к самому новоявленному Слову.

Провести четкую границу между неологизмом и однословием особенно трудно в тех случаях, когда новое слово выступает в заглавии произведения, как, например, в стихотворении В. Маяковского «Прозаседавшиеся», в статье А. Солженицына «Образованщина», в книге А. Зиновьева «Катастройка». Слово, вынесенное в заголовок, играет двойную роль: с одной стороны, оно употребляется в контексте целого произведения, служит объяснению какого-то нового общественного феномена, т.е. представляет собой номинативный, или проективный, или концептивный, или экспрессивный неологизм. С другой стороны, оно выступает как заглавное слово, по отношению к которому всё произведение строится как развернутый комментарий. Заглавие вообще имеет двойной статус: оно и входит в состав произведения, и внеположно ему, буквально возвышается над ним. Таким образом, новое слово в заглавии может рассматриваться и как неологизм, включенный в текст произведения, и как самостоятельное произведение, для которого последующий текст служит комментарием.

Однословие может отражать определенные жизненные явления, выступая при этом как актуально-публицистическое или даже сатирическое произведение, например, «вольшевик» Хлебникова или «бюрократиада» Маяковского. Но однословие может быть и сочинением утопического, мистико-эзотерического или космософского характера, как «Солнцелов» и «Ладомир» Хлебникова, «матьма» (мать+тьма) Андрея Вознесенского, «светер» (свет+ветер) Георгия Гачева. Иног-

да в однословии соединяются не два, а несколько сходно звучащих корней (можно назвать это «множественным скорнением»). Например, в поэме Д.А. Пригова «Махроть всея Руси» заглавное слово вводит в круг ассоциаций и «махорку», и «махровый», и «харкать», и «рвоту», и «роту» («рать»).

У каждого автора есть свой излюбленный способ формования новых слов. Если у Хлебникова это сращение корней, то у Маяковского — экспрессивная аффиксация или переаффиксация, ломание слова через отрыв и присоедение новой приставки или суффикса (»громадье», «выжиревший», «препохабие», «тьмутараканясь»). Андрей Вознесенский часто слагает многочленные, «гусеничные» однословия, в которых конец одного слова становится началом другого: «матьматьматьма» («мать» переходит в «тьма» и обратно), «ударникударникударникуда» («ударник» чередуется с «никуда»), «шаланды — шаландышаландышаландыша — ландыша хочется!» Часто такие потенциально бесконечные *«словословия»* записываются в виде спирали или круга, где нет входа и выхода, но только переход одного слова в другое, своего рода буквенная вибрация. Сам Вознесенский называет такой тип однословия «кругометом» — круговой метафорой — и видит в таком круговращении слов, вписанных друг в друга, одно из высших достижений своего словотворчества. «Сам я благодарю Бога за то, что меня посетили «кругометы». Думаю, что они открылись бы Хлебникову, доживи он до наших дней.

Питер питерпитерпитерпитерпи — терпи»[13].

Одно слово, как шестеренка, цепляет другое и, прокрутив несколько букв или слогов, само цепляется за него и прокручивается дальше. Такие однословия могут бесконечно вторить себе, как своего рода морфемное заикание[14], и этим отличаются от другого, более замкнутого и традиционного типа — палиндрома, также любимого Вознесенским (типа «женоров» — перевертыш «Воронеж», или «аксиомасамоиска», причем «самоиск» — тоже однословие, включенное в данный палиндром). Общее между «кругометом» и «перевертышем» — обратимость, нелинейность слова, самоповторяемость либо в написании (начало и конец меняются местами), либо в чтении (от начала к концу и от конца к началу). В таком слове линейность письма-времени «схлопывается», уступая место перестановке и вращению одних и тех же морфем (кругомет) или фонем (перевертыш).

Подчас однословия сближаются с каламбуром — игрой слов, основанной на сходстве их звучания или разности значений одного слова. Каламбур обычно тем эффектнее, чем меньше разница между звучанием двух слов и чем больше разница между их значениями. Как правило, однословие имеет мало общего с каламбуром, поскольку последний включает отношение двух или нескольких слов, например: «Свекровь — всех кровь» (М. Горький, «Васса Железнова»). Но *«инословие»* — это такая разновидность однословия, которая основана на переиначивании другого, подразумеваемого слова и в паре с ним образует каламбур. Такие инословия, которые, подобно акробатам, балансируют на острой грани двух близкозвучащих слов, производя комический эффект, уместно назвать *«острословиями»*. К их числу относятся известные в диссидентской среде словечки Владимира Гершуни: «диссидетство», «арестократ», «тюремок», «портвейнгеноссе».

Следует заметить, что технически близки к каламбурам и многие хлебниковские однословия, типа «могатырь» (ср. «богатырь»), «глажданин» (глад+гражданин) или «творянин» (творить + дворянин), но они лишены комического, снижающе-смехового эффекта — важнейшего признака каламбура, который входит в его словарные определения. Хлебниковские однословия не столько передразнивают, сколько озадачивают, метафизически или метафорически отяжеляют исходное слово, и производят эффект не остроумия, а скорее изумления или недоумения, выбивая ум из привычной колеи. Хлебниковские *«инословия»* или «инакословия» всегда удерживаются на той грани, за которой они могли бы перейти в острословия, разрешиться смехом. Впрочем, можно называть однословия такого типа, ориентированные на другое, сходно звучащее слово, но лишенные смеховой установки, «белыми каламбурами» (blank pun), в том же смысле, в котором говорится о «белой пародии» (несмешной) или «белом стихе» (нерифмующемся).

Многие типы однословия, обозначенные выше, построены не столько на сложении нового слова, сколько на принципе подстановки или перестановки, эквивалентности или интерференции разных слов, их взаимопроникновения и взаиморастворения. Поскольку однословие ограничено размерами одного слова, оно в большей степени, чем другие словесные жанры, «интертекстуально», то есть живет звуковой игрой и обменом смысла с другими словами. Это Андорра или Монако на географической карте литературного мира. Его внутренняя территория столь мала, что почти совпадает с толщиной границ, а «внутренние дела» почти неотличимы от «иностранных». Однословие живет не столько производством, сколько обменом, «туризмом», междусловными связями.

Наконец, однословие может быть искусством «самоисчезания» слова, абсурдистским приемом, не столько слагающим новые, сколько разлагающим известные слова. Таковы многие неологизмы Вл. Сорокина, например, наречные образования от глаголов: «прорубоно» «пробойно», «вытягоно», «нашпиго» (рассказ «Заседание завкома»15). Здесь скорее пригодились бы термины «нелепословие» или даже «слововычитание», как переход от однословия к нулесловию, со многими минусовыми градациями посередине. Если однословия образуются путем сложения частей слова, то Сорокин, как правило, вычитает из слова какие-то значащие элементы, оставляя читателю пустые выемки или обломки слова — словолом, типа «воп» или «дорго». Эту процедуру можно назвать «садологией» (садическая, пыточная любовь к слову) или «словоложеством». Некоторые слова вообще утрачивают лексическое значение, остается только грамматическая форма — условная метка или маска слова, своего рода пустая фишка, на которой можно вывести любое значение. «Молочное видо — это сисоло потненько» («Кисет»); «А значит, получать круб, получать беленцы мы будем вынуждены через Ленинград» («Сердца четырех»). «Шраубе развел руками: «Только вага, стри и воп»». Эти слова-абстракты подчеркивают именно у-слов-ность каждого слова, которое может наделяться любым значением, исходя из контекста.

Вообще в жанре однословия, как и в более объемных жанрах, могут присутствовать самые разные литературные направления: и романтизм, и реализм, и символизм, и футуризм, и сюрреализм, и абсурдизм, и концептуализм. Из

литературных приемов больше всего однословие тяготеет к гротеску, поскольку соединяет несоединимое, ранее всегда раздельное в практике языка. Отсюда романтический и авангардный привкус этого жанра — ведь именно романтики выдвинули идею языкотворчества, свободного формирования языка духом нации и индивида; а авангардисты возвели в канон ломку языковых традиций, остранение привычного образа, абракадабру, заумь, глоссолалию.

Однословие, однако, содержит в себе и некий классицистический момент, который сдерживает бунтарски-авангардную стихию: слово как таковое предполагает смысловую и звуковую дискретность. Поток зауми, хотя бы и организованной по определенному звуковому принципу — типа «дыр бул щил убещур» (А. Крученых), перехлестывает через границы слова и если и составляет жанр, то совсем другой — «глоссолалию», «заговор», «заклинание». У Вл. Сорокина часто можно видеть, как слово постепенно теряет свое лексическое значение, потом грамматическую форму и наконец расплывается в звуковое пятно. Здесь можно выделить по крайней мере три стадии. Такие сорокинские слова, как «прорубоно» или «нашпиго», имеют и лексическую, и грамматическую формы, хотя эти формы и соединяются «нелепо», гротескно: к глагольному корню присоединяется наречный суффикс[16]. Слова «круб» или «беленцы» уже лишены лексического значения, но они еще сохраняют грамматическую вменяемость, как имена существительные. А вот в таких заклятиях геолога Ивана Тимофеевича: «мысть, мысть, мысть, учкарное сопление», «мысть, мысть, мысть, полокурый вотлок» — грамматические формы начинают дальше таять, еще проступая в сочетаниях прилагательных и существительных («учкарное сопление»), но расплываясь в аграмматическом «мысть». Возможно, это междометие типа «брысь», но глоссолалия — это и есть разросшееся, бесформенное междометие, лишенное конвенционального смысла (или, напротив, можно определить междометие как минимальную, общепринятую, словарную единицу глоссолалии).

Следующая ступень — это полная глоссолалия, где утрачены признаки слова и как лексической, и как грамматической единицы речи. «И в кажоарн уонго вапу щронш мто вап ущлгш нашей зп опрн фотограф. И если каждый онпре нпвепу шгош, товарищи, опрнр ыеп цщлг надо дорго енрк». В такое звукоизвержение впадает к концу сорокинский текст «Норма». И все-таки это не чистая абракадабра, а отчасти еще концептология слова, его превращение в звуковую фишку с абстрактным значением. Дело не только в том, что текст еще содержит «нормальные» слова типа «в», «каждый», «товарищи», которые позволяют восстановить некую абстрактную схему речи типа «и если каждый возьмется за свое дело, товарищи... надо дорого за это заплатить» (глава называется «Летучка»). Само расчленение текста пробелами восстанавливает структуру слова даже там, где разрушены его лексические и грамматические признаки. «Опрнр ыеп цщлг» — это все-таки три раздельных слова, хотя и в самом минималистском и «буквалистском» понимании этого последнего — как ограниченного набора букв (не более 20—25, поскольку более длинных слов нет в словарях), отделяемого пробелами от других букв. Эта «отдельность» — уже даже не скелет слова, а щепотка его праха, оставшаяся после разрушения его лексической плоти и грамматического скелета.

Но и Сорокин, и другие писатели даже самого экстремистского плана все-таки редко прибегают к неупорядоченному набору неразделенных букв, поскольку писателю, перефразируя высказывание Ортеги-и-Гасета об авангарде, мало удушить слово — нужно еще показать содрогания жертвы, а для этого она должна быть опознана, а не превращена в кровавое месиво. «Протягиван по прессованно лайхеногной сквозило скв» («Месяц в Дахау»). Сорокин сохраняет некие расплывчатые очертания слов, именно для того, чтобы показать их призрачность, процесс их исчезновения.

И все-таки очевидна разница между авангардной и концептуалистской работой со словом. Неологизмы Хлебникова, как правило, утопичны или мистичны, но не абсурдны: в них определенное лексическое значение приобретает новый, грамматически ему не свойственный, но мыслимый признак бытия, например, появляется жрица или богиня времени (Времиня), или витязь смерти, или лежбище вещей. Хлебниковская семантика простирается за пределы существующего грамматического ограничителя слова, тогда как у Сорокина обнаруживается невозможность или ненужность самой семантики, слово проваливается в черную смысловую дыру.

В принципе заумь или абракадабра противопоказаны жанру однословия. Слово как произведение искусства предполагает некую законченность, самодостаточность, это своего рода классицизм, возникающий на основе романтической вольности словотворчества, которое тем не менее завершается сотворением именно нового слова, а не распадом словесной формы как таковой.

4. Парадокс Даля—Солженицына. Типы однословий: поэтизмы и прозаизмы.

Есть писатели и мыслители, склонные к созданию неологизмов, но, как правило, такие слова контекстуальны и функциональны, служат конкретным целям в составе объемлющих текстов и не превращаются в самостоятельные произведения, остаются крупицами в больших словесных массивах. Если же слово становится самостоятельным жанром, выходит из контекста других произведений, то оно вместе с другими, подобными себе однословиями тяготеет к образованию нового текстуального поля, уже не синтагматического, а парадигматического, не повествования, а словаря.

В отечественном жанре однословных сочинений заслуживают особого внимания два автора: В. Хлебников и А. Солженицын. Приводимые ими словообразования исчисляются сотнями и тысячами, хотя они и диаметрально противоположны по стилю и эстетике: утопически-будетлянской у Хлебникова, оберегающе-пассеистической у Солженицына.

Хлебников, как и положено авангардному гению, не привел своих однословий в систему — этим занимаются его исследователи (В. Григорьев, Р. Вроон, Н. Перцова и др.). Тем не менее к структуре словаря, парадигмальному нанизыванию многих слов на один корень, тяготеют некоторые стихотворения Хлебникова (вроде «Смехачей», где дано целое словарное гнездо производных от корня *«смех»*), а особенно — его тетради и записные книжки, куда, вне всякого лирического или повествовательного контекста, вписывались сотни новых слов,

образующих гирлянды суффиксально-префиксальных форм, «внутренних склонений»[17].

Солженицын, в соответствии со своей установкой на «расширение» русского языка, сводит на нет авторское начало своего «Русского словаря языкового расширения», выступая как воскреситель редких и забытых слов, главным образом, заимствованных у Даля и писателей-словотворцев (особенно — Лескова, Ремизова, Замятина...). Если хлебниковские словообразования — поэтизмы, в которых усилено выразительно-вообразительное начало, то солженицынские — прозаизмы, в которых преобладают изобразительные задачи: более гибко, подробно передать пространственные и временные отношения, жесты, объемы, форму вещей. «Обтяжистый», «коротизна (зимних дней)», «натюрить (накласть в жидкость)», «затужный» (в 2 значениях: перетянутый и горестный)», «возневеровать (стать не верить, усомниться)», «обозерье (околица большого озера)», «наизмашь — ударяя с подъема руки (а не прочь, не наотмашь)» — примеры солженицынских слов.

Но в какой мере их можно назвать солженицынскими? Практически все «новообразования» солженицынского словаря, в том числе и вышеприведенные, взяты из «Толкового словаря» В. Даля, где они даны в гораздо более развернутом словопроизводном и толковательном контексте, чем у Солженицына. Например, там где Даль пишет:

Внимательный, внимчивый, вымчивый, обращающий внимание, внемлющий, слушающий и замечающий, —

Солженицын просто ставит слово:

ВНИМЧИВЫЙ,

как бы давая ссылку на Даля.

Впрочем, и далевский словарь никак нельзя свести к чисто компиляторскому жанру, к описи наличного инвентаря. В какой мере далевский словарь регистрирует наличные слова, а не инициирует введение в язык новых слов, и где в языке лежит грань между «данным» и «творимым»? Сочиненность отдельных слов (вроде «ловкосилие» — гимнастика) признавал сам Даль, но гораздо важнее сам дух и стиль его словоописательства, которое трудно отделить от словотворчества. Во-первых, записанные им слова подчас рождались тут же, на устах собеседника. Отвечая на требования ученых критиков, чтобы в словаре приводились свидетельства, где и кем слова были сообщены составителю, Даль объясняет: «...На заказ слов не наберешь, а хватаешь их на лету, в беседе... Люди близкие со мною не раз останавливали меня, среди жаркой беседы, вопросом: что вы записываете? А я записываю сказанное вами слово, которого нет ни в одном словаре. Никто из собеседников не может вспомнить этого слова, никто ничего подобного не слышал, и даже сам сказавший его, первый же и отрекается... Да наконец и он мог придумать слово это, так же как и я...»[18]. Иначе говоря, нет никаких свидетельств, что то или иное слово (например, «возневеровать») было в языке до того, как его «сходу» отчеканил, в пылу беседы, далевский собеседник...

Или сам Даль. «...На что я пошлюсь, если бы потребовали у меня отчета, откуда я взял такое-то слово? Я не могу указать ни на что, кроме самой природы, духа нашего языка, могу лишь сослаться на мир, на всю Русь, но не знаю, было ли оно в печати, не знаю, где и кем и когда говорилось. Коли есть глагол:

пособлять, пособить, то есть и посабливать, хотя бы его в книгах наших и не было, и есть: посабливанье, пособление, пособ и пособка и пр. На кого же я сошлюсь, что слова эти есть, что я их не придумал? На русское ухо, больше не на кого»[19].

Получается, что Даль приводит не только услышанные слова, но и те, которые «дух нашего языка» мог бы произвести, а «русское ухо» могло бы услышать, — слова, о которых он не знает, где, кем и когда они произносились, но которые могли бы быть сказаны, порукой в чем — «природа самого языка». Здесь перед нами любопытнейший пример «самодеконструкции» далевского словаря, который обнаруживает свою собственную «безосновность», размытость своего происхождения: словарь — не столько реестр, сколько модель образования тех слов, которые могли бы существовать в языке. Разве слово «пособ» (существительное от усеченного глагола «пособить») не может быть в языке, если в нем уже есть такие слова, как «способ» и «повод»? На этом основании оно и вводится в словарь — не как «услышанное», а как родное для «русского уха». Далевский словарь в этом смысле не так уж сильно отличается от хлебниковских перечней вдохновенных словоновшеств; труд величайшего русского языковеда — от наитий самого смелого из «языководов» (термин самого Хлебникова). Хотя словообразовательное мышление Даля гораздо тверже вписано в языковую традицию и «узус», все-таки в его словаре отсутствует ясная грань между тем, что говорилось и что могло бы говориться.

Иначе говоря, Даль создал словарь живых возможностей великорусского языка, его потенциальных словообразований, многие из которых оказались впоследствии незадействованы — и именно поэтому в словаре-«наголоске» Солженицына поражают едва ли не больше своей оголенной новизной, чем в словаре Даля, где они приводятся в ряду известных, устоявшихся слов, что скрадывает их новизну. У Даля от известного «пособлять» к неизвестному «пособу» выстраивается целый ряд словообразований, более или менее общепринятых в языке (»пособить», «посабливать», «посабливанье», «пособленье»), тогда как Солженицын исключает из своего словаря все обиходные, устоявшиеся слова и дает только редкие, необычные «пособь», «пособный», «пособщик». «...Этот словарь противоположен обычному нормальному: там отсевается все недостаточно употребительное — здесь выделяется именно оно»[20].

Сопоставляя два словаря, Даля и Солженицына, приходишь к парадоксальному выводу: художник слова и лексикограф как бы меняются местами. Там, где ожидаешь найти у писателя первородные слова, обнаруживаются лишь выписки, многократный отсев из далевских закромов: хотя сам Солженицын об этой вторичности своего словаря внятно предупреждает в предисловии, ему не веришь, пока слово за слово не переберешь все его находки и не найдешь их источник у Даля. И напротив, там, где у самого Даля ожидаешь найти точную картину лексического состава языка, обнаруживаешь своего рода художественную панораму, где за общеупотребительными словами, составляющими первый, «реально-документальный» ряд, и редкими, разговорными, диалектными словами, образующими второй ряд, выстраивается гигантская рисованная перспектива «возможных», «мыслимых», «сказуемых» слов, введенных самим исследователем для передачи полного духа русского языка, его лексической емкости и глубины. Эта объемная панорама

поражает именно тончайшим переходом от осязаемых, «трехмерных» объектов — через дымку диалектно-этнографических странствий и чад задушевных дружеских разговоров — к объектам языкового воображения, которые представлены с таким выпуклым правдоподобием, что если бы не несколько чересчур сильных нажатий на заднем плане, аляповатых пятнышек, вроде «ловкосилия», воздушная иллюзия словарного «окоема» была бы безупречной.

Но парадокс Даля—Солженицына, словарной планеты и ее яркого спутника, этим не ограничивается. Солженицынский строгий отбор далевских словечек в конечном счете усиливает эффект их художественности, придуманности, поскольку они выделены из массы привычных, употребительных слов и предстают в своей особости, внеположности языку, как способ его расширения. Удельный вес «потенциальных» слов, приведенных — или произведенных — Далем как пример словообразовательной мощи и обилия русского языка — в солженицынском словаре гораздо больше, чем у самого Даля. Но поскольку они «опираются» на Даля, который сам якобы «опирался» на лексику своего времени, они производят впечатление еще более устоявшихся и как бы даже «залежалых», извлеченных из неведомо каких первородных залежей, исконных древних пластов языка. Как это часто бывает в искусстве XX века — у Джойса, Пикассо, Хлебникова, Эйзенштейна и др., — модернизация и архаика, авангард и миф, вымысел и реконструкция шествуют рука об руку. Если Даль — романтик национального духа и языка и почти бессознательный мистификатор, то Солженицын сознательно усиливает эту далевскую интуицию и по линии кропотливой реставраторской работы (все берет у Даля), и по линии модернистского изыска (отбирает только не вошедшее широко в язык, самое «далевское» у Даля). Установка В. Даля, в соответствии с его профессиональным самосознанием и позитивистским сознанием его века, — научная, собирательская, так сказать, реалистическая надстройка на романтическом основании; а солженицынский словарь, по замыслу автора, «имеет цель скорее художественную»[21]. И хотя солженицынский словарь всего лишь эхо («отбой» или «наголосок») далевского — а точнее, именно поэтому, — в нем выдвинуто на первый план не собирательское, а изобретательское начало, «расширительное» введение в русский язык тех слов, которые мыслятся самыми «исконными» по происхождению, а значит, и наиболее достойными его освежить. За время своего «значимого отсутствия» из русского языка они не столько состарились, сколько обновились, и если у Даля они представлены как местные, областные, архаические, диалектные, народные, разговорные слова, то у Солженицына они предстают как именно однословия, крошечные произведения, сотворенные в том же стиле и эстетике, что и солженицынские повести и романы. Когда в предисловии к своему «Словарю» Солженицын пишет, что он читал подряд все четыре тома Даля «очень внимчиво» и что русскому языку угрожает «нахлын международной английской волны», то эти слова воспринимаются как совершенно солженицынские, хотя легко убедиться, что они выписаны у Даля.

Здесь дело обстоит примерно так же, как с Пьером Менаром, героем знаменитого борхесовского рассказа, который заново написал, слово в слово, несколько глав «Дон Кихота». Хотя Пьер Менар стремится буквально воспроизвести

текст Сервантеса (не переписать, а сочинить заново), но тот же самый текст, написанный в XX веке, имеет иной смысл, чем написанный в XVII. «Текст Сервантеса и текст Менара в словесном плане идентичны, однако второй бесконечно более богат по содержанию»[22]. У Сервантеса выражение «истина, чья мать — история» — всего лишь риторическая фигура; та же самая фраза у Менара ставит проблему, возможную только после Маркса, Ницше, Джеймса и Бергсона, после всех переоценок ценностей в историзме, прагматизме, интуитивизме — о верховенстве истории над истиной, жизни над разумом.

Так и солженицынские слова идентичны далевским, но добавляют энергию художественного отбора, а главное, новый исторический опыт к тому, что составляло разговорный запас русского языка середины прошлого века. Например, Даль пишет:

НАТЮРИВАТЬ, натюрить чего во что; накрошить, навалить, накласть в жидкость, от тюри, окрошки. —СЯ, наесться тюри, хлеба с квасом и луком.

Солженицын гораздо лаконичнее:

НАТЮРИТЬ чего во что — накласть в жидкость.

Солженицынское толкование, хотя и короче, но многозначительнее далевского: оно включает и те значения, которые приданы были этому слову XX веком и лагерным опытом самого Солженицына. Оно красноречиво даже своими умолчаниями. Из определения тюри выпали «квас и лук», как выпали из рациона тех, чьим основным питанием стала тюря (недаром с начальной рифмой к слову «тюрьма»). «Навалить» в жидкость стало нечего, а «накрошить», возможно, и нечем (ножей не полагалось), — хорошо бы и просто «накласть». «Натюриться» в смысле «наесться» тоже вышло не только из языкового, но и житейского обихода. Слово «натюрить», поставленное в солженицынском словаре, приобретает смыслы, каких не имело у Даля, — как эмблема всего гулаговского мира, открытого нам Солженицыным, как слово-выжимка всего его творчества.

Еще ряд примеров того, как Солженицын ОБОГАЩАЕТ далевский текст, часто при этом и сокращая его.

Даль:

ВОЗНЕВЕРОВАТЬ чему, стать не верить, сомневаться, отрицать.

Солженицын:

ВОЗНЕВЕРОВАТЬ чему — стать не верить, усумняться.

Вместе с Солженицыным мы знаем о психологических оттенках и практических приложениях этого слова больше, чем в прошлом веке мог знать Даль. Для современников тургеневского Базарова «возневеровать» еще значило «отрицать», а для наших современников, таких как Иван Денисович, «возневеровать» вполне может сочетаться и с приятием. Да и «усумняться» как-то смиреннее, боязливее, чем «сомневаться», как будто допускается сомнение в самом сомнении.

Даль:

Влюбоваться во что, любуясь пристраститься.

Солженицын:

ВЛЮБОВАТЬСЯ в кого — любуясь, пристраститься.

У Даля описывается пристрастие к вещицам: так и видишь какую-нибудь хорошенькую барышню, влюбовавшуюся в не менее хорошенький зонтик. У Солженицына — совсем другая энергетика этого чувства: влюбоваться в КОГО — и уже не оторваться ни глазами, ни сердцем, хотя бы только любуясь на расстоянии. Тут угадывается опять-таки солженицынский персонаж, Глеб Нержин или Олег Костоглотов, заглоченные судьбой, зарешеченные, за стеной шарашки или больничной палаты, кому дано пристраститься одними только глазами, как зрителю, — но тем более неотвратимо, «до полной гибели всерьез». «Влюбоваться» — очень нужное Солженицыну слово, незаменимое; по сравнению с «влюбиться» оно несет в себе и большую отстраненность — «любоваться», и большую обреченность — «пристраститься».

Итак, солженицынские слова вместе с определениями выписаны из Даля, — но они так пропущены через опыт «второтолкователя», что, каждое по-своему, становятся парафразами огромного текста по имени Солженицын. Сам Солженицын, может быть, и не имел в виду тех смысловых оттенков, которые мы приписываем ему, — но подлинно художественный текст всегда умнее автора, и слова в солженицынском словаре сами говорят за себя, кричат о том, о чем автор молчит.

Итак, границу, отделяющую однословие как творческий жанр от слова как единицы языка, языководство от языковедения, трудно провести в случае Даля—Солженицына, которые как бы дважды меняются ролями в описанном нами случае *«со-словария»*, редчайшем образчике двойного языкового орешка. Чтобы войти в состав общенародного языка, быть включенными в Словарь «живого великорусского» наравне с общеупотребительными словами, новообразования должны восприниматься столь же или даже более «естественно», чем их соседи по словарю, камуфлироваться и мимикрировать под народную речь (хотя переборщить с «народностью» тоже опасно, и заимствованные слова «автомат» и «гармония» более естественно звучат для русского уха, чем натужно свойские «живуля» и «соглас»). Поэтому далевско-солженицынские однословия, в отличие от хлебниковских, воспринимаются как прозаизмы, скроенные по закону разговорной речи. Казалось бы, грань, отделяющая поэтизм от прозаизма, — весьма условная, но формально-композиционным признаком такого размежевания служит отсутствие у Солженицына именно любимого хлебниковского приема — «скорнения», сложения двух корней — например, «красавда» (красота+правда), «дружево» (дружить+кружево). Солженицын редко соединяет разные корни — для него в этом начало умозрительно-произвольного, «утопического», насильственного спаривания разных смыслов. Знаменательно, что и Даль недолюбливал слова, образуемые, по греческому образцу, сложением основ, — он называл их «сварками», подчеркивая тем самым искусственный, технический характер того приема, который для Хлебникова органичен, как жизнь растения, и потому назван «скорнением». Любопытно, что далевские немногочисленные «авторские» образования, типа «ловкосилие» или «колоземица» и «мироколица» (атмосфера), «носохватка» (пенсне) скроены по нелюбимому им образцу и отчасти звучат по-хлебниковски, предвещают Хлебникова.

В целом Даль, как и Солженицын, предпочитает не рубить скрещивать корни, но работать с приставками и суффиксами, то есть брать «одно, главное понятие», плавно поворачивая его иной гранью. Типичные далевско-солженицынские словообразования: «издиваться чему», «выпытчивая бабенка», «размысловая голова — изобретательная», и т.п. Никаких резких разломов и сращений в строении слова — лишь перебрать крышу или достроить сени, но ни в коем случае не менять основы, не переносить дом на новое место.

5. Терминоиды. Однословие и постмодерн

«Толковый словарь» Григория Марка (1999)[23] — один из самых развернутых и выразительных опытов по созданию целой системы внутреннего склонения и скорнения слов. Здесь выделен третий компонент словотворчества: не поэтический и не прозаический, а научно-терминологический. «Мизантропоморфизм (точка зрения, согласно которой неодушевленные предметы ненавидят людей)» — в подтексте этого словообразования, конечно, «антропоморфизм», человекообразное представление о мире нечеловеческом (боги, вещи, природа). Г. Марк создает новые термины, хотя и относятся они не столько к научным дисциплинам, сколько к общественной и повседневной жизни. Это, скорее, наукообразия, терминоиды, которые заимствуют у науки метод образования терминов и прилагают его ко вполне ненаучным предметам. Отсюда же обильное использование иностранных и международных словообразовательных элементов, чего нет ни у Хлебникова, ни у Солженицына. «Окнариум (аквариум окна...)»; «Виртуалить (проводить время в виртуальном пространстве)»; «Коллюзия (коллизия иллюзий)». Иностранное слово, лишенное корневых сцеплений и метафорических отзывов в системе языка, семантически более однозначно, легче терминируется, чем родное. Отсюда же и резкий нажим на толкование слова, которое нуждается в дефиниции, подобно научному термину, и, в отличие от поэтически образного или прозаически разговорного слова, не может быть понято само по себе, нуждается в толковании специалиста.

Заметим, что у Солженицына редко даются такие толкования: иногда он приводит возможный контекст данного слова, одним примером демонстрирует способ его употребления («обследить зверя»). Хлебников же часто избегает и примеров словоупотребления, он неистово разбрасывает по бумаге новые слова, не заботясь об их понятности, об их смысловом приспособлении к окружающей жизни и рассчитывая на то, что они сами разлетятся роем по будущему и оплодотворят множество новых явлений самим фактом их называния-вызывания. В стихотворении «Заклятие смехом» Хлебников, по сути, заклинает не смехом, а множеством новообразований с корнем *«смех»* — смеюнчики, смеево, усмейтесь, осмеяльно и т.д. Это колдовские слова, которые потеряли бы силу ворожбы, если бы приспособились к пониманию, обременили себя номинативным значением и словарной дефиницией вместо поиска и выкликания неизвестных смеховых миров.

Новообразования Григория Марка подчеркнуто тяжеловесны, искусственны, постмодерны, симулятивны. В отличие от хлебниковских, они не стремятся к авангардному преображению мира и, в отличие от солженицынских, не стараются

реалистически его отобразить. Скорее, они выставляют наружу свою собственную производность, сочиненность, что может даже оттолкнуть читателя, привыкшего к более живым, «органическим» способам словосложения. Не сразу понятно, то ли эти слова издеваются над действительностью, над теми простыми явлениями, которые обозначаются с такой наукообразной напыщенностью и терминологическим изыском... То ли слова эти содержат издевку над самими собой, как пародия на называние вообще, на извечный, потный, мучительный труд состыкования слов с понятиями...

«Буриданствовать», по Г. Марку, — это «размышлять о свободе выбора и ее последствиях». Читателю, скорее всего, известно, кто такой «буриданов осел», обреченный умереть с голода, находясь на равном расстоянии от двух охапок сена, ибо, лишенный свободы воли, он не способен выбрать ни одну из них (парадокс абсолютного детерминизма, приписываемый французскому философу Буридану).

Но термин «буриданствовать» явно избыточен для языка — вместо того, чтобы говорить о свободе выбора, это слово отсылает нас к мыслителю, который, во-первых, эту свободу отрицал, во-вторых, вовсе не говорил того, что ему приписывается. Слово «буриданствовать» оказывается в отношении многократной «отсрочки» и несовпадения со своим предметом.

Однословия Г. Марка часто «подстановочны», т.е. отсылают к конкретному слову и передразнивают, переиначивают его, выступают как «инословия», пародийные подстановки — еще одна черта постмодерности. «Либидоносец» отталкивается от «победоносца», «травматургия» (искусство нанесения травм) — от «драматургии». Порою Г. Марк имитирует наив народных этимологий-неологий: «обдирекция» (ср. «дирекция»), «мылодрама» (ср. «мелодрама» и одновременно «soap opera»). Разумеется, это не примитивы, а именно *«имитивы»*, в которых сказовая манера коверкать иностранные слова в свою очередь коверкается.

Вообще у каждого словаря есть свой образ составителя, своя концептуальная персона, подобно тому, как у поэтических произведений есть лирический герой, а у прозы — образ повествователя. «Составитель» у Григория Марка резко отличается от лирического героя его же стихотворений, своего рода ангела, спущенного за шкирку с небес, чтобы мучительно осязать свое вхождение в шершавую плоть земной жизни[24]. Марковский составитель — не ангел, а скорее схоласт, рассуждающий обо всем, в том числе и об ангелах, и дающий обильную классификацию тончайших вещей, подчас и вовсе не существующих или исчезающих в самом процессе их наименования. Как и «домодерное» Средневековье, постмодернизм склонен к схоластике, к многоярусной символике и семиотизации вещей, надстраиванию метауровней означающих над означаемыми. Перед нами — лирика схоластики и ее герой, педант-лингвоман, для которого «быть» значит давать имена, продолжать первый труд Адама, порученный ему Господом, — без внимания к тому тривиальному обстоятельству, что подавляющее большинство вещей уже имеют свои имена и нуждаются в метафорических намеках больше, чем в терминологических определениях. Марковский составитель — истовый номиналист, который от обратного доказывает истину реализма: хотя общие понятия заключены только в словах, сами слова и составляют ту

единственную реальность, которая подлежит описанию. Возможно, словарное «я» Г. Марка обнаруживает дальнейшую эволюцию того лирического «я», для которого раньше был труден и громоздок мир земных вещей, — а теперь столь же косноязычно-мучителен труд их называния, так что уже не материальные предметы, но эфирные имена выставляют напоказ свою неловкость и шершавость.

Кажется, многие слова придуманы Г. Марком для того, чтобы продемонстрировать их нарочитость, натужность, ненужность — а может быть, и ненужность слов вообще. Язык бесстыдно показывает «язык» всем сторонникам «экономии мышления», «общей семантики» и «верификации» («фактическая проверка» соответствия слов наблюдаемым явлениям — принцип логического позитивизма). Кратчайший, «экономнейший» жанр оказывается способом демонстрации избыточности самого языка. «О-префисировать», «прохореенный», «метаморфий», «эгоцентростремительнобежный» (с пояснением: «суетноэгий») — раздается этот кимвал бряцающий над душами погребенных вещей, развороченных понятий, над пустынным миром, в котором уже не осталось ничего, кроме языка.

«Словарь» Г. Марка, благодаря или вопреки замыслу его создателя, представляется мне эпитафией-пародией на могиле того культурного периода, который называл себя «постмодернизмом» и объявлял мнимость всех означаемых по ту сторону языка. В соответствии с учением о «differance»[25], многие однословия Марка демонстрируют постоянную задержку или отсрочку значения, поскольку именно их определения оказывается еще менее значимыми и вменяемыми, чем сами слова: «Флюидыш (флюидное отродье)»; «Эвридикость Аидная (попытка подражания Эвридике, попытка вернуться из царства Аида)». Цепь толкования начата — и оборвана, отброшена в условную бесконечность, поскольку «отродье флюида» — вещь еще более абстрактная, туманная, неопределимая, чем сам флюид. Это семантическая пытка слова, из которого выпытать ничего нельзя, оно умирает в своей дефиниции — и не может умереть, как будто претерпевая ад бесконечного самоповтора, «отсрочку» означаемого как муку означивания. Толкование не проясняет, а усиливает невнятность слова, «рассеменяет» его значение. Слова тщательно определяются именно для того, чтобы обнаружить свою неопределимость, беспредметность и безысходность самого этого процесса привязывания одних слов к другим. Словарная статья у Г. Марка — микромодель постмодернистского сознания, которое от одного уровня языка переходит к другому, к метаязыку, двигаясь по ступеням этого «метаметизма» в кругах бесконечных самотолкований.

6. Двусмысленность однословия.

На примере «Словаря» Г. Марка можно выделить метафорическую обратимость как едва ли не главное свойство однословий, построенных на сращении двух корней или основ. Обычно для метафоры необходимы как минимум два слова: «березовый ситец», «птица-тройка», «шелк ресниц», «страниц войска» и т.п. Если мы находим метафорический первообраз в некоем слове, то опять же лишь по сравнению с другим словом, например, «рок» (предреченность, обреченность) по отношению к однокоренному «речь» или «искренний» по отноше-

нию к «искре». Однословие так «скореняет» разные слова, что метафора начинает жить и мерцать в одном слове. Так, в слове «вопрошайка» у Г. Марка соединились «вопрошать» и «попрошайка», точнее, префикс первого слова (*«во»*) соединился с суффиксом второго слова (*«айк»*) вокруг общего корня *«прош»*. Вопрошайка — это человек, задающий вопросы так же настойчиво, жадно, бесцеремонно, не считаясь с собственным достоинством и правилами приличия, как попрошайка попрошайничает.

При этом новообразованное двусоставное слово может, как правило, и толковаться двояко, в зависимости от того, какое значение берется как исходное (буквальное, тематическое), а какое — как итоговое (образное, переносное). Например, в слове «словелас» скореняются «слово» и «ловелас», и одно служит метафорой другого. Но если рассматривать «слово» как первичное (буквальное) значение, а «ловелас» как метафору, тогда словелас — это человек, влюбленный в слова, Дон Жуан и волокита слов, иначе говоря, фило-лог, слово-блуд или графо-ман. Если же первичное значение «ловелас», тогда «словелас» — это человек, обольщающий посредством слов, источающий словесную похоть и соблазн.

По определению Хлебникова, словотворчество — это «художественный прием давать понятию, заключенному в одном корне, очертания слова другого корня. Что первому дает образ второго, лик второго»[26]. Но суть в том, что первое и второе в словообразе могут меняться местами, придавая слову мерцательность и двузначность: то ли это ловелас по отношению к словам, то ли это слова как орудие ловеласа. В своих комментариях Григорий Марк дает, как правило, только одну интерпретацию означаемого, но в его собственные словообразы вписана двузначность, возможность двух или нескольких означаемых.

Н. Перцова приводит следующие примеры скорнения из Хлебникова (сама она называет этот прием «контаминацией»): вружда от вражда и/или врать и дружба; бьюга от бить и вьюга... И добавляет: «Буквально на наших глазах контаминация распространяется в русском языке все шире, ср. катастройка — катастрофа, перестройка (слово А. Зиновьева); демокрады — демократы, казнокрады; прихватизация — прихватить, приватизация...»[27].

Всё это — политико-сатирические однословия, в которых, естественно, преобладает негативная оценочность, но и они по своей семантике двусмысленны. Кто такие демокрады? Те, что украли и присвоили себе демократию, власть народа, — или те, которые крадут и присваивают деньги, пользуясь демократией? Обычно имеется в виду второе, но само двуосновное слово захватывает оба значения и, поскольку оно носит резко оценочный характер, разность этих двух означаемых не осознается, как правило, носителями языка.

Что такое лживопись: живопись, которая лжет? или ложь, которая живописует? Григорий Марк отсылает только к первому значению: «Лживопись (а-ля русская, глазуновщина-китч)»; но «лживописью» можно назвать не только пафосно-китчевую живопись, но и машину пропаганды, которая преподносит живописно, образно, картинно, плакатно свои лжеидеи.

Из истории литературы известно, что если даже сам автор толкует свое произведение, толкование оказывается меньше его образного смысла. Текст знает

и говорит больше, чем автор. Так и смысл однословий у Г. Марка метафорически многозначнее, чем предложенные им расшифровки. Кто такой «тлениец» — тот, «в ком еще тлеет ленинизм» (как объясняет автор) — или тот, кто сам превращается в тлен вместе с Лениным и ленинизмом?

Следует оговорить, что однословие метафорически обратимо, а значит, и двусмысленно только в том случае, если в нем имеет место скорнение, сложение двух знаменательных морфем, одна из которых выступает как «фигура» другой. Если же к корню одного слова присоединяется префикс или суффикс другого, лишенные самостоятельного лексического значения, то метафорическая двойственность, как правило, не возникает.

7. Однословие, афоризм, гипограмма

Выше уже говорилось, что однословия превосходят своей краткостью даже «краткословия» — изречения-афоризмы. Но однословие — это порою и есть свернутый афоризм, который, если не вмещается в размер слова, вылезает обратно в виде дефиниции, прилагаемой к слову. Так, солженицынский афоризм «жить не по лжи» стягивается в однословие «лжизнь», к которому можно приложить дефиницию: «жизнь, прожитая по лжи». Древний афоризм Плавта: «Человек человеку — волк» (в комедии «Ослы», строки 493—495) — может свернуться в однословие «человолк» (А. Вознесенский, «Антимиры»).

Дело в том, что афоризм часто строится на сближении противоположных понятий или на разведении близких понятий: мысль играет смыслами, находимыми в языке, и перебрасывает их из одного понятийного гнезда в другое. Человек противоположен волку, и именно поэтому афоризм утверждает, что человек и есть волк — по отношению к себе подобным. Там, где два понятия сопрягаются через парадоксальное суждение, появляется возможность и «скоренить» их в сложном слове-оксимороне, если к тому есть и звуковая предрасположенность. Скажем, наполеоновский афоризм: «От великого до смешного только один шаг» — потенциально заключает в себе понятие *«велисмешия»*, то есть смешной величавости. *«Велисмешный»* — тот, кто держит себя величественно и потому выглядит смешно.

Не только афоризмы, но и целые произведения могут заключать в себе такой тип суждения, который стягивается в одно слово. Например, мысль Фрейда, выраженную в трактате «По ту сторону принципа удовольствия», можно было бы выразить однословием *«смертозоид»*. Смертозоид — единица влечения к смерти, эротической одержимости смертью, что парадоксально и даже оксиморонно, поскольку «зоид» в греческом означает «живоподобный» («зоон» — живое существо + «ид» — «вид, форма, образ»). «Смертозоид» — *«мертвожившчик»*. Парадокс заключен уже в самом понятии «инстинкт смерти», который, по классической мифологии фрейдизма, столь же могуществен, как и половой инстинкт (Эрос и Танатос делят поровну царство жизни). Ведь инстинкт есть отличительное свойство живого, и его направленность к смерти как раз и может быть представлена данным словом-оксимороном. Смертозоиды — «семена смерти, жаждущие размножения». У сочинителей детективов и фильмов ужасов, у поэтов-декадентов

и ораторов-демагогов смерма так и брызжет изо рта, как и кровь у их воображаемых или действительных жертв.

Наконец, идея не обязательно должна быть выражена индивидуальным автором — она может носиться в воздухе. Например, советская идеология соединяла требование всеобщего равенства с призывом любить трудящихся и угнетенных во всем мире, не учитывая, что любовь есть чувство сугубо избирательное и исключает равенство. Отсюда однословие *«равнолюбие»* — одинаковая ко всем любовь, равносильная равнодушию. Возможны и такие сочетания, как *«равнолюбая* женщина» или *«равнолюбчивый* юноша».

Приведу еще один пример из моей коллекции: слово *«солночь»* (с ударением на первом слове) — скорнение «солнца» и «полночи». «Солночь» стягивает в одно слово те образы, которыми изобилует и поэзия, и философия, и апокалиптическая традиция. «Ночь — это тоже солнце» — так говорил Заратустра, и Ж. Батай взял этот ницшевский афоризм эпиграфом к книге «Внутренний опыт» (СПб., 1997). Образ солночи встречается у Гюго: «Ужасное черное солнце, излучающее ночь» («Недоступный воображению, этот негатив прекрасен», — замечает Поль Валери). Этот архетипический образ, повторенный М. Шолоховым в концовке «Тихого Дона», имеет далекие библейские корни. Еще у пророка Иоиля сказано: «Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Иоиль, 2:31). В Деяниях апостолов это предложение повторено дословно, только последнее слово заменено на «славный» (2:20). День Господень страшен полночью и славен солнцем. Солночь — ночь, яркая и сияющая, как солнце, — черное солнце Апокалипсиса. «...И вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь...» (6:12).

Однословие может образоваться и на пересечении двух афоризмов или из их стяжения. Есть два известных изречения начала XX века с общим заглавным словом — субъектом суждения: «Человек — чело века» (А. Белый) и «Человек — это звучит гордо» (М. Горький). Из скрещения этих изречений может выйти достаточно адекватное определение XX века — *«челогордый* век».

Если однословие может свертывать в себе афоризм, то оно же может и развертывать в целую фразу то, что скрыто на микросемантическом уровне слова, прячется в его смысловом подполье. Здесь полезно вспомнить понятие «гипограммы», введенное теоретиком Мишелем Риффатером в книге «Семиотика поэзии». Гипограмма — такой поэтический образ, который создается «подсловно» или «засловно», подтекстными или интертекстуальными связями слова. Как правило, гипограмма содержит «тайное» значение, которое контрастирует с «явным» значением слова. Например, в поэтическом образе цветка часто присутствует скрытая отсылка к ущелью, бездне, обрыву. «Определяющая черта гипограммы — полярная оппозиция, объединяющая эти противоположности, связующая хрупкую малость цветка с устрашающей огромностью бездны...» При этом «ядерное слово остается несказанным»[28], т.е. о нем приходится строить догадки — и оно выступает наружу лишь в форме толкующего предложения, парафразиса.

Итак, за суггестивным словом следует его контрастная тень, его другое, — и однословие позволяет как бы высветить эту тень, вобрать ее в лексический состав

самого слова. Можно представить себе, на основе риффатеровских примеров, такие слова, как *«бездноцветие», «цветопад», «злоцветье», «окноем», «ветроемный», «небощель»* и другие. «Окноем» (ср. «окоем» — «горизонт») — это вместимость окна, способность вбирать, «всасывать» окружающий мир, визуальная емкость, измеряемая пропорцией между входящим в окно пространством и внутренним пространством комнаты. В этом смысле маленькое зарешеченное отверстие в тюремной камере может быть более «окноемным», чем сплошь застекленная веранда дачного дома.

Как и гипограмма, однословие — это не просто слово, а слово в квадрате, «слово слова». Но это второе слово уже не прячется, а выходит наружу, делает тайное явным. Однословие — это суперграмма, которая включает и данное слово, и то слово, по отношению к которому оно приобретает свой контрастный смысл. Однословие — это не просто слово, но слово второго порядка, произведенное из слова посредством слова. В каком-то смысле искусство однословия можно сравнить с театральной игрой, где несколько модусов бытия встраиваются в тело актера. Как говорил А.Я. Таиров, актер — это и материал для художественной работы, и ее инструмент, и само произведение[29]. Вот так и однословие — это слово вдвойне и даже втройне, «словословие», т.е. слово, работающее со словом, производящее себя из словесного материала, суперслово, которое содержит и свою предпосылку, и суждение, и вывод.

8. Опасности и прелести жанра. Лингвоселекция

Не хотелось бы, однако, внушать мысль о великих возможностях этого жанра, о его процветании на почве синтетического, ярко метафорического русского языка и т.п. Все-таки выбор у однословца не богат, и удачи в этом жанре — еще реже, чем в скупом жанре афористики. Главное, что грозит словосочинительству, — соседство словаря, соперничество с языком. Словотворец неминуемо ставит себя на одну доску с народом-языкотворцем и часто проигрывает. Каждое сочиненное слово, по своей заявке и претензии, — это часть языка, вечный памятник своему творцу, а памятник с кукишем или подмаргивающим глазом плохо глядится, потому что мгновенная поза передразнивания или подначивания не годится для вечности. Однословие пытается соединить несоединимое не только в своем морфологическом составе, но и в эстетической установке: выразить индивидуальность своего создателя — и вместе с тем стать элементом системы языка, войти в словарь. В жанре однословия есть нечто неустранимо претенциозное — как и в жанре афоризма, который вынимает себя из потока суетной человеческой речи, смиренного многословия и косноязычия, и застывает в позе «на все времена». Словотворец — отчасти самозванец, поскольку языком по определению правит народ, безымянный творец имен. Однословие заведомо завышает критерий своего бытования в языке — и потому должно готовиться к отпору и развенчанию, к раздражению читателя, который не любит «озвездованных» слов (однословие Г. Марка). Тем более если эти слова не рассыпаны в поэтических контекстах (как большей частью у Хлебникова), откуда они добываются старателями-золотодобытчиками, а заранее преподносятся в виде самоценного жанра, да еще образующего целый словарь.

Солженицынский «Словарь» тактично прячет претенциозность этого жанра за оборонительные слои: во-первых, многие слова и в самом деле народные, только редкие, забытые, уже вышедшие из употребления или еще не вошедшие в него; да и те, которые изобретены, как правило, ненавязчивы и имитируют народный способ словосложения, с небольшими суффиксальными или префиксальными сдвигами-извивами, без оголенных и разрубленных корней, тем более иностранно-международных, выдранных из живой словесной плоти и промискуитетно спаренных с другими корнями и чуждыми морфемами. Солженицын избегает каламбуров, т.е. сплетения разных морфем по сходству звучаний, что производит «несурьезное» впечатление. Призвавший «жить не по лжи», Солженицын, наверно, скривился бы, услышав им же подсказанные словечки «лжизнь» или «лживопись», поскольку звукопись-перекличка, работая на убедительность призыва, все-таки не озвучивается у Солженицына за счет потрошения самих слов, их слома и спаривания черенков.

Скорнение слов чем-то напоминает мичуринские эксперименты по скрещиванию разных видов. В каком-то смысле Хлебников — это Мичурин поэзии, занятый селекцией новых слов, привитием приставок и суффиксов одного слова к корню другого. Хлебниковское скорнение — это почти буквальное следование мичуринскому методу: от побега с почками — корня с морфемами (минимальными значимыми частями, «ростками» слова) — отрезается часть, черенок, чтобы быть привитой другому слову и образовать с ним лексический гибрид.

Но в свою очередь и И. В. Мичурин, создавая свои растения-метафоры и растения-метонимии, не следовал ли риторическому правилу М. В. Ломоносова, что поэтический образ есть сопряжение далековатых идей? Отсюда и мичуринский метод «отдаленной гибридизации» — скрещивание растений из далеко отстоящих друг от друга географических зон. Так, он создал церападус — растение, не существующее в природе, гибрид степной вишни и черемухи Маака. «Плоды в кистях по 3—5, сладковато-кислые с горечью. Съедобны», — несколько угрюмо замечает по этому поводу «Советский энциклопедический словарь». Кстати, ведь и слово «церападус» — тоже ведь, очевидно, гибрид, как и то, что оно обозначает; это слово не существовало раньше в языке, как само означенное растение — в природе. Мичурину приходилось выводить не только новые растения, но и их имена, подобно Хлебникову. Один сочинил «церападус», другой «царепад», «цацостан» и «целовень».

Так что гибридизация слов — с их корнями, разветвлениями, побегами, черенками префиксов и суффиксов, используемых для привития одних слов к другим, — по модели близка селекционной деятельности Мичурина. Хлебников пытался языковедение перевести в языководство, как Мичурин — растениеведение в растениеводство (биологию в биургию). Хлебников верил, что «стихи живут по закону Дарвина»[30], и сам проводил сравнение языководства и рыбоводства: «Если современный человек населяет обедневшие воды рек тучами рыб, то языководство дает право населить новой жизнью, вымершими или несуществующими словами, оскудевшие волны языка. Верим, они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения»[31]. С другой стороны, и Мичурин выводил растения-тропы, где «черемуха» была одновременно и «вишней». Плоды такой гибридиза-

ции в одном случае «съедобны», в другом — «читаемы», но вряд ли способны заменить «творения первых дней»: плоды в садах, рыбы в морях и слова естественного языка. Сотворение нового слова потому столь опасный и прельстительный жанр, что в нем приходится состязаться с тем Словом, через которое всё начало быть.

Хотя однословия — это белые карлики во вселенной слов, не следует забывать, что сверхуплотненная материя имеет тенденцию к схлопыванию и образованию черных дыр. Так и воображение, одержимое созданием новых слов, быстро проваливается в беспредметность, в смысловой вакуум. Если краткость — сестра таланта, то чересчур близкие отношения между ними могут привести к кровосмесительству, к нарождению слов-уродцев, гибридов, химер, способных произвести опустошение в генетическом фонде языка, скорее чем обогатить его. Между прочим, уродливые советские новообразования типа «завполитпросвет», «коопсах» и др. — тоже плод стремления к краткости, как и все высокочастотные аббревиатуры технического века, где начальные буквы или слоги спрессованы в слова, лишенные внутренней формы и образа.

Однако всё познается в сравнении. На фоне естественного, «первозданного» или «предзаданного» слова бросается в глаза вычурность, придуманность однословий. Но на фоне искусственных языков, которые ускоренно размножаются в эпоху компьютеризации, штучное производство слова приобретает достоинства индивидуального ремесла, как ручной тканый ковер на фоне машинных подделок или как подлинник картины на фоне ее репродукций. В иерархии «Бог — человек — машина» рукотворный словесный продукт выглядит всё менее подельным, всё более теплым и подлинным, поскольку точкой отсчета становится уже не «богоданный» язык народа, а машинные языки, скоростные шифры. Технизация и автоматизации языка — процесс необратимый: на каждое «живое» слово уже приходятся сотни и тысячи научно-технических терминов. Миллиарды и триллионы таких специальных знаковых комбинаций уже не вмещаются в бумажные словари, но образуют электронные базы данных. В этом знаковом мире, кишащем механическими словами и шифрами, даже какое-нибудь «стекловолокно» вскоре уже покажется чудом поэзии. Ценность однословия как художественного произведения, сохраняющего ауру единичности, печать индивидуальности творца, будет неминуемо возрастать в эпоху дальнейшей автоматизации всех языковых процессов.

9. Что такое слово?

Слово — страшная и таинственная вещь (тут я намеренно повторяю определение красоты у Достоевского). Насколько понятие «слова» интуитивно ясно и границы его формально заданы пробелами, настолько наука затрудняется дать ему содержательное определение. В лингвистике «слово» — это понятие-парий, признанное многими специалистами ненаучным, неопределимым, остатком синкретически-мифологических представлений о языке, как в психологии таким же понятием-парией стала «душа», а в философии — «мудрость». Науки, исторически возникшие из лона определенных понятий, в конце концов начинают чуждаться их, как умный

сын — простоватой матери. Как в психологических и философских энциклопедиях трудно найти термины «душа» и «мудрость» (ибо они еще или уже не термины), так многие лингвисты избегают понятия «слова», принимая в качестве основного понятия минимально значимую единицу языка (морфему, или «монему» — в терминологии А. Мартине) либо автономное синтаксическое образование (словосочетание, «синтаксическая молекула» Ш. Балли).

Согласно Эдварду Сепиру, «корневой (или грамматический) элемент (т.е. морфема — *М.Э.*) и предложение — таковы первичные функциональные единицы речи, первый — как абстрагированная минимальная единица, последнее — как эстетически достаточное воплощение единой мысли. Формальные же единицы речи, слова, могут совпадать то с одной, то с другой функциональной единицей; чаще всего они занимают промежуточное положение между двумя крайностями, воплощая одно или несколько основных корневых значений и одно или несколько вспомогательных»[32]. Получается, что слово то выполняет функцию морфемы — и таковы служебные, «грамматические» слова; то функцию предложения — и таковы слова знаменательные; то совмещает обе функциии, соединяя грамматику и семантику... Но собственной функции слово лишено и представляет лишь «формальную единицу речи».

Леонард Блумфилд, современник и соперник Э. Сепира по воздействию на американскую лингвистику, сближал слово с предложением, определяя слово как «минимально свободную форму», т.е. мельчайшую единицу языка, которая сама по себе может составлять высказывание. «Что ты ценишь в людях?» — «Человечность». Здесь слово «человечность» выступает как самостоятельное высказывание (в отличие, например, от суффикса *«ость»*, который в такой роли выступать не может). Но как быть со служебными словами — предлогами, союзами, частицами, которые, в отличие от знаменательных, не могут употребляться как высказывания и в этом отношении подобны морфемам? Впрочем, можно создать адекватные контексты и для самостоятельного употребления служебных слов. «Ты на службу идешь или со службы?» — «Со». Но вряд ли этот признак позволяет отличить служебные слова от морфем, которые в исключительных случаях точно так же могут изолироваться, попадая под смысловое ударение. «Ты войдешь в игру или выйдешь?» — «Я — во». Получается, что слова тяготеют либо к предложениям (знаменательные, «семантические» слова), либо к морфемам (служебные, «грамматические» слова), но лишены своего собственного определенного места и функции в языке.

Л. Ельмслев, Р. Барт и Б. Потье, под разными теоретическими углами, выдвигали на место слова категорию «лексия», которая может быть простой («конь»), составной («конь-огонь») и сложной («скакать на коне»). Но логически трудно объяснить, почему одна лексия выражается одним словом, а другая — двумя или тремя. В лингвистических словарях и энциклопедиях слово «слово» — редкий гость, которого если и принимают, то сажают за краешек стола, уделяя ему статьи несравненно меньшего объема, чем, скажем, «фонетике», или «морфологии», или «лексикологии». Как замечают авторы влиятельного аналитического словаря «Семиотика и язык» Греймас и Курте (в статье «Слово»), «не добившись успеха в определении этого термина, лингвисты много раз пытались

исключить его из своего словаря и круга забот. Но всякий раз оно возвращалось в новом одеянии и заново поднимало все те же вопросы»[33].

«Слово», действительно, нельзя свести к лингвистическому термину, каковыми являются «морфемы», «синтагмы» и т.п.; оно не искусственно выведено в лаборатории научного мышления, а приходит из живого языка и само остается тем, что оно называет, — словом, т.е. потенциально и термином, и символом, и метафорой, и лозунгом, и заклинанием... Не совсем понятно, что выделяет слово из последовательности присоединяемых друг к другу морфем или из состава многословных сочетаний и предложений. Почему морфемы слипаются в слова? Почему предложения разделяются на слова? Вообще слово — сложный и своеобразный продукт развития индоевропейских языков. В так называемых агглютинативных языках (например, тюркских) нет четкой границы между словом и высказыванием; напротив, в изолирующих языках (например, китайском) нет разницы между словом и корнем.

В принципе без слова можно обойтись — и вместе с тем всё в языке держится на слове, как колесо своими спицами стягивается к пустой втулке. Суть в том, что слово занимает центральное место в иерархии языковых единиц, которая насчитывает пять основных ступеней:

1) Фонема, звук как смыслоразличительный элемент языковой системы.

2) Морфема, минимальная значимая часть слова.

3) Слово.

4) Предложение — совокупность слов, содержащих одно сообщение (мысль, высказывание).

5) Текст — последовательность предложений, образующих одно произведение, целостный акт авторского самовыражения и речевой коммуникации.

Возможны и более дробные деления, например, между фонемой и морфемой подчас ставят «морфы» (варианты, или составляющие единицы морфемы), а между словом и предложением — словосочетания (фразеологизмы), но если расширить иерархию языковых единиц до семи уровней, слово все равно займет в ней срединное место. Фонемы и морфемы — микроединицы языка, предложение и текст — макроединицы, а слово — то, по отношению к чему определяется их масштаб. Точно так же масштабы микромира (атомы, молекулы) и макромира (звезды, галактики) определяются их отношением к человеку: «микро» — то, что меньше человека, «макро» — то, что больше. Слово — наибольшая единица языкового микромира, в котором срастаются смыслоразличительные элементы, и наименьшая единица языкового макромира, в котором происходит свободное соединение слов в тексты различной длины. Положение слова в мире символических величин равнозначно положению человека в мире физических величин: середина и точка отсчета. Было бы интересно проследить общие закономерности сложения таких иерархий: от фонемы до текста, от кварка до вселенной, от клетки до популяции (видимо, с организмом посередине)... В некотором противоречии с вышеприведенным суждением о том, что слово — чисто формальная единица речи, Э. Сепир далее утверждает:

«Формулируя вкратце, мы можем сказать, что корневые и грамматические элементы языка, абстрагируемые от реальности речи, соответствуют концепту-

альному миру науки, абстрагированному от реальности опыта, а слово, наличная единица живой речи, соответствует единицам действительно воспринимаемого опыта, миру истории и искусства». И дальше Сепир приводит многочисленные примеры «психологической реальности слова», одинаково точно выделяемой и неграмотными индейцами, и учеными-лингвистами.

Слово — центр языка, мера связности и подвижности в его структуре: слово обладает большей внутренней упорядоченностью, чем предложение или текст, и большей свободой употребления, чем фонема или морфема. Слово — точка пересечения координат, обозначающих порядок и свободу в языке, идеальная мера организованной анархии самого языка. В каком-то смысле слово — это модель языка как целого, «связь миров, повсюду сущих», подобно тому как человек — посредник макро- и микромиров, точка их вхождения и «погруженности» друг в друга. Как сознание человека объемлет окружающий мир, а тело — объемлется миром, так слово объемлется языком, «океаном слов» — и вместе с тем объемлет его, как капля, отражающая океан.

Вот почему сколь угодно большой по объему текст, если в нем выделяется признак цельности, называется «словом». Об этом, как о признаке большого творческого напряжения, писал Пастернак: «в миг, когда дыханьем сплава в слово сплочены слова». Это не поэтическая вольность, но интуиция языка: совокупность всех слов, составляющих одно высказывание, также называется «словом» («напутственное слово», «Слово о полку Игореве» и т.д.). Через слово макрокосм языка становится микрокосмом, как бы свертывается в наименьшую свободную единицу. Но через слово и микрокосм может развертываться в макрокосм, внутренний морфемный состав слова превращаться в свободно соединяемые значимые единицы. Однословие — это и есть развертка слова в ряд свободно сочетаемых морфем, как если бы слово было целым предложением или текстом — и вместе с тем сохраняло бы единство и связность слова. Если слово стоит в языке на границе микро- и макромиров, то однословие есть нарушение этой границы, точка вхождения макрокосма в микрокосм или развертки микрокосма как макрокосма. Однословие демонстрирует не просто растяжимость слова, но его внутреннюю вместимость, способность вобрать многосоставность целого предложения, оставаясь при этом всё тем же маленьким словом, окруженным пробелами.

Если человек — граница микро- и макромиров, то он же и самый злостный нарушитель этой границы, поскольку в нем и через него микромир оказывается больше макромира и вмещает его в себя, или, если следовать державинскому слову, «червь» становится «Богом», который своим сознанием охватывает всю вселенную (ода «Бог»). Человек — и мера всех физических вещей, и взрыв этой меры, носитель метафизической безмерности. Если слово — мера всех миров языка, то однословие «опрокидывает» или «выворачивает» эти миры, внося большое внутрь малого, т.е. нарушая ту самую меру и границу, которая задана словом. Тесная связь и порядок морфем внутри слова теперь вмещают свободу сочетаний, которая царит вовне слова, на уровне предложения и текста. Большее оказывается внутри меньшего. Однословие — это как бы самосознание и самодеятельность слова, которое перешагивает свои границы и объемлет мир произвольных высказываний, мир авторского самовыражения и смыслополагания.

Если речь, повесть, сочинение любого жанра может стать «словом», то и слово может стать «сочинением», произведением особого, «однословного» жанра. Однословие находится на самой границе языка именно потому, что слово находится в самом его центре.

Объяснить лингвистически *«словность»* языка так же трудно, как и объяснить физически существование срединного, «человечески обжитого» мира среди микро- и макромиров, среди атомов и галактик. Для этого требуется ввести антропный принцип в физику, как и *«словный»* принцип в лингвистику, допустив, что все эти мельчайшие и крупнейшие единицы суть лишь условные проекции слова как первичной реальности, расчленяя которую мы получаем морфемы, а сочетая которые получаем предложения. Слово потому и невыводимо теоретически из других единиц и понятий языка, что сами они выводятся из слова, как аксиомы, первичной данности языка. В некотором противоречии со своим же вышеприведенным суждением о том, что слово — чисто формальная единица речи, Э. Сепир далее утверждает: «Формулируя вкратце, мы можем сказать, что корневые и грамматические элементы языка, абстрагируемые от реальности речи, соответствуют концептуальному миру науки, абстрагированному от реальности опыта, а слово, наличная единица живой речи, соответствует единицам действительно воспринимаемого опыта, миру истории и искусства». И дальше Сепир приводит многочисленные примеры «психологической реальности слова», одинаково точно выделяемой и неграмотными, и учеными-лингвистами. Рассматривая слово «unthinkable» («немыслимый»), Сепир замечает, что ни один из его элементов — «ни *un-*, ни *-able*... не удовлетворяют нас как самодовлеющие осмысленные единицы — нам приходится сохранить unthinkable в качестве неделимого целого, в качестве своего рода законченного произведения искусства»[34].

По верному замечанию В.Г. Гака, «научная ценность понятия «слово» состоит именно в том, что оно объединяет признаки, выделяемые в разных аспектах языкового анализа: звуковом, смысловом, грамматическом».46 Все разделы языкознания расходятся от слова и сходятся к слову, поскольку это не только научная, но и интуитивно данная, первичная категория языка — как и человек в физической картине мира. Слово равнообъемно, равномощно именно тому миру, который предназначен для обитания человека. Поэтому и сказано, что мир сотворен Словом и что по образу и подобию Его сотворен человек. Не морфемами, не фразами, не предложениями сотворен мир, а именно Словом, которое может расчленяться на части-морфемы и сочетаться с другими словами в предложения, но при этом сохраняет целостность даже тогда, когда разделяется на тысячи слов, точнее, соединяет их в себе.

Слово — это и часть, и целое речи. Однословие — именно такое слово, которое равнозначно сколь угодно большому речевому целому и поэтому не нуждается в других словах, стоит особняком, не требует продолжения. Однословие вобрало в себя свой контекст и сделалось самодовлеющим текстом, «пупом языка». Все слова просятся в речь — и только однословие просится вон из речи. В нем есть закрытость, неприступность, самодостаточность, свойственная и самым великим, и самым ущербным созданиям человеческого духа.

Постскриптум

Предмет размышлений всегда заразителен — иначе не стоит о нем размышлять. По мере написания статьи в нее проникло несколько однословий, таких, как «лжизнь», «солночь», и др. Но самое примечательное из них стоит в заголовке: это слово «однословие», которое представляет собой образчик того, что оно обозначает, т.е. жанра сложения нового слова. До сих пор считалось, что в языке есть только два выражения, которые полностью обозначают сами себя. Это слово «слово» и предложение «Это — предложение». Все другие слова не обозначают самого слова и все другие предложения не обозначают самого предложения. Теперь этот кратчайший список самозначащих (автореферентных) языковых образований можно увеличить сразу на треть, прибавив к нему однословие «однословие».

Примечания

[1] Цит. по кн. *Григорьев В.П.* Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М.: Наука, 1986. С. 171. По замечанию В. П. Григорьева, много сделавшего для понимания неологизмов Хлебникова именно как литературных произведений, однословий, «это могло показаться и все еще кажется эпатированием чистой воды, но лишь при нежелании признать за словом его потенциальной способности стать произведением искусства... ...Невозможно вывести за пределы, подлежащие власти эстетических оценок, множество неологизмов Хлебникова именно как произведений словесного искусства» (там же).

[2] *Потебня А.А.* Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. С. 114, 175. А.Н. Афанасьев, выдающийся собиратель и толкователь славянской мифологии, исходил в своей деятельности из того, что «зерно, из которого вырастает мифическое сказание, кроется в первозданном слове» («Поэтические воззрения славян на природу». М.: 1865—1869. Т. 1. С. 15). К этому Потебня добавляет, что «не первозданное только, но всякое слово с живым представлением, рассматриваемое вместе со своим значением (одним), есть эмбриональная форма поэзии» (цит. изд. С. 429). У Потебни есть немало чему поучиться постмодерным теоретикам языка, которые подчас неосознанно повторяют старые ходы романтической и мифологической школы. Так, Потебня писал: «метафоричность есть всегдашнее свойство языка, и переводить мы можем только с метафоры на метафору» (цит. изд. С. 434).

[3] Здесь и далее новообразования, предлагаемые автором данной статьи, при первом упоминании выделяются курсивом.

[4] *Хлебников В.* Собрание произведений. Под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. 1—5, Л.: Изд-во писателей, 1928—1933. Т. 5. С. 233—234.

[5] Нижеследующая классификация неологизмов предлагается на основе моих собственных наблюдений над этим несколько экзотическим языковым феноменом. Обычно различаются неологизмы лексические (новообразованные и ставшие общеупотребительными слова типа «колхоз»), семантические (новые

значения ранее известных слов типа «морж» — любитель зимнего плавания) и окказиональные (индивидуально-авторские типа «громадье» Маяковского). См. Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. Предлагаемая мною классификация построена на градациях перехода от чисто функционального словообразования (называющего новое явление) к неологизму как форме словотворчества. При этом сохраняет свой смысл и различение лексических и семантических, узуальных и окказиональных неологизмов. Однословие, как правило, тяготеет к лексическому и окказиональному полюсам, то есть является индивидуально-авторским творением нового слова.

[6] Андрей Синявский, как известно, считал, что большевизм обязан своими успехами трем мастерски сработанным словам: «большевик», «советы», «ЧК». Идеологическим потенциалом языка занимается дисциплина идеолингвистика. См. *Эпштейн Михаил.* Идеология и язык: построение модели и осмысление дискурса. Вопросы языкознания, 1991, №6. С. 19—33.

[7] Впрочем, и научный термин может быть рожден в муках почти поэтического творчества. Фламандский физик Ван-Гельмонт изобрел в 1658 г. слово «газ», ориентируясь на греческое «chaos» (хаос) и отчасти немецкое «Geist» (дух), создав удачный образ чего-то аморфного, духовно-воздушного.

[8] Чуковский Корней. От двух до пяти. М.: Государственное издательство детской литературы, 1963. С. 12.

[9] Перцова Наталья. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова. Wiener Slavistischer Almanach. Sonderband 40. Wien-Moskau, 1995. С. 390.

[10] Там же. С. 412.

[11] Было бы ошибочно считать *«тязь»* суффиксом, отдельной морфемой — это именно часть корня «витязь». См. *Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф.* Словарь морфем русского языка. М.: Русский язык, 1986 С. 63.

[12] К этому можно добавить еще одну, столь же вероятную интерпретацию: если *«т»* в слове «смертязь» отнести к корню *«смерт»*, то последняя часть *«язь»* сближает его со словом «князь», и тогда «смертязь» — это «князь смерти» (одна из кличек дьявола). Если уж одно слово можно истолковать тремя равновероятными способами, то очевидно, насколько толкование литературного произведения есть способ умножения, а не сокращения его возможных значений.

[13] *Вознесенский Андрей.* Страдивари состраданья. М.: Эксмо-пресс, 1999. С. 7. Примеры кругометов взяты из поэмы «Ave Rave» и стихотворения «Шаланда желаний».

[14] Не отсюда ли и поэтическая апология заикания как словесной ворожбы и жизненной одержимости в поэме Вознесенского «Берегите заик!»? «Берегите заик! В них восторг заикания./ В них Господь говорит в прозаический миг./ Они — праязыческие могикане. / Берегите заик! /.../ Я, читая стихи, иногда заикаюсь, /когда Бог посещает их». Вознесенский А. Жуткий Crisis Супер стар. Новые стихи и поэмы, 1998—1999. М.: Терра, 1999. С. 116, 121. Это «заикание слова», запинка, через которую проступает, как на переводной картинке, другое слово, и образует магию кругомета.

[15] *Сорокин Владимир.* Собр. соч. в 2 тт. М.: Ad Marginem,1998, Т. 1. С. 441—442. — Далее цитаты приводятся по указанному изданию.

[16] Нелепость в данном случае усиливается переходом глагольных корней в морфологический разряд наречий. Наречные новообразования редки в русском языке, и даже у Хлебникова из более десяти тысячи неологизмов насчитываются лишь единицы наречий. Обычно наречия образуются от прилагательных, т.е. признаки действия — от признаков предметов (типа «быстро» — от «быстрый»). Образование наречий от глаголов, т.е. признаков действия, от слов, означающих сами действия, усиливает момент абсурда. Квазинаречие «прорубоно», образованное от глагола «прорубить», обозначает уже не действие, а некое состояние или признак действия, ни к какому действию не отнесенное и не относимое, поскольку оно само есть действие, застывшее в качестве какого-то состояния или признака другого действия.

[17] Исследователь Хлебникова В. П. Григорьев замечает, что «основная масса неологизмов сосредоточена в обнаженно-экспериментальных перечнях слов и стихотворных пробах, большинство которых остаются неопубликованными» (цит соч., с. 173). «Впрочем, — по наблюдению Григорьева, — и те неологизмы, которые несут на себе значительную контекстную нагрузку, обладают способностью «отрываться» от контекста, сохраняя свой образ и за непосредственными пределами произведения» (там же, с. 174), т.е. становиться самостоятельными произведениями. Любопытно, что в качестве примеров Григорьев приводит слова «Ладомир» и «Зангези», — не просто «контекстные» слова, но верховные, заглавные слова соответствующих произведений, именно в силу этого вынесенные из контекста.

[18] *Даль Владимир.* Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955. Т. 1. С. LXXXVIII.

[19] Там же.

[20] Русский словарь языкового расширения. Составил А.И. Солженицын. М.: Наука, 1990. С. 4.

[21] Там же. С. 4. Номера страниц указаны в тексте. Да и в самом «Объяснении» есть слова, сочиненные самим автором, например, «верхоуставный» и «верхоуправный», предлагаемые вместо уродливого «истеблишментский».

[22] *Борхес Хорхе Луис.* Пьер Менар, автор «Дон Кихота». Соч. в 3 тт. Рига: Полярис, 1994. Т. 1. С. 293.

[23] «Континент», № 102.

[24] Поэтические книги Григория Марка: Гравёр. Стихотворения. Нью-Йорк: Эффект, 1991; Среди вещей и голосов. Тенефлай (Нью Джерси): Эрмитаж, 1995; Оглядываясь вперед. СПб.: Фонд Русской поэзии, 1999. См. также *Эпштейн Михаил.* Путь ангельской плоти (О поэзии Григория Марка) // Звезда, 1997, № 4. С. 219—222.

[25] От французского «differer», что означает и «различать», «отличаться», и «откладывать», «отсрочивать», — ключевое понятие деконструкции.

[26] Цит. по *Харджиев Н., Тренин В.* Поэтическая культура Маяковского. М.: Искусство, 1970. С. 100.

[27] *Перцова Наталья.* Словарь неологизмов Велимира Хлебникова. Wiener Slavistischer Almanach. Sonderband 40. Wien-Moskau, 1995. S. 45. И. С. Улуханов называет этот прием «междусловным совмещением», см. его статью «Окказиональные чистые способы словообразования в современном русском языке». Известия АН. Отделение литературы и языка, 1992. Т. 51. №1. С. 13.

[28] *Riffaterre Michael.* Semiotics of Poetry. Bloomington: Indiana University Press, 1984. P. 41.

[29] «Вы — актер. Вы (ваше «я») являетесь творческой личностью, задумывающей и осуществляющей произведение вашего искусства, вы же, ваше тело (т.е. ваши руки, ноги, корпус, голова, глаза, голос, речь), представляете и тот материал, из которого вы должны творить, вы же, ваши мускулы, сочленения, связки, — служите нужным вам инструментом, и вы же, т.е. все ваше индивидуальное целое, воплощенное в сценический образ, являетесь в результате и тем произведением искусства, которое рождается из всего творческого процесса». *Таиров А.Я.* О театре. Записки режиссера, статьи, беседы, речи, письма. М.: Всероссийское театральное общество, 1970. С. 111. Актерское искусство — единственное, в котором и материалом, и инструментом, и произведением является сам человек, и в этом проявляется та соразмерность, со-бытийность слова и человека, о которой говорится в последней главе данной работы.

[30] Цит. по *Григорьев В.П.* Цит. соч. С. 94.

[31] *Хлебников В.* Наша основа. — Творения, М.: Советский писатель, 1986. С. 627.

[32] *Сепир Эдвард.* Язык. Введение в изучение речи: Избранные труды по языкознанию и культурологии. Пер. с англ. под ред. проф. А. Е. Кибрика. М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. С. 49.

[33] Greimas A. J. and Courte J. Semiotics and Language. An Analytical Dictionary. Trans. by Larry Grist et al. Bloomington: Indiana University Press, 1979. P. 373. См. там же статью «Lexia». P. 173—174.

[34] *Сепир Э.* Цит. соч. С. 49, 51

[35] Русский язык. Энциклопедия. Гл. ред. Ф. П. Филин. М.: «Советская энциклопедия», 1979 С. 303.

Лев АЙЗЕРМАН

ПРЕДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

Тютчев мог так сказать. Учитель-словесник, не думающий над тем, как слово писателя и его, учителя словесности, отзовется в душах его учеников, не может работать плодотворно. Методика преподавания литературы без обратной связи — вообще не методика.

Увы, мы слишком часто просто не хотим знать, более того — боимся знать, как наше слово отзывается в умах и сердцах наших учеников. Мне не раз рассказывали мои ученики, как на всякого рода подготовительных курсах в институты их предупреждали: «Нас не интересует, что лично вы думаете. Нас интересуют ваши знания. И не выпендривайтесь: пишите, как все». А одной моей ученице, писавшей блистательные сочинения, при поступлении в медицинский институт сказали: «Мы готовим врачей, а не писателей. Или поступай в литературный институт, или пиши, как все пишут». Но ведь и в школе часто на уроках литературы ложно понимаемое знание становится самоцельным. А потому по большому счету обесценивается.

Восприятие литературного произведения всегда личностно, а потому в определенной мере субъективно. При этом можно говорить о субъективности восприятия субъективной и объективной его субъективности. Под первой я подразумеваю преломление восприятия сквозь призму человеческой индивидуальности. В этом смысле в каждом классе столько Андреев Волконских, сколько прочитавших роман. Под второй — восприятие через некоторую общую, типологическую призму времени. Скажем, «Гамлет» сегодня звучит не так, как в годы оттепели, а в годы оттепели не так, как в годы гражданской войны.

Понятно, что определенное во многом и временем, и индивидуальностью каждого человека, его жизненным и художественным опытом, его читательской культурой, восприятие изучаемого в школе произведения может отозваться не

Лев АЙЗЕРМАН — родился в 1929 году в Москве. Окончил пединститут имени В.П. Потемкина. Учитель московской школы № 303, в школах Москвы работает 48 лет. Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук. Автор 18 книг о преподавании в школе. Живет в Москве.

так, как было задумано писателем. Вот уже более двадцати пяти лет я провожу в конце десятого (раньше девятого) класса, а в последние два года в начале класса одиннадцатого домашнее сочинение на тему: «Что меня волнует в русской классической литературе и что оставляет равнодушным». И хорошо вижу, как меняется восприятие классики. Приведу лишь две выписки из сочинений сентября 1999 года.

«Ну,. сложилось у женщины в жизни, что она не устояла перед другим мужчиной и изменила мужу в его отсутствие, но ведь не обязательно после этого кидаться мужу в ноги, позорить себя перед всеми людьми. Такие люди, как Катерина, вообще редкость, а тем более в наше время, когда вполне естественным считается, если у женщины есть муж, а в его отсутствие — любовник, а уж муж подавно не хранит ангельскую верность жене. Сегодня многие вообще свободно относятся к супружеской верности».

«Прочитав роман «Преступление и наказание», я понял, что люди действительно делятся на две категории: на тех, кто на пути к своей цели может наступить на горло другого человека, и тех, кто не может этого сделать, причем первые добиваются бóльших успехов в жизни. Но больше всего меня взволновали такие слова Раскольникова: «Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правей. Так доселе велось, и так всегда будет!» Но ведь именно те люди, которые преступают нравственные законы общества, которые на большее могут плюнуть, больше всего себе позволить, и становятся у нас известнейшими политиками, бизнесменами. А мы смотрим на них и берем пример, стремясь к ним, мечтая быть такими же».

Читая такого рода сочинения, я не мог не думать о том, чего стоят все эти наши абсолютно «правильные» сочинения про Катерину как луч света в темном царстве и про гуманизм Достоевского (а ведь между тем не исключено, что при поступлении в вуз и авторы этих двух сочинений заговорят на вступительном сочинении по-другому).

Много сказано и написано про воздействие литературы на человека. Но ведь воздействует именно то, что читатель в книге вычитал. А это далеко не всегда то, что писатель в ней написал.

На экзамене 1998 года одна из моих учениц написала сочинение об «Одном дне Ивана Денисовича». Произведение для разбора на экзамене можно было выбрать самому, в теме указывался лишь автор его, а рассказ Солженицына незадолго до того мы обстоятельно проанализировали. В конце сочинения была сделана приписка: «Я не хочу кривить душой и писать в своем последнем сочинении неправду. Поэтому я напишу честно, что произведение мне не понравилось. В рассказе «Один день Ивана Денисовича» показано то, что было в лагерях послевоенного времени. Но кому из молодых людей интересно узнать, что там было. Когда я читала рассказ, то не зачитывалась, а читала, потому что надо было читать».

Порекомендовал одиннадцатиклассникам, если они достанут эту книгу, прочесть «Чернобыльскую молитву» Светланы Алексиевич. Мне помог один из родителей: сделал четыре ксерокопии. И вот в апреле 1999 года перед уроком нахожу у себя на столе письмо (впервые: обычно, если есть вопросы, сомнения,

возражения, подходят до или после урока, а чаще всего обращаются на самом уроке).

«Лев Соломонович!

Я немного боюсь с вами разговаривать, тем более упрекать вас. Поэтому решила написать. Понимаете, в пятницу я решила прочитать перед сном страниц десять «Чернобыльской молитвы». Но закончилось всё тем, что я отложила книгу только тогда, когда прочитала ее полностью, все 224 страницы. На улице уже было светло. Посмотрев на часы, я узнала, что уже 7 часов, а в 9 часов утра мне надо было уже уходить к репетитору. Но какой может быть репетитор, когда я всю ночь проплакала, с первой страницы до последней. С утра наволочку просто выжимать надо было. И я поехала к репетитору с таким жутким чувством, с такой тяжестью, словно всё это было со мной, понимаете? Мне просто жить не хотелось. Я два дня ходила под впечатлением и в субботу тоже не могла заснуть. Так вот я хотела бы вас спросить, почему вы не предупредили, какая это книга, почему сделали обязаловку, когда она даже в программу школьную не входит. И неужели вы считаете, что такую книгу можно читать 16-летнему человеку, когда психика особенно уязвима, нервы расшатаны, когда от недосыпа, от подготовки к экзаменам в институт кажется, что жизнь отвратительна, а тут еще это. Извините меня, если я немного резка. И наверное, я не вправе вас в чем-то упрекнуть. Я просто посчитала нужным, чтобы вы знали мое отношение к этому. С уважением (подпись)».

Я сказал, что никакой обязаловки не было, что рекомендовал я эту книгу, потому что не хочу, чтобы вы или ваши дети через всё это или подобное этому прошли. А главное, я рад, что моя ученица способна проплакать всю ночь над чужой болью.

Не могу сказать, что все эти рассуждения типичны. Но характерны. В чем же дело? Прежде всего во всё увеличивающемся отторжении современного нашего общества от ценностей русской классики.

У нас до сих пор в школе «Деревню» Пушкина трактуют как выражение антикрепостнических настроений поэта. А между тем это исповедь человека, у которого, казалось бы, всё есть для счастья и который не может тем не менее быть счастливым, потому что «мысль ужасная здесь душу омрачает», ужасная мысль о страданиях не своих — других людей.

От пушкинской «Деревни» идет путь через всю русскую литературу к толстовской Ясной Поляне. Там тоже «приют спокойствия, трудов и вдохновенья»; «мирный шум дубрав»; «луг, уставленный душистыми скирдами»; «оракулы веков», которые рождают жар к трудам, «творческие думы», что «в душевной зреют глубине». И та же невозможность успокоения и счастья; «Вчера шел в Бабурино и невольно (скорее избегал, чем искал) встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой во дворе нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж замерз и некому рожь свозить, и морит ребенка, и Трофим и Халявка, и муж и жена умирали и дети их. А мы Бетховена разбираем».

«Люблю сей темный сад с его прохладой и цветами» — от сада этого тоже через столетие придем в блоковскому «Соловьиному саду», соловьиная песнь в котором не может заглушить рокот моря, голос жизни, требование долга.

Естественно, что в наше время нравственный максимализм русской литературы, ее ожоговая реакция на чужую боль, стремление туда, «где униженье, где грязь, и мрак, и нищета» (Блок), воспринимаются нередко как нечто несовременное и чужеродное.

Но что вы хотите от школьников, когда вот что пишет человек, получивший блистательное гуманитарное образование: «Мне показалось, что в лицо мне дышит депрессивная русская литература, наша болотная великая классика (и чем величественней, тем болотней), и эта концентрация из Чехова, Достоевского, Горького, Короленко нисколько не выветрилась за столетие, она сохранилась в народном, интеллигентном сосуде и до сих пор действует как смертельный, парализующий яд...

Конечно, несчастных надо пожалеть, помочь им, ежели кто может, но не ставить в пример. Логично? Несчастье не цель, беда не карьера.

Но это там, на Западе, где логика действует, где квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. А у нас князь Мышкин из романа «Идиот» чуть ли не святой, явно заготовка «сделать жизнь с кого». Зачем было делать благородство и доброту такими бессильными, неумелыми, полусумасшедшими и заставлять кончать в клинике для душевнобольных?

Мы и не подозреваем, какая мощная разрушительная традиция тянется за нами, будто шлейф от пехотной мины, на которую напоролись мы все еще в XIX веке. Чехов. Достоевский. ... Платон Каратаев и капитан Тушин — дальние родственники князя Мышкина, такие ходульно-прописные у Толстого...

Сначала российская действительность тащила искусство в могилу, теперь уже художественная традиция толкает жизнь всё в тот же могильный ров»[1].

Про мощное наступление массовой культуры и его влияние на школьников говорить сейчас ничего не буду.

Вот почему роль школьных уроков литературы становится сегодня значительной, как никогда. Если не школа научит понимать и ценить настоящую литературу, то кто же? Если не школа научит слышать в суете и грохоте наших дней голос писателя, то кто же? Если литература не откроется сегодняшнему школьнику на уроках литературы, то вполне возможно, она не откроется ему и после школы.

И здесь главная задача учителя литературы — донести до своих учеников слово писателя. Ничего более важного на уроке нет. Потому что в литературе всё: идеи и чувства, идеалы и верования, этика и эстетика, социология и психология — всё, воспользуемся строкой Пастернака,— «образ мира, в слове явленный».

Но существует то, что Пушкин назвал «силою вещей». И эта сила вещей ломает усилия многих учителей литературы, стремящихся донести слово писателя до своих учеников.

---

[1] *Новодворская В.* Блаженны нищие духом и кинематографом. «Новое время», 1999. № 34.

2

В начале учебного года я поставил одиннадцатикласснику нового для меня класса «2» за домашнее сочинение, сделав при этом приписку: «Работа несамостоятельная: всё списано». Пришла разгневанная мама: «Вы что, будете мне говорить, что ваши ученики сами пишут сочинения? Да кто их сейчас пишет сам, когда во всех магазинах полно книг с готовыми сочинениями!». Знакомая учительница литературы сказала мне, что она вообще отказалась от домашних сочинений: списывают с типографских шпаргалок. Но и в классных норовят найти ответ на поставленный вопрос в одной из многочисленных книжек этого типа.

Всё это я хорошо знаю по себе. В сентябре 1999 года я получил новые четыре десятых класса, воевать с которыми пришлось почти в течение всего года. С кем-то не так много времени, а с кем-то до конца учебного года. Пришлось пересмотреть все задания, задачи, вопросы, накопленные за многие десятилетия, чтобы предлагать только такие, ответы на которые списать просто невозможно. Дожил даже до комплимента: «У вас спишешь! Вы спрашиваете такое, чего нигде нет». (Под этим «нигде», естественно, не подразумевается само произведение.) И в самом деле: «55 школьных сочинений»... «55+15 школьных сочинений»... «107 сочинений для поступающих в вуз»... «110 сочинений»... «135 сочинений для школьников и абитуриентов»... «60 сочинений. Выпуск первый» (всего четыре выпуска на общую сумму — 240 сочинений)... «250 «золотых» сочинений»... «333 лучших сочинений»... «400 «золотых страниц»... «1000 сочинений по литературе XIX века»... «1000 сочинений по литературе XX века»... «1700 лучших сочинений»...

«Сколько их! куда их гонят?» И какими тиражами! И какими объемами!

Об уровне многих из этих сочинений можно судить хотя бы по таким трем выпискам из одного сборника:

...Толстой противопоставляет Пьера дворянской среде. Поэтому он предстает незаконным сыном графа Безухова.

...Содержание стихотворения «Она сидела на полу...» заключается в разборке писем женщины...

...Тютчев имел такое тонкое восприятие мира, что слова с трудом поспевали за идеями, образами и были бледным отражением сознания поэта...

Я могу привести сотни таких примеров. У меня была, наверное, самая большая в России коллекция всех этих сборников сочинений. Только года два как я перестал их покупать. Но самое страшное — на обороте титульного листа той книги, из которой я взял процитированные примеры: «В настоящий сборник вошли 135 лучших сочинений школьников и абитуриентов, поступивших в московские вузы». И не врут же!

Некрасов мечтал о том времени, «когда мужик не Блюхера и не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет». Но мог ли он представить себе, что настанет время, когда с педагогического базара понесут Белинских и Гоголей, оболваненных под милорда глупого!

Естественно, в этих сборниках есть и вполне грамотные сочинения. Но всё равно это для ученика не свое — прочитанное, продуманное, прочувствованное,

добытое усилиями своего ума и своего сердца — а чужое, уже готовое. Не говорю уже о самом типе сочинений, об изжившей себя их модели.

Но что заставляет школьников обращаться к этим шпаргалкам? Сваливать всё на леность ума, нежелание тратить время на сочинения — по меньшей мере несерьезно, хотя и сие получило большое распространение. Драма в том, что без этих шпаргалок большинство экзаменационных сочинений в школе и особенно в вузе написать просто невозможно. Вот, кстати, и одно из объяснений того, что даже тем школьникам, которые хорошо занимаются по литературе, берут репетиторов при подготовке к поступлению в вуз. Но есть тут и другая причина, тем более, что репетитора, как правило, берут из того вуза, в который поступает абитуриент. Ради справедливости отмечу, что на школьных экзаменах по литературе в последние годы чувствуется желание как-то очеловечить сочинения — о том, что из этого получается, мы еще поговорим. А вот что касается вузов, то воз и ныне там. И понятно почему. Вузовские репетиторы к другой системе не готовы, и перемены грозят их ощутимым доходам: 20 долларов (и более!) за урок, на который подчас сажают несколько человек. (Для сравнения: я веду занятия с учителями, очень напряженные для меня занятия, два астрономических часа без перерыва. И получаю за лекцию в пересчете на у.е. — 10 у.е. О том, что стоит мой урок в школе, при том, что у меня высший разряд и я получаю 50-процентную надбавку за звание Заслуженного учителя России, даже стыдно говорить.)

Но вернемся к нашим сочинениям. Вот несколько тем, которые я выписал из разного рода сборников. «Эволюция образа Прекрасной Дамы в поэзии А. Блока», «Лирический герой поэзии А. Блока», «Отражение эпохи в творчестве М.А. Булгакова», «Личная и творческая судьба А.И. Солженицына», «Образная система романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», «Художественное своеобразие прозы Леонида Андреева», «Реализм и романтизм в творчестве А.И. Куприна», «Тематика, проблематика и художественное своеобразие И.А. Бунина», «Основные темы и проблемы в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Особенности прозы А. Платонова», «Художественное своеобразие романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»...

В словаре В.И. Даля СОЧИНЕНИЕ определяется как «САМОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЧТО СОЧИНЕНО», а СОЧИНЯТЬ значит «ИЗОБРЕСТИ, ВЫМЫСЛИТЬ, ПРИДУМАТЬ, ТВОРИТЬ УМСТВЕННО, ПРОИЗВОДИТЬ ДУХОМ, СИЛОЮ ВООБРАЖЕНИЯ». О каком творении умственном, произведенном духом, изобретенном можно говорить в связи с этими и вообще господствующими в школе темами? Что может сделать здесь обычный ученик? Только одно: списать, в крайнем случае — пересказать прочитанную статью, сделать компиляцию.

Когда мы даем сочинение на тему «Месть Лаэрта и месть Гамлета», мы заставляем думать, искать и в итоге через это частное приходим к пониманию самого главного в трагедии Шекспира.

Когда, закончив уроки, посвященные поэзии Тютчева и Фета, я кладу перед каждым листок, на котором стихотворения Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..» и «День и ночь» и стихотворения Фета «Шепот, робкое дыханье...» и «Какая ночь! Как воздух чист...», и прошу написать всего лишь страничку о том, как по-разному звучит тема ночи этих поэтов, я заставляю вчитываться в слово

поэта и опять же через частное веду к пониманию своеобразия художественных миров Тютчева и Фета.

Когда я предлагаю дома сравнить стихотворения Маяковского «Скрипка и немножко нервно» и «Хорошее отношение к лошадям», а потом два стихотворения, в заглавии которых звучит слово советский, — «Русь советскую» Есенина и «Стихи о советском паспорте» Маяковского, то я заставляю вчитываться, а не отчитываться в выученном.

Но на родительском собрании мне говорят родители: нашим детям всё это очень интересно, но им же поступать в вуз, а там всё совершенно другое.

Да, там всё совершенно другое. Вот прочитайте, какие отеческие наставления получает наш ученик от человека с большим опытом принятия экзамена по литературе в вузах, в том числе гуманитарных, в том числе в университете (кстати, наставления эти уже выпущены тремя изданиями):

«Сочинение, или письменные экзамены по литературе и русскому языку, — скажем прямо, штука препоганая. Призрак сочинения, как тень отца Гамлета, внушает будущему студенту суеверный ужас... Экзамен — это лотерея, жесткая игра с регламентированным сводом правил. Не знающий этих правил изначально обречен, ибо он играет в другую ИГРУ, и, как бы он ни был хорошо к ней подготовлен, для экзаменаторов это будет ЧУЖАЯ ИГРА, игра не по правилам, следовательно, НЕ ПОНЯТАЯ И НЕ ПРИНЯТАЯ ИМИ. Постарайтесь, пожалуйста, проникнуться той несложной мыслью, что экзаменатор меньше всего в вашем блестящем опусе хочет видеть ваше уникальное творческое лицо. СОЧИНЕНИЕ — ОДНА ИЗ САМЫХ ЖЕСТКИХ И ДОГМАТИЧЕСКИХ СХЕМ, СТРОГО ОГРАНИЧЕННЫХ РАМКАМИ ТЕМЫ. Это тот коридор, где шаг вправо и шаг влево считается побегом. Ваше сочинение вообще и ваши выводы в частности должны лежать в русле официальной (той, что из учебника) точки зрения на данную проблему... Помните, что «умеренность и аккуратность», два отвратительнейших достоинства Молчалина, — ваш козырной туз в тяжелом и неравном сражении за первый экзаменационный балл. Следовательно, вашим девизом должны быть именно «умеренность и аккуратность».

А вот еще одна большая, аж в 25 печатных листов книга. В предисловии к ней сказано, что «это своего рода учебник, рассказывающий об общих правилах организации и построения текста. Причем настоящие правила распространяются не только на сочинения, которые пишут абитуриенты при поступлении в вуз или школьники при изучении школьной программы, но и на абсолютно другие тексты, как то: курсовые работы, рефераты — вплоть до художественных произведений, так как создаются они по совершенно идентичным принципам». И сразу же сформулирован основной, главный, исходный принцип, который и выделен шрифтом: «Основное общее п р а в и л о при написании любой работы звучит так: ФАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ИЛИ ЕЕ КОНКРЕТНО-ИДЕЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ... НЕ ВАЖНО, ЧТО ПИСАТЬ, ВАЖНО КАК»[2].

[2] *Глазунов В.* Письменный экзамен по литературе и русскому языку (сочинение). М., Фирма «Глянц», 1996.

Я-то по наивности всегда считал, что писатель, вообще человек пишущий берется за перо (карандаш, машинку, компьютер), потому что у него есть потребность что-то сказать людям. Всю жизнь для меня непреложными были пушкинские слова «И ВИЖДЬ И ВНЕМЛИ». И я всегда был убежден, что они имеют самое непосредственное отношение и к школьному сочинению. Когда же всё сводится лишь к умению построить текст, лишь к технике, то личность пишущего, его убеждения, верования, совесть, его чувства — всё это выводится за скобки. Но, с другой стороны, кого при поступлении в вуз интересует эта самая личность, эти самые убеждения и верования? И всегда ли они волнуют и в школе?

В 1998 году я проанализировал итоги экзаменационных сочинений в трех своих одиннадцатых классах. В следующем 1999 году так получилось, что я вновь выпускал три одиннадцатых класса. Их сочинения тоже стали предметом тщательного анализа. В эти же два года, как и прежде, я работал в окружной медальной комиссии, куда приходят на перепроверку сочинения кандидатов на золотую и серебряную медали. Из 150 школ нашего округа за эти два года в медальную комиссию пришло около пятисот сочинений (естественно, я прочитал не все). Но могу сказать, что в основе большинства экзаменационных сочинений лежит то, что я называю домашними заготовками. Не путать со шпаргалками в прямом смысле слова.

В 1998 году в нашем округе каждый четвертый претендент на медаль выбрал тему, где был назван писатель, а формулировку темы должен был предложить сам ученик. У нас в округе были три варианта таких тем: И. Бунин, М. Булгаков, М. Шолохов. Вот темы, которые предложили сами выпускники. Бунин: русская деревня в прозе Бунина, поэзия и трагедия любви в рассказах Бунина, уроки человечности в прозе Бунина. Булгаков: стихия гражданской войны в «Белой гвардии», фантастичность и реальность в «Мастере и Маргарите», тема совести в романе «Мастер и Маргарита». Шолохов: судьба казачества в романе «Тихий Дон», человек в огне гражданской войны по роману «Тихий Дон», великие перемены в деревне в романе «Поднятая целина».

Обратите внимание: сами себе сформулировали эти темы.

Но не трудно убедиться, что в предложенных самими учениками темах преобладают масштабные, глобальные, тянущие аж на докторскую диссертацию темы, что вполне соответствует традиции школьно-экзаменационных и вузовски-вступительных сочинений. Естественно, в основе всех этих сочинений лежали домашние наработки: добросовестное воспроизведение услышанного на уроке, прочитанного в статьях об этих произведениях. Но так и должно быть при выборе ТАКИХ тем. В последнем издании школьного учебника о романе «Тихий Дон» — 13 страниц большого формата. Так что своего может сказать ученик на своих пусть даже десяти тетрадочных страничках?

Вроде бы куда бóльшие возможности для самостоятельности, свободного выбора, конкретности изложения давала предложенная в том же году тема «Рецензия на книгу современного писателя». В медальной комиссии я прочел все сочинения на эту тему. Почти все они о книгах, написанных давно и так же давно вошедших в привычный круг школьного внеклассного чтения. Соответственно все они вошли и в многочисленные сборники школьных сочинений, а теперь

наряду с сочинениями по русской классике и в интернет. «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева (1969), «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова (1974), «Сотников» и «Знак беды» Василя Быкова (1970 и 1982), «Царь-рыба» и «Печальный детектив» Виктора Астафьева (1975 и 1985). Книг последнего десятилетия почти не было. И вдруг из одной и той же школы приходят четыре рецензии: Виктор Астафьев «Людочка», Вячеслав Пьецух «Центрально-ермолаевская война», Валерий Попов «Любовь тигра», Саша Соколов «Тревожная куколка». Необычность выбора поразила меня, и я так бы и остался в счастливом неведении, если бы не ссылка в одном из сочинений на статью Виктора Ерофеева «Русские цветы зла». В ту же минуту всё стало понятно. Статья эта открывает одноименную книгу, сделанную Виктором Ерофеевым, и все рассказы взяты именно оттуда. И стало ясно, что учитель заранее распределил среди кандидатов на медаль, кто про что будет писать. Говорю это не с укором и не с упреком. Все мы вынуждены в той или иной мере считаться с предложенными правилами игры.

Но вот в 1999 году на экзамене было предложено в одной из тем проанализировать любимое стихотворение. Казалось бы, вот тут уж сочинение не могло не быть предельно конкретным, личным и, естественно, эмоционально-страстным.

Читаю сочинение своего ученика, не из самых сильных, окончившего школу с четверкой в аттестате: «Строчки стихотворения В.С. Высоцкого «Охота на волков» легли в основу одноименной песни. Первый раз я услышал песню в первом классе. Помню, отец поставил на проигрыватель пластинку, и я услышал... Этот ритм, этот голос, и эти строки — всё сразу завело меня. Я потом еще несколько раз ставил пластинку заново, пытался петь. Я еще долго сидел у себя в комнате и плакал. Так началась моя «болезнь» под названием «Охота на волков». Приходя домой после школы, я всегда ставил эту пластинку и слушал песню. Конечно, слушая эту песню в детстве, я понимал ее по-другому, не так, как сейчас. Мне казалось, что эта песня про то, как убивают беззащитных животных...»

Но такое сочинение было одно. Все остальные, выбравшие эту тему, шли по накатанной лыжне, гарантирующей хороший результат: писали о стихотворениях, детально разобранных в классе, особенно о тех, которые были предложены для самостоятельного анализа в классном сочинении, а сочинения эти были потом тщательно проанализированы: о «Незнакомке» Блока, о «Видели ли вы...» Есенина, о «Зимней ночи» Пастернака.

Похожей была ситуация и на медальной комиссии: несколько блистательных самостоятельных работ о любимом стихотворении, причем с необычным, свежим прочтением, и сочинения, в которых «любимыми» были изученные в школе «Пророк», «К морю», «Зимний вечер», «Смерть поэта», «Размышления у парадного подъезда», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Пушкинскому дому».

Не берусь судить о чужих учениках. Но про своих могу сказать: на экзамене они наступали на горло собственной песне. В течение года многие из них писали интересно, самобытно, ярко.

И тут мы должны ответить на кардинальный вопрос: а что, собственно, мы хотим увидеть на школьных экзаменах по литературе — воспроизведение того,

что было дано учителем, подготовлено дома, или решение на самом экзамене некоей задачи, которую нужно именно здесь, на экзамене, решить? Мне лично предпочтителен второй ответ. И все свои текущие сочинения я провожу именно по этой модели. Другое дело, что если задача трудная, то называю ее за неделю до сочинения. Но возможна ли такая модель на выпускных экзаменах во всех школах? Опыт 1998 и 1999 годов показал, что возможна.

И в 1998, и в 1999 году среди других тем был предложен анализ эпизода из художественного произведения. Здесь само задание на корню убивало общеговорение о литературе. Тема требовала вчитываться, а не отчитываться, ориентировала на первооснову художественного текста — деталь, слово. Правда, в 1998 году на медальной комиссии было лишь 10% таких сочинений (к сожалению, не подсчитал, сколько таких работ было в 1999 году). Однако на экзаменах 2000 года эту тему сняли, заменив ее сочинением по древнерусской литературе и литературе XVIII века.

Убежден, что на экзаменах по литературе следует проверять не то, что ученик выучил, а то, чему он научился. При этом следует отказаться от шестичасового сочинения. Говорят, ничего подобного нет нигде в мире. Вполне достаточно четыре часа. И изменить сам характер работы. Эпизод из произведения. Анализ небольшого рассказа. Анализ стихотворения. Ответ на относительно узкий вопрос, но такой, который дает возможность проверить понимание самого главного. Скажем, такие темы: Наполеон в жизни и судьбе Андрея Болконского, тема счастья в рассказе Чехова «Крыжовник», почему Раскольников страдает и мучается после преступления, тема смысла жизни в стихотворении Есенина «Мы теперь уходим понемногу...» и в «Во весь голос» Маяковского. Шариков: беда или вина профессора Преображенского.

Но если при этом неизменными окажутся темы при поступлении в вузы, то, с одной стороны, будет подпитываться в школьном преподавании установка на натаскивание, а с другой — неизбежность репетиторства для поступления в вуз.

3

Заканчивая в X (теперь в XI) классе уроки, посвященные поэзии Сергея Есенина, предлагаю самостоятельный анализ известного стихотворения из цикла «Сорокоуст» — «Видели ли вы, как бежит по степям...» Стихотворение это наполнено трепетной любовью к красногривому жеребенку, «милому, милому, смешному дуралею», любовью ко всему живому. И вместе с тем оно пронизано ужасом перед роковым вторжением в жизнь — «стальной конницы». Казалось бы, это самоочевидно.

Среди работ, прочитанных мною, а я провожу это сочинение лет 25, немало тонких и проникновенных. Но даже в гуманитарных классах приходилось читать и такое: «Есенин не против вторжения поезда на чугунных лапах. Это необходимый и закономерный процесс. К новому коню он относится с уважением. Он любуется железной ноздрей чугунного поезда. И принимает эту жизнь, понимает, что только с помощью индустриализации можно преодолеть отставание деревни».

«Поэт принимает вторжение стальной конницы. Сколько может сделать один стальной конь! Есенину жаль разбуженный скрежетом плес, но гордый стальной конь не горе, а радость. Есенин молится о старом мире, но тут же поет гимн новому, входящему в жизнь».

Эти ученики шли не от стихотворения, не от его интонации, не от звучания поэтического слова, не от картин, им воссозданных, а от некоего клише, расхожего стереотипа, под который и подгоняется художественный текст.

По моим наблюдениям, проявления подобного рода художественной слепоглухоты увеличиваются. Вот в двух классах вчера и в двух сегодня, заканчивая работу по изучению «Войнв и мира» и обратившись к образу Наполеона в романе, я читаю известную сцену, когда к Наполеону накануне Бородина приносят портрет его сына. Я читаю, а класс следит по роману за текстом:

«...он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, — это то, чтоб он со своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтобы он высказал, в противоположность этого величия самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета. Один жест его — и все на цыпочках вышли, предоставив самому себе и его чувствам великого человека».

Спрашиваю: как раскрывает Толстой образ Наполеона в этом эпизоде? Вопрос проще простого: и в романе здесь всё лежит на поверхности, и на уроках, начиная с самого первого (салон Шерер, именины у Ростовых), мы не раз обращались к этой теме: фальшь, неестественность, позерство, театральность как один из важнейших нравственных критериев в этической системе Толстого. И вот что я слышу:

— В этом эпизоде Наполеон показан с хорошей стороны.

— Мы видим перед сражением не великого полководца, а любящего отца.

И хотя в каждом из классов я услышал и разумные ответы, я ушел из школы в подавленном состоянии. И руки у меня опускаются нередко. В чем же дело?

Есть тут причины глобального порядка. Назову лишь одну из них. Когда мы говорим об изменениях в наших учениках, мы имеем в виду прежде всего смещения в системе ценностных координат. Но, судя по всему, происходят определенные сдвиги и смещения и на психофизиологическом уровне.

Вряд ли нужно говорить о характере музыкальных предпочтений большинства наших современных школьников. Грохочет рок-музыка на дискотеках и концертах, постоянно видишь молодых людей, которые в транспорте, на улице, в школах — на переменах — с плейером. Между тем можно предположить, считают специалисты, что некоторые особенности рок-музыки приводят к отрицательным психофизиологическим эффектам. Рок «активизирует глубинные подкорковые структуры мозга (лимфатическую систему) и одновременно подавляет эволюционно-молодые элементы структур головного мозга, ответственные за самосознание и регулирующие поведение человека...» Он действует «особым спектром звука, выходящим далеко за пределы привычного для человеческого уха диапа-

зона», «повышенной сверх нормы (до 120 дБ) громкостью звука, что подавляет прежде всего тонкую интеллектуальную активность деятельности мозга»[3].

А с другой стороны, именно теперь, когда особо нужна постоянная и углубленная работа на уроке литературы над словом, постижение самого художественного текста, литература в школе всё больше становится литературой без литературы.

В рекламе одного из многочисленных пособий по литературе для поступающих в вуз сказано, что в нем содержатся полные ответы на все вопросы по литературе, которые задают при поступлении на экзаменах. Между тем главное в изучении литературы — не готовые ответы на вопросы, а сам путь движения к истине, умение идти к постижению художественного мира писателя. Хорошо сказал Мандельштам: «Ум не есть знание и совокупность знаний, а есть хватка, прием, метод». Это особо важно для постижения мира искусства.

Самая большая беда преподавания литературы состоит в том, что наши ученики часто, воспользуюсь словами лучшего отечественного методиста XX века М.А. Рыбниковой, не по-литературному знают литературу. Слишком часто роман, драма, повесть, стихотворение существуют сами по себе, а сведения о них, полученные на уроке, сами по себе. Многие наши ученики не умеют «вычитывать» мысль писателя из самого художественного текста, не умеют воспринимать ее как художественную мысль.

Страшный бич гуманитарного образования в школе в том, что оно часто сводится пусть даже к доброкачественной, но лишь информации о гуманитарности. И если говорить о литературе, то прежде всего задача урока в том, чтобы научить читать литературу как литературу. И к этому есть только одна дорога: не готовый результат, который остается только выучить к следующему уроку, а активное соучастие в процессе постижения, проникновения, исследования.

Нам иногда кажется, что главное на уроке литературы — та цель, тот итог, к которому мы приводим своих учеников — знания о произведениях, о писателях. Между тем главное в другом: в том пути, которым мы идем, в самом процессе постижения, соразмышления, сочувствия. На уроке литературы осмысление литературного произведения — не только путь к цели, но и сама цель. Конечно, гораздо быстрее и проще этот путь проскочить и сразу же выйти на результат. Но это будет ложный результат.

Я всегда рассказываю своим ученикам историю, которая была со мной. Я лежал в послеоперационной палате и, чтобы не было отека легких, надувал, спускал и снова надувал большой детский мяч. Пришел взрослый сын моего соседа, увидел это и говорит мне: «Ну что вы мучаетесь! Давайте я вам его надую».

К тому же, о чем мы уже говорили, восприятие литературного произведения личностно, субъективно. Много лет назад я прочитал в одном из сочинений: «Может быть, всё это неправильно. Но я думаю и пишу не как ученик, а как человек». В этом отторжении ученика от человека — главный источник всех бед преподавания литературы в школе. Школа сплошь и рядом приводит всё к одному знаменателю. Про сборники готовых сочинений и ответов на вопросы я и не

[3] «Человек», 1998. № 12. С. 189.

говорю. Они поразительно безличны. А ведь суть общения человека с литературой в сопричастности, сопереживании, соразмышлении, сочувствии, сострадании. К тому же непосредственное переживание, что уже давно отмечено психологами, всегда богаче своего осознания. Не всё, о чем идет речь в классе (об этом писал Н.И. Кудряшов), каждый ученик обязан знать. Есть чувства и мысли, которые трудно выразить, но даже то, что не высказано, а только пережито, имеет огромное значение для нравственно-эстетического становления человека. Когда же учитель ориентирован прежде всего на то, что самое важное — это чтобы ученик ответил, написал, тогда урок литературы лишается самого важного. Тогда главным, а часто и единственным становится лишь учебный материал, сумма сведений. Знать — важнее, чем перечувствовать и понять. Отметка за Пушкина — важнее Пушкина.

Не отсюда ли отторжение части учеников от уроков литературы? «Литература для того, чтобы ее читали, а не вдалбливали с детских лет, когда человек не может противодействовать этому. Я уверен, Гоголь сжег бы и первый том «Мертвых душ», если бы узнал, сколько страданий эта поэма приносит детям».

Сейчас в педагогике преобладает подход к образованию на макроуровне: реформа образования, образование XXI века, переход на двенадцатилетнее обучение, новые концепции, авторские программы, инновационные модели. Куда меньше исследуется обучение на микроуровне. А именно оно чаще всего определяет всё.

Перед нами одно из новых учебных пособий, изданных «Просвещением»: хрестоматия по литературе для 9 класса[4]. Уже вышло несколько изданий. Отмечу характерную деталь: четвертое издание вышло через два года после того, как я на страницах журнала «Литература в школе» написал всё, что вы сейчас прочтете, — никаких изменений. И это не первый случай в моей (наверное и не только в моей) практике. Наша свобода слова всё больше напоминает свободу крыловского повара, который режет всю правду-матку коту Ваське, а тот слушает да ест.

Посмотрим на некоторые разделы этой хрестоматии, помня при этом, что учебная хрестоматия в среднем звене школы — это не просто сборник текстов, это учебник и хрестоматия одновременно. Лирика Пушкина представлена 17-ю стихотворениями. После них — 11 вопросов. Первый: «Подумайте, какой личностью предстает А.С. Пушкин как человек, поэт, гражданин». Во-первых, если уже задавать такой вопрос, то лучше последним, как итог размышлений над прочитанным. А во-вторых, и это самое главное: что кроме общебанальных прописей может сказать на эту тему девятиклассник? Да и мы сами, что, кроме общих фраз, можем сказать об этом? И как девятиклассник ответит на вопрос: «Что приносит поэту «огромные нравственные силы»?».

Одно из самых глубоких стихотворений русской литературы и вместе с тем одно из самых трудных для школьника — «Пророк». В хрестоматии ни одного вопроса, ни одного задания, никаких пояснений. Больше повезло «Анчару»: «Что хочет сказать поэт стихотворением «Анчар»? Проанализируйте его. Обратите

[4] Литература, 9 класс. Учебная хрестоматия для 9 класса общеобразовательных школ. Авторы-сост. Т.Ф. Курдюмова, В.Я. Коровина, И.С. Збарский. М., Просвещение, 1996.

внимание на пушкинский гуманизм». А что это значит — проанализировать стихотворение и как это делать? Скажем, Ю. Лотман в учебнике-хрестоматии по литературному чтению для IX класса (Таллинн, 1982)[5] предлагает после «Анчара» восемь вопросов и заданий. На самые трудные — дает ответы. А тут: проанализируйте — и всё. Да, кстати, зачем анализировать, когда надо обязательно выйти на «пушкинский гуманизм»?

Раздел о Лермонтове начинается со статьи о поэте. Еще не прозвучало ни одно стихотворение, а в статье уже сказано о том, в чем проявляется лирическое «я» поэта в ранней и зрелой лирике. Тут же задание: «Подготовьте краткий рассказ о поэте, подчеркнув особенности его характера и творчества». Задание это не по плечу девятикласснику. Да и как подчеркнуть особенности творчества до чтения самих стихотворений?

В следующей статье «Два поэтических мира» сопоставляются поэтический мир Лермонтова и Пушкина. Сравниваются «Пророки» обоих поэтов. Сам текст лермонтовского «Пророка» — ПОСЛЕ этой статьи. И задание: «Итак, в чем же противоположность поэтических миров Пушкина и Лермонтова? Как это проявляется в стихотворениях Пушкина и Лермонтова «Пророк»? Перечитайте еще раз текст. Подумайте, в чем разница». Не перечитайте еще раз стихотворение Пушкина и не прочитайте (оно ведь еще не прочитано) стихотворение Лермонтова, а, выходит, «перечитайте еще раз» текст статьи ДО и БЕЗ чтения стихов, и по учебнику ответьте на вопрос.

Далее 15 стихотворений Лермонтова, в том числе такие непростые для школьника, как «Смерть поэта», «1-е января», «Родина», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Предсказание» — и ни одного вопроса, задания, пояснения. Зато сразу после них итоговый вопрос: «В чем суть размышлений поэта о жизни, поэзии, любви?».

Впервые в IX классе — стихотворения Блока. Они и в XI идут с трудом. И опять лишь итоговые вопросы. Попытайтесь ответить на один из них: «В чем сила блоковских стихотворений? Что обеспечивает бессмертие стихам Блока?».

Впервые в хрестоматии IX класса лирика Есенина. Опять же без всяких вопросов, заданий, разъяснений, комментариев. При этом предсмертное стихотворение поэта (о том, что он покончил с собой, вообще ни слова) помещается перед стихотворением, которое написано за три с половиной года до того. После стихов вопрос: «Что характерно для есенинского стиля?» Слов нет.

Впервые в хрестоматии IX класса и дореволюционная лирика Маяковского. Казалось бы, постигая стихотворение «Нате!», следует идти от текста, от слова поэта. Скажем, спросить, каким в стихотворении предстает поэт и какими те, кто его окружает («бабочка поэтиного сердца» и «стоглавая вошь»). Но у авторов принципиально иной подход: «Корней Чуковский считал, что основной нерв ранней поэзии Маяковского — боль и протест против буржуазной действительности. Где мы находим подтверждение этому?» То есть дается готовый итог, и

---

[5] *Лотман Ю.М.* Учебник по русской литературе для средней школы. М., Языки русской культуры, 2000.

этот вывод надо наложить на стихотворение, подвести его под этот заранее данный итог.

Хрестоматии предпосланы слова Белинского: «Изучить поэта — значит не только ознакомиться через усиленное и повторяемое чтение с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их». Ждем, что и весь методический аппарат будет этому содействовать. В примерах, которые я привел, иное: постижение литературного произведения подменяется общими разговорами по поводу литературы, да к тому же с чужих слов.

На всех изданиях хрестоматии гриф: «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации». Естественно, дело здесь не в этой хрестоматии самой по себе. Она лишь одно из свидетельств общей тенденции. Ну, а с тем, что утверждается и рекомендуется этим самым грифом, мы еще познакомимся. Познакомимся кроме того и не с такими примерами.

Между тем позади нас издалека идущая плодотворная традиция противостояния псевдометодике преподавания литературы, которая не сегодня, конечно, возникла, но сегодня насаждается и потому стала особенно опасной.

Один из основоположников отечественного литературоведения Семен Афанасьевич Венгеров 27 декабря 1916 года говорил на открытии первого Всероссийского съезда преподавателей русского языка и словесности о том, что существует резкая разграничительная черта между всем вообще преподаванием в средней школе и преподаванием литературы, которое должно носить совсем особый характер. Ибо в русскую словесность «входит элемент художественный, то есть нечто, требующее не только «изучения», но и постижения». Ведь «средняя школа готовит не специалиста, а, так сказать, «общечеловека» и притом дает багаж на всю остальную жизнь». А потому на уроках словесности «вся педагогическая энергия должна сосредоточиться на том, чтобы великие сокровища художественной литературы были бы усвоены в наибольшей полноте». Следовательно, главное для учителя — «следить за тем, чтобы великие и просто достойные писатели были прочтены с должным вниманием»[6].

В 1915 году в статье «О принципах изучения литературы в средней школе» против «погони за научностью», против того, чтобы «средняя школа стала перенимать и, конечно, по-своему искажать то, что делается в школе высшей», выступил Борис Эйхенбаум. «Я полагаю, что средняя школа должна ставить себе свои собственные задачи, и процесс самостоятельного УСВОЕНИЯ должен считаться главной основой средней школьной системы. Вот почему такое положение «словесности», при котором изучение ее строится на упрощенной передаче научных точек зрения, кажется мне неправильным, ненормальным».

Читая эту воспроизведенную впервые после опубликования статью[7], поражаешься не только ее современности-злободневности. «...незачем тратить время на подлинные тексты — гораздо проще и легче выучить это по учебнику». Это разве не про нас, нынешних? «В деле преподавания литературы средняя школа

[6] Литература (приложение к газете «Первое сентября»), 1999. № 45.
[7] Литература (приложение к газете «Первое сентября») 1996. № 44.

должна научиться УСВОЕНИЮ художественных образов. Именно этим ПРОЦЕССОМ УСВОЕНИЯ школа должна воспитывать дух...»

О том, что изучение литературы в школе должно быть устремлено «к тому, чтобы обнаружить глазам школьников золото, скрытое для них при первом чтении», писал другой выдающийся литературовед Г.А. Гуковский. «Достигается такое умение читать со смыслом не приказами, а прежде всего вдумчивым анализом текста на уроках литературы, анализом, во-первых, открывающим школьникам увлекательные и поражающие их ценности там, где они прежде ничего не замечали, и во-вторых, развивающим у них систематическим повторением анализа на ряде произведений навык анализировать, а значит вникать, значит читать внимательно»[8].

Когда-то дочь Гуковского Наталья Долинина написала для школьников книгу «Прочитаем Онегина вместе». А недавно я увидел в магазине пособие по литературе для школьников, вышедшее в серии «Сдадим на 5», — «Сдадим экзамен на отлично». В этом перемещении центра тяжести с ПРОЧИТАЕМ ВМЕСТЕ на СДАДИМ — суть драмы школьного преподавания литературы. Отмечу в этой связи, что, как мне рассказывали учителя, в провинции купить книгу о том, как преподавать литературу, невозможно, их просто нет, да и в Москве считанные единицы, а вот сборников с готовыми сочинениями и пособий о том, как сдать экзамен по литературе, — в изобилии. Похоже, методика преподавания литературы на наших глазах превращается в методику сдавания литературы. И вот уже на экзамене на филфак абитуриент говорит: «Я Твардовского не читал, но про Василия Теркина всё знаю». Что же говорить об обычном школьнике?

После родительского собрания мать одного из моих десятиклассников сказала мне, что ее сын не может понять, зачем нужно читать большой том «Преступления и наказания»: ведь всё самое главное сказано на пятнадцати страницах вступительной статьи.

Да и в самом деле, зачем читать? Тем более, что рынок стремительно реагирует на новую потребность: несколько издательств начали выпуск дайджестов художественных произведений русских писателей. И число этих издательств постоянно увеличивается. Вот, скажем, «Преступление и наказание» Достоевского. В каком вам угодно виде? Хотите пересказ романа на 115 страницах, хотите — на 80, а можно и на 17 страницах блокнотного, карманного формата. Да еще вдобавок с анализом «идейного и художественного своеобразия», «жанровых особенностей романа», его «проблематики и психологизма». И с подборками из статей Писарева, Страхова, Вл. Соловьева, Мережковского, Аннинского, Бердяева, Бахтина, Селезнева, Фриндлендера. (Одно это сочетание краткого пересказа с жанровым своеобразием и Вл. Соловьевым, Бахтиным и Селезневым ни один Щедрин не смог бы придумать! И с планами сочинений и текстами их.) В общем, универсальная отмычка для взятия «Преступления и наказания» без особых затрат времени и душевных сил. Есть такие и по другим писателям. А можно

[8] *Гуковский Г.А.* Изучение литературного произведения в школе (Методологические очерки о методике). М.-Л., Просвещение.

обратиться к одному из многих больших, в несколько десятков печатных листов, да еще и вышедших уже несколькими изданиями томов «Все произведения школьной программы в кратком изложении»:

«Мельник будит автора, приглашает к завтраку, сообщает, что сам идет к помещице Анне Снегиной, чтобы отнести настрелянных вчера дупелей. Автор выходит с сеновала, вспоминает, что из-за войны на земле теперь столько «уродов и калек», чувствует несоответствие между этими двумя вещами. Автор утверждается во мнении, что он правильно сделал, что не пошел на войну».

«Двенадцать человек разговаривают о том, что Ванька с Катькой сидят в кабаке, ругают Ваньку «буржуем», вспоминают, что раньше он «был наш, а стал солдат».

«Автор сидит в помещении с Лилей, Осей (Брики) и с собакой Щеником. Холодно. Автор одевается и идет на Ярославский, «Забрал забор разломанный», погрузил на санки, принес домой, развел огонь».

И зачем это люди пишут стихи, когда всё так хорошо можно сказать прозой?

Я хорошо знаю многих и многих учителей словесности и знаю о многих и многих учителях словесности, которые делают всё, чтобы донести слово писателя до ума и сердца своих учеников. Но и их ломает «сила вещей».

А тут новая напасть на учителей литературы, на саму литературу — тесты. Тесты эти не дают никакой возможности узнать о самом главном: насколько глубоко понят, осмыслен, прочувствован учеником художественный мир писателя. Я уже не говорю о том, что за границами тестов остается то, без чего нет подлинного восприятия и понимания литературы — своего, личного, живого отношения к прочитанному. Но самое страшное даже не в том, что вышло множество книг с тестами по литературе, хотя и это страшно. Самое страшное, что при помощи этих тестов проверяют знания учащихся, работу учителя и школы.

Моих одиннадцатиклассников (другими словами — меня самого) в 1996 году, когда школа наша проходила аттестацию, проверяли по тестам, о характере которых вы можете судить вот по этим примерам:

«Укажите, в каком произведении Н.А. Некрасова важную роль в композиции играет такая художественная деталь, как скатерть-самобранка: 1) «Железная дорога»; 2) «На Волге»; 3) «Кому на Руси жить хорошо»; 4) «Мороз, Красный нос».

Укажите автора статьи «Базаров» (о романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»): 1) Н.А. Добролюбов; 2) Д.И. Писарев; 3) В.Г. Белинский; 4) Н.Г. Чернышевский.

Укажите, к какому роду литературы относится роман: 1) эпос; 2) лирика; 3) драма.

Укажите, кто из персонажей романа Гончарова «Обломов» был лучшим другом главного героя: 1) Тарантьев; 2) Штольц; 3) Пенкин; 4) Алексеев.

Укажите, как называется построение художественного произведения: 1) сюжет; 2) кульминация; 3) композиция; 4) конфликт.

Укажите, в каком произведении важную роль в сюжете играет такая художественная деталь, как подсолнечное масло, которое разлила Аннушка: 1) А.И. Куприн — «Поединок»; 2) М.А. Булгаков — «Мастер и Маргарита»; 3) И.А. Гончаров — «Обломов»; 4) М.А. Булгаков — «Собачье сердце»».

Бесспорно, ученики, оканчивающие школу, должны знать какие-то факты, к литературе относящиеся. Но, согласитесь, знать, что подсолнечное масло пролито в «Мастере и Маргарите», и разбираться в этом произведении — не одно и то же.

Однажды меня посадили ассистентом на устный экзамен по физкультуре. Ребята рассказывали о видах спорта, олимпийских играх, роли спорта и физкультуры в укреплении здоровья. А теперь представьте невозможное: что при этом они на лыжах не ходят, в реке или бассейне не плавают, не бегают, не прыгают, не играют в футбол, волейбол, баскетбол. А мы будем судить об их успехах в физкультуре и спорте по этому устному экзамену. Но ведь точно так же нельзя по тестам вроде этих судить о понимании литературы, чувстве слова, художественном вкусе.

Психолог по образованию, могу сказать с полной ответственностью: все эти наши доморощенные тесты по литературе методологически, психологически, методически, литературоведчески абсолютно несостоятельны. Зато как удобно: на проверку одной ученической работы уходит 30—40 секунд, на проверку класса — не более получаса.

Я трезво отношусь к себе, к своей работе. Достаточно самокритичен. Но плохим учителем литературы себя не считаю. Между тем по результатам тестирования по всем предметам и во всех классах тестирование моего класса было самым худшим в школе. Меня уже невозможно сломать: за 48 лет преподавания литературы в школе я через многое прошел и все-таки выстоял. Но хорошо понимаю, что такой подход к преподаванию литературы сломает многих учителей.

Подумайте над тем, какие уроки дают эти тесты учителю: не мучайся, как донести слово писателя до учеников своих; не трать силы на то, как приохотить их к чтению; забудь о том, что существует художественный вкус; а главное — не бери в голову то, что на самом деле думают и чувствуют твои ученики. Всё это НИКОМУ НЕ НУЖНО. И твоя репутация, твой заработок в конце концов (на основании тестирования ведь делаются выводы по аттестации) не от этого будет зависеть.

Я писал о тестах по литературе в «Новом мире», «Народном образовании», «Литературе в школе», «Учительской газете». Никто не возражал. Но вот передо мной тесты, по которым проверялись знания по литературе в Москве в 1999 и 2000 годах. И официальные диаграммы, в которых сравниваются успехи по литературе в московских округах. Только на основании тестирования.

4

В «Войне и мире» князь Андрей Болконский вспоминает о своей законодательной работе в комитете Сперанского: «Потом он живо представил себе Богучарово, свои занятия в деревне, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, Дрона-старосту и, приложив к ним правила, которые он распределял по параграфам, ему стало удивительно, как мог он так долго заниматься такой праздною работой». Так и я: читаю иной раз учебник, методическое руководство, статью, накладываю то, что в них говорится, на живые, реальные лица своих учеников и ясно вижу, что это совершенно разные миры.

Вот серьезный литературовед решил помочь выпускникам школы и дает им советы, как писать экзаменационное сочинение: «При выборе темы надо быть по-хорошему расчетливым: если сочинение по «Господам Головлевым», то как забыть про «мысль семейную» в других произведениях русской литературы: в «Анне Карениной», в «Подростке», «Даме с собачкой», даже в «Обломове».

Не уверен, что эта мысль, как считает сам автор рекомендации, проста и разумна. Ибо, на мой взгляд, разумного как раз в ней и нет. Если не считать гуманитарные лицеи и гимназии, то сколько вы найдете школьников, которые прочли и «Господ Головлевых» и «Анну Каренину», и «Подростка» и могут рассмотреть их в едином контексте?

А вот другой советчик, на сей раз методист по литературе, то есть человек, который вроде бы должен знать школу и учеников. Речь идет о стандартах по литературе. О. это особая история: велено по каждому предмету создать единые стандарты, которые потом утвердит Государственная Дума, а потому они станут непреложным Законом. Уже были три проекта стандарта по литературе, в том числе и особый «московский стандарт по литературе». Я обо всем этом не раз писал и сейчас, пока здесь временное затишье и новых прожектов еще нет, ничего говорить об этом не буду.

Так вот, этот методист предлагает разграничить «базовый (обязательный) уровень литературного образования» и «филологический уровень литературного образования», что, конечно же, резонно. Одно из требований обязательного (обязательного!) уровня: «Основные литературно-художественные журналы с краткой характеристикой их позиции и творческого облика: какой из них предпочитаешь ты?».

Прочел и сразу вспомнил известную строку Пастернака: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?». Совсем недавно трудно было встретить словесника, который не выписывал бы толстый журнал. Сегодня — того, кто выписывает. Про школьников и не говорю. «Какой из них предпочитаешь ты?» Да покажите, покажите мне ученика, который следит за несколькими толстыми журналами!

Но это всё цветочки. А вот и пышный букет ягод: *А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.* Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебное пособие для 10—11 классов общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, АО «Московские учебники», 1996). Обратите, пожалуйста, внимание на слово «общеобразовательных». За пять лет книга эта вышла пятью изданиями. Я цитирую по первому изданию, естественно, сверив все цитаты с 5-м изданием, вышедшим в 2000 году стотысячным тиражом (о том, почему этой книге, как и другим сочинениям одного из авторов этого учебника, открыта зеленая улица, вы скоро узнаете).

Глазам своим я не верил, читая те или иные задания этого учебника. Судите сами:

«519. Прочтите статьи известных критиков, составьте конспект одной из них: Н.А. Добролюбов «Когда же придет настоящий день?», Д.И. Писарев «Реалисты», М.А. Антонович «Асмодей нашего века», А.Г. Пустовойт «Роман «Отцы и дети»: комментарий». Определите общее и различие во взглядах авторов статей на роман «Отцы и дети» и другие произведения И.С. Тургенева. Обоснуйте свое отношение к роману».

Не буду говорить о том, что статья Добролюбова — о романе «Накануне», который в школе не изучается; «Отцы и дети» Пустовойта не статья, а книга (это нужно додуматься заставить конспектировать комментарий к роману!), но где смогут школьники достать полный текст огромной статьи Антоновича? Неизвестно. А уж конспектировать Антоновича — это тоже нужно придумать. Да и задание само по себе — почти программа работы спецсеминара на филфаке по крайней мере на пару месяцев.

«556. Сделайте выписки из литературно-критических статей о творчестве Ф.М. Достоевского: Д.И. Писарев «Борьба за жизнь»; М.Е. Салтыков-Щедрин «Его взгляды, характер и деятельность»; Ин. Аннинский «Речь о Достоевском»; М. Бахтин «Проблемы поэтики Достоевского»; А.В. Луначарский «Достоевский как мыслитель и художник»; Вл. Соловьев «Три речи в память Достоевского».

Не буду говорить о том, что «Проблемы поэтики Достоевского» не статья, а глубокая и недоступная для большинства школьников книга. Не буду спрашивать, где они достанут речь Иннокентия Аннинского (она дана в приложении в «Книге Отражений», выпущенной в серии «Литературные памятники»). Не будем говорить и о том, что статья Щедрина называется иначе — «Светлов, его взгляды, характер и деятельность» и посвящена она роману Омулевского «Шаг за шагом» (Полн. собр. соч., т. 8, 1937). Не буду говорить о том, что, чтобы перечитать всё это, нужно не меньше двух месяцев напряженной работы (школьник ведь не только литературой занимается). Но само задание! Сделайте выписки! Какие выписки? О чем? На какую тему? С какой целью? Что потом с ними делать?

«553. Перескажите «Легенду о Великом инквизиторе», а письменно ответьте на вопросы: 1). В чем, исходя из этой легенды, тайна бытия человеческого? 2). А какое ваше мнение? 3). Обоснуйте его».

О «Великом инквизиторе» много думали и писали Леонтьев, Вл. Соловьев, Розанов, Булгаков, Бердяев, Франк. А тут десятиклассники должны самостоятельно разобраться в этом труднейшем философском произведении (я бы мог рассказать, как в этом году трудно и тяжело шли у меня уроки по этой теме в десятых классах), да еще дать собственный трактат о тайне бытия человечества! Слов нет.

«557. Ответьте письменно в форме рассуждения на один из вопросов: 1. В чем вы видите достоинства художественной формы романов (обратите внимание: не романа — романов. — *Л.А.*) Достоевского? 2. В чем заключается своеобразие повествовательной манеры Достоевского, особенности поэтики романа «Братья Карамазовы»? 3. Как связано название произведения «Бесы» с темой, идеей, образами «бесов» в романе?»

Но «Братья Карамазовы» и «Бесы» в школе не проходятся. А первые две темы вполне тянут если не на докторскую, то уж наверняка на кандидатскую диссертацию.

Хватит. Довольно. И так всё ясно. Но кто же эти авторы, которые так не знают школы, так не разбираются в преподавании литературы в школе, так ничего не ведают о возможностях ученика общеобразовательной школы? Про одного ничего не знаю. А вот другой — Лидия Макаровна Рыбченкова — по должности своей в Министерстве образования руководит преподаванием всех гуманитарных предметов в школах России. Вот наши строгие учителя и судьи!

Нет, всё это не анекдоты, не ляпсусы, не проколы, не казусы. Всё это показатель уровня квалификации и понимания школы, уровень, который неизбежно не может не привести к катастрофе. И уже привел.

Все хорошо помнят, что самый трудный и насыщенный курс литературы в школе — это курс десятого класса: Гончаров, Островский, Тургенев, Чернышевский, Некрасов, Фет, Тютчев, Лесков, Щедрин, Достоевский, Толстой, Чехов. Одни «Преступление и наказание» и «Война и мир» чего стоят. И вот наши министерские знатоки ко всему этому (только Чехова переводят в XI класс) прибавляют из бывшего IX класса: по одному варианту — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, по другому — кроме того еще Жуковского, Крылова, Грибоедова (программы опубликованы в вышедшем вторым изданием сборнике программ издательством «Дрофа»).

И уже выпущены два новых учебника по этой программе и учебник-практикум, и методическое руководство к учебнику-практикуму. Кстати, в учебнике «Просвещения», кроме Пушкина, Лермонтова, Гоголя — Жуковский, Крылов, Грибоедов, Кольцов, а в практикуме того же «Просвещения» — Державин, Карамзин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь.

При этом на весь этот новый курс отведено столько же времени, сколько сегодня в X классе — 135 часов. А между тем в IX классе, откуда взяты новые темы, около 100 часов, и три четверти из них уходили на те самые произведения, которые сейчас переводятся в X класс ко всему тому, что там уже было. Такого не было ни в дореволюционной гимназии, ни в советской школе, ни в постсоветской России. И добавленный Москвой сюда еще один урок уже ничего не может изменить: русская литература XIX века будет окончательно добита и загублена. Ведь если на уроке всё сведено будет к скороспелой информации, если не будет звучать текст (а как можно говорить о «Евгении Онегине», не читая порой целые главы!), если нет на нем размышления над прочитанным, преподавание литературы обессмысливается. Ибо только в процессе перечитывания, соразмышления и сопереживания возможно воздействие прочитанного на ученика, и только при этом соразмышлении можно сформировать читателя.

Страшно подумать о том, что нас ждет. Изданный «Мнемозиной» двухтомный учебник литературы для нового X класса[9] убеждает меня, что мои опасения не безосновательны (естественно, я сейчас — походя — не оцениваю эти два тома). Достаточно сказать, что здесь «Евгению Онегину» отведено три страницы, а самим Онегину и Татьяне по нескольку строк. А вот гоголевскому Чичикову повезло: ему отведено целых семь строк, из которых мы узнаем только одно: «У Чичикова кроме прямой и очевидной роли есть и «тайная»: Чичиков как бы «объединяет» всех: он по-своему выражает внутреннее тяготение людей к общности, к единению, по мысли Гоголя, столь необходимому России». Поскольку перед нами все-таки учебник для школы, возникают два вопроса: во-первых, что сие означает? Во-вторых, а какова же «прямая и очевидная» роль Чичикова в «Мертвых душах»?

---

[9] Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Под ред. Г.Н. Ионина. М., Мнемозина, 1999.

И еще. А проверена ли новая система преподавания литературы на практике? В школах, и в каких школах? Проверена ли в целых регионах? Хотелось бы знать и вот что: а кто из составителей и лоббистов этой новой программы хотя бы год по ней проработал сам, лично? Вот только что в «Просвещении»[10] вышли методические советы Ю.И. Лыссого. Здесь всё расписано по часам: и как за два урока дать основные этапы жизненного и творческого пути Пушкина, и как за три урока всего Некрасова. А меня всё время интересует одно: а что — сам Ю.И. Лысый хоть в одном классе проработал по собственным рекомендациям?

Можно ли внедрять в школу не только широко не обсужденное (в преподавании литературы давно никакой демократии нет), но и непроверенное? Вы можете себе представить производство лекарств, не прошедших клинического испытания и всеобщей апробации? Ну, а школа, учитель, ученики — они всё слопают.

Как-то на педсовете нашей школы опытная и хорошая учительница литературы сказала с горечью: «Вот были в программе гимназии латынь и греческий. Их давно уже нет. И что же? Все живут. Ничего не изменилось. То же самое будет и с литературой в школе. Она больше никому не нужна».

Что я могу ответить? Только любимой мною последней строкой фадеевского «Разгрома»: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности».

---

[10] Литература. 10 класс. Методические советы к учебнику-практикуму. Автор-составитель Ю.И. Лыссый. М., Просвещение, 1999.

Марк ЛИПОВЕЦКИЙ

«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ» КАК «ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»: трагикомедии Александра Вампилова (1937—1972)

Автор четырех больших пьес и трех одноактных (считая ученическую «Дом окнами в поле»), трагически погибший в возрасте 35 лет, не увидевший ни одной из своих пьес на московской сцене, издавший при жизни лишь небольшой сборник рассказов (1961), — Вампилов, тем не менее, произвел революцию не только в современной русской драматургии, но и в русском театре, разделив всю их историю на до- и поствампиловскую. Целое литературное/театральное поколение (Л. Петрушевская. В. Славкин, А. Казанцев, Л. Разумовская, А. Соколова, В. Арро) взошло на волне вампиловского успеха, их пьесы были названы в критике 1980-х «поствампиловской драматургией» — и действительно, их драматургический метод непосредственно вырастет из художественных открытий, совершенных Вампиловым.

Источники театра Вампилова не только разнообразны, но и противоречивы. Во-первых, это мелодрама 60-х (Розов, Арбузов, Володин). Хотя очевидно, что Вампилов иронически, а подчас саркастически обнажает мелодраматические ходы, а главное, переигрывает заново коллизию молодого героя, самоуверенного, но симпатичного супермена, входящего в жизнь и надеющегося ее обустроить заново. Вампилов начинает там, где закончили его предшественники — в точке поражения молодого героя, убедившегося в тщетности романтических упований. Обращение — порой откровенно полемическое — к традиции мелодрамы шестидесятников связано прежде всего с переосмыслением роли своего поколения. В драматургии Вампилова «звездные мальчики» 60-х впервые предстают как цинично обманутое поколение, или в духе Хемингуэя — как «потерянное поколение». При этом сохраняется характерная для «оттепельной» традиции позиция писателя как голоса поколения, выговаривающего именно то, что на душе у каждого ровесника. Так, по поводу «Утиной охоты», самой горькой из своих пьес, Вампилов восклицал: «Пьесу осудили люди устаревшие, не понимаю-

Марк ЛИПОВЕЦКИЙ — родился в 1964 году. Литературовед, критик, доктор филологических наук. Автор статей по проблемам современной литературы, а также книг: «Свободы черная работа» (1991), «Поэтика литературной сказки» (1992) и «Русский постмодернизм» (1996). Дополненное и расширенное издание последней книги вышло в 1999 году на английском языке под названием «Русская постмодернистская проза: диалог с хаосом». В настоящее время живет в США, преподает в Университете Колорадо (Болдер).

щие и не знающие молодежь. А мы — такие вот! Это я, понимаете?! Зарубежные писатели писали о «потерянном поколении». А разве в нас не произошло потерь?»[1]

Во-вторых, Вампилов несомненно испытал глубокое влияние европейского театра экзистенциализма — как непосредственно, благодаря переведенным и популярным в 60-е годы пьесам Сартра и Камю, так и опосредованно — через пробивавшиеся на полузакрытые просмотры фильмы Феллини (особенно «Восемь с половиной»), Антониони, Пазолини, Годара. С экзистенциалистской драмой Вампилова сближает отношение к драматургическому действию как к парадоксальному эксперименту, нацеленному на проверку всех возможных ответов на главный вопрос его творчества: что есть свобода? может ли личность добиться свободы от мерзкого социального окружения? как стать свободным? какова цена свободы? Характерно и то, как часто Вампилов создает в своих пьесах «пороговую ситуацию»: почти всерьез стреляются на дуэли бывшие приятели в «Прощании в июне»; почти умирает Калошин в «Случае с метранпажем», после похорон матери, которую не видел пять лет; получив поутру венок с надписью «Незабвенному... Виктору Александровичу от безутешных друзей», перебирает свою жизнь Зилов и в конечном счете тянется к винтовке, чтоб выстрелить себе в рот; в упор, с разрешения Шаманова, стреляет в него Пашка («Прошлым летом в Чулимске»). В соответствии с постулатами экзистенциализма, именно на «пороге» выявляется подлинная цена и значение свободы.

Наконец, в-третьих, Вампилов очень чуток к смеховой стихии современного ему городского фольклора — к анекдоту, в первую очередь («Провинциальные анекдоты»), но не только. Так, скажем, в сюжете «Старшего сына» слышатся комические отголоски не только классической мелодрамы («Без вины виноватые»), но и включенной в текст пьесы «запевки»: «Эх, да в Черемхове на вокзале / Двух подкидышей нашли. / Одному лет восемнадцать/ А другому — двадцать три!». Именно в анекдотических сюжетах Вампилов нашел демократический эквивалент абсурдизма — драматургического течения, также дошедшего до советского читателя в 1960-е годы (публикации Ионеско и Беккета в «Иностранной литературе»), но воспринимавшегося как элитарный излом модернизма. Соединяя абсурдизм с анекдотической традицией, Вампилов добился эффекта, близкого тому, что возникает в поэзии Высоцкого или прозе Шукшина.

Автопортрет «потерянного поколения», экзистенциальные вопросы, действие как эксперимент, атмосфера всеобщего комически-абсурдного лицедейства — комбинация всех этих и многих иных элементов оформилась в специфическом жанре вампиловской трагикомедии. Каковы отличительные черты этого жанра?

— Полупародийный мелодраматизм. Вампилов подчеркнуто утрирует черты мелодрамы: его герои либо сознательно моделируют свои собственные житейские ситуации по мелодраматическим моделям, либо с ощутимой иронией оглядываются на них (дуэль в «Прощании в июне», «подкидыш» в «Старшем сыне», ангел-благодетель в «Двадцати минутах с ангелом», злодей-соблазнитель и его жертвы в «Утиной охоте», святая блудница в «Прошлым летом в Чулимске»). В

[1] Цит. по кн.: *Тендитник Н.* Мастера. Иркутск, 1981. С. 178.

то же время Вампилов усиливает традиционную для мелодрамы роль случайности, придавая ей особое философско-психологическое значение. Случайность потому так властно распоряжается судьбами его героев, что они лишены какой-либо прикрепленности, социальной, нравственной, культурной устойчивости. По характеристике М. Туровской, «случайность вампиловских пьес — не запоздалое наследие романтической драмы, а в самом общем виде — внешнее, событийное выражение... главной черты ее героя, его духовного паралича, отсутствия целеполагания»[2]. Власть случайности становится сюжетной метафорой ценностного вакуума, безвременья, в котором и происходит действие всех вампиловских пьес.

— Лицедейство персонажей. Критик Вл. Новиков писал об «Утиной охоте»: «Зилов играет со всеми и каждым. Все и каждый играют с Зиловым. Лицедейство — осознанное и неосознанное выглядывает отовсюду»[3]. Но то же самое можно сказать и других пьесах Вампилова. В «Старшем сыне» у каждого из персонажей свой спектакль: Бусыгин играет роль «блудного сына», Сарафанов изображает, будто он по-прежнему играет в филармоническом оркестре, а не на кладбищах, его дети делают вид, что они об этом ничего не знают, Нина изображает любовь к деревянному Кудимову, Макарская играет, как кошка с мышкой, с Васенькой, который в свою очередь с пылом юности разыгрывает спектакль «пламенная страсть» по отношению к Макарской, а Сильва, тот вообще ни на минуту не выходит из шутовского образа. Более сложная ситуация в «Чулимске»: здесь Валентина — единственная, кто живет, не играя, окружена несколькими миниспектаклями: Шаманов пребывает в роли разочарованного Печорина, Дергачев и Анна Хороших ежедневно разыгрывают мелодраматические сцены любви и ревности, неглупая Кашкина живет в чеховской роли провинциальной роковой женщины, Пашка мстит всем и каждому за то, что судьба поставила его в роль нежеланного, «нагулянного», ребенка, чужого даже для родной матери, и даже эпизодический персонаж, бездомный якут Еремеев — на самом деле чулимский король Лир, брошенный дочерями патриарх. Неразделимость игры и жизни характерна для постмодернистской культуры[4], но Вампилова вряд ли можно зачислить в ряды постмодернистов. Однако и его отношение к игре в жизни невозможно свести к какой-то однозначной реакции: с одной стороны, его герои постоянно ищут подлинности в поведении и в человеческих отношениях, стремясь пробить стену лицедейства; с другой стороны, только в игре, шутовстве, непрерывном дуракавалянии реализуется невостребованная жизненная сила вампиловского героя, его азарт, его бьющая через край талантливость — именно энергия игры выделяет этого героя среди окружающих его масок. Именно с лицедейством связаны у Вампилова переходы комических ситуаций в трагические и наоборот. Невозможность разделить игру и жизнь, превращение игры в единственно доступную личности форму душевной активности, объясняет, почему более или менее безобидный розыгрыш («Старший сын», «Утиная охота») переворачивают всю жизнь человека, почему непонятное слово «метранпаж», на

[2] *Туровская М.* Памяти текущего мгновенья. М., Сов. писатель, 1987.
[3] *Новиков Вл.* Диалог. М., Современник, 1986. С. 94.
[4] См. об этом: *Ильин И.* Постмодернизм: от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. М., Интрада, 1998. С.184 — 190.

которое неясно как реагировать, чуть было не приводит к смерти растерявшегося «актера», и почему банальный мелодраматический ход (перехваченная записка о свидании) рушит жизнь Валентины («Прошлым летом в Чулимске»).

— Система характеров. Через всю драматургию Вампилова проходит система достаточно устойчивых драматургических типов, по-разному освещаемых в различных ситуациях и конфликтах. Эти характеры образуют достаточно устойчивые пары. В его пьесах обязательно есть характер юродивого чудака — внесценический неподкупный прокурор в «Прощании», комический Сарафанов в «Старшем сыне», возвышенный Кузаков в «Утиной охоте» (тот, что собирается жениться на Вере), трагикомический Хомутов в «Двадцати минутах с ангелом», трагическая Валентина в «Чулимске». Ему противоположен характер циника-прагматика: это Золотуев в «Прощании», Сильва в «Старшем сыне», Саяпин в «Утиной охоте», Калошин в «Случае с метранпажем», все обитатели гостиницы в «Двадцати минутах с ангелом», Пашка в «Чулимске». Наиболее концентрированно этот тип выразился в сухом и деловитом Официанте из «Утиной охоты» (его предшественником был Репников из «Прощания в июне», а комическая версия этого характера представлена серьезным Кудимовым из «Старшего сына» и занудным Мечеткиным из «Чулимска»). Женские характеры, по точному наблюдению М. Туровской, также образуют контрастные пары и даже триады, основанные на противо- и сопоставлении полной романтических надежд девушки уставшим и изверившимся женщинам (Нина и Макарская в «Старшем сыне», Ирина — Галя — Вера в «Утиной охоте», Валентина — Кашкина — Анна Хороших в «Чулимске»). Парадокс вампиловской драматургии состоит в том, что все эти очень непохожие друг на друга типы не только вращаются вокруг центрального героя — Колесова, Бусыгина, Зилова, Шаманова, — но обязательно являются его двойниками, отражая какую-то грань его индивидуальности. Сам же центральный характер оказывается на перекрестке противоположных возможностей, заложенных в нем самом и реализованных в его окружении. В нем сочетаются святой и циник, бес и ангел, опустившийся алкаш и преуспевающий прагматик, низменное и возвышенное, трагическое и комическое. Такая конструкция ставит в центр драматургического действия романный характер, незавершенный и незавершимый (отсюда открытые финалы вампиловских пьес), динамичный и противоречивый, характер, который, по знаменитому афоризму Бахтина, «или больше своей судьбы (в данном случае, взятой на себя роли. — *М.Л.*), или меньше своей человечности».

В то же время именно центральный персонаж становится связующим звеном между противоположными типами. Благодаря ему все они включены в некий шутовской хоровод, где герой примеривает на себя все возможные маски, а противоположные друг другу характеры — через него как через общий знаменатель — обнаруживают неожиданную взаимную близость. Святой оказывается не меньшим грешником, чем окружающие (Сарафанов бросил любимую женщину, Хомутов — мать). В разочарованных матронах угадываются силуэты юных и наивных возлюбленных, какими они были в прошлом, до встречи с центральным героем (или другим «аликом», как саркастически определяет этот тип Вера из «Утиной охоты»), а романтичных джульетт неизбежно ждет судьба их старших

подруг. Таким образом, система характеров театра Вампилова, с одной стороны, воплощает трагикомедийную ситуацию распада устойчивых ценностей, всеобщей моральной текучести и зыбкости: дело не в том, что кто-то плохой, а кто-то хороший, кто-то прогрессивный, а кто-то отсталый, здесь в буквальном смысле «век вывихнул сустав». С другой стороны, так создается определенное философское единство: каждая пьеса Вампилова демонстрирует весь спектр возможных человеческих позиций в данной ситуации, а его центральный герой на протяжении всей пьесы совершает свой индивидуальный выбор, соотнося себя с каждой из альтернатив — и, как правило, отторгая их все.

Однако было бы неправильно представлять театр Вампилова некоей раз и навсегда сложившейся системой. Вампилов очень динамично развивался, проделав за менее, чем семь лет, огромный путь переоценки многих ценностей «оттепельного» поколения, что непосредственно выразилось в сюжетах, характерах и лейтмотивах его пьес.

В «Прощании в июне» (1965) ироничный и победительный «звездный мальчик» Колесов впервые сталкивается с соблазном обмена — любви на аспирантуру — и неожиданно для себя и окружающих соглашается. Выясняется, что его победительность опиралась на юношескую фанаберию, которую легко сшибает многоопытный Репников, ректор института, где учится Колесов, и отец его возлюбленной Тани. Через аналогичную ситуацию обмена пусть наивных, но духовных ценностей на материальные — проходят и другие персонажи пьесы: так, Маша должна решить, с кем она: с романтиком Букиным, отправляющимся на север, или с комфортно устроившимся в родном городе Фроловым. Золотуев пытается пробить неподкупность разоблачившего его аферы ревизора. Эти коллизии завершаются по стандартам «шестидесятнический» литературы: Маша едет с любимым на север, ревизор не берет взятку. Инерция «шестидесятнического» романтизма предопределяет и хэппи энд в центральной сюжетной линии: Колесов рвет диплом и пытается заново начать отношения с Таней. Однако этот финал выглядит крайне искусственно и риторично: способность же молодого героя легко менять нравственные ценности на материальные (и обратно) предопределяет ситуации следующих вампиловских пьес.

Собственно, с такого же обмена — заведомо несерьезного и оттого еще более циничного — начинается и следующая пьеса Вампилова «Старший сын» (1968, другой вариант названия — «Предместье». Ее главный герой Бусыгин, пользуясь стечением случайных обстоятельств, объявляет себя незаконнорожденным сыном неизвестного ему человека не ради карьеры или светлого будущего, а всего лишь ради того, чтобы найти угол для одноразового ночлега. Такая игра на понижение отражает куда более глубокое, чем прежде, разочарование в каких бы то ни было романтических представлениях о доверии, добре и товарищеской взаимопомощи. Сама идея объявить себя неизвестным сыном (и соответственно братом) выглядит как злобная пародия на мечты о всеобщем братстве советских людей. Бусыгин рассуждает куда трезвее: «У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто. Надо соврать как следует, только тогда поверят и посочувствуют. Их надо напугать и разжалобить». Однако парадоксальность «Старшего сына» состоит в том, что проходимец становится надеждой и опорой разваливавшегося было

Дома. За идею старшего сына, как за соломинку, хватаются Сарафанов и его дети — Васенька и Нина. И это меняет Бусыгина: он, случайно вторгшийся в чужую семью с ее проблемами, внезапно чувствует себя ответственным и за юродивого идеалиста Сарафанова, всю жизнь сочиняющего ораторию «Все люди — братья», и безнадежно влюбленного Васеньку, и за Нину, уставшую от семейного бедлама и готовую бежать куда глаза глядят со скучным, как доска, «серьезным человеком». Причем его ответственность выражается в том, что он не только длит затеянный Сильвой обман про старшего сына, но и становится соучастником внутрисемейных обманов (Сарафанов скрывает от детей, что играет на кладбище, а дети скрывают от него, что давно знают это). Маска, роль, заведомо неправдивая, неожиданно отвечает собственной внутренней потребности Бусыгина быть кому-то нужным, принадлежать к Дому, быть любимым и значительным членом семьи. «Откровенно говоря, — признается он в финале пьесы, — я сам уже не верю, что я вам не сын». Так возникает в театре Вампилова мотив маски как счастливой возможности выйти за собственные пределы, альтернативы обыденному существованию, позволяющей реализовать то, чему нет выхода в «действительной» жизни. Но горький парадокс так радостно заканчивающегося «Старшего сына» состоит в том, что самая, казалось бы, элементарная человеческая потребность быть кому-то необходимым, иметь дом и семью, отвечать не только за себя, может быть реализована при самых случайных, едва ли не сказочных обстоятельствах.

Если в «Прощании в июне» и «Старшем сыне» еще преобладают комедийные элементы, то в «маленькой дилогии» под общим названием «Провинциальные анекдоты» (1970) комедийное начало переходит в абсурдистский фарс, который в свою очередь приводит к трагедийному эффекту.

Действие обоих «провинциальных анекдотов» происходит в райцентровской гостинице «Тайга», само название которой становится символом банального одичания. В первом из «анекдотов», «Случай с метранпажем», на первый план выходит уже обозначенный в «Старшем сыне» мотив маски. Правда, теперь он выглядит достаточно зловеще, воплощая неподлинность существования как укоренившуюся норму социального поведения. Мелкий начальственный хам, администратор гостиницы Калошин, испуган тем, что оскорбил, возможно, большого человека — метранпажа, из газеты (и никто кругом не знает, что метранпаж — это всего лишь типографский работник). Почти гоголевская «конфузная ситуация» провоцирует целый каскад театральных превращений Калошина: он разыгрывает жалобное раскаяние, потом имитирует тяжкую болезнь, потом безумие... Парадокс, однако, состоит в том, что Калошин втягивается в игру и действительно чуть было не умирает от сердечного приступа. На пороге смерти он произносит проникновенный монолог, где говорит о том, что вся его жизнь мелкого номенклатурного начальника состояла из постоянного изнурительного лицедейства: «С одними одно из себя изображаешь, с прочими — другое, и все думаешь, как бы себя не принизить. И не превысить. Принизить нельзя, а превысить и того хуже... Откровенно, Борис, тебе скажу, сейчас вот только и дышу спокойно... Перед самой смертью». Казалось бы, происозошло очищение экзистенциальной ситуацией, и человек, пускай запоздало, осознал бессмысленность прожитой жизни. Однако Вампилов завер-

шает пьесу иначе: узнав, наконец, что его испуг ни на чем не основан, Калошин внезапно воскресает. Он готов начать новую жизнь: К а л о ш и н: К черту гостиницу! Я начинаю новую жизнь. Завтра же ухожу на кинохронику. В и к т о р и я: Нет, я больше не могу!». Возглас Виктории отражает собственно авторское отношение: все потрясения и экзистенциальные откровения прошли зря, Калошин будет продолжать свой номенклатурный театр на очередном месте работы. Нравственная невменяемость человека, вся жизнь которого прошла в масках и который без маски может только умирать, — вот трагически-безнадежный итог первого анекдота.

Во втром анекдоте, «Двадцати минутах с ангелом», продолжаются и тема маски, и тема нравственной невменяемости: шутовская выходка двух похмельных экспедиторов приводит к чисто театральному явлению «ангела», предлагающему безвозмездно сто рублей и театральным же реакциям всех обитателей гостиницы «Тайга», каждый из которых ведет свою «арию», и все они звучат одновременно. Показательно, что жильцы гостиницы «Тайга» представлют самые разные социальные группы — тут и интеллигенты (скрипач Базильский) и «пролетарии» (шофер Анчугин, экспедитор Угаров), тут и старшее поколение (коридорная Васюта) и младшее (пара студентов-молодоженов), но все они сходятся в том, что человек не может, просто так, без злого умысла подарить незнакомым людям сто рублей («просто так ничего не бывает»), и все они со-участвуют в страшноватой сцене, в которй «ангела» Хомутова првязывают к стулу и подвергают натуральному допросу. Неверие в возможность бескорыстного добра — вот что создает эту «эпическую сиутуацию» навыворот — не ценности, а глубочайшее разочарование в идеалах, вот что объединяет людей. Когда же выясняется, что «ангел» Хомутов — может быть, более грешен, чем все они вместе, и что деньги, которые он предлагает двум похмельным командировочным, он пять лет забывал отправить матери, которую он только что похоронил, — вот тут наступает катарсис всепрощения и братанья. Но это иронический катарсис: и то, что все включаются в пьянку, и то, что Хомутов ободряет себя пошлой риторикой («Да нет, товарищи, ничего, ничего. Жизнь, как говорится, продолжается»), и то, что все только что скандалившие голоса и даже скрипка Базильского сливаются в песне об одичании («... бежал бродяга с Сахалина звериной, узкою тропой»), — всё это подчеркивает невозможность подлинного очищения. В «Провинциальных анекдотах» Вампилов, быть может, острее, чем где-либо, зафиксировал распад нравственного сознания не как проблему отдельных индивидуумов, а как норму, определяющую существование всего общества в целом.

Именно в этом контексте следует воспринимать «Утиную охоту» (1971) — центральный персонаж которой, Виктор Зилов, в полной мере отвечает характеристике «герой нашего времени», представляя собой «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии»[5]. К нему подходят и классические характеристики «лишнего человека» (на это впервые обратил внимание критик Вик. Топоров): так же, как Печорин, «бешено гоняется он за жизнью», стремясь реализовать свой недюжинный личностный потенциал, точно

[5] *Лермонтов М.Ю.* Собр.соч. В 4-х тт. Т. 4. М., Худ. лит-ра, 1978. С. 7—8.

так же тоскует по чистому идеалу (мотив «утиной охоты) и, не находя соответствия своим мечтам в реальности, мстительно разрушает всё вокруг, не находя иного применения своей энергии, кроме «экспериментальных романов», злых шалостей и саморастраты (кстати, сознательная ориентация Вампилова на лермонтовский шедевр подчеркивается еще и тем, что бывшую возлюбленную Зилова, как и бывшую возлюбленную Печорина, зовут Верой). Критиками отмечалась сверхтекучесть характера Зилова в сочетании с яркостью и талантливостью. Он самый свободный человек во всей пьесе — и именно поэтому он способен на самые непредсказуемые и самые циничные поступки, поскольку у него отсутсвуют всякие сдерживающие тормоза. Он явственно продолжает тип «исповедального» героя «молодежной прозы», артистически создавая атмосферу крайней душевной откровенности вокруг себя, но отличить действительную искренность от игры в искренность (сцена с Галей, когда они пытаются «повторить» их первое свидание) в его случае совершенно невозможно. Зилов — это победительный герой шестидесятых, которому нет места в тусклом безвременье надвигающегося «застоя», — именно эту, социологическую, сторону своего персонажа имел в виду Вампилов, когда писал о «потерянном поколении». Его аморальность — это бунт против псевдоморали; как говорит сам Зилов в кульминационной сцене пьесы: «Ах да! Конечно! Семья, друг семьи, невеста — прошу прощения!.. (*Мрачно*) Перестаньте. Кого вы тут обманываете? И для чего? Ради приличия?... Так вот, плевать я хотел на ваши приличия. Слышите? Ваши приличия мне опротивели».

Пьеса, начатая знаком смерти — венком, полученным живым человеком, — строится как анализ превращения героя в «живого трупа». Каждое из воспоминаний Зилова — важная веха на пути его потерь. Первое воспоминание о скандале на новоселье фиксирует разрушение ценности Дома: едва получив новую, давно ожидаемую, квартиру, Зилов готов превратить ее в дом свиданий для своих сослуживцев. Второе воспоминание о том, как Зилов и Саяпин решили фальсифицировать научную статью — причем, инициатором, конечно, выступает Зилов, увлеченный гонкой за Ириной («Такие девочки попадаются не часто... Она же святая... Может, я ее всю жизнь любить буду».) Работа как ценность давно не существует для Зилова, зато еще существует любовь. Следующая сцена знаментальна как свидетельство смерти любви к жене Гале: когда Зилов, вернувшись под утро от Ирины, чтобы успокоить жену, артистически возрождает атмосферу их первого свидания и при этом действительно «заражает» Галю своим энтузиазмом, выясняется, что он сам не может вспомнить те самые слова, которые сблизили их тогда, в молодости. В следующем воспоминании, Зилов, у которого умер отец, вместо того чтобы ехать на похороны, уходит с Ириной — Зилов обрубает самые глубокие, самые фундаментальные для любого человека духовные связи — с родителями, с отцом. Обесценивание любви происходит в следующем воспоминании, когда Зилов, пытаясь удержать уходящую от него Галю, произносит пылкий монолог, где, в частности, «искренне и страстно» он перечисляет все свои духовные потери:

> «Да, да, у меня нет ничего — только ты, сегодня я это понял, ты слышишь? Что у меня есть, кроме тебя?... Друзья? Нет у меня никаких друзей...

Женщины?... Да, они были, но зачем? Они мне не нужны, поверь мне... А что еще? Работа моя, что ли! Боже мой! Да пойми ты меня, разве можно всё это принимать близко к сердцу! Я один, один, ничего у меня в жизни нет, кроме тебя. Помоги мне!»

Но произнося этот монолог, Зилов не видит Гали (она стоит за закрытой дверью, а потом незаметно уходит), — и оказывается (чисто мелодраматический ход), что монолог, предназначенный уже ушедшей Гале, слышит подошедшая Ирина и принимает на свой счет. Это открытие вызывает у Зилова приступ истерического смеха: он понимает, что если объяснение в любви, обращенное одной женщине, принимает на свой счет другая, следовательно, самой любви давно нет, так как любовь предполагает личность и не может быть безадресной.

После этого следует сцена скандала в кафе «Незбудка», где Зилов уже больше не сдерживает себя никакими приличиями, понимая, что ни друзья, ни семья, ни дом, ни работа, ни любовь для него давно уже не имеют реального смысла, превратившись в пустые слова. И его бывшие товарищи ставят ему свой диагноз: «труп», «покойничек» — и заказывают Зилову венок наутро.

Зилов, конечно, не жертва. Но он более последователен и искреннен, чем окружающие его люди. Он не «делает вид», что верит в ценности, которые для него давно уже не имеют цены. Саяпины, Кузаков, Кушак и даже Галя, в сущности, ничем не отличаются от Зилова. Недаром Кузаков говорит: «В сущности, жизнь уже проиграна». Но они предпочитают притворяться, что всё в порядке. А Зилов идет до конца, даже если это и бьет по нему самому. Единственный, кто, подобно Зилову, не подвержен никаким иллюзиям, — это Официант Дима, человек, который бестрепетно «бьет уток влет» и спокойно и четко добивается поставленных перед собой сугубо материальных целей, не отвлекаясь ни на что лишнее.

От Официанта Зилова отличает мучительная тоска по идеалу, воплощенная в теме «утиной охоты». В уже упоминавшемся монологе, говоря об утиной охоте, он рисует ее как прикосновение к идеалу, дарующее очищение и свободу: «О! Это как в церкви и даже почище, чем в церкви... А ночь? Боже мой! Знаешь, какая это тишина? Тебя там нет, ты понимаешь? Ты еще не родился. И ничего нет. И не было. И не будет...». Утиная охота для Зилова важна как нерастраченная возможность возродить веру в чистые и возвышенные ценности («почище, чем в церкви») и тем самым как бы родиться заново.

Бахтинское «или больше своей судьбы, или меньше своей человечности» в Зилове проявляется как невозможность притворяться, как притворяются все его друзья и коллеги, будто веришь в какие-то ценности и идеалы, которые давно умерли и невозможность, подобно официанту Диме, полностью отказаться от желания прикоснуться к идеалу, достичь праздника для души, — такова судьба, отведенная Зилову временем, а точнее, безвременьем, и он явно больше ее. Но, не сдерживаемый «приличьями» или прагмтическим интересом, он действиутельно становится «топором в руках судьбы», разнося в щепу не только собственную жизнь, но и жизни любящих его Гали, Ирины, отца, — и в этом он безусловно «меньше своей человечности».

Многозначность художественной оценки Зилова выражается в множественности финала «Утиной охоты» (отмечено Е.М. Гушанской). Пьесу завершают три финала: первый — попытка самоубийства: Зилов тем самым признает, что больше ему нечем жить. Второй — ссора с друзьями и надежда на новую жизнь, вне привычного окружения: «речь идет о жизни, возможно, долгой, возможно, без этих людей». Оба эти варианта отвергаются Зиловым — первый, потому что в нем самом еще слишком много жизненной энергии. Второй — потому что этот выход слишком риторичен и мало на чем основан. Остается третий, самый многозначный финал: «Плачет он или смеется, понять невозможно, но его тело долго содрогается, как это бывает при сильном смехе или плаче», — неопределенность этой ремарки крайне показательна для поэтики Вампилова: даже в финале пьесы герой остается незавершенным, даже сейчас неясно, какова его реакция, он остается открытым для выбора. Затем раздается телефонный звонок, и Зилов соглашается ехать на утиную охоту вместе с Официантом Димой — несмотря на обнаружившиеся между ними категорические расхождения. Фактически, этот финал означает, что Зилов сдает последнюю свою ценность — утиную охоту — и в будущем последует примеру Официанта, учась сбивать уток влет или, иначе говоря, постарается научиться извлекать из циничного отношения к жизни максимальные выгоды для себя. Но это лишь один из вариантов интерпретации. Возможность психологического очищения утиной охотой также не перечеркнута этим финалом, недаром после мучительного дождливого дня, именно теперь, выходит солнце: «К этому моменту дождь за окном прошел, синеет полоска неба, и крыша соседнего дома освещена неярким предвечерним солнцем. Раздается телефонный звонок...».

Отказ автора от окончательного и однозначного приговора своему герою был знаком новой эстетики, последовательно замещающей авторскую оценку авторским вопрошанием (эта линия будет интенсивно продолжена в поствампиловской драматургии, особенно у Вик. Славкина, Вл. Арро, Л. Петрушевской). В своей следующей и последней пьесе Вампилов попытался распространить эту «эстетику неопределенности» на совершенно иную сферу: «Прошлым летом в Чулимске» стала единственным, пожалуй, примером современной трагедии (а не привычной для Вампилова трагикомедии), в которой автор стремился создать позитивную модель поведения. В «Чулимске» Вампилов нарисовал модель ежедневного стоического подвига, найдя в провинциальной глуши, среди всеобщего морального одичания, Антигону эпохи безвременья и бездействия.

Через всю пьесу проходит мотив рока, почти античный в своей непреклонности: он присутсвует и в нелепой архитектуре старинного купеческого особняка, где разворачивается действие пьесы: бывшему владельцу было предсказано, что он умрет, как только достроит дом, и купец перестраивал и пристраивал к особняку различные веранды, флигели и мезонины всю жизнь. Этот мотив — и в песне, которую распевает Дергачев на протяжении всей пьесы «Когда я на почте служил ямщиком» — одной из самых «роковых» в русском песенном фольклоре. Этот мотив и в судьбе Дергачева и Анны Хороших, разлученных войной и лагерями и встретившихся вновь после того, как Дергачев был объявлен погибшим, а у Анны был ребенок от другого. Судьба дает о себе знать и в тот момент,

когда нацеленный на Шаманова пистолет в руках Пашки дает осечку. Этот мотив совсем иной смысл придает мелодраматическим случайностям (подслушанным разговорам, перехваченным запискам).

Именно этот, роковой, фон по-особому окрашивает историю Валентины — хрупкой девочки, упорно не поддающейся привычной нравственной дикости. Ее позиция выражена через символическую деталь: она упорно ремонтирует палисадник, который постоянно ломают идущие в чайную посетители, — обойти палисадник труд невелик, но, как отмечает в открывающей пьесу ремарке Вампилов, «по укоренившейся здесь привычке, посетители, не утруждая себя «лишним шагом», ходят прямо через палисадник». Представляя персонажа, Вампилов скрупулезно отмечает, как он идет: через палисадник или в обход (сама Валентина проходит через палисадник лишь однажды, когда отправляется на танцы с Пашкой, сыном Анны Хороших, говоря: «Это напрасный труд. Надоело...»). Символический смысл этого ремонта ясен и самой Валентине. Именно в разговоре о палисаднике возникает духовный контакт между нею и Шамановым, еще одним бывшим молодым героем Вампилова, следователем, убедившимся в непрошибаемости круговой поруки властей предержащих и уехавшим после своего поражения из областного города, в глушь, в Чулимск, опустившим руки и мечтающим в свои тридцать с небольшим о пенсии. Вот этот диалог:

«Шаманов. Вот я всё хочу тебя спросить... Зачем ты это делаешь?
Валентина (*не сразу*). Вы про палисадник?... Зачем я его чиню?
Шаманов. Да, зачем?
Валентина. Но... разве это непонятно?

Шаманов качает головой: непонятно.

И вы, значит, не понимаете... Меня все уже спрашивали, кроме вас. Я думала, что вы понимаете.
Шаманов. Нет, я не понимаю.
Валентина (*весело*). Ну тогда я вам объясню... Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый.
Шаманов (*усмехнулся*). Да? А мне кажется, что ты чинишь палисадник для того, чтобы его ломали.
Валентина (*делаясь серьезной*). Я чиню его, чтобы он был целый.
Шаманов. Зачем, Валентина?... Стоит кому-нибудь пройти, и...
Валентина. И пускай. Я починю его снова.
Шаманов. А потом?
Валентина. И потом. До тех пор, пока они не научатся ходить по тротуару.
Шаманов (*покачал головой*). Напрасный труд.
Валентина. Почему напрасный?
Шаманов (*меланхолически*). Потому что они будут ходить через палисадник. Всегда.
Валентина. Всегда?
Шаманов (*мрачно*). Всегда.
Валентина. А вот и неправда. Некоторые, например, и сейчас обходят по тротуару. Есть такие.
Шаманов. Неужели?
Валентина. Да. Вот вы, например.

Ш а м а н о в (*искренне удивился*). Я?.. Ну не знаю, не замечал. Во всяком случае пример неудачный. Я хожу с другой стороны»[6].

Конечно, это разговор не столько о палисаднике, сколько о возможности улучшить мир и людей, или же о нравственной обучаемости (вменяемости) «нормальных» людей вокруг. Скептицизм Шаманова основан на его собственном горьком опыте — он на своей шкуре убедился в бесплодности попыток исправления пороков общества. Но здесь же выясняется и разница позиций Шаманова и Валентины. Дитя «оттепели», Шаманов надеялся на практический результат своих усилий по борьбе за справедливость — и оказался раздавлен, когда выясняется, что восторжествовала несправедливость. Валентина — из другого, куда более безнадежного, поколения, да и ее опыт деревенской жизни отличен от городского идеализма Шаманова. Она чинит палисадник с очень малой надеждой «воздействовать на общественные нравы», но эта унылая и, по видимости, бесплодная работа нужна ей самой как выражение ее неподчинения порядку вещей. Точно так же, как софокловская Антигона бессмысленно зарывала тело свего брата-преступника, не соглашаясь ни накакие компромиссы с законом или здравым смыслом.

Но в этом диалоге есть еще одна важная деталь: Шаманов, сам того искренне не замечая, всегда обходит палисадник. Он опустил руки, но не растворился в атмосфере весобщего нравственного одичания. Впрочем, он действительно «ходит с другой стороны», он попал в Чулимск из другого мира, из другой жизни — и в конце концов, вдохновленный Валентиной, ее доверием и любовью, должен в этот другой мир вернуться.

А вот откуда стойкость и мудрость в Валентине, выросшей в Чулимске и ничего, кроме Чулимска, не знавшей и не видевшей?

Ответ чрезвычайно прост: она такова потому, что она святая. Таков ее рок.

Критики спорили о том, кто виноват в том, что Валентина, не дожадавшись Шаманова, ушла на танцы с Пашкой — который ее затем изнасиловал? Кашкина ли, перехватившая записку Шаманова о том, что он задерживается? Шаманов, медленно возвращающийся к жизни после своего оцепенения? Или случай, благодаря которому Шаманов отправился искать Валентину не в ту сторону, куда она действительно ушла с Пашкой?

На самом деле «виновата» Валентина, которая услышала, как родная мать называет Пашку «крапивником», т.е. нежеланным, незаконным ребенком, и как хулиганистый, грубый Пашка плачет. Как святая, Валентина не может не пожалеть Пашку, хотя и понимает, что прогулка с ним на танцы добром не закончится. Таков ее рок жалеть несчастных, такова ее ноша, и она ее мужественно на себя взваливает. Финальная сцена пьесы, когда Валентина, изнасилованная Пашкой и избитая отцом, утром вновь выходит к палисаднику и упорно его ремонтирует (в то время как Шаманов заказывает машину, чтобы лететь в город, где будет суд, на котором он решил-таки выступить), — доказывает, что

[6] *Вампилов А.* Прощание в июне. М., Сов. писатель, 1984. С. 285. — Все цитаты приведены по указанному изданию.

произошедшая с ней трагедия не изменила ее позиции. Она будет продолжать чинить палисадники, зная теперь, что за святость нужно платить собой, своей болью, — и не отказываясь от совершенного выбора.

Главным орудием же рока становится в трагедии Вампилова сила нравственного одичания — так разворачивается возникший в «Случае с метранпажем» мотив нравственной невменяемости. Палисадник — всего лишь индикатор этой силы. Эта сила искажает все человеческие чувства и понятия. Так, Анна и Дегачев любят друг друга и именно поэтому каждый день дерутся. Пашка любит Валентину и потому насилует ее. Отец Валентины желает добра своей дочери и потому сватает ее за тупого и старого «седьмого секретаря» Мечеткина.

Лишь немногие сопротивляются этой роковой силе. Валентина. Старик Еремеев, который наотрез отказывается подать в суд на предавшую его дочку. Да и в конце концов — Шаманов, который пытается спасти Валентину, убеждая ее отца, что она в ту роковую ночь была с ним... Но Шаманов явно слабее Валентины, и его поспешный отъезд на суд выглядит как бегство и почти как предательство Валентины, которая вернула его к жизни и которой сейчас так нужна его поддержка.

Последняя пьеса Вампилова, оказавшаяся его первым экспериментом в жанре трагедии, несет на себе следы некой переходности. Определенная условность характера Валентины, притчеобразность мотива палисадника, нагнетание мотивов судьбы — всё это свидетельствует о том, что в «Чулимске» Вампилов пытался соединить бытовую драму с интеллектуальной, параболической, с традицией драмы европейского модернизма. Он искал форму, в которой события разворачивались бы в двух планах одновременно: в жизнеподобном мире повседневности, и в условном измерении философского спора о самых важных категориях бытия: о добре, зле, свободе, долге, святости. Причем, как видно по «Чулимску», Вампилов не пытался дать прямые ответы на все эти вопросы. Он стремился превратить всю пьесу в развернутый философский вопрос с множеством возможных ответов (один ответ — позиция Валентины, другой — скептицизм Шаманова в начале пьесы, третий — его же активность в финале, четвертый — спокойствие обитателей Чулимска...). В этом смысле драматургия Вампилова выступает как прямой предшественник «постреализма» — течения в литературе 80—90-х, синтезировавшего опыт реализма и (пост)модернизма и строящего свою картну мира как приниципально амбивалентную, нацеленную на поиски не порядка, а «хаосмоса» — микропорядков, растворенных в хаосе человеческих судеб, исторических обстоятельств, игры случайности и т.п. Думается, по этому пути пошел бы и Вампилов, если б роковой топляк не перевернул его лодку на Байкале.

«КЕМ-ТО ОКЛИКНУТ В ТОЛПЕ»

(Похвала Олегу Чухонцеву)

Может быть и неуместно называть статью об одном поэте — да еще вслед за юбилеем! — строкой из стихотворения другого поэта. Но дело в том, что другой, Александр Кушнер, посвятил это стихотворение себе, нелюбимому, как раз по случаю собственного 60-летия.

Шестьдесят мне исполнилось лет.
И я понял: какой я поэт?
Кто поэт, того нету в живых.
Их, умерших, люблю, молодых.

Начало (и продолжение) — за упокой. Зато конец — во здравие. Почти.

В самой общей погряз я судьбе.
Или, кем-то окликнут в толпе,
В самом деле, в слезах, невпопад
Быть усталым рабом его рад? (1996).

Не знаю, таково же ли было настроение Чухонцева в год его 60-летия (1998). «Где наша участь? В руке Держащей»[1] — сказано в большом стихотворении (маленькой поэме?) «Закрытие сезона», также датированном 1996-м. А спустя год:

Всё тварное сгорит
и рукотворное,
и лишь она парит,
строка проворная.

Стихотворение это («Пожмешь плечами — блажь...») — самое позднее в книге «Пробегающий пейзаж»...

Вернусь еще раз к Кушнеру. Среди его поздних стихотворений есть одно, посвященное Чухонцеву. «Мне приснилось, что все мы сидим за столом...» «Все мы» — собратья по этому святому ремеслу — поэзии, и отнюдь не только современники. Тут читает стихи Пастернак и высказывается Лермонтов, а за

Михаил КОПЕЛИОВИЧ — родился в 1938 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт. Работал по специальности. Как литературный критик стал выступать в 1960-х гг. Печатался в журналах «Новый мир», «Нева», «Дружба народов» и др. В настоящее время живет в Иерусалиме.

[1] Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, все цитаты из произведений Олега Чухонцева даются по книге «Пробегающий пейзаж. Стихотворения и поэмы». С.-Петербург, «Инапресс», 1997.

столом Председателя сидит неназванный, но кто ж вправе занимать это место, кроме Александра Сергеевича? Так что объект посвящения, как и автор его, включен в хорошую компанию.

Между прочим, и Чухонцев когда-то признавался: «..люблю я ленинградцев — мы родня...», а среди ленинградцев называл профессора Адмони (тоже не только профессора, но и стихотворца) и... Кушнера, чьей строчкой еще и озаглавлен этот «Отрывок» (1979).

* * *

Итак — Олег Чухонцев. В Советском энциклопедическом словаре (главный редактор А.М. Прохоров, издание второе. М., 1983) он «затесался» между «новатором производства и ж.д. машинистом» Чухнюк Ел. Мироновной (?!) и, ясное дело, чухонцами. Вот что о нем сказано:

«Чухонцев Олег Гр. (р. 1938), рус. сов. поэт. В лирике, ориентированной на рус. классику, — живое чувство природы, поэзии и драматизма повседневной жизни (сб. «Из трех тетрадей», 1976). Переводы».

Возможно, именно сборник «Из трех тетрадей» вызвал знаменитый песенный «отклик» Б. Окуджавы — «Я вновь повстречался с Надеждой — приятная встреча...» (1976). Почему стихи Чухонцева могли породить у его старшего собрата ностальгические строки о златых чертогах, которые мы сами себе рисуем, пока молодые? Бог весть. Но, наверное, и потому, что для Окуджавы муза Чухонцева — сестра, с чела которой глядят «прекрасные муки».

А в один год с энциклопедическим словарем вышел у Чухонцева сборник «Слуховое окно». Я жил тогда в Ленинграде. С хорошими стихами дело обстояло туго. Что-то стóящее продавалось из-под полы или, что то же, в писательском отделе «Лавки писателей». Каково же было мое удивление, когда на витрине общедоступного отдела я увидел «Слуховое окно»! Я даже идиотски осведомился у продавщицы: — Это продается? — Ну да, — ответила она, и я приобрел сразу несколько экземпляров — для себя и близких мне почитателей поэзии Чухонцева.

Начиналось же всё много раньше, когда автор этих строк прочитал в журнале «Юность» стихотворение дотоле ему неизвестного Олега Чухонцева «Попугай» (1961). Не думаю, что этот веселый, бегучий трехстопный анапест (та-та-тá / та-та-тá / та-та-тá-та) привлек бы мое внимание своей — несомненной — искусностью, если бы ближе к концу этого семистрофья не появились строки:

Боже ты мой, да ведь это же птица,
одержимая тварь — попугай!

Вот это «одержимая тварь» чем-то зацепило. (Как пишет Чухонцев в предисловии к книге «Стихотворения», выпущенной издательством «Художественная литература» в 1989 году: «Раскроешь наудачу, перелистаешь несколько страниц — речь идет, разумеется, о стихах, — и если что-то зацепит, это и остается, проверено». Подтверждаю.) И концовка у стихотворения замечательная:

Так кричи над разбуженным бытом,
постигай доброту по складам.

Я тебя, дуралея, не выдам.
Я тебя, дурака, не продам.

Точность эмоциональных характеристик: о д е р ж и м а я тварь, р а з б у ж е н н ы й быт. Подразумеваемое шутливое созвучие: постигай — попугай (он же — дуралей). Забавная (возможно, ненамеренная) отсылка к Баратынскому: мой удел невелик — мой дар убог. И всё это окутано атмосферой молодой щедрой дружественности, на фоне которой «друг предаст, а невеста разлюбит» воспринимается скорее как дурашливая дань традиции.

А потом было «Повествование о Курбском» (1967). Снова «Юность». И уж тут-то несомненность явления поэта была выбита, как письмена на скрижалях. Жаль, что Анна Андреевна Ахматова не успела прочитать это и с т о р и ч е с к о е произведение, — она бы оценила его по достоинству. Автор взял исторический прецедент и ради его собственной острой конфликтности (столкновение двух сильных умов и темпераментов), и ради его нынешней обжигающей актуальности (кто кого предал и почему).

После смерти Сталина отношение советской историографии к фигуре Ивана Грозного было пересмотрено. Но, по известному афоризму предпоследнего российского премьера, хотели как лучше, а получилось как всегда. Грозный «был» хорошим, «стал» плохим. А Курбский? Ведь изменник же! Признать в нем оскорбленную душу? Но тогда и Синявский с Даниэлем, чуть ли не вчера осужденные за то, что смелую трость наострили на тиранический режим!..

Чем же, как не изменой, воздать за тиранство,
если тот, кто тебя на измену обрек,
государевым гневом казня государство,
сам отступник, добро возводящий в порок?

В Советском Союзе, в год 50-летия Октября, это звучало неслыханной крамолой. Недаром после публикации «Повествования...» начались нападки на неосмотрительного автора и прошляпивший журнал. А в книгу «Слуховое окно», вышедшую спустя шестнадцать лет, стихотворение хотя и было включено, но без крамольной 6-й строфы. Восстановлена она будет лишь еще через шесть лет — в сборнике «Стихотворения».

Еще несколько слов о раннем Чухонцеве (раннем не только «для себя», но и для меня). У меня сохранилась вырезка из «Юности» за 1974 год (№ 8). Там, на одном листе (75/76), — окончание подборки Дмитрия Сухарева и начало чухонцевской; обе хороши, и обе с фотоснимками поэтов. Чухонцев, как на всех своих фото, в очках, но лицо молодое (36 лет, а то и меньше!). И стихи — молодые:

«Девочка на велосипеде» (каноническое название, начиная со сборника «Из трех тетрадей», — «Велосипеды») — 1974; «Еще помидорной рассаде...» — 1973; «Иронические стансы» (в книге «Пробегающий пейзаж» — «Как в сундуке двойное дно...») — 1965; «Бывшим маршрутом» — 1973; «...И поглотила одна могила...» — 1974.

Самый ранний из этой пятерки текстов — «Иронические стансы» — написан 28-летним стихотворцем, т.е. уже прошедшим лермонтовский возраст, но еще не достигшим пушкинского. Снова, как в «Попугае», — серьезность мотива («Как

в сундуке двойное дно, / так в слове скрыта подоплека...») «растворена» в легкой поступи стремительного четырехстопника. (Мы и дальше нередко будем наблюдать этот «чухонцевский парадокс» — «расходящиеся вселенные» смысла и лада.) И снова, как в случае «Повествования о Курбском», журнальный и книжный тексты различаются на одну строфу; только здесь получилось наоборот: строфы недостает в первопечатном тексте. Сказывается разница хронологии: там годы 1967 и 1983, здесь — 1974 и 1989 (книга «Стихотворения»). Приведу эту строфу:

Ведь и пророки от наук,[1]
до несусветных истин падки:
а вдруг всё сущее вокруг
предмет нелепой опечатки?

Так и представляю себе редактора, вычеркивающего кощунственных «пророков от н а у к» и убеждающего автора, что и так в его опусе достаточно всякого разброда и зыбкости...

Еще хочу сказать о цельности, некоей цикличности этой подборки. Стихи разных лет объединяет мотив т а й н ы: тайны бытия, тайны личности, тайны смерти. «Иронические стансы», как мы видели, прямо начинаются с «двойного дна». В «Велосипедах»: «...Есть у нас секреты, / а тайны нет...» В «Еще помидорной рассаде...»: «чего ни коснется рука — / и нет, и останется тайна...» В «Бывшим маршрутом»: «И как повеет чем-то...» и «...только остается / неслышный шелест...» В «...И поглотила одна могила...»:

Гляжу — а вас и следы простыли.
Лишь снег остался да в поминанье
два красных яблока на могиле...

У подлинных поэтов всё — по «первому закону диалектики»: всё в мире взаимосвязано и взаимообусловлено. В уже цитировавшемся предисловии к «Стихотворениям» Чухонцев утверждает, что «книга эта, сложившаяся из стихов разных лет и разного опыта, не писалась как книга, по какому-то хотя бы смутному плану...» Ну что ж. Писалась не как книга, а вышла все-таки книга. Разумеется, сказанное относится и к другим книгам этого автора, тем более что все они, кроме самой ранней («Из трех тетрадей») и «Стихотворений», имеют содержательные заголовки, а сборник «Слуховое окно», сверх того, эпиграф (из Даля) и программный четырехстрочный текст («...А бедный художник избрал слуховое окно...»), не вошедший ни в одну из последующих книг Чухонцева.

* * *

Поскольку две последние книги Олега Чухонцева — по существу, избранное поэта («Стихотворения» — до 1989 года, «Пробегающий пейзаж» — до 1997-го), представляет интерес сравнить оба массива текстов — так сказать, по количеству и ассортименту.

---

[1] Здесь, я полагаю, запятая — рудимент, сохранившийся от редакции «Стихотворений» (с. 61): «Ведь мы пророки от наук,..»

В «Стихотворениях» их 136 (не считая переводов), в «Пейзаже» — 145. Разница — каких-то 9 текстов. Выход в свет обеих книг разделяет не так уж мало времени, отсюда вывод: «писучесть» Чухонцева за эти восемь лет резко снизилась. Более детальное рассмотрение показывает, что новых текстов, созданных (завершенных) после 1989 года, в «Пейзаже» и того меньше: восемь. Среди них, правда, две больших вещи: «Закрытие сезона» с подзаголовком «Descriptio», что в переводе с латыни означает «изображение», «описание», и трехчастная баллада[1] «Военный билет № 0676852» (обе — 1996).

Далее выясняется, что в свою последнюю книгу автор включил некоторое количество старых стихов, ранее не публиковавшихся (по крайней мере не вошедших в прежние сборники). Таковых опять-таки 9, в том числе по одному: 1958-го, 1960-го (поэма! — «Осажденный. 1238»), 67-го, 70-го, 71-го (странная вещь, состоявшая из одной строчки: «Так много потеряно, что и не жаль ничего!..»; последующий текст — 9 строк — «немой»), 74-го, 76-го (двустишие), 82-го (очень сильное стихотворение «Кто там чиркнул по́ небу и погас...», отчасти перекликающееся с «Мне приснилось...» А. Кушнера; см. выше) и 85-го.

Самое, однако, любопытное, что Чухонцев «забыл» в «Стихотворениях», точно старую рухлядь на чердаке, еще девять (прямо заколдованная цифра), среди которых есть превосходные: «Булат, Камил, Фазиль...», «Пожелание (Из И. Керлера)», «Голос за снимком», «А злоколючий пух чертополоха...»

Почему он так поступил? Ну, еще более или менее понятно в отношении текстов вроде «Пожелания» и «Мушт поет (Из И. Шимона)»: это как бы переложения, а в таких вещах, как «В зверинце», «Соседка», «Голос за снимком», «На ночной, на заснеженной улице...» и «Отпела, отплясала и прошла...», мысль, быть может, слишком обнажена. Но «Булат, Камил, Фазиль...» и «А злоколючий пух чертополоха...» — это уж точно потери. Как и два замечательных старых стихотворения, украшавших два первых сборника Чухонцева: «Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий...» и «На окраине кладбища, где начинается поле...»

Однако хозяин — барин. Будем считаться с позднейшим авторским выбором и в дальнейшем изложении опираться лишь на 145 текстов «Пробегающего пейзажа». Тем более что, скажем, «Голос за снимком» и «Зычный гудок...» автору этих строк (под псевдонимом М. Санин) уже приходилось разбирать в рецензии на журнальные публикации Чухонцева 1987—1989 гг. (см. «Литературное обозрение», 1989, № 10)[2].

* * *

Из предыдущего читатель понял, что я высоко ставлю Чухонцева, числю его в мэтрах современной русской поэзии. Я всегда — с тех пор как был сражен первыми прочитанными в своей жизни стихами (сейчас уже не помню чьими, потому что было это давно) — ощущал себя по отношению к любимым поэтам

[1] Жанровое определение — авторское.

[2] Не могу также не порекомендовать читателям, интересующимся квалифицированным исследованием поэтики и пафоса стихов Олега Чухонцева, блестящую рецензию на книгу «Слуховое окно», принадлежащую перу Натальи Ивановой («Дружба народов», 1984, № 11).

этаким Санчо Пансой при Дон Кихотах. Смею надеяться, что в этом своем ощущении я не одинок. И что читатели, к которым я обращаюсь («собеседники», по слову Мандельштама), разделяют мое восхищение поэзией Чухонцева — если не столь же долго, то хотя бы столь же «слепо». Последнее слово вовсе не означает, что любую строку за подписью «Олег Чухонцев» я готов принять безоговорочно. Меня, например, не впечатляет самый ранний (1958) из помещенных в «Пробегающем пейзаже» текстов — «Вечером на даче...» Может быть, он дорог автору как память, но, право же, слаб — и по тому, как в нем разрешен (мнимо) м о т и в противостояний тайно враждебным силам (вообще говоря, один из л е й т - м о т и в о в поэзии Чухонцева), и по бодренькому м о т и в ч и к у, явно повторяющему «Смерть пионерки» Багрицкого.

Не то поэма 1960 г. — об осаде Торжка Батыем в году 1238-м. Не знаю, как насчет историзма, но художественно вещь вполне состоялась. Почему она не публиковалась ранее? Может быть, из-за своего так называемого пессимизма, обращенного как в прошлое, так и, главное, в будущее (об этом свидетельствует концовка поэмы)?

И, коль уж зашла у нас речь о жанре поэмы: если взять только поэтов-ровесников Чухонцева, то почти никто из них не оставил сколько-нибудь заметного следа в развитии этого странного жанра. (Странного, поскольку жанровые границы сочинения в стихах, именуемого поэмой, по-настоящему до ей поры не обозначены. Недаром современные авторы редко ставят под заголовком своих вещей, каковые могли бы претендовать на «звание» поэмы, само это слово.) Как бы там ни было, я мог бы привести лишь несколько примеров большой формы у ранней Беллы Ахмадулиной, у живущего в Израиле Наума Басовского и — с большой натяжкой! — у покойного Иосифа Бродского. Что же касается Чухонцева, то у него, помимо «Осажденного», есть еще три вещи, в «Пробегающем пейзаже» вынесенные в отдельный (последний) раздел. Их жанр автор определил сам, дав им соответствующие подзаголовки: «городская история» (это об «Однофамильце»), «пробуждение» («Из одной жизни») и «семейная хроника» («Свои»)[1]. К этому перечню следует добавить совсем недавнее «Закрытие сезона», как и «Осажденный», ютящееся среди текстов своего хронологического периода.

Конечно, каждая поэма (буду все-таки называть их так) Чухонцева заслуживает отдельного, обстоятельного разбора. Две из них я довольно подробно прокомментировал в упоминавшейся выше статье в «Литературном обозрении». Приведу из нее две выписки. Первая посвящена «Однофамильцу» (1976, 1980; впервые опубликовано в «Дружбе народов», 1987, № 4), вторая — «Пробуждению» (1977, 1980; впервые — там же, 1986, № 8).

«Однофамилец» снабжен подзаголовком «Городская история» и некрасовской строчкой: «Чу! пенье! я туда скорей...» в качестве эпиграфа. «Г о р о д с к а я

[1] Занятно, что от сборника к сборнику подзаголовок этой вещи менялся: в «Слуховом окне» проставлено «Из поэмы», в «Ветром и пеплом» (1989) и «Стихотворениях» — «Памяти близких». Да и «Из одной жизни (Пробуждение)» в первопубликации называлось «наоборот»: «Пробуждение (Из одной жизни)». Все эти изменения отражают колебания поэта при обозначении жанра своих «мегалов».

история» — это очень близко к Трифонову, не правда ли? Тут и общность объекта изображения и постижения (Москва и москвичи). И социальная физиономия героев (нынешняя так называемая полуинтеллигенция, к которой — не без самоиздевки — относит и себя лирический герой стихотворения «Отрывок» («...не к лицу грустить, как барчуку, / интеллигенту в первом поколенье, / или, как Слуцкий говорит, полу- / интеллигенту...»). И принцип многоголосности, когда каждому персонажу дается возможность высказать с в о е, пусть и не обязательно с о б с т в е н н ы м голосом. (А, как в «Однофамильце», через главного героя.)

В «Однофамильце» голосоведение и автономно, и иерархично. Есть рассказчик, чей голос с самого начала небезразличен к своему предмету: он нелицеприятно судит участников «городской истории». Это ему принадлежат самые хлесткие аттестации персонажей: «язык, размоченный в фужере»; или: «вся эта публика была / как бы соавтором романов, / идей с расчетом на успех / и веяний сродни обрядам». Но — также с самого начала — лексика рассказчика заражена ублюдочным, искажающе-кривляющимся городским жаргоном, всеми этими «не просек», «под банкой» и «ухайдакал». Поэтому «передача эстафеты» центральному персонажу — Семенову — стилистически незаметна, хотя и отделена от предшествующего текста типографским пробелом. В дальнейшем сквозь голос Семенова «пробиваются» другие голоса: жены (через отдельные, но многозначительные реплики), хозяина застолья «на углу Вернадского, за перекрестком» (через хмельные афоризмы), случайных встречных и даже самого Семенова, но только прежнего, каким он был «давным-давно когда-то, в Орше». Наряду с этим, в поэме есть «островки» прямого диалога и размышлений в форме прямой речи. Во всей этой разноголосице, в вавилонском смешенье языков временами все-таки слышится «одинокий голос человека».

Вспомним еще раз Трифонова. Дед Дмитриева в «Обмене» объясняет: «презрение — это глупость. Не нужно никого презирать». И хотя у героев «Однофамильца» (как, впрочем, и у большинства персонажей «Обмена» или, допустим, «Предварительных итогов») презрение к другим есть основная форма самоутверждения, правит бал в поэме Некто Высший, Тот, Кто способен понять и отпустить грехи.

«...Как от болей мрачится дух, / так от болей и прояснится». Надо ли пояснять, что речь идет не о боли физической. Скорей о метафизической... «Боль — истинное слово, боль — доброе слово, боль — милосердное слово», — приводит в своем письме к Рильке М. Цветаева слова св. Кунигунды (XIII в.) Душа, которую эта боль посетила, — не погибшая душа. Героям «Однофамильца», по крайней мере двум главным, дано испытать эту боль — по крайней мере однажды ...

«Пробуждение» — современный апокалипсис. Звучание этой вещи сродни реву труб иерихонских. Здесь всё происходит вроде бы на малом плацдарме (во всяком случае мы привыкли считать этот плацдарм малым; большой — общество, государство). Зато и лучше видно, насколько успешно продвинулась «ударная стройка сатаны»[1] в глубь человека, в его грудную клетку. Особенно потрясает монолог юной акселератки, которая с простодушием шолом-алейхемского маль-

[1] Цитата из стих. «Явленье дьявола народу...» (1984).

чика Мотла заявляет: «...мне везет, / а может, я счастливая, не знаю, / счастливая, наверно: папка пьет / и мамка лается, а я летаю...» Она еще, к счастью, иной раз выйдя на балкон, способна ощутить «неземную тягу», ее еще «толкает полетать», но... Как поется у Окуджавы, «быть не вечно молодым, скоро срок догонит...»

Четвертый голос в поэме принадлежит старейшему члену семьи — матери, свекрови, бабке. Она единственная винит в семейной разрухе не других, а себя, хотя, пожалуй, она виновата меньше всех (исключая внучку). Она, Матрена (случайно ли совпадение имени героини чухонцевской поэмы и рассказа А. Солженицына?), простая деревенская (посадская?) женщина, неграмотная и «бестолковая» (это ее слово), молит Того, Кто, как ей мнится, только и способен ее понять, молит простить е е (за какие такие вины?) и помочь и м — изверившимся и сбившимся с пути:

...не откажи и Ты слезам моим,
не для себя ищу Твоей поддержки,
истаяли деньки мои как дым
и кости выжжены как головешки,
не оставляй, прошу, мужей и жен
и огради детей Своей десницей...

В ней и таких, как она, — наше спасение.

«Свои» (1982) — вещь с двойным дном. Сперва взору открывается вроде бы бесхитростно «наляпанная» панорама бесчисленной родни поэта. Эпиграф из Пушкина: «Сват Иван, как пить мы станем...» — ритмический и интонационный камертон. Ну, конечно: «Все-то с шуткой, прибауткой, / и нечистого с анчуткой / запросто отбрить могла» (о матери) — это прямо из пушкинского «Свата Ивана...»: «Мастерица ведь была / И откуда что брала. / А куды разумны шутки, / Поговорки, прибаутки...» Но у Пушкина это все-таки не более как фольклорный эксперимент, разумеется, весьма удачный, а у Чухонцева — иное. За внешней простонародностью (почти лубком), за этими самыми шутками и прибаутками, за частушечным перебором имен и степеней родства всё отчетливее прорисовывается картина народных бедствий и обид за первые 50 лет истекающего столетия. «...И предчувствие близкой беды / открывается в русской равнине», как сказано в много более раннем (1965) стихотворении «Я не помню ни бед, ни обид...»

В полном тексте поэмы, печатающемся с 1989 г.[1], реестр народных бед, наряду с войнами, голодом и болезнями, включает террор родной советской власти. Тетя

[1] По странной прихоти судьбы, в «Пробегающем пейзаже» отсутствует одна — на мой взгляд, далеко не проходная — строфа, имеющаяся в обоих сборниках 1989 г. (ее место — между 9-й и 8-й с конца строфами последней книги):

Потому и умереть им
или где-то в мире третьем
затеряться не дано,
нашим старикам, старухам,
в тех краях, пока мы духом
в этих с ними заодно.

Маня потеряла в эти годы четырех сыновей, одного из которых — третьего — «за анекдоты / лес отправили валить», а «четвертый сын, последний, / двадцатичетырехлетний, / повидавший фронт и тыл, / в дом вернувшийся, от муки / непереносимой, руки / на себя же наложил...» Что ж это была за мука, настигшая молодого человека после того, как он побывал и на фронте, и в тылу? (А может быть, не после, а во время?..)

Поэт не анализирует, тем более не морализирует. Он лишь «сообщает». Но, знаете ли, мне лично такая «незамысловатость» больше по душе, чем натужные декларации автора другой поэмы, коснувшегося той же муки непереносимой и тщившегося доказать, что всё это вроде бы происходило в другом пространственно-временном континууме, «как за чертою пограничной». Правда, «За далью — даль» была завершена в 1960 году, а окончательный вердикт своей героической эпохе Твардовский вынес в закатной, этически и интеллектуально гораздо более зрелой вещи — «По праву памяти» (1966—1969). Как бы там ни было, есть у меня догадка (быть может, ложная), что поэма «Свои» написана в некоторой внутренней полемике с удостоенной Ленинской премии поэмой Твардовского.

А что такое «Закрытие сезона»? Неужто и впрямь не более чем о п и с а н и е (т.е. нечто чуть ли не официальное, да еще и в высшей степени пассивное) одного пребывания автора в коктебельском Доме Поэта? Да нет, какое там к черту описание! За отчет, в котором больше вопросов, чем ответов, и ламентаций, чем констатаций, никакое начальство по головке не погладило бы. Если тут и и з о б р а ж е н и е, то «изображение» души. Умудренной. Знающей настоящую цену вещам. Взыскующей чистоты и благодати, но, зная порядки в этом мире, готовой довольствоваться и меньшим: «шалью на лампе и бездной рядом милых вещиц в укроме».

Поэт итожит прожитое и нажитое собой и страной. Итоги неутешительны. Большая страна развалилась. Таврия нынче — «туманность с Кучмой и Кравчуком»; «жовто-блакитный дым / по водам стелется за кормой в сторону Кара-Дага». Курортный Крым обжит нынче совсем другой публикой: «Ныне шахтер, как письменник, редок, нынче другой народ, / по части экономической больше или же уголовной» (ах, хорошо смотрится здесь эта неуверенное «или же»!). И «список отплывших (по Лете! — *М.К.*), увы, так длинен, что не окинешь зараз», а выходящий из воды Поженян «стоит как осколок выбитого десанта» (намек на фронтовую судьбу поэта Григория Поженяна, но не только). Словом:

> ...какие тут счеты, если нет и на мне лица,
> и я слепотой своей заслонюсь ввиду тотальной уценки,
> как тот Помазанник Божий, который так и не смог до конца
> марксова Щедрина дочитать, потому что поставили к стенке.

Словом, «пора уезжать, я знаю, тем более уходить», и «что еще? хорошо бы / тихо отчалить из сих пределов и приостановить / свое членство в этой действительности...»

Мрак беспросветен? Нет! Все-таки есть «этот залив с потухшим вулканом». И Рейн «у моря соображает» не только выпивку. «И тишина стоит как главное что-то рядом». И память о первом объятии прочна и прекрасна. Всё это — п л а ц д а р м,

к о т о р ы й е с т ь. И вот эта странная поэма — она тоже плацдарм. Потому что она состоялась и набрана типографским шрифтом.

Между прочим, «Закрытие сезона» — не первое обращение Чухонцева к крымской, так сказать, тематике. Было еще относительно раннее (1966) стихотворение «Нет ничего ужаснее вырожденья!..», совершено не похожее на «сагу о Коктебеле», намытую в подкорку спустя тридцать лет. Тут не обжитой «письменниками» благодатный приморский край, а нагроможденье «развалин и пещер Чуфут-Кале». (Другой поэт — Борис Чичибабин — в средине 70-х посвятит этому страшному месту текст под длинным заголовком «Чуфут-Кале по-татарски значит «иудейская крепость». Но он совсем про другое.) Для 28-летнего автора это уж что-то слишком мрачное. Надо еще заметить, что мрачность в последней редакции усилена по сравнению с той, что вошла в «Слуховое окно» и «Стихотворения». Там хоть не было Иеремии и лоботомии и не душа сыпалась, как известняк, а

...слышать ныне в каменной долине
лишь скрип протезов, да тоску полыни,
да в е т р я н у ю с ы п ь и з в е с т н я к о в[1].

Но, так или иначе, ужас поэта перед вырожденьем (города, народа, отдельного человека, наконец), перед «изнанкой существованья» и собственной тщетой выражен так, что и у читателя волосы начинают шевелиться (как при чтении дневниковых записей Л. Толстого об его «арзамасском ужасе»).

Впрочем, 1966-й — год расцвета поэтического дарования Чухонцева. Тогда написаны такие чу́дные стихи, как «Ночных фиалок аромат...», «Пасха на Колыме», «Я назову тобой бездомный год...» Особенно второе стихотворение из этой тройки: оно напоминает позднего Пастернака («На страстной») не только мотивом, но и зрелой силой его развертывания и разрешения.

Вот из концовочных строф «Пасхи на Клязьме»:

И чудо свершилось сполна:
к рассвету или воскресенью
увидели новую землю
и — ахнув — узнали: весна!

В 66-м в поэзии Чухонцева в полный голос зазвучали темы бытийные (в том числе инобытийные, надмирные), явственно проступили знаки «чего-то большего, чем это...» Христианство поэта не было, однако, каким-то затворнически-отрешенным — напротив, исполненным приятия мира сего, несущего в себе и сладость, и горечь, и полноту настоящей жизни, и семя грядущего неминуемого распада. В дальнейшем эти мотивы варьировались, дополнялись как со стороны светлой, Божеской, так и противоположной.

Возьмем стансы «Явленье дьявола народу...» Вроде бы они насквозь пропитаны политикой, публицистичны и декларативны, но, в сущности, они — от

[1] Цит. по кн. *Олег Чухонцев*. Стихотворения. М., «Художественная литература», 1989. С. 66. Разрядка в цитате моя. — *М.К.*

противного — дополняют поэму «Из одной жизни» (о ней шла речь выше). Поэма кончалась словами молитвы:

...и если грех наш весь
перед Тобой, Тебе метать и громы:
что со слезами мы посеем здесь,
потом с великой радостью пожнем мы.

Стансы — кончаются мрачным видением, навеянным сатанинскими происками:

Конец ли наступает света,
заря ли новая встает:
летит кровавая комета
и в страхолесье гад ползет.

И древнему доверясь Богу,
не ветвь поднявшему, а хлыст,
выходит с бомбой на дорогу
отечественный[1] террорист.

Он тверд решимостью суровой,
но занесен незримый меч
и над его рукой, готовой
всё разрешить или рассечь.

Здесь я должен с «решимостью суровой» возразить поэту. Если древний Бог — это Бог еврейского Танаха (Он же Саваоф, в ивритской транслитерации — Цваст, т.е. Бог воинств), то нет ничего более чуждого терроризму (беззаконному разбою, разнузданной партизанщине), чем Бог — покровитель еврейского народа, тот Единый Бог-Вседержитель, под знамена Которого встали со временем и христианские народы. Я думаю, Он-то и заносит незримый меч над рукой террориста (российского, как и всякого иного), сотрясаемой дрожью бессмысленного (сатанинского) разрушения. Он — и никто другой.

* * *

Мотив христианской любви — один из центральных у зрелого Чухонцева. Я уже говорил об этом, когда касался поэм «Однофамилец» и «Из одной жизни». Обращусь к лирике. Вот стихотворение «...А в эти дни горели за Посадом...» (1972). В нем есть четыре строки о свойствах любви, которым, право, позавидовал бы и Пастернак, в старости, как известно, мечтавший написать «восемь строк о свойствах страсти».

Нет, не любовью, видно, а бедою
выстрадываем мы свое родство,
а уж потом любовью, но другою,
не сознающей края своего.

[1] В редакции «Ветром и пеплом» и «Стихотворений» — международный. Тогдашняя уступка цензуре или нынешнее переосмысление?

Строго говоря, в данном контексте это относится к родным и близким, а не к женщине. Но, во-первых, это ничего не меняет по существу, а во-вторых, годом ранее написан текст уже прямо «про это»: «Робея, сама прибежала...» Своей прекрасной целомудренностью этот любовный (эротический!) дифирамб сродни лермонтовскому «Она не гордой красотою...»

О чем ты? Как доводы дóлги.
Как руки холодны.
Не надо, не надо о долге —
мы только любимым должны.
.....
А наша с тобою дорога —
навстречу да в две колеи.
Ты плачешь? Прости, ради Бога!
Я руки целую твои.
.....
И так хорошо, что мы рядом,
что темен случайный ночлег
и ночь шелестит снегопадом,
и только и свету что снег...[1]

Нет, не только! Свет исходит от самих этих строк. (В редакции «Стихотворений» концовка была банальной: «а губы правдивее слов!» Соответственно во второй строке был «нечаянный кров».)

Я вовсе не хочу педалировать благостность, «бесконфликтность» любовной лирики Чухонцева. Любви его лирического героя свойственна и благородная избирательность, и страстный пыл, и чувство собственника, как в тексте «...не может быть! — и сердце в колотьбе...» (1973); но и, повторяю, д р у г а я, высшая любовь, лишенная какой-либо корысти. Христианское чувство у Чухонцева не вымучено, не «натащено» (по слову Достоевского) — оно соприродно его светлому дару.

Неслыханна эта доля,
живительная беда —
вытягивать поневоле
мелодию в холода,
и слаженней нет артели:
пошатываясь едва,
выньянчивать в колыбели
и музыку, и слова.

«Когда запевает бор» (1979)

Мне, быть может, возразят: это у Чухонцева-то дар светлый? И наберут кучу примеров беспросветной черноты в тех же стихах 60—70-х годов. Еще куда ни

[1] Ср. со стихотворением «...И поглотила одна могила...» (1974) — памяти умерших родителей: «А снегу, снегу — само сиянье! / Гляжу — а вас и следы простыли. / Лишь снег остался да в поминанье / два красных яблока на могиле...»

шло — стихи о том, что нет правды на земле: про тот же Чуфут-Кале или, допустим, про «татарскую Русь». Но ведь есть же еще и «Superego» (1967) с его отчаянной концовкой: «Нету выбора. О, как душа одинока!» И тем же годом датированный текст «Душа чему-то противостоит...» А «ночью проснется и в стену глядит...» (1974), и «...и почему-то вижу я...», «...И дверь впотьмах привычную толкнул...» (оба 1975)? Сплошная чертовщина! Но нет. Это просто еще один поворот мотива христианской любви — в его в и н и т е л ь н о й (от слова «вина») ипостаси. Поэт если и винит кого-то, то только злую волю людей, отклонившихся от Божьего пути. Но при этом ни на миг не забывает о с о б с т в е н н о й вине, как со-племенника, со-временника, со-терпеливца.

Помните, у позднего Твардовского: «Я знаю, никакой моей вины / В том, что другие не пришли с войны. / ... / Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...» Сходное настроение владело Чухонцевым, когда он писал:

И прожитому я подвел черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, модода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.

«...И дверь впотьмах привычную толкнул...»

И потом, спустя два десятилетия, когда, проживши (хотя и не до конца) э т у, зрелую, жизнь, он доберется до горького зернышка, до едкой сердцевины смысла:

Слова все сказаны споры разрешены
а после того как сказаны все слова
окаменелость какая-то чувство вины
или бесчувствие не поймешь уже как трава
как песок под лопатой и не поймешь по ком
глуховатые как судьба эти комья глины...

«Слова все сказаны...» (1994)

Тут уже и знаки препинания не требуются. Речь течет, как река, плавно несущая свои воды...

Поскольку у меня вырвалось слово «река», обращусь к нескольким текстам Чухонцева, связанным с... водной стихией. (При этом стараясь не выходить за рамки мотива христианской любви.) Шестой раздел книги «Пробегающий нейзаж» открывается большой (112 строк) элегией «...А в той земле, где Рыбинское море...» (1983). Формально это отклик на затопление исконных русских земель в верховьях Волги.

Но этот повод выводит поэта на широкие раздумья о судьбах родины, рода человеческого, Мирового Порядка. Отсюда и «Ной у ковчега с парами зверей / и белым голубем». И «великая блудница, / сидящая на водах и верхом / на звере семиглазом и багряном». И «бес пятнистый с кочергой, / пытающий свидетелей Христовых». И — «Первенец из мертвых». (Попутно замечу, что Чухонцев-поэт всегда проявлял нешуточный интерес к церковной живописи. В

разбираемом стихотворении речь идет о фресках Донского монастыря в Москве, а есть у него еще два текста, прежде объединявшихся в диптих «Фрески»: это «Когда пришло последнее свиданье...» (1969) и упоминавшийся выше более поздний — «...и почему-то вижу я...») Поэт скорбит «о той земле»; он сам, как кричащий в тумане белый теплоход, в с в о е м моторе чувствует живую боль. Но... Это в нем говорит вполне естественнон сочувствие к обездоленным собратьям (по своему этносу и человечеству в целом). С другой же стороны, как верующий человек, он адресует им же слова надежды и упования на свет горний:

Пой, муза, пой, пустые бросим споры,
унынье от лукавого — и пусть
проходят за кормою Переборы
и Пошехонь отвеивает грусть.
А где язык запнется у поэта,
при свете дня или ночной звезды
пусть встанет как восьмое чудо света,
белеясь, колокольня из воды...

Интересно, что вслед за «...А в той земле...» помещен в «Пробегающем пейзаже» дифирамб Булату Окуджаве по случаю 60-летия последнего — «Махаробели» (1984), исполненный радости, надежды и света (лексика авторская). В книге «Стихотворения» они были сильно разнесены (на 19 текстов и 35 страниц). Еще чуть дальше — очень значительное стихотворение «На Каме-реке и на Белой реке...» (1985). И снова:

Ну что же, распашем речной чернозем,
по руслам затопленным к устью пойдем,
и пресное станет соленым.
Вокруг и под нами струящийся мрак...

Иначе говоря, выживем. Но в качестве кого? В о к р у г и п о д н а м и... Последняя строка туда же: «Ни зги ни видать за буями». А вы говорите: светлый дар! Да, и все-таки светлый! Мрак высветляется д р у г о ю любовью: «Страна моя! Родина братских могил!» Вслушайтесь в звучание этих простых слов. Вчувствуйтесь в эту любовно-рыдающую интонацию, благодаря которой затертое, едва ли не официальное словосочетание «братские могилы» обжигает болью свежей раны...

И последнее из этой «серии» — стихотворение «Сразу споткнулся о память, едва вошел...» (1985). Гибель отчего дома:

Вот он твой дом, согретый сырым теплом,
шведка-голландка, ее изразцы остыли,
стоя бок о бок теперь с паровым котлом,
что́ она здесь: обломок преданья или
напоминанье о том, что и самый дух
с дымом уходит, если очаг потух?

Тут, правда, не вода — «огонь невидимый всё пожрал». Но что огонь, что вода... Сатана может использовать во зло человеку и самые родственные ему

стихии, без которых сама жизнь обернулась бы «ветром и пеплом». И всё же, всё же, всё же...

Вольному воля — чудищу облу в пасть
или же к чреслам Отца головой заблудшей!
.....
Путь ли бездомный, быт ли наш кочевой,
каждый в России — калика перехожий.
Вот и хочу я вырыть колодец свой,
чтоб человек какой или птенчик Божий
ковшик нашли с водою, а нет, ну что ж,
есть еще Млечный Путь и Небесный Ковш.

* * *

Хочу еще сказать два слова о прозе Чухонцева. Возможно, я знаком не со всеми образцами его эссеистики, но и тех, которые я знаю [1], достаточно, чтобы ее оценить столь же высоко, как и его поэзию.

«Комментировать свои стихи — занятие бесплодное», — пишет Чухонцев. Так ли это на самом деле? И так ли уверен в справедливости своего утверждения сам поэт?

Разумеется, никакой комментарий к стихам не заменит самих стихов. Мы знаем, что и Ахматова в прозаическом «Вместо предисловия» к «Поэме без героя» написала:

«Никаких третьих, седьмых, двадцать девятых смыслов поэма не содержит.

Ни изменять ее, ни объяснять я не буду.

«Еже писахъ — писахъ».

А все-таки предварила поэму рассказом о том, как она пришла и кому посвящена. То же самое с «Реквиемом». Да ведь сам Пушкин предпослал обширное «Предисловие» к своему циклу «Песни западных славян»! Так что традиция, как говорится, давняя и почтенная.

И потом. Извинения — извинениями, а коль все-таки комментируешь, стало быть, зачем-то это тебе понадобилось?

Но главное: победителя не судят.

Чухонцев в своих комментариях к собственным стихам — победитель. И в журнале, и в книге ему удалось сказать нечто такое, что хоть и имеет прямое отношение к стихам, но чем-то (существенным) их и дополняет.

Слова о «живом, кровоточащем диалоге русских поэтов со своим веком». Честная, хотя и не вполне справедливая самокритика: «разрешенная смелость попахивает конъюнктурой». И глубокое наблюдение, связанное с возрастной «переменой зрения»: «...как будто глядишь в зеркало из прихожей на знакомую

[1] Послесловие (18 строк) к подборке стихов «Общие стены» в «Дружбе народов», 1989, № 1; предисловие «Лицо на групповом портрете» (10 страниц) к сборнику «Стихотворения»; 8-страничное выступление 26 мая 1995 г. на церемонии вручения Семену Липкину Пушкинской премии — «Похвала Семену Липкину» («Новый мир», 1995, № 10).

комнату со знакомым пейзажем в окне и не узнаёшь, и никак не можешь отделаться от чувства двойственности и зыбкости всей картины: в детском лице подмечаешь черты старческие, а в старческом — детские, видишь невидимое, а бросающееся в глаза не замечаешь вовсе». И еще многое другое. Всё это во всяком разе небанально, неплоско, небледно.

И еще, возвращаясь к моему герою, скажу одну простую вещь: истинный поэт и оглядываясь смотрит вперед, предвидит. И мне остается напомнить здесь его старое стихотворение («Похвала Семену Липкину»), в котором он, красивый, двадцатидвухлетний, предрек самому себе:

Еще скрывается за шепотом
непробудившаяся страсть,
и капля светится под желобом,
вот-вот готовая упасть.

«Два окна-2» (1959)

Капля упала. И не единожды. Аз же грешный, написавший нынче эту похвалу Олегу Чухонцеву, и есть один из тех, кем поэт окликнут, кому нужны его стихи. Уж не знаю, захочет ли Чухонцев «быть усталым рабом» всех нас, почитателей его поэзии. В конце концов, это не он выразил радость рабствовать любящим и ценящим его. Но мне достанет и неразделенной любви.

ЧУЖЕЗЕМЕЦ

Беседа члена редколлегии «Континента» Марины Адамович с Леонидом Пинчевским

Российская эмиграция в Америке — что мы знаем о ней? Мы привычно преклоняемся перед эмигрантами первой и второй волны, по-сиротски завидуя их прямому праву наследования того, что мы, простые выпускники советских школ, зачастую знаем лучше и ценим больше; как люди сами многое повидавшие и пережившие, мы любуемся их прямыми офицерскими спинами где-нибудь в маленьком затерявшемся православном храме — они выжили, сохранили язык и веру, и это обнадеживает нас в нашем сегодняшнем растрепье... Эмиграция семидесятых тоже радует наш свободный нрав: мы отогреваемся на ее московских кухоньках где-нибудь в Бруклине или в Ферлоуне, нас забавляет их наивная пристрастность к спорам, быть или не быть России, но подкупает нерастраченный жизненный энтузиазм и одесский английский... Сложнее с последней волной эмиграции: художник-маргинал Леонид Пинчевский заявляет: если местная мафия закажет ему монумент для Брайтон-Бич, он изваяет гигантскую колбасину. Что в каком-то смысле соответствует жизни этого эмигрантского побережья. Но даже американцы, пожалуй, уже поняли: текущие из расхристанной России потоки — это не мафия, торгующая разбавленным водой бензином и убивающая сыновей богатых киноактеров; это не только оголодавший Привоз и жуликоватая Молдаванка, нищая Жмеринка и Бердичев — с их естественным и всепоглощающим желанием наесться, но еще и компьютерные программисты ЛГУ и МФТИ, лучшие врачи Киева и Москвы, завсегдатаи Метрополитен-опера и Карнеги-холл — правда, их галерок («фемили секл», по-американски, ибо на ниже денег не хватает, а пропустить Доминго или Горчакову с Хворостовским — не хватит сердца и души). Словом, последняя эмиграция — это мы с вами: ограбленные родным правительством работяги или интеллигенты, не сумевшие прокормить собственную семью и побежавшие за лучшей долей на край света. Правда, уже понятно, что там хорошо, где нас нет, и от себя не убежишь — но... бегут, уходят, уезжают из России, и кто осудит? Разве нет у человека права жить там, где он хочет жить или где он может выжить?.. Но что греха таить — и осуждают, и поносят, и завидуют, и отрицают...

А — знают ли?

Вот из этого вопроса и возникла у меня идея познакомить наших читателей с их бывшими соотечественниками, с самыми простыми — типичными, как говорят в таких случаях, — экссоветскими людьми, нынешними жителями Соединенных Штатов Америки. Давайте выслушаем их, попробуем понять друг друга. Мы предоставим слово художникам и врачам, спортсменам и рабочим, филологам и технарям — и не будем комментировать их рассказ о себе, не станем судить со своей колокольни об их небоскребах — просто дадим возможность рассказать о себе, о своей жизни, мыслях и мечтах.

Сегодня наш собеседник — Леонид Пинчевский, американец по паспорту, еврей по национальности, буддист по вере, русский по культуре, философ по мироощущению, космополит по убеждениям. Эмигрировал в США в семидесятых. Женат. Имеет дочь и внука. Свободный художник-концептуалист — провозглашает «возвращение картины в картину». Однако зарабатывает дизайном — оформляет казино в Атлантик-сити, дома местным миллионерам. Удачлив. «Не беден», по собственному признанию. Меценатствует — помогает заезжим российским литераторам. Мечтает о создании элитного журнала по культурологии, готовит проект выставки российского искусства в Америке...

Марина АДАМОВИЧ

— Леонид, давайте начнем с самого начала. Как Вы вообще оказались в Америке? Была ли Ваша эмиграция вынужденной, как это зачастую случалось в 70-е, или Вы просто решили для себя, что — пора?

— Эмиграция моя была, безусловно, вынужденной. Вынужденной даже не потому, что в 74-м году я, как многие интеллигенты того времени, состоял в черных списках ГБ, но вынужденной идеологически. Во-первых, я никогда не принимал и не приму идею, как хороша бы она ни была, которая разом годится для 250 миллионов, включая меня. А такая идея навязывалась. Во-вторых, самое страшное, что было в ней, — предложение всё время жить будущим. Счастьем будущих поколений жил мой дед, отец, я сам и, очевидно, должна была бы жить моя дочь, нерожденный тогда еще внук и т.д. Это крайне угнетало. Жизнь во имя грядущего — задача, конечно, прекрасная, но я уже тогда, в силу моих философических занятий, увлечения буддизмом и индуизмом, предпочитал жить настоящим. Настоящим же была моя молодость, мое творчество, а всё остальное, предполагалось, произойдет потом и, может статься, даже не со мной. Более того: даже это эфемерное будущее было серьезно ограничено географически границами великого Советского Союза, ибо я становился невыездным, к тому времени мне уже отказали в поездке на несколько симпозиумов... Вот всё это вместе и дает мне основание утверждать,что хотя документы на выезд я подал сам, эмиграция была вынужденной.

— Но это была не экстремальная ситуация известных российских диссиден - тов?

— Нет, я был вполне преуспевающим официальным членом Союза художников, владел роскошной трехкомнатной квартирой, о которой можно только мечтать, официально работал три-четыре месяца в году; у меня были джинсы, кожаный пиджак и роскошное импортное пальто; я был знаком с очень многими звездами советского кино — так что, безусловно, получил всё, что можно было получить от советской власти. Пользуясь западной терминологией, я принадлежал к винерам — победителям в этой жизни, элите; я не знал черного мрачного подполья и время проводил очень весело. Но еще я был типичным советским маргиналом: параллельно писал картины, какие хотел, — и у них не было советского будущего; читал книги, какие мог достать; слушал музыку, какую любил; дружил с теми, с кем желал; словом, был, как ни парадоксально это прозвучит, невероятно свободным человеком...

— Всё это похоже на миф о свободных советских семидесятых...

— Здесь удивительный парадокс: мы, советская творческая интеллигенция, находились в международном вакууме, в эдакой сумасводящей изоляции, но это и делало наше внутреннее существование на удивление комфортным, чего нельзя сказать о западных коллегах. Поясню: когда ты находишься в замкнутом пространстве, отрезанный от мировой информации, а люди, общающиеся с тобой так же неискушены, весь основной их культурный запас обращен в прошлое, базируется на мыслях Достоевского, Федорова или Леонтьева, естественно, твое искусство становится ***необыкновенно авангардным***. В то время как общая мировая культура переживала революционные движения, когда открытия висели в воздухе и сменялись каждые два года, мы в это время жили в некоей замкнутой капсуле, в которой мы сами, а уж наши зрители тем более, счастливо не подозревали, что происходит вокруг. Недавно я даже написал статью на эту тему под заголовком «Советский маргинал — самый счастливый маргинал в истории»... Мы и были самые счастливые маргиналы. Давление, которое оказывалось на большинство из нас, было, надо сказать, весьма мягким; я помню одного своего гэбэшного следователя, который обсуждал со мной проблемы литературы, искусства, — и ему было всё время ужасно стыдно за свои, так сказать, официальные обязанности... Он даже порывался заглянуть ко мне в мастерскую, да и я иногда забывал, где нахожусь... Конечно, не стоит мифологизировать, но — было, было...

— В таком случае, так ли уж невыносима единая «идея 250 миллионов», если она не касается непосредственно Вас?

— Конечно, невыносима! Моя экзистенция на самом деле выглядела весьма пасмурно в контексте земшара, как говаривал г-н Хлебников. Я же себя мыслил именно в этих масштабах, а не в масштабах своего уездного молдавского города, района, области, страны. За пределы которой, кстати, выезд мне был запрещен. И чем больше запрещали, тем больше мне туда хотелось. Ведь в границах соцлагеря я себя ощущал если не гением, то полугением. Так что Вы понимаете, как мой гений нуждался в больших пространствах!

— Ваше особое положение как представителя так называемой «советской творческой интеллигенции», о котором Вы сейчас рассказывали определялось общим идеологическим замыслом, имеющим, в общем-то, достаточно примитивный смысл: я тебя хорошо накормлю, ты мне хорошо послужишь...

— Да, я должен признаться, что деньги зарабатывал с исключительным цинизмом, писал даже портреты вождей — потому как, понятно, за «свое», нутряное, много не получишь

— Так вот, продолжу. Очень популярный сейчас в Америке известный английский драматург Том Стоппард в одном из своих последних телеинтервью высказал парадоксальную мысль о том, что для подлинного творчества, для рождения и формирования гениального художника нужна ситуация насилия, тоталитаризма, диктатуры. Что Вы думаете по этому поводу?

— Советская ситуация была действительно невероятно благодатна для культуры. Ведь что самое главное для художника? — быть замеченным. Ну, не может существовать актер без зрителей, писатель без читателей: разрушается контакт — теряется смысл творчества. Вспомните эти неслыханные гигантские выставки в

Измайлово, никогда — ни до, ни после — в павильон Пчеловодства не приходило в один день до 200 тыс. зрителей... Я не думаю, что сегодня за год удастся собрать в Москве такое количество народа. Причем, на какую выставку шли? — абсолютно непонятное, авангардное искусство, неизвестные имена... Нигде, кроме СССР, такого больше быть не могло. А дело в том, что все шли не на искусство, а на сопротивление режиму. Был развернут некий грандиозный спектакль под условным названием «Сопротивление», и все сочувствующие считали своим долгом принять в нем участие. Не нарушая закон, человек сопротивлялся режиму. Один из феноменов успеха театра на Таганке — то же сопротивление. Я помню бесчисленное количество каких-то дурацких постановок Беккета, смотреть которые я ходил к кому-то на квартиры. Высидеть было совершенно невозможно — откровенная графомания, но зрители упорно ходили. Это считалось элитарным, тебя за это могла полюбить девушка!..

Я принадлежу к поколению поздних шестидесятников, и, как выявила теперь история, наше предназначение состояло в том, чтобы подготовить восстановление разрушенного моста, ликвидировать провал между культурой 10—20-х годов и 80-ми. Наша миссия была миссией сталкеров; мы первыми узнали 20-е, первыми устремились в культуру русского авангарда, она трансформировалась к наших вещах, мы восстанавливали и продолжали ее традиции, смутно прозревая, что когда-нибудь воздастся и сталкеру.

— А нет ли у Вас тоски по тому времени, по той наивности, в которой Вы тогда пребывали? И не возникло ли чувство, что пора возвращаться: в нынешней России и границ-то уже нет , и свобод больше, чем нужно?

— Здесь я должен Вам высказать очень «нерусскую» мысль: с юности ощущал себя чужеземцем, иностранцем в России. Я испытываю огромную любовь к росссийским людям, к друзьям, русской литературе, но что-то, на каком-то астрально-ментальном уровне, рождает во мне отторжение от этой земли. Какова природа отторжения — мне не важно, это задача психологов; но живя в России, я чувствовал себя иностранцем, находящимся на чужой территории. Самое удивительное, то же чувствовали и окружающие: меня вечно в чем-то подозревали, в аэропортах я ни разу не прошел без дополнительного досмотра, меня всегда выделяли из толпы... Я носил те же штаны и шапки, но генетически со мной было что-то не то... Вообще, тут Вы затронули очень сложный для меня вопрос о роли подсознательного в судьбе человека. С подсознанием люди находятся в полном дисконтакте. Если же человек способен проникать на подсознательный уровень — это создает ему полную гармонию. Я чрезвычайно внимательно отношусь к подобным вещам. Так вот, по интуиции, по своему подсознанию, я всегда был иностранцем в России. И когда я, наконец, приехал сюда, у меня возникло ощущение, что я вернулся туда, откуда меня некогда насильно изъяли.

Делая эти признания, не хочу прослыть русофобом. Просто я — лично я — никогда не испытывал ностальгии. Более того, я пережил очень остро свою единственную — первую и последнюю за годы эмиграции — поездку в Россию. Очень плохо себя там чувствовал, постоянное внутреннее напряжение. Принимали меня при всем том и в Москве, и в Кишиневе совершенно изумительно,

даже сделали какой-то там фильм о моем приезде, в театре МГУ для меня персонально сыграли спектакль — но чувство дискомфорта не проходило.

— Вы рассказывали, что первые годы Ваша жизнь здесь складывалась тяжело — и материально, и духовно. И вот вопрос: что Вы испытываете, вспоминая то время?

— Благодарность. В первые годы моей эмиграции я, подобно любому другому экссоветскому человеку, бухнулся в какую-то чудовищную реальную жизнь. Прежний мой опыт оказался совершенно неподходящим. Скажем, российский художник, член СХ или маргинал, никогда ничего не платил из своего кармана, всё делалось за счет некоего дяди, Союза, — и устройство картин, и заработок, и какое-то мелкое мщение... Мы платили нереальные цены за бесплатные квартиры, даром получали высшее образование... Мы все жили ненастоящей жизнью. Мне просто повезло жить в таком обществе, это уникальный опыт, который сегодня уже неведом молодым русским, память о нем быстро уходит, мне же удалось нажить двойной опыт, попробовать два огромных мироустройства.

Тем не менее, здесь-то всё было иначе, чем в СССР. Во-первых, я попал в Америку, когда у нас, советских, наличествовало зеро информации, ну — просто никакой. Знай мы хоть что-то, может, никогда и не рискнули бы. Наше невежество было нашим счастьем. Тут шла вовсю огромная битва Ватерлоо, а мы, абсолютно невооруженные — без языка, без парашюта, — падали прямо на передовую. И я до сих пор не могу понять, как нас тогда не растерзали. Первые годы были самые нищие. Чтобы жена могла поучиться и получить какую-нибудь пригодную профессию, я пошел грузчиком в овощной магазин. Знаете, с кем я работал? — С генералом Григоренко... Нищие, но очень по-своему счастливые годы. Я был перенасыщен невероятным количеством иллюзий. Не понимая системы, не зная, как она работает и ломает, я был счастлив. Все вокруг меня рыдали от страха и беспомощности, включая мою жену, я же ходил с олимпийским спокойствием. Сегодня жена рассказывает, что этой своей глупой радостью я спас ей тогда жизнь.

— Сейчас Вы ведь человек богатый?

— Я бы уточнил все-таки, что — не бедный. В Америке всё безгранично, мера богатства — также. Я, скажем, могу купить дом за полмиллиона долларов — то есть я настолько платежеспособен, что имею кредит на такую покупку (это поясняю для русского читателя), живу в соседстве с миллионерами, имею мастерскую в Сохо

— Вы удачливы или нет? Пользуясь американским определением, лузер или винер, проигравший или победитель?

— Это вопрос сложный. Безусловно, я удачлив как человек. А как художник я не могу быть удачлив. Почитайте письма великих людей — сколько в них страдания и неудовлетворенности. Так что большая глупость и неправда говорить об удачливости в творчестве. Вообще же, хочется думать, что я — винер. Победивший. Впрочем, не знаю. Мои философские занятия привели меня к настоящей, пожалуй, победе: я ни к чему стараюсь не привязываться. По большому счету, мне всё безразлично.

— Но у вас же есть семья, близкие, любимые ...

— Я их очень люблю, но я воспитываю в себе безразличие ко всему, и к ним тоже. Я стремлюсь любить всех, скажу так. Но в идеале меня не должны расстраивать и огорчать потери, они — естественная часть нашей экзистенции.

— Как же тогда быть с известной мыслью Достоевского: нельзя искренне любить человечество, но лишь ближнего своего? Как быть с ближним-то?..

— Любить! Это абсолютно буддийская идея. У Достоевского вообще много будийских идей.

— Смею уточнить, все-таки — христианских. Это христианская заповедь: люби ближнего, как самого себя.

— Ну, хорошо, на уровне гения — это интуитивно угаданная некая высшая истина. Его идея о Красоте, спасающей мир, — того же ряда.

— Не буду придираться по мелочам. Еще раз, что называется — для меня: что же означает Ваш постулат о равнодушии к потерям, к страданию?..

— Дело в том, что жизнь не конечна...

— Но наша земная жизнь все-таки наполнена страданием и хорошо бы, чтобы она чуть дополнилась со-страданием. Сочувствием, милосердием...

— Наша жизнь заполнена не страданиями, а наслаждениями. А страдание есть одна из форм наслаждения. Я пытаюсь воспитать в себе надмирные вещи. И с этих надмирных позиций добиваюсь от себя равнодушия. Главный закон Вселенной: если я Вас буду любить и любить жизнь во Вселенной, то и Вы меня будете любить. Удивительно простая и ясная идея.

— А если я Вас не люблю?

— А меня это не интересует. Вы меня полюбите за мою любовь к Вам. Мне нужно, важно просто любить Вас как часть человечества.

— Что-то кажется, такое чувство имеет мало отношения ко мне, конкретному, реальному человеку со своими грехами и добродетелями. В земной моей жизни я предпочитаю любовь-помощь, любовь-сочувствие, жалость, может быть. И — прощение. Вступая в реальные контакты с людьми, Вы, Леонид, живой, земной, ведь не остаетесь равнодушным? Вы ведь неизбежно подключаетесь к чужой боли, слезам

— Нет, не подключаюсь. В жизни много уровней, и я нахожусь на таком, где стремлюсь к освобождению. Помогать-то я помогу, но... Вы помните, Заратустре было тридцать лет, когда он ушел в горы. А в сорок лет он решил спуститься вниз. К людям. Его обижали, оскорбляли, а он не реагировал. Ибо понимал их поведение. То же самое, извините, происходит со мной. Я понимаю ваше поведение, оно меня не обижает, как не задевает родной ребенок. Я же спускаюсь...

— Вы для заработка занимаетесь крупными рекламными проектами, оформляете богатые гостиницы, казино в Лос-Анджелесе, кухни Генри-Киссинджерам, — и называете себя имитатором. Вы — сродни пушкинскому имитатору, способному придать себе любую форму, или Ваше имитаторство — отголосок родного советского «двойного» сознания, способ выживания?

— Не думаю, что по природе я имитатор. Я просто раздвоен, растроен, распятерен, в общем, разделен на несколько слоев. И один из них называется имитатор. Никакого философского смысла я при этом в свою имитацию не

вношу. Это скорее интерпретация стиля. Она не имеет духовного характера. Я имитирую учебник, а не художественное произведение: воспроизвожу на потребу заказчику нечто узнаваемое, знаковое, хорошо продающееся.

Правда, при этом мне самому мои имитации доставляют удовольствие. Это подчеркивает некую эластичность моего профессионализма. Представьте себе, что человеку заказывают написать сегодня роман в стиле Толстого, завтра — в стиле Пелевина... И уж делаю я это не хуже Пелевина — точно.

Но главный мой слой — быть художником, не преступившим порог профессии. А заработки — чтобы защитить свое бессмысленное (вспомним Шопенгауэра) искусство, да плюс еще мое извечное иудейское любопытство. Да жажда жизни.

— *Повернем тему так: Вы парадоксально отметили, что были совершенно свободны и независимы от идеологического пресса в годы жизни в СССР, но «соцзаказ» выполняли — зарабатывали деньги на жизнь. Сегодня Вы живете тоже заказами, — то есть примерно тем же, чем в России, только за большие деньги, — подлинным же творчеством занимаетесь по-прежнему в «особое время». Возникает вопрос: а может ли вообще художник, писатель, быть независимым от сильных мира сего? Может, продажность — это его свойство?*

— Поскольку мы живем в век демократии, то, естественно, демократия требует демократического искусства. А что такое массовое искусство? — Оно должно удовлетворять запросы масс. Значит, оно обязано стать интригующим. Ведь и в России происходит сейчас тот же процесс, какая-нибудь Маринина расхватывается с лотка, а колоссы русской литературы не востребованы, толстые литературные журналы выходят тиражом в несколько тысяч экземпляров! Смешно! Россия лишь столкнулась с феноменом, который переживает всё мировое искусство. И Америка сыграла в этом деле основополагающую роль. Масса претендует сегодня на то, что всегда было элитным. И роль художника, естественно, невероятно усложнилась. Что же делать ему, бедному во всех смыслах, средь этой массовой вакханалии? Вот она, страшная проблема: место художника в современном обществе. Есть у О.Генри такая фразочка: «Боливар не выдержит двоих». Так вот, для американского визуального искусства — это истина. Рынок есть рынок, и он работает идеально. На самом деле то искусство, о котором мы привыкли размышлять на московских кухнях, оно никого не интересует. Абсолютно. Вас сразу вычисляют — подходите вы или нет. Так называемое консьюмеристское сознание. И мне кажется, прежнее понятие «продажность художника» вообще отмирает. Художник не с состоянии выбирать. Вот ведь и в Москве половина писателей жива тем, что сдает квартиры. В такой экстремальной ситуации, когда отнимают профессию, странно вести разговоры о продажности. Но и в неэкстремальной ситуации Америки — столь же странно. На сегодня.

— *Так может быть, принцип продажности просто утвердился, победил? Ведь знаете, человек так устроен, что границы дозволенного им всё время расширяются: сильно приперло, уступил один раз, помучился угрызениями совести, а потом — привык. И в следующий раз уже легче пошло Только вот, с точки зрения идеальной, меняет ли это что-то в этическом Законе, перестает ли грешок быть грешком, если все вокруг стали грешить? Как думаете?*

— Толпа победила. Гуманизм победил, а за его идеями — толпа, чего было ждать-то... «Чем больше людей будет жить хорошо — тем...» Так и произошло: много людей живет хорошо, дышит свободно, но «много» — это и есть толпа, а толпа потребителей утверждает свои истины.

— Но искусство-то аристократично по природе!

— Конечно! Искусство всегда было и есть дело посвященных, избранных. Другое дело, что вход свободен и войти может, кто пожелает.

— Ну, нет, не согласна, если все могут войти — это уже не избранные, тут Вы лукавите.

— ***Все*** — это не масса, это те, кто решил посвятить себя искусству, кому важна истина, демифологизация, меритократия. Приезжает, скажем, из Харькова в Москву поэт Борис Слуцкий — и становится крупным большим поэтом.

— И все-таки, вернемся к продажности. Так художник должен продаваться, раз, как Вы выразились, припер его гуманизм своими идеями?

— Здесь — неразрешимое противоречие. Поскольку мне приходится цинично признать, что жизнью должен руководить нравственный Закон — и это неоспоримо для меня, иначе мы перегрызем друг друга, — тут, вроде, продаваться нехорошо. А по закону выживания — надо, вроде как... Великий русский поэт Державин, писавший оды на отъезд императрицы, или Гёте, министр двора, — разве это не пример продажности?..

— Да, продаваться монарху приятнее, нежели толпе...

— Безусловно! Мне кажется, что изменился тип сознания художника. Очень долго художник был романтичен. И он должен был рационализироваться. А что при этом потерялось — и должно потеряться, на мой взгляд. Сильные всё равно останутся. На то они сильные и талантливые. Всё равно ход развития искусства определяют сильные. Ведь если это Гёте — никакая продажность его не погубит. Так что — всё как всегда нормально.

— А что же произошло с Вами, Леонид, в эмиграции как с художником? Сегодня Вы пишете совершенно иные полотна, нежели в свой «российский период».

— Когда я приехал в Америку, я был абсолютно уверен в своей гениальности и в том, что завоевание американского общества для меня лишь вопрос времени. Будущий замминистра России мне писал: «Плюй с высокого постамента, на который тебя вознесет русско-американская публика!»... Но прошло два года. Я набирал информацию, впитывал, и обретенное знание меня очень сильно ударило: скажем, я даже не предполагал о существовании огромного пласта культуры, ранее мне недоступного. И несмотря на мою невероятную искренность в творчестве, я обнаружил, что пластически, визуально нахожусь близко к *коммерческому* уровню. Ведь коммерциализм буквально сидит на стопах подлинного искусства, тут же поднимает всё, что может переварить, и выбрасывает вас на рынок. Например, если начался поп-арт — через год поп-артом завален рынок, только уже в массовом товарном виде. А представьте себе через двадцать лет... Поэтому первые годы пребывания здесь для меня обернулись еще и серьезным творческим крахом. Я наблюдал за другими русскими художниками — дабы их не обидеть, обойдусь без имен, — но все переживали то же, что и я. В московской ситуации они выглядели исключительно репрезентативно, в нью-йоркской —

оказывались салонными, превращались в сувенир. К счастью, такой проблемы не было у писателей, они *эмигрировали,* находились в изгнании; на американскую территорию они претендовали в качестве российских писателей со своей русской темой. Мы же — *переехали в другой мир*; мы сознательно адаптировались... Так вот, в 84 году я получил выставку в Париже, в галерее Мари Терез, что было очень почетно. Представьте себе мое возбуждение: Париж, галереи... А эта выставка подвела итог двадцатилетнему периоду моего творчества. И по возвращении в Америку я принял сложное решение: покончить жизнь творческим самоубийством.

— *Вас все-таки напугала близость к коммерческому промышленному бизнесу...*

— Нет, не это. Я жил внутренней убежденностью, что художник — это человек, рефлектирующий на мир. Ну не мог Достоевский написать «Записки из подполья», сидючи где-то в ресторане. Мои вещи были написаны в России, и они рефлектировали на *ту* жизнь. Здесь я начал жить совершенно в другой среде, визуальной, ментальной. Я не мог продолжать накручивать прежние темы. Я чувствовал, что питаюсь воспоминаниями, что мне — конец. Но всё это легко сказать, да трудно сделать. Ведь художник — это еще и стиль, знак. Надо было создать ***знак, язык***. Это у меня отняло шесть тревожных лет жизни. В своих поисках я всё время получал пощечины — прежде всего от своих знакомых, друзей, с их замечательной русской любовью подчеркивать недостатки. Все выражали свои искренние сожаления, что я забросил прежние занятия. Я же в силу какой-то интуиции пытался отыскать себя иного. Так я пришел к идее ***возвращения к картине***, вернее — к антикартине. Это было моим перерождением, моей творческой эмиграцией. Почти десять лет ушло на нее. Да какие годы! — самые лучшие. Я ведь приехал в Америку, когда мне было уже сорок. Последний звонок. В сорок два года я похоронил себя. Похоронил как узнаваемого художника. И «вернулся» никому не известным, начинающим живописцем. Американским живописцем, точнее даже — гражданином мира.

— *Тем не менее, Ваш интерес к русской культуре, к России не иссякает. Почему Вы устанавливаете и расширяете свои связи с Россией, завязываете творческие контакты, даже помогаете материально нашим писателям, скрупулезно всё читаете — вплоть до газеты «День»? Вы себя определяете человеком русской культуры?*

— Мой интерес к России чисто культурный. Я много лет сидел в этом контексте... В нем я, можно сказать, отдыхаю. Потому как — Вы говорите: «Чехов», а для меня это — так же, как для Вас — определенный знак, у меня при сем звуке возникает чувство неподдельного удовольствия, эффект узнавания. Так что нет никаких оснований прерывать мой серьезный, долгий роман с русской культурой.

Вообще же я человек общемировой культуры. Не потому, что человек русской культуры или, скажем, американской, — это меньше или ниже, нет. Категории ниже-выше, дальше-ближе здесь не работают. Просто свойство характера. Я так устроен, что любое явление рассматриваю в масштабе шарика, а не отдельной его части. Скажем, я невероятно предан индуистской культуре — ну и что?..

— *Вы вообще отрицаете чувство национальности?*

— Абсолютно. Есть одна национальность, которую я считаю самой главной на земле: художник, творец. Это есть всё. Тут я вполне солидарен с Нобелевской речью Иосифа Бродского, который говорил о том, что политиков нужно посылать на учебу к поэтам... Мне не интересна национальность. В мировом контексте — это просто скучно!

А вот ощущать себя художником — это быть пророком, который на интуитивном уровне чувствует все вехи и повороты истории. Мысль моя легко доказывается и на примере нашего века. Авангард, который являлся главной темой XX века, возник именно как пророчество новой ступени человечества, возник как провозвестник новой эры, знак того, что создание храма искусства закончено.

— *Вы интерпретируете авангард как усложнение, уход от предыдущей примитивности? Вот уж что менее всего напоминает мне желанную гармонию...*

— Нет, я не вижу примитивности ни на каком этапе жизни человека.Человек рождается для того, чтобы жить в гармонии и красоте, как только эти факторы исчезают, начинаются болезни и муки. Авангард возник как предчувствие новой эры, новых задач. Я позитивно отношусь к нему именно как к художественной интуиции. Хлебников не желал вносить смысл в звуки — считал, что звук и есть смысл. Конечно, это мышление противоречит убеждениям таких поэтов, как Корнилов, Бродский, та же Анна Андреевна... Но в истории должен состояться и такой человек, как Хлебников. Другое дело, насколько меня это духовно насыщает.

— *Короче, для Вас важен диалог художника со зрителем, писателя с читателем, словом, поэт, который больше, чем поэт. Вы отвергаете постмодернистскую установку на анонимность текста и пренебрежение как личностью автора, так и личностью читателя — зрителя-собеседника?*

— Категорически отвергаю. Это же просто абсурд, ловушка. Мне представляется, что наличие заявления об отсутствии автора уже подразумевает автора с весьма четкими установками. Не трансцедентному же голосу мы с Вами внимаем! Есть автор, да еще какой — заявляющий, что он, вроде как умер... Надо сказать, что сам постмодернизм — как всё на свете — я горячо принимаю. Замечательно, пусть будет постмодернизм — если есть талант. Любые манифесты лишь придадут раскованности таланту. Это всё — живая жизнь культуры. И я думаю, что постмодернизм — как свежий глоток свободы — это замечательно. Но в таком качестве, мне кажется, постмодернизм существовал всегда. Например, Дневники отца Конан Дойля — гениального английского графика: он рисовал каких-то жуков, животных, всё это зашифровывал, выдавал за свое... Да ни один российский нынешний постмодернист с ним не сравнится! Просто десять лет назад пришло их время выйти на российскую авансцену (на европейской они еще раньше появились), потом еще кто-то придет... Замечательно!

— *И что же такое художник в Вашем определении?*

— Свободный человек, свободный ум, с любовью к нематериальному (по Бердяеву). По индийской теории человек может прожить три способа жизни: действие, потом — интеллект, этот способ выше и он опять же очень радостный, как и первый; а третий — как бы самый высокий: вы слились с Богом, это

духовное слияние доставляет высшее наслаждение. Однако существует еще четвертый способ жизни: когда отрицается всё, у вас вообще нет никакого долга даже перед Богом. Этот способ очень соответствует понятию художника: вы сумели освободиться и проникнуть в подсознательное. Вы в полном контакте со своим подсознанием и мир воспринимаете совершенно отлично от людей предыдущих трех состояний. Например, великий россиянин — армянин по происхождению, по культуре русский — Гурджиев вообще отказывал многим людям в наличии души. (Он считал, что душа начинается только со второго уровня, где появляется интеллект.) Или — посмотрите: Толстой написал «Смерть Ивана Ильича», находясь во вполне нормальном физическом состоянии. Но как это написано! Это написано нечеловеком, как говорит мой друг Александр Петрович Межиров. Толстой проник в подсознание, достиг абсолютной свободы.

— *Тем не менее, художник, как вполне реальный человек, живущий на вполне реальной земле, и в творчестве столь же реально привязан к определенному историческому моменту. Ведь вот и Вы, Леонид, уже признались, что своей творческой задачей сделали* ***возвращение картины в картину****. Это ли не ностальгия по времени, по истории, по традиции, если хотите — отрицание абсолютной свободы, вопреки Вашим прямым утверждениям?*

— Это — многое. Это — позиция. Во-первых, я воспитан на шестидесятнических авангардистских традициях. Во-вторых, я самовоспитался на Заратустре. И во мне вполне живо некое мессианское желание. Во мне осталось желание говорить не прямолинейные вещи, а — изысканные, сложные, при этом быть в контакте со зрителем, дать зрителю возможность, как говорится, «проторчать» двадцать— тридцать минут, втащить его в туннель «странности». (Я вообще люблю своего зрителя. Он — интеллектуал, человек умный, начитанный, образованный.) Главное, мне хотелось бы протащить своего зрителя через какие-то общепризнанные банальности, художник же и сам по себе — скопище вечных противоречий. Для меня картина — не просто натянутый холст, картина способна одарить огромное количество людей. Смерть картины? — Говорили и о смерти романа! А вот Веничка Ерофеев написал свою маленькую вещицу — и это жемчужина, которая никогда не умрет. Вот так — писал, не зная, что роман уже похоронили... Поэтому картина как форма для меня всегда будет жить. Здесь я занимаю сознательную идеологическую позицию.

В мировом же культурном контексте картина действительно давно мертва, сегодня ее производством занимаются либо по невежеству, либо смельчаки, декларирующие картину как свою идеологию. А исторически она действительно опочила. Приведу любопытный тому пример. В самом престижном, элитарном американском журнале «Артфорум» напечатан итоговый годовой опрос ведущих критиков на тему: что самое замечательное вы видели в истекшем году? 10 вопросов 10 критикам. И что же? — Дано 100 изображений, и из них лишь около десятка — картины в подлинном понимании этого слова, да и то — картины, увиденные на классических выставках старых мастеров. Картина мертва как способ моделирования мира, как доминирующий организм. На высшем уровне, там, где делаются карьеры, там, где решается судьба художника, котлеты, пардон, картины действительно закончились. Двери закрыты. Например, два русских

художника — Кабаков и Булатов. Известность Кабакова продолжается, а Булатова — нет. А почему? Да потому, что Булатов производит картины — концептуальные, но картины! В Европе его биография еще как бы продолжается, но и там она уже периферийна, биография же Кабакова продолжается по-прежнему в интернациональном масштабе! Потому что он с самого начала не был картинщиком. Он даже пытался когда-то делать картины, но это тоже было формой некоего писательства, а не художничества. И покровителей Кабакова это не смущает. Да дело даже не в покровителях, а в том, что они выражают определенный историзм мышления. Произошел распад империи, и на огромном мировом рынке место оказалось только для такого русского художника, который бы в постмодернистской манере живописал распад этой империи. То есть он не стал бы претендовать на место швейцарского или американского художника, а стал бы выразителем имиджа своей агрессивной и дикой страны. Что и делает Кабаков. Его произведения — это разрушенная наглая советская уборная, коммуналка, что вполне развлекает западных интеллектуалов...

— *Только развлекает? Вы считаете, интерес к постсоветским российским художникам и писателям носит в Америке в основном этнографический, сувенирный характер?*

— Конечно, развлекает в первую голову. Какую-то духовную информацию к размышлению тоже дает, конечно, — другое дело, что дух этот, как и дух всего современного искусства, крайне запуганный, страшный, ущербный такой душок. Я Вам скажу: больше всего на свете Кабаков, например, боится именно России. Думаю даже, вообще боится жизни. У него есть потрясающий автопортрет: Примаков сидит в шкафу (я не оговорился — «мадам Бовари — это я», вы помните)... Надеюсь, что никаких следов зависти в моих словах нет. Мои несогласия — творческие.

— *А Вам хотелось бы сегодня кому-нибудь отомстить?*

— Нет, пожалуй, нет. Я ведь здесь на Западе получил возможность много заниматься тем, о чем в России говорилось, но на деле запрещалось: духовной жизнью. За тот же буддизм в России мои знакомые отсидели по пять лет. Здесь я получил возможность свободно приобщиться к буддизму. (Скажем, только в Америке я познал духовный смысл голодания. В этом году мы с женой голодали подряд 65 дней. Это большой срок.) Так вот, один из принципов духовной жизни — не мстить. Человек духовный этого никогда не сделает, ибо знает законы Вселенной: от брошенного камня расходятся круги, и эти круги вернутся к тебе же. Я не стану мстить, ибо хорошо отношусь к себе.

— *Вот Вы заговорили о буддизме. По национальности Вы — еврей, по культуре — русский, внутреннее самоощущение — по Вашему признанию, — человека Вселенной... Почему — буддизм?*

— Я не отрекся от своего иудаизма, нет. Дело в том, что в буддистском монастыре, куда я езжу, празднуются все еврейские и христианские праздники, буддизм учит вас совершенно другому отношению к миру. Скажем, в иудаизме идея спасения осуществляется через Мессию. И иудаизм, и христианство живут в трех временах и, в общем-то, во имя выполнения своей исторической задачи, во имя будущего. Для меня это неприемлемо лично. Я ощущаю только настоящее.

Сейчас, в эту минуту, мы с Вами беседуем, мы оба счастливы, Вы — красивая женщина, я — красивый мужчина, нам хорошо. Вот этот образ жизни я принимаю. Это и есть гармония во Вселенной. И никаких разговоров о завтра. Я конечно, всё упрощаю, но в этом — жизнь.

— *Для Вас жизнь важнее творчества, ведь так?*

— Не то, что жизнь важнее, это безусловно, но искусство не есть биологическая форма жизни. Всё это — привнесенное. Мы сами — частицы Вселенной, и главной задачей для нас должен быть контакт со Вселенной. Если вы в контакте, вы — в любви.

Наш с Вами общий знакомый, философ, любит поговорить о травмированном современном сознании, о том, что все искусство — о страхе. Правильно! И высказан этот страх порою гениально. Страх является закодированным орнаментом нашего существования, нашей отнологической сущностью. Но подсознательно и человек, и искусство стремятся к счастью. ***Я хочу счастья и гармонии.*** Вот почему я после смерти картины вернулся к картине — к позитивному в искусстве. Искусство все-таки должно нести в себе некие мессианские начала, добрые, здоровые черты. А почему я занимаюсь голоданием? — та же идея контакта и здоровья! К идее контакта с телом я пришел невероятно поздно. Но установив его, я познал истинную радость. Это как бы создание орнамента: нарушили какой-то поворот, завиток, — всё пропало, ведь мир построен дуалистически: ночь—день, душа—тело. И если связь нарушена — в результате и возникает страх Кабакова. В Америке это очень хорошо понимают.

— *Ну, думаю, американцы занимаются своим здоровьем по причинам, далеким от буддизма; вы просто не преуспеете, если больны и слабы.*

— Когда Вы говорите об американцах, Вы почему-то сразу обращаетесь к толпе. А мотивация толпы — вещь абсурдная. Важно, что пастух придумал. И важно, чтоб овцы ему повиновались. Есть ведь две Америки. Мало кто об этом знает. Эти две страны зачастую даже не соприкасаются. Есть буржуазная, обывательская Америка, но есть Америка университетская, которая насчитывает до 6 миллионов. У нее своя аудитория, свои выставочные залы, свои авторитеты. Эта Америка никак не сопряжена ни с Голливудом, ни с кола-колой, ни с массовыми ценностями. Это — элита. Исключительной высоты. И когда говорят, что Америка — это чистая цивилизация, а не культура, я хочу сказать, что здесь есть великая культура. Элита, аристократия духа, и определяет развитие общества.

— *А кто из этих двоих винер, кто — лузер?*

— Это параллельные жизни, они в полном дисконтакте. Но победитель, на мой взгляд, — элитарная культура. Которая влияет на массвидео, управляет массовым вкусом. Незримо, но управляет.

— *Тогда будем говорить о ней. О ее духовном здоровье. Вы человек, который ратует за здоровье — на всех уровнях. Так давайте поговорим о духовном здоровье американской элиты...*

— Ну, с этим всё в порядке. Уж если вы называете себя аристократами, вы чувствуете в себе их историческую и имманентную ответственность и ведете общество к свету. Америка же — страна протестантская, пуританская. Страна,

которая допустила здоровое сосуществование разом многих наций, культур, религий. Это подлинная терпимость. Это — уважение к чужим ценностям...

— *Нет, нет, позвольте, — мы же не о массовой Америке, трогательно посещающей по воскресеньям церкви разных конфессий, мы — о культурной элите. Которая, позвольте заметить, скорее эклектична, а попросту — атеистична в своих изысках. И как раз ее духовное здоровье у меня вызывает большие сомнения. Скажем, я вижу явный* ***диктат*** *элитного меньшинства над простодушным американским большинством в сегодняшней пропаганде образа жизни и этики сексуальных меньшинств. По-человечески, я скорее придерживаюсь точки зрения Бродского, который, отметая выпады против его друзей, замечал, что главное в людях — их творческая одаренность, самость; главное —* ***кто*** *, а не —* ***как*** *... Я, человек православный, вижу здесь не столько проблему, сколько — грех, осужденный христианской — то бишь и американской — традиционной культурой. Но в действительности — попробуйте-ка, признайтесь публично, что вы против, скажем, школьного урока на тему угнетенных геев, — вас забьют каменьями... Ведется громадная пропагандистская кампания, в которой, заметьте, речь идет не о терпимости и человечности, а именно об* ***этическом оправдании*** *гомосексуальных отношений, утверждение их* ***духовного*** *статуса. И большинству некуда деться от этой «демократической» воли меньшинства. Ведь (тут я с Вами только соглашусь) и демократическим обществом управляет элита.*

— Дело в том, что впервые элитой стали люди из низов. Не аристократы от рождения, а разночинцы. Они расшатывают общество, но делают и очень много позитивного. Скажем, не они ли заставили страну проиграть войну во Вьетнаме? Словом, я считаю их присутствие необходимым и полезным. Это закон гармонии природы. Природе необходимы хищники. Всё должно быть сбалансировано. И в человеческом обществе всё продумано. Этика сексуальных меньшинств? — значит, так надо.

А диктат меньшинства над большинством необходим. Обратите внимание — касты в Индии. Там изначально заложена эта идея неслиянности элиты и черни. И никогда никому не придет в голову считать себя членом высшей касты, если ты в ней не рожден. Поэтому и идеи Прсвещения, принесшие Европе столько зла — помимо некоторого добра, — они там неприемлемы.

— *Меня не убеждает этот пример. Индуистские касты — это определенное религиозное деление светского общества. Европейская религиозная традиция иная, и опыт истории у нас иной, и — сознание. И любимое Вами, Леонид, подсознание. Так что некорректно сравнивать нашу элиту с индуистской. Может, у человека европейско-американской культуры нет вообще права на кастовость — скажем, он свое право упустил. Произошло эдакое кровосмешение — и теперь нам не подходят восточные мерки, восточные принципы.*

— Конечно, меньшинство не всегда может быть право. И царь Соломон ошибался. Можно составить невероятный список ошибок элиты, она все-таки не Господь Бог. Но я думаю, что история выправляет все эти ошибки. Знаете, как штормы — они ведь не только разрушают, но и очищают.

— *Ну, если шторм снесет Вас и Ваших ближних, очистив тем самым территорию, — Вам-то от того не легче.*

— Ну и что? Вот нынешний шторм в Латинской Америке снес около 23 тыс. человек, принес невероятный ущерб. Но с точки зрения цикличности космических процессов он имеет позитивное значение. Я думаю, что все загибы современной цивилизации — это тоже какой-то виток. Нам с Вами просто сложно это понять. Нужно принять.

— *Традиционно Вас следовало бы определить как фаталиста, может быть — фаталиста-оптимиста, учитывая Ваше признание, что у Вас каждый день — праздник. К тому же Вы очень легко идете на глобальные обобщения, без напряжения соотносите себя самого с мировой историей и Вселенной. Мой вопрос — по заданному Вами же масштабу: Леонид, Вы довольны XX веком?*

— Да я просто счастлив! Это один из самых интереснейших веков. Эволюция неслыханная — и я в восторге! Может быть, изменений, особенно внутренних, в человеке — с избытком на одну жизнь. Я лично начинаю испытывать некоторую усталость. Потому, скажем, даже компьютер не подключаю в доме, и интернета не имею... Слишком много информации. Но как человек любопытный, я удачно появился именно в XX веке. Нет, я очень доволен

— *И собой довольны?*

— Страшный вопрос на самом деле. Я был очень доволен собой в двадцать лет. Я был влюблен в себя неслыханно, считал себя гениальным — и имел тому подтверждения. Или так виделось. После сорока всё больше поводов к недовольству. Но и теперь я счастлив — тем, что я художник. Сейчас же я вступил в изнурительную схватку со старостью. Старение — главный предмет моего недовольства. Для меня началась самая страшная битва.

Ну что ж, победы Вам...

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика

Первый квартал 2000 года

1. Художественная проза

Сначала — ***о самом интересном или проблематичном.***

Владимир Войнович в романе «Монументальная пропаганда» («Знамя», №2, 3) изобразил пламенную коммунистку-сталинистку Аглаю Ревкину, описав всю ее жизнь — от тридцатых годов по наше время. Аглая беззаветно утверждала советскую власть, потом командовала партизанским отрядом, потом начальствовала в городе Долгове, была затем понижена и заведовала детским домом — но во всех перипетиях сохранила любовь к вождю и учителю Сталину. Ее усилиями в городе был поставлен памятник Сталину. Когда времена изменились, памятник решили убрать. Аглая прячет у себя дома статую вождя, упорно верна ему, что стоит ей партбилета. Правда, на новом переломе в партии ее восстановили, однако Аглая недовольна половинчатой реабилитацией вождя. В 90-е она снова возвращается к политической активности, ходит на митинги коммунистов, носит на демонстрациях портрет любимого человека. В результате различных перипетий она становится жертвой обрушившейся на нее статуи вождя. Причем мнится ей, что вождь возжелал ею обладать... В романе изображен также коммунист-ленинец Шубкин, который постепенно становится главным местным диссидентом, принимает православие, уезжает в Израиль и в конце концов, вознамерившись стать правоверным иудеем, умирает от заражения при обрезании. Еще один персонаж, Ванька Жуков, в молодости связался с московскими диссидентами, был отчислен из института, забрит в армию, в Афганистане стал калекой, а в наше время занимается изготовлением взрывных устройств по заказам братвы. Он умирает, подорвав свою лабораторию, где собрались вместе с ним местный лидер коммунистов Жердык, который капал на юного Ваньку в КГБ, и бывший гэбистский начальник, который в 90-х стал вождем местных фашистов.

Войнович создал лубочный комический эпос, призванный отобразить суть советской и постсоветской цивилизаций. Это сатира и на советский строй, и на бандитский капитализм, и на тот народ, который легковерен и непрактично мечтателен. Замах автора масштабен. Но его новая проза уровня «Чонкина» не достигает. Теперь в ней нет выхода на архетипические черты русского характера. Но и снисходительные оценки романа в прессе (как правило, свидетельствующие еще и о том, что он так и не был прочитан) едва ли вполне справедливы. Войнович принципиально банален и наивен, это оттого, что он работает с банальными

формулами идеологии и массового сознания, пародируя их и сталкивая с логикой здравого смысла, а иногда и солидаризируясь с массовым мнением. Временами Войнович оказывается близок к сатире Зиновьева, но у него нет удручающего пансоциологизма последнего. Иногда писатель вводит в повествование и рассказчика, который напоминает своим характером фигуру гоголевского наблюдателя из «Миргорода» («Я постоял минуту в невольных мыслях о бренности жизни и двинулся дальше»). Впрочем, существенной добавки смысла этот ввод не дает.

Если Войнович делает своей главной героиней коммунистку-ветеранку, то **Валерий Залотуха в повести «Последний коммунист»** («Новый мир», 2000, №1, 2) пытается представить в контексте современности юного приверженца коммунистических идей. А попутно — дает набросок современной жизни в России. Автор интересно придумал вводный ход. В город Придонск, в семью «нового русского» господина Печенкина возвращается из-за границы отпрыск, несколько лет назад отправленный учиться в Швейцарию. Научили его там не совсем тому, чего ждали родители. Илья вернулся в Россию закоренелым «леваком», начитавшимся вредных книжек, переполненным коммунистическими идеями и готовым бороться с новорусским капитализмом и, в частности, с собственным отцом как мироедом-эксплуататором. Заметим, что, характеризуя героя, Залотуха смешивает черты «новой» и «старой» левизны. С одной стороны, Илья почитает Ленина и Сталина, перечитывает роман Николая Островского «Как закалялась сталь», поклоняется Сергею Нечаеву и даже берет его имя как «партийную кличку»... С другой — ориентируется на социальных маргиналов и сам временами не прочь побыть таковым. Он сагитировал бороться за коммунизм юного рыночного корейца Кима и уличную девчонку Анджелу... У папаши — колоритного нувориша-самодура — всё в городе Придонске схвачено. Но с сыном он не может ничего поделать. Сын оказался неуправляем. На новом этапе, в новых декорациях воскресает извечная русская коллизия «отцов и детей». Ситуация отдаленно смахивает и на историю Тараса Бульбы и Андрия, и на горьковские сюжеты, и на коллизии Достоевского.

Придумано занятно. Образ юного бунтаря-интеллектуала в последнее время всё отчетливее маячит на горизонте общественных ожиданий. Если есть на дворе капитализм, то почему же не взяться откуда-нибудь и его врагам, радетелям за справедливость и равенство, идейным отщепенцам и богоборцам?.. Забавная получилась беллетристика.

Но в повести реалистический потенциал этой завязки не столь уж удачно реализован. Автор задает своей прозе бойкий, авантюрный ритм, персонажи так и остаются плоскими, лишены глубины, события сменяют друг друга, как в калейдоскопе. Идейность Ильи Печенкина выглядит не слишком убедительно, уж очень он наивно-прямолинеен, топором вырублен; но характерно, что автору противопоставить пропаганде Ильи нечего, кроме разве лишь тяжелых воспоминаний о советском прошлом. А они актуальны для старшего поколения, да и в нем есть всякие мнения о минувшем. Под конец Залотуха выруливает к навязшим в зубах формулам насчет обреченности России (по ее ментальной природе) на новую революцию. Впридачу оказывается, что Илья — сын не Печенкина, а его бывшего друга, ныне бомжа.

Простота повествовательных средств, которая сначала казалась художественно обоснованной (попытка передать обжигающую новизну происходящего, используя ресурс журналистского репортажа) постепенно начинает утомлять. Повесть чем дальше, тем больше теряет серьезность и убедительность, начинает смахивать на анекдот. К финалу образы героев и декорации действия вполне обнаруживают свою картонную природу. Сказывается все-таки, что автор — прежде всего сценарист. Он выдал полуфабрикат. Заманил, наобещал, но не исполнил обещаний. (см. также в обзоре критики отклик М. Ремизовой).

Роман Леонида Юзефовича «Князь ветра» («Дружба народов», №1, 2) — интеллектуально-культурологический детектив. В конце XIX века начальник петербургской сыскной полиции Иван Путилин выходит в отставку и берется за мемуары при содействии писателя Сафонова. Дальнейшая история в мемуары не вошла, а найдена в бумагах Сафонова. В ней рассказано о расследовании Путилиным убийства писателя Каменского. В дело оказываются замешаны различные буддийско-монгольские околичности. Повествование сопровождается также фрагментами из записок «русского офицера Солодовникова», в 1913 году состоявшего военным инструктором в монгольской повстанческой армии, боровшейся с китайцами-гоминдановцами. Эти фрагменты определенным образом связаны как некоторыми подробностями, так и иными идеями с рассказом Путилина. На страницах романа между прочими персонажами появляется и писатель Иван Тургенев.

В последнее время в нашей прозе входит в моду этот жанр. На Западе — Эко, Борхес, Зюскинд и др. У нас Шаров, Ю. Латынина, Акунин и вот теперь Юзефович создают детективные романы, в которых обыгрываются различные историко-культурные реалии, экзотические религиозно-мистические и магические практики. Юзефович, кажется, наиболее тщательно пытается сделать имитацию достоверной. Исторический факт тут искусно вплетается в вымысел, подлинные этнографические сведения сочетаются с правдоподобной выдумкой, и во всем этом трудно разобраться, не будучи специалистом по монгольско-тибетской культуре. Но характерно для нашего автора, что в финале он не оставляет камня на камне от той мистико-магической белиберды, которой прошпигован роман. Как и полагается в настоящем, классическом детективе, объяснение происходящему дается, исходя из здравого смысла и трезвой, рационалистически постигнутой логики фактов. Становится даже жаль, что столь яркие предположения лишены, оказывается, всякой почвы.

Вообще, весьма живописно, красочно, заманчиво изобразив загадочный и зловещий Восток, автор исподволь его развенчивает. Упомянутый Солодовников в конце записок рассуждает так: «Еще вчера вечером (...) я думал, что если уж выбирать, то даже этот кровавый кошмар (имеется в виду военно-ритуальная жестокость монголов. — *БСК*) я все-таки предпочту нивелирующей европейской пошлости. Зато теперь музыка сфер над ночной Ургой казалась мне сродни патефонному шлягеру в соседней комнате»... Трудно сказать, знали ли в России 1913 года слово «шлягер». Но сама мысль понятна. Еще остроумнее рассуждает у Юзефовича Путилин: «Не всякому дано подняться над предрассудками своей эпохи. Это лишь сейчас все поняли, что за мудростью нужно не в библиотеку

ходить, а ездить в Оптину пустынь. В мое время просвещение так далеко еще не шагнуло».

Возможно, у автора нет слишком оригинальных и глубоких идей. Но есть умение и ум. Проза Юзефовича весьма культурно насыщена. И притом увлекательна. Писали о том, что у автора многовато иронии (Т. Кравченко). Кому как, иным читателям — в самый раз.

«Близнец» Анатолия Кима («Октябрь», №2) — **роман** о героях-близнецах, мистически друг с другом связанных. Один родился обычным образом, другой — выношен в пробирке. Чуть ли не поэтому последний превращается в вещи и живые существа, к которым испытывает влечение первый. И тут уж для него нет преград ни в пространстве, ни во времени. Герой, в частности, присутствует на Голгофе в момент распятия и размышляет о том, «может ли одна настоящая человеческая жизнь, добровольно принесенная в жертву смерти, попрать ее и освободить от нее навечно всех остальных». Тут же возникает не вполне вразумительный мотив духовного Близнеца — «человека, испустившего дух на тесаном бревне».

Автор вообще небезразличен к религиозным вопросам. Другое дело, насколько глубоко он отвечает на них. Роман — очередная причудливая фантастическая выдумка, претендующая на философичность — и хронически до нее не дотягивающая. Нельзя не оценить по достоинству высоту запросов литератора. Но творческая драма Кима состоит, в частности, в том, что он хочет быть философом, религиозным мыслителем, а по имеющимся ресурсам удовлетворить эту претензию ему нечем. В финале романа в тоне откровения рассказчик провозглашает, что к концу второго тысячелетия от Р.Х. мы «увидели нового Бога, Который Больше и Лучше прежнего». Ничего тут понять нельзя, кроме того, что роман испечен как отклик на рубеж тысячелетий. Так сказать, наш ответ на вызов календаря.

Писателю гораздо лучше дается рассказывание простых житейских историй. Но в прозе Кима эта житейщина теряет самодостаточность, становится иллюстрацией к фантастическим изобретениям писательского рассудка. «Нормальный» брат-близнец — современный писатель, что дает Киму возможность нелицеприятно порассуждать также о современной словесности, о современной писательской конъюнктуре. Это также получается у него неплохо. Беда лишь, что сам-то Ким мало чем в последние годы радует своих читателей. Несмотря на чуткость к календарным датам, он выпадает не только из контекста актуальной литературы. Он всё более явно выпадает из контекста хорошей литературы.

Вообще в последнее время проза Кима часто кажется вымученной, обескровленной. Словосложение происходит как-то инерционно, монотонно, не радуя ни свежим образом, ни неожиданным оборотом речи, ни живой эмоцией. Отсутствие глубокой мысли писатель пытается возместить красотами и извилинами слога, в манере: «Мое близнецовское человеческое естество было двузначным и обладало взаимоисключающими возможностями. С одной стороны, я не знал и никогда бы не мог узнать, кто плюнул мною в этот прекрасный мир, и сверкнувшее словно бриллиант, проворно шмыгнувшее в мировое пространство плюновение сие мало чего могло объяснить про намерения тех, что отправили его существовать —

энергичным толчком своего дыхания, из благоухающих уст своих. С другой стороны — не было ничего более спокойного, величавого, медлительно-громадного, неспешного, чем я со своей невидимой душой, намного превосходящей чувством собственного достоинства даже колоссальных размеров тучу...» Не вдохновляют такие «плюновения».

Два **рассказа Бориса Евсеева** публикуются в «Дружбе народов» (№1). В рассказе **«Рот»** героиня — оперная певица, москвичка. Она выходит замуж за врача-курда и уезжает с ним в Курдистан, где требуется врачебная помощь повстанцам, воюющим с турками. Муж погибает, отравленный предателем, а героиня, претерпев разные испытания, добирается до безопасного Еревана и собирается вернуться в Москву. Существенно, что в судьбе героини огромную роль играет ее рот. С одной стороны, рот для нее важен исключительно как «инструмент пения». С другой — ее «губы были как кровь. Они были налиты неестественной прозрачной яркостью, набухали, горели, рдели на кротком круглом лице». Этим она привлекает и волнует мужчин... Евсеева принято считать искушенным, взыскательным мастером прозы. Но тут экзотический сюжет, обилие пестрых подробностей, лицевая странность героини, — всё это как-то не складывается воедино, существует порознь. Возникает впечатление, что никакие догадки никуда не приведут, и читателю нужно просто смириться с довольно элементарным выводом: общая логика испытаний героини, кажется, состоит в том, чтоб преодолеть власть губ и отождествить дух со ртом. Но фактура прозы Евсеева слишком богата для подобного резюме... В другом рассказе, **«Я заставлю вас плакать, хорьки!»**, Гашка — уличная девчонка с богатым жизненным опытом — соблазняет богатых, охочих до детского тела господ и травит их неким снадобьем, после чего они становятся «ни к чему не годными». Мир увиден в основном глазами этой Гашки, которая наказывает «хорьков». Гашку разыскивает священник, отец Георгий, чтобы наставить ее на путь истинный. Но в какой-то момент он понимает, что ему с Гашкой не сладить. И рассказ приходит к несколько неопределенному финалу, в котором кружатся в хороводе отравительница Гашка, дебил Дурошлеп и отец Георгий. Или жизнь насмехается «над душою человеческой»... Читая эти рассказы Евсеева, ощущаешь, как и прежде, что писатель наделен незаурядным изобразительным даром, но воспринимает жизнь как некий хаос, в котором мало понятного, и оттого никуда не ведет. Он не возвышается здесь над той действительностью, которую изображает.

Не пресекается поток ***воспоминаний***. Но новомирская (№1) публикация «Отец Борис и матушка Наталья» (публикатор Ю.В. Тихонова) — особого рода. Такие случаются нечасто. Это запись **воспоминаний** о своей жизни покойного протоиерея **Бориса Старка**, сына царского адмирала, в эмиграции ставшего священником и вернувшегося в Россию, где отец Борис служил преимущественно в Ярославле. Воспоминания о детстве, о родных, о пути к Богу и к Церкви. Среди тех, кто оказал на молодого Бориса Старка влияние, — митрополит Евлогий, о. Сергий Булгаков. Публикуются также небезынтересные, чуждые ханжества и важничанья, размышления о. Бориса по разным поводам и трогательные воспоминания его жены, Натальи Дмитриевны.

Лариса Миллер (**«И чувствую себя невозвращенкой. Мелочи жизни»**: «Новый мир», №1) вспоминает о своей молодости. О разных печальных или комичных случаях сороковых-пятидесятых и прочих годов. Автор избавилась от бессонницы, поехав первокурсницей на целину.

Сочинение прозаика из Израиля **Александра Давыдова «Ключик»** («Дружба народов», №3) имеет подзаголовок **«Учебник по географии моего детства»**. «Пройду я по пространству детства тихим шагом, опишу его осторожно, чтоб не нарушать тайны»,- ставит перед собой задачу автор. 37 параграфов, каждый из которых определяет топографические или хронологические координаты детства. Повествование довольно занудное.

Воспоминания филолога **Валентины Чемберджи «Наш дом»** («Дружба народов», №3) посвящены композиторскому дому в Миусах, на улице Чаянова. Там автор жила с детства и теперь рассказывает о соседях (Раухвергер, Фейнберг, Милютин, Н. Раков, Л. Глазкова, Хренников, Глиэр, Шапорин, и др.); о лифтерше и пр. Отдельно Чемберджи повествует о Прокофьеве и Шостаковиче.

Сергей Юрский сочинил **«мою автогеографию» «Фонтанка»** («Октябрь», №1). Это рассказ о своей «малой родине», укоренившейся на берегах питерской речки. Путешествие по Фонтанке от Летнего сада рифмуется с путешествием по собственной жизни.

Новая **тетрадь документально-художественной прозы Виктора Астафьева «Затеси»** («Новый мир, №2) посвящена поэту Николаю Рубцову, его жизни и гибели. Астафьев знавал его, когда жил в Вологде. Вышли лирические записки о незадавшейся судьбе поэта-самородка, бесприютного гуляки. Описаны и обстоятельства ранней смерти поэта, дан отзыв об его подруге и убийце Людмиле Дербиной. В воспоминаниях появляются также академик Лихачев («истинный интеллигент и патриот»), «Великий артист» Михаил Ульянов, поэты Коротаев, Романов и др. Описывается колоритная артельная писательская жизнь в советской Вологде, выпивки и рыбалки. Автор нелицеприятно отзывается о личности и поэзии Владимира Высоцкого (которого, кажется, не встречал), по сути противопоставляя его Рубцову. О Высоцком: «...забубенной головушкой он был и забулдыгой, пьяницей и наркоманом (...) и сгубил себя и свой талант сам». Высоцкий, по Астафьеву, открыл дверь «блатной оголтелости», «впустил в наш дом погань», а уж следом за ним пробавляются этим Сукачев, Шуфутинский, Распутина и Розенбаум. У Рубцова же жизнь была трудная, не было у него няньки, чтоб смотрела за слабовольным поэтом. Но в стихах его нет «блатнятины».

Где-то на грани мемуарной прозы и прозы вымысла — **повесть Афанасия Мамедова «Люби и ошибайся»** («Октябрь», №1). Баку, детство и молодость.

Современность видится литераторам весьма многоразличной.

«Сценарные имитации» Марины Палей, проживающей ныне в Нидерландах писательницы, прославившейся на рубеже 80—90-х годов рассказом «Кабирия с Обводного канала», названы **«Long Distance, или Славянский акцент»** («Новый мир, №1, 2, 3, 4). Одно время от Палей многого ждали. И вот кое-чего дождались. Манера новых повествований, как и определено автором, — сценарно-конспективная. Материал — житейские будни заброшенных из СССР-России на Запад людей, мыкающихся на перекладных из Ленинграда в Роттердам и Америку.

Начало повествованию положено описанием совокупления на кухне, которое обрамляется авторским комментарием и игрой прихотливыми смыслами. В целом автор, кажется, не приемлет потребительской цивилизации, в которую вдруг попала, ее стандартизированной жизни, обрекающей человека на одиночество и неприкаянность. Блестящее владение автора словом дает результат безотказно. Но результат этот досадно незначителен. Новые опыты Палей отдают раздражением и вымученностью. Трудновато жить в Голландии? А где легко?

«Повесть о любви и суете» Нодара Джина («Дружба народов», №2) — воспоминания рассказчика, жителя Англии, о сложной судьбе Анны, женщины из города Сочи с ореховыми глазами и впечатляющим объемом ягодиц. В прозе Джина необъяснимым образом рифмуются разные подробности, разбросанные по также немалому объему повествования, и наращивается сексуально-эротическая требуха.

«Маленькая повесть» Дины Рубиной «Высокая вода венецианцев» («Знамя», №2) — история, рассказанная дамой из Иерусалима, у которой нашли рак легких. Узнав об этом, она уезжает в Венецию, где ни разу не была. Прогуливается, собирает впечатления, крутит роман с итальянским мальчиком, который напомнил ей ее двоюродного брата, с которым тоже что-то такое складывалось в бытность героини в России. Но не сложилось. Обыденный сюжет Рубина подтягивает к неким архетипическим мотивам, вписывая происходящее в координаты Жизни и Смерти, роковой Любви.

Рассказы москвича **Сергея Шаргунова** («Новый мир», №3) — первая публикация автора, родившегося в 1980 году. Молодежные сюжеты. Хроникальный тон, без лишних эмоций. Экзотика городской жизни, причуды характера и странности поведения. Среди персонажей есть и некто, носящий фамилию автора. Тоже новинка.

В **рассказе Александра Хургина «У Яши в песках»** («Дружба народов», №3) рассказчик-артист вместе с женой едет куда-то в жаркие пустынные края хоронить бывшего мужа своей жены. Там он дезертирует с затяжных похорон, задыхается в душной гостинице, ждет жену и не может никак дождаться, чувствует в воздухе нарастающую угрозу... В конце концов всё образовалось, но герой так и не понял, зачем он ездил в далекий край и что там, собственно, происходило. Что-то в манере фильмов Антониони. См также его рассказы в «Октябре», №1.

Новые **рассказы Людмилы Петрушевской** («Знамя», №3) — очередные хроники бескрылого быта. Впрочем, и здесь временами заводится что-то, похожее на любовь. Стиль остроумного конспекта. Сухо, в меру нелепо, в меру печально. Жизнь. См. также фрагменты новой книги Петрушевской **«В садах других возможностей»**: «Октябрь», №3. Быт, полтергейст, глюк, сказки.

В **рассказах Евгения Шкловского** («Знамя», №3) происходят странноватые вещи. В одном (**«Чашечка кофе в кафе на Остоженке»**) героиня вечерами водит рассказчика (ее старого знакомого) по кофейным заведениям с сомнительной репутацией. Очевидно, чтоб вкусить сладость житейского риска. В другом (**«Стриптиз на улице «Правды»**) автор психоделической прозы скинула с себя всю одежду на улице перед зданием газеты «Правда»... Публикация рассказов Шкловского в одном номере с прозой Петрушевской проявила их неожиданное сходство.

Новые **рассказы Антона Уткина** («Октябрь», №1): **«Не Платон»**, **«Соседняя страна»**. Довольно проходные.

Рассказы Нины Горлановой («Знамя», №2) — обычная для этого автора лирическая исповедь и запись своих жизненных впечатлений. Юмор и пафос. Один из двух рассказов, **«Энциклопедисты»**, посвящен тому, как автор собирала сведения от литераторов для затеянной С. Чупринины энциклопедии «Новая Россия: мир литературы».

История и проза. Опыты сочетания.

«Маленькая повесть» Сергея Цветкова «Подьячий Василий Курбатов» («Новый мир», №2) — авантюрная история о том, как в составе посольства князя Потемкина выезжает в конце 17 века из Москвы в Европу толмач Курбатов. Поездив с посольством по разным странам, он попал в немилость к Потемкину, а в то же время нашел в Амстердаме подругу сердца — и в итоге сбежал, остался жить в Голландии... Автор воссоздает восприятие москвичем Запада, передает небезынтересные подробности разговора о вере католика-иезуита с православным священником, цитирует написанную Курбатовым о России книгу. Герой обживается на чужбине, становится владельцем гостиницы в Саардаме. В финале герой удостаивается визита к нему царя Петра, прощения и приглашения вернуться в Россию, чтобы переделать там животных в людей. Тщательный историко-культурный этюд.

Роман Галины Щербаковой «Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом» («Новый мир», 2000, №3) — богатое бытовыми подробностями беллетристическое повествование о том, как женщины, разнообразно друг с другом родственно связанные, имеют склонность пропадать из жизни, теряться. Несколько таких историй рассказано на фоне глобальных исторических перипетий XX века. Есть и русско-еврейская тема. Забавная придумка.

«Князь» Михаила Рощина («Октябрь», №1, 2) — **«книга об Иване Бунине, русском писателе»**. «...наш герой оказался оригинален и своеобразен весь свой долгий почти век жизни и верен себе во всем до конца». Много источников, обширные выписки. Полезное сочинение.

Рассказ Леонида Костикова «Верховский и сын» («Дружба народов», №3) — трехзвенная история. В первой части статский советник Верховский провожает сына в армию, чувствует, что они больше не увидятся, жалеет, что стеснялся выражать любовь к сыну, напоследок обнимает его, возвращается домой и умирает. Во второй части его сын Дмитрий храбро воюет на первой мировой, потом вдруг осознает, что мир поглощает экспансия зла, дезертирует, скитается, встречает и теряет подругу Стасю, всплывает в Тамбове в 1925 году мужем и отцом, чудом спасается от репрессий... В третьей части сын Дмитрия и Стаси Мариуш уверовал в Бога и «снискал холодное уважение» от мира. Есть еще и финал: поток сознания престарелого Дмитрия. Общий смысл рассказа не вполне ясен. Скорей всего это лирико-поэтический этюд со свободным итогом.

Новые **рассказы Фазиля Искандера** («Знамя», №1): **«Гигант»** — о рослом баскетболисте с трагическим самоощущением, **«Чик и белая курица»** — мальчику поручено зарезать курицу, **«Ночной вагон»** — о дорожных впечатлениях.

Рассказ поэта из Питера **Николая Кононова «Воплощение Леонида»** («Новый мир», №3) — воспоминание рассказчика об однокурснике, который как бы всплывает из небытия, из памяти и затем снова погружается — уже неведомо куда. Ассоциативный слог и строй вещи выдает ее поэтическую родословную.

Повесть недавно умершего писателя из Пярну **Бориса Крячко «Края далекие, места-люди нездешние»** («Дружба народов», №1) — о поселковой жизни, о «буднях трудового коллектива ремонтной мастерской» каких-то советских времен. Простонародная беспартийная жизнь. Умирает ханыга и алик, и выясняется, что был он Героем Советского Союза. Автор наблюдает за происходящим со смешанными чувствами, чередуя сочувствие с усмешкой. «...вездесущая любовь жила-была-процветала в самом современном виде на уровне огромных преобразований в культуре чувств и отношений. Подумать только, всего сто лет назад какой-нибудь шалопай волок девицу в кусты, приговаривая: «Будемте счастливы, будемте счастливы!» — а сейчас молодой человек говорит своей избраннице между двумя сигаретными затяжками: «Да катись ты! Захочешь, сама придешь».

Открытый жанр. Опыты разного рода.

Повесть Дмитрия Пушкаря «За Родину и всё такое» («Знамя», №1) — неудобочитаемый сборник радиограмм, рапортов, протоколов и т.п. — о каком-то армейском пограничном происшествии. Понять, что там случилось, нельзя. Автор виртуозно имитирует язык документов, но этим, кажется, и исчерпал свой литературный ресурс.

Новые **рассказы Юрия Буйды** («Октябрь», №2) — довольно натужные придумки о странных положениях и людях. В одном рассказе (**«...й этаж»**) герои становятся завсегдатаями крыши, ведут там беседы о всякой всячине. В другом (**«На живодерне»**) на скотобойне, кажется, изводят людей, от них остаются тени, которые имеют некий потенциал жизни и могут любить.

В своем **романе «Человек-язык»** («Знамя», №1) Анатолий Королев представляет героя с врожденным уродством, которого зовут Муму. Он может только мычать, у него огромный, свешивающийся ниже подбородка язык, и живет он в клинике для таких уродов. Муму добр и кроток. Его опекают молодой врач Антон Кирпичев, представленный как отзывчивый альтруист, и столь же возвышенно настроенная невеста Антона Таша. Забота о Муму, однако, никого не осчастливила. Таша решила, было, даже жертвенно выйти замуж за урода — и Антон одобрил это решение. Но Муму не принял жертву, которая разрушает чужое счастье. В свою брачную ночь он уходит от Таши «в люди». У Таши, однако, рождается ребенок... Повествование Королева об «извращениях милосердия» имеет игровой характер и ведет к выводу о бессмысленности и бесполезности интеллигентской жертвы во имя ближнего, слабого и больного.

2. Литературная критика

Кончается век. Кончается десятилетие. Все чаще попытки ***концептуально осмыслить итоги литературного развития***. С опережением на год **Андрей Немзер в статье «Замечательное десятилетие. О русской прозе 90-х годов»** («Новый мир»,

№1) дает обзор словесности минувшего десятилетия. Случай редкий. Стоит отметить как эрудицию автора, так и его смелость. В статье есть претензия — и небезосновательная — на обобщение литературных бурлений и шевелений. Немзер обнаруживает: «литература не умерла и умирать не собирается». Автор заранее извещает, что будет избегать разговора о «неприятных материях», то есть поведет речь о наших достижениях. Все-таки Немзер не обходится и без деликатного указания на то, что иные литераторы чересчур забронзовели. И упоминает Петрушевскую, Битова, Аксенова, Войновича и Искандера. Также и те, кто подняты на щит в конце 80-х, не выдерживали свободного существования литературы. В статье много тонких стилистических наблюдений. Есть яркие характеристики, умные суждения относительно приемов и «новизны письма». Как обычно, немало и чисто вкусовых мнений. Ключевые фигуры литературы 90-х, по логике статьи, — Маканин, Попов, Найман, Горланова, Давыдов, Буйда, Ефимов, Бородин, Азольский, Астафьев, Дмитриев, Слаповский... Дается список из 30 лучших прозаических произведений 90-х (отбор автора статьи).

Статья Немзера вызвала острую реакцию у **Андрея Урицкого** (**«Попытка полемики»**: «Независимая газета», 26 февраля 2000). Урицкий, во-первых, восстает на авторитет Немзера, который, с его точки зрения, оказывает давящее действие. Он, по Урицкому, — единственный критик, систематически обозревающий движение литературы. Ему поэтому верят. А верить, считает Урицкий, нельзя. Занятно, что подобные обвинения мы уже слышали из уст П. Басинского, во всем остальном, кажется, — антипода Урицкого. Авторитетность Немзера тем более неприемлема для Урицкого, что ему чужды немзеровские «охранительство» и консерватизм литературных вкусов. Критика Урицкого — это, так сказать, критика слева, со стороны авангарда, для которого и Владимов, к примеру, — жуткий архаист. По Урицкому, Немзер — кривоватое зеркальце русской литературы. Его обзор полон фальсификаций, умолчаний и передергиваний. Немзер не принимает литературной нови. Он не хочет замечать писателей, которые дороги Урицкому: Б. Кудрякова, Б. Ванталова, Н. Байтова, И. Лёвшина, Е. Радова, П. Капкина, И. Яркевича. Он игнорирует яркие мемуары Гандлевского, Сергеева, Галковского, Ваймана, ограничившись лишь рассуждением о Наймане. Не замечает Немзер и малой прозы Г. Балла, Д. Добродеева, А. Гаврилова. Сам Урицкий пытается сочетать в своей статье резкость оценок по адресу Немзера с принципиальной неавторитарностью суждений о текущей словесности. Но напоследок и он дает перечень из тридцати писательских имен, которые ему близки. Впрочем, не настаивает, что это — лучшие писатели (возможно, потому что в принципе чужд иерархичности.)

А «Знамя» (№3) публикует чисто игровой эссей **«Взгляд на русскую литературу 2183 года»**, подписанный **Робертом Ибатуллиным**. Местами забавно, но безумно длинно. И в целом не смешно.

Сергей Костырко в статье «Синдром Курилова» («Новый мир», №3) рассказывает об уже умершем единственном юкагирском писателе Семене Курилове. Он создал письменный юкагирский язык, который на нем и кончился. А теперь уж и юкагиры вымерли. Все это наводит автора на печальные ожидания относительно судьбы литературы. Литературу вытесняет телевидение.

Михаил Бутов в статье «Отчуждение славой» («Новый мир», №2) предлагает заметки о современной прозе, которые дозами (как зачем-то фиксирует писатель) сочинялись под музыку то Шенберга, то Листа, то еще какую-то. Начинает он с суждений о писателе Максе Фрае, как-то напавшем на Достоевского. Это, по Бутову, знаковая фигура. Далее Бутов говорит о Борхесе, Эко, Павиче, Д. Барте и — отчасти — о новой русской литературе после Борхеса, Павича и Эко (упомянуты Пелевин, Галковский). В частности, оказывается, что употребление приемов Борхеса (например, современными авторами безыроничной интеллектуальной притчи) сразу дает ощущение вторичности. Да и вообще наша проза вторична по отношению к этим гигантам. Мысли Бутова о трех названных авторах подчас нелицеприятны, довольно глубоки и обличают опыт внимательного читателя-профессионала. Интересных суждений в статье немало. Но автор строит статью согласно модной логике ризомы, что затрудняет отыскание в ней какой-то однонаправленной связности. Бутов и сам признается: «я писал не статью, и вывода у меня нет».

Обширными **литературно-критическими текстами** в разных изданиях делает заявку на сольную партию прозаик из Екатеринбурга **Ольга Славникова**. У автора есть мысли, но гораздо, гораздо больше — слов. Красоты слога не уравновешены, пожалуй, определенностью и емкостью смысла. Критическая аналитика свободно перетекает в эссеизм. В **статье «Искусство не принадлежит народу. Веселые заметки о грустных обстоятельствах»** («Новый мир», №3) она пишет о рынке литературы и судьбе современного писателя. О деньгах и литературном процессе.

А в «Октябре» (№3) Славникова в **статье «Та, что пишет, или Таблетка от головы»** дает обзор женской прозы. В статье мешаются глубокомыслие с витиевато-замысловатыми самодостаточными фигурами речи, со свободными метафорами, что создает ощущение пиршества словесной плоти, но не делает смысловое содержание опуса слишком внятным. Рецензируются последняя проза И. Полянской и М. Рыбаковой.

Она же рассуждает о прозе прошлого года в «Дружбе народов» (**«Проигравшие время»**: №1) — о последних романах А. Уткина, М. Бутова и повести Э. Гера на современную тему. Проза о тридцатилетних. Гуманитарии, идущие внутрь себя, их главная забота — устроение внутреннего мира. Отсюда — отшельничество. Дается довольно подробный разбор упомянутых вещей. Критик ценит эту прозу, поскольку не находит в ней привкуса консерванта.

В том же номере «Дружбы народов» **Евгений Ермолин в статье «Глазами соучастника»** признается: в текущей литературе ему интереснее всего отражение богатого, емкого личностного опыта. Причем такое отражение, которое дается в формах не слишком опосредованного свидетельства об этом уникальном опыте. В прозе минувшего года один из самых интересных ракурсов — взгляд на мир, на эпоху от личности: когда личность встречается один на один с эпохой и с судьбой, определяя пределы своей свободы, возможности диалога с миром, возможности и способ состояться, не изменив себе. Это, во-первых, автопортрет. Сегодня все-таки именно мемуарно-дневниковые записи — это самое несомненное, самое убедительное для читателя из источников понимания жизни. Официальный документ соврет. А человек — не всегда. Перспектива путешествия с

интересным спутником вглубь души и вглубь эпохи, изучение следов личностного присутствия в мире — это едва ли не самая заманчивая сегодня перспектива. В хаосе бытия, в ситуации распада ценностных иерархий и крушения устойчивых форм жизни подлинным свидетельством о реальности становится свидетельство личности о своем духовном опыте. Ермолин ссылается в этой связи на прозу Бориса Кузина. Наверное, неслучайно и литература вымысла сегодня встраивается в личностную парадигму нон фикшн. Здесь также в центр внимания выходит судьба личности, здесь производятся разыскания, раскопки вглубь судьбы и эпохи, появляются свидетели, проводники и спутники... Это своего рода имитация невыдуманного, подражание непридуманному (М. Харитонов, А. Савельев, Ю. Малецкий, А. Столяров, Ю. Давыдов, Е. Федоров, А. Азольский). Эпоха фикций в значительной степени обесценила и художественный вымысел. Поэтому еще долго читатель будет испытывать не всегда осознанное, но вполне явное влечение к непридуманному.

Наконец, и **Марина Абашева** ведет тут разговор о прозе (**«В зеркале литературы о литературе»**: №1). Во второй половине 90-х литература обрела новое качество. В ней появилась животрепещущая новорусская действительность. Перестал казаться опасным постмодернизм. Ныне приручен и объезжен. Но самая густонаселенная территория современной прозы — дневники сочинителей, воспоминания литературных друзей и жен, литературные взаправду — и псевдомемуары, автобиографические писательские романы и романы о писателях, эпистолы о литературном и нелитературном быте, записки литературных клерков... Саморефлексия литературы — знак слома литературных эпох. Современный писатель становится картографом литературы. Он расчерчивает литературные пространства, определяет масштаб собственной фигуры. В результате получается двухполюсный мир: бывший андеграунд и бывший истеблишмент. Андеграунд и сегодня сохраняет привлекательность. С одной стороны, вся Россия — глобальный ментальный андеграунд. С другой, «мы» противостоим «следующему поколению»: бизнесменам в костюмах и при галстуках. Маканин и Сорокин — каждый по-своему — десакрализуют писательский статус. Но этот разговор еще не закончен. В смысловое поле героя-писателя втягивается и читатель. Герой-писатель — это оселок, на котором проверяется изначальная национальная аксиология.

В «Знамени» же (№2) состоялся **круглый стол о пересечениях истории и автобиографии. Леонид Бахнов** рассуждал там о прозе Ю. Давыдова, который пришел к своей неслыханной простоте. Для писателя характерны домашнее отношение к историческому персонажу, интерес к людям, переживание истории. История России у Давыдова — борьба бесов и антибесов. В ходе этой борьбы происходит возвышение тайного сыска. **Андрей Василевский** утверждает, что самые ценные мемуары — самые недостоверные. Аберрация памяти — условие жанра. Мемуарист всегда положительный персонаж. **Алла Латынина** отметила, что современные мемуары обижают, и задавалась вопросом: как отличить лжесвидетельство? **Андрей Немзер** находит у Давыдова вкус к детали и поэтическую вольность. **Ирина Роднянская** полагает: в литературе сейчас категория «версия» вытесняется категорией «свидетельство». Повествование организуется личной

судьбой. Наметился поворот к новому историзму, новому художественному персонализму. Наконец, **Евгений Шкловский** утверждает: нынешнее поколение писателей осталось без биографии, без чего-то приподымающего над обыденностью, надличного. Все стало как бы все равно. Наступил кризис личной значимости. Потому так трудно писать. Нужно найти этому чувству новую основу. Вернуть если не судьбу, то хоть биографию. Писатель сочиняет драму собственной значимости (Павлов, Басинский). Обязательное условие сегодня — новая исповедальность. Существует спрос на личную значимость автора в формах задушевности, надрыва, покаяния, уязвленности, саморазоблачения. Нужно разогреть холодное пространство мира, где личность оказалась ненужной. Личность исповедальностью отстаивает свою уникальность, право на писательское слово, на свою неслучайность в литературе и в жизни.

Среди ***статей и рецензий о современных прозаиках и их произведениях*** обратили на себя внимание следующие сочинения.

Об опубликованном в «Континенте» сочинении Юрия Малецкого «Проза поэта» — **статья Александра Гаврилова «Плюс к нам перфект»** («Новый мир», №1). Автор статьи размышляет о взаимоотношениях автора с героем — эмигрантом, евреем, интеллигентом. «Роман о грехе и покаянии, о полноте духовной жизни современности, роман с чертями и ангелами о человеческой не-оставленности и повседневном чуде»

Александр Вяльцев в статье «Священник как герой» («Независимая газета», 24 марта) анализирует повесть Сергея Бабаяна «Канон отца Михаила» в «Континенте» (№101). У Вяльцева выходит, что изображенный писателем герой — всё же верующий мирянин, искусно задрапированный в священника. Эгоист и гордец. То он сочувствует Льву Толстому, а то назовет себя пелагианцем. От таких признаний у Вяльцева возникают «сомнения ортодоксального плана». Реакция истового неофита?

Он же разбирает последнюю повесть Дины Рубиной «Высокая вода венецианцев» (**«Женщина перед смертью»**: «Независимая газета», 16 марта). Автор легитимизирует путевой очерк (путешествие в Венецию), придумав трагическую раму: героиня узнает о том, что у нее рак, и уезжает, чтоб собрать мысли и силы в иных краях или чтоб избавить близких от преждевременного лицезрения мук. Героиня беспрестанно любуется собой, а автор героиней. Слишком отдают эти чудные прелести пресловутым «женским романом». Перед нами повествование о герое в состоянии особой свободы, которую испытывает человек, порвавший традиционную связь с миром. Трагическое дает свободу. Но автор забывает, что оно и придавливает особым знанием. Другое важное звно повести — мотив инцеста. Автор таким образом хочет воспеть Венецию и благословить инцест. «Что же, поэту нет законов, а большое искусство издавна питалось от ущербности и тайны».

Тот же **Вяльцев** отозвался и о прозе Олега Павлова (**«Пограничье»**: «Октябрь», №3). Критик находит у писателя почти физиологическую силу описания, сверхчувственное ощущение чужой психологии. Павлов не гнушается и словесной игрой. У него плотное, пастозное письмо. Литератор рисует «мертвых», проводит

колючей проволокой по нервам. И делает это с эпическим бесстрастием. Павлов говорит о том, что ходит по земле огромный русский человек, злой от всего перенесенного в жизни, но в душе все же добрый: наивный и, по сути, беспомощный. Ходит, тыкается по углам, глупит, бунтует, рвется и губит себя.

О прозе Олега Павлова несколько иначе пишет и **Елена Ознобкина** (**«Сны о себе»**: «Новый мир», №3). Проза Павлова — «странное литературное свидетельство об одной из возможностей «выживания» в мире избыточного насилия». «Он стилистически воссоздал атмосферу той мертвой зоны, в которой нет жизни, но есть только унизительное и тоскливо-бессмысленное выживание». Павлов — «страдающий заложник того бессмысленного мира, который он описывает».

Илья Кукулин рассуждает о молодом прозаике и поэте Даниле Давыдове (**«Проблематичность существования»**: «Дружба народов», №2). Его жанр — притча. Автор и его герои обитают в непонятном мире, проблематичные все их отношения к вещам. Даже собственное тело проблематично.

Владимир Березин пишет о романе писателя из Цюриха Михаила Шишкина «Взятие Измаила» (**«Боевые действия по взятию Измаила»**: «Независимая газета», 18 января). Как можно понять, Березин довольно близко знаком с Шишкиным, отчего его статья приобретает характер полумемуарный. Роман, по Березину, включил в себя сотни историй с бесконечным движением вокруг стен одной и той же крепости. Это опись России, опись русской культуры, подчиненная оптике зарубежной подзорной трубы, свернутой из швейцарского вида на жительство.

Мария Ремизова отозвалась о новом романе Анатолия Кима «Близнец» (**«С новой ересью, господа!»**: «Независимая газета», 31 марта). Герой-рассказчик у Кима — говорливый дух — несет какую-то выспреннюю чепуху, выдающую главным образом его невежество и патологическую нечувствительность к слову. Дух этот тщится ревизовать христианскую догматику в сторону откровенной ереси или самого примитивного пантеизма. Роман написан скверно.

А в **статье «Новый русский идиот»** («Независимая газета», 11 марта) **Ремизова** пишет о романе Валерия Залотухи «Последний коммунист». Довольно убедительно критик показывает, что проза Залотухи строится в контакте с миром образов Достоевского. Роман похож на игру. На пародию. Но его можно прочитать и иначе: как социальный памфлет, как опыт философской прозы... Залотуха не отвечает на поставленные вопросы относительно современной жизни. Но он хотя бы их задает.

Владимир Шпаков в статье «Мыслящий стилист» («Октябрь», №1) апологетически пишет об Игоре Клехе. Клех предпочел беллетристическим конструкциям пристальное вглядывание в жизнь, в судьбу и затейливое воплощение своих мыслей и переживаний.

Аркадий Райнер анализирует напечатанный в «Урале» роман Олега Юрьева «Полуостров Жидятин» (**«Поток мыслей больного человека»**: «Независимая газета», 15 марта). В потоке сознания тринадцатилетнего мальчика каждый факт сразу тянет за собой целый ассоциативный ряд. Создается многоуровневый текст, читатель плывет по тексту, забывая точку отправления этих мыслей. Притом мысли героя не несут ничего значимого или хотя бы мало-мальски интересного.

Еще одной, и неприятной, чертой романа является наиподробнейшее описание различных физиологических актов и свойств организма. Автор буквально смакует непристойные слова. Текст в целом — нерасшифровываемое «послание» в никуда.

Анна Вербиева снова пишет о Борисе Акунине (**«Гремучий студень русского вопроса»**: «Независимая газета», 20 января). В романе «Статский советник» народовольцы борются с «честными служаками», а автор старается остаться беспристрастным. Третьей силой становятся предатели. Все явственней в акунинском сериале звучит японский мотив. Его сыщик Фандорин «объяпонился», в церковь не ходит. Похоже, здесь и зарыта собака. Сшибкам русской жизни Акунин противопоставил дзэнский путь.

Что пишут критики *о поэтах*?

Николай Александров рецензирует книгу стихотворений Тимура Кибирова «Нотации» (**«Робкий Кибиров, или «Нотации»**: «Дружба народов», №2). Кажется, что примитивизм в книге доходит до бормотания, до междометий. Оказавшись на острове Готланд, Кибиров со стороны смотрит на свою жизнь. Предварительное слушание дела. Поэт смиренен и печален — оттого, что нерадиво обошелся с дарованным ему. Кибиров отводит себе роль аккомпаниатора. Поют другие, а он насвистывает. Но это все от скромности. И чтобы цитаты и аллюзии не смущали. В этом здании есть затейливый декор и тонкая резьба. Ведущая черта поэтики Кибирова — декларированная застенчивость, нежность, чуткость и ранимость, почти страх перед словом, в котором столько опасностей, которое побывало в стольких устах, обросло столькими смыслами. Лучше — почти не говорить.

О поэзии Александра Леонтьева — **статья Дмитрия Полищука «Она, должно быть, из Китая»** («Новый мир», №1). Это представитель «незамеченного поколения», явившегося в конце 80-х. Поколение «оказалось прямым наследником всего XX века, с правом выбора себе предшественников по собственному вкусу и разумению». Леонтьев выбрал себе в качестве ориентиров «анненскую психологическую утонченность, раннеакмеистическую предметную точность и прозрачность и элегический изощренный синтаксис современной «петербуржской школы». При «природной импровизационной легкости и внятности слога».

Павел Басинский в статье «Проблема Александра Еременко» («Литгазета», №13) размышляет о феномене названного поэта, в конце 80-х прославившегося, а потом как-то потерявшегося. И вот вышел его новый сборник. У Басинского выходит, что Еременко — принципиальный аутсайдер, маргинал. Он работает не за деньги. Ему всего дороже — поэтическая свобода. И в то же время у него никогда не было андеграундного надрыва и расхристанности.

Виктор Куллэ в статье «Существо поэзии» («Октябрь», №1) пишет об Игоре Меламеде. Куллэ разбирает его теоретические построения и соотносит их со стихами Меламеда. В частности, указывается, что Меламед постоянно ведет спор с Бродским.

Лиля Панн («Тебе, не то, твое письмо»: «КО «Ex libris НГ», 24 февраля) рассуждает о стихах Анатолия Наймана. Поэта интересуют стихи, способные

задеть, еще лучше — ранить. Слово отпускается на свободу под надзором очень сильных чувств. В новых стихах Наймана зрелому лиризму синонимичен христианский персонализм. «Персонализм Наймана диаметрально противоположен космической внеличностности позднего Бродского».

Дмитрий Быков в статье «Преображенный хаос» («Новый мир, №2) разбирает новые стихи Новеллы Матеевой. Матвеева в главном неизменна. У нее твердая, сильная, временами мужская рука, опознаются ее виртуозная игра, ее щедрость и красочность, ее ассонансная рифма. Избыточность фантазии. Каждую метафору она разворачивает в историю, в сюжет. Старомодные, а по большому счету неотменимые истины она высказывает чрезвычайно современным, сложным и богатым слогом. Ее призрачная, зыбкая просодия в сочетании с острыми фабулами и сильными сравнениями заставляет вспомнить о гумилевских поисках. Но подлинный исток ее лирики — психологическая проза прошлого века. Она рождена быть поэтом переходных, сумеречных состояний, неуловимых ощущений, поэтом подсознания, ассоциации, догадки. Отсюда ее пристрастие к таинственному (но не мистическому), зыбкому и трудноопределимому. Хотя этических двусмысленностей она не терпит. В последних стихах Матвеевой появилась кротость, возникло особое смиренное умиление. Это голос не сорванный, но истончившийся.

Появились и заметки о ***современной критике и критиках***. Уже упомянутая в настоящем обзоре **Ольга Славникова в статье «Иван Петрович у распахнутого окна»** («Дружба народов», №3) пишет о недавно вышедших книгах трех литературных критиков — Андрея Немзера, Льва Рубинштейна и Александра Гениса. Статья безудержно комплиментарная. Так, Немзера Славникова хвалит за то, что тот признает факт присутствия литературы, за «ощущение базы» (историко-филологической), за богатый инструментарий и много ярких фраз. Гениса — за его веру «в то, что культура, в отличие от «сырой» действительности, небессмысленна». (Хотелось бы только понять, о какой бессмысленной сырости тут идет речь?)

Гораздо более проблематично и в конечном счете более содержательно рассуждает об Александре Генисе и его книге о Довлатове **Игорь Ефимов («Сергей Довлатов как зеркало российского абсурда»**: «Дружба народов», №2). Генис — писатель глубоко идейный. Борьба с любой идеологией переросла у него в страстную веру в спасительную подлинность безыдейности. И подтверждения этой веры он ищет в любом жизненном явлении, в творчестве любого писателя, в философских системах, в мифах и преданиях. Вайль и Генис высмеивали носителей идейно-моральных начал: Стародума, Правдина, Милона. Абсурд и хаос — доминирующие компоненты мироздания, поэтому все попытки противостоять им, вносить в мироздание какую-то упорядоченность — губительны, а все попытки отстаивать их и творчески воссоздавать — спасительны и похвальны. Этим определяется ценность русских писателей у Вайля и Гениса. Главный прицел — против иерархии ценностей. Генис призывает уничтожить всякую шкалу. Абсурд и хаос способствуют достижению счастья всего человечества, имя которому беспечность. Отсюда — апология выпивки, любовь к молодому Валерию Попову с его установкой на беззаботность. Ефимов утверждает, что идеоло-

гия безыдейности у Гениса — это зеркально-перевернутое подобие коммунистической пропаганды идейности. Генис предается охоте за цветами бессмыслицы и находит их у всех подряд писателей. Много их найдено и у Довлатова, преодолевая сопротивление последнего. Ошибка у Гениса — микроклетка хаоса, поэтому ей нужно радоваться. Эта передовая теория ошибки позволяет Генису не затруднять себя в книге о Довлатове верностью фактам. Ефимов и демонстрирует эту незатрудненность. Генис не допускает наличия вертикальной компоненты в душевной жизни человека. Лишь смерть Довлатова, несчастье, пробила у Гениса столь бережно создававшуюся годами защитную атмосферу беспечности и высекла живое чувство. Споря с Генисом, Ефимов указывает на то, что в человеке заложена неодолимая жажда свободы, а чувствовать себя свободным человек может только тогда, когда принимает на себя бремя ответственности и все связанные с этим страдания. Довлатов отказался последовать за Генисом в темноту и тишину до Творения, до Слова и Света.

А **Александр Вайнштейн** (**«О пуле и птице»**: КО «Ex libris НГ», 10 марта) говорит об А. Генисе так: это «характеролог человека пишущего, который заполняет собой стиль».

Валерий Шубинский отозвался о книге критика Виктора Топорова «Двойное дно. Признания скандалиста» (**«История любви»**: «Октябрь», №1). Это мемуары профессионального скандалиста, по совместительству критика и переводчика. Содержание книги — история нежной и самоотверженной любви автора к себе. В то же время Топоров одержим мучительными комплексами. Через всю книгу проходит мотив карликового роста автора. Он одержим своим еврейством и не любит всех остальных евреев. Печатается в «Завтра» и симпатизирует либералам. Он нашел свою нишу в литературной жизни. Многим в редакциях нужен такой вот скандалист с берегов Невы. Но в его книге есть и интересные страницы, например — о матери — известном адвокате.

В «Новом мире» (№1: «На пороге новых дней») главный редактор журнала **Андрей Василевский беседует с Юрием Буртиным, Мариэттой Чудаковой и Михаилом Новиковым**. Это беседы о журнале в контексте советской литературной истории и современности. Буртин вспоминает о 60-х годах. «Это был ренессанс интеллигенции», «литература говорила почти полным голосом». «Недооценено наше тогдашнее время...» «..это было начало поиска альтернативы существующему порядку вещей — то есть тоталитарному социализму». Василевский допытывается, насколько искренен был ленинизм авторов тогдашнего журнала, утверждает, что и у «Молодой гвардии» — тогдашнего оппонента «НМ» — была своя правда и пр. В беседе с Чудаковой разговор также идет в основном о 60-х, о тогдашнем социализме и его ограниченности, о бедности тогдашней мысли сравнительно с нынешней. Но все-таки было «серьезное отношение к работе мысли». Журналист же из «Коммерсанта» Новиков (год рождения — 1957) рассуждает о том, что толстые журналы себя изживают, и объясняет это снобизмом «толстяков».

В связи с тем, что институт «Открытое общество» (фонд Сороса) свертывает в 2000 году свою программу помощи российским библиотекам в подписке на толстые журналы, редакция «Континента» открывает для библиотек России благотворительную БЕСПЛАТНУЮ подписку на 2000 год — при условии оплаты библиотекой только почтовых расходов по пересылке журнала.

Для оформления подписки необходимо послать в редакцию (по адресу: Москва, 119034, Гагаринский пер., дом 23, к. 59) бланк Заказа по образцу, помещенному ниже, и банковским платежом перевести на счет редакции стоимость пересылки выписанных номеров из расчета 10 руб. за 1 экземпляр.

Банковские реквизиты редакции: Автономная некоммерческая организация «Независимая редакция журнала "Континент"», ИНН 7710296267, расчетный счет № 40703810200170000078 в АК «Московский Муниципальный Банк — Банк Москвы». БИК 044525219, кор. счет № 30101810500000000219. В платежном поручении обязательно указать — «Библиотечная подписка», название и адрес библиотеки.

По получении бланка Заказа и оплаты его, редакция принимает на себя обязательства по почтовой пересылке библиотеке выписанных номеров в течение недели с момента выхода каждого тиража.

Образец бланка

ЗАКАЗ
НА БИБЛИОТЕЧНУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»
В 2000 ГОДУ (№№ 103—106)

Название библиотеки _____

Почтовый адрес библиотеки (обязательно с указанием индекса) _____

_____

_____

Контактный тел./факс _____

Заказываемые номера _____

Кол-во экз. каждого номера _____

_____

Стоимость пересылки (из расчета 10 руб. за 1 экз.) _____

Оплата пересылки произведена (дата) _____

Номер платежного поручения

МП

Подпись директора

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ» РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Новые стихи

Бориса Викторова
Фаины Гримберг
Льва Дымарского
Владимира Лапина
Инны Лиснянской
Сергея Пашина
Игоря Петрова

Новые романы, повести и рассказы

Сергея Алиханова
Сергея Бабаяна
Владимира Баранова
Александра Вяльцева
Ирины Васюченко
Алексея Домбровского
Алексея Иванникова
Юлия Кима
Бориса Козлова
Рээт Куду
Владимира Маканина
Евгения Попова
Ольги Постниковой
Вячеслава Пьецуха
Марии Ремизовой

В разделах
РОССИЯ И МИР НА РУБУЖУ ВЕКОВ, РЕЛИГИЯ и ГНОЗИС

- Статьи и очерки **Сергея Аверинцева, Игоря Виноградова, Андрея Зубова, Николая Злобина, Наума Коржавина, Якова Кротова, Ирины Петровской, Ларисы Пияшевой, Лидии Польской, Григория Померанца, Леона Тайвана, Виктора Тополянского.**

В разделах
ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

- Статьи и очерки **Павла Басинского, Элиота Боренштейна, Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Марии Ремизовой, Михаила Эпштейна.**
- Беседы о современном искусстве с **Сергеем Арцыбашевым, Анатолием Васильевым, Аллой Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Евгением Колобовым, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским.**

«КОНТИНЕНТ» № 104, 400 стр., подписные индексы 73218 и 71682 (годовая подписка)